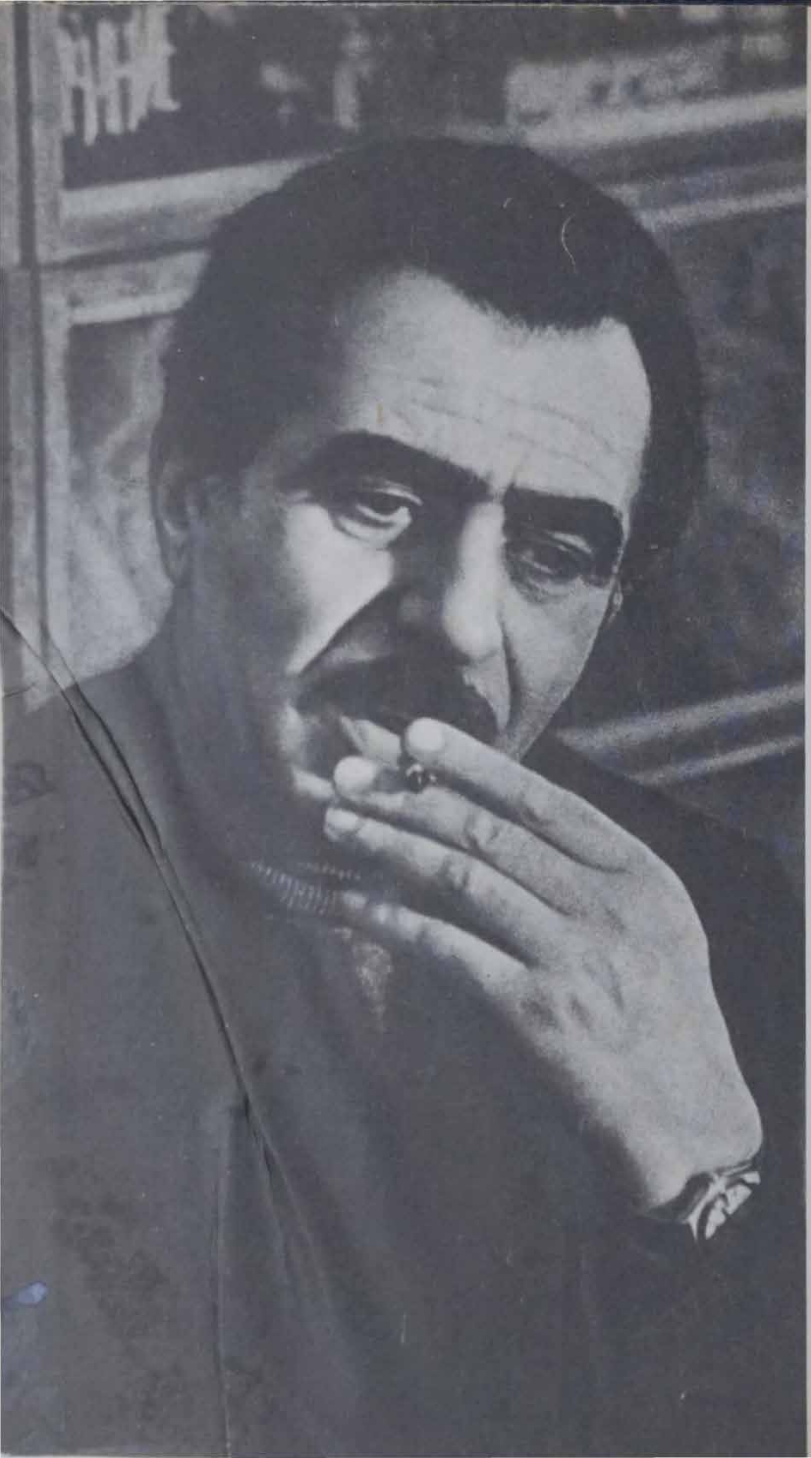
ВАЛЕРИЙ
МУСАХАНОВ

МостЪI



ВАЛЕРИЙ
МУСАХАНОВ

МОСТЫ



РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



Советский писатель
Ленинградское отделение
1988

ББК 84.Р7
М 91

Художник
Виктор Коломейцев

Мусаханов В.

М 91 Мосты: Роман, повести, рассказы.— Л., Сов. писатель, 1988.— 656 с.
ISBN 5—265—00264—2

В книгу известного ленинградского прозаика входят роман «И хлебом испытаний...», повести «Мосты», «Прощай, Дербент», «Два дня из жизни Климова» и рассказы. Все эти произведения остро современны, в них зримо отражена сложная и нередко драматичная жизнь героев, их нравственное совершенствование, утверждается пафос борьбы с мещанством, приобретательством, умение в нелегкий час взять ответственность на свои плечи. Роман «И хлебом испытаний...» представляет собой исповедь главного героя Алексея Щербакова, историю его нравственного падения и последующего прозрения, искупления своей вины перед собой и людьми.

М $\frac{4702010201-021}{083(02)-88}$ 89—88 ББК 84.Р7

ISBN 5—265—00264—2

© Издательство «Советский писатель», 1988 г.

РОМАН



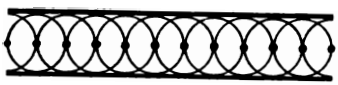
И ХЛЕБОМ ИСПЫТАНИЙ...

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?..

Александр Блок

СОРОК ЛЕТ

1



Я проснулся в холодной испарине.

В последний год это случалось часто. Я всегда просыпался от страха, смешанного с липким, как пот, уничтожающим стыдом.

Мне снился артиллерийский капитан Федор Петрович. Я видел его всего один раз в жизни, а снился он много лет подряд. Лицо его с испытующими глазами выплывало из серой мглы, он шел прямо на меня в распахнутой шинели. И я, умирая от унижения и стыда, отворачивался, чтобы остаться неузнанным. Капитан безмолвно проходил мимо, но я понимал, что он узнал меня. Он проходил мимо, и его молчание обдавало презрением...

И еще мне снилась дорога.

Мглисто-белесая, она курилась поземкой, петляла по снежным стылым полям, спускалась в распадки, обтекала бугры и по просеке уходила в таежную мглу,— а я один среди ветра и холода, и неизвестно, куда ведет эта дорога; я не хочу идти и не могу остановиться. И вроде бы я уже брел мимо этих полей...

Я проснулся и лежал тихо, как паралитик, пытаясь понять, почему все это снится каждый раз. Но, как всегда, ни до чего не додумался, закурил и стал смотреть, как сизоватый свет просачивается в щель между шторами.

Я лежал совсем тихо, смотрел на отвесную ровную черту света, и ко мне возвращалось спокойствие.

Я давно полюбил эти минуты, когда еще зашторено окно и ты ни одним движением не взболтнул тишину; ночной страх позади, дневные заботы еще не запустили в тебя свои когти... Я, может, и жил последние годы только ради этих утренних мгновений между сном и явью, когда свободен от всего. Ни желания, ни мысли, ни сожаления — ничто еще не зудит в тебе, и ты как белый гладкий лист бумаги, и только через миг на нем появятся первые письмена, а к ночи он будет обезображен лома-

ными каракулями неосуществленных затей, непоправимых мыслей и ненужных поступков. И ночь перевернет этот лист и откроет новый. Утром все начнется сначала.

Старинные бронзовые часы стали неспешно отбивать девять. Я послушал, как старая бронза издает свежие чистые звуки, и встал.

В заглавной строке моего сегодняшнего листа значилось: второе апреля одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года, понедельник. По официальным документам, которые были в полном порядке, сегодня мне исполнилось сорок лет.

Нельзя сказать, что я испытывал удовлетворение от этих сорока лет, были годы, которые я вообще ненавидел, но в целом относился к своей жизни так, как может относиться человек к тому, что он среднего роста и темно-русый, с крапчатыми, скорее желтыми, чем карими глазами,— с внешностью хоть и малопривлекательной, но не вызывающей отвращения у ему подобных.

Я не думал, что прожил эти сорок лет с большой пользой для себя и тем более для других, но был рад, что сумел ухлопать такое количество лет и при этом сам остался в живых. И сегодняшнюю дату требовалось отметить. Нужно было справить поминки по этой глыбе убитого времени, потому что если вам нечем похвастать в своей жизни, то хотя бы есть о чем пожалеть, и вы справляете поминки и называете это днем рождения. Грядущее время увидит, с каким уважением вы отнеслись к ушедшему, и проникнется к вам симпатией,— на это, по крайней мере, вы надеетесь. Ну вот я и решил впервые за сорок лет самую малость умаслить будущее, дать ему корректную взятку за те любезности, которые оно мне окажет. Ведь мало кто знает, что такое Время. Часто им пугают или заклинают, говорят о его суровости и невозвратности, призывают его на головы врагов в качестве кары, настаивают на его неподкупности. Отчего же не попытаться всучить ему взятку? Наверное, не я первый придумал такое, но это не значит, что способ плох. Плохих способов не бывает вообще, бывают бездарные исполнители, которые потом что-то бормочут о Фатальности и Непознаваемости,— это они для пущей убедительности употребляют прописные буквы.

Мне тоже случалось задумываться над такими дохлыми вопросиками, но я понял только то, что вскочившая на лбу шишка доказывает прочность стены. Это знание отбило у меня охоту бодаться со стенами, ветря-

ными мельницами и прочими монументальными предметами. И еще я выяснил, что время принимает форму и вкус того мира, который вас окружает.

Если вы в тюремной камере, то это — затхлый кубик теплого, как помои, воздуха, и по ночам у вас такой привкус во рту, будто вы поужинали старым медным подсвечником, а звонкая тишина ворочается у вас в голове, и шаги надзирателя по железу галерки отмеряют вашу бессонницу, как маятник часов. И вы понимаете, что тишина, привкус старой меди, туканье кирзовых сапог по железу — это и есть ваше время; а за толстой стеной с маленьким зарешеченным окном — ясная белая ночь, и по Неве в этот час тихо плывут черные баржи, груженные щебнем и дровами, по набережной проносятся одинокие фургоны, оставляя после себя запах горячего хлеба, и запоздалые парочки, обнявшись, бредут вдоль парапета навстречу утру, золотистому, как буханка свежего ситника.

Но это не ваше время, к нему вы долго не будете иметь отношения, и оно пронесется мимо,— часы идут медленнее для того, мимо кого они движутся: абсолютная одновременность исчезает и вместе с ней исчезает абсолютное время. И когда вы постигаете эту относительность, вы сразу стареете ровно на столько, на сколько удаляется от вас время за стеной.

Бывает, ваше время засветится солнечными пятнами на садовой аллее, разворошит ветром верхушки лип, завинтит синюю юбку вокруг колен девушки со светлой спутанной челкой; ладонями она прижмет юбку к бедрам и смущенно улыбнется, а у вас в жаркий летний полдень похолодеют скулы от этой ее улыбки и вы станете косноязычным, как питекантроп...

И все это — ваше время. Оно принимает разные формы, и в один прекрасный день вам исполняется сорок. Вы догадываетесь, что уже истратили бóльшую и лучшую половину отпущенного, и огорчаетесь, что использовали его не очень практично.

Нечто подобное я и почувствовал во второй день апреля одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Но я еще не догадывался, что это — дурное предчувствие, просто было какое-то невнятное настроение с самого утра и подмывало встать на четвереньки и немного повыть, задрав нос к потолку, с которого свисала бронзовая люстра — настоящий Крамме с мейсенским фарфором. Впрочем, все эти бронзовые и фарфоровые побря-

кушки давно приелись, хотя и создавали какой-то уют. Но уют в то утро не действовал, хотя я и не начал выть на четвереньках.

Я сварил на кухне кофе. Хороший крепкий кофе — настоящий «экспресс», но пить не стал, сделал глоток и отодвинул чашку, вынул из кофеварки фильтр и вытряс из него коричневую спекшуюся массу, выдернул из розетки вилку мельницы и вышел, решив, что позавтракаю где-нибудь в забегаловке, когда появится настроение.

Двор был покрыт чистым, еще незаслеженным снегом, только от подъезда к воротам тянулась темная тропка. Я постоял на ступенях парадной, оглядывая осветленный двор, и представил себе, как снег падал всю ночь на затихший город — ложился на крыши и мостовые, на машины, дремлющие у тротуаров, на оранжевые жилеты рабочих, ремонтирующих пути, на запоздалых прохожих, на трамвайные рельсы и черные провода; он соскальзывал со шпилей и соборных куполов, тонул в смолисто лоснящейся ряби Невы, укутывал голые плечи памятников, осветлял хмурые переулки, настороженные дворы,— для снега все были равны, но я присвоил его — не впервой мне присваивать общественные ценности,— я решил, что это подарок для меня: кусок глухой ватной тишины и белый незаслеженный двор — непрактичный, как все подарки, грустный, потому что в сорок лет он уже ни к чему.

Я отомкнул замок, налегая плечом, растворил тяжелые ворота и выгнал машину из каретника. В сумрачности двора от нее на снег упал голубоватый отсвет.

В багажнике у меня стоял большой «танковый» аккумулятор, баллон со сжатым воздухом для подкачки колес и было полно всякого барахла, поэтому «Волга» слегка присела на задние колеса, словно собиралась прыгнуть вперед.

Я обошел ее вокруг, внимательно осмотрел, хотя и так знал, что все в порядке.

Я любил эту машину. Она помогала мне жить. На ней я убегал от тоски. Ее шины своим пением отгоняли одиночество. Она тешила мое тщеславие, когда я ловил внимательно-завистливые взгляды пешеходов, переходивших перекресток, а машина мурлыкала и пофыркивала, ожидая зеленого светофора, чтобы нести меня дальше по моим делам или без всяких дел, последнее бывало чаще. Я любил ее больше квартиры, хотя кварти-

ра была более давней моей спутницей и я вложил в нее больше трудов. Просто квартира была неподвижной и покорной хранительницей вещей, в ней не ощущалось характера, были только свойства, как у не слишком взыскательной женщины,— машина была самолюбивой и требовательной, она отзывалась на ласку и мстила за пренебрежение, в ней чувствовалось скромное несуетное достоинство, которое я уважал.

Пока я миловался со своей голубой тележкой, во дворе появилась Наталья. Я возился под капотом и наблюдал искоса, как она начала разметать снег в дальнем конце двора. Это было какое-то балетное действо, а не дворницкая работа,— длинноногая, в белых сапожках, в кофейных брюках, обтягивающих бедра, в стеганой курточке такого же цвета и белом свитере с высоким стоячим воротником, Наталья порхала по двору на фоне серой стены и тусклых окон первого этажа.

Я смотрел, как слаженно, плавно управляются с длинной метлой ее руки, поражался гибкости талии и медному отблеску густых каштановых волос. Это был очень странный дворник с незаконченным высшим образованием, владеющий английским и немецким.

Я знал ее еще деревенской неуклюжей и диковатой девчонкой, когда года четыре назад она появилась во дворе. Помню, как втихомолку потешался над ней, потому что, работая, при каждом наклоне Наталья демонстрировала нежно-розовое трико; чуждая жеманству и рефлексии, она всегда улыбалась самой себе и всем встречным, и щеки ее горели здоровым, полнокровным огнем. Прогресс шел удивительно быстро. Весной с ее лица исчезло выражение простодушной радости, глаза, обрамленные густой чернью ресниц и подведенные синью, стали таинственными, при наклоне она научилась изящно сгибать коленки, и уже не было видно никаких предметов туалета, хотя юбка стала чуть ли не вдвое короче, и только нездешний румянец на тонкой, туго натянутой коже узкого, овального лица остался прежним. Потом мы познакомились, и я узнал, что Наталья учится в университете.

Она иногда заходила ко мне за книгами, болтала, млела от всяких безделушек, бронзы, мебели и наивно, но очень мило кокетничала. И я, грешным делом, подумал, что она — легкая добыча, сделал довольно примитивный заход и потерпел фиаско. Но, странная вещь, даже испытал облегчение от этой неудачи. Тот эпизодик

сблизил нас, мы стали добрыми приятелями, и Наталья иногда даже поверяла мне свои сердечные тайны. Впрочем, у этой девушки из деревни был проницательный ироничный ум и к своим многочисленным поклонникам она относилась с юмором, не лишенным некоторой язвительности. Так вот мы и приятельствовали эти годы, оказывая друг другу мелкие услуги. Она убирала мою нору, я налаживал ей мотоуборщик, иногда помогал чистить двор в большие снегопады. Но в последнее время почувствовал, что Наталья относится ко мне как-то иначе. Внешне ничего не изменилось, лишь появилась уверенность, что сейчас я был бы более удачлив, но уже ничего не хотел, понимал, что эта чистая девчонка воспримет все слишком серьезно, а я не способен на большее, чем легкая интрижка. А может быть, опасался за себя? Так или иначе, но я инстинктивно стал сдержаннее, шутки мои потеряли рискованную остроту, в разговорах с Натальей появилась настороженность. Я тихо презирал себя порой за это тухлое благоразумие, пока не понял, что боюсь... Боюсь не этой красивой и неглупой девушки, а тех перемен, которые она могла бы внести в мою жизнь. И я уже сознательно стал держаться с Натальей посуше.

Она была чуткий человечек и отреагировала почти сразу: в наших отношениях появился какой-то шулерский оттенок, исчезла непринужденность общения людей, которым друг от друга ничего не надо.

Иногда Наталье изменяло даже ее безупречное женское чутье, и она начинала действовать как опереточная соблазнительница — появлялась разодетая в пух и прах, старалась повергнуть меня в смятение пристальными взглядами или надвигалась грудью, четко обрисованной каким-нибудь свитерком немыслимого изящества.

Надо сказать, что Натальины попытки были не слишком самонадеянны, потому что глаза и грудь, да и все остальное у нее было самого высокого качества. Нет, это не было попыткой с негодными средствами. И наверное, в один прекрасный день я бы не выдержал и сдался, но эти психические атаки, к чести Натальи, случались довольно редко. А потом, с некоторых пор я избегал всяческих сложностей в отношениях с прекрасным полом. И поэтому, когда Наталья, красивыми движениями разметая снег и не поворачиваясь в мою сторону, стала приближаться к машине, я на всякий случай напялил на физиономию самую постную личину.

С таким лицом меня, вероятно, приняли бы на работу в сераль любого восточного деспота даже без месячного испытательного срока. И когда она, наконец, приблизилась к машине, я вынырнул из-под капота и сказал голосом, кислым, как простокваша:

— Здравствуй, Наталья,— и меня самого передернуло от этого голоса.

— Привет,— она послала мне невнятный, неулыбчивый взгляд и еще старательнее зашуршала метлой.

Что ж, такая холодность меня вполне устраивала. Я снова сунул голову под капот, с наслаждением сбросил постную личину евнуха и почувствовал, как от неестественного напряжения заныли лицевые мускулы. Последний раз протер двигатель, потом скомкал ветошь и захлопнул капот. Не оглядываясь, я сел за руль, достал тюбик пасты для очистки рук и тщательно протер ладони.

Метла шаркала где-то позади машины.

Я повернул ключ зажигания, двигатель завелся с полуоборота, и моя ладонь уже легла на рычаг переключения передач, а нога выжала сцепление. Все это происходило будто бы без моей воли, машинально, потому что я внимательно прислушивался к шороху метлы и затылком старался увидеть, что делает Наталья. Признаться, я хоть и был доволен ее холодностью, но чувствовал обиду. А когда вы чем-нибудь обижены, то всегда стараетесь выдать свою обиду за что-нибудь более приятное. И я сказал себе: «Тем лучше»,— включил скорость чуть резче обычного и в это время услышал, как кто-то робко скребется в правую переднюю дверцу. Я вытолкнул рычаг в нейтраль и открыл дверцу, не повернув головы. Обида моя испарилась, и теперь я чувствовал себя величественным и неуязвимым, как Медный всадник.

Сиденье слегка вздрогнуло, дверца захлопнулась, и в машине запахло духами. Впрочем, запах был тонкий и довольно приятный.

— Чего куксишься? — спросил я небрежно.

— Да вот снег, а мне сегодня с утра на семинар надо.

По голосу я почувствовал, что дело не в этом снеге, и взглянул Наталье в лицо. Она смотрела в сторону, старательно избегая моего взгляда, курточка была расстегнута, и грудь, обтянутая белым свитерком, вызывающе лезла в глаза, с шеи на цепочке свисал кусок мутного янтаря и лежал на груди, как на полке.

— Плюнь ты на него, растает и так, тут и снегу-то... Могу подбросить до университета, пока время есть,— сказал я и заставил себя отвернуться.

— Да, сегодня целый день снег будет, а у меня «тум», как назло, не заводится. Я уже ногу отбила,— машинально она погладила себя от колена к бедру, голос у нее был какой-то усталый.

Я вздохнул:

— Пошли поглядим,— заглушил двигатель и вылез из машины.

Наталья вышла, прошагала к каретнику рядом с моим. Я полюбовался прямизной ее спины, узким перехватом талии; небольшие, туго обтянутые кофейным эластиком ягодицы даже не дрогнули при ходьбе. Она отворила створку ворот, включила в каретнике свет.

Красный мотоуборщик стоял в углу. Я нажал на педаль кикстартера, сегмент скрежетнул по зубьям шестерни, в цилиндре всхлипнуло. Я пошарил глазами на узком верстачке у боковой стены, нашел ключ на двадцать два и вывернул свечу. Электроды ее были влажными и черно-мохнатыми.

— Где у тебя свечи? — выпрямившись, спросил я и поразился выражению какой-то усталой безнадежности на лице Натальи.

— Свечи? — эхом отозвалась она и незрячим взглядом обвела полки с разным хламом.

Я сам нашел консервную банку со свечами, для верности зачистил электроды, ввернул в цилиндр. Мотоуборщик сразу завелся. Заглушив двигатель, я перекрыл бензиновый краник, не глядя ей в лицо, сказал:

— Не оставляй открытым, в цилиндре получается конденсат, и свечу забрасывает, ведь холодно,— и сам почувствовал озноб под тусклым светом мутной лампочки, отбрасывающей жидкие блики на облупившуюся штукатурку стен. Вся эта обстановочка сильно отдавала декорацией из неореалистического итальянского фильма, тревогой и безнадежностью.

Я вышел, задрал голову.

Белесый в серых разводах, застиранный лоскут неба перекрывал двор, цепляясь за карнизы шестиэтажных флигелей. Внезапная враждебность к Наталье вдруг овладела мной. Утро и так-то было омрачено круглой сегодняшней датой, нехорошим предчувствием, а тут еще убитая ее физиономия. Наталья вышла из роли, отведенной ей в моем спектакле-существовании, это

раздражало. Лучше всего было бы вскочить в машину и уехать, оставив ей ее неприятности, потому что для полноты существования у меня хватало своих. Но я подождал, пока она замкнет каретник и повернется ко мне, и тогда спросил:

— Чего все-таки киснешь? — спросил не очень настойчиво, рассчитывая на ни к чему не обязывающий ответ, и увидел, что ее глаза повлажнели. Наталья была не та девушка, которая может прослезиться по любому поводу. Я понял — что-то случилось, и позабыл о своем раздражении.

— Выкладывай, а то мне уже пора ехать,— взял ее за плечо и подтолкнул к дверце, сам обошел машину, сел и завел двигатель, чтобы он прогревался на холостых. Едва уловимое, уютное урчание двигателя, привычная упругость сиденья — все это умиротворяло. Поэтому, когда Наталья наконец заговорила, я уже был спокоен и благодушен.

— Да, грозятся уволить... Так не хочется в общежитие. Я уже привыкла,— она грустно усмехнулась.

— А в чем причина? Что, ты плохо работаешь?

Почему-то я почувствовал облегчение. Огорчения ее оказались пустяковыми.

— Из-за того, что на дневном.

— Ерунда. Где они дворника возьмут?

— А им все равно, скоро лето, обойдутся и так,— она внезапно всхлипнула, резко отвернулась.

Только этого недоставало! Я разозлился и машинально возвысил голос:

— Да что стряслось, черт подери! Ну, выкладывай!

Она еще похлюпала носом, потом, не поворачиваясь, глухим голосом ответила:

— Бурков пьяный ввалился... Полночи все грозил и приставал...

Я почувствовал, что от злости сводит какие-то мышцы на шее, дышать стало трудно.

— Когда?

— Что? — испуганно спросила Наталья.

— Когда это было?! — я уже не контролировал своей интонации.

— Ночью сегодня.

— Так, открытым текстом и предлагал? Да?

Она не ответила, снова зашмыгала носом.

— Перестань! — заорал я.

Наталья съежилась от этого крика, зажала ладонью

рот. Мышцы у меня на шее отпустило, я вздохнул и сказал спокойно:

— Не бойся. Никто тебя не тронет, обещаю. И не уволят.— Я достал ключ от квартиры.— На. Прими рюмку — успокаивает. Будет настроение, смахни пыль или просто поваляйся с книгой. Ну, хватит, хватит.

Она протянула руку за ключом, робко взглянула на меня посветлевшими, будто промытыми глазами. Я выдавил на лице улыбку.

— Все перемелется, увидишь.

— Хоть бы какую-нибудь комнатуху свою... Когда имеешь свой угол, все другое.

Лицо ее было усталым и красивым, тихо светились серые глаза, и, ей-богу, она была так хороша — прямо дух захватывало. И мне стало очень жаль себя, потому что я знал, что эта квартира и эта машина и было все, что я из себя представлял. Я чувствовал, что если они исчезнут, не дай бог, в один прекрасный день, то от меня не останется ничего — я сразу рассыплюсь в прах, и только сведения в картотеке УВД будут свидетельствовать, что я когда-то отведал казенных харчей. И я почувствовал такой приступ тоски, что чуть не потянулся к Наталье, чтобы, ухватив ее за плечи, спрятать лицо в волосах и отдышаться, как беглец, немного оторвавшийся от погони, переводит дух в приречной траве. Но я не сделал этого. Я просто сказал:

— Найдется и тебе нора. Поработаешь, дадут постоянную прописку. Ты же знаешь, сколько я горбил за эту квартиру. Да и не квартира это была — швейцарская под лестницей... Это я уж потом нагородил все. Я и сортиры чистил, и штукатурил, и электриком, и водопроводчиком был, даже крысоловом, а платили меньше, чем тебе, тогда и ставок таких не было. А у тебя все идет нормально: учишься, живешь самостоятельно. Многие же девчонки — в общежитии и на голую стипендию.

— Да устала я от всего... Пройдет,— сказала Наталья.

— Ну ладно. Сунешь ключ в почтовый ящик.

Защелкнул за нею дверцу на кнопку и вырулил со двора.

Я почти автоматически объезжал торчащие крышки люков на улице, они были знакомы, как прыщи на лице, и не отвлекали от мыслей. Я с грустью завидовал Наталье, тому наивному напряжению, с каким она живет,

не изменяя себе, тому, что она молода и чиста; я завидовал даже ее огорчениям и неосуществленным желаниям, и мне стало казаться, что все годы, которые я ненавидел, собрались на заднем сиденье машины и хихикают мне в спину, переглядываясь между собой. Их дыхание давило мне затылок, душило смрадными бараками детских и взрослых колоний, вонью придорожных канав; оно леденило ветром, свистящим в таежных делянках, и еще многим,— всем, что я ненавидел и боялся. Может, ненавидел, потому что боялся. И уже не комок стыл у меня в груди, а влажная промерзшая глина, которую копал я возле истока грустной реки,— зеленоватый тяжелый ком, поблескивающий инеем на разломах и все же не сползающий с лезвия лопаты. От этого кома стало трудно дышать и помутилось в голове. Я испугался, что сейчас начнется приступ... Один из тех, что привязались года три назад, что-то вроде эпилепсии. В голове вдруг мутилось, и все плыло перед глазами в омерзительном черно-красном тумане, и внутри сковывало страшной предсмертной тоской. Когда это случалось, я за что-нибудь хватался, бил посуду, рвал книгу... Никаких связных мыслей, образов, чувств — ничего не оставалось в голове, лишь парализующий, необъяснимый ужас и тоска. После этого я чувствовал себя хорошо выкрученной половой тряпкой, валялся на диване, ничего не ел и не пил, даже не курил. Припадки эти всегда случались со мной дома, когда я бывал один, и никто не видел меня в этом помрачении, и вот предчувствие этого здесь, за рулем, на дневной апрельской улице, было особенно тягостным.

Я весь напрягся, прижал локти к груди и вцепился в баранку. Машину подкидывало, потому что я уже не следил за мостовой, только старался держать прямо. Подвеска колес жалобно постанывала, и мысленно я попросил у машины прощения за слабость. Я надеялся, что этот благородный механизм войдет в мое положение, поймет и поможет справиться с этим страшным предчувствием. Я не верил, что припадок начнется сейчас, не верил, потому что иного выхода не было. Да и слишком мистично было бы отметить свои четыре десятка лет приступом цепенящего ужаса на сизой апрельской улице с мутными ручейками талой воды, стекающими в решетчатые крышки люков.

Я привычно свернул вправо и поехал широким асфальтированным переулком, и мне сразу стало легче

от его нестаявшей белизны и безлюдности. Мокрый ком, стынущий в груди, превратился в маленькую острую льдинку, и я уже мог свободно вздохнуть.

Откинувшись на спинку сиденья, я преисполнился благодарности к этому переулку, памятному с детства и не раз спасавшему от неприятностей. Переулок был старым добрым знакомым — там, на углу большой улицы, стоял дом, в котором я родился и где до сих пор жила моя мать.

Я заученно остановил машину, не доезжая до школы, заглушил двигатель, закурил и посмотрел на часы. До появления Краха оставалось десять минут. Сегодня у меня не было настроения заниматься делами, но я решил подождать, чтобы послать его на сегодня подальше. А то он, не застав меня на привычном месте, еще припрется домой, а мне это совсем не улыбалось. С такой визитной карточкой, как у этого человекообразного, лучше было не показываться возле моего жилья.

Я покуривал длинную американскую сигарету в коричневой бумаге — три рубля пачка у фарцовщика — и глядел вдоль переулка,— там, за крышами моей родной улицы, проглядывало позднее робкое солнце и чуть освещало конец переулка, как раз возле дома, в котором я появился на свет ранним утром этого дня сорок лет назад.

Вдыхая сладковатый вкусный дым сигареты, я глядел вдоль переулка и словно принимал парад: истощенные годы моего детства шли нестройной цепочкой, шлепая босыми ногами, брезентовыми сандалиями, калошами, подвязанными веревочкой,— они шли вразвалочку заблатненной походкой по горбатой булыжной мостовой (асфальта тогда еще не было), опустив голову в поисках окурка. Я видел их всех: тринадцатый — в уродливой кацавейке, с еще не сошедшими признаками дистрофии на недовольном недетском лице; четырнадцатый — нагловатый и трусливый мелкий воришка с опасливо бегающими глазами, замученный фурункулезом и куриной слепотой,— они шли по переулку к его началу, где был Мальцевский рынок; шел пятнадцатый — с косой челочкой через лоб, с высокомерно перекошенными губами бывалого правонарушителя, гордого своим невежеством и приводами. Они шли на рынок, эти послевоенные мальчики, угрюмо мечтавшие о еде... Они уходили по переулку, не оставляя следов на апрельском снегу, как не оставили их нигде. Только я с горечью

вспоминал их,— с горечью и нежностью, потому что они были частью меня.

Я смотрел вдоль переулка, на котором играл в лапту и подбирал окурки, голодал и спасался от милиции проходными дворами; было тихо, и косой клин солнечного света лежал вдоль тротуара у моего родного дома, и я размяк от всего этого и чувствовал себя добрым и кротким, как только что обрученная невеста. И вот с моей улицы в переулок свернула одинокая фигура в модном коротком пальто.

Подпрыгивающей неровной походкой она приближалась, и я уже различал смутно черневшие усики на тусклом лице и блескучий значок на лацкане пальто. Это и был человек, которого я ждал.

Впрочем, «человек» — это сказано слишком сильно.

В той колонии, где мы встретились, его прозвали Крах. Его уже не считали за человека и даже не обижали. Изредка за закрутку махорки заставляли кукарекать, и он орал до хрипоты. Это и были единственные звуки, которые я услышал от этого существа.

Я всего месяц как жил в той колонии и успел освоиться со всем, кроме физиономии Кольки Краха. Я тогда уже заканчивал свой срок, был видавшим виды бродягой и привык ко всему. Но к физиономии Краха привыкнуть было нельзя.

Я уже успел завоевать симпатии одних колонистов и вызвать опасение и неприязнь других; я вошел в мир этой сравнительно благополучной колонии легко и прямо, как входит гвоздь в сырую осину... Быть может, это не совсем удачное сравнение, но отношения между администрацией колоний и содержащимися там правонарушителями всегда напоминали мне отношения молотка и гвоздей — друг без друга эти вещи не имели бы смысла,— и я сравнил себя с гвоздем. Да и не я первый беру для сравнения метизы — сказал же поэт: «Гвозди б делать из этих людей...»

Гвозди, хоть это и хлопотно, все-таки лучше делать из железа. Но я был не железный и не мог вынести физиономии Кольки Краха. Она не пронзала каким-нибудь особым страдальческим выражением — она ужасала отсутствием всякого выражения. Даже спил свежесваленного дерева имеет какое-то выражение своими годовыми кольцами, сочащейся из пазушек смолой,— рожа Краха не выражала ничего, как доска из забора колонии. доска с двумя пустыми безбровыми дырками от

вывалившихся сучков,— казалось, загляни в них и увидишь то, что за ними: истоптанный снег, темные срубы бараков, тусклые окна, колючку на серых столбах запретки.

Мне было неуютно в привычном мире, пока Крах торчал на помойке. Я стал ему помогать,— очень уж он был жалок: казалось, еще шаг, и рухнет все вселенское человеческое достоинство. А кто откажет себе в удовольствии малым усилием спасти все человечество? Правда, тогда я мыслил не столь высокопарно и глобально, а просто подкармливал Краха выигранными в буру и очко горбушками, переговорил с нарядчиком, чтобы он при первой возможности пристроил Краха дневальным в бригаду побогаче, а когда нарядчик не выполнил моей просьбы, набил ему морду — я тогда здорово поднаторел в этом занятии,— и это подействовало.

Вот так Колька Крах и превратился из отказчика в работягу, но это не продвинуло его к Человеку, хотя и спасло от неминуемой смерти.

Потом я освободился, отсидел еще срок и уже почти через пятнадцать лет встретил его здесь. Он так и остался Крахом. Служил швейцаром в плохоньком ресторане, насквозь провонявшем соленой треской, и даже не сволочился, как все привратники (есть у этого люда привычка делать вид, будто они пропускают вас в царствие небесное и это целиком зависит от них). Крах был не такой, хоть и стоял у замызганных дверей в фуражке с тусклым золотым околышем,— он вежливо отворял и никого не задерживал.

Я и столкнулся с Колькой Крахом у дверей этой обжорки и приобщил его к «железке». Он стал скупать для меня золотишко и камни, прирабатывать на свою краховую жизнь. Я не очень с ним церемонился, но и не обижал. Мне казалось, что, если начать относиться к нему слишком уважительно, это выбьет его из колеи и он погибнет, как червь, вытащенный из навоза.

И вот этот Крах неровной подпрыгивающей походкой подошел к машине, открыл правую дверцу и тихо уселся на сиденье. Он выглядел сейчас респектабельнее, чем в те времена. Правда, лицо осталось прежним, лишенным выражения. Но теперь это лицо обрамляли рыжие полубачки, обработанные восстановителем цвета седых волос, а под носом змеились тщательно подбритые и начерненные усики опереточного злодея. И весь он в своих брюках розово-горчичного цвета, в клетчатом пиджачке,

в галстуке бабочкой, в коричневой кепке «фантази» был похож на карикатуру. Впечатление довершал немыслимый перстень с фальшивым хризолитом величиной с орех. Крах купил его еще в начале своей карьеры на «железке», приняв за золотой с настоящим камнем и соблазнившись дешевизной. Он был искренне огорчен, узнав, что его сокровище ценится не дороже бутылки «белоголовой», но все же оставил его себе, не выбросил. И вот владелец этого набора претенциозного тряпья, фальшивых усиков, фальшивых полубачков и поддельного перстня сидел рядом в машине и кротко, прилично посапывал.

Он всегда был почтителен со мной и не заговаривал первым, даже не здоровался — ждал, пока я спрошу. А я медлил, зная, что он будет сидеть тихо, даже если в его короткий, похожий на куриную гузку нос заползет скорпион. Вот как вырос Колька Крах за эти годы: его даже хотелось унизить, а это само по себе предполагало в нем какое-то достоинство. И все же я не мог считать его человеком... не мог, и все, хотя Крах и пытался походить на человека. Он даже грешил потихоньку — разок я встретил его с какой-то теткой. У нее была кирзовая кожа и зловеще поджатая длинная верхняя губа, которая сообщала лицу выражение смертельной обиды на весь мир, а в белесых глазах плескалось неутолимое хамство. Она была полной противоположностью Краху — он был кротким и почтительным ничтожеством. Потом я узнал, что это создание зовут Веточка и Крах намерен сочетаться с ней браком. Что ж, они могли дополнить друг друга... Хотя, скорее всего, Крах снова окажется на помойке в какой-нибудь колонии.

Я резко повернулся и спросил:

— Крах, помнишь колонию?

Он съежился, засопел громче и выдавил:

— Помню.

— Хочешь туда снова?

Он совсем сник, даже втянул руки в рукава пальто и обреченно молчал.

— Так вот, если не хочешь,— чуть сбавил я тон,— пошли эту Веточку куда-нибудь, а то сам отправишься далеко-далеко.

— Она вышла замуж,— тихо ответил Крах. И, ей-богу, в голосе его слышалась настоящая боль.

— Ну да! Скажи-ка. И кто же покорил ее сердце?

— Да... не знаю.

— Ну ладно,— чего-то мне стало жаль Краха, и от этого захотелось съездить его по роже.— Какие новости? — Я завел двигатель и медленно поехал по переулку.

— Арона замели,— сказал Крах.

— Так,— я непроизвольно передернул плечами, возникло такое ощущение, будто за шиворот откуда-то сорвалась холодная капля и медленно катится меж лопаток.— Откуда это известно? — Я покосился на него: не заметил ли, что я дергаюсь, но Крах смотрел в боковое стекло.

Я прибавил газу, повернул на свою улицу и поехал к Невскому.

— Татарка эта, Халила, прибегала к скупке... Она жила с ним.— Крах вдруг оскалился волчьей улыбкой.— Шпана, что на Арона батрачила, заметала икру.

— А ты не дрогнул бы, если б меня повязали?

— Ты, Петрович, не расколешься.

— Ты уверен?

— Я же тебя не первый день знаю.

Я выехал на Невский, миновал перекресток Литейного. Мелькали машины, суетились пешеходы. Утренний снег на мостовой уже растаял, из-под колес передней машины на лобовое стекло летела водяная пыль и тут же засыхала коростой грязи. Я сделал разворот и свернул с Невского.

— Зачем тебе туда? — забеспокоился Крах.

— Проедем, глянем, кто там пасется. Нас ведь не засекут в машине.

Я медленно катил по улице и просматривал тротуары, отмечая среди прохожих фланирующие фигуры перекупщиков. Это и была «железка» — пятачок вокруг скупочного пункта драгоценностей. Здесь и ловили рыбку разные крахи. На меня работало еще два человечка, но они не знали друг друга, а сам я здесь никогда не показывался, по крайней мере последние три года.

У дверей скупочного было пусто. Сюда шпана не подходила, она работала на ближних подступах, просеивая тех, кто шел сдавать.

— Разбежались, чертобасы, не по климату стало,— злорадно проскрипел Крах.

— Ты тоже пока отдохни. Нечего здесь светить,— сказал я и поддал газу.— Деньги же у тебя есть.

— Нет, Петрович, извел всю капусту. Не знаю,

может, будешь ругать,— он поерзал на сиденье и протянул мне что-то завернутое в шуршащую бумагу.

Перекресток приближался, и мне некогда было рассматривать его покупку.

— Погоди,— сказал я и свернул к Фонтанке, переехал мост, миновал площадь с памятником Ломоносову, повернул к Хореографическому училищу и остановился. Здесь было мало прохожих, дремали на сиденьях шоферы учрежденческих машин, и асфальт был уже сухим и чистым.

— Ну что ты там выхватил такого? — Я, не глядя, протянул руку, и Крах вложил в нее тяжелый шуршащий сверточек.

Я медленно огляделся — нет ли поблизости любопытных,— тротуары были почти пусты, желтые стены зданий выглядели так, будто их пропитали солнцем, и задний фасад театра, замыкавший эту короткую улицу, тоже был желтым и теплым и в обманчивой перспективе казался далеким.

Я чувствовал весомость сверточка в ладони, угадывал под шуршащей ломкой бумагой какие-то выступы и впадины, но не спешил разворачивать. Мне было не очень интересно. Несколько лет назад я не медлил бы ни минуты, а теперь вот равнодушно глядел в обманную перспективу желтой улицы, и Крах прилично сидел рядом и деликатно сопел.

Я столько уже держал в руках этих сверточков, что не испытывал ничего. Я знал, что любой сверточек принесет твердый доход, но это тоже не волновало меня. Я никогда не любил деньги, они были нужны, потому что могли принимать форму желаний. А все эти сверточки содержали малопривлекательные побрякушки. Приказчики нэповских времен самоутверждались, поднося их женам. Побрякушки были непрочны и сомнительны, как те времена. Иногда это были монеты с хамоватым профилем всероссийского самодержца. Я презирал все эти вещицы за их потаенность и наглую ценность, как старьевщик презирает хлам и тряпье, которые дают ему средства на жизнь. Я любил другие вещи, откровенные в своем аристократизме и красоте,— фарфор и бронзу, а больше всего — книги. И поэтому не спешил я развернуть сверточек, что принес Крах. Развернув его, я с этой прекрасной и строгой улицы, которая была сродни ампирной бронзе и севрскому бисквиту, сразу переносился в мир вонючих и сумрачных помоек, из свободного бро-

дяги и веселого бездельника превращался в замызганного, прибитого жизнью старьевщика, перебирающего истлевшие подштанники, старые калоши и ржавые жестянки, шепчущего обсыпанными гунявыми губами грошовые расчеты...

Я помнил этих пугающих своей приниженностью людей с пустотой прозрачных от алчности глаз. Они приходили в нашу квартиру до войны с черной лестницы, давали робкий короткий звонок и, потупясь, пели гнусавыми голосами: «Тряпки, бутылки, кости, старье ра-аз-но-ое». Мать или соседка через порог говорили: «Нет, князь, ничего нет»,— протягивали белый блестящий двугривенный и торопливо с виноватым лицом запирали дверь на черную лестницу. А я уже знал, что князь — это «вещий Олег», и дивился тому, что этих пугающе непонятных людей тоже величают князьями. Но ни мать, ни соседка не могли разъяснить мне этого. Они говорили, что так звали этих людей всегда. И я подумал, что князья бывают разные: одни обрекают мечам и пожарам, другие роются в вонючем тряпье. Жизнь показала, что детская мысль была не столь уж ошибочной. Княжеский блеск оплачивался тайными унижениями, разгребанием помоек,— незапятнанность наряда и рук по вечерам объяснялась тем, что руки моют с мылом, а рабочее платье меняют на вечерний костюм.

Я был князем по вечерам, я был князем днем. И я по-княжески небрежно сорвал хрустящую бумажку с покупки Краха и почти сразу услышал свой голос, спокойный и даже насмешливый:

— Ну и за сколько тебе втолкали эту туфту? — Я произнес это и почувствовал, что задыхаюсь от страха и уже не могу вымолвить ни слова больше. Резко воткнул скорость и дернул машину так, что она прыгнула блохой. Ничего не замечая на улице, я миновал театр и благополучно выбрался на Невский. Тут нужно было следить за дорогой, и это помогало справиться с собой. Но теперь я уже знал, что со мною случится припадок.

Голос Краха скрипуче донесся откуда-то издалека:

— Оправа же там рыжая, Петрович.— Он умолк, потом робко спросил: — Две-то сотни стоит?

Я не повернул головы, даже не покосился в его сторону, собрал себя в ком и, вцепившись в руль покрепче, тихо сказал:

— Получишь в два раза больше, но я прекращаю дела, лавочка закрыта... на время.

— Четыре бумаги! Ладно, Петрович. Ты только свистни, когда нужно будет.

Я не видел лица Краха, но по тону чувствовал, что он доволен. На ходу я вынул бумажник и выкинул восемь зеленых. А внутри все дрожало от страха, мелкого, подленького страха, что все это — сон и сейчас я проснусь от скрипучего смеха Кольки Краха в дальней колонии общего режима.

Возле Пушкинской я тормознул.

— Ну, валяй. Нужен будешь, найду.

Пока Крах вылезал из машины и бережно захлопывал дверцу, прошла, мне казалось, вечность. Но я не сразу рванул машину с места, а еще посмотрел ему вслед, как он подпрыгивающей походочкой уходит в своем модном коротком пальто и, наверное, улыбается удачной сделке. Если бы он знал, что лавочка закрылась навсегда, что я уволил его совсем, потому что он сделал свое дело; так увольняют сезонников — «в связи с окончанием работ». Но Колька Крах не знал этого, не знал, что его увольнение свершилось в тот миг, когда он положил мне в ладонь эту штуковину, не знал он и того, что это последний крест, которым фортуна пометила его судьбу. Он был рожден получить свои четыре сотни и уйти с улыбкой счастья.

Я смотрел ему в спину, и мне было немного грустно, как при всяком прощании: ведь частично Крах был моим созданием, и он выполнил свое предназначение, сделал меня богатым, и я заплатил ему за это четыре сотни.

Я плавно тронулся, свернул на Восстания и медленно поехал домой.

Было два часа дня.

2

Знакомые старые вывески, крошечный сквер на углу, в котором, казалось, все эти сорок лет отдыхают по пути из магазина домой одни и те же старушки с кошелками; лепные фасады старых домов — все были молчаливыми свидетелями моей юности.

Я не очень любил ходить здесь пешком; на этих относительно тихих, прилегающих к центру улицах, как спившийся бывший школьный товарищ, с наглым и униженным взглядом ожидающий вашего узнавания и вашей подачки, болталось прошлое. Оно настороженно выглядывало из мглистых подворотен, ежилось в худой

одежонке под навесами подъездов, слонялось на пятачке возле булочной, магазина и пивной.

Я не очень любил ходить здесь пешком, потому что не мог избавиться от ощущения слежки. Оно возникало почти всегда,— моя история преследовала меня. Я иногда размышлял об этом, пока не придумал хоть какое-то объяснение.

У всякой человеческой судьбы есть своя тема. В житейском хаосе, в притворной случайности событий время ведет вашу тему на разные голоса, разрабатывает и развивает ее, в окружении подголосков скрывая переходы, и, только когда в вашей жизни наступит финал, вы, быть может, услышите тему своей судьбы, утвержденную в главной тональности.

Я не знал своей темы, но смутно чувствовал ее с давних пор. Я ощущал ее во внезапных обращениях памяти вспять, в болезненных приступах ужаса, в одинаковых снах. История моей жизни преследовала меня и требовала завершенности. И сегодня мне исполнилось сорок. Надлежало жить дальше, покоряясь теме судьбы или ей вопреки.

Я ехал улицами своей судьбы, где каждый поворот и перекресток были свидетелями моей истории.

В этом районе, рядом с Литейной частью и Невским проспектом, с начала прошлого века квартировали воинские подразделения — саперный гвардейский батальон, Преображенский полк, лейб-гвардии артиллерийская бригада. И дворы, словно археологические разрезы, обнажали прошлое. Внутренние флигели из винно-красного кирпича на известковом растворе хранили смутные очертания старинных конюшен и фурштатских дворов; неожиданно большие прямоугольные пустыри задних дворов напоминали об экзерцирплацах, свистках капралов, нервной дроби барабанов, грохоте сапог,— прошлое таилось за высокими лепными фасадами доходных домов поздней постройки, становилось их задними стенами, внедрялось в настоящее прочными бутовыми фундаментами, массивными аркадами цокольных этажей, оставалось в названиях переулков — Саперный, Артиллерийский, Манежный,— прошлое не хотело уходить.

Ребенком и юношей бродил я по этим переулкам, в блокадное лето собирал лебеду на дворовых пустырях, окруженных мощными стенами, отсиживался в бомбоубежищах, устроенных в глубоких сводчатых казематах, оставшихся от бывших казарм и послуживших основа-

ниями позднейших доходных домов, и всегда испытывал чувство неясного волнения и подавленности при виде винно-красной кирпичной кладки с четко расшитыми известковыми швами, белеющими в подвальной полутьме. Казалось, старая кладка вместе с легкой прохладой источала еще что-то, чему нет названия, но от чего учащалось дыхание и тревога закрадывалась внутрь.

Уже взрослым, привыкнув бродяжить по книгам, я узнал историю этих кварталов и понял, что тогда, в детстве и юности, смутным волнением и тревогой на меня веяло время, словно стены и своды казематов были устьем ущелья длиной в полтораста лет и оттуда, из этой бездны, дышало прошлое, которое не хотело уходить и никогда не уходит, а только прячется, превращаясь в фундаменты и подпорные арки.

В двадцатые годы улицы здесь были переименованы и получили названия по фамилиям писателей и поэтов, и если вдуматься, то и в этих названиях прошлое прорастало в настоящее. Здесь Жуковский и Некрасов мирно пересекались с Маяковским, параллельно Салтыкову-Щедрину пролегал Рылеев; Короленко и Радищев с двух сторон ограничивали этот район. Даже продуктовый магазин и пивную на пятачке жители окрестных домов называли писательскими.

Я мог бы прочесть целую лекцию об истории района. Не знаю, что почерпнули бы из нее юные краеведы, но для начинающих послевоенных правонарушителей лекция, наверное, была бы не бесполезной...

Если вы завалитесь при попытке что-нибудь украсть на Мальцевском рынке — ну хотя бы кусок говядины с сахарной костью или какой-нибудь ком мороженой требухи (мало ли чего не приходится в жизни),— то у вас еще есть надежда смыться, потому что район этот хороший: переулки тихие и малолюдные, много проходных дворов и довольно приличная публика — почти сплошь коренные ленинградцы,— которая, убедившись, что ваша пробежка — не прихоть досужего бездельника, деликатно очистит дорогу.

Да, в этом районе у вас, безусловно, есть некоторые шансы, так что если вас не схватят на месте, и если какой-нибудь интеллектуал (от этого народа можно ждать любой пакости) не даст вам подножку, и если вам удастся сохранить расстояние между вами и преследователями, а для спасения его непременно нужно сохранить, то считайте, что отделались легким испугом.

Значит, вы рванете по Баскову переулку — выбегать с рынка на улицу Некрасова глупо — и не оглядывайтесь, можете не сомневаться — те, кто гонятся за вами, очень прилежны и не нуждаются в моральном стимулировании. Так что сосредоточьтесь на своем занятии и лучше смотрите вперед, ибо то, что позади,— это прошлое и вы, по крайней мере, догадываетесь, что́ в нем, а будущее грозит неизвестными бедами.

Не сворачивайте на улицу Радищева. Она отпадает, это дело проверенное. Дуйте дальше, если, конечно, вас не хватит голодная одурь, а это запросто может случиться, ведь сытые не воруют на рынке.

Сытые вертят дела посолидней.

И вообще-то, воровать нечестно.

Но я не собираюсь читать мораль, хотя и не противник оной. Словом, я не собираюсь воспитывать.

Из чистого альтруизма стараюсь я дать представление о планировке нашего района, потому что мелких воришек, когда догоняли, били долго, с хмельным воодушевлением и молитвенной истовостью.

Так вот, не сворачивайте никуда, а пересеките улицу Восстания — она многолюдна, ходят трамваи и можно иногда замешаться в толпу на остановке. Но если вам уж очень наступают на пятки, бегите дальше. Нужно только добраться до дома двенадцать по Баскову переулку.

Смело ныряйте в ворота. Вас встретит сумрачный дворик с овальным сквером посередине — три чахлых дубка, старая железная ограда и ветхая скамья. Не бойтесь этой сумрачности — дворик ваш друг, а друзьям можно кое-что простить. Бегите мимо сквера под арку второго двора. Он совсем тесный, и с трех сторон там глухие кирпичные стены. Вы еще подумаете, что это тупик, и перепугаетесь, но напрасно. Кто боится тупиков, тому не видать свободы.

В левом дальнем углу двора вы увидите у самой земли маленькую амбразуру подвального окна — это ваше спасение. Окно как раз таких размеров, что в него может протиснуться подгоняемый страхом неудачник, но ни один преследователь на моей памяти не мог пролезть в него, ибо ворующий мясо на рынке всегда тоньше того, кто им торгует.

Теперь вам уже не надо спешить, вы можете отдышаться, послушать полифонию разъяренных голосов за окном. Отвечать или дразнить не следует, в этом мало благородства. Да вам и не захочется, потому что с первы-

ми глубокими вдохами прохладного, чуть сыроватого подвального воздуха вдруг придет странное ощущение наполненности этих мгновений: вы услышите учащенный ритм своего сердца, четко гармонизированный с враждебной разноголосицей за подвальным окном, и вас заполнит большое усталое спокойствие и сознание извечного права неимущего перед имущим. Просветленный и тихий, словно оправившийся после тяжкой болезни, вы пойдете в темноте, ведя рукой по стенке подвала, до двери; выйдете в хмурый двор, заставленный раньше поленницами, а теперь мотоциклами, минуете длинный, как кишка, проход между старинными пакгаузами и попадете в следующий двор, он выведет вас совсем на другую улицу, тихую, обсаженную деревьями вдоль фасадов старых петербургских доходных домов.

Выходите на эту улицу и можете начинать новую и прекрасную жизнь. И дай бог, чтоб вам повезло больше, чем нам, жившим на этой улице и не раз спасавшимся этим путем...

Приблизительно так начал бы я лекцию по истории района, но не просвещение начинающих правонарушителей сейчас заботит меня. Просто я пишу свою историю, а история неотделима от тех мест, где она произошла. Неразлучность пространства и времени фундаментальна для любого движения, а история жизни даже такого человека, как я, есть всего лишь одна из форм движения.

Я двигался на собственной «Волге» по улицам судьбы, где во дворах сырая тишина плескалась среди унылых желтоватых стен и лизала у подъездов медные дощечки с номерами квартир,

где из амбразур подвальных окон выглядывала крепостная угрюмая мощь,

где фасады хмурились прошлым столетием,

где в лестничных окнах еще сохранились красно-синие витражи,

где замерли голоса и топот мальчишек, большинство которых вот уже тридцать лет лежит в общих могилах на Пискаревском,

где время навылет проходит сквозь память, и нет ему ни конца, ни начала, и только история жизни отдельного человека имеет конец.

Я знал об этом уже тогда, второго апреля одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда ехал на собственной «Волге», переполненный дурными предчув-

ствиями и внезапной усталостью, и в кармане у меня лежал тяжелый сверточек в шуршащей бумаге...

Моя история преследовала меня и требовала завершенности, и теперь я пишу ее, пытаясь угнаться за нескончаемым потоком времени, но мне остаются одни воспоминания.

Реальность ли моя жизнь, если она не выражена словом, словом моим, субъективным и личным, а только зафиксирована в протоколах следственных и судебных дел, которые являются лишь летописью моих не самых благородных поступков, но отнюдь не историей души. Протоколы отражают бесстрастную истину, но я жажду правды, а правда всегда субъективна.

Меня дважды судили за мелкую уголовщину. И во второй раз приговор мог быть и чуточку помягче, после него я еле выбрался живым из мест не столь отдаленных. Но ни тогда, ни теперь я не испытывал враждебности к судьям.

Люди редко совершают поступки. А уж целиком жизненный путь человека еще реже является актом свободного выбора. И большинство тех, кто не врет себе больше, чем другим, понимают это.

За свои сорок лет я от многих слышал, что они могли бы совершить то или это, будь у них возможности. Ну что ж, у меня были возможности. Мелкие кражи, за которые меня судили тогда, при всей их пошлости, все-таки были поступками, и я отвечал за них, не вымаливая снисхождения. Ответственность неотделима от свободы, хотя некоторые интеллектуалы всерьез считают свободой отсутствие всякой ответственности. Я свободно совершал свои пошленькие кражонки и получал за них лишение свободы, но это была открытая игра, и я, ни тогда, ни теперь, не испытывал враждебности к судьям и даже к прокурору, которому почему-то хотелось, чтобы срок мой был побольше — на всю катушку.

Я не запомнил его доводов, но в памяти остался синий мундир, желтоватая от частых стирок рубашка. Он стоял за фанерной кафедрой метрах в пяти от моей скамьи подсудимых, усталый и, видимо, не очень здоровый человек, и устало просил для меня двадцать лет, бережно завинчивая колпачок своей голубенькой авторучки.

Свет навечерья проходил сквозь плохо вымытые стекла голых, без занавесей, окон, казенный свет, тускло отблескивающий на рядах фанерных казенных кресел.

Десяток подавленных, от утомления не способных на сочувствие людей ерзали на жестких сиденьях. Унылые беленые стены, деревенский румянец на щеках конвоира, стоящего у барьера скамьи подсудимых... привкус железа во рту, изнеможение, смертельное безразличие. Сейчас мне дадут «последнее слово».

Подсудимый Щербаков!

И холодная ломкая тишина звенит в ушах.

Я поднимаюсь на непослушных деревянных ногах, проглатываю набежавшую горькую слюну, сквозь болезненную немоту, туго перехватившую горло, выдавливаю два-три ничего не значащих слова:

— Виноват... На ваше усмотрение...

Тусклое октябрьское небо в верхних фрамугах...

Середина века...

Ленинград...

Отчаянье...

Судьба...

Суд удаляется на совещание!

Минуло два десятка лет, время растворило отчаянье, и в череду черствых дней канула горькая юность, но только одно омрачает меня.

Тогдашняя раздвоенность и немота до сих пор причиняют боль, как осколок снаряда, с сорок третьего года застрявший в мышце бедра,— маленький, с горошину, кусочек крупповской стали, такой безобидный на рентгеновском снимке,— пронзительно, остро жжет пасмурными осенними ночами. Так жгли меня полуосознанные чувства, испытанные на том суде,— раздвоенность и немота.

До сих пор кажется, что судили не меня, что речь шла о каком-то бездушном механизме, который с сообщниками дождливой ночью октября одна тысяча девятьсот пятьдесят третьего года «путем подбора ключей и отмычек, вскрыв заднюю дверь продовольственного магазина, проник в подсобное помещение и похитил различных продуктов на сумму семьдесят три рубля сорок шесть копеек, плащ, принадлежавший заместителю директора Сизову, а также неинкассированную выручку в разменной монете и мелких купюрах в сумме сто двадцать один рубль шестьдесят копеек и был задержан на месте».

Весь тот короткий, но утомительный судебный процесс был выяснением практических подробностей,— на весах правосудия взвешивалось лишь преступное дей-

ствие, но не поступок, ибо он — это и помыслы, и боль, и надежды, и злоба; человек — это поступок.

Я не рассчитывал на мягкость наказания, но я хотел очищения. И поэтому так растравляюще болезненна была немота,— душа стремилась произнести свое последнее слово, но губы роняли лишь невнятные слова. Душа силилась выявиться из хаоса переживаний, из мук косноязычия. Она жаждала сказать слово защиты и оправдания, ибо если нет в ней этого слова — человек мертв...

И для меня вопросом жизни является «последнее слово».

Неумолимо двигалось время. Я жил, болея и немотствуя. И в затхлой тишине тюремных камер, в опрелой барачной духоте колоний, в призрачной жизни мелкой акулы «железки» нарывала и жгла невысказанность этого «слова».

Каким же будет оно?

Граждане судьи! Гражданин прокурор!

Если вы будете искать в этом признании лишь фактической точности, то получите улики и доказательства менее существенные, чем апрельский снег.

Поступок принадлежит мгновению, но переживание поступка принадлежит судьбе, и в ней преломляется время, как свет в кристалле. Но и кристалл — продукт времени, оно шлифует его грани, придает ему объем и форму. И сквозь кристалл судьбы я пытаюсь оглянуться во времени — я пишу свою историю, потому что кроме нее у меня нет ничего.

Говорят, что история схожа с юстицией, ибо любая история — это обвинительный акт, прочитанный с целью оправдания. Но не ищите здесь фактов, полностью соответствующих действительности,— факты хоть упрямая, но пластичная вещь, под прикосновением памяти они часто меняют свой смысл. И вообще, факт — это всего лишь дохлая препарированная лягушка на столе экспериментатора, это вырванная с мясом пуговица или смятый окурок в руках сыщика, и пусть эти вещи будут удѣлом науки и сыска. Отношение к факту — вот что интересует меня, это единственная правда, и ею живет искусство.

Так что же, выходит, я пишу роман?

Даже честный историограф неравнодушен, а воссозданная пером история не бывает без вымысла, значит в ней присутствует поэзия.

По существу, я создаю жизнеописание, быть может, даже — житие, обновляя древний канон современной растерянностью и иронией, амнезическими разрывами в хронологии, изощренностью обыденного зла и припадочным стремлением к добру.

Но это не роман, граждане судьи.

3

Асфальт во дворе уже почти просох, и сиротское блеклое солнце заглядывало в верхние окна флигеля. У меня возникло ощущение, будто я не был здесь тысячу лет, плутал и мытарствовал черт знает где и вот вернулся — усталый странник с сокровищем, спрятанным в нищенских лохмотьях.

Я не стал закатывать машину в каретник — не было сил,— и шесть ступеней пологой лестницы до квартиры показались мне бесконечными. Только тут, на площадке вестибюля, я вспомнил, что отдал ключ Наталье. Нужно было снова спуститься к почтовому ящику. С досады я стукнул по старинной бронзовой ручке двери. Дверь бесшумно отворилась — замок оказался на защелке. Тихо, как вор, вошел я в свою квартиру.

День этот весь был наполнен странностью: я почему-то крался по коридорчику, словно проник в чужой спящий дом, и меня не оставлял страх, начавшийся с утра.

Стены коридорчика, выложенные шпоном карельской березы, отблескивали призрачной желтой полутьмою, редеющей у кухонной двери. Я проплыл два шага по ковровой дорожке и нырнул в кухню. Белая газовая плита, медные старинные ковши, лесенкой подвешенные к стенке; серовато-сизый дворовый свет, скупо сочащийся в кухонное окно, эмалевые филенки шкафа — все было привычным и все-таки не таким, как всегда. Стоя посреди своей кухни, я задыхался от удушливой тишины и вдруг уловил слабый короткий шорох, потом летучее покашливанье... Инстинкт сработал мгновенно: правая нога бесшумно оттолкнулась от пола, левая поднялась на носок,— повернувшись, я застыл возле косяка кухонной двери, готовый защищаться, наносить удары и спасаться бегством, но все та же тишина насмешливо и зловеще отблескивала желтоватым сумраком из коридорчика. Я задавленно вздохнул, ладонью вытер мгновенно взмокшее лицо и чертыхнулся: Наталья! Только она

и могла находиться в моей квартире. Я переступил порог кухни, бесшумной походкой сделал три шага вправо по коридорчику и застыл у прикрытой двери комнаты. Страх испарился, вместо него меня обуяло озорное любопытство: так захотелось подсмотреть, чем занимается там Наталья..

Дверь у меня ходила бесшумно, потому что была подвешена на старинных латунных пятниковых петлях (я когда-то снял эти петли в парадной соседнего дома, разоренного на капитальный ремонт) и хорошо смазана, но язычок фиксатора был туго подпружинен и щелкал.

Я внимательно осмотрел сопряжение кромки двери с косяком,— она выступала на целый сантиметр: можно было рискнуть. Мне стало смешно, что вот я стою у своей двери и, вспоминая прежнее ремесло, пытаюсь беззвучно приоткрыть ее. Неужто пальцы так одубели, что мне не открыть даже собственную дверь?

Правой рукой я чуть приподнял дверь за шейку массивной ручки — на всякий случай, чтоб не запела на петлях,— пальцами левой руки прихватил за кромку и отжал от косяка. Дверь отошла бесшумно; когда щель стала шириной в палец, я заглянул в нее.

Шторы были раздвинуты. Окно выходило в узкий, окруженный брандмауэрами дворик, но было двухметровой ширины и впускало достаточно света с жемчужно-серым скучноватым оттенком — типичного питерского света. Я родился в этом городе и любил этот свет; мне нравилось, как он притупляет острые кромки и чуть скрадывает очертания предметов, мне нравилась даже тоска, которую он навевал пасмурными весенними днями. И видный через щель кусок комнаты смотрелся в этом свете прекрасно: отблескивал канелированный бок камина мясного мрамора, тусклая бронза часов на его доске, казалось, впитывала свет извивами чеканки, тепло лоснилось красно-бурое чиппендейловское кресло слева от окна, корешки книг застыли поротно, как шеренги кирасир и лейб-гусар на старинном параде.

Я осторожно расширил щель, чтобы видеть диван, стоявший справа от двери вдоль боковой стены, и странное озорное любопытство не оставляло меня, но вместе с тем пришло еще ощущение серьезности этого подглядывания, словно вот сейчас мне должно было открыться что-то очень важное, чего я долго и трепетно ждал...

Что же хотел я увидеть в этой слишком красиво обставленной комнате? (Настолько красивой, что обста-

новка казалась уже лишенной практического значения, а приобретала смысл заклинания от бедности и тревог, становилась декорацией к неосуществимой пьесе.)

Быть может, я хотел увидеть облупившиеся, с ядовито-зелеными потеками плесени стены, щелястые черные половицы — такой была эта комната когда-то,— и увидеть себя, скорчившегося от холода в углу на рваном матрасе под засаленной ватной телогрейкой?

Полузамерзший и полуголодный, уже не мечтал я тогда о высокой и чистой любви в роскошном интерьере, о нежной и сильной красавице, которая своей преданностью выведет мою душу из потемок...

Я как чужой заглядывал в свою комнату,— в роскошном интерьере юная красавица полулежала поперек кожаного дивана в позе, исполненной томной неги, и читала умную книгу,— все было как в юношеской мечте, только в комнате не было меня. Я подглядывал в щель, но стоило войти, и все рухнуло бы, развеялось, как видение горячечной туповатой мечты. Зачарованный, смотрел я в щель на выдуманный мир.

Лицо Натальи, обращенное ко мне в три четверти, было прекрасно не только мягкой завершенностью черт и самосветящейся матовой кожей (таким цветом лица природа редко награждает девушек-горожанок), оно было таинственно-прекрасно еще и самопогруженностью, тем непринужденным, не рассчитанным на зрителя выражением, в котором, возможно, доброта, душевная тонкость и чистота проявляются ярче, чем на людях, ведь общение с себе подобными — это всегда маскарад, иногда злонамеренный и осознанный, иногда застенчиво-инстинктивный.

И я почувствовал давно забытое волнение, словно мальчишка, в котором забродили первые соки. Но я был уже не мальчишка и поэтому почувствовал еще тоскливую легкую боль.

Не по собственному желанию появляетесь вы на свет и не сами выбираете для этого подходящее время, но зароненная в вас крупица сознания развивается помимо вашей воли и тянется, пробивается к свету, как подсолнух.

Вы растете под всеми ветрами и ливнями своего времени и несете в мир свою искренность, инстинктивно надеясь, что за нее воздастся пониманием. А мир многое оставляет без воздаяния, и вы постепенно втягиваетесь в тот маскарад, который называется жизнью. И однажды

вам исполняется сорок и случайная щель открывает таинственно-прекрасное в своей самопогруженности лицо юной девушки,— вы видите чистопробную искренность, и давно забытое волнение вдруг возвышает вас над самим собой, будто вы — мальчик, в котором забродили первые соки. Но вам уже сорок, и поэтому вы начинаете чувствовать боль, тоскливую легкую боль, так как понимаете, что ваша искренность уже давно разменена на расхожую монету маскарадных улыбок и одна из масок (конечно, не самая благородная) приросла к лицу.

Я бесшумно прикрыл дверь в свою комнату, затворил видение юношеской мечты и отступил в кухню, где дворовый тусклый свет сегодняшнего дня скупо сочился в окно, и занялся делом сего дня.

Прежде всего я снял пальто и шарф, бросил в кухне на табуретку. Потом приподнял небольшой обеденный стол, крытый белым пластиком, отставил его от подоконника и склонился у батареи парового отопления. Все это я проделал свободно, но ни единым звуком не нарушил тишины.

Крашенная белой эмалью батарея излучала легкое сухое тепло. Конечно, человеку, сведущему в сантехнике и отоплении, могло показаться, что шесть больших чугунных секций многовато для одиннадцатиметровой кухни с незаметно понижающимся к правой стене потолком (в ванной-уборной потолок у меня был и вовсе косой, ведь все это находилось под лестницей), но мнение теплотехников мало интересовало меня, и когда я ставил себе шестую секцию, то заботился вовсе не о тепле. Просто в батарее находился тайник.

Бывает два сорта секретов: когда вы пытаетесь спрятать что-либо от себя и когда вы хотите что-нибудь скрыть от людей. В первом случае действия просвещенного человечества за исторически обозримый период малоэффективны, зато во втором люди преуспели вполне. Способы сокрытия ценностей от посторонних глаз бывали весьма разнообразны — от монументального лабиринта древнеегипетского фараона до вульгарного женского бюстгальтера. Я тоже внес, как принято теперь выражаться, личный вклад в эту тысячелетнюю работу. Возможно, мой вклад был даже небольшим открытием, которое, как большинство открытий, произошло случайно.

Когда я только начинал на «железке» и батрачил на Арона, моим легальным занятием была работа сантехни-

ка. Я прочищал фановые трубы, ремонтировал краны, устранял подтекания в сгонах отопления и однажды обнаружил на лестничной клетке лопнувшую секцию батареи,— видимо, в стояке еще с лета образовалась паровоздушная пробка, а зимой шестьдесят пятого несколько дней круто поджимали морозы и концевую секцию прихватило. Лопнула она так аккуратно, что и специально не разрежешь,— вдоль среднего ребра образовался чистый ровный разъем. Я заменил эту секцию на целую, провозившись полдня на холодной лестнице, но был вознагражден отличным тайником.

И теперь, присев на корточки у батареи, я вытянул из-под плиты шведский ключ, прихватил его губками грани концевой пробки и бесшумно стронул на полоборота, дальше она пошла уже от руки. Не больше возни было и с нижней пробкой. Половинка секции оказалась у меня в руках. Я проверил, не подтекают ли настоящие пробки, завернутые внутри второй половинки секции, потом достал из кармана краковскую покушку. Она была обернута все той же желтоватой шуршащей бумагой, похожей на компрессную. Несколько секунд я держал тяжелый сверточек на ладони, испытывая искушение развернуть бумагу и убедиться, что все это явь.

От батареи веяло легким теплом и едва уловимым запахом мазута, в скупом свете весеннего дня сверточек на моей ладони выглядел буднично, несвежая измятая бумажка могла скрывать все что угодно: баночку гуталина, недоеденный плавленый сырок, оставшийся после случайной выпивки... И глухая чугунная скука безысходности сковала меня, потому что бессловесно и безмысленно я уже догадался, что это — конец.

Если по прихоти судьбы или понуждаемый собственным темпераментом вы развлекаетесь в жизни тем, что играете в опасные игры, то всегда обманываете себя надеждой на крупный выигрыш. В глубине души вы понимаете, что таких выигрышей не бывает, но морочите себя несбыточной мечтой, потому что именно в невозможности, в несбыточности выигрыша содержится хоть какое-то оправдание этой игры. Так, по крайней мере, вы пытаетесь думать. А когда невозможное случается, вы вдруг понимаете, что игра закончена, а оправданий нет. Вы сорвали куш, но вам нечем платить,— платить надо за все. А вы не можете оплатить самого

главного — вашего пребывания на земле, и это — конец...

Я сидел на корточках у разобранной батареи, держал на ладони неопрятный сверточек, глаза мои были на уровне раковины, кухонного стола и подоконника. Обычные вещи в странном ракурсе вдруг выросли, открыли свои необычные формы, гнетущую громоздкость и вызвали беспокойство. Я старался отвести взгляд, но вещи надменно и настойчиво лезли в глаза, и, лишь уставившись в глубокую мглу коридорчика, я ощутил облегчение, и тут перед мысленным взором возникло лицо Натальи. Может быть, оно и не возникало, а просто осталось там, запечатленное крохотными студенистыми серыми клеточками, которым все равно что запечатлевать: убогое счастье мелкой акулы «железки», нелепый испод кухонной раковины или самосветящееся девичье лицо, исполненное искренности и чистоты.

Да, им безразлично — этим клеточкам в вашем мозгу, они зафиксируют что угодно, и только иной частью сознания вы можете сравнить одно с другим и различить низкое и высокое, и, быть может, тот маленький сгусточек клеточек, который различает и сравнивает, это и есть вы — ваша свободная воля, ваше человеческое «я».

Кажется, я еще не разучился различать и сравнивать и поэтому быстро собрал разъемную секцию батареи, предварительно засунув в нее сверточек в шуршащей бумаге. А перед мысленным взором (или где-то там, где ему положено) светилось прекрасное лицо Натальи.

Я прятал шведский ключ под плиту, ставил на место стол, одергивал штаны и поправлял пиджак, но та маленькая шайка клеточек, которая различает и сравнивает, безжалостно делала свое скрытное дело, и от этого мне было больно, словно кто-то медленно втыкал в левое подреберье горячую тонкую иглу. Пошарив в кармане пальто, я нашел сигареты, закурил, бросил пальто на пол, сел на табуретку и скорчился, почти касаясь подбородком колен. Игла вошла до конца, уже не чувствовалось боли, а только тепло. Такое тепло приходит, когда уверенная рука спокойным, почти ласкающим движением всунет в живот хорошо заточенный нож,— вы ощутите короткий укол, потом тепло и еще почувствуете недоверчивую, удивленную растерянность: специалисты никогда не прилагают чрезмерного усилия, непринужденность — главный признак профессионализма. Пару раз я на собственной шкуре испытал это и теперь, скор-

чившись на табуретке, с ужасом обреченного ждал, пока ощущение тепла превратится в жгучую боль. Чудовищная тишина сжималась в квартире, и, как последний всплеск сознания, передо мной все стояло ее лицо.

Согнувшись на табуретке, я курил, не чувствуя вкуса сигареты, исподлобья рассеянным, бессмысленным взглядом смотрел на стену из фисташкового кафеля, декорированную длинной гроздью стручков кроваво-красного перца и связкой нежно-золотистых крупных луковиц,— контрастное сочетание этих цветов угнетало зрение.

Я понимал, что все через минуту пройдет. Если вы дожили до сорока лет, это значит, что не всякий удар ножом смертелен, но у вас было время убедиться, что каждый такой удар оставляет шрамы навсегда. И еще вы знаете, что некоторые вещи ранят не хуже ножа и тоже навсегда оставляют болезненные рубцы.

Я понимал, что через минуту пройдет все: и ощущение горячей иглы под ребром, и гнетущая резкость кроваво-красных и нежно-золотистых тонов на фисташковом фоне, и предсмертная тишина в квартире, но я знал, что лицо Натальи, то лицо, которое я увидел в щелку воровски приоткрытой двери, никогда не изгладится из памяти и время от времени будет вставать перед мысленным взором и травить едкой тягучей болью. Потому что на этом лице я прочитал все, о чем несчастным зеленым юнцом мечтал бессонными ночами. Я мечтал обо всем, что прочитал на ее самопогруженном лице,— о доброте и душевной тонкости, о самоотверженной преданности и чистоте. Я грезил об этом одиноким, зеленым, несчастным юнцом, и я перестал верить в это, прожив на свете сорок лет. Но вот, изверившийся и желчный, вдруг увидел свою мечту в щель воровски приоткрытой двери...

В юности вы всегда мечтаете и воображаете себе Женственность, не думая, возможна ли она в мире, не противоречит ли ее существование жизни. Вы создаете женщину из себя, и вот без ребра вы пускаетесь в путь. Невнятность маскарадных улыбок скрывает подлинность лиц, а вы жаждете понимания и с первых шагов чувствуете одиночество души. Вы бредете в тумане неведенья, под всеми ветрами и ливнями, и случайно сталкиваетесь с женщиной. Она, улыбаясь, протягивает вам руки, и вы думаете, что перед вами вымечтанная Женственность. Но улыбка принадлежит маскараду,

а по руке не узнать, кто встретился вам на пути, только в старину по руке пытались предсказать судьбу...

Я не слишком поздно понял, что тех женщин, которых мы придумываем, не бывает на свете,— встречаются лишь частичные соответствия. И мне в юности встретилась девочка с лицом, словно вылепленным из драгоценного полупрозрачного фарфора, с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. И я сразу решил, что это — Она, и потом, в разлуке, любил ее долго и безмолвно.

Впрочем, грех хулить судьбу, потому что ее выдуманный образ спасал меня тысячу раз (может, для этого и нужна мечта?). Она помогла пережить унижения, даже голод. В отличие от реальной женщины. Она не изменила мне, ни разу не нахмурила брови, не была раздражительной, усталой и мелочной. Она не могла дать только чувственного тепла, но согреться можно у любого огня, и я протягивал руки к случайным огням, согревался и уходил, не испытывая ни сожаления, ни потребности оглянуться, и считал себя неуязвимым, как памятник. Но и хорошая бронза дает трещины,— время сокрушает даже памятники, и я, скорчившись на кухонной табуретке, чувствовал себя сокрушенным...

Я верю в судьбу в том смысле, что случайностей нет, случайности — лишь следствия скрытых причин, а в моем случае все выстраивалось в четкий и простенький причинно-следственный ряд.

В моем сегодняшнем дне этот простенький ряд начинался с гнетущей дороги, постоянно видящейся во сне. Я боялся ее, но смутно понимал, что ничего другого мне и не может присниться. Потому что если вам стукнуло сорок, то у вас за спиной уже больший отрезок пути, но и впереди еще трудные версты, а дорога всегда похожа на того, для кого она предназначена. И невнятное настроение с утра, и предчувствие припадка — все было обусловлено действием давних и простых причин. И то, что Колька Крах принес мне эту штуковину, было предопределено заранее,— ведь это я сам двадцать с лишним лет назад подобрал его на помойке, исходящего кровавым поносом, и заставил жить для того, чтобы потом послать на «железку». И это я был намеренно щедр с ним, расплачиваясь за пустяковые покупки так, что они еле оправдывали себя. Я обрабатывал Краха

с терпением, тщанием и даже с любовью, как древний ремесленник обрабатывал металл, пока Крах не стал таким, каким я хотел его видеть,— нерассуждающим, слепо покорным орудием, простым и надежным, как заступ. А если вы копаете терпеливо и долго, не унывая перед растущими отвалами и не гнушаясь микроскопическими чешуйками благородного металла, изредка проблескивающими в глухой беспросветной серости пустой породы, то разве удивительно, что в один прекрасный день с заплывающего липкой жижей дна ямы заступ, коротко скрежетнув, вдруг выворачивает сверкающий самородок. Вскарабкавшись по осклизлой стенке, вы уходите, унося сокровище, а заступ остается на краю ямы ржаветь и зарастать травой. И вы с той минуты думаете лишь о том, как схоронить сокровище.

Вот с этой единственной мыслью я и вернулся домой в два часа пополудни второго апреля одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года. И беззвучно, как форточник, прокрался в свою квартиру и потом подглядывал за Натальей в приоткрытую дверь,— все было закономерно, во всем просматривалась четкая связь, и только ее лицо было сокрушительной неожиданностью.

Я сидел, скорчившись на табуретке, и курил; на зеленоватом линолеуме, раскинув рукава, неживой мягкостью холмистых линий похожее на труп, валялось ратиновое пальто. Скупой дворовый свет, равнодушно клубясь из окна, глушил цвета, но заострял контрасты: медь старинных ковшей на стене отдавала фиолетовым на посеревшем кафеле, стылый кофе в тонкой холодно-белой чашке на кухонном столе казался черным, а моя рука с тлеющей сигаретой отливала желто-синей покойницкой бледностью, и лишь стук стенных часов, беспощадно отсекающих ломтики времени, убеждал в том, что я еще жив.

Я был еще жив — значит, следовало встать и двигаться дальше. Я обкатывал в голове эту простую и страшную необходимость, когда почувствовал дуновение воздуха, потревоженного открывшейся комнатной дверью, и услышал стук Натальиных каблуков. Я успел выпрямить спину прежде, чем она вошла, но взглянуть не решился.

— Ой! Вы уже вернулись,— она рассмеялась коротким горловым смехом, который так нравился мне.— А я чувствовала, что кто-то есть в квартире, но думала, что просто мерещится.

— Да, вернулся.— Я старался смотреть мимо нее — на связку луковиц и гроздь стручкового перца на стене.

— Вам нездоровится?

— Ну? С чего это ты взяла? — наконец я решился и посмотрел на нее с усмешкой. Нездешний румянец проступал сквозь туго натянутую кожу на узком овале лица, серые чистые глаза под длинными прямыми бровями смотрели на меня доверчиво и внимательно.

— У вас такое лицо.

— Какое?

— Не знаю,— она отвела взгляд, легко наклонилась и подняла пальто, выпрямилась, в обнимку прижала его к груди и с легкой лукавой улыбкой сказала: — Ваша мама звонила. Поздравляла. И я поздравляю.

— Спасибо. Мы это дело отметим на днях, только узнаю, когда Кирка свободен, а Буся с женой сможет в любое время. Ну, принимаешь приглашение?

— С удовольствием! — легким шагом она вышла в коридор, повесила пальто и вернулась, улыбающаяся, радостная, молодая.

Я не удержался и поддразнил:

— Заодно, может быть, выясните отношения с Кириллом... Ты смотри, жених завидный: квартира, машина, кандидат наук и из себя неплох — один рост чего стоит.— Я встал, положил потухший окурок в пепельницу на подоконнике, искоса наблюдая, как густеет румянец у нее на скулах и холодеют глаза.— Садись,— указал я рукой на табуретку, а сам, прислонившись к кухонному столу, взял чашку и отхлебнул холодного кофе.

Наталья села, облокотилась на стол и, опустив глаза, коротко буркнула:

— Да ну его.

Меня почему-то всегда смешила эта ее неподдельная угрюмоватая серьезность, когда разговор заходил о Кирке.

Они познакомились года полтора назад. В один из своих свободных вечеров Кирка сидел у меня, а Наталья забежала за какой-то книжкой.

Было начало зимы, и она принесла с собой свежий запах мороза и антоновских яблок. Наше в общем-то бесцельное, холостяцкое радение над шахматами, в котором всегда ощущался привкус неназойливого, но терпковатого одиночества, вдруг обрело остроту и будоражащий ритм. Кирка вскочил, подтащил от окна тяжелое

кресло, я включил свет в люстре, и в Натальиной челке сверкнули мельчайшие капельки растаявших снежинок.

Она села, вынула из сумки четыре громадных желтых яблока и положила на мраморную столешницу. Яблоки были так красивы, что даже не думалось об их вкусе и съедобности,— они были зрелищем, произведением искусства.

— Ого! Это тебе из дому прислали? — спросил я удивленно.

— Да.

— Невероятно! — придыхая, выдавил Кирка, и глаза его за большими стеклами очков заметались с яблок на лицо Натальи.— Это что, откуда-нибудь с юга?

— Ну, с юга... Из Псковской губернии,— с застенчивой улыбкой ответила Наталья.— Я сама саженец садила, вот, первый раз уродились.— Какие-то неуловимо неленинградские интонации послышались в ее выговоре, и на миг мне показалось, что на лице современной девушки, студентки филфака, увлекавшейся Блейком и прерафаэлитами, проглянуло простодушно-счастливое выражение деревенской девчонки, которая до света выбегала босиком, в одном ситцевом платье, чтобы подоить корову; в хлеву была полутьма, настоявшаяся на парном коровьем тепле, и первые тугие струи молока звонко ударяли в дно подойника; потом она выгоняла корову за изгородь, где в подслеповатом рассветном тумане уже звякали ботала, и еще долго стояла на мокрой, низкорослой и жесткой дворовой траве опустив руки, чувствуя, как тяжесть в кистях после дойки словно стекает с кончиков пальцев; пахло смородиновым листом и мокрым укропом; она смотрела на яблочно-желтую полоску зари над лесом, слушала еще редкие хрипловатые крики петухов и сонное всполошенное взбрехивание собак и улыбалась, а утренний низкий туман обнимал ее голые крепкие колени, заглядывал под подол... О чем тогда думала деревенская девчонка? Может, она и без всякого Блейка знала, бессловесно и бездумно, что мгновение вмещает вечность, зерно песка — огромный мир и все небо отражается в чашечке цветка; может, ей и не надо было знать этого, потому что она сама была мгновенным и вечным миром, в котором предутренний туман и запах мокрого укропа, струи молока, ударяющие в дно жестяного подойника, звяканье коровьих ботал, яблочно-желтая полоска над лесом, росная трава, томление наливающегося соками тела, надежда, чистота.

Я смотрел на сильную тонкую кисть руки, плавно переходящую в узкое запястье, на длинные пальцы с овальными, розово поблескивающими ногтями; Наталья держала на весу пузатую чашечку, со снисходительной полуулыбкой смотрела на Кирку, и капельки растаявших снежинок искрились в ее челке.

Я почувствовал страх за нее: вглядываясь в эту современную девушку-филологиню, в облике которой уже просвечивала настоящая женская элегантность, я испугался, что через несколько лет в ней исчезнет и никогда не проглянет больше та деревенская девчонка, которая стояла по колено в рассветном тумане босиком, в одном лишь ситцевом платьице. Я испугался, что через несколько лет едкая осознанность обыденных общих желаний и мелкая расчетливость отторгнут ее от мгновенной вечности, глумливое бытовое время повлечет ее за собой; в неудовлетворенной женщине, под заученной маскарадной улыбкой прячущей постоянное злое раздражение, умрет душа деревенской девчонки — томление, надежда. чистота...

Я смотрел на Наталью и ощущал тщеславное самодовольство, словно демонстрировал редкую вещь, и страшился, что время обесценит ее.

А Кирка дрогнул, его твердое, длинное лицо прибалта странно размякло, обычно пристальные глаза за большими стеклами очков стали удивленно-растерянными, как у ребенка, впервые попавшего на сеанс иллюзиониста.

Кирка был хирургом и пятнадцать лет копался в людских потрохах в клинике знаменитого профессора, успел защитить диссертацию и стать заведующим отделением, но больше не успел ничего, никогда не имел свободного времени, да, казалось, и не нуждался в нем. Один-два незанятых вечера в месяц он проводил у меня за шахматами — этим и ограничивалась его личная жизнь. Никаких увлечений и женщин, никаких бытовых интересов,— что-то в нем было от тех блестящих, хорошо заточенных железяк, которыми он орудовал у себя в клинике. Я знал Кирку столько, сколько помнил себя, мы выросли в одном доме, и он не всегда был таким железным. Я еще помнил его тощим и шустрым пареньком, своим благообразным видом и очками усыплявшим бдительность подозрительных послевоенных торговок на Мальцевском рынке, помнил, как он решительным движением снимал и прятал очки в карман перед назреваю-

щей дракой с такими же, как мы, полубеспризорными и полублатными парнями,— а других в Ленинграде сорок шестого — сорок седьмого года, кажется, и не водилось. Словом, нас связывала общность детских и юношеских переживаний, которая вызывает взаимную симпатию даже у людей малознакомых друг с другом, но принадлежащих к одному поколению.

Вы идете своим путем, становитесь ученым-хирургом или мелкой акулой «железки» — тем, кем смогли, или тем, кем положено стать. И ничто в вашем быту не напоминает об испытаниях юности; вы бестрепетной рукой отправляете в помойку зачерствевшую горбушку хлеба, которая когда-то могла спасти вашу жизнь, вы с насмешливой снисходительностью относитесь к недотепам и неудачникам, равнодушно прочитываете в газетах сообщения о локальных войнах, землетрясениях и бедственных неурожаях, о голодающих детях и разрушенных городах и никогда не ездите на Пискаревское кладбище. Но неизъяснимое чувство вины от того, что вам достался билетик с надписью «жизнь», всегда неощутимо присутствует в вашей душе, и это чувство, как пароль, соединяет людей одного поколения.

Нас с Киркой связывало большее. Я не мог забыть, что дважды в жизни, в мои самые крутые моменты, Кирка оказывался рядом. Я не мог забыть, что не всегда Кирка был похож на холодный и чистый хирургический инструмент. Что-то случилось с ним после смерти отца. В то время я отбывал свой срок, и мы не виделись целую вечность, а когда я вернулся, то застал уже теперешнего молчаливо-напряженного, одинокого, безбытного человека, каким он существовал вот уже пятнадцать лет. Но все эти годы я не мог забыть прежнего Кирку и твердо знал, что в ученом-хирурге еще сидит мальчик послевоенных времен. И когда я заметил, что Кирка дрогнул перед Натальей и его длинное, твердое лицо прибалта стало румяным и мягким, как свежая сдоба, а пристальные глаза за большими стеклами очков растерянно вытаращились, как у ребенка, которому показывают фокусы, то я сказал про себя: «Дай им бог поладить». Но из всех этих моих помыслов не вышло ровным счетом ничего. Они не поладили, и даже наоборот: Наталья от встречи к встрече стала относиться к моему другу все напряженнее и холоднее. Иногда я даже замечал, что ей приходится делать усилие над собой, чтобы не высказать открытую неприязнь. А Кирка с момента знакомства

с ней стал чаще бывать у меня и увлекся Натальей серьезно, молчаливо и чуть тяжеловесно, как жил.

Мне хотелось узнать мотивы Натальиной неприязни, я несколько раз пытался вызвать ее на разговор, но ничего не получалось — она сразу замыкалась при упоминании о моем друге, и уже невозможно было пробиться сквозь ее угрюмоватую серьезность, так что мне оставалось только изредка поддразнивать ее.

— Вам хочется очень, чтоб я вышла за него замуж? — все так же, не поднимая глаз и облокотившись на стол, спросила Наталья. Низкий чистый голос был спокоен, но я угадал ее внутреннее напряжение и почувствовал, что вопрос задан всерьез.

— Ну, мы все крокодилы, и я бы хотел, чтобы девушки вообще не выходили замуж, а влюблялись в меня одного.

Я взял со стола сигареты, закурил и добавил уже без всякого гаерства:

— Кирка, действительно, хороший человек, за ним как за каменной стеной... не то что твои гардемарины.

Она встала, резко оттолкнув табуретку.

— Я не хочу за стену. Может, вообще не пойду замуж.

— Будешь дворником?

— Буду дворником.

— И терпеть приставания Буркова?

— Какая разница,— она устало махнула рукой и отвернулась, а мне расхотелось продолжать этот дурацкий разговор.

— Оставайся, я все равно сейчас уйду.

— Хорошо.

— Только дверь запри.

Я надел пальто, взял со стола сигареты и вышел.

4

Облака затянули солнце, и кусок неба над улицей отдавал ржаво-коричневым, стекла окон и стены домов в промозглом воздухе выглядели влажными, сырость глушила шаги прохожих, и долго не рассеивался запах выхлопа редких машин.

Я отправился пешком, потому что знал, что вечером обязательно напьюсь. В короткое сегодняшнее утро вместилось слишком много раздражающего и неожиданного, и к тому же у меня был день рождения.

Я брел по улице, переступая через мелкие серые лужи, и чувствовал усталость.

Вы с младенчества привыкаете думать, что мать может помочь, защитить, спасти. Вы в слезах прибегаете со двора с разбитой коленкой; полумертвым вы приползаете после первой в жизни попойки; уязвленный и подавленный, вы приходите, провалившись на экзаменах в вуз; пришибленным и больным возвращаетесь, отбыв срок заключения; забегаете, чтобы перехватить пятерку; притаскиваетесь, когда осточертеют мелочные придирки и неумные попреки невзрачной отупевшей женщины, которая почему-то зовется вашей женой,— вы всегда приходите к матери, когда что-нибудь случается, хорошее или плохое, чаще — плохое.

Я давно уже не думал, что моя мать может помочь, защитить, а тем более спасти, но я шел к ней, потому что со мной кое-что случилось и потому что сегодня был день моего рождения.

Я направился проходными дворами, чтобы срезать квартал по диагонали и выйти к перекрестку поэтов, неподалеку от которого, на углу переулка, стоял дом с вычурным лепным фасадом и тяжелыми эркерами, заканчивавшимися шатровыми башенками с черными флюгерами. Пробираясь дворовыми скверами с мокрыми, голыми, как скелеты, деревцами, огибая старые флигеля, проходя под гулкими арками, я все время ощущал, будто кто-то следит за мной пристальным немигающим глазом, и это заставляло ускорять шаги.

Смешно и глупо, когда сорокалетний человек смотрит на старые дворы, стиснутые унылыми стенами, глазами мальчишки.

С чувством облегчения вышел я из ворот, пересек улицу, остановился возле родного дома и поглазел на перекресток поэтов. Там скрежетали трамваи, около пивной торчали забулдыги, их серые фигуры с обвислыми плечами словно колебались на ветру, как бесплотные тени; из переулка медлительно выплыл автобус и затормозил на остановке возле бакалеи,— перекресток снисходительно взирал на всю эту суету.

«...Но умолкни мой стих! И погромче нас были витии, Да не сделали пользы пером... Дураков не убавим в России, А на умных тоску наведем»,— сказал революционный демократ, угасший от чахотки в светло-желтом доме с высокими окнами, стоящем неподалеку.

«Сегодня в Петрограде на Надеждинской ни за грош продается драгоценнейшая корона. За человечье слово — не правда ли, дешево?» — откликнулся ему агитатор, горлан и главарь через полувековую толщу.

Я стоял возле своего родного дома и глазел на перекресток поэтов. Мне было сорок лет, мне было наплевать на всех дураков и тоскующих умников, потому что я сам владел драгоценнейшей короной и надеялся продать ее подороже, чем за простое слово. Но что-то случилось со мной сегодня, и поэтому, вместо того чтобы свернуть в парадную, я потащился к пивной.

Заведение это находилось здесь столько, сколько я помнил себя. Через него, верно, прошли многие поколения. Я не знал, какой вид до войны имел продолговатый с кафельным полом и стенами из темной фанеры зал,— с тех времен запомнилась только синяя вывеска над дверью. Но в послевоенные годы мне случалось заглядывать сюда, чтобы разжиться окурком или ломтем круто посоленного хлеба. В те времена пивная была клубом для инвалидов с окрестных улиц, они горестно и надрывно праздновали то, что остались живы, пройдя войну. Зал тогда казался теплее и меньше; клубился табачный дым под тремя лампами, свисавшими на шнурах в бумажной нитяной оплетке, засиженной мухами; над самыми баллонами ламп были жестяные абажуры в виде мелких тарелок, чуть тронутые ржавчиной; у дальней стены была стойка из темного дерева и на ней, похожий на крест, высокий латунный двойной кран, из которого двумя нескончаемыми пенистыми струями лилось в высокие кружки жидкое пиво; была тут и водка с бело-зеленой скромной этикеткой — «Ленинградская». А над залитыми мраморными столешницами мотались лохматые головы, бренчали медали на выцветших гимнастерках, глухо стукали в кафельный пол костыли, гнусаво и горько выводила «Землянку» гармонь, кто-то вскрикивал звериным отчаянным криком, в котором слышалось разом и горе и лихость...

Так было. Тут всегда можно было подстрелить окурок, горбушку, звено ржавой селедки.

Теперь здесь стало чище, приличнее и холодней. И вывеска сменилась на более пристойную — «Кафе-мороженое». Стены покрасили в желтый веселенький цвет, расставили металлические стулья с маленькими неудобными сиденьями и пластиковые столы, а вместо высокого латунного крана и деревянной стойки торчал

теперь пластиковый застекленный прилавок с неаппетитной сдобой и под трубками дневного света уныло блестели бутылки с кислым вином. Кофе, конечно, никакого не было. Забулдыги заходили сюда только со своей бутылкой, когда удавалось сброситься на троих, а до этого тенями покачивались у входа.

У прилавка я взял полтораста коньяка и конфету, сел за столик в углу. Зал был пуст, только молодая женщина с маленькой девочкой доедали мороженое из алюминиевых вазочек за дальним столиком.

Я хлебнул коньяку и усмехнулся, подумав, что, может быть, этот граненый стакан помнил плеск «Ленинградской», которой инвалиды праздновали жизнь почти тридцать лет назад. Инвалиды исчезли, кончилась отсрочка, которую дала им война, и они, наверное, вернулись в свои роты под Синявино и Невскую Дубровку... Вечный российский граненый стакан стоял передо мной на столе. В этой бывшей пивной в придачу к коньяку давали воспоминания, за них не надо было платить. И я видел лампы под жестяными тарелками, залитые пивом мраморные столики, шалые от смертной тоски глаза инвалидов и худосочного подростка с прыщавым угрюмым лицом, шныряющего между столами; на стриженной под машинку голове желтели струпья засыхающего лишая; тупой, безразличный от вечного недоедания взгляд, шарящий по полу — а вдруг кто-то обронил монету; он все время инстинктивно засовывал руку за пазуху и чесался, потому что сшитая из шинельного сукна кацавейка была надета на голое тело и постоянно раздражала кожу. Он чесался, как зверь, и в оскале неровных зубов было что-то звериное...

Дешевый едкий коньяк обжигал десны и нёбо, и губы сами собой кривились то ли усмешкой, то ли гримасой отвращения. И невозможно было поверить, что шнырявший здесь доходяга-подросток и пижон в ратиновом пальто, кривящий рожу над стаканом,— одно и то же лицо. Двадцать семь лет разделяли тогдашний окурок и сегодняшний коньяк, который уже ударил в голову, потому что я ничего не ел с утра.

Чувствуя легкий хмель, я медленно жевал конфету и старался ощутить в себе того подростка, но не мог. Я забыл, о чем он думал, если вообще умел думать, я забыл, о чем он мечтал, все позабыл и только наверное помнил, что он хотел есть и хотел какие-нибудь ботинки. И мне было до слез жаль, что нельзя наесться за прошлое

и что даже десяток пар ультрамодных туфель не могут избыть прошлой нужды.

Я скомкал фантик, бросил его в опустевший стакан и собрался встать, но какая-то тень скользнула по серому пластику столешницы. Я поднял голову.

Невысокий человек с серым, будто присыпанным пеплом лицом стоял у стола; нелепо торчали из рукавов зеленой, почти детской потасканной нейлоновой курточки большие красные руки, а из-под низко надвинутой облезлой кроличьей ушанки плутовато, заискивающе и нагло смотрели на меня выцветшие лиловатые глаза.

— Здорово, Леша,— он обнажил в улыбке мелкие желтые зубы и протянул руку.

Я узнал его почти мгновенно, но вспомнил только кличку.

— Здорово, Хрыч,— пожал его широкую холодную ладонь.

Он бросил взгляд на мой пустой стакан и погрустнел, закряхтел, не зная, что говорить дальше, и пошаркал ногами по кафелю пола. Я вытащил пятерку, положил на стол поближе к нему.

— Не сочти за труд, возьми мне сто и себе полтораста... Да,— я порылся в наружном кармане и высыпал поверх пятерки горсть серебра,— и конфет несколько штук, а то я натощак глотаю.

Он снял свою ушанку, положил на стул и, заметно хромая, пошел к прилавку. Я наклонил голову и закрыл глаза. И в памяти вспыхнуло летнее солнце сорок четвертого года, заливавшее огромный, заросший лебедой и кипреем пустырь между расположенных «покоем» кирпичных корпусов на Артиллерийской. Их разбомбили еще в сорок третьем, и устояли только красные кирпичные стены с закопченными провалами окон. Мы стояли у оконного проема в самом конце бокового корпуса и смотрели во двор. Ветер порывами колебал сиреневые султаны кипрея и сероватые стебли лебеды, пахло разогретой солнцем пылью, над нами со стен свисали искореженные ржавые балки; пустая кирпичная коробка сверху была накрыта эмалевым прямоугольником яркого неба, и стояла выморочная тишина. Нам было по одиннадцать лет, мы курили один окурок на троих и молча смотрели во двор.

— Доброшу до стены? — спросил Буська и вынул из-под рубашки немецкую гранату-«толкушку» с длинной деревянной ручкой.

Граната была красивая, серо-зеленого цвета, ручка — белая.

— Слабó,— коротко затянувшись и передав окурок мне, ответил Кирка.

— Дай потянуть,— Буська поднес левую руку к самым моим губам, и я отдал ему окурок. Он вставил его в угол рта, затянулся и прищурил глаз, потом резким движением занес гранату над головой, левой рукой выдернул кольцо из торца ручки и швырнул гранату в оконный проем.

Со странным чувством внезапной глухоты и скованности смотрел я, как, кувыркаясь в воздухе, граната летит по пологой дуге в угол двора к П-образной перемычке. Тишина стояла чудовищная, пока Буська не крикнул:

— Ложись!

Но я, словно парализованный, не мог сделать ни одного движения, только тупо следил, как, летя пологой дугой, кувыркается в воздухе граната с деревянной ручкой, и мгновение длилось и длилось, словно пытка. И вдруг что-то произошло, я еще не понял, не осознал ничего, но появление какой-то точки в поле зрения болезненной судорогой пронзило позвоночник и наполнило сердце ужасом: из оконного проема первого этажа противоположного корпуса выпрыгнул белобрысый пацан в коротких штанах и, прищурясь на солнце, стал смотреть в ту сторону, куда полетела граната... Потом все заслонила долговязая Киркина фигура, я пошатнулся от его жуткого протяжного вопля, ноги сами подбросили тело, я выпрыгнул вслед за ним в оконный проем, пробежал один или два шага, споткнулся и кубарем полетел вперед.

Разрыв был глухой и нестрашный, лишь горячий ветер прошел по пустырю. Стебли лебеды больно хлестнули лицо, я зажмурился и снова открыл глаза. С яркого синего неба на меня медленно опускались щепки и веточки с жухлыми листиками, и тонко и нудно звенело в ушах. Я перевернулся на живот, встал на четвереньки и лишь потом поднялся на ноги. Кирпичные стены с закопченными провалами окон поплыли перед глазами. Впереди, там, где стоял белобрысый пацан и куда кинулся Кирка, никого не было, только тихо колебались сиреневые султаны кипрея. Пахло кислой копотью взрыва. Я оглянулся назад. У самого оконного пролома, прислонившись к стене, стоял Буська и держался рукой

за правое плечо, из-под ладони прямо на глазах по серому сатину рубашки расплывалось коричневое пятно. Я бросился к нему, но остановился в полушаге, увидел, как с его лица сбегает смуглота, заменяясь желтой бледностью.

— Что-что-что? — зашептал я.

— Посмотри там,— заплетающимся языком ответил Буська и медленно опустился под стену. Мне было страшно смотреть на него, но идти туда, где должны были лежать белобрысый и Кирка, было еще страшней. Но я все-таки повернулся, увидел Киркину голову, торчащую среди густой лебеды у противоположной стены, и побежал к нему.

Белобрысый лежал без сознания, из ноздрей короткого приплюснутого носа текли сопли. Кирка окровавленной тряпкой пытался перетянуть ему ногу выше щиколотки, а ступня вся была в крови... Зашлось дыхание, что-то хлюпнуло в горле. Кирка покосился и спросил коротко:

— Платок есть?!

— Нет. Буську — в плечо.

— Беги, останавливай машину, любую, а то...

Я сорвался с места, не признаваясь себе в том, что мне нестерпимо хочется убежать отсюда, на ходу крикнул Буське, что сейчас будет машина, и перемахнул через низкий забор в проходной двор...

Я услышал по неровному шарканью подошв, что Хрыч подходит к столу, и открыл глаза. Он поставил стаканы, положил конфеты, сел и наклонил белобрысую голову.

— Ну, будем,— я взял стакан и сделал большой глоток.

— За встречу,— с внезапной хрипотой ответил он, рука дрожала, пока несла стакан ко рту.— Вот, по больничному гуляю,— выпив и вздохнув, сказал он, виновато улыбнувшись.

Мучительно силился я вспомнить его имя, но в памяти всплывали только обрывки картинок — как белобрысый, хромой, сопливый пацан вертелся возле нас, более старших, на пустырях, где гоняли тряпичный мяч и подкидывали маялку, на черных лестницах, где дымили раздобытыми окурками. Я не мог вспомнить его имя, а прозвище Хрыч прилипло к нему уже после того, как он вышел из госпиталя и стал хромоногим.

Мы хлебнули по второму разу, рука у него перестала

дрожать, и я спросил без всякого интереса, только для того, чтобы поддержать разговор:

— Ну, как тут мужики живут? Я уж давно никого не встречал.

— Да как... Вот Пашка Березкин со мной на «Электропульте» токарит. Дочку замуж выдал в новый год. Квартиру хлопочет теперь,— он взял конфету, подержал и снова положил на стол.

Березкина я вспомнил.

— Про корешей твоих не знаю. Видал как-то — Буська Миронов приезжал, у него машина своя. А мать здесь живет. А Кирку длинного давно уж не видал. Да, знаешь, что дом сорок обрушился? — он оживленно улыбнулся.

— Слышал. Никто не погиб?

— Нет. Там только перекрытие в первом этаже сыграло и стена разошлась. Но они давно говорили, что трещит по ночам.— Он неожиданно рассмеялся.— Валька Чернышов в чем мать родила во двор выскочил.

— Это какой Валька, рыжий? — Я взял стакан, там осталось еще на глоток.

— Ну, Чернышов Валька! Рыжий, татарин.— Было заметно, что Хрыч уже захмелел, слова его стали вязкими и медленно вытекали сквозь мелкие желтые зубы.— Ну, Губан, должен помнить,— ты еще ему глаз выбил после войны. Да, зато всем в один день квартиры дали.

Я так и не донес стакан до рта. Конечно, я не забыл, не мог забыть Губана, просто клички были прочнее имен. Стерлись имя и фамилия, а Губан сидел в памяти, и, легкая на подъем, она услужливо стала разматывать старую ленту.

Весной сорок седьмого года задами нашей улицы, через проходные дворы и подсыхающие на солнце пустыри, пробрался я на задний двор дома сорок, где была твердая утоптанная площадка, на которой обычно играли в футбол парни окрестных домов. Здесь я рассчитывал встретить Буську и Кирку, чтобы вместе отправиться на Предтеченскую барахолку, где за рубль можно было купить на развале интересную книгу и при некотором опыте прихватить еще пару бесплатно. Опыт у нас имелся.

В последнее время я все реже бывал во дворах нашего квартала, потому что в январе арестовали отца, и отношение ко мне окрестной шпаны изменилось. Меня и так-то недолюбливали за злой язык и задиристость,

а теперь неприязнь дворовых парней перешла в открытую вражду. В ответ я объявил всем им войну. Только Кирка и Буська остались верны нашей дружбе. Буськин отец уже второй год отсутствовал по той же причине, что и мой. Кирка же был самый рослый и сильный, так что мог наплевать на общее отношение ко мне. Он поддерживал меня и в классе, где ощущалось лишь молчаливое отчуждение. А во дворах была разная шпана — от тринадцати до семнадцати,— и кое-кто из тех, что постарше, не упускал случая открыто поизмываться надо мной, примером старших вдохновлялись и мои ровесники. Я как бы оказался вне закона. А уличный закон и без того был жестоким, и поэтому во дворах я чувствовал себя беззащитным. И, прежде чем перелезть через невысокий кирпичный заборчик, отделявший задний двор дома сорок от соседнего проходняка, я высунул голову и внимательно осмотрел вытоптанную, красноватую от кирпичной крошки площадку, по которой десятка полтора ребят гоняли потертый кирзовый мяч. Я сразу заметил долговязую фигуру Кирки, потом убедился, что особо злобных недоброжелателей нет, и, взобравшись на гребень забора, спрыгнул во двор.

Парни бестолково, но яростно носились по пустырю, кричали, и никто не замечал меня. Я миновал «ворота» — две грудки кирпича, между которыми стоял какой-то малолетка,— и направился вдоль стены к противоположному концу, где шла игра. Бледное солнце освещало пустырь и отражалось в стеклах окон дома, стоявшего за забором. Площадка выглядела унылой — ни куста, ни деревца, лишь осколки кирпичей под забором. Когда-то здесь стояли сараи, но блокадной зимой их растащили на дрова, а кирпичные столбики, поддерживавшие крышу, постепенно развалились, усыпав осколками полосу вдоль забора, который раньше был задней стенкой сараев.

Крики у дальних ворот вдруг усилились, кто-то радостно проорал: «Гоооол!»

Игра приостановилась. Я подошел к столпившимся парням, сунув руки в карманы, принял независимый вид и поздоровался. Несколько голосов отозвалось, но большинство парней глядели неприветливо. И мизансцена складывалась прямо-таки символическая: чувствуя неловкую растерянность, готовую превратиться в страх, стоял я против тесной враждебной толпы маленьких, не ведающих снисхождения людей. Где-то позади всех

торчала светлая Киркина голова, а невысокая Буськина фигура вообще затерялась. Первый приступ страха дрожью прошел по моим лодыжкам и стал подниматься вверх, к груди. И вот, растолкав тех, что помельче, вперед вышел Валька Чернышов, широкий, толстозадый, с круглым щекастым лицом, на котором выделялись толстые, отвисшие, вечно мокрые губы, за что он и получил свою кличку.

Губан был старше всех в нашей дворовой компании, но общества своих сверстников — семнадцатилетних — избегал, потому что, выражаясь языком современным, весь был начинен комплексами и предпочитал самоутверждаться среди тех, кто младше на два-три года. Младшая шпана Губана не любила, но побаивалась, лишь наша троица позволяла себе роскошь не замечать его вообще.

И вот этот жирный, с заплывшими глазами, слюнявый недоумок растолкал тех, кто помельче, и вразвалку, так называемой блатной походкой, подошел ко мне, правда при этом он сильно вихлял бедрами и задом и скорее напоминал вставшую на задние копыта свиноматку, чем шустрого делаша, и я невольно улыбнулся, глядя на него. Губы его заколыхались, будто кто-то хорошо встряхнул два бесформенных куска сырой говяжьей печени, Губан просипел:

— Ну, что лыбишься, тюремщик? — вытащил из-за пояса неказистую самодельную финку с наборной плексигласовой ручкой и, поигрывая ею, добавил: — Что, пера захотел?

Я понимал, что финка — это несерьезно, понимала это и вся притихшая позади шпана. Но все равно моментик был напряженный, и, если бы не теперешнее мое положение среди дворовой окрестной шпаны, я просто послал бы Губана подальше и для верности повернулся спиной. Но я пятый месяц чувствовал себя загнанным до отчаянья и бешенства, как бродячий пес, попавший в глухой двор, подворотню которого уже перекрыли люди с веревочной сетью в руках.

Страх, ненависть, ярость и обида вдруг переполнили все мое существо так, что щекастое поросячье лицо Губана поплыло перед глазами на фоне притихшей толпы малолетней шпаны и кирпичного забора. Я переступил ногами на месте, чтобы не упасть от внезапного головокружения, но через миг все стало на свои места: и забор, и лица парней, и Губан с подрагивающей в руке

неказистой финкой — тусклый, плохо отполированный клинок даже не отсвечивал на солнце... И я ощутил в себе вдруг радостную и зовущую пустоту. Покачиваясь, стоял я на самом краю бездны, и мне не было страшно, и только от огромной этой бездны захватывало дух. Что-то случилось со мной в то мгновение, и я перестал ощущать страх, ненависть, обиду и ярость, перестал чувствовать себя загнанным бродячим псом в глухом темном дворе с перекрытой веревочной сетью подворотней.

Пустой, просветленный и радостный стоял я перед Губаном, и не было во мне ни обиды, ни страха, лишь одно желание, чтобы он ударил меня своей финкой, и тогда... Я уже чувствовал, что «тогда» случится что-то ужасное, но раз и навсегда освобождающее меня от всякой зависимости, от всех связей: ареста отца, диктата старших, страха перед тем, кто сильней. И я шагнул к Губану и, усмехнувшись, сказал:

— Штаны опять мокрые, губошлеп?

(Тут надо заметить, что Губан отличался таким пикантным свойством, поэтому и был подвергнут остракизму старшей шпаной.)

Он машинально наклонил голову и посмотрел на мотню своих не по размеру просторных штанов. Ребята вокруг засмеялись. Тогда он покраснел и ткнул меня своей финкой. Ткнул легонько и трусливо,— я только почувствовал слабый укол. Но это решило его судьбу, а может быть, и мою. Вынувший нож должен убить, или будет зарезан сам. Но, конечно, тогда обошлось легче по нашему зеленому возрасту. Я просто посмотрел на то место, куда он ткнул: на рубашке была маленькая продолговатая дырочка с овсяное зерно. Я услышал и физически почувствовал, как отяжелела тишина вокруг, увидел, как края дырочки окрашиваются кровью. Омерзительно застучало в висках, и взгляд мой уперся в продолговатый окатанный осколок кирпича с два кулака, валявшийся у ног. Ни волнения, ни злости, ни растерянности не испытывал я в тот момент, лишь какое-то радостное, освобождающее, но лихорадочное спокойствие. Левой рукой схватился я за живот и со стоном умирающего присел на корточки, опершись правой рукой на этот окатанный обломок кирпича. Все окружили меня. Я сделал страдальческую гримасу, поднял взгляд и встретился с побелевшими паническими глазами Губана. Его толстые губы быстро-быстро, но беззвучно

шевелились, брызжа слюной. Правой рукой я сжал осколок кирпича и, пружинисто вскочив, ударил его по лицу. Губан закачался, но не упал. Вторым ударом я разбил ему левую глазницу...

Потом я встречал его, он долго ходил с черной повязкой и здоровался при встрече. А тогда меня отправили в колонию. С детьми арестованных не очень-то церемонились, но я, правда, промолчал про финку Губана. Выпустили меня через два месяца. Киркина мать пришла к прокурору и рассказала про финку. Но из колонии я вышел уже другим человеком.

Быть может, тогда, когда из-под ладони Губана хлестала кровь и заливала его толстые, беззвучно шевелящиеся губы, во мне исчезло чувство страха. Нет, не точно,— пожалуй, не чувство страха, а что-то другое. Это смутное и опустошающее ощущение освобождения от чего-то важного, соединявшего меня со всеми: с маленьким белобрысым Хрычом, попавшим под разрыв гранаты; с Буськой и Киркой, оставшимися моими друзьями; с Губаном, поднявшим на меня свою неказистую финку; с одноклассниками и учителями, с базарными торговками и постовыми милиционерами.

Подняв тот окатанный осколок кирпича, я как бы перешагнул невидимую, но существующую межу и оказался вне закона. Я понял, что мир безжалостен ко мне и может убить, но пока он еще не убил меня, и для того, чтобы это произошло как можно позже, дозволены теперь любые средства, и у меня развязаны руки, и никакая расплата за укол ножом, за плевок в лицо, даже за косой взгляд не будет чрезмерной...

Кровь хлестала из-под ладони Губана, прижатой к глазнице, и заливала подрагивающие беззвучные губы, а эта страшная и простенькая мысль уже бессловесно завладела моим тогдашним полузвериным сознанием, и в душе разверзлась блаженная дикарская пустота безморальной свободы. Мир был волен убивать меня каждый день, но я был свободен защищаться от него любыми доступными средствами...

— Что, Леша, сердце прихватывает? — старательно выговаривая слова, Хрыч участливо смотрел на меня, серое пепельное его лицо чуть порозовело на скулах.

— Да, сердце,— чтобы не пускаться в объяснения, согласился я.

— У меня тоже, как зашкалит, бывает, не дыхнуть, но если еще сто грамм прихвачу, то помягчает и уж

потом ничего.— Он поерзал на стуле, зябко передернул плечами и долгим взглядом выцветших лиловатых глаз гипнотизировал пустой стакан.

— Стареем,— усмехнулся я.

— А может, еще бутылочку красноты? У меня есть, полтинник только добавь.— Глаза его снова приобрели заискивающее и наглое выражение.

Я встал.

— Нет, в другой раз, Хрыч. А ты валяй, добавлю, конечно.

Мелочи у меня уже не осталось, и пришлось разменять четвертной билет у буфетчицы. Я протянул Хрычу рубль. Спросил, как живет Губан теперь.

Мы вместе вышли из пивной и разошлись в разные стороны. Через несколько шагов я обернулся и посмотрел ему вслед.

В зеленой, почти детской потасканной нейлоновой курточке, ковыляя на искалеченной осколками немецкой гранаты ноге, по бывшей Надеждинской улице уходила часть моего прошлого. Красные большие руки нелепо торчали из рукавов, и в правом кулаке были зажаты гроши на бутылку мерзкого, ядовито-красного портвейна.

Я проводил его взглядом до дверей магазина, подумал, что, быть может, мы не встретимся больше никогда, и зашагал к дому, где жила мать. Дойдя до дома сорок, я не удержался и свернул во двор. Пустынно и холодно дохнул на меня неуютно-просторный сквер с черными обтаявшими газонами, обрамленными куцыми прутьями кустов. Мокрые синие скамейки стыли в медленно подступающих ранних сумерках, и горькое уныние захватило меня от неприютности этого дворового сквера. Раньше здесь высились два желтых флигеля, объединенных перемычкой кирпичного сарая для хранения карет. На односкатной, тронутой ржавчиной крыше сарая шалашиком торчало слуховое окно, к нему вела отвесная железная лесенка, прилепившаяся в простенке между воротами с тяжелыми брусовыми створками, подвешенными на черных кованых петлях.

Зимой сорок первого — сорок второго в сарай стаскивали трупы умерших на улице, а ранней весной, когда объявили общегородской субботник для очистки города, трупы, смерзшиеся, черные, как дрова, штабелями грузили на две полуторки, и даже дети не пугались их вида — в этих уплощенных, угловато изогнутых предме-

тах, покрытых темно-бесцветными лохмотьями, не оставалось уже ничего живого, лишь войлочно свалявшиеся волосы сохраняли свой цвет. В холодном кирпичном нутре сарая долго еще потом стояла пронизывающая могильная мгла. Но все это не действовало на мое тогдашнее воображение и не помешало превратить чердак каретного сарая в тайную базу. На чердаке я прятал книги и старые журналы, добытые в разбомбленных домах или украденные на барахолке, здесь я поедал хлеб, который давала мне девочка с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. Здесь я впервые поцеловал ее перед трехлетней разлукой и решил, что буду любить всю свою жизнь. Сюда я привел ее через три года, снедаемый болезненным желанием, наслушавшийся в колониях похабных разговоров, и грубо, неумело и дико овладел ею. И потом водил ее сюда целых три месяца, испуганно притихшую, отчужденно-покорную, словно выплачивающую долг...

Я вышел со двора и направился к матери.

Дом был построен с претензией на роскошь, и, вероятно, в прошлом веке его квартиры сдавались зажиточной интеллигенции. После октября одна тысяча девятьсот семнадцатого здесь тоже селилась интеллигенция, преимущественно врачи, потому что дом каким-то образом принадлежал Наркомздраву.

Длинные анфилады стали коммунальными квартирами. Высокие двустворчатые двери, соединявшие комнаты, закрыли, пробили в задних стенах маленькие двери в узкие темные коридоры, по которым раньше ходила только прислуга; большие залы разгородили прямо по вычурной потолочной лепнине, и началась та жизнь, которую я и застал, появившись на свет в этот самый день сорок лет назад.

Я вошел в широкую парадную, в дверях которой еще сохранились толстые зеркальные стекла с большими фасетами и травленым матовым узором из листьев и цветов. Стекла пережили революции, войны и многих жильцов... С самого детства я не мог избавиться от инстинктивного страха перед прочностью вещей, мне всегда казалось, что дома, колонны, ограды, всякие бронзы и мраморы живут какой-то своей, отдельной и независимой жизнью и лишь снисходительно взирают на людей, таких хрупких и временных. Я и теперь испытываю суеверный трепет перед какой-нибудь старинной фи-

нифтяной табакеркой или книгой в затвердевшей и бурой свиной коже. Истлели и давно рассыпались в прах сотни и тысячи рук, создавших эти вещи и прикасавшихся к ним, а вещи живут, и столетие для них значит не больше, чем час в человеческой жизни. Меня всегда угнетало это могущество человека, создающего предметы, способные пережить его, и вместе с тем малость отдельной человеческой жизни перед временем. И на лестнице моего родного дома я всегда испытывал одно и то же ощущение острого и прохладного сквозняка в груди, будто само время неслышным пронзительным ветром проходило сквозь меня.

Я постоял, оглядывая просторный парадный вестибюль. С камина уже содрали мраморные резные плиты, и он выступал из стены большим оштукатуренным квадратом с полуовальным жерлом посередине; беломраморные ступени потемнели и стерлись до овальной вогнутости, но стенная лепнина и кессоны потолка еще держались, напоминая о былом великолепии. И дверь швейцарской в правом углу, хоть и основательно исцарапанная, была из благородного, золотисто искрящегося красного дерева... И кроме сквозняка времени, проходившего сквозь меня, грусть и тихое разочарование испытывал я всегда, входя в этот вестибюль: почему-то в памяти, в воображении он всегда казался роскошнее и больше. Этот разрыв между явью и воображением впервые обозначился тринадцать лет назад.

Я возвращался из мест не столь отдаленных. Был бесснежный февраль, и площадь Восстания, на которую я вышел с Московского вокзала, темнела сухим асфальтом; небо оловянной фольги без единой морщинки висело над сумрачным Невским.

В стеганой ватной телогрейке третьего срока и такой же ушанке, в разбитых кирзовых прохорях, с парусиновым самодельным заплечным мешком, как беженец, стоял я на площади своего родного города и потерянно всматривался в лица прохожих.

Если вам двадцать семь, а за спиной уже десяток лет колоний, то, освободившись, вы прежде всего чувствуете страх перед будущим. Так, оказывается, бывает: вы чувствуете страх и одновременно облегчение, оттого что тяжелый и голодный кусок вашей жизни позади. И, глядя на женщин, которые все сплошь казались красавицами, глядя на цветной поток легковых машин, на эти толпы людей, идущих куда им вздумается, я наконец

почувствовал тоску по дому, по нашей с матерью комнате, по нашей лестнице с роскошным вестибюлем, по невзрачным домам нашей улицы, и острая горячая жалость к самому себе шевельнулась в груди.

Я не считал себя великомучеником и не думал, что мир задолжал мне на десять лет вперед, но я знал, как тяжко придется мне помытариться, чтобы удержаться в этом мире без конвоев и поверок. В кармане холщовых штанов лежал у меня паспорт, выданный на основании справки об освобождении. Форма эта была хорошо известна всем отделам кадров страны, и потому я понимал, что ждут меня впереди не розы. И тем острее и горше было первое свидание с городом окрашено цветом печали, который делает все во сто крат прекраснее и дороже. И торопливым и робким шагом я пошел домой.

Вот тогда, тринадцать лет назад, я испытал первое разочарование, как только открыл дверь парадной и вошел в вестибюль. Он, действительно, был красив и просторен, этот вестибюль дорогого доходного дома,— глубокой матовой белизной холодели кессоны потолка и лепнина, благородно лоснился резной мрамор камина. Но все-таки в моем воображении вестибюль был роскошнее и больше. И мраморная белая лестница была не такой уж широкой, какой виделась в памяти. Наяву все словно съеживалось, уменьшалось,— и радость освобождения была совсем не такой сильной, как мечталось когда-то, когда до конца срока оставались еще годы. С тех пор все эти тринадцать лет повторялся один и тот же фокус: как только я входил в парадную, меня охватывало чувство недоуменного разочарования. Я никак не мог забыть того воображаемого вестибюля. Действительность подменяла его более тесным и тусклым.

И сегодня с досадливым ощущением разочарования я взбежал по стертым до овальной вогнутости пологим ступеням и копейкой отомкнул французский замок входной двери.

Тусклая лампочка горела в пустой, квадратной, без окон прихожей; унылые, соловой масти обои, черный телефон, подчеркивающий оголенность стен. Только высокие двустворчатые двери орехового дерева как-то оживляли этот безликий пустой ящик. Я пошел налево по кривому узкому коридору мимо низких дверей, пробитых в толстой несущей стене уже в более поздние времена. Блокадная тишина стояла в коридоре, лишь поскрипывал рассохшийся старый паркет.

Из довоенных жильцов здесь остались только три одинокие, такие же, как мать, старухи, которые ютились в больших неуютных комнатах с растрескавшимися лепными карнизами и отстающими от стен обоями. Ремонт таких больших комнат с высокими потолками был не по карману этим старухам.

Перед дверью материнской комнаты я мгновение помедлил,— от коммунального воздуха, казалось загустевшего давними событиями и отошедшими судьбами, чуть сбилось дыхание.

Когда-то здесь жил недоучившийся врач, работник городского здравоохранения. Не знаю, наверное, он все-таки мечтал стать хирургом-виртуозом, как Бакулев, но время рассудило иначе. Рано вступившего в партию студента из бедной крестьянской семьи выдвинули на руководящую работу. Он был спокойным, неглупым, хотя и малообразованным человеком, и карьера пошла быстро — в двадцать пять лет Петр Алексеевич Щербаков уже заведовал медицинскими кадрами города. Правда, тут карьера чуть было не споткнулась,— шерше ля фам, как говорят французы. Молодой администратор от медицины заприметил в одной из больниц, которые по долгу службы ему приходилось инспектировать, юную санитарку со смуглым румянцем. На узком, слегка восточного типа лице чуть испуганно сверкали горячие черные глаза, и талия у девушки была такой тонкой, что молодой администратор даже не поверил своим глазам.

Не знаю в точности, как уж они там поладили. Приходится восстанавливать семейную хронику лишь по глухим обмолвкам родителей, которые удержала детская память, да по сохранившимся фотографиям.

Молодой администратор на фотографии выглядел привлекательно: худощавый, светловолосый, с глубоко посаженными умными глазами на серьезном уверенном лице, одет он был в гимнастерку с отложным воротником и большими карманами и туго подпоясан широким комсоставским ремнем. Такая внешность, конечно, должна была понравиться восемнадцатилетней студентке первого курса медицинского института, жившей в общежитии и подрабатывающей санитаркой в больнице. Она родилась и выросла в южном провинциальном приморском городке и с детства мечтала о больших городах. Даже на фотографии, запечатлевшей ее на фоне рисованной белой колоннады, увитой грубо намалеванной зеленью, у девушки мечтательный, обращенный внутрь

взгляд и задумчивое выражение почти детского лица, и, конечно, неправдоподобно тонкая талия. Да еще косы, роскошные черные косы, двумя толстыми жгутами змеящиеся по не совсем оформившейся груди. Такими были мои будущие родители сорок один год назад. Но дальше история выглядит не столь уж романтично.

Восемнадцатилетняя студентка почти сразу забеременела, а женитьба не входила в планы молодого администратора. Конечно, при его причастности к медицине аборт не представлял неразрешимой проблемы, но юная провинциалка вдруг проявила отчаянную неуступчивость. Произошла ссора, и они расстались на несколько месяцев.

Я не знаю, что думал тогда молодой администратор, как мыслил он себе разрешение этой истории. Скорее всего, как большинство заурядных людей в безвыходном положении, он старался не думать, забыться в своих административных заботах. Но было начало тридцатых годов, и время не располагало к забывчивости. И потом, как у всякого человека на виду, у молодого администратора нашлись недоброжелатели. У юной студентки, конечно же, появились доброхотные защитники. История получила огласку, и запахло скандалом и крушением карьеры.

Я точно знаю, что мать не писала заявлений ни в какие месткомы, не требовала призвать соблазнителя к ответу. Она просто тихо сидела на лекциях в своем институте и, несмотря на заметно округлившийся живот, продолжала работать санитаркой в больнице. А история росла и развивалась, как плод, который она носила в себе.

Не думаю, что мать в свои восемнадцать лет была столь мудра, чтобы осознанно выбирать свое поведение. Наверное, женский инстинкт и полудремотное состояние беременности стимулировали ее тихость, казавшуюся окружающим безответностью. Но так или иначе, линия поведения оказалась очень верной. Молодому администратору намекнули где-то в начальственных сферах, что от него ждут благородных поступков. А он был всю жизнь понятлив на намеки.

Так девушка из провинциального городка возле южного моря стала законной женой. И во второй день апреля одна тысяча девятьсот тридцать третьего года, когда ей исполнилось девятнадцать, родила сына. И вот сорок лет спустя я стоял в коридоре коммунальной

квартиры перед дверью комнаты, в которой прошло мое детство, и с горькой умешкой думал, что мое рождение было нежеланным, по крайней мере для одного из родителей. Таким образом, появление мое на свет с самого начала было связано с каким-то давлением обстоятельств. Я был дитя принуждения и нелюбви. Не это ли, хоть в какой-то мере, предопределило судьбу?

Я повернул старую медную ручку и отворил дверь.

Широкие, с полукруглыми верхними фрамугами окна, несмотря на свою высоту, давали мало света, потому что смотрели на север, а на противоположной стороне узкой улицы стоял пятиэтажный дом.

Я мог, зажмурив глаза, до малейшей подробности представить себе эту комнату, потому что десятилетиями здесь ничего не менялось и потому что эта убогая, но претенциозная обстановка была моим первым впечатлением на свете. Мне не нужно было рассматривать ветхий будуарный диванчик и круглый одноногий столик в самом светлом углу у левого окна, не нужно было поражаться уродливости старинной кленовой кровати, торцовой стороной упиравшейся в правую стену. В огромном сургучно-красном платяном шкафу я прятался еще несмышленышем, воображая в пропитанной запахом нафталина темноте смутные и увлекательные ужасы; и тяжелый обеденный стол на слоновьих ногах, почти как прежде, мнился тупым и сонным жвачным животным. Опасливый соблазн потрогать стоящих на пузатом комоде фарфоровых балерин с отбитыми руками, мраморных слоников, искалеченных мною еще в детстве, был прежним. И самого себя я ощутил странным маленьким монстром — со скорбной и старой душой,— который не в силах высвободиться из пут детской памяти, потому что в этой комнате ничего не менялось. Я был насекомым, попавшим в каплю густой и прозрачной хвойной смолы, которая застывает столетьями, но не меняет свой вид. И чтобы стряхнуть это вязкое ощущение, я посмотрел на единственное, что в этой комнате было подвержено времени,— на усохшую женщину с обильной сединой в черных густых волосах; она сидела на диванчике у окна и до моего появления просто смотрела в угол комнаты с неподвижным обмякшим лицом.

Я сказал:

— Здравствуй, мать,— и сбросил пальто на стул у слоноподобного стола.

Мать слегка улыбнулась, черты лица обострились,

и она сразу стала похожа на ту тоненькую девушку с фотографии, но голос был глухой, растрескавшийся, неуверенный:

— Слава богу, а то я уже начала беспокоиться. Вчера видела тебя во сне.— Она суетливыми мелкими движениями пальцев оправила воротничок белой блузки и легко встала.— Хочешь покушать? Я сделаю тебе яичницу.

— Нет,— ответил я, стараясь приглушить голос.

Есть очень хотелось, но, когда я приходил к матери, меня охватывало раздражение и какой-то бес противоречия вдруг просыпался внутри от этой вечной яичницы, придуманных снов обо мне,— за всем этим я чувствовал ее дремотное безразличие. Нет, она любила меня какой-то непонятной, одной ей ведомой любовью. Часами могла говорить, что мне пора наладить жизнь и жениться, что в холодную погоду нужно надевать шапку и укутывать горло шарфом. Но если бы меня сейчас посадили, то от нее я бы не дождался передачи. Это дело уже проверенное.

Когда-то в колонии я сильно дошел, просидев в штрафном изоляторе свое количество суток строгача. После этого я так отощал, что качался от ветра, и рожа покрылась чирьями, а работать нарядили на строительство лежневки через болото — по этой дороге должны были начать вывозку леса с новой делянки. Работа была не из легких — приходилось таскать на плече двухметровые шпалы или бревна-пятерку вдвоем. Я так ослабел, что чувствовал — меня задавит лесиной или просто я помру от тяжести. На Севере даже летом в этих треклятых таежных болотах вода не прогревается выше десяти — двенадцати градусов. Тучи комаров и гнуса вились над головой, и от них не спасал никакой накомарник. Словом, положение было хуже некуда. Если бы удалось хоть немного подкормиться, то еще оставались бы шансы... И вот тогда я написал матери письмо. За весь свой срок я ничего у нее не просил, я вообще не люблю просить ни о чем. И особенно у матери.

Там ее письма просто раздражали меня своими нелепыми советами беречься от простуды, в холодную погоду не гулять долго на улице и регулярно питаться. Конечно, идиотизм этих советов происходил от ее наивности, от неумения и нежелания понять что-либо на свете, но именно это и раздражало в женщине, у которой сидели и сын, и муж. Вот почему мне трудно было просить у матери помощи, и я сделал это, только когда

дошел до самой крайности. В письме я писал, что болен, что у меня фурункулез от недостатка витаминов, и просил прислать коробочку витаминного драже. Намек был, кажется, достаточно прозрачный. И посылка пришла довольно скоро, я даже поразился разворотливости матери, когда меня вызвали в надзирательскую, где распечатывали ящики и проверяли содержимое посылок.

Посылки приходили нечасто, потому что здесь была собрана отрицаловка со всего управления: отказчики, бегуны, злостные нарушители режима — в основном бездомные бродяги, давно потерявшие связь с волей и родственниками. И на выдачу моей посылки собралась половина надзирателей. Но моя посылка их разочаровала.

Как только рослый сержант по прозвищу Задави-Панаса, при любопытном молчании всех остальных, фомкой оторвал фанерную крышку ящика и сдернул газету, прикрывавшую содержимое, на его румяном лице отразилось недоумение.

— Цэ? — удивленно выдохнул он и концом фомки подцепил из ящика помятую фуражку морского офицера с серебряным крабом и лаковым козырьком.

Появление этой фуражки из ящика было так неожиданно, что я просто онемел, а Задави-Панаса перехватил ее другой рукой и быстрым движением нахлобучил мне на голову.

— Моряк,— с издевательски-уважительной интонацией произнес он, и надзиратели захохотали. Они пришли бы в восторг и от менее нелепой в этих условиях вещи, ну а тут-то была настоящая потеха.

Я сорвал фуражку и бросил в угол, к печке. Здесь невозможно было вообразить вещи более нелепой, чем морская офицерская фуражка с крабом и лаковым козырьком. Злость и обида охватили меня. А Задави-Панаса извлек из ящика местами вытертые до белизны байковые лыжные штаны, которые я носил еще пятнадцатилетним мальчишкой. Штаны были мятые, неопрятные, имели вид бросового старья. Потом из ящика, при полном и даже каком-то подавленном молчании надзирателей, появилась круглая коробочка витаминного драже, несколько ученических тетрадей в клетку, пачка ванильных сухарей, пачка пиленого сахара, пакетик молотого черного перца, который Задави-Панаса сразу отложил в сторону как недозволенное, пара серых шерстяных

носков и обернутый газетой небольшой кусок соленого шпика. Это было все.

Видимо, мое лицо так откровенно отразило уныние и горечь, что один из надзирателей, пряча сочувствие под грубостью, сказал:

— Ну, чего скривился? Где матка возьмет для тебя на масло да на колбасу! На воле надо было жить, если сладко пить и есть хочешь. А вы все тут сидите и подогрева просите, а может, там старухам и самим кусать нечего. Забирай и будь доволен.

Я не ответил. Сероватые беленые стены тесной надзирательской, молодые румяные лица сержантов-сверхсрочников, дождливые сумерки, вползавшие в маленькое покосившееся окно,— все давило безысходностью. И тогда, быть может впервые, я осознал беспросветность своего одиночества. Оно покрыло меня с головой, как волна покрывает утопающего, обессилевшего и уже переставшего сопротивляться. Тупое предсмертное безразличие охватило меня. Я завернул в потертые байковые штаны содержимое своей посылки, вышел из надзирательской и медленно побрел к бараку. И с каждым шагом из меня уходило, вытекало, как из дырявого ведра, желание жить.

Самым страшным является не само одиночество, а сознание его непреодолимости,— это поражение. Пока вы совершаете поступки, это еще не одиночество. Поступок отвергает одиночество; просьба о помощи, стремление завоевать чью-то дружбу, даже злость — все есть отношение к людям, преодолевающее одиночество. Но когда вы вдруг понимаете, что ваши мольбы, ваша душевная открытость, ваша злость и алчба — все бесполезно, что не осталось никакого выхода, кроме смерти,— тогда это одиночество, потому что боролись вы только за себя. И я уже не злился на мать и не чувствовал обиды. Я прибрел в барак и лег на нары.

В такт с перебоями в дальнем тарахтении движка тускло пульсировала лампочка под серым потолком, спорили о чем-то загрубевшие хриплые голоса, поскрипывали двухэтажные нары, оттого что кто-то ворочался или оправлял постельное тряпье.

Я лежал и смотрел в потолок, тупое гнетущее безразличие наваливалось вязкой дремотой. Последним усилием я превозмог ее, сел, развернул байковые штаны, разорвал пачку сухарей, раскрыл сахар и стал сосредоточенно грызть. Сухарей было семь, хрупких, податли-

вых, они кончились в мгновение ока, оставив после себя лишь ощущение сосущего голода. Я слез с нар, набрал кружку тепловатой воды из бачка возле печи, забрался обратно и начал есть сахар. Я макал куски в воду, и они быстро распадались на зубах. Я хрумкал сосредоточенно и бездумно, словно скот, и даже не ощущал сладости, хотя теперь могу понять, что этот сахар был не хуже того, что достался мне в апреле сорок второго... Когда пачка опустела наполовину, я стал прятать оставшееся, как зверь закапывает недоеденную кость. Все погасло в сознании, только инстинкт понуждал запихивать сахар в сенную труху вспоротой подушки. Спрятав, в изнеможении растянулся на плоском матрасе, но какое-то беспокойство не давало уснуть. Я начал рассматривать штаны. Надзиратели даже не стали внимательно прощупывать их, а мне все не верилось, что в посылке ничего нет. Быть может, мать куда-нибудь припрятала хоть пятерку? Торопливыми движениями пальцев я перебрал каждый сантиметр ветхой вытертой байки — ничего. И тут я заметил, что на штанах не хватает пуговиц. Они застегивались так же, как матросские брюки, и вот на правом боку не было обеих пуговиц, торчали только синие разлохмаченные нитки. Мать даже не удосужилась пришить их. И тогда я зарылся в пропахшую потом подушку и заплакал едкими, злыми слезами, а потом незаметно уснул.

Проснулся я еще до подъема. Слюдяной короткий сумрак, который разделяет белую ночь с утренней зарей, плавал в проходе между нарами, пахло испариной натруженных тел, несвежими портянками; из угла барака доносился неспокойный прерывистый храп.

Внутри была такая пустота, что я с особой осторожностью слез с верхних нар,— казалось, при первом же резком движении меня подбросит к потолку, как невесомый пузырь. Эта болезненная невесомость расходилась по рукам и ногам, делала их слабыми и беспомощными. Я вышел из барака и умылся пронзительно холодной водой под умывальником, глухо стукающим соском в мертвой предутренней тишине. Высокое, прозрачное небо стояло над зоной; на колючей проволоке запретки висели голубоватые капли росы, а за широкой песчаной пустошью, от самой изгороди наморщенной свеем, синела темная стена тайги, и над ней, подкра-

шенный еще невидимым солнцем, медленными кругами ходил большой золотистый ястреб.

Я достал спичечный коробок с заветной щепотью махорки, всю до крошки ссыпал ее в клочок газеты — получилась толстая цигарка. Спичка тоже была последней, но это не беспокоило. Я сел на завалину барака и, делая размеренные затяжки, стал смотреть в синюю, постепенно светлеющую с вершины стену тайги. Я ни о чем не думал, лишь медленно наполнялся угрюмой тяжелой решимостью.

Цигарка курилась ровно, махорочный дым казался особенно душистым и вкусным, и в мире для меня отныне не существовало больше ничего.

Цигарка догорела наполовину, когда из барака, шаркая растоптанными чунями, вышел старый татарин-дневальный; ежась от утренней знобкости и аккуратно, бережно переставляя слабые ноги, с фанерным ящиком он направился к хлеборезке за пайками. И тут возле надзирательской пробили подъем, резкие металлические звоны дробили утреннюю тишину. Цигарка догорела до конца, я последний раз взглянул на уже светлую стену тайги и ушел в барак. Вскоре вернулся дневальный. Я взял свою пайку и сунул под подушку. Утренняя возня меня не касалась, я даже не разбирал слов и ругани, которыми обменивались бригадники, по-утреннему возбужденные, с измятыми лицами, злые.

Баланду и кашу я съел без хлеба, потом выскользнул из столовой и спрятался на задах кухни за кучей наколотых дров, чтобы переждать развод на работу. Когда зона опустела, я вернулся в барак, достал хлеб и сахар и стал есть. Я не чувствовал вкуса, просто упорно и размеренно уничтожал еду.

— Заболел, что ли? — спросил дневальный.

Я только кивнул в ответ, продолжая неторопливо жевать. Торопиться было некуда,— забрать меня в карцер могли не раньше утренней поверки. Я доел весь хлеб и сахар, выпил две больших кружки кипятка, залез на нары и заснул, беззаботный и почти счастливый от сытости.

Потом был штрафной изолятор за невыход, кипяток, триста граммов пайки и миска баланды через день. Спасло меня тяжелое воспаление легких, я очнулся в лазарете и провалялся там больше месяца. Потом меня перевели в барак доходяг и три месяца не гоняли на работу.

Только позже я обнаружил в одной из тетрадок листок материнского письма.

«...Дорогой сынок, надеюсь, витамины помогут тебе. Посылаю фуражку отца, в ней тебе будет удобно ходить. Носи, чтобы не напекло голову...» Письмо это даже не рассмешило меня.

С тех пор минуло почти двадцать лет. И вот я стоял, ладонью опираясь на столешницу, и смотрел, как по заставленной хламом комнате легко движется усохшая женщина с обильной сединой в волосах.

Я достал из кармана пятидесятирублевку, положил ее на стол и сказал:

— Поздравляю тебя, мать. Вот, купишь себе что-нибудь, а то я ничего не придумал.

— Спасибо, сынок, но зачем мне. Оставь лучше себе,— глаза ее молодо стрельнули в сторону стола, и она остановилась, взялась руками за спинку стула.— Я не приготовила тебе ничего. Все думала купить мохеровый шарф, но не попадался...

Она отодвинула стул и села к столу.

— Может быть, все-таки съешь что-нибудь. Я могу чайку заварить. У меня есть пирожное «трубочка».

— Нет, спасибо, мать, не хочу,— мне опять пришлось сдерживать голос.

— Как-то не получается наш день рождения,— она смутно улыбнулась, сделала слабый жест рукой.— Я как уехала из дому, с тех пор и не праздновала. А дома отец — твой дедушка — так умел устраивать праздники. Свечи зажигали...— она уже произносила слова нараспев, и лицо снова обмякло мечтательно и безвольно.

Я поспешно прервал ее:

— Дай, пожалуйста, пепельницу,— и достал сигарету.

Она сразу осеклась, встала и подала щербатую фарфоровую пепельницу, потом с тем же обмякшим лицом уставилась куда-то в угол комнаты.

В молчании я закурил, и с первой же затяжкой пришла усталая привычная грусть.

Я курил и смотрел на старую женщину, которая, уставясь в угол большой захламленной комнаты, витала где-то далеко-далеко, там, где прошло ее детство.

До войны, когда я был несмышленышем, она часто рассказывала мне одинокими вечерами, когда отца не было дома, о теплом южном море, о большом, красивом доме у самого берегового уреза, о праздниках, которые

устраивались в з а л е, о чудесных гранатовых деревьях, увешанных глянцевыми темно-красными плодами, о запахе цветущего миндаля и тяжелых жемчужно-фиолетовых гроздьях винограда.

Детское воображение наделяло эти рассказы яркой достоверностью. И я видел прозрачно-голубые спокойные волны, тихо накатывающие на желтый песчаный пляж; видел сказочные деревья с тяжелыми плодами и золотистых ярких птиц, раскачивающихся на ветвях; слышал запах горящих восковых свечей и плавную музыку в зале (слово «зал» мать произносила с каким-то особенным выражением), и у меня захватывало дух от просторности этого помещения с тремя высокими окнами, обращенными на морскую гладь.

Рассказы матери о ее детстве были любимой сказкой моего детства. Тогда я еще не догадывался, что и для матери эти рассказы были всего лишь сказкой, сказкой, в которую она так уверовала, что та превратилась в действительность. Только через десятилетия я узнал, что все было не таким, как в материнских рассказах. Года три назад судьба забросила меня в те места, я не поленился и заехал в маленький городок, где родилась моя мать. Я помнил адрес того белого дома с залом еще по довоенным письмам, но родственники матери уже не жили там. Я нашел узкую пыльную улицу, обсаженную старыми ореховыми деревьями. Дом стоял возле угрюмого двухэтажного куба старой бани — маленькая мазанка с красной крышей и тремя подслеповатыми окошками по фасаду длиною в пять моих шагов; за глиняным побеленным дувалом по шестам вились несколько лоз винограда, тихо колыхалась стройная груша с блестящими темно-зелеными листьями, и над дощатой будкой уборной склонила свою крону кривая старая шелковица. По боковой стене с одним оконцем дом тоже был длиною шагов в пять. До берега моря я шел кривыми пыльными улочками с полчаса.

Так рухнула сказка моего детства.

После моего рождения мать бросила институт и не работала почти до самой войны, и только в сороковом году поступила не без помощи отца на курсы медсестер. И так всю жизнь и проработала в одной клинике,— благо в ночные дежурства на сестринском посту оставалось время для ее всегдашних мечтаний. С мягким, но несокрушимым упорством мать не хотела жить в настоящем. Домашнее хозяйство вела кое-как, стараясь по-

быстрее освободиться от докучливой стряпни и снова вернуться в свой мир.

Я давно уже привык к странностям матери, понял и простил их, но все равно с трудом подавлял в себе глухое раздражение, когда видел это ее обмякшее отсутствующее лицо и взгляд, устремлявшийся в никуда.

Еще раз оглядев эту неизменную комнату, я потушил окурок в пепельнице и встал.

— Ну, я пошел, мать.

Пальто было уже у меня в руках, когда она вышла из своей задумчивости и повернула ко мне обострившееся лицо, но голос был, как всегда, неуверенный:

— Знаешь, что я хочу тебя попросить?..

— Что? — спросил я и улыбнулся ей, как ребенку, снисходительно и ободряюще.

— Зайди на Кирочную...— она печально и пристально посмотрела мне в глаза.

— Зачем? — спросил я и сам услышал, как от злости осип голос.

— Ну, отец же... Он болен... Звонил вчера, спрашивал про тебя,— мать опасливым напряженным взглядом обвела комнату и снова печально и пристально посмотрела на меня.

— Что он спрашивал? Жив я или нет? — резкими движениями я напялил пальто.

— Он старый человек... Отец... Он помнит, что у нас день рождения,— голос матери был нуден, как голос нищенки, просящей подаяние.

— Какая великолепная память. Ты бы сказала, что я тоже помню,— я с усмешкой взглянул на мать.

Она потупилась и быстро исподлобья посмотрела на уродливую кленовую кровать, высокой спинкой упиравшуюся в правую стену комнаты. И тогда я понял, что она тоже ничего не забыла.

В комнате вдруг потемнело, углы скрыло пугающей мглой, и перед глазами поплыли черно-красные хлопья. Машинально поддернув полы пальто, я бессильно опустился на стул...

Моих дней рождения никогда не отмечали в семье званными обедами или подношением подарков, даже в самом раннем детстве, и поэтому я запомнил только апрель сорок второго.

Мне тогда исполнилось девять лет, но я не понимал этого, вернее забыл, как и все остальное на свете, потому что провел зиму в полуобморочном состоянии и толком

не знал, жив я или мертв. Уже не думалось о еде, не вспоминалось, как в первые дни зимы, о всяких яствах. Я просто лежал бессловесным комком в ямке продавленного матраса на старой кленовой кровати под ворохом завшивленного тряпья и чувствовал только тяжесть этого тряпья; сил хватало лишь на то, чтобы вдохнуть и выдохнуть холодный, но затхлый воздух. Я впадал в забытье и приходил в себя, а в комнате стояла все та же полутьма, и казалось, что между вздохами проходят годы.

Мать подходила ко мне редко; не открывая глаз, я заглатывал теплую талую снеговую воду, жевал, если чувствовал во рту, хлеб... Я до сих пор не могу забыть того состояния между жизнью и смертью. Это было ощущение животного,— сознание уже не действовало, оставались только простейшие инстинкты... Загодя предчувствовал я редкие подходы матери и чуть оживал, а потом снова погружался в спячку.

В тот день я, как обычно, ощутил беспокойство, какие-то проблески желаний, и это значило, что скоро край теплой кружки коснется иссохших губ, потом во рту появится хлеб и я буду медленно жевать, пока хлеб не превратится в солоноватую кашицу, пропитавшись кровью, сочащейся из цинготных десен.

Но ожидание все длилось, и беспокойство коченеющего полумертвого зверька, каким я был тогда, усиливалось. Зверек даже задышал чаще, открыл глаза и увидел солнце, окрасившее в желтое морозную роспись окна. После стольких дней темноты это было так странно и ярко, что зверек снова закрыл глаза и ему стало очень страшно. Он попробовал крикнуть, но ничего не получилось, только судорожно дернулась челюсть. Зверек ощутил, что он умирает, и в нем сразу воскрес человек. Человек понял, что нужно снова открыть глаза и что-нибудь увидеть и запомнить, потому что умирает он навсегда. Страха и неприятных ощущений не было... Я только знал, что это навсегда, и еще подумал, что матери останется моя хлебная карточка. Я открыл глаза и стал запоминать и запомнил навечно освещенные бледным солнцем ледяные хвощи и папоротники на оконном стекле, и услышал говор в комнате, и тоже запомнил навсегда. Монотонным, нудным голосом мать говорила:

— Он еще живой, утром стонал. Умрет, конечно... Но живого бросать нельзя... Нет. Был бы кусок сахару...

— Опомнись, Вера! Машина через час, собирайся,— это говорил отец. Низкий, богатый оттенками голос звучал с проникновенной проповеднической силой.

— Нет, не могу. Если есть у тебя что-нибудь,— мать сделала длинную паузу, а голос у нее был все тот же монотонный, негромкий и нищенский,— если есть...— повторила она.— Он же — твой сын.

— Ты погибнешь здесь! Я умолял этих людей взять тебя. У них только одно место в машине. Поезжай, прошу тебя... Я устрою его в больницу... завтра.

— Дай сахару, хоть кубик, пусть хоть последний раз... Дай. Он раньше любил сахар. Дай.

— Вера, опомнись, тут вопрос о жизни.

— У тебя же есть, ну, дай, дай. У него сегодня день рождения, разве ты забыл? Твой сын. Дай ему кусочек сахару.

— У нас будут еще дети. Ты поезжай. Главное, чтобы ты выжила.

— Дай, дай маленький кусочек... Я давно не слышала, как он смеется. Может, улыбнется раз. Дай...

...Сладость того куска рафинада я тоже запомнил...

Я встал, глубоко вздохнул, обводя глазами большую захламленную комнату, оправил пальто и застегнул пуговицы.

— Зайди, пожалуйста, к нему,— снова попросила мать.

— Хорошо,— согласился я, уже не в силах возражать. Да и в самом деле, не мог же я не пойти к человеку, которому стольким обязан.

5

Я вышел в родную апрельскую сырость, в которой утопала моя улица. Шли прохожие — скромные люди средних лет в скромных пальто; в этом районе не было больших промтоварных магазинов и модерново-претенциозных кафе, блистающих унылой роскошью пластиков, притворившихся карельской березой и красным деревом, поэтому на моей улице не встречались распаренные от предприимчивости, всполошенно устремленные охотники за дефицитом и озабоченные удовольствиями посетители злачных мест. Улица была неброской и глуховатой, как быт старых ленинградцев из коммунальных квартир. Все это было привычным, зажитым до невосприимчивости, но сейчас я словно стал невидим-

кой — никто не ощущал моего присутствия здесь, на этом клочке пространства.

Где-то над торосами Гренландского моря апрельский арктический воздух сгущался в антициклоны и плыл через Норвегию на Ленинград, наполняя город знобкой сизоватой серостью; декретное время уже отметило конец рабочего дня и с несуетной озабоченностью подсчитывало тонны, кубометры и мегаватты. А я будто попал в будущее — не осталось никаких уз, люди и город не были связаны со мной общностью опыта, непрерывностью времени,— точно во сне, когда кричишь, машешь руками и зовешь на помощь, но никто не слышит твоих слов и не замечает жестов. Я был одиноким невидимкой, время которого текло вспять — к тому апрелю сорок второго года.

Я умирал в куче тряпья на уродливой кленовой кровати, и два голоса, голос проповедника и голос нищенки, торговались за тот остаток жизни, который еще курился легким прозрачным парком над моими губами. Я хотел шевельнуться, подать голос за свою жизнь, но, как во сне, никто не мог услышать меня, хотя разговаривали они обо мне — еще обо мне. Но я уже был невидимкой — одиночество смерти делало меня таким, и оно давало спокойствие, вернее, безразличие, хотя я отчетливо понимал смысл слов отца. И первоначальное несогласие, возникшее во мне, сразу угасло, истощив последние силы. Мне было безразлично, будто не обо мне речь и не я умираю. Я уже был далеко, где-то в другом измерении, где хрустально сверкали под апрельским солнцем и рассыпали лиловые искры мохнатые хвощи и папоротники на оконном стекле; световые годы уже отделяли меня от голоса усталой нищенки и голоса проповедника,— одиночество, окончательное отрешение, предел существования...

Но я существовал, вне всякого сомнения, когда лежал в куче тряпья и слышал разговор о своей смерти. А смерть — это отнюдь не иллюзия, и тот сахар, кусочек рафинада, реальнее целых сахарных складов и кондитерских магазинов, и сладость его острее и больше райских блаженств, потому что она — сладость возвращенной жизни...

Я ничего не выдумал, это не рефлексия, обращенная назад,— слишком жесткой силой реальности обладает смерть. Я ничего не выдумал. Отец был реальностью, а не голодным бредом (хотя лучше бы он был бредом),

когда в тот апрельский день тридцать один год назад сидел за слоноподобным столом в этой комнате, где ничего не изменилось, и распоряжался моей смертью — только смертью, потому что моя жизнь казалась в тот день лишь неприличной иллюзией...

Сизо-серая апрельская улица в четыре часа пополудни декретного времени молчаливо уводила скромных прохожих, отработавших свой день; хмурились прошлым столетьем дома, деликатно шуршали легковые машины.

Я шел к отцу, и меня подмывало завернуть в соседнюю бакалею, купить целую пачку рафинада и поднести с трогательной благодарственной надписью.

Я шел по направлению к Салтыкова-Шедрина (бывшей Кирочной). Был апрель семьдесят третьего года, и весенние арктические антициклоны медленно влекли по небу полупрозрачные тени облаков, но мне слепило глаза блокадное солнце сорок второго. Так где же я был: здесь — теперь или там — тогда?

Не думайте, что тогда, в том апреле (а может, это теперь и здесь?), мне было всего девять лет от роду и я ничего не понимал и сейчас уже не помню, должен забыть. Я был тогда мудр предсмертной мудростью и понимал, что осужден умереть. Кого хоть раз настигало то спокойствие и безразличие — должен умереть. Нельзя заглянуть туда и вернуться. Но я выжил, и выжили другие. Такова судьба части моего поколения, и в этом наше счастье и наше несчастье.

Наше несчастное счастье...

И снова голодная одурь блокадной зимы затуманила глаза и вызвала головокружение, и давешнее предчувствие припадка сдавило грудь и виски, навалилось безотчетным парализующим страхом.

Я тащился по бывшей Надеждинской, и улица вливала в меня чуть обидчивое приятие данности...

Меня всегда занимал вопрос о зависимости между отношением человека к жизни и его личной судьбой. В юности, в звонкой, натянутой, как струна, ночной тишине, я почти постоянно думал об этом. Мне казалось, разрешив этот вопросик, я разгадаю тайну бытия. Подикарски наивно и яростно верил я, что все связи жизни и судьбы можно выразить формулой, столь же изящной и строгой, как $E = mc^2$...

В зарешеченное окошко камеры доносился глуховатый отдаленный шум грузовиков, проходящих по набе-

режной; одинокая, неоново светящаяся звезда мерцала в сизых лохмотьях неба, четко обрезанного квадратом амбразуры; астматически хрипел во сне мой сокамерник — кроткий, застенчивый убийца, порешивший двух человек за шесть рублей и чекушку водки и теперь с тупым бездумным смирением ожидающий своей участи.

Я лежал на нарах и думал о связях жизни и судьбы. И с болезненной страстью верилось, что можно постичь секрет счастья одним лишь усилием короткого и не отягощенного знанием ума... И до сих пор во мне — усталом, изломанном, сорокалетнем — порой вспыхивает идиотская надежда, что задачка имеет решение, что формула счастья существует. Но это вызывает теперь лишь расслабленную тихую грусть, как воспоминание о наивности детства. Хотя, возможно, те давние беспомощные мысли, та дикарская, наивная и яростная вера в гармонию и закономерность судеб помогли выжить, не сломаться, не заразиться безумием бесчувствия, с каким кроткий убийца ожидал своей участи.

Нет зданий более нефункциональных, чем тюрьмы и церкви. В церквах зародилось сомнение, в тюрьмах — жажда свободы. Энергия непокорства и свободомыслия движет человеческий дух во времени, как гравитация в притяжениях и обращении небесных тел поддерживает гармонию вселенной. Единство и борьба противоположностей, изменяя, сохраняют сущее — да простят мне философы наглость и невежественность мысли. Но я не философ и не тщусь познать устройство мира, где все мгновенно и вечно, как человеческая боль. Я вспоминаю свою жизнь, чтобы понять, могла ли она сложиться иначе, и на этом единичном примере пытаюсь понять, есть ли для жизни и судьбы формула, подобная $E = mc^2$.

...Я шел вниз по улице своей судьбы — одинокий странник из прошлого, лишенный будущего. Я шел к отцу и не хотел его видеть. Я был по горло сыт прошлым, я боялся будущего, а в настоящем чувствовал лишь тоскливое, слабое опьянение от выпитого натощак коньяка и голод. Впрочем, голод был моим спутником почти всю сознательную жизнь. Голод шел со мной с самого рождения — торгсины тридцатых годов, блокада и карточная скудость сороковых, безумный, мучительный голод исправительных колоний в пятидесятых,

когда организм растет и требует пищи, а сознание не в силах уловить смысл в этом испытании. Двадцать лет из сорока прожитых горбушка черного черствого была для меня вожделенной целью — такой, какой для честолюбца становится слава. Мое поколение мечтало «о подвигах, о доблести, о славе» — кто не мыслит об этом от пятнадцати до тридцати пяти,— но рядом с этой высокой жаждой всегда грезился хлеб, тот, который нынче неопрятными кусками плесневеет в лестничных бачках для пищевых отходов и мокнет на задворках столовых в кучах картофельной шелухи.

Память сытых людей по-рабски коротка и беспечна. Но мне приходилось замечать, как многие виновато отводят взгляд от брошенного, пропадающего хлеба.

Если вы долго и трудно голодали в юности, то, как бы сыто ни жилось вам теперь, как бы равнодушно ни относились вы к еде, в вас все равно остается, даже скрытое от вас самих, молитвенное отношение к пище. Оно неизбывно и цепко, как неосознанное суеверие, сидит где-то в сознании или подсознании, а может быть, глубже — в соках желез и крови, в клетках, навек хранящих память о годах невзгод. И эта клеточная память, это суеверие проявляется в ваших привычках — хотите вы этого или нет.

Я был довольно безразличен к еде, ел мало и нерегулярно, но что-то осталось во мне от тех изнурительных голодных лет. Какой-то атавистический животный инстинкт вдруг просыпался во время еды, и я испытывал мучительное неудобство, если ел не один. Я мог обедать в шумных столовых и унылых забегаловках, одинаково равнодушно принимал моченую сардельку со стаканом кефира и нежнейшую, обжаренную на вертеле вырезку с марочным вином,— посторонние люди не мешали мне... Но как только рядом со мной во время еды оказывался знакомый человек — сразу начинались мучения. Кусок застревал в горле, и появлялось смешанное ощущение яростной злобы хищного пса, в окружении себе подобных грызущего кость, и позорной беспомощности, будто в два часа пополудни посреди наполненного людьми зала итальянской живописи Эрмитажа я вдруг наделал в штаны. Я понимал, что все эти ощущения чистый идиотизм, но ничего не мог поделать с собой,— ярость и стыд всегда настигали меня за едой под взглядом знакомых людей. И это началось не вчера...

Чахоточным маем сорок второго года, когда смерт-

ные испытания зимы были уже позади, но ужас смерти еще сидел в памяти, как дистрофия в истощенном организме, я слонялся по улице босой, в потертых до прозрачности вельветовых штанах, купленных еще до войны и теперь доходивших только до колен. Видимо, даже в голод я рос, хотя и противоестественно ощущал свой организм как что-то постороннее, доставляющее неудобство почти постоянным поносом, зудом неисчислимых прыщей, струпьями, покрывавшими грудь и лицо. Наверное, я был омерзителен и страшен на взгляд современного человека. Скелет, покрытый синюшной прыщавой кожей, в коротких белесых штанах и застиранной исподней рубашке из желтой фланели, с неровно выстриженной тупыми домашними ножницами головой, тоже покрытой струпьями. Но все равно май сорок второго запомнился мне как самое счастливое время детства. Я возвращался к жизни, и даже телесная слабость, которую я постоянно ощущал, доставляла болезненное удовольствие, потому что с каждым днем преодолевалась все легче. С каждым днем я все дальше отходил от парадной своего дома, и у меня хватало сил возвратиться. Из подъездов окрестных домов вылезали другие мальчишки, замотанные в лохмотья, и, прислонившись к стенам домов, щурились на солнце мутными подслеповатыми, как у недельных щенков, глазами. Мы обменивались недоверчивыми взглядами, потому что за темную страшную зиму перезабыли друг друга, будто протекла тысяча лет,— голод отшибает память.

Нас тянуло к перекрестку, где были магазин и булочная. Как голодные псы, провожали мы тоскливыми вожделеющими взглядами людей, уносящих свой пайковый хлеб.

Не было никакой надежды на подаяние — все были одинаково истощены, а рассчитывать на сердобольность даже не приходило на ум, но меня магнитом влекло к булочной. И с тупым упорством бездомного голодного пса я торчал у дверей, сумрачным звериным сознанием на что-то надеясь.

И чудо пришло...

Я переминался у булочной, и хилое послеполуденное солнце чуть пригревало шею и лицо, облегчая зуд, разъедавший прыщавую кожу. На перекрестке поэтов было тихо, как перед обстрелом, в этот предвечерний час. И почти никто не заходил в булочную — люди выкупали хлеб с утра. Я стоял на необычно пустом, даже для обез-

людевшего города, перекрестке. От жидких серовато-охряных бликов солнца на треснутых плитах тротуара, от ощущения стихшего зуда, от привычного чувства голода и легкого головокружения меня обволокла туманная истома, и я сел прямо под окном булочной, заложенным мешками с песком. Перекресток дрогнул и скривился перед глазами, но только на миг, потом все стало четким и ясным — трещины тротуарных плит, афишная круглая тумба в лохмотьях серой плакатной бумаги, уцелевшие пыльные стекла в окнах дома напротив. Спокойным и легким стало дыхание, и в меня вдруг вошло тихое умиротворение.

Я ни о чем не думал и ничего не хотел — заурядней-ший миг застыл, как мыльный пузырь на кончике соломинки, отразил в радужных бликах своими невесомыми стенками все вокруг и бесшумно лопнул,— я ощутил, что я есть, что я жив... Это был миг особенной полноты бытия, миг высшего постижения, когда подросток с голодным сумеречным полусознанием вдруг без слов и мыслей — на едином вздохе — постиг Время.

Заурядней-ший миг застыл, как мыльный пузырь на кончике соломинки, дрогнул и бесшумно исчез, и тот смутно сознающий себя комок покрытой струпьями плоти, которым я был тридцать лет назад, сидя на тротуарной плите под заложенным мешками с песком окном булочной, постиг огромность этого мига в истекающем дне и крохотность в предлежащей жизни, постиг неповторимость и обыденность каждого биения своего истощенного голодом сердца.

Если бы существовало провидение, то в тот же миг моя жизнь должна была прекратиться. Какой-то там косноязычно бормочущий старичок наверху, воображающий себя самым главным, должен был умилиться этим сидящим на тротуаре, бессмысленным, как вечность (в самом деле, чистая длительность — что она такое?), комком коржавой плоти,— этот старичок должен был утереть слезы умиления, всхлипнуть и, на манер древнеримского плебея в цирке, опустить долу свой заскорузлый большой палец. Но старичок-провидение не даровал мне блаженного конца,— старики чувствительны, но равнодушны и забывчивы.

И я очнулся под окном булочной, не понимая, что со мной, не помышляя о вечности, лишь умирая от желания жить. И тут пришло чудо...

В жидких серовато-охряных бликах, на фоне лохма-

той афишной тумбы надо мною взошло девчоночье лицо; худое, оно было некрасиво той тревожащей непропорциональностью черт, которая в грядущем обещает пронзительную красоту. Но ничего этого не понимал я тогда, а просто бездумно и тупо смотрел на большой рот и острый подбородок, на торчащие, с синеватым отливом скулы, смотрел в странно неподвижные длинные глаза, где в синей эмалевой глуби полыхали магниевые искры.

Я смотрел в это лицо, и смутная тревога и узнавание всплывали во мне, как первые медленные пузырьки всплывают со дна в закипающей воде. Где-то я уже видел эту девчонку, но очень давно — в той далекой довоенной, невнятно помнящейся жизни, и ее низковатый мальчишеский голос тоже был из той жизни.

— Ты чего? — спросила она и, склонившись, приблизила ко мне свое тревожно-некрасивое лицо.

— Ничего,— угрюмо ответил я и попытался встать на ноги, но голова пошла кру́гом.

— Хочешь хлеба?

— Чего?! — Вопрос ее был так нелепо неожидан, что я почувствовал испуг.

— Сейчас... Подожди.

Она с видимым усилием открыла дверь булочной и скрылась, перед моими глазами мелькнули тонкие, как спички, ноги в серых драных чулках и больших, зашнурованных шпагатом мужских ботинках.

Рот наполнился горькой слюной. Слово «хлеб», странное, смутно знакомое, тревожащее лицо этой девчонки, испуг от ее слов — все это отдалось во мне болезненным полубезумным возбуждением. Цепляясь за мешки, защищавшие окно, я встал. От усилия дыхание сбилось, перекресток снова дрогнул и скривился перед глазами. Испуг подсказывал, что лучше уйти, но не было сил. И, когда она вышла из булочной, я так и стоял, сглатывая горькую слюну и обеими руками держась за мешки с песком.

— Пойдем, — сказала она и взяла меня за локоть, а в другой ее руке был хлеб,— почти полбуханки!

И я поплелся рядом, не возражая, ни о чем не спрашивая, лишь стараясь не глядеть на хлеб в ее руке. Я плелся рядом, осторожно ступая босыми ногами на разбитые тротуарные плиты, и молчал, весь, до краев испуганной обмелевшей душонки, наполняясь нищенским униженным смирением.

Она свернула во двор дома сорок. Под аркой было полутемно и сыро, и дрожь встряхнула мне плечи.

— Ты что, боишься? — Она пристально посмотрела на меня своими длинными неподвижными глазами сумасшедшей.

Я не ответил, и она стала успокаивать:

— Не бойся, мне не попадет, если скажу, что съела весь. У меня мать до утра дежурит в госпитале. А утром уже по завтрашним талонам хлеб выкуплю.

Она сделала два быстрых шага, раньше меня вышла из-под арки во двор и, обернувшись, остановилась, поджидая меня. Бледное солнце осветило ее: большие побуревшие мужские ботинки, драные серые чулки, подпоясанную шнуром мохнатую коричневую хламиду, расчерченную в клетку грязно-зелеными полосами,— бывшее одеяло или половик, сметанный мешком. Но над всем этим бедственным убогим тряпьем на фоне желтой штукатурки флигеля выделялось ее тревожаще-некрасивое лицо; просвеченная солнцем кожа казалась полупрозрачной, высокие синеватые скулы подчеркивали пронзительную эмалевую синеву неподвижных длинных глаз, и спутанные светлые волосы до бровей закрывали лоб. Выставив вперед острый подбородок, она ожидала, пока я выйду из-под арки, и большой некрасивый рот чуть кривился то ли улыбкой, то ли гримасой брезгливого презрения.

— Айда на чердак,— нетерпеливо тряхнув головой, сказала она и пошла к левому флигелю. Стук ее тяжелых ботинок по булыжнику двора был ритмичным и четким, как дробь барабана...

Если вы долго и люто голодаете в детстве, то в вас возрождаются изначальные животные инстинкты, которые помогали еще вашим пращурам выдержать все пробы естественного отбора,— вы становитесь опасливо недоверчивым, и даже несомненное проявление дружественности и доброты вызывает у вас, как у дикого зверя, оборонительную реакцию...

И с чувством настороженности, готовый убежать и защищаться, пересек я открытое пространство двора, обогнул левый флигель и вслед за этой девчонкой стал карабкаться по отвесной ржавой лестнице на чердак каретника.

Здесь все было как до войны: пыльные лучи тусклого света, входящие через треугольное слуховое оконце, таинственный запах необитаемости и тлена, какая-то

особая, слегка несвежая чердачная тишина. Может быть, мы с ней первыми после блокадной зимы пришли на этот чердак, бывший когда-то местом сборищ окрестной детворы. И наверное, поэтому нас обступило неуютное выморочное одиночество. И оно сразу сблизило нас; ослабло, почти исчезло мое чувство звериной настороженности.

— Садись,— полушепотом произнесла она, протянула мне весь хлеб и сама села на низкую колченогую скамейку под треугольником слухового окна; пыльный свет на миг попал ей в лицо, и в глазах вспыхнули и погасли грозовые искры.

Я ощутил ни на что не похожую, живую тяжесть хлеба в ладони, и горячий, тошнотворный спазм сдавил желудок и все внутренности так, что подкосились ноги. Я почти упал на скамейку, дрожащими пальцами выдрал кусок липкого мякиша из середины этой невероятной краюхи и стал запихивать в судорожно дергающийся рот. И все пропало перед глазами, сознание померкло, не воспринимая беленые перекрестья деревянных балок, тускнеющих в пыльном чердачном свете, не ощущая присутствия этой девчонки с тревожно-некрасивым лицом и остановившимися глазами. Пальцы раздирали хлеб, зубы, расшатанные цингой, вдруг окрепнув, кусали, перетирали и мяли, и я давился непережеванными кусками, задыхаясь от какого-то яростного, жестокого чувства,— так хищник, наверное, рвет и терзает еще живую жертву. И мне казалось, что краюха трепещет и бьется в руках.

Потом наваждение прошло, я словно очнулся от обморока, увидел истерзанную краюху в руке, увидел тусклый пыльный свет на перекрестьях беленых чердачных балок и увидел ее лицо...

Некрасивый большой рот напряженно кривился, а в неподвижных глазах застыли сострадание, испуг и отвращение — так смотрят на бьющуюся в последних судорогах кошку, которую переехал автомобиль. Но я не был кошкой, да и не водилось кошек тогда в Ленинграде, они исчезли еще в первую блокадную зиму. Я не был кошкой, но ощутил злобную ярость и позорную беспомощность... Господи, я, наверное, отдал бы полжизни, чтобы она не смотрела так; я готов был броситься на нее и убить; я корчился от мучительного стыда, но больше всего я хотел есть. И, уже даже не презирая себя за унизительную покорность, я снова стал есть этот хлеб

под ее сострадающим, испуганным, изливающим отвращение взглядом.

С тех пор и преследует меня за едой чувство злобной ярости и позорной беспомощности, закрепленное до прочности инстинкта последующими голодовками. И всякий раз, даже при мысли о том, что надо поесть, я испытываю мучительное неудобство...

Улица Маяковского — бывшая Надеждинская — влекла меня вниз, к Кирочной. Нужно было поесть, нужно было к отцу. Первое было проще.

На углу Рылеева, в подвальчике, издавна находился молочный буфет, он почти всегда пустовал, потому что место это не отличалось бойкостью,— ни учреждений, ни магазинов вокруг, да и предлагал буфет только кефир, пареные сосиски и бледно-сиреневый «кофе с молоком». И я надеялся, что поем там без помех.

Ускорив шаги, я пересек улицу и подошел к подвальчику на углу. Три серые истертые ступени вели вниз, к давно не крашенной бурой двери, за пыльным стеклом бумажка с неровной карандашной надписью оповещала, что «закрыто по техническим причинам». Я даже не испытал досады, да и чувство голода и опьянения уже притупилось. Но вдруг чудовищная пустота разверзлась во мне, будто сию минуту на этом сумрачном перекрестке рухнули все мои надежды. Я даже усмехнулся от идиотизма этого ощущения, переминаясь с ноги на ногу и озираясь по сторонам,— ни дать ни взять растерянный провинциал, заплутавший в большом городе. И ни один прохожий не мог бы объяснить мне дорогу, потому что идти стало некуда.

Я не самый мужественный человек на свете. Но судьба складывалась так, что я слишком многого пугался, и большие дозы испуга постепенно выработали во мне своеобразный оптимизм. Я стал непробиваемым оптимистом и свято верил, что, каким бы страшным ни было приключившееся, впереди непременно подвернется что-нибудь еще пострашней. Таким образом, в жизни осталось весьма немного вещей, которые могли бы меня пошатнуть. Но когда настигало это чувство безысходнейшей пустоты, когда ничего нельзя сделать, когда даже идти *некуда*, я испытывал настоящий страх.

В жизни осталось немного вещей, которые могли бы меня пошатнуть, но этой я боялся по-настоящему. И, зная, что бесполезно, я все равно тащился куда-нибудь и к кому-нибудь. Необходимо было ухватиться за самый

пустяковый разговор, соприкоснуться с чьими-то интересами, пусть чуждыми, но хоть на миг отвлекающими от самого себя; только ухватившись за эту соломинку, можно было выплыть из моей чудовищной засасывающей пустоты. Наверное, это и было той непонятной болезнью, вызывающей припадки чудовищного обморочного ужаса.

Но зайти было некуда, и я побрел по улице, щурясь на мокрые снежинки, вьющиеся у лица.

Я шел к отцу.

Я был еще жив.

6

По привычке я взглянул на часы и поразился тому, что всего шесть. Еще целая вечность оставалась до конца этого дня. А казалось, что с утра протекло много лет, будто со всей разящей силой реальности я снова прожил свою жизнь. Сорок лет и один день — неизвестно, что далось трудней... Неизвестно, что больнее и гибельней: мгновение, пронзающее навылет, или долгая память о нем — боль старой воспаляющейся раны.

Как страшно жить на берегу реки, текущей вспять, как мучительно строить на ней мосты. Древние утверждали: ничто не принадлежит нам, одно только время — наше. Ах, эта дивная уверенность, что путь ваш однонаправлен и прям, словно широкая парадная лестница к вершине холма, где стоит золотой дворец счастья. Тогда и время, конечно, принадлежит вам. Но если вы не знаете или просто потеряли адрес того дворца и теперь плутаете в мокрых густых сумерках, то время уже не принадлежит вам, а вы принадлежите времени. И каждое мгновение вступает с вами врукопашную, и, поверженный мгновением, вы не должны просить о пощаде — ведь время наказывает даже тех, кто ошибается его же ошибками.

И по бывшей Кирочной, сорокалетний, я двигался во времени, расчерченном траекториями апрельских снежинок, грустно глазел на скобку ущербной луны над Таврическим садом и, семнадцатилетний, в майский акварельный полдень стоял у парапета Адмиралтейской набережной.

Было ветрено, и серовато-золотистая зыбь Невы пестрела мелкими белыми бляшками пены, освещенные бледным солнцем здания Кунсткамеры и Университета

на том берегу своей холодноватой выверенной красотой угнетали душу, рождали ощущение мизерности и затерянности в этом величественно-черством, мучительно прекрасном городе, равнодушном к страдающим и неудачникам. С неюношеской смиренной болью смотрел я на свой родной город в тягостном предчувствии разлуки. И оттого, что я безразличен городу, что я его пасынок, становилось еще горше. Я стоял у парапета Адмиралтейской набережной, смотрел на свой родной город, на Ростральные колонны, подпирающие синеву, на старое золото петропавловского соборного шпиля, на плавный выгиб Дворцового моста и знал, что это прощанье. Я еще не представлял себе, что такое «восьмерка» и где она находится, но уже будто бы знал и предчувствовал бездонную крупитчатую глазурь полуденного неба над ней и чашечки мелких подрагивающих под ветром маков на клумбе посреди вытоптанного маленького плаца. Я уже чувствовал, что все это предстоит мне увидеть и пережить, потому что вчера меня наконец-то выгнали из школы. Наречие «наконец-то» я ввожу здесь, чтобы обозначить скорее отношение учителей и директора, чем мое собственное, к этому факту исключения. Хотя я и сам уже давно, с седьмого класса, предчувствовал, что меня выгонят, должны выгнать, но, в отличие от взрослых, не испытывал нетерпения, ожидая этого предустановленного судьбой события.

Теперь, через много лет, я понимаю, что причиной моих неурядиц был трудный характер. Как всякий ребенок, не избалованный семейным теплом, не испытывавший хоть какой-то гордости родителями, их положением, я был тайно раним и ущербен, и это толкало на диковатое самоутверждение в школе. Но чем больше числилось за мной разных некрасивых и подчас жестоких проступков, тем дороже становилась мне школа,— там я хотя бы что-то значил. Правда, значимость эта была отрицательной.

Да, я любил свою школу, любил своих друзей Кирку и Буську, которые учились вместе со мной, любил некоторых учителей — все было как у самого заурядного подростка. И только в седьмом классе отношение мое к школе стало сложнее, потому что летом я попал в историю с Губаном и угодил в детколонию. Меня, правда, выпустили к сентябрю благодаря хлопотам Киркиной матери, но школа — и ученики, и учителя — взяла это на заметку. Словом, в начале седьмого класса по какой-

то сгустившейся вокруг меня атмосфере, по напряженным, скользящим и вместе с тем внимательным взглядам учителей, по тихому отчуждению тех одноклассников, кто раньше старался держаться со мною на дружеской ноге, я понял, что мне лучше уйти в другую школу, но рядом были друзья Кирка и Буська, их неизменная верность притупляла отчуждение одноклассников и учителей. И потом, о переводе в другую школу должен был похлопотать кто-нибудь из взрослых, а мать без отца совсем растерялась, проявив сначала бестолковую и, как я теперь догадываюсь, даже опасную суетливость, обивая пороги разных учреждений, обращаясь за помощью ко всем, кто хоть мало-мальски соприкасался с отцом по службе и чей телефон или адрес ей удавалось разузнать. А после того, как в одном учреждении добрые люди по особо важным делам втолковали матери, что ее суета может повредить не только отцу, она вернулась в свое всегдашнее состояние дремотно-равнодушного отрешения от действительности. И когда я пошел в седьмой класс, мать уже не имела с действительностью ничего общего, только ходила на дежурства в больницу.

Комната наша стала запущенной, словно нежилой, и быстро, почти сразу надвинулась нищета. А мать, как сомнамбула, двигалась среди пропыленных вещей с обмякшим отрешенным лицом, через день мыла посуду и стряпала скудный обед. Разговаривали мы только о бытовых заботах, и голос ее стал совсем безличным, лишенным оттенков.

Еще не отменили карточки, и не хватало пайкового хлеба. И если бы матери не удавалось подкормиться в больнице во время дежурства, нам, наверное, пришлось бы совсем плохо.

Мне было четырнадцать лет, я еще не успел очерстветь и ожесточиться и понимал, что мать не может помочь мне ни перейти в другую школу, ни заиметь модные ботинки фирмы «Батя», как раз тогда впервые появившиеся в магазинах и смущавшие воображение многих подростков. Я жалел тогда свою мать, не жаловался ни на что и ничего у нее не просил; во мне рождалась наивная и успокоительная вера в спасительность стоицизма, я внушал себе, что долготерпением и твердостью можно преодолеть все.

Быть может, уже тогда во мне впервые зародился тот самоубийственный оптимизм, который не требует от жизни никаких обещаний и твердо знает, что, каким бы

страшным ни было приключившееся, впереди непременно подвернется что-нибудь еще пострашней. Так что, выражаясь несколько высокопарным слогом не совсем классического немецкого философа, уже тогда, в свои четырнадцать лет, я пытался взрастить в себе мужественную волю к тому, чтобы сполна пережить свою жизнь, будучи с самого начала готовым к самому страшному. Я собирался стать героическим стоиком и поэтому не просил мать перевести меня в другую школу, правда и уверенности в том, что она может помочь, у меня тоже не было. А больше помощи ждать было не от кого, во всем городе у нас не было родственников.

Родственники были в Щербаковке, родной деревне отца. Бабка и дядька изредка с оказией присылали полмешка картошки или банку малинового варенья.

Итак, в свои четырнадцать лет я решил сделаться стоиком и за время учебы в седьмом классе значительно продвинулся на этом пути: на уроках сидел тихо, как сонный дебил, почти не ссорился с одноклассниками, а если и случались отдельные раздоры, то старался разрешить их во внешкольное время.

Известий от отца не было, и мало-помалу я свыкся с его отсутствием и, если быть честным, воспринял это с облегчением — слишком уж часто доставалось мне от него за дело и без дела, слишком давило душевное прилежание, с которым я старался изгнать из памяти вкус того блокадного сахара; нет, тот день рождения не преследовал меня постоянно, но чувство необходимости не помнить его вызывало в еще неокрепшей душе ощущение беспредметной гнетущей подавленности, будто на совести у меня тайное злодеяние. Теперь же, в отсутствие отца, что-то отпустило внутри, словно ослабли, распались душевные путы и я высвободился из тогда еще не осознанной ущербности, которая делала меня вздорно-обидчивым забиякой. Кажется, ослабла и болезненная потребность в ехидном острословии, с помощью которого испокон века пытаются самоутвердиться душевно уязвленные и слабые люди.

Так что седьмой класс дался мне, пожалуй, даже легче, чем ожидалось, и появилась надежда, что все в конце концов перемелется, позабудется и в школе ко мне станут относиться так же снисходительно, как к Буське Миронову и многим другим. Наверное, так бы и получилось со временем, потому что безотцовщина в те годы была обыденной вещью, а живые люди, особенно

дети, в своих взаимоотношениях руководствуются непосредственными впечатлениями, да и сострадание не чуждо их душам и редко зависит от анкетных данных. Словом, заканчивая семилетку, я надеялся на лучшее. Но в восьмом классе все изменилось внезапно и резко. В класс пришла новая воспитательница и преподаватель литературы Мария Николаевна Карамазова.

Я позабыл многих людей, с которыми враждовал или ел хлеб, делил беды и усталость на своих не очень-то гладких путях. И мне попадались разные и не совсем обычные экземпляры человеческой породы, но все равно — многих я позабыл, а заурядную школьную учительницу, сдается, буду помнить до самого конца — слишком много усилий приложила она к тому, чтобы испортить мне жизнь.

На вид это была обыкновенная женщина чуть выше среднего роста; за давностью лет одежда ее мнится чем-то обыденно-серым и незаметным — какая-то серая юбка, может быть, серая вязаная кофта,— вообще серый цвет одежд был характерным в те первые послевоенные годы, а для одинокой учительницы с сыном-подростком тем более. Лицо Марии Николаевны с правильными чертами ничем не запоминалось, кроме очков с толстыми стеклами, которые увеличивали светлые холодноватые глаза, на щеках иногда появлялся легкий румянец, вытеснявший зеленоватую бескровность, присущую лицам всех блокадников; прическа, вероятно, была тоже обычной для тех лет и для учительницы — что-то темно-русое, слегка подвитое нагретыми на керосинке щипцами.

Приход новой воспитательницы был встречен классом без особых эмоций. Мария Николаевна давно работала в школе, вела старшие классы и уже примелькалась нам, и еще ее сын Вовка Бурыгин учился в нашем классе, так что новая учительница не вызывала опасений и не славилась какой-либо чрезмерной строгостью. И я подумал, что приход новой классной воспитательницы — к лучшему, она не знает моих старых прегрешений и будет относиться ко мне, как к другим. Но в тот же день первого сентября убедился в ошибочности своих предположений.

После того как прозвучал звонок с урока русского языка и ребята, с грохотом откидывая крышки парт, стали выходить из класса, новая учительница подозвала меня. С ощущением растерянности и опаски я подошел к столу.

Мария Николаевна дождалась, пока класс опустел, и тихим ласковым голосом, от которого почему-то у меня взмокла спина, спросила:

— Щербаков, вам не трудно будет учиться в восьмом классе?

События прошлого года отучили меня от сердечных бесед с учителями и потому, опешив от этой заботливости, я не знал, что ответить. В те времена состав школьного класса выглядел весьма странно,— среди нас были переростки, пропустившие в блокаду по два года, были такие, как я, Буська и Кирка, пришедшие после двух блокадных зим сразу в третий класс. Но за пять с лишним лет все это как-то выровнялось, и аттестат за семилетку у меня был приличный — почти без троек, так что я не думал о трудности школьных занятий, хотя от разболтанности и лени учился неровно, выезжая больше на общей начитанности и цепкости памяти. И вот, растерявшись под пристальным взглядом светлых холодноватых глаз учительницы, увеличенных толстыми стеклами очков, я не знал, что ответить.

— Школа может похлопотать, и вас возьмут в ремесленное училище, хотя год уже начался,— еще ласковее сказала Мария Николаевна и, опустив взгляд, стала укладывать в черный потертый портфель потрепанную общую тетрадь и какие-то мелко исписанные квадратные листки.— Что скажете, Щербаков? По-моему, это выход.

Непривычное обращение на «вы» как-то усиливало мою растерянность, но я вспомнил наши с Буськой и Киркой частые и жестокие стычки с ремесленниками — круглолицыми, стриженными под машинку парнями в черных, неровно подрубленных шинелях и мятых, заломленных набекрень черных фуражках (ремесленное училище располагалось в старых казармах за квартал от нашего дома) — и машинально выговорил:

— Я не хочу в ремесленное.

Мария Николаевна резко вздернула голову. В тягостной паузе я мерз под ее удивленным взглядом, стараясь дышать потише.

— Вам будет очень трудно заниматься в восьмом классе. Идите на перемену,— негромко, но с особым нажимом на словах «очень трудно» сказала она.

Пока я шел до дверей класса, казалось, что серая моя куртка из грубой бумазеи под ее взглядом влажно прилипает к спине. С того дня и началась веселая жизнь.

Даже потом, став взрослым, всякое повидавшим

бродягой, я не мог постичь причин и мотивов той последовательной и неуемной страсти, с которой заурядная школьная учительница сживала меня со свету. Я точно знаю, что она не была знакома с моими родителями. Я никогда не обижал ее сына Вовку Бурыгина — наоборот, где-то в середине учебного года я почувствовал, что Вовка относится ко мне с молчаливым состраданием и ощущает себя виноватым... Словом, я искал, даже через много лет, личных мотивов поведения учительницы и не мог обнаружить их. А она устроила на меня настоящую облавную охоту, в которую постепенно втянулись и другие учителя, хотя справедливости ради следует отметить, что не все. Историчка Вера Петровна, математик Яков Иваныч, с тех пор как охота стала явной, старались подчеркнуть свое хорошее отношение ко мне, что, вероятно, только распаляло моих преследователей. Но в первые дни учебного года все еще было сносно. Пока еще только я сам замечал, что Мария Николаевна вызывает меня к доске чаще других и спрашивает дольше и строже.

На первых порах я даже почувствовал какой-то азарт — словно мы с учительницей вели тайную игру в шашки: кто кого быстрее запрет. Только позже понял я небезобидность этой игры, но сначала принял ее правила, внимательно и с небывалым интересом прочитывал учебник литературы и хрестоматию, чтобы всегда быть готовым к ответу на уроке. Надо сказать, что предмет Марии Николаевны был не самым подходящим для доказательства моей тупости. Дело в том, что я всегда любил читать книжки и не скучал даже над стихами. Вообще наша троица — Буська, Кирка и я — много читала. К чтению мы пристрастились еще в блокаду; чуть оклемавшись после зимнего голода, вылезали на солнце где-нибудь на пустыре и читали друг другу вслух.

На сегодняшний взгляд наши читательские вкусы покажутся странными — самый большой интерес вызывала у нас кулинарная книга «Французский повар», толстая, в коричневом сафьяне и с золотым обрезом, она даже своим видом как бы удостоверяла, что описанная в ней еда может существовать или хотя бы существовала когда-то на свете. Мы прочли «Французского повара» вслух много раз, и до сих пор в памяти иногда всплывают необъяснимо волнующие слова — «борделез», «потофе», «кассуле», смысл которых уже позабыт, но звуча-

ние вызывает ощущение праздничности и еще усмешливой грусти, с какой обычно думается о давнем детстве... Будучи голодным блокадным мальчишкой, я с замиранием сердца читал о немыслимых французских яствах, но, конечно, не мог предположить, что судьба заготовила мне отнюдь не поварскую карьеру. Да... но я прочитал не только кулинарную книгу.

В те военные годы книги в Ленинграде потеряли свою истинную ценность. Из разбитых бомбами и снарядами домов люди первым делом выносили одежду и матрасы, кастрюли и ложки, а книги так и оставались лежать лохматыми, шевелящимися под ветром кучами на междуэтажных перекрытиях расколотых домов, только зимой они представляли некоторый интерес как топливо для «буржуек», а летом книги становились добычей подростков. И своей начитанностью наша троица была обязана именно той блокадной поре. И вероятно, если бы наша тайная библиотека, хранившаяся в чердачном закуте над старыми каретниками, дожила до сих пор, она составила бы немалую ценность — там были редкие книги, много хорошо переплетенных годовых комплектов «Нивы», роскошные, богато иллюстрированные тома «Аполлона», марксовские издания русских классиков, Жюль Верн, Майн Рид, Марк Твен, Конан Дойл в красочном издании Сойкина, любимый Джек Лондон в мягких томиках приложения к «Ниве», и все это было не только прочитано, но и обсуждено в яростных спорах. Так что плоскую премудрость тогдашнего учебника литературы для восьмого класса я схватывал легко, и Марии Николаевне приходилось довольно туго, за весь год она только раз поставила мне «единицу», потому что я не выучил какой-то нудный отрывок наизусть. Но «тройки» она ставила мне совершенно безбожно,— даже ребята в классе стали замечать ее пристрастие ко мне.

Как-то она гоняла меня почти целый урок, я прочел наизусть чуть ли не всего лермонтовского «Демона», пересказал взгляды Белинского на поэзию Лермонтова, говорил о духе бунтарства, приплел и Печорина, которым, как всякий пятнадцатилетний мальчишка, болел в то время. Вообще я любил Лермонтова и говорил складно и увлеченно, даже класс необычно притих — не было всегдашних шорохов, шепотов и скрипов парт. Когда я умолк, Мария Николаевна сказала своим обычным ласковым голосом:

— Ответ неплохой, но для вас, Щербаков, я считаю его слабым. Три.

Тут класс взволнованно и недовольно загудел, кто-то негромко присвистнул, и Мария Николаевна, вдруг сорвавшись на визг, закричала:

— Безобразие! — и, опрокинув стул, выскочила из класса.

После этого она не вызывала меня, наверное, месяца два, но за сочинения исправно ставила тройки. Так и тянулся нелегкий для меня восьмой класс. Еще меня доводила придирками химичка — бривша подбородок, тощая, носатая, похожая на крысу в пенсне. Но и по химии с грехом пополам я умудрялся вылезать на тройки. Придиралась и немка.

Если в классе случалось что-нибудь скандальное — драка, общий побег с последнего урока,— то первым к директору дергали меня, хотя я понимал, что мне не пройдет многое из того, что сходит другим, и был довольно осторожен, а кроме того, в классе с молчаливого согласия ребят и, наверное, не без стараний Буськи и Кирки установилось правило: что бы ни случилось, не упоминать мою фамилию.

Я ощущал молчаливое сочувствие историчкн Веры Петровны, молодой звонкоголосой женщины с прозрачными зелеными глазами. Открыто поддерживал меня математик Яков Иваныч. Благодаря его доброте я чувствовал себя все-таки не совсем зафлаженным облавой волком. Как-то зимой Яков Иваныч на перемене, проходя мимо меня в коридоре, приостановился и скороговоркой сказал:

— Щербаков, подучи теорему Пифагора, завтра вызову, обязательно. Понял? — и, не дожидаясь ответа, прихрамывая, пошел в сторону учительской.

Я был удивлен этим необычным предупреждением математика и вообще не ждал ничего хорошего от всяких предупреждений учителей, но тем не менее вечером честно выучил два доказательства теоремы, просмотрел несколько основанных на ней задач. И только назавтра понял смысл сказанного Яковом Иванычем.

Математика была в тот день на двух последних уроках, и вместе с Яковом Иванычем в класс вошел директор Грищенко.

Класс с грохотом встал, с таким же грохотом сел. Учитель и директор с минуту стояли рядом на фоне потертой белесоватой классной доски и всматривались

в лица. Они оба носили военную форму, только директор Грищенко был в хорошей и новой, видимо сшитой на заказ суконной гимнастерке с большими накладными карманами на груди и подпоясан еще довоенным ремнем с чеканной звездою на латунной пряжке. Директор, что называется, смотрелся — худощавый, с белыми волосами альбиноса, зачесанными назад, с белым длинным и гладким лицом, на котором слегка выделялись голубоватые льдистые глаза; чем-то Грищенко напоминал знакомого по портретам писателя Александра Фадеева.

Математик Яков Иваныч казался полной противоположностью. Он был в потертом армейском кителе с неспоротыми хомутиками для погон; над левым грудным карманом даже издали виднелись маленькие дырочки и пятна более свежей, невыцветшей под орденами материи. Орденов Яков Иваныч почему-то не носил, и в облике его не было ничего воинственного. Из-за раненой ноги стоял математик как-то избочась, темные глаза смотрели угрюмо, грубоватое лицо казалось сиреневым. Все это особенно бросалось в глаза рядом с директорской свежестью и белизной.

И хотя сейчас я записываю не тогдашнее впечатление, а сегодняшнее воспоминание, но надеюсь, что все же есть какая-то связь между этими разновременными процессами, и она, эта связь, протянувшаяся через столько лет, и является истиной. А впрочем, что такое истина — дохлая лягушка, бросовый окурок, четвертушка бумаги, исписанная измененным кривым почерком и без подписи, завалявшаяся в архивной папке? Я не ищу истины — я тоскую по правде и опасаюсь, что горожу ложь на ложь. Но разве так уж важно, как выглядели двадцать пять лет назад люди, прямо или косвенно определившие мою судьбу,— правда в том, что, увидев их рядом на фоне вытертой и белесой классной доски, я понял смысл вчерашнего предупреждения математика. И правда в том, что я не почувствовал благодарности к Якову Иванычу, а испытал лишь задорное торжество, потому что выучил теорему Пифагора и директору Грищенко не удастся подловить меня. Чувство благодарности тогда было почти незнакомо мне, вероятно, потому, что испытанные несправедливости еще не превысили некой критической массы,— я еще слишком хорошо думал о людях.

С чувством торжества доказывал я у доски свою теорему и вглядывался в гладкое белое лицо сидевшего

на задней парте директора Грищенко, тщась заметить на нем следы раздражения неудачей. И, не замечая на нежнокожем лице альбиноса никакого огорчения, все-таки торжествовал победу,— может быть, домысленно, своим крохотным опытом переживаний я ошибочно и наивно, как древний философ и математик, процветавший за две тысячи четыреста лет до меня при тиране Поликрате, склонялся к вере в гармонию, которая согласует и связует все начала мира, ибо мир не распался до сих пор; может быть, доброта хромого математика Якова Иваныча мнилась мне более естественной и абсолютной, чем непроницаемость холодных льдистых глаз подтянутого директора Грищенко, а пропорциональность катетов прямоугольного треугольника была еще одним подтверждением мировой гармонии. Не знаю...

Я не испытывал благодарности к хромому математику, хотя именно его поддержка помогла мне окончить восьмой класс и продержаться почти до конца девятого. А нынче проникаюсь симпатией и благодарностью к себе подобным за любое мало-мальски человеческое движение души, хотя во мне уже нет веры в незыблемость гармонических начал. Эта вера рухнула в акварельный полдень мая одна тысяча девятьсот пятидесятого, когда стоял я у парапета Адмиралтейской набережной... (А может, это — здесь, сейчас, на бывшей Кирочной, где машет мокрыми крыльями ветер и кривится еле заметная скобка ущербной луны над черной храминой Таврического сада?)... Было ветрено, и серовато-золотистая зыбь Невы пестрела мелкими белыми бляшками пены; освещенные бледным солнцем здания на том берегу своей отчужденной холодноватой красотой угнетали душу, рождали у меня ощущение мизерности и затерянности в этом величественном, мучительно прекрасном городе, равнодушном к неудачникам, к числу которых я с полным основанием причислил и себя, потому что вчера директор Грищенко бесповоротно поставил точку на моей судьбе.

Все было сделано немудряще и точно. Просто на перемене меня поймали с папиросой в школьной уборной.

Ловлей курильщиков занимался обычно завхоз, отставной краснолицый и хрипатый старшина, потому что учителей-мужчин в школе почти не было, а учительницы, естественно, считали бестактным врываться в мужскую уборную. Старшина выполнял свою миссию само-

отверженно и весело: заскакивал в задымленный кафельный закут и хватал всех, кто не использовал отхожее место по прямому назначению и кого удавалось схватить, остальные разбегались. Схваченных ждало стандартное наказание — вызов родителей в школу. После этого провинившийся водворялся в свой класс, и нарушение предавалось забвению. Курение в мужской школе в те времена не считалось смертным грехом. Но со мной произошло иначе — срочный педсовет и бесповоротное исключение.

Об этом я узнал позже — на суде, иначе я не привел бы мать по требованию Марии Николаевны (голос ее был, как всегда, ласков, в нем слышалось даже воркование, когда она сказала, что директор запретил допускать меня до занятий, пока я не приведу мать).

Ах, моя бедная бестолковая мать!

Если верить психологам, то от нежности матери зависит, каким вырасти ребенку. Моя мать никогда не проявляла нежности, не ласкала меня. Я не помню ее поцелуев или прикосновений рук. Она лишь просила для меня чего-нибудь — сахар у отца в тот день рождения в блокаду; просила, чтобы конвоир позволил передать французскую булочку в заднее окно «черной маруси», когда меня увозили после суда, а конвоир оттолкнул ее руку и булочка упала на асфальт, машина тронулась, а мать новым для меня, медленным старческим наклоном согнулась, чтобы поднять булочку, а сама все смотрела машине вслед. Так и вспоминалась она мне потом — согбенной, униженной, с маленькой булкой в руке, горестным туповатым взглядом провожающая «черную марусю»; картинка в металлической рамке дверного окна, заштрихованная вертикальными, тускло поблескивающими прутьями решетки. И самое странное — эти материнские заботы и жалкость вызывали во мне яростное ожесточение, а не благодарность и нежность.

И в кабинете директора Грищенко мать, привыкшая за время отсутствия отца к унижениям, уныло канючила: «Товарищ директор, возьмите его обратно, он больше не будет... Товарищ директор, пожалейте...»

А товарищ директор свободно, но не развалясь, сидел в жестковатом казенном кресле и, глядя на примостившуюся на краешке стула и подавшуюся вперед мать светлыми, весело поблескивающими глазами, слушал ее неуверенную приниженную мольбу.

Я стоял возле материнского стула, исподлобья оглядывая гладкое белое лицо директора, его небольшой кабинет, мягко освещенный сквозь тонкие белые шторы золотистым майским солнцем. И было нестерпимо унизительно слышать испуганный и заранее смирившийся с отказом голос матери и видеть веселое поблескивание светло-голубых глаз директора, сидящего в своем жестком кресле свободно, но прямо, словно почетный зритель, приглашенный на прогон спектакля в самодеятельном театре,— именно так казалось мне, что директор Грищенко смотрит забавный, но непрофессиональный спектакль, слегка веселится, а в общем жалеет о потерянном времени. Исподлобья оглядывал я его почти белые, гладко зачесанные волосы, гладкое, подсвеченное солнцем лицо с еле заметными бровями, вкусно сложенные губы, будто директор собирался причмокнуть от удовольствия.

Иссякли, истаяли в подсвеченном солнцем воздухе кабинета бессильные просьбы матери, и тогда директор Грищенко, согнав с лица выражение снисходительной легкой веселости благосклонного зрителя, спокойно, даже сочувственно стал объяснять матери:

— Мы не можем взять его обратно, школа, наша детская школа, на это пойти не может, она обязана защититься от вредных проявлений. Ведь вот сначала курит человек, потом может и драку затеять; учителя постоянно опасаются, и в комсомол его принять не могут по известным вам причинам... И где гарантия того, что он,— директор остро кольнул меня льдисто-светлыми глазами,— завтра не бросится на меня. Вы одна не можете воздействовать, а другого воздействия у вас в семье нет... Ему лучше пойти в техникум или в ремесленное училище, семилетка же есть. Словом... детская школа этого не может,— директор встал, оправил под ремнем гимнастерку.— Так что прощайте.

Мать сгорбилась на стуле и, протянув вперед сложенные ладонями руки, снова заныла:

— Товарищ директор, не выгоняйте хоть до конца года. Дайте ему закончить... Товарищ директор...

— Нет, мы и так были слишком либеральны. Могли исключить и после седьмого класса...

Ах, если бы я мог тогда ответить директору Грищенко...

Я уже умел противостоять своим сверстникам, открыто отвечать ударом на удар и оскорблением на

оскорбление. Я и сейчас убежден, что открытый и немедленный ответ на любое оскорбление спасает душу от злопамятства, тайной мстительности и в конечном счете от подлости,— подлецами становятся чаще всего трусы, у которых не хватило душевной силы на немедленный и открытый ответ. Я не был трусом в обществе сверстников, но не подозревал, что и с миром взрослых нахожусь в состоянии войны. Нет, подозревал, но инстинктивно, подсознательным чувством старался убедить себя в том, что это не так.

Ах, если бы я мог ответить тогда директору Грищенко! Если бы я мог немедленно и непосредственно выплеснуть свое чувство — пусть даже в недостойной и оскорбительной для этого бело-гладкого и подтянутого человека форме,— может быть, в душе моей не осталось бы затаенной злобы и мучительного желания отомстить за несправедливость. Но я еще не умел воевать с миром взрослых и молчал, стоя возле материнского стула и оглядывая исподлобья маленький директорский кабинет. Туповатая покорность матери, видимо, передалась мне, сковала все существо ощущением усталого безразличия,— и еще униженная надежда на сострадание, на то, что справедливость можно выклянчить, как окурок у прохожего на улице, шевельнулась во мне. В тот миг я позабыл, что воюю с миром, в тот миг я не мог отождествить слюнявого, мочащегося в штаны Губана с одетым в дорогую гимнастерку и гладко причесанным директором Грищенко. Губан ударил меня своей неказистой самодельной финочкой, директор вычеркнул меня из той жизни, которой я жил и хотел жить. Они были равны, но я не мог осмыслить этого равенства тогда, не мог понять, что директор Грищенко заслуживает такого же отпора, как и Губан; не мог понять, что для того, чтобы сохранить душевное здоровье и не сломаться, я должен дать директору немедленный и жесткий отпор. Откуда мне было знать тогда, что я позабуду даже само имя Губана и при случае вспомню о нем без ненависти; откуда мне было знать, что никогда не забудется тот гладколицый альбинос? Я не мог позабыть все эти годы той своей униженной надежды на то, что сострадание и справедливость можно выклянчить, как окурок.

Усталый, сорокалетний, страдавший и поэтому склонный к состраданию, я и сейчас не поручился бы за себя, если бы встретил директора Грищенко. Да, я не поручился бы за себя, а уж за директора Грищенко не

советовал бы ручаться никому. А тогда я сделал лишь то, что пришло в распаленную обидой, дремучую, почти первобытную душу.

Поздним вечером, вынув стекло в окне первого этажа, я проник в пустую темную школу, ударил плечом в дверь директорского кабинета, державшуюся на дохлом французском замке, и стал крушить все, что там было.

Косой призрачный свет фонарей заглядывал в широкое окно кабинета и отражался в стекле, покрывавшем столешницу. Стекло рассыпалось с шершавым хрустом, когда я хватил об него тяжелой мраморной чернильницей, и косой отраженный свет залила фиолетовая огромная клякса, и откуда-то от пола вверх и в стороны вздыбилась первобытная серая мгла. Я не думал ни о чем, не испытывал опасения, что живущий ниже завхоз услышит этот грохот разгрома,— я весь был в оглушительном возбуждении варварского тяжелого хмеля разрушения, задыхающийся, оскаленный, готовый разорвать темноту яростным, свирепым, тоскливым ревом. От удара изломанным стулом вылетела дверца обитого жестью шкафчика, стоявшего в углу, и на меня зловеще глянули стоящие рядком малокалиберные винтовки, с которыми проводил занятия военрук. Дрожащими руками я вытащил одну малокалиберку и в сладком охлаждающем ужасе ощутил в мокрых ладонях особую какую-то, отдающую в сердце тяжесть оружия и услышал чудовищную, противоестественную тишину пустой школы, и почти сразу же эту тишину разорвали тяжелые торопливые шаги. Какой-то неведомый пробудившийся инстинкт толкнул меня, и звериным неслышным движением я скользнул к стене и встал за приоткрытой дверью кабинета, в растерянности прижав винтовку к груди, почти теряя сознание от страха и внезапно подступившего удушья. Свет, вспыхнувший в круглом плафоне, ослепил. И только через миг из огненного мрака выплыл старшина-завхоз, стоящий посередине небольшого кабинета в одних черных трусах и блескучих яловых сапогах, подчеркивавших кривизну ног. Он стоял и ошалело смотрел на меня испуганными глазами. Не помня себя, я, сделав шаг вперед, попятился к двери, задом вышел в коридор и рванул вниз по лестнице к окну с вынутым стеклом. И только на пустой ночной улице я почувствовал тяжесть винтовки. А на чердаке каретника пришло ощущение чего-то непоправимого. Скорчившись на

жесткой дощатой скамейке под треугольным слуховым окном, я смотрел в темноту; смутно белели стропила и балки. Я не думал, даже не пытался представить себе завтрашние события,— не было ничего, кроме тупого ощущения безразличия, непоправимости и отчаяния, а, пахнущая мышами и пылью, длилась и длилась холодная чердачная ночь. И только на рассвете надвинулось короткое тяжелое забытье, после которого остался давящий беспредметный ужас в душе.

Я запрятал винтовку в дальнем углу, слез с чердака, обошел флигель и, дрожа от холода, спрятался на темной черной лестнице, в приоткрытую дверь наблюдая за Инкиной парадной. Я не знал, который час,— время перестало существовать,— но чувствовал, что Инка еще не ушла в школу.

Зачем ждал я ее в то жуткое утро? Почему не пошел за сочувствием к старым испытанным друзьям Буське и Кирке?

Почти ничего не соединяло меня с хорошо одетой дочкой лысоватого полковника, за которым приезжала по утрам зеленая «Победа». Послевоенная жизнь из года в год отдаляла нас друг от друга, и я уже почти не связывал в памяти ту тощую, тревожно-некрасивую девчонку с безумными неподвижными глазами, блокадным летом давшую мне хлеб, с теперешней Инкой — первой красавицей параллельной женской школы, носившей туфли на высоких каблуках и крепдешиновые платья, окруженной на школьных вечерах непробиваемой толпой разодетых, благополучных десятиклассников. Мы здоровались при встречах, перекидывались ни к чему не обязывающими словами и расходились. Она казалась такой далекой, что ее лицо, в тот год по-настоящему засверкавшее острой, утренней и немного надменной красотой, даже не вызывало во мне восхищения. Я только умом и глазами понимал, что Инка редкостно красива, но сердце, уже ожесточившееся и загрубевшее в обидах, не откликалось волнением. Может быть, это была инстинктивная защита невежественной и уже ущербной души, неспособной к бескорыстному наслаждению прекрасным, неспособной понять красоту без притязаний на обладание? Не знаю. Я сторонился Инки в последний год. Но вот ощущение гибельной непоправимости, вторгшейся в судьбу, побудило меня прийти не к друзьям, а к ней. И, спрятавшись на черной лестнице, я следил за ее парадной.

Солнце уже заглянуло во двор, окрасив желтизной сероватый утренний воздух, стали слышнее машины, проезжавшие по улице; из парадных выходили люди, их торопливые утренние шаги будили звонкую пустоту двора. Приехала зеленая «Победа» и увезла высокого лысоватого полковника, Инкиного отца, а я все стоял на темной черной лестнице и смотрел в приоткрытую дверь с тупым терпением животного.

Тяжелая скованность держала душу в глухоте — как при серьезном ранении машинально напрягаются мышцы, чтобы удержать в неподвижности поврежденную руку, так чувства мои застыли, стараясь защитить сердце от разрушительной боли и ужаса, я не ощущал ни жалости к себе, ни раскаянья — только отупение и пустоту.

Она вышла из парадной неожиданно, остановилась на нижней ступеньке, запрокинула голову и посмотрела в небо. Из темноты черной лестницы мне было видно, как в легкой улыбке шевельнулись губы, как слабое солнце осветило высокую чистую шею и под голубой вязаной кофточкой мягко округлилась грудь от безотчетно счастливого вздоха. И острое чувство неповторимости этого мига вдруг пронзило меня — я ощутил всю окончательность, непоправимость того, что сделал вчера, и почувствовал спокойную, почти радостную удовлетворенность, потому что понял, что без вчерашнего не смог бы так увидеть эту девушку, стоящую на нижней ступеньке парадной с запрокинутой головой, вообще не пришел бы в этот двор, быть может, никогда и не узнал бы, что значит она для меня. Вчерашнее как бы возвысило меня до нее — мы сравнялись, и ее красота, мгновенно доставшая до души в это утро, стала моей уверенностью, а Инка стала *моей* девушкой. И я смело вышел к ней из двери черной лестницы и, не здороваясь, сказал:

— Пошли.

— Пошли,— откликнулась она, сошла со ступеньки, но тут же, приостановившись, пристально посмотрела на меня: — Ты чего такой... лохматый?

— А-а, потом расскажу. Пошли быстрей отсюда,— небрежно, будто ничего не случилось, ответил я.

Мы вышли на улицу и повернули к перекрестку поэтов, молча прошагали квартал под четкий стук ее каблуков. На углу переулка я сказал:

— Пойдем здесь, мне лучше не появляться у школы.

— Что-нибудь случилось? Где твой портфель? —

Она повернула ко мне лицо и остановилась, остановился и я.

Тревожные искры мерцали в синеве ее длинных неподвижных глаз, ресницы отбрасывали легкие тени на голубоватые высокие скулы, и тревожно напрягся большой, прекрасный, совсем не детский рот,— было радостно и мучительно смотреть на нее, я потупился и ответил:

— Мне нельзя в школу. Если можешь, не ходи сегодня тоже.

— Хорошо, только скажи, что ты натворил? — Она быстро пошла по переулку.

Красные кирпичные конюшни старой кладки тянулись справа от нас, а на другой стороне переулка бельмасто таращился закрашенными стеклами облупившийся задний фасад бани. Переулок был пуст до самого конца, только косой клин солнечного света лежал на той стороне возле стены серого дома, и спереди вдруг порывом дохнул ветер, взметнул ее пушистую, почти до бровей, светлую челку. Она вздрогнула от холода, свободной рукой стянула ворот кофты.

— Понеси хоть портфель, а то я, как назло, взяла все учебники,— попросила она и, освободив руки, зябко скрестила их на груди.— Ну говори, не молчи, пожалуйста.

Я взмахнул ее увесистым портфелем, небрежно усмехнулся и буркнул:

— Выгнали наконец.

— Тебя?!

— Меня, меня, кого же еще.

— За что?

— Да ни за что... Курил в уборной, ну и завхоз поймал. Всем — ничего, а меня... Да и хрен с ними.

Мы, не сговариваясь, свернули направо и зашагали по узкой улице вдоль тех же красных кирпичных конюшен.

— Вот гады, год не могли дать закончить,— она зло усмехнулась.— А вообще плюнь. Можно в заочной школе, она где-то на Союза Печатников находится. А в десятый пойдешь в вечернюю,— она вдруг взяла меня под руку, крепко прижалась плечом,— там еще лучше. А днем почтальоном можно устроиться. Не жалей,— сбоку она заглянула мне в лицо, улыбнулась с прищуром.— Пойдем в кино.

Я не ответил и отвел взгляд.

— Да брось переживать. Ты первый, что ли? — Она сильнее оперлась на мою руку.

— Посадят меня, наверное,— сказал я намеренно спокойно, испытывая смутную гордость и острую, почти болезненную потребность в жалости — нежной женской жалости. (Может быть, поэтому я пришел именно к ней, а не к Буське и Кирке, неосознанно ощутив, что случившееся вчера на какой-то момент вырывает меня из тусклого существования, делает более значительным, позволяет рассчитывать на ее внимание, на ее жалость и, быть может, на что-то большее, чему я не осмеливался дать имя.)

— Почему?! — сразу спросила она удивленно и потом добавила насмешливо: — Кому ты нужен?

— Пойдем,— я прибавил шагу и, не поворачиваясь к ней, многозначительно усмехнулся.

Стук ее каблуков потерял четкий размеренный ритм, но она, не отставая, шла рядом и молчала. Мы снова свернули направо, огибая квартал по Артиллерийской улице, пересекли пустырь, через пролом в кирпичном заборе пролезли в ее двор и вышли прямо к перемычке каретных сараев между желтыми флигелями. Молча вскарабкался я по ржавой лесенке, кинул ее портфель в слуховое окно и пролез на чердак, ни разу не обернувшись. Достал последнюю полувысыпавшуюся папиросу, чиркнул спичкой и сел на скамью.

— Помоги,— тихо позвала она, просунув голову в слуховое окно,— на каблуках не спрыгнуть.

Я встал на ветхую скамейку, она положила руки мне на плечи, просунула в окно ногу, обнажив почти все бедро.

— Ну, держи, а то свалюсь,— тихо, но раздраженно приказала она.

Я бросил папиросу, подсунул ладонь под это оголившееся бедро, ощутив прохладную скользкость шелкового чулка и горячую живую гладкость кожи там, где кончался чулок, и не удержал шумного вздоха. Рывком она подалась вперед, сомкнула руки на моей шее, и я, еле сохранив равновесие, успел другой рукой обхватить ее за спину. Мгновение я стоял на потрескивающей скамье, прижимая Инку к себе и ощущая испуганное удивление, что ее тонкое стройное тело оказалось вдруг таким тяжелым и горячим. И, лишь поставив ее на засыпанный песком пол чердака, я почувствовал волнение.

Она взглянула на меня снизу вверх, и в сумраке лицо

ее показалось неестественно белым, а большой рот и длинные глаза — угольно-черными. Я осторожно сошел со скамьи, словно боялся нарушить какую-то бездыханную, уже прогревшуюся под освещенной солнцем железной крышей тишину чердака. Я стоял перед нею, сдерживая рвавшийся вздох, и молчал, пока она, сделав шаг к скамье, не спросила шелестящим шепотом:

— Что? — И лицо сразу вернуло свои прежние краски.

Я пробрался в угол, достал из-под балки винтовку, принес к скамье.

— Вот,— глухо и коротко выдохнул я и подал ей малокалиберку на вытянутых руках.

— Что это? — Она сделала шаг назад, растерянно оглянулась и села на скамью.

И только тут я ощутил нелепость, идиотизм и бессмысленность того, что сделал вчера. И, глупо, беспомощно улыбнувшись, приставил винтовку прикладом к ноге.

— Зачем тебе? Где ты взял? — брезгливо скривив губы, спросила она.

— Взял,— как скудоумный, откликнулся я и почувствовал мучительный стыд.

— Сядь,— она хлопнула ладонью по скамье слева от себя.

Как загипнотизированный, я сделал два расслабленных шага и сел, поставив винтовку между колен.

— Положи ты ее, брось! — Она ткнула меня локтем в бок, и я послушно разжал пальцы, винтовка с тихим стуком упала на песок.

Молча смотрел я в глубь чердака, где смутно белели перекрестья деревянных балок, и ничего не хотел говорить. Я чувствовал такую растерянность, что даже не испытывал стыда.

— Ну, не молчи,— ее ногти впились мне в тыльную сторону кисти, но я почти не почувствовал боли.— Что ты натворил?

Я высвободил кисть, посмотрел на следы ногтей и негромко и сухо стал рассказывать о том, что было вчера в кабинете директора Грищенко и что позже произошло там же. Я рассказывал безразличным деревянным голосом, как нерадивый ученик отвечает урок, в котором не видит ни содержания, ни смысла. Рассказывал так, будто сторонним взглядом чужого человека смотрел на все происшедшее и этому чужому человеку все совер-

шенное мной вчерашним поздним вечером представлялось злобным, циничным и диким преступлением.

Таким оно и было, наверное, и я до сих пор не могу понять, откуда в подавленном подростке, каким я был тогда, взялось беспощадное мужество взглянуть на свой поступок сторонними, чужими глазами и таким представить его девушке, которую он давно и безмолвно любил и к которой пришел за сочувствием. А может, не было никакого беспощадного мужества, была лишь бесхитростная ирония факта, которая возникает всегда, когда поступок (вернее, его результат) отрывают от мотива. Не знаю, но когда я закончил свой рассказ, мне самому стало омерзительно вчерашнее.

Инка только коротко спросила:

— Ты ночевал здесь?

Белеющие в полутьме перекрестья балок внезапно поплыли перед глазами. С трудом ответив: «Да», я вдруг почувствовал вязкое изнеможение и непреодолимую сонливость, привалился плечом к поддерживающему стропила столбу, в который упиралась скамья, и мгновенно заснул обморочным свинцовым сном.

Я очнулся с ощущением мягкого тепла в груди и влажных теплых прикосновений к лицу, открыл глаза и, слепо таращась в сумрак чердака, в первый миг не мог осознать, где нахожусь и что происходит. Было лишь ощущение странной уютной укрытости, словно я, совсем ребенок, спрятался под слоноподобным столом в нашей комнате и с бьющимся сердцем в сладкой тревоге переживаю смутные, внезапные, беспредметные и радостные детские страхи. Так и таращился я в сумрак на смутно белеющие перекрестья деревянных балок, пока мой взгляд не упал вниз, где на песке чердака отблескивало лощеное дерево винтовочного приклада. И короткий утробный стон вырвался у меня.

— Молчи, молчи,— испуганно прошептала Инка и ладонью накрыла мои губы, привалилась упругой горячей грудью, и что-то теплое, трепещущее влажно прикоснулось к мгновенно загоревшейся скуле.

И, сразу узнав это незнакомое, дотоле неизведанное прикосновение, я понял, что Инка поцеловала меня. «Так вот как это бывает!» — мелькнула и угасла в мозгу дурацкая растерянно-радостная мысль, и уже нечем стало дышать. Я схватил ее руку, плотно прикрывавшую мой рот, и судорожно вдохнул вдруг разогревшийся чердачный воздух.

— Молчи,— снова совсем близко прошептала она, и влажные трепетные губы заскользили по моему немытому со вчерашнего дня лицу.

Инстинктивно я прижал к себе ставшее сразу податливым тело, губами нашел ее губы и неловко, опасливо и жадно захлебнулся первым в жизни поцелуем. И на миг не осталось ничего — мир исчез, перестало существовать вчера, и завтра тоже не мыслилось в этот проникновенный проникающий миг. Но Инка отклонила голову, и миг исчез, лопнул, как мыльный пузырь на кончике соломинки. Я отнял руки от ее тела и с любопытством и затаенным стыдом посмотрел ей в лицо. Скулы ее горели, глаза стали сумрачными, совсем безумными и потеряли блеск, и все лицо казалось осунувшимся и застывшим, на распухшей верхней губе выступила капелька крови.

Миг исчез, лопнул, как мыльный пузырь на кончике соломинки, и мир ворвался в душную разогревшуюся тишину чердака. А может, мир никуда и не уходил, может, это Инка заслонила меня от него на миг своими губами, руками, упругой грудью, осунувшимся, застывшим лицом. И капелька крови, выступившая на ее распухшей верхней губе, была платой за этот миг. Я понял это сжавшимся от любви и горечи сердцем, понял бессловесно и болезненно, и снова потянулся к ней, к ее осунувшемуся, застывшему лицу, к сумрачным, безумным, потерявшим блеск глазам, к ее распухшим губам. Я любил ее, но жаждал заслониться от мира даже ценою ее боли. И она покорно и проникновенно приникла ко мне, и губы ее стали солоны, и солоны стали скулы от слез, но мир уже не уходил — он стоял рядом, он наблюдал за нами, с каждым ее поцелуем вливая в меня безысходную горечь... и я заплакал. Впервые в жизни я целовался с девушкой, и она была та, которую я, не признаваясь себе, любил давно и безмолвно, но этот заветный час исторгал слезы. И было раздвоение в хмеле поцелуев, в неопытном волненье первых осязаний — во всем этом школьном сладострастии были горечь, и укор, и бесстыдное блаженство созерцания: я обмирал, прижимая к себе любимую, неистово впитывал солоноватость и ответный трепет ее покорных губ и сам растворялся в ней, словно кто-то вынул волю, сгустил кровь и сковал зрение и слух, и в те же исступленные мгновения я наблюдал за ней, отмечал тени, залегшие в глазницах, прикрытый ресницами лихорадочный блеск суженных

томлением глаз, побелевший лик и невнятный бессвязный шепот, когда губы ее на миг освобождались для вздоха; видел на ее ладошках следы ржавчины, оставленные перекладинами железной лесенки, по которой она взбиралась сюда; с ликующим изумлением замечал болезненно-сладостную гримасу, искажавшую лицо, когда я сжимал ее маленькую, упруго ускользающую грудь, и пугался обморочной мягкости, безвольности ее рук и тела.

Но все равно мир присутствовал, он незримо был с нами в чердачной сутеми, он напоминал о себе нелепой и ненужной малокалиберной винтовкой возле наших сплетенных ног, он угрожал мне возмездием за содеянное вчера,— все блаженство этого часа было отравлено необоримой, суровой серьезностью мира.

Мир стоял между нами.

Я не осознавал этого, но в какой-то миг пришло ощущение принужденности Инкиных ласк, будто обманом, неволей я выманил их у нее, и руки мои опустились сами собой и высохли слезы.

— Что, что? — зашептала она испуганно и еще теснее приникла ко мне, холодной ладонью забираясь в ворот рубахи.— Не бойся ничего.

— Не боюсь,— ответил я непослушными одеревеневшими губами и зарылся лицом в ее спутанные волосы.

— Не думай ничего,— еле внятно прошептала она, лицом вжимаясь мне в грудь.

— Дома уже — милиция, наверное... Мать...— я чувствовал, что сейчас умру от горечи, любви и безысходности.

Инка вдруг резко отклонилась, я увидел ее бескровное застывшее лицо, страшные беспросветным темным блеском глаза и почерневшие, искусанные, зияющие, как рана, губы.

— Пусть,— хрипло зашептала она,— пусть. Возьми... возьми меня... Потом — все равно,— и дрожащими пальцами стала расстегивать свою вязаную голубую кофту.— Сейчас... Я никак без тебя...

Я смотрел на нее, умирая от горечи, гордости, страха и стыда.

Если вы юны и несчастны и уязвленное сердце болит от обид, то вы начинаете измерять мир только собой, мельча его до размеров вашей болячки. Это — беспомощность, это — путь, приводящий к ничтожеству, гибе-

ли личности. И безымянный ужас охватывает душу, смутно предчувствующую гибель. И душа силится побороть этот ужас, обманно выдавая ничтожество за величие. Так иногда удается вынести ужас, но так не спастись от душевной погибели.

И я инстинктом почувствовал, что сейчас в чердачном сумраке со мной (и с ней) может произойти что-то бесповоротное, в тысячу раз худшее, чем вчера. Я смотрел на ее дрожащие пальцы, которые не могли справиться с пуговками кофты, и внезапно охолонувшим, посуровевшим сердцем понял, что если я послушаюсь ее, подчинюсь ее невнятному требовательному шепоту, то что-то навсегда сломается во мне, как ломается во всяком, первый раз протянувшем руку и принявшем подаяние. И потом уже ничего не будет, кроме Инкиного презрения... Я помнил ее лицо, когда она дала мне хлеб, здесь же, на чердаке, уже много лет назад,— я помнил ее тогдашнее лицо, искаженное состраданием, испугом и отвращением. Я был смертельно голоден и мог принять от нее хлеб, но то, что она хотела отдать мне сегодня из сострадания, я не мог принять как милостыню.

— Нет,— сказал я,— опомнись,— и с колющей болью в груди увидел, как упали ее руки, беспомощно теребившие пуговки кофты.— Нельзя... здесь... сейчас... Пойми,— я снова заплакал и прижал ладони к глазам.

— Ты испугался! — в полный голос сказала она.

Я отнял ладони от лица и увидел ее посветлевшие глаза, в глубине полыхнули грозовые искры.

— Нет, не испугался. Сейчас, здесь нельзя. Ты сама будешь жалеть потом,— сказал я тихо.

Она все сидела на скамье, отвернувшись, и плечи ее мелко дрожали.

Я встал, поднял винтовку, пригибаясь под балками, снес ее в угол и спрятал. Потом подошел к скамье и опасливо и бережно погладил Инкины спутанные волосы.

— Надо идти,— сказал я.— Наверное, посадят, уже ждут. Пойми, сейчас я бы стал подлецом, потому что ты просто пожалела меня.

— Я не жалела тебя, это ты пожалел меня,— сказала она спокойным голосом, встала и оправила юбку и кофту.

— Нет, я люблю тебя и...— я вдруг осекся, поняв всю неловкость и постыдность этого похожего на торг разговора, и задохнулся от ужаса, что теряю Инку. Я грубо схватил ее за плечи, сильно тряхнул и почти злобно

процедил: — Я отвечаю за тебя и за себя... Если ты не передумаешь потом, то я с тобой всегда, понимаешь, всегда!

— Мне больно, отпусти! — Глаза ее снова намокли.

Я отпустил ее, поднял свой окурок папиросы, зажег его и сел.

Она поправила волосы и села рядом, вдруг улыбнулась.

— Поцелуй меня. Один раз — сильно,— она приблизила ко мне лицо и закрыла глаза.

Я поцеловал ее в губы, но это был не тот, не прежний поцелуй.

— Я буду ждать тебя, и мы снова придем сюда. Я буду ждать. Помни! — сказала она спокойно и твердо.

— Запомню,— отозвался я и спрятал глаза.

— Ты должен проводить меня к бабушке. Я не могу такая идти домой — дома мать.

Я молча встал, поднял и отряхнул от песка ее увесистый портфель, вылез в треугольное слуховое окно и подал ей руку.

Молча мы пролезли через пролом в кирпичном заборе, прошли пустырем, потом — по Артиллерийской, нырнули в проходной и по Рылеева, мимо белого Преображенского собора, побрели к Летнему саду. Беспокойно каркали вороны, гнездившиеся в кронах старых деревьев соборного сквера, бледное весеннее солнце светило нам в спины, и чуть впереди на асфальте колебались наши вытянутые жидкие тени.

Перекресток Литейного и Пестеля скрежетал трамваями, из дверей рыбного магазина на углу змеилась очередь, хлопали двери кондитерского, на тротуаре у детской поликлиники стояли две коляски; как в выходной, было много прохожих. Мы шли, не глядя друг на друга, и молчали.

Что-то внутри у меня дрожало мелко и напряженно, словно я, как в детстве, в войну, шел по карнизу третьего этажа разрушенного дома и глядел только вперед, боясь шевельнуть головой. И на углу Моховой я споткнулся о выступающую крышку люка, клюнул носом, но, просеменив несколько нелепых шагов, удержал равновесие, выпрямился и неуверенно посмотрел на Инку. Ее большой рот с искусанными губами дернулся, глаза сощурились, и она вдруг захохотала навзрыд. Может быть, секунду я стоял, ошарашенно глядя на нее, потом что-то оборвалось в груди, и я сам захохотал, беспричинно

и неудержимо, каким-то закоулком сознания пугаясь неудержимости и беспричинности этого хохота.

Мы прошли весь путь не разговаривая, но стоило только поглядеть друг на друга, как сразу же возникал беспричинный и надрывный хохот, оставлявший в груди холодную дрожащую пустоту. У подъезда старинного с массивным гранитным цоколем дома на Адмиралтейской набережной Инка остановилась.

— Здесь бабка живет,— сказала она небрежно, но рот и глаза выдавали волнение.

— Да? — идиотски бессмысленно отозвался я и протянул ей портфель.

— Встретимся завтра после уроков? — спросила она и добавила: — У нас пять, но я могу с последней физкультуры смотаться.

— Да,— сказал я,— если выйдет.

— Я буду ждать в садике,— она взяла портфель, и лицо ее стало каким-то виноватым и просительным.— Хорошо?

— Если меня не будет, то не жди... Значит, забрали,— сказал я, больше рисуясь, чем искренне веря в сказанное.

— Нет, приходи,— она, навалившись плечом, открыла старинную тяжелую дверь подъезда.

Я в последний раз окинул ее взглядом — всю: от спутанных светлых волос на макушке до белых туфель на венских каблуках, повернулся и, пересекая мостовую, пошел к гранитному парапету набережной.

Покинутый на самого себя, стоял я возле Адмиралтейства, в самой середине города. Был май одна тысяча девятьсот пятидесятого — середина века. Безмерный и равнодушный мир окружал меня, и не было у меня настоящего, в котором я мог бы найти душевный приют, еще не настало прошлое, по которому я мог бы искренне тосковать, и не было будущего, на которое я мог бы надеяться,— мое будущее уже прошло. Но откуда, откуда мне было все это знать тогда?

Я лишь изнывал от неосознанных тягостных предчувствий, маялся смутной беспредметной тревогой и гнусновато и лицедейски разыгрывал возвышенную грусть, пытаясь ею заглушить внезапно возникшее острое сожаление о том, что не решился овладеть Инкой. Но именно эта лицедейская грусть дала решимость вернуться домой, где меня уже поджидали оперативники и сам директор Грищенко, проникшийся ко мне даже

своеобразной симпатией за то, что я так блистательно и быстро подтвердил его педагогическое предвиденье...

Мокрые сумерки, расчерченные траекториями снежинок, апрельский, машущий мокрыми крыльями ветер и еле заметная скобка ущербной луны над Таврическим садом.

Я шел и недоумевал, за что с таким страстным постоянством преследовала меня учительница литературы, почему так нескрываемо обрадовался моему поступку директор? Сорокалетний, успевший о многом подумать, я все-таки не мог понять этих людей до конца. Я мог только догадаться, почему они хотели видеть меня безнадежно порочным. Это было жизненно необходимо для них, чтобы увериться, что в мире существует определенный и единственно мыслимый порядок вещей. А я своими попытками удержаться в школе и получать удовлетворительные оценки покушался на этот порядок, ставил его под сомнение. Это выбивало моих незабвенных учителей из колеи. Концы с концами переставали сходиться в их представлениях: в самом деле, не мог же я, сын арестованного неизвестно за что, но не за растрату и воровство, быть нормальным ребенком.

Теперь это понятно мне. Я давно убедился, что много людей верят в то, чего нет, но что еще больше людей не верят в то, что есть. Мои милые учителя верили, что я — прирожденный бандит, и никак не могли поверить, что я просто несчастный подросток. Это уже не удивляет меня, но до сих пор потрясает то, что в людях, переживших блокаду, всю жизнь имевших дело с детьми, не нашлось тогда простой и безрассудной человеческой жалости — ни в учительнице литературы, ни в директоре. Именно это не примирило меня с ними и через двадцать с лишним лет — живы они или давно мертвы.

И бывшая Кирочная вела меня, сорокалетнего и непримиренного, вспять и вперед во времени, вперед и вспять.

7

У подъезда этого солидного дома, оштукатуренного под серый гранит, я остановился и закурил, стараясь привести в порядок мысли и чувства.

Козырек над подъездом защищал меня, и мокрые снежинки трассировали мимо, не задевая лица.

Честно говоря, не было охоты подниматься к отцу и больше нравилось стоять под железным козырьком подъезда, ощущая сиротский уют поднятого воротника и согревшихся в карманах пальто рук. Собственно, я почти всю сознательную жизнь чувствовал себя сиротой, но, пожалуй, никогда не жалел об этом. Отец своим присутствием или отсутствием только осложнял мою жизнь, хотя — надо отдать ему справедливость — в апреле сорок второго он чуть было не упростил ее до изначальной элементарности. И временами я даже был благодарен судьбе за то, что она предоставила мне возможность на свой страх и риск начать самостоятельную жизнь. И я жил, не обремененный комплексом подавленности личностью отца или немыслимой страстью подражания, от которых, если верить психологам, страдали целые поколения молодых людей, принужденных существовать в дни изобилия и мира.

Ах, если бы каждый человек мог выбрать себе отца, каким симпатичным было бы человечество. Если вдуматься, то мы так и поступаем — каждый выбирает себе отца не по крови, а по духу. Только случается это иногда слишком поздно и не всегда осознанно. Мы ищем свет личности, отраженный в книгах, и тоскуем по живому человеческому теплу...

Полжизни я пытался стать отцом самому себе, но из этой тщеты вырастало только одиночество и чувство окаянности. Так зачем же стоял я у этого подъезда в сороковой свой апрель? Какие душевные долги вели меня вверх по чистой пологой лестнице? Может, память о том кусочке сахару или других благодеяниях, которые и через столько лет отзывались горечью?

Я не мог связно и четко ответить на эти вопросы и, поднимаясь по чисто вымытой пологой лестнице, испытывал смутное, сложное чувство болезненной, горькой заинтересованности и снисходительной враждебности.

На просторной лестничной площадке, у дверей, ладно обитых темно-вишневым, простеганным ромбами кожзаменителем, я сделал несколько вздохов, провел ладонью по отсыревшим волосам и нажал белую квадратную кнопку. Звонок откликнулся лебединым курлыканьем, будто за этой роскошной дверью, простираясь в летнюю зеленовато-яблочную даль, лежало покойное озеро с поросшим камышами прибрежьем и по слюдяной его глади лениво и важно скользили лебеди, поблескивая в разреженном сиянии воздуха белым крахмальным

пером. И я бы не удивился, если так бы оно и оказалось, но за дверью послышалась стройная четкая дробь каблуков, и я мгновенно скорчил веселую беззаботную рожу, небрежно сунул руки в карманы пальто.

Дверь отворилась беззвучно, словно не имела замков и запоров, и на фоне красновато-коричневой, золотисто освещенной передней я увидел лицо — узкий овал с теплым самосвечением полупрозрачного драгоценного фарфора, длинные неподвижные глаза над высокими скулами, где мерцали грозовые искры, светлая челка почти до бровей, спутанные волосы.

Я осклабился, как волк, и сказал:

— Привет, прекрасная мачеха.

Она посторонилась, придерживая вторую дверь, я переступил порог и вдруг, взвинченный внезапным, жарко нахлынувшим похабно-озорным чувством, ущипнул ее за нагло торчащую под белой водолазкой грудь. Зашипев как головня, на которую прыснули водой, она отскочила, шумно захлопнула дверь.

— Ты что, уже пьян?! — Она метнула в меня ненавидящий взгляд.

— Нет, голоден,— я скинул пальто на сверкающий лаком паркет передней, расстегнул пиджак и все с той же волчьей ухмылкой стал смотреть на нее. Она выдержала взгляд, но нагнулась поднять пальто. Я повернулся и сделал шаг к коридору.

— Подожди,— голос был спокоен, даже холоден.

Обернувшись, я остановился. Стоя спиной ко мне, она повесила мое пальто на медный крюк дубовой шведской вешалки, и я неохотно отметил, что талия у нее по-прежнему гибкая и тонкая, ноги под короткой модной юбкой стройные, с узкими крепкими лодыжками и даже домашние туфли на каблуках.

Она повернулась, подошла вплотную, лицо было спокойным, чуть расслабленным, глаза источали холод, но рот, большой подвижный рот со свежими, почти девичьими губами, застыл жесткой чертой. По-прежнему ухмыляясь, я вглядывался в это болезненно знакомое лицо, замечал осеннюю, предзакатную обостренность все еще прекрасных черт и чувствовал тоскливое злорадство,— мы не становимся моложе, но к сорока годам каждый отвечает за свое лицо.

— Ну,— спросил я,— здоров ли патриарх?

— Слушай, если ты начнешь ему хамить, то...— она поднесла к моему лицу руку, крашенные перламутром

ногти были длинными и острыми,— я плюну тебе в рожу.

— Только этого еще и не случалось,— идиотская ухмылка сползла с лица, я почувствовал, что сейчас сорвусь, и, сдерживая себя, ответил подчеркнуто тихо: — Можешь не опасаться.

И вдруг от близости ее лица, от еле уловимого запаха ее духов, от золотистого света передней, от бетонной серой тяжести этого дня — быть может, от всех сорока предыдущих лет меня обволокла вязкая истома. Тянуло опуститься прямо на пол, на этот сверкающий лаковый паркет, но я только прислонился к стене. Передняя дрогнула и скривилась перед глазами, как в расстроенном телевизоре, но лишь на миг — потом все стало четким и одновременно мягким: красно-коричневый тон хороших обоев на стенах, дубовая шведская вешалка с медными крюками, овальное зеркало, красный кожаный пуф, золотистый стеклянный шар светильника и ее лицо, вдруг показавшееся призрачно помолодевшим и худым. Оно, это лицо, вдруг вспомнившееся девчоночьим, было некрасиво той тревожной непропорциональностью черт, которая в грядущем обещает пронзительную красоту,— лицо девочки сорок второго года, протянувшей мне хлеб...

Я выпрямил спину, зрение обрело обыденную ясность — роскошная передняя и лицо сорокалетней роскошной женщины, уже тронутое увяданием, и рука с острыми, крашенными перламутром ногтями.

«И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный»,— строки эти неожиданно всплыли в памяти, растравляя иронической грустью, в которой тоже было нечто позерское и неискреннее, а вслух я повторил:

— Ладно, можешь не опасаться,— и пошел по широкому коридору.

Человек редко соответствует судьбе. Афоризм: каждый достоин своей участи — верен лишь в моральном плане. Обычно человек больше своей судьбы, но в жизни возникает столько неблагоприятных и часто скрытых, не зависящих от воли человека обстоятельств, что он не только не в состоянии их преодолеть, но даже не в силах догадаться об их существовании. Вы ничего не узнаете и не сможете противопоставить тому, что при обсуждении вашего назначения (ну, какое там место снится вам по ночам?) некто, ни разу не видевший вас и листающий

ваше личное дело, с не допускающей возражений небрежностью вполголоса скажет: «Молод еще»,— и услужливая рука заберет папку и подсунет другую. И вы останетесь на своей прежней работе, которую уже переросли и на которой вас последнее время удручает почти постоянное ощущение тесноты; вы останетесь с этим ощущением, но так и не узнаете причин остановки карьеры. Но это не самое страшное, что может приключиться с человеком.

Вы — хороший токарь, выдающийся мастер настольного тенниса или приличный врач и довольны своей работой и своей жизнью. Но вот в один прекрасный день к вам подходит кто-нибудь и со значительным лицом сообщает, что нужно поговорить. Вы останавливаете станок, кладете ракетку на зеленый теннисный стол или велите очередному сунувшемуся в кабинет пациенту подождать и узнаете, что «есть мнение» выдвинуть вас на другую работу — более трудную, ответственную, но более почетную. Как всякий нормальный человек, совладав с первым смущением, вы начинаете отнекиваться, потому что любите свою работу и никогда не мечтали о другой, но вы чувствуете себя польщенным неожиданным предложением и это чувство возрастает по мере того, как ваши ссылки на недостаточность знаний и опасения не справиться все энергичнее отвергаются. И в конце концов (в чьем-то обширном кабинете, при повторной беседе) вы даете себя уговорить и меняете свою работу и свое положение. Перемена эта, казалось бы, должна укрупнить ваш характер, заставить устремиться вслед за судьбой, поднимающей на гребень, но, увы, не в нашей воле стать умнее и способнее. И если вам не хватит этих качеств, то вы сделаете то, что в ваших силах,— измените самооценку: «Если меня выдвинули, то, следовательно, я умный и способный человек». И как-то само собой забудется, что новое положение и связанные с ним привилегии достались вам без борьбы, которая одна только формирует и укрупняет личность, что положение и привилегии принес лишь слепой случай, воля людей, которым для чего-то выгодно, чтобы человек среднего ума и ваших анкетных данных занял определенное положение. И тогда с вами случится самое страшное — вы окажетесь неизмеримо меньше своей судьбы.

Я не знал, в каких отношениях находился мой почтеннейший батюшка со своей судьбой, испытавшей

его всеми ветрами и ливнями времени. Мне были известны лишь внешние факты его биографии и некоторые, относившиеся лично ко мне, поступки, но я не знал этого человека. Хотя понимал, что он — Щербаков-старший и ему принадлежит приоритет на пороки и достоинства. Но какие пороки и достоинства я унаследовал от него, а какие приобрел сам, я не знал. И не было во мне ненависти к нему. Та давняя детская ненависть за тупое принуждение писать и есть только правой рукой, измучившее меня до войны, потому что я уродился левшой,— давно позабылась. А прочие военные и уже послевоенные счеты между нами были посерьезнее банальной родственной ненависти. Отец чем-то притягивал меня, интересовал как средство расшифровать себя. И, входя в просторную, высокую, скупо меблированную комнату, я испытывал всегдашнее смешанное чувство настороженности, враждебного любопытства и сосущей тоски.

Я вошел в комнату, прошагал по светлому лосняще-муся паркету к высоким окнам и остановился против дверей в анфиладу. Надменно вздернув голову, цокая каблуками, моя мачеха прошла во внутренние комнаты. Я чуть откинул шелковистую штору.

За стеклами в тускло-желтом свете фонарей по-прежнему трассировали мокрые снежинки, в небе клубилась фиолетовая мгла. Я отпустил штору и оглядел комнату.

На фоне жемчужных обоев простая светлая мебель смотрелась прекрасно, а свободная расстановка кресел, овального стола и дивана придавала просторной комнате не слишком назойливую парадность. Две хорошие старые акварели на стене против дивана изображали задумчивые парковые пейзажи среднерусской полосы, скромная люстра с лампами-свечками давала ровный и мягкий свет. У самых дверей в анфиладу, повернутое к окну, стояло кожаное массивное кресло с высокой спинкой и подножкой — такие кресла в России принято почему-то называть вольтеровскими,— к подлокотнику был прикреплен подвижный пюпитр красного дерева, на котором лежала стопа хорошей бумаги и толстый «паркер» с золотым пером,— мой почтеннейший батюшка писал мемуары.

Наконец где-то в отдалении послышались медленные, но легкие шаги, и я подошел к дверям.

Какое-то серебристое облако появилось в конце четырехкомнатной анфилады, оно медленным, но еще

довольно легким шагом приближалось ко мне. Я смотрел на гладко зачесанные назад волосы цвета самолетного дюраля, на длинное сухое лицо с глубоко посаженными темными цепкими глазами, на вертикальные морщины от скул к подбородку. Он был выше меня почти на целую голову; великолепный серебристо-серый костюм четко облегал подтянутую фигуру, свежая крахмальная рубашка отливала голубизной, и единственной домашней вольностью был слегка распущенный узел синего с серебряной искрой галстука и расстегнутая верхняя пуговка воротника. Я посторонился, мой батюшка вошел в комнату и протянул руку:

— Ну, здравствуй. С сорокалетием тебя.— Низкий, богатый оттенками голос проповедника вибрировал искренним доброжелательством, пожатие сухой руки было энергичным.

— Спасибо,— сказал я и дернул головой в светском поклоне, совсем как воспитанный мальчик.

— Садись,— плавным жестом он указал на диван, подошел к креслу, взял с пюпитра авторучку и аккуратно закрыл колпачком перо.— Чернила подсыхают, а потом не расписать сразу,— он положил ручку на место, чуть повысив голос, сказал в дверь:— Инна, сообрази нам что-нибудь,— и сел в кресло у противоположного края стола.

— Как здоровье? — непослушным голосом спросил я, всматриваясь в его сухое длинное лицо.

— Здоровье на седьмом десятке должно быть хорошим всегда,— жесткие его губы приоткрылись в легкой улыбке.— А вот сорок лет — это очень серьезно. В сорок лет... хм, я... да, это — сорок седьмой... в сорок лет я не рассчитывал дожить до шестидесяти с хвостом,— он плотно сомкнул губы, прикрыл глаза, вспоминая.

— Ну, в сорок лет такое не очень и страшно,— теперь я по себе знаю.

— Да, да, я тебя понимаю,— открыв глаза, он медленно кивнул головой, положил ладонь на желтую с темными крапинами столешницу, на безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо: кисть руки была почти юношеской, крупной, с длинными пальцами, свежей гладкой кожей — ни россыпи «гречки», ни переплетения синих вен.

Отцовская рука выглядела моложе моей. Я всю жизнь жаждал быть как все, жаждал всего как у всех,— чтоб были натруженные отцовские руки, чтоб —

тусклый свет и тепло обыденности, чтоб согревало кровное родство... Глухая обида ворохнулась внутри мокрым дрожащим щенком, глухая обида и острая горечь. И во рту пересохло от внезапной злобы, не на этого красивого седовласого человека в дорогом серебристом костюме — на саму судьбу. Я почувствовал, как губы пошли косой нехорошей ухмылкой, и даже сам сжался от испуга, что сейчас, истерически взвизгнув, начну выкрикивать бессвязные идиотские обвинения и обиды, и ощутил тошноту от этого надвигающегося банальнейшего и пошлого «скандала в благородном семействе». Но тут с тихим шуршанием в комнату вкатился изящный легкий столик на резиновом ходу, небрежно и ловко подталкиваемый мачехой. Она надела голубой передник, молодивший лицо.

Столик подъехал вплотную к отцовскому креслу. Отец с оживившимся лицом взял в руки большой прямоугольный стеклянный флакон, лаская грани в ладонях, посмотрел на просвет желтоватую жидкость.

— Вот и прекрасно, в такой день надо, обязательно надо. Это пшеничная на шафране. Не пробовал? Лучше, по-моему, не бывает,— он легко удерживал одной кистью большой, видимо тяжелый флакон на весу, ожидая, пока мачеха расправит на столе хрустящую скатерть голубоватой искрящейся белизны.

Я стал смотреть на ее атласные руки, ладно уставляющие стол. Длинное блюдо с розовой лососиной, бадейка с заправленными постным маслом, лоснящимися солеными рыжиками, пускающий из дырочек слезу, лунно светящийся сыр на квадратной плакетке и матовый металл ножей и вилок — все становилось еще более привлекательным и роскошным под этими узкими, с тонкими запястьями руками, и крашенные розовым перламутром когтистые ногти здесь, над белой пиршественной скатертью, не казались угрожающе хищными. В ее лицо я взглянул только мельком и поразился тому, что оно — прекрасное лицо с длинными, странно неподвижными глазами — глухо: я не увидел на нем никаких чувств, лицо не выражало ничего, кроме сосредоточенности на том деле, которое ладно справляли руки.

Отец все еще держал на весу флакон с желтоватой жидкостью, и на его лице я заметил такую же, как и на лице мачехи, глухость, только в темно-бархатных, глубоко сидящих глазах поблескивало нетерпение.

Не все так ладно в доме Облонских, подумал я раз-

драженно. Закрытость этих лиц говорила о каком-то неблагополучии и, следовательно, могла служить оправданием, но я не хотел, чтобы у этих людей было хоть какое-то оправдание,— не потому ли, что оно могло уравнять их со мной?

Хлебница стала на краю стола, последними появились фужеры, рюмки и графин с апельсиновым соком. Мачеха выпрямилась. Отец фальшиво-просительным тоном спросил:

— Инночка, может быть, и ты с нами? — и отвел глаза в сторону.

— Нет, у меня голова болит,— голос ее задрожал, и я подумал, что она заплачет.— Пейте-ешьте на здоровье, а меня увольте. Поздравляю, Алексей.

— Спасибо,— глухо отозвался я, глядя ей в спину. Каблуки ее перестали цокать, и столик она тащила за собой нехотя и вяло.

Отец с виноватой и слабой улыбкой посмотрел на меня, тихо сказал:

— Мигрени. Сорок лет — не шутка для женщины,— и вытащил пробку флакона.— Ну, давай-ка за дело. Подвинь рюмку.

Я машинально подтолкнул низкую пузатую рюмку вперед по скользящей скатерти и облегченно вздохнул: оказывается, присутствие мачехи чем-то угнетало и меня.

— Понимаешь,— отец наполнил рюмки, положил себе на тарелку ломтик лососины,— у людей моего поколения — увидено-то много,— кажется, выработался особый инстинкт,— он оживленно блеснул глазами,— шестое чувство на всякие исторические потрясения.

— Да? Ну и что же это чувство говорит? — кончиками пальцев я потрогал искрящуюся белизну скатерти, ощущение было приятным, успокаивающим.

— Сейчас оно в полном покое. По-видимому, век закончится без потрясений. Такое ощущение, что лет двадцать — тридцать все будет спокойно. Какая-то стабильная фаза истории.

— Ничего себе стабильность. Кругом в мире стреляют, воюют, дохнут от голода.— Придвинув рюмку, я понюхал золотистую жидкость, запах был горьковатый и пряный.

— Это мелочи. Главное — развитые страны, главное, что мы не хотим и не допустим, для этого есть у нас все,— он поднял рюмку.— Так что давай — за спокойное окончание века. Ты, может быть, увидишь его.

— Давай — за спокойное окончание этого нелегкого века.— Я грустно усмехнулся, отец вдруг показался наивным, прекраснодушным старичком, которому склероз подарил под конец блаженную беспамятность.— На этот век, по-моему, уже вполне достаточно войн и прочего. А что будет — поглядим. Но все равно, давай выпьем за стабильность.

Мы почти одновременно подняли рюмки, водка от шафрана показалась мне приторной.

Отец ребром вилки ловко отделил кусочек рыбы, закусил, подцепил маленький золотистый рыжик и тоже пристойно отправил в рот, сухие щеки его порозовели, глаза лучились вдохновенным довольством.

— Вот ты заметь, как мы относимся сейчас ко времени,— меряем пятилетками, десятилетиями. Это значит, что на дворе мир и относительное благополучие. А ведь было так, что считали дни. В сорок первом — сорок пятом два-три дня значили иной раз больше, чем годы,— он поправил и без того безупречный зачес своих алюминиевых волос и мечтательно, почти по-мальчишески улыбнулся.— Вот я пытаюсь передать ту концентрированность времени, когда в один день укладывались годы. Очень это трудно передать, писателем надо быть, но нужно, обязательно нужно. Личное свидетельство современника потом будет ценнее любых романов.

— В назидание потомкам, значит? — спросил я, сдерживая усмешку.

— Ну, не совсем так, хотя если хочешь, то и в назидание. Потому что история любой жизни может служить назиданием. Но не это главное,— он еще чуть ослабил узел галстука.

— Что же главное? — я приподнялся, взял со стола тяжелый флакон. Что-то было в этом разговоре такое, от чего внутри у меня появилось сторожкое охотничье ожидание, даже шейные мышцы напряглись сами собой. Я беззвучно поставил флакон, сел, не сводя взгляда с отцовского лица, и повторил:— Что же главное?

— Главное? — он задумчиво посмотрел в сторону своего вольтеровского кресла, где на пюпитре лежала стопа хорошей бумаги.— Об этом так, одним словом не скажешь.

— А ты не одним,— я попытался состроить ободряющую улыбку.

— Понимаешь, каждый человек что-то вносит в историю человеческого прогресса — я убежден в этом,—

как-то особенно значительно произнес отец своим низким проникновенным голосом.

— Любопытно, что бы мог в этот прогресс внести, ну, скажем, я? — Интерес мой к разговору прошел, я понял, что будут одни лишь общие слова, и решил уделить внимание соленым рыжикам.

— По-своему прожитую жизнь.

— Да?! — рука моя с вилкой застыла на полпути.

— Представь себе. Вот об этом главном я и пытаюсь написать, определить меру своей сопричастности там, где этим можно гордиться...— В его интонации была неколебимая уверенность, и голову он держал высоко, чуть воздев очи горé, будто уже стал памятником.

Я поднял рюмку выше головы.

— Давай выпьем за то, чтобы ты всегда мог отличить, где нужна сопричастность, а где — нет,— и выпил одним глотком.

Он внимательно посмотрел на меня без улыбки, опустив глаза, отпил свою водку наполовину, вздохнул и снова посмотрел.

— Тебе было очень трудно там? — неожиданно спросил он.

Чтобы выиграть время, я стал отрезать сыр, потом ответил:

— Нет, там я хотя бы был равен со всеми.

— Да, да, конечно, я понимаю твою иронию, но ты, вольно или невольно, сказал истину. Тюрьма переносится легче, когда знаешь, за что...— Лицо его стало торжественным и печальным, будто он возлагал венок на могилу.

Я спросил, стараясь придать голосу безразличие:

— А ты не знал — за что?

— Видишь ли...— Он задумался.— Нет, конечно, нет! Это сейчас, с определенной дистанции, оглядываясь, можно отыскать вину... Не вину, а причину,— он допил свою рюмку.

— Это очень интересно,— сказал я, не скрывая издевки.— Я еще не пишу мемуаров, но мало ли, на будущее пригодится. Так что, может быть, разъяснишь?

— Это трудно — так, устно.

— Ну, не труднее, чем отсидеть червонец. Я попытаюсь понять.— Мне остро захотелось охмелеть, почувствовать себя развязным, и я, привстав, взял флакон, налил себе до краев и спросил: — Так в чем причина?

— Как ни странно, но причина лежит на самой поверхности, она в психологии людей... Да, да — в обыденной психологии,— печально и снисходительно он улыбнулся мне, как ребенку; проповеднический, низкий, богатый оттенками голос тоже звучал проникновенной печалью.— Люди так устроены — и отдельные личности, и массы в особенности,— что, поставив себе цель, вдохновившись ею, уже ничего не жалеют для ее достижения. Только пойми правильно — это не плоский девиз: цель оправдывает средства (хотя в иных ситуациях и это случается). Может быть, мы слишком много воевали... Но не мы начинали войны, а заканчивать их приходилось нам. Вот отсюда и пошло убеждение, что самое главное — мудрость приказа и четкость его исполнения во что бы то ни стало, а убитых и раненых сочтем потом, после боя, после победы.

— Нормально,— сказал я.— Такой подход, само собой, подразумевает, что кто-то рассчитывает выжить, чтобы подсчитать потери.

— Да, вот здесь и встают вопросы вины и ответственности,— отец снова поглядел в сторону своего кресла, где на пюпитре лежала стопка глянцевитой белой бумаги, великолепной бумаги, прочной, способной выдержать все.

— Во-во,— горестная усталость охватила меня, словно, плутая по темному лесу, я в который уже раз вышел на замеченное раньше место.— Все эти вопросы тем и удобны, что относятся к категории вечных...— сказал я тихо.

— Это обывательский взгляд,— твердо сказал отец.

— Ну, еще бы, конечно. Хотел бы я посмотреть на мир, в котором вдруг не осталось ни одного обывателя. Кто бы тогда выполнял приказы любой ценой, до последней капли? — Я снова потянулся за водкой.

— Пережди, поешь сначала чего-нибудь,— сказал отец, отодвинул флакон на край стола и сам положил мне на тарелку несколько ломтиков лососины.— Сейчас попросим сварить кофе.

— Не надо кофе. Не надо просить, никогда ничего не надо просить. Это золотое правило,— сказал я и стал есть.

— Руководить — это страдать. Так говорят умные люди,— задумчиво, словно про себя, сказал отец.

— Рыба великолепная, так и тает во рту. Такая рыба может помочь перенести любые страдания,— я отодви-

нул тарелку и усмехнулся.— Теперь-то можно выпить?

— Пей,— он переставил флакон ближе ко мне.

— Спасибо... Надеюсь, это не будет вменено мне в вину в историческом будущем,— я налил себе.

Отец улыбнулся пристойной снисходительной улыбкой хорошо воспитанного человека, умеющего не только не пролить на скатерть, но и не заметить, как это сделал кто-то другой: жесткие губы чуть приоткрылись, глубоко посаженные темные глаза доброжелательно прищурились. Потом он заговорщицки наклонился и тихо спросил:

— У тебя есть сигареты?

— Есть,— я достал пачку.— А что, тебе нельзя?

— Да, говорят. Но сам понимаешь, запретное вдвое привлекательней,— он взял сигарету, понюхал.— Ты тоже закури для прикрытия.

Я быстро опустошил свою рюмку, привстал и чиркнул спичку. С минуту мы молча курили. Из дальней комнаты донеслась протяжная печальная музыка, потом в нее включился слаженный хор высоких голосов, о чем-то просящих смиренно, но страстно.

— Монтеверди... Такую музыку полюбила,— сказал отец, рассеянно посмотрев в сторону дверей, в анфиладу, и, выдохнув струйку дыма, не то досадливо, не то сочувственно сжал жесткие губы.

— Да,— бездумно сказал я, с волнением чувствуя приближение какой-то важной мысли, и тут же меня пронзило радостное ощущение молодости. Да, я чувствовал, что мачеха уже стара, а я — молод. Для меня она была уже старой женщиной!

— Ты помоги ей, если что со мной... У нее никого не осталось,— вдруг тихо попросил отец и потупился.

— Брось,— сказал я, стараясь придать тону веселую небрежность.— Сидевшие люди живут долго. Возьми Морозова, Фигнер,— по двадцать лет в крепости, а прожили до ста. И потом,— я усмехнулся,— ты еще не отчитался перед историей,— и кивком указал в сторону вольтеровского кресла, где на пюпитре лежала стопа бумаги.

Он поднял глаза и тоже улыбнулся.

— А это ты неплохо сказал — о вине в историческом будущем,— взгляд его обратился внутрь, в себя, сигарета дымилась в застывшей на отлете руке.— Дело в том, что перед ним невиновных нет, во всяком случае —

среди тех, кто в свою эпоху был деятелем. Масштаб тут не играет роли. Но это не отменяет субъективного чувства невиновности живого человека,— отец наклонил голову, коротким жестом поднес сигарету к губам и затянулся так, что ввалились сухие щеки, потом усмехнулся.— И с этой точки зрения тебе, ты уж прости меня, сидеть за конкретный поступок было легче.

Я почувствовал, как тело бросило в жар и загорелось лицо, но сказал довольно спокойно:

— Ну, что ж, преступить — это значит на что-то решиться, что-то отвергнуть. Человек совершил и понес наказание.

— Ты винишь в этом меня?

— Нет, пожалуй. Я еще не понимал тогда ничего. Только злился на все и вся,— мне стало совсем спокойно, и в голове была холодная ясность.

— Теперь ты что-нибудь понял? — В голосе отца послышались пьяные нотки.

— Оставим это. Толчем воду.

— Нет, ты скажи. Понимаешь теперь, что я не виноват?

— Не виноват теперь или не виноват тогда? — Я усмехнулся.

— И тогда и теперь!

Я чувствовал, что разговор бесполезен и ненужен, но убежденность отцовской интонации, непоколебимая уверенность его длинного сухого лица с вертикальными морщинами от скул к подбородку, весь пристойный интерьер этой комнаты и отдаленная, молитвенно-возвышенная и одновременно чувственная музыка с хором чистых женских голосов вызывали во мне сварливую, ехидную стервозность, и трудно было не спросить:

— А хорошо ли это — быть ни в чем не виноватым?

Он досадливо чмокнул губами, погасил сигарету в пепельнице, стал наливать себе водку.

— А-а, как ты не поймешь. Я уже говорил: есть вина, есть. Это было при мне. Или как там — «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку». А ты все хочешь измерить уложением о наказаниях. Такой вины за мной нет. Есть ответственность за свое время, за всякие его гримасы, за то, что оно, время, вместе с самыми лучшими чертами характера выявляло в людях всякое наушничество, иллюзию тайной власти, иллюзию влияния на жизнь. Но только иллюзию,— он поднял рюмку и лихо опрокинул ее в рот.

— Ты поосторожней,— сказал я,— от этого зелья может сердце прихватить.

— А-а,— отмахнулся он.— Ерунда. Так вот, только иллюзию, потому что никто не получает ничего, да и не хочет ничего,— все стараются бескорыстно, только по идее. И я не несу за это ответственности, личной ответственности. Но за время, в котором это происходило, я ответствен, как всякий мало-мальски сознательный человек. Это и есть грех перед историческим будущим.— Язык его стал заплетаться, он облокотился на стол и, подперев щеку ладонью, задумчиво уставился в синеватую белизну скатерти. Я молчал, вслушиваясь в отдаленную молитвенную музыку и всплески слаженных чистых голосов, о чем-то просящих. И острая жалость к отцу вдруг пронзила меня. Я смотрел на этого красивого ухоженного человека, в скорбной задумчивости потупившего взор, и безнадежно жалел его за то, что он отказался от страшного, но необходимого, самого человеческого права на вину. Я жалел его за то, что суровые, великие и такие человеческие слова «я это сделал» были неведомы ему. И может быть, только в этот миг я понял, что право вины за ошибку, за преступление — это привилегия человека; тот, кто лишил себя этой привилегии, становится только памятником самому себе... Отдаленная музыка и чистые голоса хора то всплескивали ввысь в страстном желании милосердия и понимания, то приземленно и тихо скорбели, что жизнь устроена так, что от справедливости никому не уйти.

— Отец! — позвал я, но он не откликнулся, он спал, подперев щеку ладонью и полуприкрыв глаза. Мне стало смешно. И я, как Хам, увидел наготу своего отца, и отвернулся, как Сим и Яфет, положил сигареты в карман, встал и, стараясь не шуметь, прошел во вторую комнату.

Здесь стояли массивные книжные шкафы, большой, ничем не покрытый стол, висели в простенке какие-то картинки, но все это казалось нежилым. Я подошел к следующей двери анфилады и, ощущая неловкость, тихо, но стараясь перекрыть музыку, позвал мачеху, она не откликнулась, тогда я заглянул в приотворенные двери.

Горела маленькая лампа на белом туалете, огонь ее отражался в гранях флаконов и в серебристом большом зеркале и освещал узкую, в одно окно комнату туманно и слабо. Светилась шкала радиокомбайна. Я сунул голо-

ву дальше и на белом пушистом диване у стены, примыкавшей к дверям, увидел мачеху. Она лежала ничком, укрыв голову чем-то белым, ладное, узкое тело ее было неподвижным, рука безжизненно свисала до пола.

— Инна,— позвал я, и в этот момент музыка кончилась, проигрыватель выключился щелчком и голос мой прозвучал резко и громко.

Она неловко, но быстро села, сорвала с головы накрученный чалмой платок и растерянно уставилась на меня неподвижными сумасшедшими глазами.

— Он заснул там, сидя,— сказал я, входя в комнату и ощущая неловкость.— Выпил три или четыре рюмки... Может, помочь?..

— Ничего,— прервала она раздраженно.— Поспит немного так.— Смягчив тон, добавила тихо:— Это у него теперь часто — сядет читать или писать и заснет.

Она встала, и я только теперь заметил, что на ней синий, вышитый крупными летящими журавлями, красивый халат. Полы внизу расходились и открывали круглые белые колени. Она перехватила мой взгляд и запахнулась.

— Ну, тогда выпроводи меня,— сказал я.

— Сейчас,— она подошла к зеркалу, подняв руки, небрежными движениями поправила свои вечно спутанные волосы. Рукава халата съехали, обнажив тонкие предплечья, которые белели в туманном, слабом свете маленькой лампы. Лицо ее в зеркале было нечетким и от этого выглядело совсем молодым.

Я вздохнул.

— Здесь пойдем,— она шагнула к задней стене комнаты, открыла выкрашенную в цвет обоев маленькую дверь и остановилась, пропуская меня вперед.

Я вышел в темный длинный коридор и, почему-то стараясь не топать, пошел на золотистый свет передней. Ее шагов не было слышно, но я знал, что она идет следом. Подойдя к вешалке, намотал шарф, снял с крюка пальто и, чувствуя, что она наблюдает за мной, резко повернулся, встретил ее неподвижный взгляд и увидел, что глаза у нее красные, будто она долго плакала. Потупившись, я надел пальто и спросил:

— У тебя это часто — головные боли?

— Да, что-то привязалось зимой,— ответила она неохотно.

— Ты хоть врачу показывалась? — я поднял глаза.

— Пройдет само,— она отвернулась.

— Я могу сказать Кирке. Он порекомендует какого-нибудь специалиста.

Она повернула ко мне лицо, глаза зло вспыхнули.

— Да успокойся. Климакс это, понимаешь? — криво усмехнувшись, она застегнула верхнюю пуговицу халата.

Мне стало неловко и противно от ее откровенности и базарного какого-то тона, и, тупо осклабившись, я возразил:

— Ну уж, так сразу.

— У тебя есть баба? — глядя в сторону, спросила она.

— Нет,— ответил я тихо и ощутил дрожь, встряхнувшую позвоночник, дыхание вдруг пресеклось, исчезло куда-то, но через миг вернулось с ощущением тонкой горячей иглы в подреберье, и перед мысленным взором выступило лицо Натальи, исполненное искренности и чистоты; я почувствовал, что губы сжимаются горестной сиротской гримасой, и суетливо стал натягивать перчатки.

— Почему? — Она зябко передернула плечами.

— Не знаю, надоело все, наверно,— ответил я небрежно, но почувствовал раздражение. Я так часто задавал себе разные вопросы, что терпеть не мог, когда это делал кто-то посторонний. А уж от этой женщины не потерпел бы и подавно, и поэтому я повернулся к дверям.

Она заступила дорогу, требовательно сказала:

— Погоди,— и уперлась мне в грудь ладонью вытянутой руки.

— Ну, что еще? — пробурчал я, силясь выдержать ее неподвижный сумасшедший взгляд.

— Тебе сорок, а не двадцать. Что, так и будешь вечным юношей носиться со своими обидами? — Голос ее был резким, злым, но была в нем ясная горечь...

Раздражение мое сразу погасло, и я ответил без всякой бравады:

— Да какой я юноша, и обид нет — тоска одна,— и отвернулся.

— Так заведи семью, обогрей хоть одного человека... Сколько славных баб одиноких, несчастных. Они молиться готовы на вас за одно доброе слово,— голос ее дрогнул.

Я вздохнул, усталая тупость затуманила голову, будто я уже тысячу лет сижу в своем семейном доме

у подслеповатого телевизора рядом с расплывшейся и неприбранной женщиной,— я даже всхрапнул, как испуганная лошадь, потом рассмеялся вслух.

— Чего ты гогочешь? — с обидой спросила она.

— Да ничего,— ответил я вяло.— Просто представил себя отцом семьи.

— Ну и что тут смешного? — Тон ее стал еще резче.— В этом весь смысл. А от тебя тепло хоть одному человеку?

— Ну, Инна... Понимаешь, я не так благополучен, чтобы жить с женщиной только потому, что она мне физически не противна. А такой, чтоб... стала всем на свете, такой я и на хрен не нужен,— я протянул руку, тронул ее за плечо и попытался обойти, но она быстрым движением вцепилась в лацкан пальто.

— Нет, постой,— резким, не сулящим ничего хорошего, базарным тоном сказала она с придыханием.

— Ну, что? — отозвался я устало и бессильно ссутулился, она отпустила лацкан пальто.

— Ответь мне, кто ты такой — фигляр, страдалец, искатель истины или просто подонок, выучивший много красивых слов? — Ее умоляющий взгляд был неотступен и строг, и слезы уже набухали во внутренних уголках неподвижных глаз.

Ощущение горячей острой иглы в подреберье рождало чувство униженной беспомощности, обнаженности перед этой озлобленной, чуждой, но за тридцать лет ставшей частью моей судьбы женщиной. И я ответил ей так, как себе:

— Хотел бы я это знать...— вздохнул и добавил:— Кажется, жизни не хватит, чтобы разобраться.

Она повернулась, сделала шаг к двери и глухо и злобно сказала:

— Ненавижу!.. Всех ненавижу! — обернулась, мокрые глаза безумно блеснули.— Антисексуальные маньяки, баптисты слюнявые... У вас уже атрофировались гениталии, а мозг,— она подняла руки, яростно хлопнула себя по голове,— уродливо распух. Вы — недочеловеки. Все вылезли отсюда,— она сделала непристойный жест,— все Эйнштейны и Гегели, даже Иисус Христос... Они придумали непорочное зачатие, но без бабы не могли появиться на свет. Весь ваш дух, все ваши вонючие мысли не стоят одного стона роженицы. А у меня здесь пусто! — она повторила свой жест.— Пусто. И уже никогда ничего не будет.

Сильно стуча каблуками, она подошла к двери, резко распахнула ее.

— Проваливай, мыслитель.

Я втянул голову в плечи и вышел на лестничную площадку.

Дверь за мною закрылась беззвучно.

8

Под козырьком подъезда я достал сигарету, пальцы словно утратили привычную уверенность движений, и несколько спичек погасло прежде, чем в ладонях, сложенных шалашиком, затеплился бледно-восковой огонек. Я прикурил, глубоко затянулся, а огонек все не гас, хотя я убрал одну ладонь,— крошечный, бледный, он трепетал на ветру, но не сдавался, и спичка догорела до конца. После этого улица показалась особенно бесприютной.

Я стоял под козырьком подъезда и курил, втянув голову в плечи.

Снег перестал, но небо все клубилось фиолетовой мглой, а мокрая серая снежная каша на мостовой, казалось, поглощает и без того тусклый и размытый свет уличных фонарей. Промозглый знобкий ветер забирался за воротник, и, хоть выпито было сегодня порядочно, я чувствовал сырой пронизывающий апрельский холод. Часы показывали без четверти десять: страшный этот день не хотел кончаться.

Элегического ритуала очищения при возвращении к «отчим началам» и первой любви не состоялось. Быть может, на это очищение я неосознанно надеялся, когда тащился сюда. Надеялся ощутить щемящую растроганность перед ушедшим и уходящим, размякнуть и простить себе и им хоть на час ту бесповоротность, тот ужас, который неверно наречен прошлым. Но прошлого нет, пока мы живы. Мы только обманно хотим доказать, что оно уже прошло, и таким образом обеспечить себе комфортное самочувствие.

Инстинктивно я понимал это давно и догадывался, что прошлое нельзя разрубить, как гордиев узел. Вы можете стать властелином всей Азии, но над своим прошлым не получите власти никогда.

Быть может, поэтому, освободившись в шестидесятом, я отверг объяснения Инки.

...Моросил сероватый майский дождь. С бунтом

ржавой проволоки для прочистки канализационных труб через плечо я шел по Маяковского, устало приволакивая тяжелые резиновые сапоги, и уныло смотрел в мглистую перспективу, замкнутую отдаленным фасадом старого дома на Кирочной. В безлюдности пасмурного унылого утра стройная фигура женщины, идущей навстречу в белом пальто, сразу притянула взгляд. Возле булочной мы сблизились. Тревожно метнулись синие яркие глаза, походка ее потеряла свой ритм, и мы застыли друг против друга под мелким дождем.

— Ты?! — выдохнула она почти без голоса.

Я безмолвно стоял против нее — грязные неуклюжие сапоги, замызганный стеганый ватник, пропахший нечистотами, бунт толстой ржавой проволоки через плечо... Это была наша первая встреча через семь лет. И ничто не соединяло меня с этой слишком красивой и дорогой женщиной, про которую я уже знал, что она — моя мачеха.

— Надо поговорить... Я должна объяснить..— глаза остановились, подернулись влагой.— Знаешь...

— Не знаю и не хочу знать,— оборвал ее я и, не удержавшись, добавил с кривой усмешкой:— Дидона...

Откуда мне, мнившему себя великим страдальцем, было взять тогда хоть крупицу тепла для нее, ставшей мачехой; откуда мне было знать тогда, что над чужим прошлым я тоже не властен?

Потом были другие встречи, но Инка уже ничего не пыталась объяснить, она навсегда стала мачехой. Это устраивало меня. «Ты забыл те, в ужасе и муке, сквозь огонь протянутые руки и надежды окаянной весть...»

Ссутулившись у подъезда, я думал, куда пойти. Мысль о возвращении в пустую темную квартиру я отверг сразу. В таком состоянии я не мог вернуться туда.

Существовал только один нормальный дом на свете, куда я мог приехать в любое время и отогреться в семейном чужом тепле. Это был дом моего давнего друга Буськи Миронова.

Из нашей неразлучной троицы только Буська стал добропорядочным семейным человеком и, как мне казалось, проплыл через свои сорок лет без особых потерь. Во всяком случае в нем не чувствовалось напряжения и горечи. Видимо, предки одарили его незаурядным запасом жизнелюбия и душевной прочности, потому что Буська до сих пор не чурался плотских утех и, самое главное, стремился к ним с той неуемной азартной радо-

стью, которая бывает уделом только непосредственных и здоровых натур. Он искренне и щедро любил жену, с нежностью и теплотой относился к своим бесчисленным девушкам, хотя не каждая из них могла бы конкурировать с Венерой Милосской. Пил Буська совсем мало, но любил поесть и понимал толк в еде; умел заработать на обеспеченную жизнь. Умел почувствовать себя удовлетворенным своей женой, девушками, автомобилем, заработками — жизнью. И еще он обладал редчайшим, на мой взгляд, качеством: рядом с ним жизнь начинала казаться по-юношески соблазнительной; Буська словно заражал своим аппетитом. А кроме всего, я просто любил его, потому что он был лучшей частью моего прошлого,— он и Кирка.

Я не вел переписки с друзьями детства, когда находился в местах не столь отдаленных, и, честно говоря, даже не рассчитывал на продолжение знакомства, как, впрочем, не надеялся когда-нибудь вернуться в Ленинград. И расчеты мои были не слишком пессимистичными, просто сумасшедший случай внес свою поправку. Именно этот безумный случай, по капризу которого я вернулся на шесть лет раньше, чем предусматривалось приговором,— именно этот случай косвенно или прямо предопределил мое новое сближение с друзьями детства. Если не побояться романтической выспренности, то можно сказать, что путь мой к друзьям детства проходил по долинам синих больших рек, где вечные желтые туманы стоят над глухими болотами, где в чащу еловой и лиственничной тайги даже летом вдруг проникает стужа тундры и ледяное дыхание северных морей; где тощие подзолы и мерзлотные торфяники скрывают драгоценные яшмы и алебастры; где по весенней прибылой воде рек плывут миллионы древесных стволов; где торчат к небу бурые нефтяные вышки; где на взгорках среди гиблых таежных болот — маленькие безымянные кладбища...

Так что какая уж тут романтика. Тут живут люди, а любое человеческое существование отвергает безысходность, неистребимой жаждой лучшей доли, даже крохотной надеждой укрепляя свою жизнестойкость, как еловые и лиственничные леса с юга по сухим, прогреваемым весной склонам речных долин и холмов проникают в бесприютную тундру, и там, где они разрастаются, тундра перестает быть тундрой. И с мая по июль солнце не прячется за горизонт и часто дуют теп-

лые южные ветры, а ночная остуда присаливает инеем земляничный и смородиновый лист, но не побивает его, только изводит попрятавшихся в щелях насекомых, потому в тех местах сравнительно мало гнуса и комаров.

И вот в пятьдесят девятом я располовинил свой срок.

Мне повезло, я попал на режим, при котором нет охраны, и после работы (если остались силы) можно побродить по берегу, пойти по грибы и по ягоды, побыть одному. Положение мое можно было считать даже выдающимся, потому что я работал шофером на бортовом вездеходе ГАЗ-63, подвозил на дальние буровые запчасти и солярку для дизелей, перебрасывал к железной дороге ящики образцов, добытых геологами.

Пожалуй, тем летом я испытывал небывалую степенную уверенность в себе. Мне было двадцать шесть лет, многочисленные голодовки юности все-таки не сокрушили организм; время в колониях наступило спокойное: стал мягче режим, были ликвидированы всякие воровские группировки, державшие в страхе и обиравшие общую массу колонистов; а кроме всего, я уже привык, набрался опыта (ведь говорят же, что в колонии только первые десять лет трудны). Но самое главное, впереди была полная определенность: я знал, что сидеть мне еще шесть лет, и примерно представлял себе, какими будут эти годы; беспредметные, но болезненные мечты о воле и воспоминания детства оставили меня (они рано или поздно оставляют почти каждого) и не тревожили душу. Меня даже не привлекали слухи об амнистии, с почти правильной периодичностью возникавшие два-три раза в год. Я уже понимал, что эти слухи — не что иное как местная мифология и отворотная магия, рождающиеся из суеверного страха и несбыточной мечты, из жажды счастливого чуда, и втихомолку посмеивался над легковерными. Ах, каким же знатоком человеческих душ мнил я себя тогда, одолев «Философию религии» Гегеля и «Античную мифологию» Лосева (во всяком случае я считал, что одолеть книгу — это значит прочитать ее от первой до последней страницы). Вообще, чтение во время моего пребывания в тех местах было формой духовного существования, если хотите — средством выжить даже чисто биологически. И я читал все, что попадалось в библиотеках разных пунктов и пересылок, все, что обращалось в бараках, присланное из дому разным людям. И в первые годы меня радостно поражало огромное количество книг,

обращавшихся в дальних колониях. И до сих пор не проходит мое удивление перед неожиданностью и разнообразностью тамошних книг. Встречались там Гегель и Монтень, Плутарх и «Введение в православное богословие» архиепископа Макария, дореволюционные издания Ключевского, «Критическая метафизика» князя С. Н. Трубецкого, которого я по невежеству принимал за декабриста С. П. Трубецкого,— словом, было много таких книг, которые теперь считались бы раритетами, о книгах же по разным отраслям техники и ремесел, как и о беллетристике, и говорить не приходится. И пожалуй, следует отметить тот любопытный факт, что даже непонятные книги бережно сохранялись в бараках. Вероятно потому, что и самые дремучие люди в тех местах поневоле становились книгочеями и питали инстинктивное уважение к печатной продукции. За все время своих странствий по местам не столь отдаленным я встретил только одну поврежденную книгу — крупноформатный каталог-определитель каких-то гельминтов, из картонного переплета которого были вырезаны стельки в сапоги, но все равно ни одна страница не была вырвана и каталогом при необходимости можно было пользоваться, хотя часть его переплета, видимо, спасла чьи-то ноги от кровавых мозолей.

Ах, как я читал в те давние годы! Доверчиво, восторженно, страстно. Каждое слово было для меня откровением, и тайные мысли Растиньяка или мужественная печаль Томаса Будденброка, загадочная привлекательность Печорина или обаяние трогательных героев Ремарка были для меня реальнее барачного вечернего шума, насущнее пайкового хлеба и рыбной баланды. Неволя казалась тяжелым морочащим вымыслом, книги — жизнью. И я упивался этой жизнью, сам иногда пугаясь подлинности переживания. Я жил как бы в двух людях. Один — жестокий, скорый на отпор, уже бывалый бродяга, которого остерегались задевать колонисты; другой — наивно-простоватый, впечатлительный мечтатель, с молитвенной истовостью верящий в печатный текст.

Быть может, именно эта двойственность сделала меня тем, кто я есть? Может быть, постоянное напряжение запертого в клетку с себе подобными и вынужденного отстаивать свою душевную суверенность постоянной готовностью к схватке, ежесекундным оскалом и рычанием, и пришедшая из книг тоска и мечта о высокой

жизни, исполненной идеалов и добра, сделали меня одновременно и романтичным наивным мечтателем, и бездуховным жестоким подонком? Я не знаю, где тут причины и следствия... Но было именно так. Потом, значительно позже, я наткнулся на строчку Монтеня о том, что очень часто самые высокие помыслы сочетаются с самыми подземными нравами, и понял, что мой случай вовсе не оригинален. Но тогда, летом пятьдесят девятого, я ощущал себя человеком, умудренным опытом, книжные сведения казались мне знанием подлинной жизни, и это давало уверенность в себе и оптимизм того странного толка, при котором, что бы ни случилось страшного, всегда надеешься, что подвернется что-нибудь еще пострашней.

И, располовинив свой срок, я, конечно, не мог не чувствовать неподлинности своей реальной жизни и, быть может, стал бы окончательно озверевшим, если бы не толика философичности.

Наверное, на взгляд интеллигентного и образованного человека нет ничего смешнее и отвратительнее, чем тупое невежество, устремившееся вслед за великими умами в холодновато-чопорные выси спекулятивных размышлений. Невежество лезет на вершину не для того, чтобы оглянуться окрест и определить свое место в обозримом мире,— невежество и тупость не могут оторваться от забот насущности и устремляются на вершины абстракций с тусклой надеждой на то, что повседневный кусок черного-черствого на той неизвестной вершине окажется больше и мягче. Но на вершинах удовлетворяется не голод желудка, а чаяния души и ума. И невежество, если доберется, ободрав колени и локти, до вершины, чувствует себя обманутым, приходит в животное бешенство и начинает проклинать и крушить все: спекулятивные размышления, человеческий дух и даже собственную жизнь.

И я, преисполнившись тупой отваги, устремился ввысь. Стороннему взгляду картинка эта показалась бы даже милой и трогательной.

Двадцатишестилетний уголовник со слегка одутловатым от грубой пищи, обветренным лицом и бездумно-неторопливым взглядом, расстелив промасленную телогрейку на пологом склоне обрыва среди низкорослой ольхи и подставив незаходящему северному солнцу стриженый окатыш шишкастого черепа, свернул толстую махорочную цигарку, закурил; отмахивая дым,

чтобы разогнать комаров, задумчиво поглядел на покойную реку, лишь кое-где завихряющуюся вокруг торчащих концами лиственничных топляков, и открыл толстый побуревший том Гегеля.

И я нашел свой хлеб.

Не думайте, что я понял Гегеля. Я и сейчас не понимаю его. Для человека, доросшего лишь до непочтительности к авторитетам, Гегель слишком умен. Но тогда, под незаходящим вечерним солнцем, склоняясь над побуревшим толстым томом и ощущая, как ломит спину от бесконечной тряски за рулем по колдобистым колеям таежных дорог, я, как казалось, разрешил свою тяжбу со временем.

Кто отбывал долгие сроки, кто томился мучительно в давящей бессоннице под недвижным солнцем северных белых ночей, тот знает, какое горестное недоумение охватывает душу...

Вы лежите на верхних нарах и под стоны и храп усталых людей вслушиваетесь в биение собственного сердца, и что-то тяжелое, невнятное давит и давит душу, исторгая глубокие, но не облегчающие вздохи. И вы смутно догадываетесь, что биение вашего сердца, тревожное стеснение души и болезненные вздохи — это и есть ощущение времени. И вы с болью понимаете, что оно — идет, а вы — остаетесь. Оно уходит!

Где-то там, за тысячи километров, вершится жизнь, случаются радости и катастрофы, рождаются дети и стареют ваши сверстницы, чередуются свет и тьма, дни и ночи. А вы лежите без сна на верхних нарах, и мучительному томлению и бессоннице нет ни конца, ни начала... И тогда вы с горечью постигаете, что абсолютной одновременности нет, что там, в другом мире,— другая мера времени, и вас охватывает ужас...

Именно этот ужас владел мною в тех местах. Я ощущал время лишь как утрату и содрогался от неощутимости его движения, потому что в удручающе однообразном, как колебания маятника, обращении той действительности дни проходят незаметно, а годы движутся медленно и постоянная мысль о необозримости срока уменьшает желание жить.

И вот пожелтевшие, с «ятями» страницы Гегеля. Я чувствовал себя человеком, попавшим в страну, где изъясняются на трудном чужом языке, и лишь улавливал созвучия, похожие на те слова, которые знал. И как человек, которому не было выхода из страны незнакомо-

го языка, я до звона в голове вслушивался и вслушивался в эти что-то напоминающие звукосочетания, придавая им свой смысл. И я вычитал у Гегеля или выдумал сам идею пути, идею самообогащения духа через добровольный уход от себя в смертельно-опасную и чуждую стихию. Смысл этого ухода заключался в возвращении с победой. Я вычитал «отчуждение» и возвел его в необходимый момент развития. Гегель помог мне дать имена моему страху, тоске, голоду, горечи. Жизнь моя обрела смысл: только покинув родные края и пройдя все испытания на чужбине, я смогу стать тем, кем должен быть, смогу обрести себя.

Как радостна была эта мысль о соединении с собой через «утраченное время» и преодоленную боль. Во мне зародилась надежда, что утраченное время все-таки не исчезает, что оно найдется, даже больше — наступит освобождение от времени, когда дух мой завершит развитие, достигнет совершенства. Время остановится — наступит вечный миг. Так я стал трогательным идеалистом и страстно поверил в то, чего не может быть. Я еще не знал тогда, что другой великий немец, Гёте, уже доказал, что утраченное время не возвращается, даже если заложишь душу дьяволу. Но, так или иначе, мое заблуждение спасло меня, потому что летом пятьдесят девятого я с деловой расчетливой будничностью думал о самоубийстве.

В этих мыслях, в ощущении неожиданно привалившего богатства незаметно вспыхнуло и угасло и без того короткое таежное лето и с большеземельскими ветрами в тайгу ворвалась сухая холодная осень. Но даже это предвестие неласковой зимы радовало меня, потому что я стал идеалистом и верил в возвращение времени. Правда, был в этой радости и более прозаический оттенок: утренние морозы хоть чуть-чуть укрепляли колеи разъезженных болотистых дорог и первые дневные ездки давались без обычного напряжения. Вообще, казалось, что жизнь изменилась, я перестал мучиться бессонницей, чуть мягче относился к сотоварищам и, вихляя в топких колеях или буксуя на подъемах, воображал, что приближаюсь к счастью.

Наступило холодное бесснежное предзимье, геологи покидали полевые лагеря, и мне доставалось особенно много работы. Я по двенадцать часов не вылезал из-за руля, потом возвращался, съедал баланду за обед и ужин, падал на нары и проваливался в забытье, и мне

снились непонятные и счастливые сны, которые мгновенно забывались при пробуждении, но оставляли волнение и легкость в душе. И во мне крепла вера в судьбу. И судьба пришла.

Она пришла в виде маленького рыжего надзирателя, трясшего меня за плечо. Я с трудом оторвался от своего счастливого, мгновенно забывшегося сна и в еще светлом сумраке осенней августовской ночи осовело захлопал глазами.

— Одевась шустрэй — к начальнику,— с сильным гуцульским акцентом произнес рыжий надзиратель и затопал сапогами в проходе между нарами, убыстряя шаги по мере того, как его материли разбуженные топотом колонисты.

Кто-то, невидимый в сумраке, спросил, когда ушел надзиратель:

— Куда, Леха?

— А хрен его знает,— раздраженно отозвался я, наматывая портянки.

— У опера, должно, жена рожать начала. В городок повезешь, а там — самолетом,— сказал тот же голос.

Я только выругался в ответ. Плечи и спина еще не отошли от дневной усталости. Надвинув ватный тощий треух, плотнее запахнув телогрейку и сунув руки в рукава, я вышел в знобкую осеннюю сутемь и сразу почувствовал тревогу. Что-то не то было в стылой тишине, плескавшейся между бараками, выстроенными в два порядка под сизо-белесым высоким небом. И я завертел головой, взглянув на восток, где уже должно было из-за кромки тайги показаться тусклое солнце и высветить две сторожевые вышки, но вместо солнца увидел черное стоячее облако, от которого вниз, за зубчатую стену тайги, опускался толстый черно-бурый столб с вьющимися длинными серыми космами. Тайга горит, подумал я, хотя лесные пожары никогда не давали такого столба и стоячего облака, они застилали часть горизонта.

В управленческом бараке не было света, потому что в белые ночи движок с генератором не работал, но я видел за окном кабинета начальника тлеющие огоньки папирос.

— Ну, тащишься! — подступил к крыльцу надзиратель.

— Не нукай — не запряг еще,— хмуро огрызнулся я и открыл дверь.

В сумраке кабинета я сразу различил знакомые лица

начальника и оперуполномоченного. Третий офицер, сидевший поодаль у стены, был незнаком.

— Подойди, Щербаков,— с шепелявостью, присущей многим коми, сказал начальник.

Я стащил треух и подошел к письменному столу.

— Кури,— протянул он пачку «Беломора».

И я понял, что дело плохо. Ехать, наверное, придется далеко.

— Спасибо,— я взял папиросу, достал спички и прикурил.

— Вот, поговори с капитаном,— сказал начальник и указал на офицера, сидевшего у бревенчатой стены.

Капитан пристально посмотрел на меня, медленным усталым движением снял фуражку и расстегнул шинель. В этой осенней слюдяной сумрачности глаза его показались мне совсем светлыми, почти белыми, молодыми, а лицо было старым: морщины на лбу и щеках казались глубокими и резкими, серые короткие волосы топорщилась, как у недавно освободившегося колониста.

— Садись,— жестом он указал на стул рядом.

Я сел, положил треух на колени и стряхнул пепел в ладонь.

— Машина у тебя в порядке? — спросил капитан.

— Ничего,— ответил я и только тут заметил, что у него золотые погоны, и подумал: «Зачем тут вояки?»

— Тебя как зовут?

— Алексей.

— Дорога тяжелая, Алексей, очень... Так что машина должна выдержать.— Он вздохнул, уставился в пол и тихо спросил:— Ты шофер-то хороший?

— Не знаю,— разозлился я.— Нас тут десяток наберется, можешь любого выбрать, начальник.

— Ну, ладно, ладно,— усмехнулся он.— Поселок Таежный знаешь? Вверх по реке, километров пятьдесят...

Я присвистнул.

— Это от нас кругаля?! Да тут верст четыреста с лихом!

— Я и спросил поэтому,— капитан поднял голову, опять пристально посмотрел на меня. Начальник и опер молчали.

— Ну, надо, так поедем. У меня срок и в дороге идет.

Капитан помолчал, вертя фуражку в руках, и сказал совсем тихо, будто самому себе:

— Только кругом мы не поедем. Долго слишком, да и от поселка дороги считай что нет. А там — почти шестьдесят километров,— он замолчал, снова уставился в пол.

Папироса догорела до конца, я держал в пальцах погасший окурок и с подозрительностью старого колониста думал, что надо от меня этому капитану.

— Так что, Алексей, ехать нам надо через Луданово — напрямик,— не подымая головы, сказал он.

Я посмотрел на опера и начальника. Оба молчали, опер отвел взгляд.

— Нет там никакой дороги. Теперь и до Луданова-то не доехать. Вывозки с делянок уж при мне не было, а я здесь, начальник, четвертый год. Словом, я той дороги не знаю и не слыхал, чтоб там ездили.— Я встал.— У меня не вертолет.

— Да сядь,— капитан неожиданно сильно дернул за полу телогрейки, и я плюхнулся на стул.— Понимаешь, от Луданова до Таежного всего сорок километров через лес и болото. И не поселок нам нужен, а дальше — там буровая горит. Дымы видел?

— Видел.

— Нам туда целый день добираться, пока здесь до лежневки центральной буксовать будем, и там — еще шестьдесят километров бездорожья. А здесь всего сорок. Были за Лудановом лесные дороги, просеки остались. Я ездил лет пять назад. Теперь понял?

— Начальник,— сказал я,— да нет уже тех просек, подлесок там взошел — на танке не проедешь. И что мы вдвоем сделаем, если засядем? Да нам и за месяц не выбраться.

— Почему вдвоем? У меня шестеро солдат. Вытолкаем, если надо. Мы ехали на ЗИСе-полтораста. До Луданова добрались, там полуось полетела,— спокойно сказал капитан.

— Ну, так бы и дышал, начальник. Поедем. Мне без разницы. Застрянем, будем толкать. Топоры-то есть? Ведь просеки снова прорубать придется.

— Все есть. Давай-ка заводи, а то люди там заждались,— капитан первый раз улыбнулся.

Я встал, сказал:

— Гражданин начальник, прикажите, чтоб хлеборез пайку за сегодня и за завтра выдал, а то поесть не придется.

— Не надо. Накормим, Алексей, не беспокойся.—

Капитан легко поднялся со стула, подошел и пожал руки начальнику и оперу: — Спасибо, товарищи.

Я пошел вслед за ним к двери, озабоченно щупая в кармане тощий кисет. Месяц кончался, в ларьке уже не оставалось махорки, да и денег на счету у меня было совсем мало. Больше ни о чем я не думал, пришло то безразличие, которое всегда овладевает человеком, поневоле вынужденным исполнять чужое дело.

И завиляла, закачалась, вытряхивая кишки, захлюпала по болотистым низинкам старая, почти исчезнувшая под мшаником и вершковыми сосенками колея.

От нас до Луданова было не так уж и далеко, и когда-то по глубокой, но крепко накатанной колесами тяжелых лесовозов однопутке с порожним кузовом можно было проехать даже с ветерком. Но с тех пор прошли годы, тайга, как матерый зверь, зализала рану, и вместо обнаженного в колеях сизого подзола остались еле заметные шрамы, двумя параллельными мокрыми бороздками змеящиеся через овраги и вырубки.

Солнце так и не пробилось сквозь огромное брюхатое черное облако, только с одного края его небо робко и бледно желтело, и, когда старая дорога прижалась вплотную к опушке тайги, стало сумеречно, как перед грозой.

Капитан покачивался рядом на сиденье, отрешенно глядя в ветровое стекло, и молчал. Я тоже молчал, потому что пока еще дорога была сносной и рубчатый след зисовского протектора, кое-где содравшего пепельный тонкий слой молодого мшаника, успокаивал, будто впереди обычная проезжая дорога. Я не спешил, шел в основном на второй передаче, изредка, там, где было посуше и потверже, втыкая третью, и искоса поглядывал на капитана, не в силах унять любопытства.

За несколько лет, проведенных на одном месте, особенно при относительно спокойной жизни, до отупения привыкаешь к людям, которые рядом. Так что любое новое лицо притягивает к себе как магнит, вызывая настороженный, но жгучий интерес. И я при любой возможности, которую давала дорога, косился на капитана.

В нем все было светлым: волосы, брови, прозрачные, словно полные талой воды глаза, только губы, по-мальчишески пухлые, розовели ярко и влажно да блестели погоны с перекрещенными орудийными стволами.

Опушка тайги отошла в сторону, зисовский след

протектора вильнул вправо под косогор, и, воткнув первую передачу, я стал спускаться к болоту со стоячими клочьями низового желтоватого тумана над оконьями и буро-серыми проплешинами мхов. Шея сразу напряглась, и стянулись лицевые мышцы от боязни не заметить крайнюю гать.

— Где-то здесь мы первый раз засели,— тихо, но внятно сказал капитан.

И я почти сразу заметил на почерневшем, уже почти переваренном болотной утробой хворосте старой гати размолотый колесами еловый лапник и розовеющие, как свежие кости, жерди с ободранной корой, местами уже успевшие покрыться маслянисто-бурой жижей.

— Вижу, начальник,— сказал я и, чуть прибавив газ, пустил правые колеса по самой кромке гати, где она не была потревожена колесами ЗИСа.

Под машиной противно зачавкало, в брюхе у меня что-то сжалось в горячий ком, но «газон» мой пошел потихоньку, размазывая протекторами перепревшую гать.

Я ни разу не застрял на трехкилометровом болоте, но, когда выбрался на плоский сухой взгорок и увидел ершистый подлесок с отдельными высокими соснами, выступившими на опушку, спина у меня заныла, как после трехсот верст тряской езды. Я остановился, чтобы остудить двигатель, свернул цигарку и несколько минут сидел неподвижно, жадно хватая горячий, сухой, с запахом вялого сена дым тощей моршанской махорки.

— Умеешь ездить,— сказал капитан, не повышая голоса.— Теперь спокоен, что доберемся.

— Рано радоваться, начальник,— ответил я и завел двигатель.

— Ты вот что, Алексей, не называй меня начальником. Я у вас не служу.

— А мне любой — гражданин начальник,— ответил я, трогаясь.

— А меня зови Федор Петрович или говори «капитан». Не надо при солдатах «гражданин начальник». Ладно? — Он спокойно и хмуро посмотрел на меня.

— Добро, капитан,— согласился я. Чем-то он мне нравился.

До самого Луданова мы не проронили ни слова, да и дорога не располагала к разговорам, но я нигде не засел, хотя и побуксовал несколько раз.

А черное облако разрасталось все больше и закрыло дальний горизонт.

Луданово стояло на пригорке. На черном горизонте покосившиеся, без шатровых крыш, сорванных ветрами, старые вышки казались иссера-белыми.

Я остановился, воткнул демультипликатор и медленно повел машину на подъем, объезжая распаханную колесами ЗИСа почву.

— Здесь толкать пришлось,— нарушил долгое молчание капитан.— Еле взобрались.

— Вижу,— ответил я и спросил:— Что еще за узкая колея тянется? Прицеп, что ли?

— Пушка,— спокойно ответил капитан.

Я не мог посмотреть на него, глаза щупали подъем, но мне показалось, что он шутит.

Медленно проплывали по бокам машины мелкие сосенки и лиственницы, с уходом человека наступавшие на ничейный, рано прогревающийся по весне пригорок. Надсадно гудела раздатка, и руки напрягались помимо воли, упираясь в руль, словно могли помочь колесам машины. Когда взобрались на подъем, я ответил капитану:

— Раз пушка, тогда постреляем,— и удивленно вздохнул, потому что к ЗИСу с зеленым брезентовым пологом, кособоко стоявшему у повалившихся столбов забора, была прицеплена настоящая пушка.— Да,— сказал я, стараясь быть спокойным,— с этой колотухой мы далеко не уедем.

— Уедем, Алексей. С таким шофером, как ты, я бы и до Берлина отсюда доехал,— весело и громко сказал капитан.

— А что, не пришлось? — Я подвел машину так, что радиатор чуть не уперся в зачехленный пушечный ствол, и остановился.

— Не пришлось, в Чехии ранило,— капитан открыл дверцу и легко выпрыгнул из кабины.

Я вылез и оглядел бывший поселок. Распавшиеся завалины и нижние венцы бараков буйно зацвели темной угрюмой зеленью, пустые мертвые глазницы окон источали мрак, тесовые крыши, моренные дождями и снегом, седловато провисли, и отдельные тесины, вздыбившись, торчали, как перья поломанных крыльев. Ровные некогда дорожки уже невозвратно заглушила белая марь-лебеда, только рябины, посаженные человеком, остались и раскачивали крупные гроздья уже закрасневших, но

еще твердокаменных ягод, даже видом своим вызывавших оскомину. Пройдет еще год или два, и тайга засосет почерневшие срубы, обрушит печные стояки, осинник и ольха покроют развалины, а потом взойдут сосны, задавят осинник и ольху, и ничего не останется здесь от людей...

Мне стало не по себе в этом запустении, и я пошел к костерку, вокруг которого сидели солдаты, слушая то, что негромко говорил им капитан. Мне нечего было делать возле солдат, но запах горячей свиной тушенки тянул, как аркан.

Капитан, видимо, уже сказал обо мне, потому что, когда я подошел, он только коротко представил:

— Вот наш шофер, Алексей.

Солдаты с затаенным и чуть настороженным любопытством поглядывали на меня, и один, подав задымленный котелок, сказал:

— Поешьте.

Я молча принял котелок, до половины набитый жирной горячей тушенкой, и краюху рыжего пшеничного хлеба, увидел смущение на лице солдата, неуверенно протягивающего алюминиевую ложку, и, покачав головой, достал из-за голенища свою, верой и правдой служившую уже несколько лет. Солдат, потупив глаза, с облегчением вздохнул — давать свою ложку ему не хотелось.

Ел я не спеша, растягивая удовольствие, а капитан негромко, коротко распоряжался:

— Сизов, пойдешь на Комендантскую. Дадут полуось, возчика с лошадью. Поставишь — и обратно. Ясно?.. Брезент с машины снять, возьмем с собой. Начинаем перегрузку.

Солдаты молча поднялись от костерка.

Когда сняли дуги и брезент и откинули борт ЗИСа, в кузове оказался целый штабель зеленых деревянных ящиков. По тому, как солдаты тяжело таскали их на плечах к моему «газону», стало понятно, что груза будет больше тонны, да еще эта пушка.

«А, черт с ним, чего мне беспокоиться,— думал я, дочищая коркой котелок,— им в лесу помереть не дадут, разыщут, значит и меня прихватят». Я полагал, что проехать куда-то на реку, за поселок, и будет самым трудным, и еще не знал, что приготовила судьба впереди...

Дорога была без дороги. Только бывшие просеки

указывали, где твердый грунт и машина не ухнет по крышу кабины в скрытую топь. Рубили подлесок, гатили болотины, вываживали колеса там, где они зарывались по ступицу, отцепляли треклятую пушку и перекатывали ее на руках. Я дошел до озверения и материл солдат, вымотавшихся в бесконечном подталкивании машины и заляпанных зеленой жижей из-под колес. Были места, где за полчаса удавалось одолеть каких-нибудь пятнадцать — двадцать метров, но через пять часов мы выехали к берегу реки и по следу тракторной волокуши свернули на север.

Стояла над рекой зловонная низкая мгла, сквозь которую не просматривалось небо, и оттуда, куда мы стремились, шел низкий и жаркий рев, закладывающий уши. Дышать стало трудно, слезились глаза, и на стекла кабины ложилась жирная копоть.

Из мглы перед радиатором выросла человеческая фигура и судорожно замахала руками, я еле успел затормозить. Капитан выпрыгнул из кабины, и мгла поглотила его. Я вылез на подножку и, чуть не задохнувшись от горячего ветра, сразу же залез обратно. Любопытство прошло мгновенно. Я надвинул треух на глаза и прикорнул на сиденье, стараясь распрямить ноющую спину. В этом угарном, зловонном воздухе даже не хотелось курить, и вязкая дремота спеленала меня.

Разбудил капитан. Тяжело дыша, он влез в кабину, хриплым, не своим голосом сказал:

— Нужно вперед подать метров триста... Там стоять можно и дорога твердая, а то далеко пушку катить придется. Я пойду впереди, буду показывать.— Он минуту посидел молча, как бы собираясь с силами, потер ладонями впалые щеки и вылез из кабины.

В реве горящего нефтяного фонтана не было слышно двигателя, фигура капитана в нескольких метрах от радиатора казалась размытой и бесформенной, и я полз со скоростью пешехода, весь подавшись вперед к лобовому стеклу, а рев все густел, давил на уши, вызывая нетерпеливую истеричную тревогу.

Капитан стал забирать влево, я потащился за ним как слепой. Сбоку проплыли неясные очертания трактора, еще — какая-то темная куча, и хмарная мрачная мгла вдруг поредела, открыв лысый пятачок с несколькими грузовиками и неясной группой людей. Капитан скрестил руки над головой, и я остановился, заглушил двигатель, вылез из кабины, и меня чуть не сбило назад

упругим ветром. Солдаты посыпались из кузова через боковые борта, стали суетливо отцеплять пушку. Я посмотрел туда, откуда шел этот давящий страшный рев, и увидел высокое красно-желтое пламя, огромным дрожащим султаном бьющее из низких густых клубов синего, прижатого к земле тумана, а над всем этим уже бескрайнее жирное черное небо, на фоне которого вдруг появлялись быстрые белые летучие дымки. Они кометами прочеркивали черноту и пропадали.

Солдаты покатили пушку вперед, ближе к реву и огню, и я, чтобы не оставаться одному, пошел за ними.

В низком просвете между клубами сине-серого тумана было видно, как пылают под самым фонтаном и светят малиновым светом какие-то механизмы — не то трактора, не то машины.

Капитан поднял руку, что-то крикнул солдатам, и те остановились, развели станину, стали упирать в землю сошники. Капитан расчехлил ствол. Вся эта быстрая работа заражала желанием что-то делать, и я побежал к машине, завел двигатель и, встав на подножку, стал медленно пятиться поближе к пушке, чтобы не пришлось издалека таскать ящики со снарядами.

— Стой! — откуда-то сбоку возник капитан.

Я сбросил газ, но машина тихонько шла. Крикнул:

— Далеко же таскать!

— Ближе не положено! Открой задний борт! И не лезь больше, будь у машины!

Я заглушил двигатель, откинул задний борт, залез в кабину и только тут почувствовал, что взмок. «Прохватит еще, потом буду гнуться... Пошли они все...» — мелькнула обидчивая мысль. В кузове завозились. Я надвинул треух на глаза и завалился на сиденье, ладонями прикрывая уши от давящего рева.

Звук первого выстрела на фоне рева показался слабым, будто сбросили толстую доску на заколевшую от мороза бесснежную дорогу. Потом упала вторая доска, третья. И любопытство вытащило меня из кабины.

Люди стояли, окружив пушку полукольцом сзади. Человек двадцать в телогрейках и кожухах — все работяги, буровики, только по волосам и меховым шапкам можно было понять, что они — вольные. Поодаль стояли двое в хороших демисезонных пальто, придерживали шляпы, чтобы не унесло ветром в огонь.

Капитан стоял возле колеса пушки, смотрел в бинокль на мешанину огня и дыма и что-то кричал солда-

там, полные губы его шевелились, впалые щеки западали еще глубже, но я ничего не слышал за ревом огня, только чувствовал, как начинает припекать кожу лица.

Солдат поднес снаряд, толкнул его в казенник, другой двинул рукоять затвора. Капитан дал отмашку, солдаты отшатнулись. Пушка дернулась, и снова словно сухая доска шлепнулась на мерзлую землю. Солдат подскочил, дернул рукоять затвора, зеленоватая гильза выскользнула на землю. При следующих выстрелах я уже не глядел на пушку, а старался рассмотреть в просвете между клубами тумана и землей, куда попадают снаряды. Их разрывы взметали какие-то обломки у основания султана, но огонь наверху продолжал реветь. Из-за дыма и тумана неверно воспринимались расстояния, и мне казалось, что до буровой совсем близко, лишь потом я узнал, что мы стояли почти за километр от скважины.

Разве так погасишь, подумал я. И тут солдаты перестали стрелять. Капитан направился к тем двоим в шляпах и пальто, туда же потянулись двое в кожухах. Издали мне было видно, как перед капитаном развернули какой-то чертеж, тыкали пальцами и размахивали руками, видимо, споря; лица у всех были темными, будто обуглились. А огонь ревел и ревел, только изредка в ровный страшный рев вмешивались пронзительные подвывы, от которых у меня начинало ломить зубы.

Капитан все махал руками — верно, доказывал шляпам свое, потом подошел к солдатам, что-то сказал, и они побежали к машине. Я, полуоглохший, потащился за ними. Безразлично смотрел, как они выгружают из кузова ящики. Тут и хлопнул меня по плечу капитан и поманил в кабину.

В кабине было потише. Капитан растер лицо ладонями, на впалых щеках показались разводья копоти. Он оглядел меня хмуро и спросил:

— Сколько метров может пройти автомобиль по прямой, если не держать за руль, как думаешь?

— А хрен его знает,— ответил я, еще не понимая, куда он клонит,— зависит от дороги. Если ровная и люфты в переднем мосту одинаковые, то метров двадцать пройдет, еще смотря по скорости.

— А если рулевое закрепить? — капитан почти всем корпусом повернулся ко мне на сиденье и сверлил своими прозрачными, словно полными талой воды глазами.

— Не знаю, не пробовал. А зачем тебе это, капитан?

— Как зачем? Мы же сюда не на экскурсию приехали. Гасить будем,— с легким раздражением, но не повышая голоса, ответил он.

— Да при чем тут автомобиль?

— А-а. Слушай. Гасить здесь нечем, кроме взрыва. А взрывчатку надо чем-то доставить к очагу. Ближе двухсот метров водителю уже опасно, понял?

— Понял, капитан, понял,— ответил я, заранее жалея тот автомобиль, который будет брошен в огонь.— Только не пройдет неуправляемая груженая машина двести метров даже с заклиненным рулевым. Любая кочка попадет под одно колесо и собьет с прямого направления.

— Ну, а сколько пройдет? — торопливо и требовательно спросил капитан.— Я, понимаешь, сам немного умею водить, но в таких тонкостях не разбираюсь. Ну, хотя бы сто метров пройдет? — Он смотрел на меня как ребенок, выпрашивающий игрушку, или так, как будто я был его начальником и от меня зависело все.

— Чего гадать, капитан? Никто таких опытов не ставил,— заражаясь его интересом, ответил я.— Давай пробовать. Какую машину они дают на убой?

— Да такой же ГАЗ-63, только постарше, но еще ничего.

— Ну, давай погрузим натурально и попробуем в сторонке, узнаем, сколько он пройдет, если за руль не держать.

— Давай. Пошли, подгоним сюда, перегрузим,— капитан открыл дверцу.

«Газон», действительно, был еще не старый, только чуть подвывал задний мост, но это не имело значения для тех полутора часов, которые ему еще оставалось жить и служить. С чувством сожаления я подогнал его и поставил рядом со своей машиной, и солдаты через откинутый борт стали перегружать ящики со взрывчаткой. Капитан стоял в кузове и сам укладывал эти добротно связанные в шип и крытые зеленой краской большие деревянные коробки. Трое рабочих приволокли большой лист трехмиллиметрового железа, согнули его пополам так, что получился небольшой шалаш. Его поставили в кузов, и по скатам шалаша капитан укладывал зеленые коробки. Я залез в кузов подсобить ему и спросил, повышая голос до крика, чтобы перекрыть рев пожара:

— Зачем шалаш? — и указал рукой на железо, уже полуприкрытое коробками.

Капитан принял от меня очередную коробку, уложил ее на железный скат и крикнул в ответ:

— Фронт детонационной волны надо направить! Кустарщина! Но, может, получится! — Он поправил фуражку и подхватил еще коробку.

Когда кузов был загружен взрывчаткой, сверху ее закидали слоем сырого грунта. И мы с капитаном сели в кабину.

— Ну, попробуем,— сказал он громко.

— В какую сторону? — спросил я, заводя двигатель.

— Давай прямо к очагу сотню метров. Заодно грунт там проверим.

Я развернулся и потихоньку, на первой передаче, врубив оба моста, повел машину в ревущую мглу, включил дальний свет фар, они не пробивали ее.

— Наскочим на что-нибудь, и хана, капитан,— усмехнувшись, сказал я и подумал: «Может, это и есть выход?» — и почувствовал идиотскую легкость.

— Нет,— возразил капитан,— не наскочим, подходы чистые. Главный инженер говорил, что здесь грунт везде твердый, да еще укатали тракторами и машинами. И до буровой почти километр.

— Да ну? — не поверил я.

— А ты думал, сколько?

— Ну, метров триста.

— Мы бы тут давно изжарились,— сказал капитан.— Давай пробовать.

— Ну,— сказал я,— быстро нельзя. Значит, вот так, на первой. Ставим постоянный газ. Считай метры, вот по крайней шкале, одна цифра — сто метров. А я буду следить за уводом. Пошли,— и я отпустил руль.

Машина пошла ровно, медленно продвигаясь вперед. Сквозь рев огненного султана я привычным ухом слышал пение шестерен в редукторе заднего моста. Чуть подбрасывало на невидимых кочках, но «газончик» шел, почти не сползая в сторону.

— Сто! — крикнул капитан.

— Прибавим газу,— сказал я,— еще сотню попробуем,— и потянул за монетку заслонки, скорость возросла, громче, отчетливее стало подвывание заднего моста. А «газон» шел и шел, уже слегка забирая влево. И мне приходилось делать усилие над собой, чтобы не схватиться за руль.

А стекло кабины лизала почти непроглядная мгла, на которой свет фар расплывался клубящимся желто-серым дымным пятном, и трудно было дышать. Машину уже заметно сносило влево.

— Поворачивай назад! — крикнул капитан.— Порядок: сто!

Я с облегчением схватился за баранку, нажал на газ, левым поворотом вырулил назад и, открыв дверцу, стал выглядывать колею, оставленную нами. Дым и удушливый запах ворвались в машину.

— Закрой! — заорал капитан.

— Надо след наш увидеть, а то выедем не туда! — ответил я и снова высунулся из кабины и все-таки заметил неглубокие свежие колеи.

Путь обратно показался мне даже дольше и длиннее, потому что никак не светлела серая мгла. Но когда мы подъехали к кучке солдат и работяг, еще различимых за стеклами, то стало понятно, что стекла просто покрылись копотью. Я нашел за спинкой сиденья какую-то тряпку, вылез на подножку и протер свою половину лобового стекла,— стало виднее, а тряпка почернела.

— Ну как, пойдет?! — выкрикнул капитан.

— Нет, не пойдет!

— Почему?!

— Больше ста метров по прямой она не пройдет надежно! Нужно подруливать! — откликнулся я и повел «газон» туда, где стоял мой. Там было потише.

— Надо попробовать,— сказал капитан, когда я заглушил двигатель.— Другого выхода нет. Авиацию вызывать, договариваться — трое суток. А здесь тысячи тонн сгорят. Да при такой погоде они прицельно бомбить не смогут.— Капитан посмотрел на меня. Лицо его почернело, светлели одни глаза.

— Да там же не видно ни хрена, капитан. Знать бы хоть, куда ехать.

— Вот,— он вытащил из-за борта шинели уже помявшийся, сложенный вчетверо лист бумаги, развернул.— Смотри. Здесь стоит наша пушка,— ткнул он грязным пальцем в черный квадратик на бумаге.— Здесь, справа, буровые насосы. Здесь стоял бульдозер, не успели убрать. Здесь — растворный узел. Вот тут прямая дорога. Взять от пушки и никуда не сворачивать. Вышка рухнула туда, от нас. Ее стальконструкции не должны помешать, обстреляли хорошо. Били настилом, чтобы воронок не делать. Так почему не пойдет? Сто

проходит надежно. А с закрепленным рулем двести не пройдет? — Светлые водянистые его глаза на темном, закопченном лице показались сумасшедшими.

— Да не пройдет. Не в руле дело. В карданах колес есть люфты, в рулевых тягах. На двухстах метрах ее снесет метров на пятьдесят, ну, самое малое, на тридцать. И проедет, капитан, твоя взрывчатка мимо. Или грохнет, не доехав,— сказал я и первый раз с момента приезда стал скручивать цигарку.

— Метров на пятнадцать если снесет, то это нормально, а тридцать — много. Так что делать, Алексей? Ты же шофер, посоветуй,— спросил капитан, складывая лист бумаги с планом буровой.

— Что делать? — переспросил я и добавил насмешливо: — Лучше всего сесть за руль, подъехать поближе, метров на сотню, а там уж машина, может, и сама дойдет.

Капитан не понял или не принял насмешки.

— Да нельзя, понимаешь. Вдруг — детонация, бензин в баке может вспыхнуть. Там же температура. Представляешь, какие пары? А потом, все равно из зоны взрыва не успеешь убежать. Нет, надо так пробовать. Выйдет — выйдет. А нет, так авиацию вызывать,— капитан спрятал бумагу за борт шинели, открыл дверцу кабины, впустив рев и дымный ветер.

— Погоди,— повысив голос, сказал я, чувствуя, как стервозное упрямое желание доказать свое, пусть даже шутливое утверждение зудит внутри, и немного презирая себя за это.— Погоди.

Капитан закрыл дверцу, уставился в упор на меня своими полными талой воды, светлыми глазами.

— Кто за рулем будет?

— Я! — ответил капитан.

— Не годится,— сказал я.— Тут специалист должен быть.

— Не думай, я еще с войны езжу, и не одну тысячу километров намотал по всяким дорогам,— капитан улыбнулся, кажется, впервые.

— Почему ты?

— Из солдат никто водить не умеет. А гражданским я приказать не могу, да если бы и мог, то не стал бы. Мое предложение, мне и выполнять,— он поправил фуражку.

— А жена, дети?

— Детей не было, а жена была да ушла.

— Поедем вместе, капитан,— неожиданно для себя

сказал я.— На двух машинах,— и добавил скорее для себя: — Мне тоже терять нечего. А так хоть интерес есть какой-то.

— Ну нет. Я тобой не распоряжаюсь и пустить на это дело не могу. А потом, это двойной риск, а пользы нет,— решительно сказал капитан, и голос его окреп так, что можно было понять, как этот человек умеет приказывать.

— Нет,— возразил я, испытывая уже непреодолимое желание настоять на своем,— риску меньше. Подъедем как можно ближе. Я буду идти рядом с тобой колесо в колесо. Сразу сиганешь ко мне, и уйдем на газах. На машине отваливать лучше, чем на своих двоих. Дверцы в кабинах снимем, баки нальем под пробку. Тут горючка, наверное, есть.— Дым самокрутки попал мне в глаз, я прищурился, глядя на капитана.

— Возможно, что так надежнее,— сказал он, отводя глаза.— Но не могу я, не имею права брать тебя туда.

— Боишься, разжалуют, что со мной связался? — я сам внутренне дернулся от этого вопроса.

— Нет, это не имеет значения. Ты что-то сделал и за это отвечаешь, но человеком остаешься, вот это главное,— он сжал и разжал кулак, внимательно посмотрел на свою почерневшую ладонь.

— Ну, смотри, тебе виднее. Только, как я предлагаю, лучше. Затянули бы у этой машины рулевое. Подъехали бы сколько можно поближе и отвалили бы на газах. И может быть, она взорвалась бы там, где надо,— сказал я, уже ощущая безразличие ко всей этой затее.

— Ладно, посоветуюсь с инженерами.— Капитан застегнул верхнюю пуговицу шинели, вылез из кабины и пропал во мгле.

Я завалился на сиденье и, по выработавшейся годами привычке использовать любую свободную минуту, задремал, уже не думая ни о чем и не подозревая, что этот августовский, отравленный дымной мглой день на весах судьбы перетягивает целых шесть лет.

Разбудил меня капитан.

— Ну что, Алексей, не раздумал? — спросил он, захлопнув дверцу и облегченно откидываясь на спинку сиденья.

— Чего мне раздумывать. Сказал, поедем — значит, поедем,— ответил я, кулаками протирая глаза.

— Только, понимаешь, я ничем не смогу тебя отблагодарить. Солдату, скажем, можно отпуск дать, к награ-

де представить. А тебе я, к сожалению, отпуска обещать не могу,— он печально и серьезно посмотрел на меня; на потемневшем от копоти лице глаза светлели пронзительно и грустно.

— Ладно, капитан, встретимся на воле, с тебя коньяк будет,— ответил я, усмехнувшись.— Давай о деле. Рулевое затяну крепко, но с усилием рулить будет можно. Когда будешь выпрыгивать из машины, передние колеса постарайся поставить прямо. И вообще рулем сильно не верти, только люфт выбирай, а я пойду подножка к подножке, двери снимем, и ты сразу на ходу — ко мне. Бензину надо подлить.

— За бензином уже послал.— Он помолчал, опустив взгляд, потом сказал: — Понимаешь, это опасно, очень.

— Ладно, капитан, ты не беспокойся, не брошу, а ты подъезжай по своему чутью на сколько можно,— сказал я и открыл дверцу.— Инструмент надо достать, двери снимать.

В кабине без дверей было неуютно, ветрено и шумно. «Газоны» выстроились рядом, нацелившись радиаторами в ревущую дымную мглу. Лица столпившихся поодаль людей, темные от копоти, плохо различимые, казались отчужденными. Солдаты расположились возле своей пушки. Капитан разговаривал с теми двумя, в пальто и шляпах, потом подошел к машине.

— Ну, трогаем, Алексей! — прокричал он и улыбнулся. Ветер взметывал полы его шинели.

— Возьми у кого-нибудь телогрейку и шапку! А то запутаешься в этой шельме! — крикнул я, и он кивнул головой, отошел и почти сразу вернулся в промасленной ватной телогрейке, в кожаной ушанке с вытертым коричневым мехом.

— Трогаем?!

— Фары включи! Дальний свет!

Он кивнул и пошел к своему «газону». Я махнул рукой, завел двигатель и стал ждать, когда он тронется с места. Его машина медленно пошла вперед, тускло засветились фары. Я тоже включил свет и пристроился рядом, стараясь ехать так, чтобы скорости совпадали. Краем глаза взглянул на солдат возле пушки и больше уже не смотрел никуда — только вперед, во мглу и на левое переднее крыло «газона», который вел капитан.

Мгла все сгущалась, темнела по бокам неуютной, лишенной дверей кабины, а впереди она расплывалась желтым масленым пятном от света фар, и я уже не раз-

личал ни земли, ни идущей рядом машины, только смутно угадывал очертания ее переднего левого крыла да видел впереди желтое пятно света от ее фар. Я ни о чем не думал, отравленный душный воздух и давящий рев что-то сделали со мной. Я перестал сознавать себя, я был только руками, сжавшими баранку руля, и глазами, щупавшими желтую жирную мглу впереди и прикованными к смутному очертанию переднего левого крыла «газона», идущего рядом. И страха не было тоже, он пришел, когда по капоту и лобовому стеклу зашлепали шматки жирной, пропитанной нефтью грязи. Они ударялись в стекло и оставляли темные потеки и пятна, потом стекло залепило совсем, и уже не было видно света, я стал смотреть в проем двери, до рези напрягая глаза в дымной мгле, чтобы видеть очертания кабины идущего рядом «газона». И скорее чутьем угадал, чем увидел, что капитан прибавил скорость, я тоже чуть нажал на педаль. Стрелка спидометра задрожала возле отметки двадцать километров. Почувствовал склизкость грунта под колесами и подумал: «Засядем, тогда — труба». Но машины шли вперед, и мгла начинала редеть. Уже чувствительно припекало лицо влажным липким жаром. Я снял с руля правую руку, скинул на колени брезентовую рукавицу и опустил наушники шапки,— уши перестали чувствовать жар. А мгла все редела, и я уже различал фигуру капитана, сгорбившегося за рулем. И вдруг открылось стоячее темно-алое с черными прожилками пламя. Оно закрывало все впереди, просвечивая сквозь залепленные стекла. Казалось, горит вся земля. Идущая рядом машина осветилась колеблющимися красными сполохами, я почувствовал удушье, и неудержимый кашель стал рвать горло. А пламя приближалось к машинам, словно текло навстречу, и страшный рев стал нестерпимым. На миг я перестал видеть, перед глазами разверзся черный бархатный мрак, и горячий суматошный ужас пресек дыхание. Я рванулся из кабины, ударился головой о кромку дверного проема, снова увидел алое с черными прожилками пламя и опять сел на сиденье, до боли сжав руль. Лицо пекло уже нестерпимо, и пламя неслось прямо на меня. И только одно металось в помутившемся сознании: «Скорей!» Я вдруг заметил, что отстал от капитана, и прибавил газ. В ужасе увидел, что его фигура как-то странно навалилась на руль.

— Капитан! А-а-а! — заорал я и надавил на кнопку

сигнала, но он не пошевелился. И тогда я, чуть прибавив скорость, стал прижиматься к его машине, стараясь своим кузовом толкнуть ее в борт. Ближе, еще ближе. Тупой толчок, и я отвернул левее, чуть сбавил газ и увидел, что капитан в кабине зашевелился, темная в красных сполохах фигура вылезла на подножку, неловко он ступил ко мне, пошатнулся, вцепился рукой в кромку дверного проема. Я наклонился вправо, схватил его за телогрейку, и он влез в кабину и сразу судорожно замахал руками. Я прибавил газу и стал забирать влево, но не резко, а постепенно, потому что чувствовал, что колеса вот-вот забуксуют. Капитан вдруг схватился за руль, стал доворачивать, но я кулаком сбил его руку, описал полукруг и, почувствовав, что под колесами твердый грунт, воткнул третью передачу, и почти сразу раздался грохот. Машину толкнуло вперед, я больно стукнулся затылком, и жуткая боль прошла по дернувшейся назад шее. Потом по кузову и кабине забарабанили камни. Ничего не видя, я только жал на газ и держал руль.

И навалилась тихая тьма, в которой надсадно и испуганно рычал мой двигатель.

— Порядок! — капитан толкнул меня в бок.

— Не ори,— сказал я и, даже не выжав сцепления, бросил газ, автомобиль споткнулся, двигатель заглох.

К себе, на Комендантскую дачу, я вернулся через два дня, сытый, отоспавшийся на койке с панцирной сеткой и ватным тюфяком, до хруста кожи напарившийся в бане, с десятком пачек крепкой солдатской махорки и парой новых кирзовых сапог. На прощание капитан записал фамилию и год рождения.

— Иметь благодарность в деле и тебе не помешает,— сказал он, пожимая мне руку.

Я только усмехнулся в ответ, понимая, что никакая благодарность не может изменить моего положения, и даже не спросил фамилию капитана. Осталось в памяти лишь имя и отчество. Да мы больше и не встречались никогда, но капитан Федор Петрович еще раз напомнил о себе.

Был уже январь шестидесятого с забористыми морозами и пышной кухтой на ветвях, я ездил по прямым накатанным зимникам и думать забыл о той пожарной истории и капитане. Снова ожили слухи о каком-то указе, комиссии, рассматривающей дела и освобождающей всех подряд. Я отнесся к этим слухам с обычным

скептицизмом, но дневальный из КВЧ (культурно-воспитательной части), шустрый бытовик средних лет, шепнул мне, когда я привез ему целую машину сушняка, что, действительно, начальство пишет характеристики и будет направлять на комиссию дела. Дневальному я поверил, потому что он вертелся возле начальства, неплохо ладил со своим шефом, пожилым майором, командовавшим воспитательной работой. Но все равно эта новость не взволновала, я не рассчитывал на досрочное освобождение. Слишком велик был срок, да, вдобавок, я уже был амнистирован в пятьдесят третьем году. Но вот в начале февраля нарядчик сказал мне, что завтра с утра я повезу людей на головной пункт на комиссию. Я с вечера вымел из кузова сор, поставил в него сколоченный на живую нитку фанерный фургон с дощатыми скамейками для перевозки людей и со спокойной душой отправился спать. А утром по тихому безветренному морозцу подал автомобиль к вахте.

В серой предрассветной мгле надзиратель вывел из ворот темную нестройную группу одинаково одетых и одинаково сутулящихся от холода людей, пришли два солдата-конвоира и стали принимать по счету и сажать в фургон, стоящий в кузове. Я не глушил двигатель, грелся в кабине, стараясь продлить то полусонное, туповатое утреннее состояние, которое по контрасту с тяжелой работой, предстоящей впереди, всегда кажется отдыхом. Посадка затянулась, сквозь спокойный рокот двигателя я услышал ругань конвоира с надзирателем и вылез посмотреть.

Не сходился счет. Из перебранки я понял, что конвою поручено девятнадцать человек, а налицо только восемнадцать. Надзиратель кричал свое, что все здесь.

Я спокойно наблюдал за суетой и перебранкой конвоиров и надзирателя, мне некуда было спешить. И день складывался легко, потому что с этой группой людей нужно было проторчать до самого вечера. Путь от нашей Комендантской дачи до головного пункта управления неблизкий, и других рейсов я сделать все равно не успел бы. Да еще пришлось бы сгружать и погружать фургон.

Тем временем конвой и надзиратель снова высадили людей из фургона и стали вызывать поименно. Я стоял поодаль и наблюдал, как разозленные люди, откликнувшись на свою фамилию, снова торопливо залезают в фургон, в котором, по сравнению с продувной беспри-

ютностью предвахтенного плаца, кажется теплей и уютней. И вдруг надзиратель выкрикнул:

— Щербаков! — Подождал ответа и снова: — Щербаков!

И только тогда до меня дошло.

— Здесь,— отозвался я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— Тьфу...— выругался надзиратель.— Чего молчал?

— А я откуда знаю, кого вы потеряли,— огрызнулся я, чувствуя, как дурацкая довольная улыбка сама наползает на лицо.

— Все! Поехали! — сказал надзиратель, отдавая деревянную бирку со списком конвоиру.

Из помещения вахты вышел майор, начальник КВЧ, сел ко мне в кабину, и я, ощущая необычное тревожное волнение, тронул машину с места.

По тому, что комиссия заседает в здании управления, было ясно, что начальство большое.

Восемнадцать человек поместили в конец коридора управления. Я пользовался свободой передвижения, потому что нужно было время от времени прогревать мотор. И потекли часы ожидания.

Вызывали по одному. К вышедшим из комнаты комиссии бросались с вопросами: что спрашивают, что говорят? Бестолковое волнение, неизвестность, беспомощное ожидание — сумрак сознания. Вот вышел из комнаты, где заседала комиссия, горбатый старый грузин Цулукадзе и с гортанным клекотом позвал:

— Щербаков, заходи.

Стараясь сохранить хоть какую-то независимость, я машинально придал походке особую свободу, а внутри что-то трусливо, заискивающе скорчилось и по-собачьи завиляло хвостом. Так и вошел я в просторную низкую комнату развинченной блатной походкой отпетого бродяги, испытывая в душе собачью приниженную неуверенность и тем более презирая себя за это, потому что понимал ее бесполезность.

За длинным заседательским столом, разделанным местными умельцами под дуб, друг против друга сидели четыре человека, пожилые, в неновых темных костюмах, с той печатью скучноватой значительности на незапоминающихся лицах, неизбежно, как старческая обрюзглость, появляющейся у людей, для которых судить и миловать становится будничным ремеслом.

Шаровые потолочные плафоны матового стекла давали тусклый желтоватый пульсирующий свет,— видимо, движок местной станции плохо развивал обороты.

Я остановился у торца стола, метрах в двух от сидящих людей, покосился в сторону майора КВЧ, навытяжку застывшего у боковой стены комнаты, и неслышно перевел дыхание.

— Щербаков Алексей Петрович,— усталой скороговоркой, мягко, по-московски акая, начал сидящий ближе ко мне справа, глядя в раскрытую папку,— тысяча девятьсот тридцать третьего, ленинградец, осужден Судебной коллегией по уголовным делам Ленинградского горсуда в марте девятьсот пятьдесят четвертого к двенадцати годам без поражения в правах.

Полусонная морочащая истома вдруг окатила все тело, ноги налились тяжелым тупым теплом, и заложило уши. Лениво-усталая, монотонная, акающая скороговорка словно отодвинулась, выцвела, и я потерял к ней интерес, продолжая слушать только из вежливости.

— Администрацией характеризуется положительно,— где-то на окраине сознания и слуха частил акающий голос.

Потом в сознание вошла пауза, среди скороговорки показавшаяся особенно значительной...

— Имеет специальность шофера и автослесаря... кроме того, в личном деле имеется представление воинской части, подписанное начальником политотдела, в котором отмечаются самоотверженные действия Щербакова при тушении пожара на нефтяной скважине. В частности говорится: «С риском для жизни принял меры, оказавшиеся решающими для ликвидации очага огня» — и так далее. Командование в/ч ходатайствует перед администрацией мест содержания о поощрении.— Акающая скороговорка угасла, замерла где-то за тысячу километров от меня, и стол, разделанный под дуб, четыре человека за его дальним концом, майор КВЧ, навытяжку стоящий у боковой стены тускло освещенной комнаты,— все это уменьшилось в моих глазах до размеров самодельного бумазейного экрана, который вывешивали в столовой. И я равнодушно и устало смотрел это неинтересное кино, чувствуя только тупое тяжелое тепло в словно не своих одрябших ногах.

Что-то невнятное мне отвечал на вопросы членов комиссии майор КВЧ, потом издали тонкий режущий голос спросил:

— Родители живы?

— Живы,— эхом ответил я.

— Братья-сестры есть?

— Нет,— ответил я.

— Можете идти. Позовите следующего.

— Он последний,— ответил майор.

Я повернулся и чужой скованной походкой вышел в коридор.

— Ну что? О чем пытали? — метнулась ко мне неузнаваемая серая тень.

Я остановился, перевел дух, узнал одутловатое лицо придурка-гальюнщика и с внезапной злобной раздражительностью сказал:

— Предлагали стать начальником, а я не согласился такими, как ты, козлами командовать.

Придурок, отвесив челюсть, шарахнулся в сторону.

И еще час или полтора ожидания, длинные, бесконечные, как все шесть предыдущих отбытых лет.

И вновь открывается дверь, высовывается лицо майора, взопревшего в шинели.

— Тимошенко, Сергеев, Щербаков!

Снова комната в тускло-желтом пульсирующем свете. Стопа папок на столе, невнятные лица. Один, маленький, с белесым пушком на голове, встал и тонким режущим голосом стал читать по бумаге:

— Комиссия Президиума Верховного Совета РСФСР в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР постановила: освободить Сергеева В. А., Тимошенко Г. И., Щербакова А. П.

Долгая растерянность, тишина.

— Поздравляем вас, надеемся, что испытательный срок выдержите,— говорит акающий московский голос.

— Спасибо! — вразнобой отвечают два моих сотоварища.

У меня свело нижнюю челюсть, и я мычу, наклонив голову.

Обратный путь казался странным, необычно зыбким. Гудел вентилятор отопителя, фары высвечивали белую узкую гладь впереди, а мне все время приходилось пересиливать рассеянность и неведомо откуда навалившуюся усталость, чтобы не съехать с накатанного снежника. И вел я машину «внатяжку», с несвойственной осторожностью и напряжением, даже не закурил.

Где-то в середине пути, когда колея пошла на подъем через прошлогодние палы с мертвыми обугленными

стволами, страшно растопырившими короткие, изостренные огнем сучья, майор КВЧ, дремавший на сиденье рядом, вдруг сказал:

— А тебя, Щербаков, не хотели освобождать. Сроку много. Если б не благодарность из воинской части, то так бы и сидел.— В тоне его чувствовалось обиженное удивление.

— Значит, фортуна такая,— сказал я.

— Фортуна. Мне скажи спасибо, что эту бумагу из части к делу приобщил,— с еще большей обидой сказал он.

— Спасибо, гражданин начальник,— отозвался я вполне искренне и вспомнил светлые глаза и впалые щеки артиллерийского капитана Федора Петровича.

— Вот, дней через пять спецчасть оформит документы, и поедешь домой,— сказал майор КВЧ.

— А что. пустят в Ленинград? — впервые за сегодняшний день по-настоящему взволновавшись, спросил я.

— Конечно, пустят,— ответил майор.

Сердце у меня тревожно споткнулось, потом застучало в висках, и я понял, что бессонница в нынешнюю ночь обеспечена, но не испугался этого.

А ночь оказалась нелегкой, в моей жизни случилось не много таких ночей.

Мне было двадцать семь лет, и девять из них я провел в заключении, подчиняясь заведенному распорядку подъемов, поверок, отбоев. И вот той февральской ночью, в преддверии внезапной и оглушительной свободы я вынужден был осуществить самое трудное — свободный выбор.

Беспокойно спал барак в ту ночь, в затхлом тепле тело покрылось испариной, и я вздрагивал от сонных стонов соседей, от их вскриков. И в душе моей была не радость от близкой свободы, но страх неизвестности. Я помнил свою неприкаянность на улицах родного города тогда, в пятьдесят третьем, когда с тщетной надеждой устроиться на любую работу бродил по отделам кадров на Выборгской стороне. Бывалые кадровики были напуганы массой уголовников, в одночасье хлынувших в город. Прохожие шарахались при виде стриженной под машинку головы...

Я боялся той, уже раз пережитой неприкаянности и болезненного чувства своей ненужности, постороннности в жизни города. И даже часы, проведенные с Инкой

на чердаке каретника и воспринимавшиеся все эти годы коротким неповторимым наслаждением, в ту ночь вдруг вспоминались исполненными горечи, как вымоленный нищенский хлеб.

Меня влекло в родной город, но я боялся его беспощадности и уже готов был, как десятки сломленных душ, остаться здесь, возле пункта, тускло проживать жизнь. Я так и не сделал выбора в ту ночь. Как всякий слабый человек, я произвел известную тысячу лет подтасовку и переложил свой выбор на плечи других.

Утром, разбитый, растерянный, как бы сразу почужевший и утративший равенство с товарищами, но не получивший пока ничего взамен, я поехал в поселок соседнего управления за бензомоторными пилами. Там была вольная почта. Распоров заначку в поясе ватных штанов, я достал заветный четвертак и дал телеграмму Буське: «Освобожден посоветуй возможность возвращения домой устройства работу Алексей Щербаков». И этим синим листком телеграфного бланка, просунутого в окошко в фанерной загородке, за которой трещал телеграфный аппарат, словно свалил камень с души, хотя понимал, что все это — всего лишь самообман, что я даже не имею права спрашивать совета у Буськи, которому за шесть лет не написал ни строчки. Да и что мог посоветовать мне благополучный инженер, который не только не в состоянии представить себе все трудности новоосвобожденного, но и никогда не был даже рядом с тюрьмой. И все-таки я отправил ту телеграмму и ждал ответа. У меня не было другого выхода, я желал и боялся возвращения в родной город, и так хотелось услышать хоть одно, пусть ничего не значащее, слово поддержки.

Ответная телеграмма пришла через четыре дня: «Возвращайся поможем Борис Кирилл».

Так я вернулся в родной город и возобновил прерванную дружбу. Ребята действительно помогли. Буська, пользуясь своими связями, устроил шофером на «Москвич» в небольшую контору, так что мне не пришлось унижаться в отделах кадров, объясняя, откуда я взялся. Кирка помог деньгами. А через полгода я уже и сам оперился, нашел работенку в домохозяйстве, чтобы не жить вместе с матерью. И через несколько лет беспорочной службы дворником-сантехником-крысоловом и прислугой за все наконец обрел швейцарскую под лестницей, которую впоследствии превратил в приличную квартиру. А потом меня нашел Арон и приобщил

к «железке». Честно говоря, ему не потребовалось для этого слишком больших усилий. Одинокий, обиженный на жизнь, проданный и преданный, как мне казалось, Инкой, я был несносен сам себе и все копался в душе, пытаясь что-то понять,— отчего мне тошно жить, отчего меня засасывает пустота и возможна ли хоть какая-то целенаправленность и осмысленность моей жизни. Эти вопросики, которые произносить вслух считается непристойным, ко времени моей встречи с Ароном не на шутку изъязвили меня. И, как тайный прокаженный, я внутренне отделил, горестно и безнадежно отсек себя от мира нормальных людей: отсохли, распались связи моего бытия с общим, и только быт непрочно и мнимо вращал по своей непредсказуемой и зыбкой орбите. Ужасающей была обыденность этой обреченности. Я чувствовал себя как отчаявшийся вор-взломщик (так они характеризуют свое состояние).

В страшном одиночестве вы умышляете и подготавливаете кражу, тратите на это все силы и последние средства; вы идете ва-банк, подвергаясь ужасному риску, и в случае провала готовы ко всему — годам тюрьмы, даже к смерти. Но судьба всегда ироничнее и презрительней вашей отчаянной решимости... Ненастным вечером в волглом сумраке холодной лестницы вы орудуете отмычкой у чужой двери, собрав всю осязательную чувствительность в кончиках пальцев правой руки, и ваше дыхание в пропахшей кошками тишине кажется вам грохотом гусеничного трактора, и лишь долгожданный, но всегда застающий врасплох сухой щелчок отжатых цугаликов резко очерчивает взрывчатую гибельность воровского безмолвия, и бесшумная дверь открывает черный зев прихожей, как туннель в небытие. И знакомый только тайным похитителям ужас облегчения резиновой холодной перчаткой берет ваше сердце, но вы еще не знаете о силе презрительной иронии, которой наделена предуготованная вам судьба. Она не даст вам крупной взятки, она не обречет вас на годы заточения, она не подарит вам даже смерти. Вы войдете в чужую прихожую, прикрыв за собой дверь, засветите фонарик и увидите самое страшное... что квартира пуста. Ободранные обои, скомканные на полу, стены, заклеенные газетами, лесенка-стремянка с меловыми потеками посередине жутко пустынной комнаты и грязные, пятнистые штаны маляра на перекладине, и все это в чернильно-фиолетовой сутеми, в которой

свежевыбеленный потолок мнится квадратом жемчужно-серого неба над чудовищно глубоким колодцем, и в этом сумраке призрачный, мертвенно-бледный лучик вашего фонарика — как бесполезный задавленный вопль о помощи...

Ко времени встречи с Ароном я чувствовал себя как отчаявшийся неудачник. Я облазал все закоулки своего «я» и не нашел там ничего: ни выигрыша, ни жизни, ни смерти — только чернильно-фиолетовый сумрак опустошенности. И тогда Арон показался мне редким избранником, уже открывшим магическую формулу судьбы. И я прилепился к нему, хотя каким-то закоулком сознания догадывался, что окончательно ломаю себе жизнь, и в этом было какое-то мрачноватое садистское удовлетворение.

А вскоре я бросил батрачить на Арона и в свою очередь нашел Краха, который стал батрачить на меня. И в результате я стал тем, чем был.

9

На углу Литейного мне повезло — попалось свободное такси. Я с наслаждением развалился на сиденье и назвал Буськин адрес.

— Как поедем на Голодай? — спросил пожилой угрюмоватый шофер.

— Как хотите, хоть через Охту,— ответил я и закрыл глаза.

Одиночество отпустило. Я стал думать о Буське.

Что-то связывало меня с ним, казалось, накрепко, быть может, до самого конца. И связь эта была иной, чем с Киркой, хотя с Киркой мы виделись чаще.

Буська тоньше чувствовал душевные движения и улавливал настроения других людей, был отзывчивее на чужую боль, но вовсе не это давней и крепкой, почти родственной нитью спутывало меня с ним. Ощущение нерасторжимой связи пришло еще в детстве, вместе с чувством невнятной вины, с которой никак не хотело смириться что-то внутри (может быть, совесть?). Да и была ли вина? Скорее, это штучки пресловутого подсознания, раненного в детстве смутной и неприятной тайной, хранителем которой я стал поневоле.

Случилось это в сорок шестом году. Праздновали первую годовщину Победы. В тот вечер у нас были

гости — Киркины и Буськины родители. Я только что отболел свинкой, еще сидел взаперти и завидовал друзьям, которые, пользуясь отсутствием родителей, могли допоздна болтаться по вечернему всполошенному городу, где на сизом небе после праздничного салюта продолжали вспыхивать одинокие цветные ракеты персональных фейерверков — боеприпасов у многих было еще предостаточно в тот первый послевоенный год.

Скорчившись, сидел я в углу диванчика и глядел на эти одинокие, изредка вспыхивающие розовые, пронзительно-зеленые и магниево-белые огоньки, медленными метеорами прочерчивающие ограниченный верхней фрамугой окна полукруглый кусок темнеющего неба, и беспредметная томительная тоска морочаще наползала на душу под звяканье вилок и стаканов, пристойный смех и негромкие разговоры взрослых, сидевших за нашим слоноподобным столом. И лица их расплывались под светом кремового тряпичного абажура, низко нависавшего над столешницей; и расплывались их негромкие речи, своей монотонностью навевавшие дремоту; только звенящий, тревожный голос Галины Антоновны, Киркиной матери, вплетался в глуховатую колеблющуюся ткань мужских голосов. Моя мать безмолвствовала, молчала и Буськина мать, тетя Софа, да и вообще, говорил больше Киркин отец, Анатолий Иванович, остальные лишь подавали реплики. Киркин отец был хоть медицинским, но генералом и носил штаны с широкими лампасами. Но и без этого он выглядел бы внушительно — высокий, с длинным породистым лошадиным лицом и светлыми волосами викинга, он весело и немного страшновато посверкивал шалыми зеленоватыми глазами, и, что бы ни говорил, казалось, что Киркин отец рассказывает что-то страшное.

Я прислушивался сначала, но разговор был неинтересный — о каком-то Тихомирове, который должен стать академиком за какую-то книгу. И мне было непонятно, что тут смешного? А Киркин отец негромко рокочуще похохатывал, весело поглядывая на дядю Ефрема, Буськиного отца. Тот сидел мрачный, в расстегнутом кителе, из-под которого круглился живот, обтянутый полосатой сорочкой. Серебряные полковничьи погоны на сутулых плечах дяди Ефрема крылышками загибались кверху, и казалось, что у него нет шеи, а бритая, отблескивающая медью голова приставлена прямо к туловищу.

— А ты его, Ефрем, в АХЧ списал,— сказал Анатолий Иванович и хохотнул.

Позвякивали вилки. О чем-то вполголоса переговаривались женщины. Я уже не боролся с дремотой и медленно уплывал куда-то в сизое небо за окнами, только на самом краю сонного забытья услышал звенящий тревожный голос Галины Антоновны, Киркиной матери:

— Прохвост он и трус, Тихомиров.

И снова очнулся оттого, что Буськин отец возвысил голос и, картавя, обиженно сказал:

— Я не для того отрезал солдатские руки и ноги, не для того объяснял им, что следующий умрет, если я буду восстанавливать сустав, чтобы какой-то мазурик за дюжину аппендицитов... А по сорок ампутаций, не отходя от стола, он делал? Тоже мне Джанелидзе... Холецистотомия в условиях полевого пункта. Большое дело! А зачем? Кому это нужно? И какие условия? Академик! Он такой академик, как я раввин.— Лицо Буськиного отца было таким, будто он сейчас заплачет.

Киркин отец рокочуще рассмеялся.

— Эх, Ефрем, раввин бы давно разобрался, что аппендиксы бывают разные... и камни — смотря в чьем желчном пузыре.

— А я что говорю? — отмахнулся дядя Ефрем и спросил у отца: — Что скажешь, Петя?

Голос отца стал неожиданно бесцветен и слаб:

— Вы — хирурги, вам виднее. Но Тихомиров за короткое время вернул в строй, вернее, помог остаться в строю крупным военачальникам... Так говорят, во всяком случае,— отец склонил голову с гладко зачесанными, тогда еще темными волосами.

— А-а, кто это говорит... знаем,— Буськин отец звякнул вилкой, возвысил голос и, еще отчетливее картавя, сказал: — А я говорил и говорю — он мазурик. Вот возьму и напишу, что этот виртуоз три часа вульгарную грыжу вправляет да еще по десять ассистентов у стола держит, и эта его монография — пшик один.

— Ну, знаешь, Ефрем, такие вещи не говорят, их доказывают. У Тихомирова есть определенная репутация, его ценят,— тем же бесцветным голосом ответил мой отец.

— Хватит! — звеняще сказала Галина Антоновна.— Слушать тошно. Такие вы все принципиальные, что завтра встретите этого типа и раскланиваться будете. И Петра не ставьте в дурацкое положение.

— Да, ты уж не взыщи, Петр, что о твоем начальнике так... Здесь ведь свои,— понизив голос, сказал Киркин отец, и все смолкли.

Я задремал, свернувшись калачиком в уголке пахнущего пылью будуарного дивана. В коротком легком сне под шорох мужских голосов пришло ощущение укрытости, отпустила неизбывная бессловесная память о тех морозных апрельских хвощах и папоротниках на оконном стекле, о болезненной сладости кусочка рафинада, насквозь отравившей меня. И кажется, виделось мне в дремоте высокое синее небо в цветных хризантемах фейерверков, и праздничный гром исторгал освобождающий чистый вздох.

Я проснулся внезапно, увидел в верхней фрамуге глухое небо, почувствовал нехорошую тишину и в первый момент не смог осознать, где нахожусь, и лишь голос матери вернул меня к действительности.

— Тебе-то что? У него сын, как у тебя, он вынес свое. Эти руки и ноги тоже было нелегко отрезать.

Повернув голову, я увидел склонившуюся над столом мать. Под скулами на отрешенном, рассеянно-печальном лице лежали смуглые пятна. Полотенцем с синей каймой она протирала тарелки и складывала их стопкой. Тень ее рисовалась на стене над изголовьем уродливой кровати зыбким неясным пятном. Отец сидел за столом спиной ко мне, нервным быстрым жестом поднося папиросу к лицу и так же быстро отводя руку.

— Нет,— сказал он.— Ты просто не понимаешь. Ефрем завидует и порочит крупного человека.— Голос отца звучал необычно визгливо.

И что-то беспокойное, стылое возникло у меня в груди; инстинктивно защищаясь от еще неосознанного страха, я закрыл глаза, притворился спящим и так вошел в роль, что сонно и тупо мычал, когда мать подняла меня с дивана, чтобы постлать постель. А потом, когда погасили свет и ночная ломкая тишь наполнила мир, томительная холодная бессонница придавила меня на диване. Лишь изредка по неширокой нашей улице проходил автомобиль, и от света фар крестчатые тени оконных переплетов проплывали по стене.

Я лежал и думал о Буське с невнятным волнением и страхом. Нет, «думал» — это неверно, я впервые в жизни отделял себя от него и от Кирки.

С первых летних месяцев сорок второго года, когда прояснилось замутненное голодным психозом сознание,

я не отделял себя от него и от Кирки; это было нечто вроде первобытной слитности с родом, когда еще не выкристаллизовалось отдельное человеческое «я». У нас все было единым, общим: мысли, желания, навыки, дистрофия. И вот, лежа в ночной темноте, я осознал свою отдельность. Нет, не осознал — самочувствие предшествует самосознанию,— я ощутил свою отдельность. Только что услышанные слова отца вдруг разрушили нашу с Буськой неделимость, я почувствовал свою душевную обособленность и впервые, быть может, познал одиночество. До этой ночи я, Кирка и Буська были нераздельным «мы», и вот в ломкой ночной тишине это «мы» расщепилось на «я» и «они». И долго я лежал в бессонной тьме, придавленный первым ощущением одиночества, покинутый на самого себя, и что-то ныло и ныло в душе, тревожно сжавшейся от бесприютности ночи... Разве мог знать я тогда, что это ощущение одиночества будет сопровождать меня всю жизнь...

Через два дня мне разрешили выходить на улицу, и, встретившись с Буськой, я бросился к нему в порыве горячего радостного чувства, первым побуждением которого было поделиться смутным и еще неосознанным, но тревожащим ощущением давешней ночи. Но что-то остановило меня, и с запылавшим лицом и странно споткнувшимся сердцем я стоял перед ним и бормотал бессвязные приветные слова. И я до сих пор не сказал Буське ничего, но ощущение душевного долга осталось на всю мою жизнь.

Я был обрадован, просто счастлив, когда, вернувшись из своих одиссей, застал Буську преуспевающим и счастливым по его собственным меркам. Быть может, это хоть как-то высвобождало, ослабляло чувство той невнятной вины, испытанное в детстве, и было что-то покаянно-искупающее в моем бедственном положении только что освобожденного, нуждающегося в дружеской помощи.

И быть может, это, за давностью лет глубоко упрятанное, загнанное в беспамятность чувство душевного долга заставляло меня в последние годы пристально вглядываться в Буську, радуясь его вкусу к жизни, и одновременно испытывать смешанное с завистью разочарование, что нет в нем никакого надлома, нет боли безответного, бессловесного вопроса, который ноет почти в каждом, кого хоть раз ударила судьба.

Он был неподдельно, хотя и несколько примитивно

счастлив. В его золотисто-карих глазах мерцал незамысловатый и веселый огонек жизнелюбия, упрямый, хитренький и жадный,— тот огонек, в котором сконцентрировалась вся жизнестойкость его предков. Со своей курчавой темно-каштановой бородкой, выделявшей яркие, красивой лепки чувственные губы, Буся чем-то напоминал игривого, задорного эрдельтерьера, принадлежащего добрым хозяевам. Только иногда, лишь изредка, в нем на краткий миг вдруг прорывалась беспредметная ветхозаветная печаль. Тогда его смуглое лицо сразу старело, резче выглядывали семитские черты, в них проступала отрешенная мудрость — надындивидуальная память, которая, по-моему, скрыта в каждом человеке.

Было что-то трогательное в Буськиной отзывчивости на всякую чужую печаль, но в этой отзывчивости, скорее всего неосознанно, содержалось самоутверждение, хотя и присутствовала природная доброта. Вообще, доброта, пожалуй, была ведущим качеством его натуры. Мне всегда почему-то хотелось разозлить его, сбить с него благодушие и скрытое самодовольство. Я смутно догадывался, что все эти Буськины качества — лишь хлипкая защита от серьезности мира. Я любил его, и поэтому мы часто спорили в последние годы...

Машина плавно и неспешно катила по набережным. Так водят только пожилые и очень спокойные шоферы, я бы никогда не смог овладеть этим стилем езды.

Слева проплыла чернота Александровского сада, потом — мокрый, отблескивающий в свете желтых прожекторов памятник Петру, туманно-желтая, подсвеченная Сенатская площадь, блеснули подфарники встречного «Москвича».

Автомобили крохотными замкнутыми мирками обращались в пасмурной вселенной вечернего апрельского города. А я вспоминал давний наш с Буськой спор.

Произошел он полгода назад. У Буськи тогда подошла очередь на новый «Москвич», он продал своего старого «стилягу» и пришел занять денег. Разговор получился неожиданно интересный и памятный. Мы слегка выпили, потому что Буська был не на колесах, а я никуда не собирался.

Свет осеннего вечера вплывал в комнату через незашторенное окно, в камине с тихим шорохом горели сухие поленья, и охристые блики колеблющегося пламени ложились на дубовый вощеный паркет. Как все

непьющие люди, Буська от спиртного становился напряженным, но в тот раз после рюмки коньяка раскраснелся и повеселел, в зрачках его разгорелся тот самый веселый и упрямый огонек.

— Тебе неохота заиметь четыреста двенадцатый? — спросил он, глаза были пристальными и насмешливыми.

— Пожалуй, нет,— бездумно вглядываясь в огонь камина, почти машинально ответил я.

— А чего? Прием лучше, больше обзорность, и, по-моему, салон нисколько не меньше твоего. Словом, современная машина есть современная машина,— последние слова Буська выговорил как-то особенно вкусно и смачно. И мне стала немного смешна и завидна эта его увлеченность.

— Это дело привычки. Моя телега мне нравится, и, пока она бегает, менять не буду,— сказал я и поднял бутылку, чтобы налить Буське еще коньяка, но он отодвинул свою рюмку и, усмехнувшись, сказал:

— Эх ты, фетишист.

Я не донес рюмку до рта.

— Что значит фетишист?

— Ну, просто ты — профан в технике. Нет, нет! — останавливающим жестом он вытянул вперед короткопалую руку в ответ на мой, видимо, слишком удивленный взгляд.— Автомобиль ты знаешь и чувствуешь как дай бог любому инженеру.

— А тогда при чем тут профан?

Буська усмехнулся лукаво и весело, дернул себя за бородку, потом пятерней поскреб начинающее лысеть темя, что у него всегда являлось признаком возбуждения.

— Видишь ли, по типу мышления есть конструкторы и неконструкторы независимо от рода занятий.

— Ну-ну,— поддразнил я, почувствовав, что разговор становится интересным.

— Это довольно сложно, но...— Буська замялся.

— Валяй, постараюсь преодолеть свою тупость,— не без насмешки сказал я, потому что почти всегда Буськины рассуждения выглядели довольно плоско.

— Ну, хорошо,— слегка надувшись и сделав глубокомысленное лицо, согласился он.— Дело в том, что конструктор никогда не одушевляет технику, даже если он самый непробиваемый идеалист. Конструктор может столкнуться с непонятным и неожиданным, с противоречивым результатом. Ну, скажем, двигатель крутится не

по часовой стрелке, а наоборот, или вообще не крутится, не выдает расчетной мощности,— Буська грустно улыбнулся,— что и случается зачастую.

— Ну, дальше,— подбодрил я.

— Дальше конструктор начинает исследовать разными способами, снимать характеристики, проверять кинематику — способов много, можно даже взвешивать на багажных весах или безменом, когда дойдешь до полного обалдения. Конструктор не знает, приведут ли данные способы к искомому результату, но действует так, как будто это возможно. Значит, он придерживается определенной методики и понимает, что дело не в этом соединении металлических деталей, называемых двигателем внутреннего сгорания, а в незнании самого конструктора, неумении обнаружить ошибку. А неконструктор, делая то же самое, будет думать о двигателе как о живом существе, наделенном волей,— «не хочет заводиться», и будет злиться на этот железный механизм или, наоборот, воспылает к нему симпатией, если он вдруг поведет себя неожиданно хорошо. Поэтому неконструктор — фетишист,— Буська снова поскреб пятерней темя и смолк, безуспешно стараясь скрыть выражение превосходства, невольно проступавшее на его волосатой физиономии.

— Но какое отношение это имеет ко мне? Я потребитель, а не создатель техники.

— Вот ты и относишься к своей устаревшей машине, как к живому существу. Тебе жаль расставаться с ней, даже если ты поймешь и оценишь более современный автомобиль. Ты питаешь к ней нежность,— Буська торжествующе и лукаво посмотрел на меня и отвел взгляд.

— Не вижу в этом ничего плохого,— возразил я, немного удивленный оттого, что он четко выразил словами то, что я ощущал очень давно.— Всадник всегда любил свою лошадь, моряк — свой корабль. Почему же мне не любить свою машину?

— Вот поэтому ты — неконструктор, у тебя нет специфического мышления,— Буська наклонился вперед, взял кочергу и поправил головешки в камине, они разгорелись еще ярче.

— Ну, не знаю,— сказал я, слегка уязвленный,— мне приходилось заниматься всякими работами, и, по-моему, особой тупости в обращении с техникой я не выказал.

— Да ты ничего не понял,— снова завелся Буська и поскреб темя.— Можно блистательно разбираться в технике и все уметь руками — это талант. А конструкторское мышление — это другое. Я тоже люблю технику. Для меня телефон или тот же двигатель внутреннего сгорания — просто чудо, но чудо закономерности. Я понимаю это,— он легонько постучал себя пальцем по лбу,— головой. А вот таланта нет. Я никогда не придумаю ничего сногсшибательного, но всегда замечаю несовершенство и чувствую закономерности. Понимаешь?

— Не очень,— честно признался я.

— А-а, с тобой говорить, как с бульдозером,— он заерзал в кресле.

— Так зачем ты торчишь в этом своем КБ? — спросил я.

— Я же сказал уже, я люблю это дело, но вот бог не дал. Поэтому-то и пишу эти популярные книжечки,— печально снизив голос, ответил Буська.

— Из чистой любви к технике? — поддел я.

Он лукаво улыбнулся, глаза снова зажглись хитроватым упрямым огоньком.

— Видишь ли, я действительно люблю всякую технику, люблю бескорыстно. Так почему не извлечь выгоду из своей бескорыстной любви?

— Да, конечно,— сказал я.— Любовь хорошо, но любовь и деньги еще лучше.

— А-а, что ты понимаешь в этом,— вялым жестом отмахнулся Буська.— Ни в деньгах, ни в женщинах ты — ни уха ни рыла.

— В самом деле? — подзадорил я, всерьез задетый его пренебрежительным тоном.

— Ну, зачем тебе деньги? Пьешь ты редко, за бабами не бегаешь, а на книги и машину, на свои потребности ты всегда заработаешь, потому что здоров и пока силен и есть руки. Заработать у нас легко, если только это ставить целью,— он смотрел на меня пристально, задорно и слегка печально.

— Тебя послушать, так я — образец умеренности,— признаться, несколько обескураженный, отозвался я. Никогда не думал, что Буська воспринимает меня таким скромным и благополучным, тускло-посредственным.

— Пожалуй,— охотно и даже не без торжества согласился он, улыбаясь.

— Вот уж не думал, что произвожу такое впечатление, тем более на тебя.

— Это и плохо. Самооценка редко совпадает с мнением окружающих, а у тебя между ними километры.— Буська вдруг умолк и потом сказал изменившимся тихим голосом, так, как будто разговаривал с больным или ребенком: — Ты не обижайся, Алеша, я никогда никого не учил жить... Но раз уж зашел такой разговор, то по давности знакомства могу я позволить себе говорить все, что думаю? — Он мельком взглянул на меня, опустил голову и задумчиво потеребил свою бородку.

— Ну, что за вопрос. Если ты или Кирка не скажете мне правду, то кто же тогда? — ответил я совершенно искренне.

— Кирка не скажет,— задумчиво отозвался Буська,— потому что он умный и деликатный человек, да вдобавок еще с комплексами... Да ты и сам знаешь, наверное,— Буська внимательно и серьезно посмотрел на меня.

Было до дрожи любопытно услышать мнение о себе, и, чтобы разговор не уклонился в сторону, я согласно кивнул с миной заговорщика, хотя и не очень понимал, что он имеет в виду, говоря о Киркиных комплексах.

Наступила неутомительная пауза, в которой особенно уютен был треск догорающих головней в камине, их тускло-оранжевое свечение и редкие язычки голубоватого пламени, вспыхивающие над этой горкой раскаленной меди. Воспользовавшись моментом, я налил себе и Буське и закурил сигарету, искоса наблюдая за сменой выражений на лице старого друга. Кажется, пробили четверть часы на камине. Из окна в комнату вплывал еще разреженный сиреневый сумрак и драпировал углы и полки с книгами.

Буська, теребя бородку, смотрел в камин, и оранжевые бусинки светились у него в зрачках... Есть категория людей, которым и без доказательств ясно, что параллельные прямые обязательно пересекутся где-то в пространстве и все начала и концы сходятся в одной точке. Буська был такой.

Я понял в ту минуту, что для Буськи жизнь — это прекрасный и слаженный механизм, с конструктором которого он просто незнаком лично, но видит и верит, что этому механизму присуща изначальная рациональность.

И я позавидовал, умилился и немного испугался за него, за тот простодушный и упрямый огонек в его глазах.

— Ну, скажи вот,— вдруг жестко спросил Буська,— от тебя тепло хоть одному человеку на свете?

— А какая разница? Мне и самому здесь не жарко,— ответил я не слишком откровенно.

— Вот то-то и оно,— усмехнулся Буська печально и взял рюмку.— Ты никак не можешь примириться с собственной ординарностью и все время ждешь, что жизнь изменится, ты станешь другим, разгадаешь какой-то секрет. Ты и к жизни относишься как фетишист. А жизнь — совсем не секрет, жизнь — это искусство. Из всех искусств важнейшее — это искусство жить,— тон его был торжествен и назидателен, как у проповедника.

— Ну и что? — вяло спросил я.

— Да ничего, Алеша. Просто жизнь нельзя отложить до лучших времен. Жить надо каждую секунду.

— Я живу сию секунду. Вот сижу, курю.

— Я уже спросил — кому от этого легче, тебе, другим? Наташе легче?

— Да при чем тут Наташа? — с легкой досадой спросил я.

— Что, ты действительно слепой или притворяешься? — хитро прищурившись, он уставился на меня.

— Послушай, Буся, я никому не обязан и никого не могу сделать счастливым.

— Хорошо ли это?

— Плохо, хорошо... не знаю, но не могу. Нужно ли судить человека за то, что он рыжий?

— Что? Рыжий? Ты совсем не рыжий, но хочешь быть блондином двухметрового роста,— он хлебнул из рюмки и сморщился.

— Если бы я знал, кем хочу быть! — вырвалось у меня тогда.

— Вот-вот! — обрадованно подхватил Буська.— Быть героем, музыкантом, бандитом с большой дороги на худой конец. А вот быть обыкновенным человеком и радоваться жизни, и чтоб другим было хорошо — для этого нужно настоящее мужество и добрым нужно быть.

— А мужество зачем? — спросил я, и самого передернуло от насмешливого превосходства.

— А как иначе признаться себе, что ты обыкновенный человек, что ты один из многих?

Я одним глотком выпил свою рюмку и притворно скривился, чтобы скрыть замешательство. Кажется, Буська попал в самую точку.

— Продолжай, я слушаю,— сказал я беззаботным тоном и глубоко затянулся сигаретой.

— Понимаешь, в юности каждый верит в свою гениальность. У женщин это реже, у мужчин почти всегда. Это — как молочные зубы, необходимый и важный период развития. А на самом деле нет никакой гениальности в девятистах девяноста девяти из тысячи, есть смутное ощущение естественной непохожести на других, догадка, что внутри у тебя какая-то особина.— Буськин голос даже подрагивал от волнения, и черты лица, в вечерней осенней полумгле комнаты озаренные лишь отблесками жара в камине, казались резкими, в них проглянуло что-то апостольски грозное, и я почувствовал волнение и непонятный суеверный страх, будто стал свидетелем странного таинства.

— Да? — тихо и хрипло выдохнул я.

— И вот молочные зубы должны смениться коренными... Но мы испорчены праздными разговорами, что жизнь — горение,— он закашлялся от волнения, опустил чуть припухлые тяжелые веки, и сердце у меня содрогнулось: с закрытыми глазами Буськино лицо ужаснуло мертвенно-значительной ледяной непроницаемостью. Понадобилось усилие, чтобы снова слушать его.— И появляется беспочвенная амбиция, все мечтают стать героями и свою будничную каждодневную жизнь рассматривают как досадную задержку, как сидение в зале ожидания, пока не объявят посадку на самолет. Ну, а ожидать можно, не заботясь об удобствах, о прочности, о соседях вокруг, даже о собственном достоинстве... Большинство скоро понимает, вернее догадывается (со мной это произошло где-то на третьем курсе), что подвиг — это аффект, что этого не хватит на жизнь. Молочные зубы меняются на коренные. А некоторые все сидят в зале ожидания, а рейс так и не объявляют. А в сорок лет уже страшно признаться себе, что ты из тех, кого в дюжине двенадцать. И тогда выдумывают доморощенные теории, нянчатся со своим внутренним превосходством, становятся самоедами. А превосходства-то и нет никакого — просто нормальная человеческая способность к переживанию, к самосознанию. Что, памятник тебе ставить за то, что чувствуешь Моцарта или

грустишь осенью? — Буська поднес свою рюмку к лицу, понюхал и поставил на стол.

Головой я понимал, что он прав, прав с точки зрения нормального человека, у которого анкета и совесть не нуждаются в химчистке. И я задал вопрос, на который не могло быть ответа:

— Как же быть, если грустно осенью, так грустно, что хоть в петлю?

— Вот-вот,— ехидно усмехнулся Буська,— это так красиво: разговоры о петле выводят из заурядности. Прости, Алеша, это дешево стоит. Ты сделай из своей грусти наслаждение.

— Как?

— Как? Это и есть искусство жить. Оно индивидуально, как всякое искусство.

— Ну вот, мы и вернулись туда, откуда выехали,— с легким злорадством сказал я.

— Не торопись,— осадил меня Буська.— Искусство хоть индивидуально, но у него есть свои законы.

— Ну, открой.

— Добрая воля,— с нажимом произнес Буська.— Я когда-то думал,— он снизил голос,— потрясти мир, как Эдисон или Джеймс Уатт, на меньшее я был не согласен. Ходил в СНО, мудрил в институтских мастерских, а потом понял, что я не тот, что даже конструктора толкового, яркого не будет. Но я любил это все, любил жизнь. И понял, что надо жить дальше и быть счастливым. А для этого надо все делать добросовестно, с доброй волей,— он опять пятерней поскреб темя.— Да, у меня нет таланта, но я могу делать свою работу аккуратно и точно, в меру способностей, так, чтобы была очевидная польза. Я могу выразить себя, написав что-то о технике так, чтобы это было интересно для неспециалиста. Могу любить жену, бегать за красивыми женщинами, помогать людям, дружить, радоваться весне, грустить осенью, ездить на машине, читать книжки и чтобы всем вокруг меня было теплее. Разве этого мало? — Он пристально посмотрел на меня, в глазах мерцал незамысловатый и хитренький, его всегдашний упрямый огонек.

— Да,— сказал я с полной искренностью,— это — искусство. Оно тоже не всем дано.

— Оно дано всем, кто не считает свой пуп центром вселенной и не ставит себя главнее жизни,— насмешливо процедил Буська.

Угли в камине угасли, сумрак комнаты стал неуютен и густ, я включил лампу на журнальном столе, почувствовал облегчение, когда розоватый свет из-под тонкого фарфорового абажура оттеснил густую серость, и сказал:

— Вот уж чем не грешил никогда, скорее наоборот.

— Да брось ты,— отмахнулся Буська.— Вы оба с Киркой зациклились на своих болячках. Правильно, наоборот. Но это тоже гордыня, даже похлеще: считать себя хуже всех.

— С чего ты взял? И при чем тут Кирка? — спросил я раздраженно.

— Да оба вы — самоеды.— Буська вздохнул с сожалением.— Ты сидел, когда у Кирки отец умер...

— Ну? — меня злила его неторопливость.

— Ну, он нашел какие-то бумаги своего отца... Да чушь в общем-то... Что-то про моего и твоего отца.

— Ну и чего? — спросил я и почувствовал удушье.

— Да ничего. Какие-то обрывки писем, записки.— Буська улыбнулся.— Я так и сказал, что чушь все это. И потом, даже если бы это было в действительности, то какое это имеет отношение к нам? Жить надо, и все.

— А дальше? — Мне стоило большого усилия сдержать голос, не закричать.

— Дальше ничего. Полгода он не появлялся. Потом я сам поехал к нему. Посидели, выпили. Но разговора не было, не получилось. Так и молчит он с тех пор, как фанатик...— Буська истомно потянулся в кресле, прищурился.— Я его с такими женщинами знакомил — мертвого поднимут... Все бесполезно. А потом отстал. Ну что я буду лезть человеку в душу? В конце концов, каждый живет как может и как хочет, если может. А ты что, ничего не знал? — после паузы спросил Буська.

— Нет, но догадывался,— соврал я.

— Ну и что, думаешь, это ваше самоедство — ах какое высокое дело?

— Не знаю.

— Ты на своих ошибках зациклился, Кирка неизвестно на чьих. Это и есть неумение жить. Так легко показаться самому себе значительным, если думать об отношении к Гекубе,— помолчал и ерническим тоном продекламировал: — «Что он Гекубе, что ему Гекуба?»

— А что, если человек не может не думать об этом? — спросил я, ощущая давящую, обессиливающую тоску.

— Ай, брось ты! — раздраженно откликнулся Буська.— Уметь надо радоваться. А вы — снобы, вам страшно, что без Гекубы, без ваших самоедств вы будете выглядеть вульгарно. А жизнь — простое дело, вульгарное, если так тебе угодно. Нужно просто работать, спать с женщинами, помогать хорошим людям и самому радоваться. Живи,— он криво усмехнулся,— и если ты гений, то создашь свои законы, а если посредственность, что тоже не исключено, то вкусишь счастья.

...Такой вот странный разговор получился у меня с Буськой полгода назад.

Я ехал в старом скрипучем такси, смотрел на огни Васильевского острова и, жалея себя, думал, что Буська по-своему последователен и прав. Быть может, он на самом деле постиг это непостижимое искусство жить и поэтому возле него мне бывает тепло и спокойно?

Мысленно я нырнул в атмосферу обжитости, которая всегда обволакивала меня в Буськиной квартире: запахи свежеиспеченной сдобы, дразнящий аромат тушенного со специями мяса, затейливые переводные картинки на кафеле ванной, покрытые мохнатыми пледами кресла в большой комнате, рекламные заграничные календари в простенках, скрадывающие безликость дорогой, но стандартной современной мебели, точные, слегка ленивые движения Беллы, расставляющей посуду на обеденном столе, ренессансная округлость ее форм — все создавало в этом доме ощущение спокойной прочности быта, без которой не бывает счастья.

Буська относился к жене с удивительной для бабника нежностью. Во мне отношение это всегда вызывало недоумение и казалось притворством, но мало-помалу я убедился, что Буська искренен. Видимо, как человек одинокий, в своих романах деливший с женщинами только постель и довольствовавшийся необременительным и слегка парадным общением, я не мог понять, что для Буськи, накрепко скованного с Беллой десятком лет общих бытовых забот, мелких радостей и размолвок, приобретений разных нужных и ненужных вещей — всем тем, что называется семейной жизнью,— для Буськи женщины делятся на две половины: на жену и всех остальных. Вернее, я понимал все умом, но непережи-

тость делала это знание неубедительным, мне казалось, что Буськина семейная жизнь в чем-то театральна. Но вот кончится накатанный спектакль, отзвучат последние реплики, погаснут софиты и юпитеры, и тогда актеры забудут роли и заговорят обыденным языком. Но все равно — мне было хорошо на этом спектакле, и я мог смотреть его тысячу раз, поэтому, когда впереди показались сероватые в мокром сумраке призмы новых домов на проспекте КИМа, я даже почувствовал что-то похожее на радостное нетерпение и, кажется, удивил пожилого шофера неожиданной и слегка хамоватой щедростью.

Сырой воздух здесь был пронизан тревожным запахом моря, простиравшегося где-то за глыбами фиолетовой мглы, в которой сиротливо желтели уличные фонари на тонких бетонных столбах: проспект был просторен, просвистан балтийским ветром, и двери подъездов новых домов от этой просторности казались крохотными, игрушечными. На торопливое нажатие кнопки лифт ответил безмятежным молчанием, и я пошел наверх по узкой неосвещенной лестнице. Путь предстоял на восьмой этаж, и я не спешил, на площадках поглядывал через мутные стекла окон. Мокрые ящики домов с унылой разбивкой желтых окон, беспомощные, сиротливые фонари, фиолетовая тьма, армированная прутьями кустов и голых деревьев. Это был не мой город.

На площадке перед восьмым этажом я остановился, чтобы выровнять дыхание, снова взглянул в высокое лестничное окно и поразился. Над черными крышами пятиэтажных домов, над глыбистой фиолетовой тьмой, прижатой к земле балтийским ветром, стояла призрачная сизость, прикрытая сиреневым клочковатым небом, и сквозь нее виднелась бесконечная темная бесцветность залива, и бледные леденцовые огоньки на ней были судами. Глаз не улавливал их движения на неразличимой зыби, но я понимал, что суда по фарватеру уходят в открытое море. И вдруг нудно и тупо заболело сердце и сухие жгучие слезы царапнули глаза: этот окраинный, силикатно-безликий, просвистанный ветром угол тоже был моим городом, потому что из лестничного окна восьмого этажа открывался своей вершиной Финский залив.

Я стоял на площадке с тупой болью в сердце и резью под веками и ощущал себя четырнадцатилетним и го-

лодным, уязвленным одиночеством и несбыточной мечтой.

В дырявых ботинках и худом, подбитом ветром пальто бродил я тогда по осенним набережным, испытывая тревогу и возвышенное смятение от вида переполненного русла взволнованной Невы, заливавшей гранитные спуски и выплескивающей пенистые воды на плиты тротуаров, и порывистые западные ветры вели свою дикую неистовую мелодию, просвистывая узорные решетки балконов и порталы старых особняков. А мохнатые черные тучи сплошной лавой неслись над рекой куда-то туда, за Литейный мост, над винно-красными кирпичными корпусами — к скрытому холодной осенней хмарью Смольному собору.

«Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом...»

По набережной с зажженными фарами колонной шли тягачи с зачехленными орудиями, они двигались к Дворцовой площади на репетицию парада; басовый рокот мощных моторов вплетался в неистовый посвист ветров, и какое-то горькое и гордое чувство распирало мне ребра: тогда я еще надеялся. Я надеялся, что стану моряком, увижу в черном тропическом небе непривычные пронзительные созвездия и сине-белый морской флаг моей родины просоленным тяжелым полотнищем еще заплещется надо мной. Я надеялся, хотя той осенью меня не приняли в Нахимовское училище. Неистовство ветров и волн и мужественность дворцовых фасадов поддерживали эту надежду: гордость рождалась горечи наперекор. А может быть, горечь и гордость были лишь половинами целого — двумя крайними точками, меж которых качался маятник судьбы, двумя ангелами или дьяволами, сражавшимися за мою уязвленную бессмысленную душонку?.. Ответа нет.

Я стоял на лестничной площадке восьмого этажа нового дома на оконечности бывшего острова Голодай, смотрел на бескрайнюю темную бесцветность вершины Финского залива, видел леденцовые огоньки судов, по фарватеру преодолевавших приустьевóй бар, и бессильные, сухие, жгучие слезы царапали глаза, и уже не было гордости — только горечь, что никогда не увижу тропических созвездий, никогда морской флаг моей родины не заплещется надо мной просоленным тяжелым полотнищем... Дьявол гордости давно отлетел, умчался в неизвестные края, к чужой новой юности, а со мной остались

только горечь и любовь к этому единственному городу.

Неверными пальцами достал я сигарету и с первой затяжкой почувствовал ту печальную растроганность, которую приносят счастливые воспоминания детства. Быть может, эта мечта о море и была единственным счастливым воспоминанием?

Всматриваясь в бескрайнюю бесцветность залива, думал я о городе.

Если вы появились на свет и начали сознательную жизнь в Петербурге-Петрограде-Ленинграде, то всегда, даже в разлуке, будете ощущать вы влияние города; с раннего детства проникнет в вас строгий и нервический, печальный и безжалостный, его мечтательный и скептичный дух. Нет, по-моему, в мире другого города, который бы так бесповоротно определял судьбу. В другом городе у вас была бы другая судьба.

«Шпалерка», «Кресты», Алексеевский равелин, кольцевая башня Новой Голландии, Литовский замок, арестный дом на Константиноградской,— Петербург, выстроенный весь вокруг тюрем, манил и волновал поколения юношей мечтой о свободе и жаждою смысла бытия. Спиною повернутый к Азии, этот город делал человека особенно русским и русского — особенно человеком, здесь родилась антитеза — гений и злодейство.

И я понимал, что этот город окрасил мою судьбу цветом своих оград и гранитов. Я был русским и любил его болезненно и горько, как любят только блудные сыновья.

В пасмурные дни предзимья, сырыми ночами ранней весны, под мглистым облачным небом я сам себе порою мнился ночным бесом этого города. Чем-то вроде ожившей химеры с фасада какого-нибудь бесстильного особняка. Это в далеком Париже химеры вечно стоят над порталом Нотр-Дам, а в Петербурге-Петрограде-Ленинграде они маются иногда в сырой промозглой оловянной тьме, парят над медленными каналами и бесслезно горюют под посвист западных ветров, тоскливо заглядывая в чужие освещенные окна.

Бесприютно и холодно стало мне на темной площадке перед высоким лестничным окном на залив. Я торопливо сунул окурок сигареты в бачок с пищевыми отходами, через три ступеньки одолел последний лестничный марш и нажал кнопку звонка.

За дверью стояла долгая, доводящая до отчаяния тишина. Болезненно расслабились мышцы спины, и, обреченно ссутулившись, я повернулся, чтобы уйти, но расслышал отдаленный глухой шорох шагов и снова повернулся к двери.

— Кто? — гортанный голос Беллы показался приятным и теплым.

— Грабители,— ответил я нараспев, пытаясь победить уныние.

Щелкнул замок, свет из передней высветил часть площадки. Крупная фигура Беллы в золотистом прямоугольнике отворенной двери напомнила мне какую-то картину. Смутно обеспокоенный, смотрел я на удлиненный овал лица, четко заканчивающийся острым подбородком, на выпуклый высокий лоб. Волосы Беллы разделял четкий пробор, и, черные, чуть волнистые, они поблескивали на свету.

— Привет. Промок? — Она улыбнулась сдержанной, еле заметной улыбкой и полуприкрыла глаза. И тут мгновенной вспышкой пришло узнавание... Запушенные изморозью окна, тусклый пульсирующий свет голой лампочки, горьковатый запах дыма чадящей плохой печи, почему-то обостряющий голод, и наискось от моей койки, на беленой стене над тумбочкой соседа репродукция из журнала «Огонек». «Юдифь» Джорджоне! — вот кого напомнила мне Белла, стоящая в освещенном прямоугольнике двери. Не было только меча в руке и мертвой головы Олоферна под ее ногой.

— Здравствуй,— сказал я с ухмылкой.— А муж твой дома?

— Проходи,— она посторонилась.— Ты думаешь, я знаю, где он?

Я прихлопнул за собой дверь, сказал:

— Да, поделом мне. Надо было позвонить сначала,— и расстегнул отсыревшее пальто,— уходить не хотелось.

— Раздевайся. Появится скоро. Отвезет домой очередную шлюху, потискает в машине и приедет,— она сдержанно улыбалась своей улыбкой Юдифи, голос был веселый.

«Буська знал, на ком жениться»,— с завистью подумал я, понимая, что в этой семье не бывало скандалов с визгливыми криками и битьем посуды.

— Да брось,— сказал я.— Сидит, наверное, в биб-

лиотеке, вычитывает что-нибудь из журналов, чтобы заработать тебе на булавки.

— Ладно, раздевайся. Есть хочешь?

— Спасибо. Лучше кофе покрепче, а то я...

— Вижу,— она пристально, без улыбки посмотрела мне прямо в глаза.— Ну, иди в комнату. Сейчас сварю тебе кофе.

Приглаживая волглые волосы, я вошел в большую комнату. Горел только аляповатый, напоминающий гриб торшер и давал спокойный рассеянный свет. Я расстегнул пиджак и сел в лохматое кресло возле дивана, на котором валялась раскрытая книга и скомканный клетчатый плед. Слева во всю стену, от пола до потолка, стояли секционные шкафы, на застекленных полках выстроились книги — все больше беллетристика, стояло немного хрусталя, современного, убогого,— претенциозные вазы и бокалы, говорящие лишь о дурном вкусе создателей да и владельцев. В бельме большого телевизора отражался орнамент красного ковра. Унылое жилище современного преуспевающего человека. Миллионы таких неразличимых комнат, победней и побогаче, от Атлантики до Тихого океана, приютили миллиарды маленьких радостей и крошечных повседневных трагедий, вечных любовей, неистребимых надежд, немощи, молодости, отчаянья и новых надежд. Похожесть этих комнат рождала иллюзию успокоенности, удовлетворенности: если все как у всех, то это неистребимо, это прочнее и реальнее любой термоядерной чертовщины. И мне полегчало: стандартный уют успокаивал подлинностью обыденной жизни, не то что моя квартира — заклинание от одиночества и злосчастья.

С кухни донесся вибрирующий визг электрической кофемолки. Звук был противный, но все равно он укреплял ощущение домашности. Я наклонился к дивану, протянул руку за книжкой и услышал вкрадчивый, смутно знакомый, волнующий запах духов, исходивший от пледа,— аромат пряных трав и тревожный, чистый и грустный, просторный дух морских отмелей. Дрогнуло в испуге сердце, будто рука в холодной резиновой перчатке прикоснулась к нему. Я взял книгу и резко выпрямился, откинувшись на спинку кресла, тут визг кофемолки оборвался и меня обступила тишина, наполненная этим вкрадчивым запахом. Я вперился в книжную страницу, но строки расплылись в желтобуром тумане, на нем соткалось лицо Натальи, такое,

каким я увидел его сегодня в два часа пополудни, заглядывая в щель приоткрытой двери,— девичье лицо, исполненное искренности и чистоты. И я снова почувствовал пронзительную боль, словно кто-то медленно втыкал в левое подреберье горячую тонкую иглу. Книга соскользнула с моих колен, с тихим шелестом легла на ковер, а та маленькая шайка студенистых клеточек в моем мозгу, которая различает и сравнивает, вдруг с безжалостной ясностью показала смертельную пропасть, пролегшую между мной и Натальей.

Игла вошла до конца, уже не чувствовалось боли. Чудовищная предсмертная тишина сжималась в чужой комнате, предвещая припадок, и как последний всплеск сознания стояло передо мной ее лицо. Я чувствовал — бесповоротность судьбы сейчас прикончит меня. И ужас, ужас ощущения конца сорвал меня с кресла.

Я вскочил, чтобы куда-то бежать с утробным звериным воем, за что-то схватиться, срывая ногти, выкарабкаться из черной, готовой поглотить смертельной пропасти. Я бросился к двери и наткнулся на Беллу.

— Тебе по-турецки или без сахара? — спросила она тихим будничным голосом.

Отчаянием и жутью переполнил меня до краев этот вопрос: захлебываясь, тонул я в черном безмолвном море, а с недальнего берега, где в матовом свечении золотистых фонарей колебалась сочная листва, доносились будничные, счастливые и беспечные голоса людей, не подозревавших, что кто-то гибнет в двух шагах. Не было гибели страшнее и горше, чем эта. И, ощущая за спиной засасывающее холодное дыхание тьмы, не в силах совладать с собой, я схватился за первое, что попалось,— руки Беллы... Весь перемолотый, изнемогший, с еще слепым затемненным сознанием, я чувствовал только тоскливое недоумение и беспамятный телесный страх, словно был амебой, комочком протоплазмы, которому удалось выбраться из раствора едкой кислоты. Сознание возвращалось постепенно, я словно бы вновь проходил весь путь от одноклеточного до «сапиенса». И вот этот сапиенс, слегка очухавшийся от необъяснимого ужаса, полулежал, откинувшись на спинку дивана. Рубашка была расстегнута до пупа, и тепло-влажные ладони елозили по груди.

Я терпеть не мог, когда кто-нибудь заставал меня в разобранном виде, особенно женщины. Инстинктивно

я начинал испытывать к непрошеному свидетелю неприязнь, но к Белле преисполнился благодарности, как тонувший к спасителю.

С трудом ворочая одеревеневшей челюстью, заплетающимся языком пролепетал я жалобную благодарность или благодарную жалобу. Теперь даже не вспомнить тех невнятных, почти бессмысленных слов, сознание все еще было в тумане. Рассеянный свет торшера казался пульсирующим и мглистым, секционные шкафы во всю стену мнились грозно накренившимися, готовыми рухнуть и раздавить. И разымала, давила безнадежная, немыслимая тоска.

Я был не дома, и надо было встать на ноги, усилием воли попытаться преодолеть эту тоску и разбитость. Согнув ватные, беспомощно вытянутые ноги, я напряг спину, но тепло-влажные ладони мягко и требовательно уперлись в грудь, удерживая на диване, и стонущий, вязкий гортанный шепот жарко заметался возле правого моего уха, обдавая зноем висок и щеку.

Слов было не разобрать, но эта стонущая вязкость голоса мгновенно насторожила меня. Я уперся рукой в сиденье дивана и встал. Тепло-влажные ладони потянулись за мной. Белла встала, ее крупная фигура заслонила свет торшера и показалась огромной. Я не успел отступить, руки ее сомкнулись на шее кольцом. Покачнувшись под тяжестью горячего упругого тела, я, чтобы не упасть, машинально ухватил ее за талию.

— Я знала, давно знала, что ты будешь мой,— стонуще прошептала она, прижимаясь еще крепче.

Переступив, чтобы сохранить равновесие, я схватил полные горячие предплечья, с усилием развел ее руки и отскочил к дверям. На глаза попался белый квадрат выключателя на стене. Я судорожно протянул руку, щелкнул клавишей, и яркий свет наполнил комнату. Торопливо достав сигарету, я закурил, увидел, как мелко трясутся пальцы, и с раздражением бросил спичку на красный ковер.

От разбитости во всем теле, от расстегнутой до пупа, выехавшей из брюк рубахи, от внутренней дрожи и только что минувшего состояния беспомощности — от всего этого неожиданного, идиотски нелепого положения я чувствовал невыносимую неловкость, ошарашенность и раздражение. Сделав несколько глубоких затяжек, я посмотрел на Беллу.

Темный густой румянец заливал ее скулы, глаза были прикрыты тяжелыми синеватыми веками, невинно сложены розовые губы,— кроткая Юдифь, бестрепетно оттяпавшая голову спящему человеку...

— Боюсь, что ты неверно все поняла,— хрипло выдавил я и вздохнул.

Она подняла веки, темные глаза были тусклы и пугающе косили в стороны.

— Ну и пусть. Я больше не могу так,— она сделала шаг назад, резко опустилась на диван.— Не могу в этой трехкомнатной клетке...— с глухим стоном протянула она.

Я прислонился к дверному косяку, уже спокойно сказал:

— Ну хорошо, это можно понять, но... я совсем не тот объект, понимаешь?

— А мне никто другой не нужен! — выкрикнула она и вдруг заплакала в голос, по-детски кулаком размазывая слезы.

— Ну хорошо, хорошо! Мы потом поговорим, а сейчас успокойся. А то Буська придет, и нехорошо получится,— бормотал я, испытывая омерзение к себе за эту соглашательскую лицемерную скороговорку.

Выскочив в переднюю, сорвал с вешалки пальто, отворил двери и пустился вниз по сумрачной лестнице.

Только на улице я надел пальто. Порывы сырого ветра приносили запах моря, призрачно и слабо светили желтые фонари, и, насколько хватал глаз, на широком проспекте не было видно ни души. Бешеная, удушливая злость одолевала меня, заслоняя собой телесную разбитость и пробуждая радостную догадку, что припадок не состоялся, прошел мимо, зацепив только самым краем. Отрезвевший, злой и довольный, стоял я на пустынном проспекте и хватал ртом влажный, холодный, пахнущий морем воздух. И, как неожиданная удача, проблеснули в отдалении подфарники и приветливый зеленый огонек. Я шагнул к краю тротуара, поднял руку.

Машина, как-то нехотя, проскочив лишний десяток метров вперед, остановилась. Неспешным шагом я подошел, взялся за ручку задней двери, но она была заперта на кнопку. Шофер, открыв свою дверь, вылез и через крышу машины выкрикнул:

— Только в центр!

Я кивнул. Он сел и открыл переднюю дверцу. Не

было охоты возражать, и я устроился рядом с ним, хотя и не люблю сидеть впереди пассажиром. Не любит любой профессионал, потому что невольно реагируешь на все изменения дорожной обстановки, но в руках нет руля, а под ногами — педалей, и от этого возникает ощущение беспомощности и страха. Но в тот момент все это было неважно — быстрей бы добраться до дому. Я назвал адрес.

— Вот,— вдруг злобно завизжал шофер,— я же сказал — центр! Вылезай, не повезу!

Я ошалело посмотрел на него. Слабый свет уличного фонаря проникал через лобовое стекло, и хамская, наглая рожа с широкой переносицей и выступающими надбровьями в этом свете казалась серой, будто была рожей чучела из старой мешковины, не слишком плотно набитой опилками, впечатление довершали белесые патлатые волосы, спускавшиеся на уши, и воротник замызганного непонятного лапсердака. А глаза, злобные и трусливые, источали бессильную ненависть. Немало таких вот отравленных алчностью и жаждой жить кучеряво идут в шоферы такси, в продавцы и официанты и работают и существуют, изнывая от бешеной задавленной ненависти к тем, кого облапошивают, вернее, к тем, кто не хочет быть облапошенным, а значит — ко всем. Ах эта злорадная лакейская спесь, мгновенно взрывающаяся истерической злобностью, она не что иное как подсознательное, глубоко погребенное в сумерках вздорного и ущербного «я» ощущение ничтожества. Вот почему даже благополучный, преуспевший по своим меркам лакей инстинктивно ненавидит всех нелакеев и неистово, подчас пренебрегая опасностью быть разоблаченным и потерять все, стремится заявить о своем преуспеянии дорогой престижной одеждой, шумными кутежами, дефицитными вещами.

Я сам полтора года отработал в такси и ушел, испугавшись, что лакейский комплекс на всю жизнь станет душевной сутью. Не каждый способен работать в сфере услуг, для этого нужно обладать особым душевным достоинством и добротой. А этот, что сидел сейчас за рулем, был из новичков, но уже насмерть отравлен. Я понял это за тот короткий миг, пока смотрел в его глаза, и, с трудом подавив раздражение, миролюбиво сказал:

— Что за дела, мастер? Это — в двух автобусных остановках от Невского по Маяковского. Поехали.

Он дернул машину с места и, еще не остыв, срываясь на визг, пожаловался:

— Да кручусь целую смену — и ни одного путного пассажира.

Сидел он сгорбившись, нависая над рулем, руки были согнуты в локтях. При такой посадке уже через три-четыре часа езды устают шея и спина,— нет, и хорошим шофером он тоже не был.

— Пассажира надо любить, тогда он будет путным,— я отвел взгляд от его рожи и уставился в боковое стекло, внутри кипела злость.

— А-а, один понт: с ним и ласково, и так, все равно — на руб наедет, руб даст и еще сдачу ждет,— уже спокойнее ответил он.

Машина дребезжала, правое переднее колесо, видимо, было с шишкой и глухо постукивало, вело сцепление, и скорости втыкались со скрипом. Злость и раздражение внутри все росли.

— А ты хотел, чтобы он на рубль наездил и с пятерки сдачу не брал? — криво усмехнувшись, спросил я.

Прогромыхала под колесами разбитая мостовая Железноводской, потом мелькнули тусклые фонари Уральской, легко подкинул чуть горбатый мостик через Смоленку.

— Я ничего не хотел, в гробу я их всех видел. Хочешь ехать на такси, нечего жаться за полтинник. Вон, автобусов много, за пятак довезут,— снова переходя на визг, сказал он.

Нет, эта обезьяна очаровывала своей откровенной тупой алчностью и убеждением, что люди жестоко несправедливы, не присылая ему в подарок свои трешки и рубли.

— Нет, мастер, так в такси не работают. Вот ты с самого начала, не успел я сесть, нагрубил. Город знаешь плохо. Что ж ты думаешь, такой пассажир будет пылать к тебе любовью? — Я и сам удивился своим пасторским интонациям, усмехнулся и добавил:— В такси зарабатывают не колесами, тут обаяние нужно, угодливость. А если этого нет, то лучше на МАЗ с прицепом пойти, там верный заработок, если холка крепкая.

Машина уже миновала узкую Восьмую линию и, громыхая, свернула налево к Университетской набережной.

— Что ты меня учишь? — взвизгнул он.— В гробу я видал таких учителей. Сейчас остановлюсь и вытолкаю, пехом будешь шлепать.

Я смотрел на желвакастое лицо с широкой переносицей и выступающими надбровными дугами, на эти плоские губы, в складке которых навеки заколела неутолимая хамская алчность, и что-то жуткое ширилось и густело во мне, как ночная душегубская мгла. И стало больно, очень больно, потому что в этой роже чучела из старой мешковины, не слишком плотно набитой опилками, я, как в зеркале, увидел свое лицо! В привычной обстановке салона легковой машины мне стало вдруг душно и тяжко.

Этот снабженный колесами нищеброд, этот убогий мародер с городской улицы в сущности ничем не отличался от меня. Он это был я. Я это был он. Он тоже был князь — утром и вечером. Что с того, что я казался благопристойнее с виду? Его бесстыдное, неприкрытое и убогое хамство разоблачало хамство лощеное, оправленное в рамку приличий и красивых слов,— мое хамство. Только этот орангутанг даже не представлял, с кем он имеет дело, не знал, что рядом с ним — более опасный и хищный зверь. Ему и в страшном сне не могло присниться то, что привиделось мне в мутном от грязи боковом стекле. Я увидел его лицо, только уже исковерканное, обработанное по всем правилам искусства, которое я постигал на собственной шкуре в драках и поножовщинах. И мне стало еще страшней.

Стараясь приглушить голос и этим подавить вспышку холодной свирепости, я сказал:

— Ладно, поезжай. Никто тебя не учит. Я сам такой.

Машина перевалила Дворцовый мост, проскочила вдоль бокового фасада Адмиралтейства и остановилась у входного светофора на Невский. Я закрыл глаза.

Весь сегодняшний день травил горечью, страхом, яростью и отчаянием, хотя и принес сумасшедшую удачу. Проживу тысячу лет, если переживу этот день, подумал я. И пока проезжали Невский, не открывал глаза, стараясь внушить себе спокойствие. Когда машина повернула на Маяковского, открыв глаза, я сказал:

— Свернем на Саперный, и сразу же можно остановиться.

— А где он? — угрюмо спросило чучело.

— Второй поворот направо после второго светофора,— еле сдержавшись, чтобы не обложить его самой злобной и уничтожающей бранью, ответил я и полез в карман за деньгами.

Машина проскочила Жуковского, зеленым огоньком подмигнул мне перекресток поэтов, ущельем тьмы показался пустынный Басков. Свернули направо, автомобиль чуть занесло на покрытом снежной жижей асфальте, правое переднее колесо ударилось в поребрик.

— Здесь?

— Да,— ответил я, и он затормозил.

Дом мой был еще в сотне метров впереди. Но я никогда не подъезжаю к самым воротам и никогда не называю точный адрес, эта наивная конспирация стала привычкой.

Он щелкнул рукояткой, поставил таксометр на «кассу».

— Держи,— я протянул ему пятерку, взгляды наши скрестились. Боже, как я ненавидел его, этого тупого алчного хама. Ненавидел, потому что он это был я, только в худшем издании. Он тоже хотел построить свое маленькое благополучие на своем хамстве и наглости, как построил я на своем.

Он взял мятую пятерку и, не сдержавшись, радостно осклабился, но не поблагодарил.

— Вот что, мастер,— медленно сказал я,— ты насчет вытолкать будь поаккуратней, а то нарвешься на когонибудь, и душу выдернут, а она у тебя и так чуть держится. Счастливо отработать.— Я вылез, захлопнул дверцу и, сунув руки в карманы, медленно побрел в глубь темного переулка. Сделал несколько шагов и услышал щелчок дверного замка. Обернулся. Он уже нагонял меня с монтировкой в руке.

Стало грустно до слез.

Я повернулся и шагнул ему навстречу...

К дому я подходил со стороны Восстания, пройдя на Басков проходными дворами и сделав изрядный крюк. Слегка подташнивало от пережитой вспышки свирепой холодной ярости. Перед тем как нырнуть в подворотню, я поглядел вдоль переулка. Такси на углу уже не было.

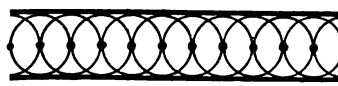
Моя машина так и стояла, брошенная во дворе,— вся мокрая, с мутными стеклами. Я даже не подошел к ней. Тусклый свет освещал подъезды, сочился из-за занавесей. Машинально взглянул на низенькое окно Натальи

в углу. Оно было темным. И вдруг мне страстно, немыслимо захотелось, чтобы она ждала меня в квартире,— захотелось так, как хотелось в детстве хлеба и счастья. Прибавив шагу, я вошел в парадную, отомкнул почтовый ящик, сунул руку и достал ключи от квартиры. В два шага преодолел шесть ступеней пологой лестницы и нырнул в свою одинокую берлогу. Сначала включил свет в коридоре, комнате и на кухне и только потом стащил пальто и еле-еле добрел до дивана.

Я был еще жив и, кажется, пережил этот немыслимый день.

МЕСЯЦ АПРЕЛЬ

10



Я проснулся пустым и легким, словно не было вчерашнего хмеля. И только открыл глаза, как часы на камине стали отбивать шесть.

Если вы значительную часть своей жизни провели в таких обстоятельствах, где многое зависит от того, проснетесь ли вы в нужный момент, то навык этот остается до конца. И вы всегда сможете пробуждаться секунда в секунду в нужный момент.

Протяжный двойной бой, будто качели, сначала возносил чистый бронзовый звук: динь, потом плавно опускал до рдяных медных низов: донн.

Динь-донн — взлеты качелей, ситцевая неброская голубизна весенних русских небес, берестяная скромная свежесть столпов звонницы, луговая равнина, далеко окрест разносящая малиновый звон...

Я любил эти слегка вычурные французские каминные куранты именно за то, что они будили смутные воспоминания довоенного детства. Собственно, даже не воспоминания, но туманные ощущения свежести и простора, предчувствия счастья. Это было самым светлым уголком памяти — мое месячное пребывание в Щербаковке, родной деревне отца, перед самой войной.

Уж не знаю, по каким причинам меня, восьмилетнего, было решено отправить к бабке в деревню,— то ли родители собирались куда-то уезжать, то ли намеревались разводиться... Я даже не очень хорошо запомнил обстановку бабкиного дома и только в последующие наезды, будучи уже взрослым, сомкнул свои поздние впечатления с детской памятью, хотя нынешняя Щербаковка так же не похожа на довоенную, как сорокалетняя акула «железки» — на восьмилетнего мальца, впервые захваченного смутным ощущением счастья и ласковости весеннего мира, который через миг будет ввергнут в адские ужасы.

Я понимаю, человеку не дано чистой объективности: всякое «было» изменяется под воздействием нашего «есть», хотим мы того или нет. И значительность тех детских довоенных впечатлений невольно преувеличилась во времени по контрасту с другими, более горькими, угрожавшими даже самому моему существованию переживаниями. Но в последние тридцать с лишним лет во мне с неугасимой энергией живет заблуждение, что, будь в моей памяти еще два-три таких же светлых уголка, как воспоминание о предвоенной Щербаковке, они могли бы защитить, дать душевную прочность, с которой, пройдя любые испытания, становишься только чище и добрее. Но, возможно, это — иллюзия, выдуманная к самооправданию. И все равно майские дни сорок первого года я считаю лучшим временем своей жизни.

Я бесконечно, не сомкнув глаз, ехал медленным ночным поездом, возбужденный, испуганный и обрадованный первым в жизни самостоятельным путешествием. Общий вагон храпел, постанывал на разные голоса, где-то в дальнем конце тихо и жалостно хныкал маленький ребенок, с пристуком такали стыки под колесными парами — словно кто-то на деревянной ноге, прихрамывая, ковылял по звонким сухим половицам, и просверки фонарей врывались поверх шторки окна в желтенький сумрак вагона, пахнущий керосином, подсолнечным маслом и чесноковой колбасой. И впервые я, маленький и растерянный, очутился лицом к лицу с пространством и временем, почувствовал свою крошечность и огромность того, что меня окружает. Я не знал еще тогда, что у русского человека есть особые дорожные мысли, что испокон века ухабистые наши дороги встряхивали души путников, поворачивая их на философский лад, и протяженностью своей длили и длили свидание человека с самим собой, со своей совестью, со своими сомнениями, и давали забвение мятущимся, и вновь манили в искательный путь.

Быть может, возбужденный, испуганный и радостный восьмилетний мальчик в общем вагоне медленного паровика майской ночью сорок первого года бессловесно и безмысленно чувствовал все это смущенной душой. И дорога от Ленинграда до Щербаковки казалась огромной, вмещающей всю его коротенькую жизнь.

Теперь до Щербаковки всего лишь час идет электричка. Но тогда, прохладным ранним утром, у меня было

ощущение человека, преодолевшего Великий океан. И я, как суровый морской волк, постарался не выдать своей радости при встрече с дядькой, младшим братом отца. Он приехал за мной на станцию в скрипучей телеге с большими колесами, поблескивающими лощеным железом ободьев, в котором дробилось утреннее робкое солнце.

Я увидел его сразу, как только поезд замедлил ход возле кирпичного станционного домика и дощатой зеленой будки уборной. Лязгнули, соприкоснувшись, тарелки буферов, и с легким толчком вагоны остановились. Я спустился на железные ступеньки, кончавшиеся высоко над белесоватой пыльной землей, потому что никакого перрона не было, и, крепко держа ручку небольшого фибрового чемодана, приготовился спрыгнуть. Но дядька Алексей забросил ременные вожжи на спину низкорослой мохноногой лошадке, размашисто шагнул к вагону и снял меня, сжав твердыми, как дерево, руками.

Я любил своего дядьку, хотя до этого виделся с ним лишь несколько раз, когда он приезжал в Ленинград и ненадолго заходил к нам. Как всякий замкнутый, не любивший отца ребенок из необщительной семьи, я почти сразу прилепился к нему душой. Мне нравилось, что у нас с ним было одно имя, нравилось крепкоскулое лицо с красноватым оттенком обветренной кожи и купоросно-синие, какие-то нахально-отчаянные глаза, в которые невозможно было смотреть без ответной улыбки.

И я рассмеялся, ощущая беспечную радость и доверие к нему и ласку этих твердых, как дерево, рук.

— Ну, с приездом, заяц,— хрипловато сказал дядька и поставил меня на землю, покачнувшуюся, казалось, под ногами. И мы поехали ленивым, еще не совсем просохшим с весенней распутицы желтым проселком, плавно петляющим по светлым, по-весеннему голым полям, с краев ограниченным туманной, подрагивающей в парном мареве стеной черноватого леса.

— Править сумеешь? — спросил дядька и передал мне вожжи.

Не смея отказаться, я робко принял неожиданно тяжелые, грубоватые, сырые на ощупь ремни, испуганно выкрикнул: «Но-о!», а маленькая мохноногая лошадка все так же не спеша продолжала путь, встряхивая соловой гривой под голубенькой дугой в такт глуховатому мягкому стуку копыт. А дядька свернул цигарку, задымил и ласково подбодрил:

— Ничего, она не нравная, дорогу знает.

И тут откуда-то издали донесся протяжный двойной бой колоколов. Словно на качелях взмывали прозрачные чистые звуки — динь — и опускались до густых тяжелых низов — донн.

С зашедшимся дыханием вслушивался я в этот малиновый звон, все шире заполнявший горизонт, так что казалось, будто это звучат окрестные теплые на взгляд поля, над которыми у черноватой стены лесов струится дрожащее парное марево. Динь-донн...

А потом, почти через двадцать лет, на Петроградской стороне в маленькой комиссионке, где продавались старые люстры, потускневшие фаянсовые умывальные тазы в синий цветочек, входившие в моду уродливые торшеры с пластмассовыми абажурами, покалеченные жирандоли, массивные канделябры, вилки и ножи почерневшего мельхиора, старинный бронзовый лом, стоивший тогда, в начале шестидесятых, дешевле махорки,— в этой маленькой комиссионке, где стоял затхлый полумрак и куда я зашел, скрываясь от внезапного резвого дождика, меня вдруг настигли эти дальние звуки двойного колокольного боя. Их заунывная прелесть в один миг вызвала давние картины: сероватые, повесеннему голые поля с дрожащим парным маревом, нетесный порядок домов Щербаковки на высоком берегу отмелой излучины речки, покойно текущей к Балтийскому морю, ласковую черно-пегую корову Розку, от печального взгляда которой тревожно холодело в груди восьмилетнего мальца, и звучащее чудо низенькой белой звонницы, оставшейся от старинного монастыря... Я ошалело повернулся на тихий, словно возникший из памяти звон и увидел, что скучающая девчонка-продавщица тычет черенком столового ножа в заднюю стенку каминных часов, вызывая этот двойной бой.

Я шагнул к прилавку, севшим голосом спросил:

— Можно взглянуть?

Девчонка-продавщица обдала меня холодом профессионально-презрительного взгляда, бросила нож на полку в кучку других и безмолвно отвернулась. Я придвинул тяжелый бронзовый корпус поближе. Была это типичная работа французских бронзолитейщиков начала прошлого века. Классический портал, где между двумя парами колонн коринфского ордера был вделан белый эмалевый циферблат с ажурными золочеными стрелками (на этом стрелка сохранилась только одна — часовая) и римскими цифрами. Работа была добротной,

но невысокого ремесленного класса, чувствовалась старательность в подчеканке акантовых листьев, в аккуратности рустованных карнизиков и четкости каннелюр. Часам этим было больше сотни лет, а позолота даже не потускнела. Я повернул их задней стенкой к себе, увидел блестящие полусферы бронзовых колокольцев, четко скругленные бойки молоточков и прекрасный позолоченный механизм, шлицы винтов были без единой царапины, их не касалась ни одна отвертка, и стоили часы дешевле тогдашних настольных сооружений из цветного плексигласа и жестяной анодированной безвкусицы.

— Возьму,— сказал я, чем вызвал еще большее презрение во взгляде продавщицы.

Я ехал в такси, держа на коленях тяжелый бронзовый портал, и вспоминал предвоенный май в Щербаковке. Ведь, как это ни странно, ничто не проходит. Вы — это пережитое, прошлое. Оно присутствует во всяком миге, в каждом сокращении вашей сердечной мышцы. Вы — сосуд памяти, личной и надличной; кто бы вы ни были, за вами стоит история.

И быть может, именно тогда, там, в Щербаковке, я инстинктивно почувствовал, что существую не сам по себе, а принадлежу к общности, начало которой в незапамятной глубине. Что те деревенские мальчишки, после нескольких потасовок признавшие меня своим,— тоже Щербаковы, и даже на крестах сырого, заглушенного бузиной деревенского кладбища возле церковки со звонницей редко попадались другие фамилии...

Эти часы работы французских мастеров сразу же стали для меня чем-то большим, чем добротная красивая вещь: золоченые колонны портала поднимали и поддерживали самые счастливые впечатления души, они были памятником необретенного сыновства, потому что тогда, в Щербаковке, я сам выбрал себе отца. Этим отцом, не подозревая ни о чем, стал мой дядька Алексей.

Полгода возился я с хитрым механизмом часов, пока не наладил. Но золоченой ажурной минутной стрелки, под стать родной часовой, разыскать не смог, так и остались часы с одной стрелкой, но с тех пор их протяжный двойной бой звонил мне о несбывшейся отчине. А то, что стрелка только одна, никак не мешало. Практически меня не интересовали даже более крупные куски времени. Я ненавидел минуты. Это они, колючие, зазубренные осколки времени, рвут на куски наши сердца. Часы вы

можете пережить с горем пополам, минуты же пронзают, причиняя нестерпимую боль.

...Я лежал тихо, как паралитик, пока шесть чистых двойных звонов не растаяли в сумраке комнаты, потом резко сбросил одеяло.

Начался новый день.

Долго, до озноба стоял я под холодным душем, пытаясь смыть вчерашнюю тоску и прийти в форму, но гортанный жаркий шепот Беллы словно застрял в ушах, вызывая на лице болезненную гримасу. Я растерся льняным жестким полотенцем, оделся и поставил чайник на газ. Когда снимал с вешалки кожанку, в которой ходил на работу, заметил темные пятна запекшейся крови на рукаве пальто, и тошнота подступила к горлу. Хамоватое, с широкой переносицей и выступающими надбровными дугами лицо всплыло в памяти, и я от омерзения сжал зубы до скрипа, сорвал с вешалки пальто и в ванной замыл рукав. Погасив газ под закипевшим чайником, вышел во двор.

Ночной морозец покрыл двор ровной ледяной коркой. Я сразу же поскользнулся, но не упал. Бледно желтели редкие окна флигелей, и от этого дворовая лиловатая темь казалась какой-то осенней и тягостной и небо давило низкой бесцветной тьмой.

Машина моя, ночевавшая во дворе, обмерзла, с кромок крыльев свисали тонкие черные сосульки, лобовое стекло стало мутным. Я отомкнул дверцу. Из салона повеяло неживым холодом, как из выморочного, нетопленного в зиму дома. Съежившись на застывшем сиденье, я сунул ключ в замок зажигания. Стартер взял почти сразу, и двигатель завелся легко, я оставил его работать на подсосе, вылез и отворил одну створку ворот каретника, включил свет. Мне нужно было найти релерегулятор — обещал его одному парню на работе. Я оглядел полки с разным нужным и ненужным железным хламом, прикидывая, где бы могло быть это реле, и подумал, что разыскать здесь что-нибудь — задача совсем не простая.

На дощатом верстаке у меня стоял старый приемник, я перенес его сюда, когда для дома купил японский транзистор. Здесь я слушал последние известия, пока возился с машиной. Привычно нажав клавишу приемника, я отодвинул от стены тяжелый ящик с запчастями и принялся вынимать их, надеясь обнаружить нужное реле. Приемник, простуженно просипев, негромко выдал

бодрую утреннюю музыку. Я вытаскивал из ящика старые подшипники, карданные шарниры, рессорные пальцы, рулевые тяги,— почти все здесь надо было давно выбросить, но мешала жадность и лень. Я стоял, низко склонившись над ящиком, и досадовал, что не удосужился избавиться от этого хлама, и вдруг почувствовал чей-то упорный взгляд в спину, мгновенно обдавший ощущением опасности. Резко выпрямившись, обернулся.

У приоткрытой створки ворот стоял Бурков. Я одним взглядом охватил всю его полноватую фигуру в расстегнутом коричневом пальто с выбившимися концами мохнатого шарфа и почувствовал всегдашнее неприятное ощущение от несоответствия этой полноватой фигуры и заостренного маленького лица. Он был угнетающе некрасив, какая-то крысиная улыбка, вызывающая брезгливость, и неспокойные круглые глаза, которые суетливо бегали по сторонам. Бурков работал в домохозяйстве еще вместе со мной электриком, выслужился и стал мелкой сошкой в жилконторе.

— Вот, с утра музыку гоняешь, людей будишь, понимаешь ли,— начал он шутливо и, еще больше обнажив в улыбке свои резцы, вошел в каретник.— Здорово.

Я никак не принял эти слова о музыке; я знал эту неосознанную потребность убогой натуры, тщащейся самоутвердиться, убедить самое себя хотя бы в не полном, не окончательном ничтожестве и обладании пусть даже призрачной, воображаемой властью, о которой можно говорить лишь шутливым тоном, суетливо шныряя глазами по сторонам.

— Здорово, здорово,— ответил я и почувствовал какое-то вязкое томление, будто все это уже было — и слова, и крысиная улыбка, и бегающие глаза — и мне нужно, необходимо вспомнить, восстановить в памяти что-то важное, связанное с Бурковым. На миг память застыла в тягучей бесформенной истоме и потом пугающей вспышкой высветила лицо Натальи с заплаканными мокрыми глазами.

Бешеная, удушающая ярость ударила в грудь, так что я качнулся и зашелся лающим сухим кашлем. Дрожащей рукой вытащил сигареты и, вздохнув, вдруг почувствовал спокойствие. Скривив губы в подобие улыбки, я протянул Буркову сигареты, и он пошел ко мне, загребая плоскостопыми ногами, приблизился на вытянутую руку, и тогда я ударил тычком под дых.

Мучительное недоумение исказило крысиное его лицо, голубенькие глаза остановились, страдальчески намокли, исчезло выражение наглости и неуверенности,— боль сделала лицо человеческим. Ведь боль и недоумение часто служат началом мысли.

Внимательно наблюдал я, пока он хрипел, согнувшись и прижав руки к животу. Дыхание выравнивалось, и лицо его по мере этого снова становилось наглым и злобно-крысиным.

Нет, подумал я, этого мало для такого грызуна, чтобы в нем шевельнулось сознание. И только он отдышался и оскалил пасть, я снова ткнул его под ложечку. Кулак словно утонул в податливом теплом тесте.

Он сломался почти пополам и утробно замычал: ы-ы-ы, как глухонемой. Я смотрел в его глаза, налитые слезами, страхом, идиотским недоумением, болью,— только эти примитивные эмоции могли возникнуть в студенистом мозгу этого грызуна. Медленно вытянув из пачки сигарету, я ждал, пока он отдышится. Наконец он перестал мычать, выпрямился, и тогда я сунул в его обслюнявленные губы сигарету и шутовским угодливым жестом поднес спичку. От страха он машинально затянулся, скрипуче кашлянув.

— Товарищ начальник,— сказал я кротко и заискивающе,— как-то невеликодушно девушку обижать,— и наклоном головы указал на полуоткрытую створку ворот.— Я вас очень прошу, будьте с ней поласковее, ее, кроме вас, и защитить некому.

Он вынул сигарету изо рта, с хрипом вздохнул:

— Сразу бы так и сказал, что твоя эта...

Я не дал ему договорить, указательным и большим пальцами ухватил за нижнюю губу (есть там маленький болевой центр), сжал и вывернул этот ошметок мокрой плоти, и меня едва не стошнило от мерзкого прикосновения. Бурков замахал руками, будто вообразил себя ветряной мельницей.

Я зарычал:

— Слушай, ты, вошь цыганская. Я вырву тебе кадык, а потом утоплю там, в люке, на заднем дворе! — Вздохнул и закончил уже вполголоса: — И никто тебя не найдет, потому что ты сразу соединишься с тем дерьмом.

Я отпустил губу и вытер пальцы о лацкан его пальто. Он стоял точно остолбенелый.

— Иди,— сказал я, чувствуя усталость и омерзение.

— Ну, извини,— сказал он. И я еле сдержался, чтобы не дать ему настоящую плюху.

Разыскивать реле я уже не стал, погасил свет, замкнул каретник, заглушил немного согревшийся двигатель и пошел пить кофе.

Я сидел на кухне с чашкой ароматного густого кофе, смотрел на фисташковый кафель стены, декорированный гроздью жгучего красного перца и связкой розово-золотых луковиц. И грусть, смертельная, хоть вешайся, грусть разнимала меня. Это была грусть по неведомой человечности, по доброте, которых меня лишила судьба, как катастрофа оставляет человека без ног или рук. Я был инвалидом, инвалидом жизни. Имел ли я право судить кого-то, даже Буркова?

Я поставил чашку на блюдце, грустно подперся, глядя на медные ковши, в бурой патине которых отражался свет кухонного плафона, и стал настраивать себя на мажорный лад мыслями о работе.

Я любил свою работу, потому что на ней отпускало душу. Сутки шофером на машине аварийной газовой службы давали возможность побыть с нормальными людьми, забыться и ненадолго ощутить себя тоже нормальным человеком. Суточная работа с тремя сутками выходных собрала в аварийке людей не совсем обычных. Водители и слесари, они не замыкались только в рамках этой работы. Многие учились в институтах и устроились в аварийку, чтобы иметь побольше свободного времени, другие подрабатывали еще по совместительству в гаражах треста очистки, мечтая о своем автомобиле или кооперативной квартире, был даже один чудак, который строил себе яхту по собственному проекту и тратил на это весь досуг и все деньги. Работа была не очень напряженной, и в перерывах между выездами удавалось почитать, поспорить и даже посмотреть телевизор. Разумеется, пьяницы в таком режиме быстро срывались. Их увольняли. Так и шел естественный отбор, и оставались приличные люди и хорошие специалисты. Мне нравилось ощущать себя одним из них, шофером среди шоферов. Здесь всегда можно было подмениться со сменщиком или отработать за кого-нибудь сутки и получить таким образом свободную неделю, чтобы куда-нибудь съездить.

Я глядел на старую медь ковшей и думал, что без этой работы давно бы сошел с ума от всяких мыслей и воспоминаний. И тут раздался звонок. Я встал, открыл

входную дверь и с некоторым удивлением увидел Наталью. Она никогда не заходила по утрам, и мне подумалось, что Бурков уже успел что-нибудь сказать ей. Неужели я слишком плохо понимал в людях и не сумел на всю жизнь отвадить эту крысу от Натальи?

— Что-нибудь случилось? — спросил я, пропустив ее в переднюю и всматриваясь в лицо, и ощутил волнение от ее близости.

— Доброе утро. Нет, наверное, ничего не случилось,— с какой-то неуверенностью отозвалась Наталья, и на тонкой, туго натянутой коже лица мгновенно проступил румянец, заметный даже в сумраке передней.

— Доброе, доброе,— откликнулся я, стараясь шутливой интонацией внушить самому себе беззаботность, подавить глухое волнение и мгновенно возникшее тревожное томление, словно предчувствие близкой беды, а быть может, радости. Сразу пересохла и стала шершавой глотка; хрипло кашлянув, я протянул руку в приглашающем жесте.

Она прошла на кухню. Спина у нее была прямая, даже чуть выгнутая, как у гимнастки, а чтобы измерить талию, хватило бы, казалось, одной моей пяди. Сделав судорожный пустой глоток, я шагнул за ней в кухню, выдавил с хрипом:

— Садись. Кофе будешь?

— Нет, спасибо,— сказала она, внимательно посмотрела на меня. В серых чистых глазах под длинными прямыми бровями была настороженность, почти отчуждение.

Я сел, отхлебнул кофе, снова поставил чашку, как можно спокойнее сказал:

— Ну, сядь, пожалуйста, и расскажи, что приключилось еще.

Она опустила глаза, расстегнула курточку. Длинные ее пальцы с овальными, розово поблескивающими ногтями справлялись с пуговицами суетливо и неловко, опущенное лицо стало обиженным.

«Мало дал Буркову»,— подумал я, чувствуя, как от набегающей ознобом ярости мурашки поползли по спине, и встал, сказал, стараясь казаться спокойным:

— Ты посиди, сейчас я схожу за этим грызуном, и он извинится, если что не так.

— Уже извинился только что,— не поднимая головы, тихо ответила она.

— Так в чем дело? — спросил я, машинально толк-

нув ногой табуретку.— Почему у тебя физиономия такая, будто ты с утра уксусу напилась?

— Вас вечером не было,— медленно ответила она и подняла голову. И я понял, что в глазах ее не настороженность и отчуждение, а долгий, угнетающий душу испуг.

— Ну, от матери потом еще кое-куда заходил,— сказал я будничным тоном, стараясь успокоить ее, даже скорчил ухмылку, а сам почувствовал неестественность этого стояния в тесноватой кухне, принужденность своих и Натальиных слов. И добавил:— Мы с тобой как на дипломатическом фуршете. Может, пойдем в комнату и ты расскажешь все толком?

— Ой, не знаю. Вчера тип какой-то страшный приходил, спрашивал вас. Ужасно противный и страшный,— сказала она и печально как-то собрала губы в узелок, как старуха.

В коленях появилась мелкая противная дрожь, я сел, отодвинул чашку, облокотился на стол, страх удавкой перехватил горло, в голове истерическим повтором забился, затрясся, припадочно корчась от неизвестности, вопрос: «Кто-кто-кто?»

Она вдруг шагнула ко мне, положила руку на плечо возле самой моей шеи и сказала:

— Я так испугалась, Алексей Петрович... Ну, он очень страшный и еще какой-то... прямо не знаю... ну, просто гнусный.

Теплый край ладони коснулся шеи, и я почувствовал, как дрожит Натальина рука и что дрожь передается мне.

— Успокойся,— сказал я и взял ее за другую руку, безвольно висевшую вдоль тела, снизу вверх заглянул в испуганные, сиренево потемневшие глаза.— Расскажи по порядку, пожалуйста,— сжал ее теплую узкую кисть и ощутил себя ничтожно маленьким и убогим, охолонутым смертельными, не ведающими пощады ветрами всех голодовок, душевных обид и телесных ран, вдруг спрессовавшихся в тупую усталость и безразличие загнанного, изнемогшего зверя, в котором уже отключились инстинкты и память и осталась только потребность отравленных кислородным голодом мышц в долгом, пусть даже смертельном покое. Тело стало тряпочным, будто из него выдернули позвоночник, я опустил голову, бескостно ссутулился и закрыл глаза. Морочащая одурь вкрадчиво и ласково отгородила от яви. Только где-то внутри меня, в самом сокровенном, лишь в последний

миг сдающемся небытию зернышке билась и пульсировала заменяющая явь счастливая и горькая несбыточная мечта...

Я выпрямил спину, открыл глаза и выпустил руку Натальи.

— Кажется, перебрал вчера. Что-то давит,— сказал я небрежно и вздохнул.— Так расскажи, кто там приходил?

— Он стоял у ворот сначала,— с дрожью в голосе сказала она,— такой, с усами ниточкой, а лицо... Я не знаю, у него нет лица, но оно очень страшное... Ой,— она слабо повела рукой,— когда он посмотрел, как... мертвец, я чуть не закричала. И кепочка у него, и пальто,— просто какой-то шпик или наемный убийца. И голос. У нас так колодезный ворот скрипел. Ой, не могу. Не спала, боялась что приснится,— она сильнее оперлась на мое плечо.

— Он спрашивал тебя о чем-нибудь?

— «Не знаете,— спросил,— скоро будет хозяин машины?» Я сказала — не знаю.

— Правильно. Ты ведь действительно не знала. И нечего бояться. Это мой старый знакомый,— как можно спокойнее ответил я и, сняв ее руку с плеча, встал.— Вполне безобидный человек, да еще и страдающий от несчастной любви. Его женщина вышла замуж за другого,— я рассмеялся.— Вот тебе ключи.

Наталья вдруг качнулась ко мне, обняла, припала щекой к плечу и низким, с пугающим подвывом голосом сказала:

— Да я же не смогу без вас. Если что-нибудь случится, то я... стану самой мерзкой шлюхой.— Руки ее ослабли, она отшатнулась, горестен и грозен был взгляд.— Или убью себя,— тихо, почти шепотом закончила она.

Я почувствовал боль в руке и разжал кулак. Бородка ключа пропорола кожу ладони, я бросил ключ на стол, лизнул закровившую ранку, сказал зло:

— Одна девушка уже грозилась мне приблизительно этим, в тот год, когда ты только появилась на свет. Так что не надо.

— Она умерла? — глухо спросила Наталья, потупившись.

— Нет. Она довольно комфортно вышла замуж и стала пристойной и обеспеченной пожилой тетей,— сказал я уже спокойно.

— И ни о чем не жалеет?

— Жалеет, что ей не двадцать и уже трудновато опять выскочить замуж,— сказал я и ощутил подонческое злорадство.

— А ей это надо? — спросила Наталья, подняв глаза, взгляд был задумчив и тих.

— Откуда мне знать, какого рожна вам всем надо,— намеренно грубо ответил я и добавил ворчливо:— Вышла замуж за принца, который старше на двадцать пять лет, а когда самой стало сорок, поняла, что у сказки богатый, но грустный конец.

— У моей сказки будет добрый и честный конец,— твердо сказала Наталья и, поправив челку, улыбнулась.

А внутри у меня что-то мелко дрожало и скулило, точно брошенный, обреченный, слепой и мокрый звереныш, испытывающий только покорность и бесформенный страх. И нужно было заканчивать разговор, заканчивать раз и навсегда.

— Наташа, послушай, девочка,— сказал я спокойно,— я очень верю, что у тебя все будет прекрасно: и жилье, и работа. И спутник жизни, так сказать, будет, обязательно такой, какой надо. Только не надо спешить, не надо забегать вперед судьбы... Я просто не знаю, как тебе объяснить, но тот, кто слишком много думает о будущем и пренебрегает настоящим, тот получает совсем не то, о чем мечтал. Для будущего самое главное — настоящее. Завтра делается сегодня. Заметь, делается самим человеком, потому что ему никто, кроме него самого, помочь не может,— я вздохнул.— И пожалуйста, выкинь из головы всякие бредни по поводу пожилых мужиков. Как это? Не можно в одну телегу впрячь коня и трепетную лань. Это всегда потом оборачивается взаимной ненавистью... А, черт,— я разозлился за проповеднические интонации свои и сказал раздраженно: — Это просто подростковое любопытство к миру взрослых — твоя тяга к мужикам пожилым. Тебе кажется, что так ты быстрей станешь самостоятельной, уверенной. А получится, что наглотаешься всякой гнуси и будешь думать, что в мире — одни подонки. Что вообще-то близко к правде, потому что только подонок может воспользоваться твоей дуростью.— Я взглянул на часы и сказал: — Ну, все. Мне пора.

— Нет уж, подождите,— сказала Наталья, и низкий голос ее задребезжал жестью,— раз вы такой благо-

родный, Алексей Петрович. Я тоже скажу, что думаю о вас.

— Может, не стоит? — спросил я устало.

— Нет, стоит! — почти выкрикнула она, глаза, потемнев, странно сузились и стали чуть раскосыми, кровь отхлынула от лица, и пугающей стала его светящаяся обнаженная белизна с проступившей под глазами тонкой синью.— Так вот, вы — трус, криводушный трус!

Я опустил голову. Не было сил выдержать ее сузившийся раскосый взгляд, но слова не обижали.

— Я знаю, что нравлюсь вам,— она зашмыгала носом.— А вы знали, что мне от вас ничего не надо, но все равно испугались. Лишь бы не быть обязанным. И все прикрываете благородством, а это ханжество... Вы... как старая дева,— она снова зашмыгала носом.

Мне вдруг разом стало смешно, и грустно, и жаль Наталью. Вернее, не ее, а вот этих минут ее жизни, что они растрачены впустую, без ответа, за то, что они прожиты не там и не с тем, за то, что мы с ней не равны. Единственное, чем мог я отплатить ей, была откровенность. И я сказал:

— Наташа, пойми,— поднял голову и пристально посмотрел ей в глаза — косина в них пропала, и, густосерые, влажные, под прямыми бровями, они выражали только печаль,— тут дело не во мне, хотя ты мне, действительно, очень, очень дорога. То есть... поэтому я не могу, не имею права... И тут дело не в разнице лет, понимаешь? — Слова выходили с трудом, они ничего не могли объяснить и только доставляли мучительную боль безысходности.— Ты ведь даже не знаешь, что у меня за тылы. А мне нельзя с тобой,— я задохнулся от горечи и добавил сдавленным голосом:— Вот ты испугалась вчерашнего человека. Так на самом деле он — это я. Только у меня рожа благопристойнее и шмотки дороже, потому что я хитрее и умею маскироваться.— Я выдернул сигарету из пачки, закурил, одним глотком выпил остывший кофе.

Она молчала. Я чувствовал в этом молчании ее несогласие и решил идти до конца.

— Потом все это пройдет, потому что слишком банально,— небрежно сказал я.— Девушка из университета увлеклась человеком, который показался ей начитанным и необычным. Ей кажется, что он возьмет на руки и прямым ходом внесет в счастье. А через годик выяснится, что этот паладин храпит по ночам, даже на

лишние колготки неспособен заработать. Вот тогда и начнется омерзение к нему и к себе,— я стряхнул пепел в раковину, сказал: — Ключи не забудь бросить в ящик,— и повернулся к двери.

Наталья, чуть зацепив меня плечом, проскользнула в переднюю, щелкнула выключателем и спиной прислонилась к двери. Румянец уже вернулся на свое место, и она улыбалась, но глаза были пасмурны.

— Наташа,— сказал я,— меня уже подпирает время. Мы еще поговорим.

— Да не о чем больше говорить,— ответила она, склоняя голову набок.— Только вы напрасно думали, что я вижу вас в каком-то романтическом свете. Я — деревенская, хоть и учусь в университете. И всегда привыкла рассчитывать только на себя. Ну, а о некоторых чертах вашей биографии я и сама догадывалась, а остальное любезно разъяснил ваш добрый друг. Пока,— она отступила от двери и отворила ее передо мной.

Сдернув кожанку с вешалки, я вышел, во дворе постоял в пасмурном свете. Последние слова Натальи озадачили. Я никогда не думал, что Кирка может что-нибудь рассказать про меня, да и вообще не знал, что они с Натальей где-то встречались. Хотя почему бы и нет, и почему Кирка должен скрывать что-то обо мне?

Я достал ключи от машины, открыл дверцу и сел за руль. На душе было неприятно: день начался плохо и еще по пути на работу нужно было повидать Краха. Если он появился вчера возле моего жилья после утреннего нашего свидания, значит, что-то случилось.

Улица казалась светлее двора, а когда я доехал до Баскова и взглянул налево, то увидел в просвете домов белесо розовеющий край неба и подумал, что погода может еще разыграться. Настроение стало чуть лучше. По Жуковского я выехал на Лиговский, пересек площадь Восстания и остановил машину за квартал до Свечного.

Здесь было многолюдно на узком тротуаре. Люди шли по-утреннему быстро. Глухо шумели переполненные трамваи. Шипели баллоны машин по сырой мостовой. Воздух казался серым и дымным. Лиговский не был парадным проспектом города.

Я вылез, захлопнул дверцу, сунув руки в карманы, потоптался возле машины, чтобы оглядеть проходящих людей. Кажется, никто не интересовался мною, но на всякий случай, отойдя на десяток шагов от машины,

я резко повернулся, возвратился и запер дверцу. Быстро дошел до Свечного, свернул направо и сразу же вошел во двор. Крах жил на противоположной стороне, и до его дома было еще полсотни метров. Я прошел эти метры двором, вошел в сквозную парадную, выходившую в переулок как раз против ворот нужного мне дома, и осторожно выглянул. На углу Лиговского, где был продуктовый магазин, смутно двигались какие-то фигуры, но мрачный узкий переулок был пуст. Я выскочил из парадной. В колодезном дворе посмотрел на окно третьего этажа, увидел тусклый свет за тюлевой сборчатой занавесочкой и стал подниматься по черной лестнице. Дверь в квартиру открылась передо мной, из нее выскочил парень лет семнадцати, на ходу застегивая кургузое пальто.

— Николай Фомич дома? — спросил я его.

— Не знаю. Зайдите,— скороговоркой ответил он и пустился вниз, прыгая через несколько ступеней.

Я никогда не был у Краха в комнате. Случалось, довозил его до переулка. Окно он показал мне сам — на всякий случай. А сейчас, войдя в узкий темный коридор, загроможденный хламом, я испытал странное чувство узнавания, будто уже не раз был здесь, в этой типичной для бедных районов старого Петербурга квартире. Бочком, чтобы не задеть свисавшее со стен шмотье, я пробрался на тусклый свет, шедший, видимо, из кухни, и постучал в дверь справа. За дверью тяжело зашлепали шаги и послышался скрипучий удивленный голос Краха:

— Кто?

— Откройте, милиция! — повелительно сказал я и, услышав, как он отпрянул от двери, рассмеялся.

— Ну, ты даешь, Петрович,— сказал Крах придушенно, когда я затворил за собой дверь.

— Что, сыграло жим-жим родимое? — спросил я, видя, как он тяжело сел на край постели, растирая грудь под желтоватой, без воротничка рубахой.

— Сыграет,— отдуваясь, обиженно пробурчал он.

Я оглядел всю его сгорбленную фигуру в мятой ночной рубахе и кальсонах с болтающимися у щиколоток тесемками. Тонкая шелковая сеточка была натянута на голову для сохранения прически на ночь. Я отвел глаза и сказал:

— Ну, прости,— и завертел головой, бегло осматривая комнату.

Даже самое безбытное жилище несет отпечаток хозяина. Комната Краха хранила только отпечаток безликости, как дешевый номер провинциальной гостиницы,— желтенькие с невнятным рисунком обои, небольшой квадратный обеденный стол, придвинутый к стене, три коричневых стула с жесткими сиденьями и спинками, зеленая стеклянная пепельница на желтой под дуб столешнице, такой же двустворчатый платяной шкаф возле двери, у окна на низкой тумбочке небольшой телевизор, у правой стены комнаты стоял диван, служивший Краху постелью,— и все. Комната эта могла показаться выморочной, если бы не дешевая картонная акварель над телевизором и три горшочка с какой-то вьющейся зеленью на низком подоконнике.

— Что ты вчера нарисовался во дворе? — спросил я, видя, что Крах отдышался и достал папиросу из пачки, лежавшей на стуле возле дивана.

Он закурил, глухо закашлялся после первой затяжки, страдальчески скривив безбровое лицо с узкой полоской нарисованных усиков, бросил обгоревшую спичку в жестяную консервную баночку, стоявшую тут же на стуле и, видимо, служившую пепельницей, и только тогда ответил:

— Да вздрогнул я вчерась, Петрович,— он глубоко затянулся,— ты уж прости, что засветил там тебя.— Голос был скрипуч, как немазаное тележное колесо.— Я специально у дворняжки спросил, понял — скажет тебе. А то и не сыскать.

Он не смотрел на меня, уставившись пустыми бесцветными глазами в экран телевизора. Смесь страха и раздражения овладела мной, с досадой я вспомнил, что скрыл от Краха даже то, что у меня есть телефон, и резко спросил:

— Ну, так что? — и, выдвинув стул, сел возле стола.

— Видать, Арон раскололся,— сказал Крах тихо и метнул на меня опасливый взгляд исподлобья.

— Ты что, с дочкой начальника розыска спишь? — скорчив веселую усмешку, спросил я, но Крах не принял шутки.

Хмуро посмотрев на меня, он проскрипел:

— Вчера Димку Лохматого — ты должен его знать — на моих глазах в «Сайгоне» повязали. А он давно на Арона батрачил, и дружили они.

— Ты-то что там забыл, в «Сайгоне»? По хозяйской горбушке соскучился? — выкрикнул я.

— Да нет, Петрович, меня там никто не знает. Заскочу иногда кофейку хлебнуть. И шпана с «железки» только в личность может помнить, а кто-что — не знает. У них свои дела, картишки. А я сам по себе. Они думают, что так, сшибаю себе на харчи, кустарь-одиночка и ни с кем не завязан. Меня и Лохматый не знал, это я их всех секу. Все ж я малость похитрее, им-то по стольку лет, сколько я хозяину отслужил.— Крах закашлялся и погасил папиросу в своей жестяной баночке, потом тихо сказал:— Вот тебя бы не черпанули. Вы же с Ароном когда-то вроде в упряжке волокли,— скрипучий его голос звучал виновато и вкрадчиво.

— Арон не такой уж лось, чтобы плести на себя, о чем не спрашивают. У меня с ним лет пять дел не было,— сказал я как можно спокойнее, а внутри, где-то возле желудка, вырос холодный мокрый ком, и знобящая волна холода прошла по спине.— Лохматого без шума вязали? — вдруг осипнув, спросил я.

— Без шума, но шпана, кто там был, засекла. Он только вошел в двери, а они с двух сторон под руки и повели. На Владимирском «матрена» стояла, усадили и повезли,— ответил Крах, и лицо его исказилось злорадной ухмылкой, желтые кривые зубы оскалились.

— Чему рад? Вот и тебя, шакала, свяжут и прокатят бесплатно до Литейного моста, если будешь светить по «сайгонам»,— сказал я и, понизив голос, спросил:— Колись — та хреновина, что в последний раз приволок, темная?

— Что ты, что ты, Петрович. Когда я тебе краденое волок? Не... Старушка продавала. Я спрашивал. Говорит, домработницей была. Хозяйка умерла. От нее и осталось. Не, старуха честная. Она даже не думала, что оправа рыжая. Ей-богу,— Крах кулаком стукнул себя в грудь.

— Ладно,— сказал я, вставая.— Будь завтра днем дома. Понадобишься. Тебе там, в кабаке, отпуск дадут?

— Зачем он мне, Петрович? — спросил Крах, и удивление отразилось в его пустых, как дыры, глазах.

— В Сочи поедешь, на солнце греться, чтобы не светить здесь по «сайгонам»,— ответил я хмуро.

— Я сроду южнее Обводного канала не бывал. Откуда капуста-то? — усмехнулся Крах.

— Дам по старой дружбе. Завтра дома будь. Заеду.— Я встал.

— Ну, а отпуск мне что. Я ж в артели инвалидов.

Крах как-то суетливо поднялся со своей постели. В кальсонах и мятой рубахе, с сеточкой на голове и опереточными усиками, он был похож на какого-то персонажа из комических немых фильмов, и я невольно улыбнулся.

В машине, шныряя из ряда в ряд на загруженном Лиговском, я почувствовал уныние. Минутное ощущение страха там, в безликой комнате у Краха, сначала наэлектризовало резкой взрывной силой, а сейчас пришла вялость.

Если вы достаточно долго занимаетесь не самым распространенным и не слишком почетным ремеслом, за успехи в котором выдают отнюдь не звезды героя, то вы, конечно, даже если не склонны к метафизическим размышлениям, догадываетесь, что вас ожидает. Нет, вы никогда не признаетесь себе, что трехразовое питание и коечка в краснокирпичном домике с зарешеченными окнами с видом на Неву забронированы вам в любой день... Но где-то на дальних выселках сознания всегда будет темнеть мутное бесформенное пятнышко легкого, опасливого и привычного беспокойства, как у самого забубенного верующего даже в отчаянном загуле нет-нет да мелькнет смущение грядущей божьей карой. Или, если вам чужда религиозность и анахронизмом представляется мысль о Страшном суде и воздаянии, можно сравнить это с ощущением любого игрока. Вступая в игру, вы надеетесь на выигрыш и даже на крупный куш иногда, но не можете избежать риска. Таковы правила, иначе игра выродится в беспроигрышное занятие с гарантированной пенсией,— это полезно для здоровья, но скучно.

Я довольно давно играл свою игру и, видит бог, не зарывался. Шел на риск, когда считал его оправданным, соблюдал конспирацию, хотя и понимал ее наивность. И смиренно соглашался с пословицей: сколько веревку ни вить, а концу быть, потому что только идиот может надеяться на безнаказанность, когда его ловят двести пятьдесят миллионов человек. Конечно, можно было и задаться вопросом — зачем все это? И несколько лет назад я бы ответил на него без раздумий, но сегодня я сомневался, потому что уже не верил, как тогда в колонии, что время может вернуться, словно отданная в долг пятерка. И никакими деньгами нельзя оплатить несбывшееся, и нет свободы в денежном выражении.

По Обводному я выехал на Глухоозерское пустынное

шоссе и прибавил газу. Красная стрелка спидометра поползла вверх, встречный поток воздуха запел в желобках крыши. До смены оставалось десять минут.

Подвесные трубчатые ворота аварийки плавно разъехались, пропуская меня. Свернув вдоль бетонного забора, я проехал мимо длинного низкого здания диспетчерской и поставил машину носом к стене кочегарки.

На стояночной площадке уже шла пересменка. Шоферы толклись возле кабин, слесари возились в фургонах, проверяя комплект инструмента, запасы кранов, муфт, трубных гаек и прочего железа; площадка была сырой, но чистой, и красно-желтые машины стояли ровной линией с промежутками в полтора-два метра. Я захлопнул дверцу «Волги» и пошел к своему фургону.

Аварийка получала с завода новые ГАЗ-51 и переоборудовала их под спецмашины. Вместо бортового кузова ставился узкий, не выходящий за габариты задней колеи деревянный фургон, обитый кровельным железом. В фургоне этом был слесарный верстак с тисками, ящики для инструмента и запчастей, железная лестница-стремянка; труба глушителя проходила через фургон — для обогрева слесарей зимой,— еще в машине была коротковолновая рация для связи с диспетчерской. Вот эти машины с экипажем в два-три человека круглосуточно дежурили, готовые выехать на аварию газопроводов, утечку газа в котельных и жилых домах. Летом работа была довольно спокойной, но зимой и весной приходилось повертеться. Земля, промерзая, часто рвала магистрали, от мороза лопались чугунные муфты наружной разводки и лестничные краны. Весной при оттаивании грунта тоже хватало хлопот.

Я приближался к фургону и с каждым шагом все больше становился шофером, шофером из шоферов. Позади оставалась призрачная жизнь мелкой акулы «железки», пропадало, исчезая куда-то, изгойское чувство бродяги, забывались безответные вопросы, бередившие душу, да и ответы становились ненужными,— я будто рождался вновь в счастливом неведении, и время, мое время, исчезало, но только на сутки.

Я подошел к своему фургону, пожал руку сменщику Яше — крепенькому, низкорослому вырицкому мужичку с широкими красноватыми скулами и цепкими, хитро прищуренными глазами. У нас в аварийке работало несколько таких пригородных кулачков, сбывавших на рынке картошку, лук и свинину. Три дня жилились они

в своих хозяйствах, и после этого суточное дежурство в аварийке казалось им блаженным отдыхом.

— Как работалось, Яша? — спросил я.

— Да с вечера шло ничего, а к утру загоняли,— ответил он, показывая в улыбке ровные желтые зубы.— Бак полный, только заправил. Да, еще терендит что-то сзади. Как только больше сорока, так начинает. Я уж думал, стремянки фургона ослабли, залез посмотрел. Там все нормально, так и не понял чего. Будешь ездить — послушай.

— Ладно,— ответил я.— Будет возможность, заеду на эстакаду, посмотрю весь низ. Валяй домой.

— Там, в «бардачке», луку пакетик и сало проперченное. Я тебе принес.— Яша улыбнулся, совсем спрятав глаза в хитром прищуре.

— Спасибо. Но зачем? У меня твоя вязка луку до сих пор на стенке в кухне висит,— сказал я, испытывая смущение и искреннюю благодарность.

— Как зачем? Такого сала в магазине не купишь. Во рту тает. С кусочком одним можно целую бутылку выкушать. А луку нет нигде. На Сытном полтора рубля кило, да разве такой? Я позавчера вынес, и в момент разобрали.

Лицо его стало серьезным и значительным.

Я, улыбнувшись, протянул ему руку.

— Ну, добро. Садись, а то мест не останется, стоять будешь до вокзала.

Утром после смены допотопный ПАЗ подбрасывал шоферов и слесарей до Московского вокзала.

— А мне до Кузнечного только. Там еще пяток мешков картошки нужно расторговать. К обеду справлюсь,— сказал он, пожимая руку.— Счастливо отработать,— и пошел к автобусу, косолапо и крепко ставя ноги в низких, тускло поблескивающих яловых сапогах.

А возле автобуса уже стояла небольшая толпа отработавших смену. Теснясь в узковатых автобусных дверях, шутливо переругиваясь, шоферы и слесари впихивались в салон и спешили занять сидячие места. Взревывали прогреваемые двигатели. Над стояночной площадкой плыл запах отработанных газов, обрывки смеха...

Я вспрыгнул на бампер своего фургона, открыл капот и проверил уровень масла в двигателе, хотя можно было не делать и этого,— Яша был надежный сменщик. И тут, перекрывая шум двигателей, из динамика раздался писклявый голос диспетчерши: «Машина 66-37 — на

выезд». Это был мой номер. Я закрыл капот и залез в кабину. Тут же из двери диспетчерской вышел мой слесарь Витька Цуканов с листком наряда и моей путевкой.

— Здорово. На Дальневосточный поедем,— сказал он, садясь в кабину и привычным жестом поправляя очки с сильной диоптрией.

— Здорово. Поедем,— откликнулся я и завел двигатель.

Выезжая из ворот аварийки, я сразу врубил сирену и проблесковый маячок, выскочил на осевую линию и понесся мимо шарахающихся на перекрестках машин. Работа началась.

Нам с Цукановым пришлось крутиться без перерыва до самого обеда. Меняли уплотнения в сгонах квартирной разводки, делали профилактику плитам в общежитии строителей, искали утечку газа в подвальной кладовой магазина, меняли чугунный кран два с половиной дюйма на вводном домовом трубопроводе. С этим последним пришлось повозиться. Приржавевшие резьбовые соединения никак не сдвигались с места, тяжелый шведский ключ пятый номер сам весил чуть ли не пуд, а Витька был хорошим слесарем, но слабосильным, так что все тяжелое доставалось мне, но это была моя работа. Мне платили полставки за слесаря.

В двенадцать, когда по рации нам ответили, что пока заявок нет и можно пообедать, руки у меня ныли и я старался расслабить их на баранке руля.

Проспект Майорова был опрятен и выглядел праздничнo. Немногочисленные прохожие без сутолоки шли по узковатым тротуарам. А впереди, над Исаакиевской площадью, голубело светлое очистившееся небо. Настроение у меня поднялось. Я сказал Цуканову:

— Поедем в «Погребок», Витька. Там всегда мясо вкусное.

— Да ну его, там дорого,— заныл он.

— Ничего, на бутылку портвейна меньше выпьешь,— сказал я.

— Не,— ответил он, поправляя сползающие на кончик носа очки,— сутки отработать и потом не выпить бутылку, так не пойдет. Я лучше не пожру.

— Дубина, тебе вообще эту бормотуху пить нельзя, без глаз совсем останешься,— сказал я, поворачивая на Плеханова.

— Почему это без глаз? — ворчливо спросил Цуканов.

— Потому что в этой краснухе всяких сивушных масел и дряни в сто раз больше. А сивуха прежде всего на глаза действует. Я видел раз на Севере, как два дурака политуры напились и ослепли,— сказал я, не сдерживая резких интонаций, потому что знал, что Витька не обидится на меня. Мы уже несколько лет катались вместе и успели понять друг друга. Да и парень он был хороший, с какой-то врожденной тактичностью, хотя и вырос в самой простой семье.

— Чего ж ее продают, раз она вредная? — спросил он, и в голосе послышалось упрямство.

— Ох, с тобой не договоришься. Тебе она вредна, понял? Хотя и вообще-то — отрава,— громче обычного ответил я, искоса взглянув на него.

Переулком мы выехали на Исаакиевскую, по зеленому проскочили мимо «Астории», и я свернул на Гоголя.

— Ты сходи в «Погребок», а я подожду,— набычившись, сказал Цуканов.

— Идем, я угощаю. Вчера крупно выиграл.

— В карты? — глаза его за тостыми стеклами блеснули.

— Нет, по лотерее.

— Сколько?

— Полста,— ответил я и рассмеялся, останавливая машину.

— А я, сколько ни покупал билетов, хоть бы руб выиграл,— сказал он огорченно и вылез.

В «Погребок» очереди не было. В полупустом зале стояла тишина. Мы уселись на тяжелые дубовые вертящиеся кресла возле стены, разделанной под кирпич, закурили. Официантка тут же взяла заказ.

Меня охватило чувство уюта и спокойствия, будто не было за мной туманных и тревожных тылов, ощущения уже начавшейся где-то погони и всех предыдущих сорока лет. Без памяти, без прошлого сидел я в опрятном кабачке, где витали сытные запахи жареного мяса и острых приправ, где за столиком наискось от нас сидели одетые в дорогие шмотки, хорошо причесанные, с голубоватыми от томности лицами тоненькие девушки. Они лениво и воспитанно ели мясо и запивали его золотистым напитком из высоких бокалов. На все это было приятно смотреть, даже одинаковость, похожесть девушек друг на друга, ясно ощутимая, но неуловимая

в деталях, была приятна мне сейчас, хотя какой-то дальней, дремлющей в этот миг частицей сознания я хорошо знал цену этим девушкам. Безмятежная гладкость их лиц и легкая скучливость, спокойные движения рук с тонкими запястьями, эти кожаные и замшевые жакеты, чуть помятые с небрежным и рассчитанным шиком,— все выдавало в них людей, уверенных в себе и довольных собой, раз и навсегда ощутивших свою принадлежность к некой избранной касте. Они могли быть продавщицами комиссионного магазина, преисполненными самоуважения за то, что умеют жить. Они могли быть детишками преуспевающих родителей, для которых справедливое устройство мира и жизненные блага — нечто само собой разумеющееся...

Рассеянный свет клал золотистые блики на их чуть игрушечные головки, на яркие губы и поблескивающие лаком ногти... Да, то были дорогие девушки, и я хорошо знал этот сорт.

Цуканов неотрывно смотрел на них через свои толстые очки, на кончике носа у него выступили капли пота. Я усмехнулся.

— И кто только спит с такими? — растерянно и восхищенно спросил он, сняв очки и протирая стекла.

— Тот, кто платит,— ответил я тихо.

— Да ну, ты скажешь. Они совсем не похожи,— недоверчиво отозвался Цуканов и прищурился на меня удивительно маленькими без очков глазами.

— Ты не понял, Витя. Платить надо за все — чувствами, восхищением, безразличием, удачливостью, а иногда и деньгами. А вообще, спят с ними только те, кто их чуточку презирает,— скривившись от сигаретного дыма, попавшего в глаз, я погасил окурок в пепельнице, небрежно заметил: — И вообще, все это декорации, а на самом деле... бывает, что какая-нибудь дворничиха в сто раз интереснее.

Я сказал это и почувствовал грусть и еще теплую зависть к Витьке Цуканову. Он был младше меня на десяток лет, этот подслеповатый слесарь, тактичности которого следовало бы поучиться многим, мнящим себя интеллигентами, и я тепло и грустно завидовал ему за то, что в нем не умер и, видимо, никогда не умрет наивный реалист. Таращась через толстые стекла очков на дорогих девушек, Витька воспринимал свои чувственные впечатления как правдивую информацию. Он не сознавал, что нет способа установить, является ли его личное

впечатление об этих девушках таким же, как впечатление другого человека, и что даже само слово «таким же» не имеет смысла, что любой индивидуальный опыт не имеет объективного и подтверждаемого смысла. И только поэтому человек может быть счастлив, может находить доступную своему пониманию красоту... Одиноко стало мне в теплом, уютном и тихом «Погребке», знание не делало меня счастливее, и в душе гнетущей тяжестью возник беспокойный бессловесный вопрос... Я уставился в столешницу неподвижным взглядом. Цуканов все смотрел на девушек и не мешал мне грустить. И вдруг мой беспокойный, тянущий тяжестью душу вопрос взорвался словами: «А как же Наталья?!»

И я увидел ее на фоне фисташкового кухонного кафеля и с ноющей горестной болью впитывал свет ее серых глаз, полных укоризны и детской надежды. Вглядывался в знакомое, но каждый раз поражающее, по-новому волнующее искренностью и красотой лицо и немо спрашивал себя: где здесь правда? Может быть, я, как Витька Цуканов, не дыша глазеющий на соседний стол, тоже — наивный реалист, считающий свое чувственное восприятие незыблемой объективностью? Значит, я так и остался тем загнанным подростком, двадцать три года назад смотревшим в лицо и глаза другой девушки в полутьме чердака над каретным сараем, — тем растерянным подростком, которого инстинкт самосохранения заставил поверить, что и через годы он увидит то же лицо и глаза той же девушки, поверить, что время возвращается или — что его вовсе не существует? Значит, я все тот же уголовник, почти пятнадцать лет назад, шевеля губами, читавший Гегеля на высоком, поросшем мелкой ольхой берегу реки и веривший в возвращение, в отпущение грехов? Но время не возвращается и никуда не уходит. Оно просто съедает того, кто пытается противостоять, и каждый год — это Змей Горыныч о трехстах шестидесяти пяти головах...

Официантка поставила перед нами тарелки с румяными эскалопами и горкой зеленого горошка. Цуканов снял очки и начал есть. Я усмехнулся и ощутил себя почти счастливым тем спокойствием безответственности, которое знакомо только проигравшимся в прах.

Только сейчас с печальной растроганностью я осознал, что сегодня утром на моей кухне было признание. Признание сильной и самостоятельной девушки, которой можно верить, потому что в ней богом или дьяволом

заложено то, что превыше разума и знания, превыше самой красоты, то, чего почти никогда не бывает на свете,— чистопробная женственность.

Если вам не семнадцать лет от роду и вы много страдали, а значит, думали и чувствовали, то у вас остается совсем мало чаяний. Вы, как обгоревший печной стояк, живете на пепелище своего прошлого, и великая, быть может, самая человечная и мужественная мысль, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля», становится вашей, даже если вы никогда не открывали Пушкина. И вы стремитесь к покою и воле, стараясь отыскать их на доступных путях.

Наш век на старости лет помешался на движении. И люди поздоровее и помоложе лазают в бездонные горные пропасти, карабкаются на высоченные горные пики или низвергаются через пороги бурных рек на утлых тряпичных байдарках — делают то, чего лучше не делать, что гибельно и глупо. Это тоже — «покой и воля».

Вы карабкаетесь на гребни собственных опасных мыслей и иссушающих чувств, бродите в дремучих чащах полузнания о себе и о мире. Это не менее гибельно и не более глупо. И это тоже — «покой и воля». Всякий ищет свое. Но кем бы вы ни были — мелкой акулой «железки», ученым-хирургом или конструктором баллистических ракет,— ваши душевные поиски есть чаянье любви, не той любви, ради которой, тужась, вылезая из кожи и болея нищетой, покупают кооперативный трехкомнатный шалаш.

Вы мечтаете о Любви.

О той Женщине, про которую вы уже знаете в свои сорок (или сколько вам там?), что ее не бывает на свете. Вы это знаете твердо и все равно мечтаете о ней.

Я сидел над румяными, сочащимися ломтями мяса в маленьком уютном кабачке в самой середине моего города.

Век уже дожил до седых волос, и мне было сорок, а судьба подносила невозможный подарок. Я понимал, что мне привалило то, что, быть может, случается только с одним из миллиона. Но я потерял право на это, как прокаженный теряет право на жизнь среди нормальных людей. Я чувствовал, что люблю Наталью, что любил ее задолго до встречи, выстрадал всей несуразной своей жизнью. Но слишком поздно.

Зато я никогда не увижу, как Наталья станет мачехой, подумал я, усмехнувшись.

— Ты чего не ешь? — спросил Витька.

— Растягиваю удовольствие,— ответил я и взял вилку и нож.

Чувство мое капитулировало перед насмешливой мыслью, но это была не черствость, это тоже была любовь.

«Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне?..»

Мы быстро поели и вышли на улицу Гоголя, еле заметно подсвеченную невидимым солнцем. В «Погребке» остались дорогие девушки и мои невеселые мысли.

— Ну что, свяжемся или покурим спокойно? — спросил Цуканов.

— Как хочешь,— сказал я, открывая дверцу кабины, и тут вдруг сквозь уличный шум услышал стеклянный умытый звук капели. Я встал на подножку, повертел головой.

С конца большой мутной сосульки, висевшей на карнизе старого дома, срывались блестящие зеркальные капли и звонко подпрыгивали в маленькой луже под стеной.

Нищая, белесая чухонская весна робко прокрадывалась в город. И что-то ударило меня изнутри предчувствием перемен, обреченностью, солоноватым, как кровь, смутным теплом беспредметных надежд. Вдруг сразу огрузнув, я неловко забрался в кабину.

Цуканов уже говорил по рации. Сквозь трески и шорохи эфира раздраженный голос нашей диспетчерши казался визгливым и обиженным.

— Понял, понял: Новолитовская,— сказал Цуканов и положил трубку.

Посмотрев на него, я завел двигатель.

— Запах газа в квартире,— он пожал плечами и поправил очки.

Я кивнул и тронул машину с места.

Заявка была пустяковая, мы справились с ней быстро, и, когда вышли на пустынную Новолитовскую к машине, я сказал Витьке:

— Подожди связываться. Мне к приятелю минут на пятнадцать надо. Здесь, рядом.

— О чем разговор. Давай. Тут в квартире телефона нет,— согласился он. И я рванул на Полюстровский, где была Киркина клиника.

С раннего утра, после разговора с Натальей, прямо зудило желание увидеть его и задать маленький не-

брежный вопрос. И когда я уже шел по белому коридору, насквозь провонявшему аптекой, зуд этот стал почти нестерпимым.

Тихо было в этом коридоре. На отделении почти сплошь лежали тяжелые больные, и за дверьми палат стояла та же тишина. Я дошел до столика дежурной сестры и спросил:

— Кирилл Анатольевич у себя? — Я знал, что сегодня не операционный день.

— Да, только кончился обход,— ответила молоденькая, вся накрахмаленная, чистенькая девушка.

Я поблагодарил. Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел.

Кирка был один. Он сидел за письменным столом. Очки лежали на раскрытой папке с историей болезни. Подслеповато уставившись в мою сторону, он молчал, видимо не узнавая.

— Здравствуй,— сказал я.

— Алеша?! — удивленно спросил он и шарящим жестом нашел на столе очки.

— Да, заехал вот по пути,— сказал я, проходя к окну и садясь на стул,— поглядеть на тебя. У меня вчера день рождения был, надо будет отметить хоть раз-то в жизни.

— О черт, ведь забыл,— Кирка захлопнул папку.— Прости, закрутился тут.

— Да брось. Сам вспомнил случайно.— Я поглядел в окно на молодой больничный сад. Клиника переселилась сюда недавно, и деревья были тонкими, кроны в две-три ветки. На газонах лежал ноздреватый посеревший снег, дорожки уже обтаяли, и возле их краев щетинилась буроватая летошняя трава. Где-то припрятавшееся солнце придавало снегу еле уловимый оттенок желтизны.

— Да, значит, сорок,— вздохнул Кирка и опустил взгляд. Белый колпак, надвинутый почти до самых очков, делал его длинное лицо суровым и старым, резче выступали отвесные сухие морщины на щеках, и точно пригнанные друг к другу губы были жестко, но без напряжения сжаты, такие губы бывают у мотогонщиков и цирковых воздушных гимнастов,— людей, которым каждодневно приходится идти на хладнокровный сознательный риск...

— Да,— ернически откликнулся я,— молодой человек сорока лет с квартирой и машиной. Голубая мечта пятикурсниц, испуганных распределением, и любимец официантов. Словом, баловень судьбы.

— А что? — Кирка пристально посмотрел из-за толстых стекол.— Конечно, баловень,— и скупо улыбнулся.— Для нашего поколения сорокалетие — как выигрыш в лотерею. Тут уж без большого застолья не обойдешься.

— Так вот, дело только за тобой. Остальные в любой вечер могут,— сказал я.

— Да? — Кирка наклонился, полистал на столе календарь.— Так, среда, завтра плановый. В четверг дежурим по «скорой».— Он поднял голову.— Знаешь, Алеша, только в пятницу,— он снова улыбнулся скупо и виновато.

— Ладно, пятница так пятница,— сказал я.— Этот день, наверное, всех устраивает.

— А тебя? — спросил Кирка, видимо что-то уловив в моем голосе.

— Да мне в субботу снова на сутки. Но так, может быть, даже лучше — меньше пить буду,— ответил я.

— Ну зачем. Давай в четверг. Если не привезут под вечер какого-нибудь резаного-колотого, то я часов в семь освобожусь. А где, кстати, ты собираешься давать пир?

— В «Европейской», где же еще. Думаю, там не так много будет народу. Нет, пятница, пожалуй, хорошо, если собраться пораньше, часов в пять. А я еще, может, и поменяюсь со сменщиком и буду свободен в субботу.

— Что, специально будешь меняться сменами? — вытаращился Кирка из-за очков.

— Да ну, специально. Надо съездить в Щербаковку, бабку посмотреть,— соврал я. На самом-то деле вовсе не из-за этого собрался я в Щербаковку, а потому, что не очень верил в твердость и здравый смысл Арона. Нужно было где-нибудь отсидеться.

— Сколько ей сейчас? — спросил Кирка.

— Точно не знаю, около девяноста.

— Вот, понимаешь ли, прочность. А тут,— он мотнул головой в сторону двери,— до шестидесяти пяти еле дотягивают, и пятнадцать из них по больницам,— раздраженно сказал Кирка.

— Она только лет пять назад корову согласилась продать. Дядька с трудом уговорил. А то каждую неделю таскалась сюда на рынок со сметаной, творогом и еще в парную ходила на Пушкинской,— сказал я и рассмеялся. Бабка у меня действительно была что надо.

— Да-а,— протянул Кирка,— а тут сорок лет со скрипом. Ну, а народу-то много приглашаешь?

— Наташа, ты да Буська,— я вдруг запнулся, вспомнив вчерашнее, и неожиданно для себя сказал: — Вчера неладно вышло у меня с Белкой.

— Катила бочку на мужа, а ты заступился? — усмехнулся Кирка.

— Да, понимаешь, заехал вечером, тоже вот пригласить. Буськи не было. Попросил кофе, потому что выпил малость да тоска одолела: у отца был до этого,— я смолк и поморщился, уже жалея об откровенности.

— Ну и что?

— Ну, тошно мне стало и физически плохо, может быть, сердце схватило... Пожаловался, кажется, а она вздумала черт знает что... Полезла с поцелуями, с дурацкими объяснениями в любви. Отрезвел сразу и выскочил как намыленный из квартиры.— Я почувствовал, что загорелись скулы, и добавил с неподдельной злостью: — Теперь Буське в глаза посмотреть стыдно.

— Ну, ему об этом знать совсем необязательно,— сказал Кирка, отводя взгляд,— а по идее что-то такое должно было произойти. Нельзя здоровой тридцатилетней женщине сидеть без дела, да и без мужа в принципе. А Буся думает, что если он покупает ей всякие тряпки и побрякушки, то и все прекрасно.

— Да не в этом дело, будет он знать или не будет. Просто неприятно. Да и эта дура нашла тоже предмет... Мне только пошлого адюльтера не хватало для полного счастья,— в сердцах сказал я.

— Ладно, обойдется. Она неглупая баба и забудет,— сказал Кирка и улыбнулся насмешливо.— Видишь, женщины на тебя вешаются, значит, жизнь не кончена в сорок лет.

— Действительно, оперетта да и только,— в тон ответил я и встал, рассеянно оглядел Киркин кабинет — медицинский топчан, застланный простыней, стеклянный шкаф с книгами и папками, фаянсовую раковину с длинной рукояткой крана, которую можно двигать локтем.— Ну, пора, слесарь там в машине. Значит, в пятницу к семнадцати в «Европейской». Остальным сообщу.

— Счастливо. Договорились,— сказал Кирка, вставая из-за стола.

И тут я почувствовал, что время того вопроса, ради которого я и приехал, настало. Любопытные вопросики, если хочешь получить верный ответ, нужно задавать

неожиданно и небрежно. И я спросил, пристально глядя на Кирку:

— Да, слушай, у тебя когда-нибудь Наталья интересовалась моей биографией? — Сделал два шага к двери, остановился и снова поглядел на него. Короткий белый халат подчеркивал Киркин рост, но придавал всей фигуре что-то слегка комическое. Я улыбнулся.

— Нет, насколько помню, специально не интересовалась,— медленно ответил Кирка и внимательно осмотрел свои ногти. Кисть руки была большой и шершавой на вид от частого мытья.

— Что-то больно много она знает,— я удержал улыбку на лице.

— Ну, видишь ли, я не считал нужным скрывать от нее, что ты сидел и все такое... И, наверное, в разговорах среди прочего упоминал об этом.— Он вдруг незнакомо улыбнулся, показывая крупные белые зубы.— И потом, я небеспристрастен и к ней и к тебе. А скрывать эти вещи от нее, по-моему...— он запнулся, повертел сложенной горстью рукой, подыскивая слово, но так и не нашел нужного и сказал с оттенком раздраженного смущения: — Она и так слишком идеализирует людей.

— Ты ошибаешься,— сказал я, все еще улыбаясь.— Женщины обманываются только при первых впечатлениях, а потом все засекают. И чем больше обманываются сперва, тем вернее видят потом.— Я взялся за ручку двери.

Кирка сунул руки в карманы халата, спросил, пригасив голос:

— Подвел тебя, что ли?

— Да нет, наоборот, хорошо. Я бы сам, может, и не сказал бы, а сказать было нужно. Ну ладно. Пока.

Проходя по больничному коридору и спускаясь по лестнице, я раздумывал над тем, что откровенность — это роскошь, доступная лишь тем, кому нечего скрывать, но она не тождественна искренности. Наверное, я все же чувствовал обиду, но не хотел признавать ее.

Вторая половина дня выдалась суматошной, и мы вертелись с Цукановым по всему городу, устраняя утечки. Только в семь часов нам разрешили вернуться в аварийку.

Все машины стояли на площадке, и Витька неожиданно разозлился:

— Вот, они тут загорают, а мы вертимся. Сейчас посмотрю, кто сколько заявок сделал,— он потряс за-

полненными листками нарядов и, вылезая, в сердцах сильно хлопнул дверцей кабины.

Я закурил и стал думать, что это за вибрирующий звук, о котором говорил сменщик Яша. Временами я тоже слышал его при езде. Потом вылез из кабины и стал ощупывать стекла фургона, петли двери, залез внутрь, пошатал трубу глушителя, проходящую над полом, проверил верстак и крепление стремянки и, не обнаружив ничего подозрительного, пошел в помещение. Уже дойдя до двери диспетчерской, обернулся, окинул взглядом всю машину и заметил, что литой алюминиевый корпус проблескового маячка на крыше фургона как-то перекосился.

Я вернулся, с подножки осторожно залез на капот, потом на кабину и с нее перебрался на крышу фургона. Маячок крепился на двух болтах, и один отошел, вот корпус и терендил по крыше фургона.

Спустившись, я достал ключ на семнадцать, снова забрался на крышу и стал затягивать болт. Головка его была утоплена в узковатой вытачке корпуса, и тут сподручнее было бы крутить торцовым ключом, но такого у меня не было, и я долго тыркался рожковым, наверное минут десять, пока натуго не затянул болт и еще поджал второй. От неудобной работы в наклонку заныли спина и поясница. Я выпрямился на крыше и развел руки в стороны.

С высоты фургона поверх бетонного забора аварийки стал виден перекресток улиц Седова и Бехтерева, через него, неуклюже и тяжело поворачивая, проходил троллейбус. Желтоватый бледный свет в его окнах делал заметнее сумерки, плескавшиеся меж темных заводских заборов. И тут заметил я блики густо-красного накала на стеклянном шестиэтажном ящике таксомоторного парка, стоявшем слева на той стороне.

«Солнце»,— почему-то заволновавшись, подумал я, повернулся на звонко отозвавшейся под каблуками крыше фургона на запад и увидел лиловое с сузеленью высокое небо и сплюснутый, почти овальный диск дикого, грозно рдеющего негородского светила.

Ночью не было ни одного выезда.

11

Покорно и тупо брел я по мглисто-белесой дороге по колено в косматых завоях поземки, петлял по снежным

стылым полям, огибал курящиеся искристой синей пылью бугры и, наполненный бесформенным страхом, застыл перед спуском в глубокий распадок, где слоилась зловещая мгла, и тут проснулся в холодной испарине. Я сел, хлопая глазами в полутьме большой комнаты, наполненной сонным дыханием многих людей. Рядом на топчане, положив под щеку ладонь, по-детски посапывал Цуканов. Без очков его лицо казалось маленьким и обиженным.

Можно было не смотреть на часы, я и так знал, что сейчас ровно половина седьмого. Мой внутренний будильник работал безотказно. Я тихо обулся, напялил кожанку и вышел.

Жиденький серый рассвет неохотно вставал над городом. Отчетливо слышался сухой шелест токосъемников по проводам: троллейбусы один за другим выходили на линию. Парк был рядом с аварийкой.

Я постоял на площадке против выстроенных четким рядом фургонов и «козликов», вдыхая прохладный утренний воздух, потом достал сигарету, закурил и пошел к своему фургону.

Двигатель завелся сразу, потому что я вставал прогревать часа два назад. Зарулив на мойку в отдаленном конце площадки, я достал из кузова швабру, резиновые монтерские перчатки и минут за десять вымыл фургон и кабину, отъехал на место и пересел в свою «Волгу». Ее я мыл дольше и тщательнее, но все равно к семи часам обе машины сверкали и фургон был подготовлен к сдаче сменщику. Потом я побрился «спутником» и залез под душ.

Я специально просыпался раньше всех, чтобы без помех вымыть машины и самому умыться в еще не затоптанной душевой. Вообще я любил утренние часы за то, что еще ничего не случилось.

Посвежевший, окончательно стряхнувший с себя наваждение неприятного сна, я вошел в диспетчерскую, закуривая вторую утреннюю сигарету, и поздоровался с диспетчершей Верой — молодой, низкорослой, с крепенькой, без талии фигурой и круглым миловидным лицом, обрамленным химическими кудерьками цвета сливочной помадки.

— Чаю свежего хочешь, Алеша? — Она приветливо улыбнулась и щелкнула тумблером, потому что зажегся глазок коммутатора.

— Аварийная,— уже другим, холодным голосом

сказала она в трубку. Выслушав кого-то на том конце провода, ответила с облегчением: — Обращайтесь в жилконтору... узнайте по ноль девять. — Она повернулась ко мне и снова улыбнулась: — Батарея у него потекла с утра. Неси кружку. Чай индийский, со слоником.

— Спасибо, Вера, неохота, — я сел за пульт на свободное кресло рядом с ней, придвинул к себе медную крышку подшипника, служившую пепельницей, и попросил: — Если сейчас заявка будет, то ты нас с Витькой не посылай.

— Чего это вдруг? Вы и так всю ночь проспали, — сказала Вера, лукаво улыбаясь.

— Ну, ночь, — в тон ответил я. — Было бы с кем, так можно и не спать. Могла бы разбудить, я б не обиделся.

Вера зарделась, похорошела.

— Болтун. Сейчас будет заявка, и поедешь как миленький, — с притворной строгостью пригрозила она.

— Нет, серьезно, мне начальника колонны нужно увидеть и еще приятеля застать, а то уйдет на работу, — сказал я.

— Да ладно, не пошлю, — слегка куражась, сказала она.

— Ну вот теперь понятно, за что я тебя люблю, — я встал, наклонился, поцеловал ее упругую горячую щеку и вышел из диспетчерской.

В половине восьмого автобус привез смену. Я сдал машину сменщику и зашел в конторку начальника колонны.

В тесной каморке, выгороженной в углу ремонтного бокса, было холодновато. Над потемневшим от пятен смазки конторским столом висела на проводе голая лампочка. Начальник был из отставников, в меру упрямый, но не злой человек. Мы с ним ладили.

Он сидел за столом, не снимая черного залоснившегося полушубка и потасканной ушанки с кожаным верхом. Я положил на стол свою путевку, поздоровался.

— Здоров. Как работалось? — спросил он хрипловато, закашлялся, наклонившись над столом, потом, ухнув, выдохнул и ругнулся: — Такая-сякая мать. Прохватило.

— Будешь здесь сидеть, так все время будет. Вон, на прорабском свободно. Перетащи туда стол и сиди в тепле, по-человечески, — сказал я.

— Да надо, конечно, — согласился он, но было ясно, что стол так и останется здесь, в холодной конторке.

— Слушай, Иван, — сказал я, — Толя Левезов за

меня пару смен отработает? Мне в деревню нужно смотаться, бабку навестить — жива или нет.

— Опять? Ох, поймает нас бухгалтерия, будет тогда мне первому по холке,— шумно вздохнул он.

— Да ну, тут все свои. Да для бухгалтерии, думаю, это давно не секрет. Купим им на Май цветочков,— сказал я.

— А Левезов-то выйдет? Смотри, машина останется без водителя — тебе прогул запишу,— снова шумно вздохнул Иван. Простужен он был, видимо, здорово.

— А как же. У нас с ним уговор давно,— заверил я и добавил: — Тебе денек дома посидеть надо, а то свалишься по-настоящему.

— Да сейчас путевки заполню и уеду. Не могу, задыхаюсь,— ответил Иван.

— Ну, будь. Не болей.

Я вышел, направился в диспетчерскую позвонить Толе. Он работал через сутки после меня, и мы с ним всегда подменивались. Вернее, он всегда подменял меня, потому что собирал на машину и вечно нуждался в деньгах. Начальник колонны Иван закрывал на это глаза. Мы вписывали в путевку карандашом вторую фамилию. Толя, отработав сутки, стирал ее и сдавал путевку, будто работал я. Потом в получку я отдавал ему деньги.

В диспетчерской была обычная утренняя суматоха и звонить было неудобно. Я ткнулся в двери кабинета начальника смены. Там никого не было, и я позвонил и попросил Левезова отработать.

— Сколько суток? — спросил он, сонно зевая в телефонную трубку.

— Я просил у Ивана двое, чтобы он не вздрагивал, но ты выходи и дальше, если не появлюсь вовремя.

— Скандал будет,— снова зевнув, ответил Толя.

— Ничего. Машину пустую не оставят, а кроме тебя работать некому. Потом я приеду и все улажу.

— Ладно, счастливо.

— Будь,— я повесил трубку.

Автобус уже увез отработавшую смену. На площадке было тихо... Я сел в свою машину, завел двигатель и, закуривая, вдруг почувствовал будоражащий, но холодный азарт, который приходит к игроку, когда уже сданы, но еще не открыты карты. Пальцы слегка дрожали, когда я втыкал передачу.

В половине девятого я уже въезжал в свой двор. Сразу же развернул машину носом к воротам и, чувствуя

некоторое разочарование, что не встретил Наталью, и вместе с тем довольный этим, потому что сейчас не до лирических разговоров, я вбежал в парадную, достал из почтового ящика ключи и вошел в настоявшуюся тишину квартиры, аккуратно запер за собой дверь.

Разобрать и собрать секцию батареи было делом пяти минут. Я поставил стол на место к окну, взвесил на ладони сверточек в шуршащей бумаге, хотел было сунуть в карман, но почему-то развернул и поймал себя на том, что смотрю на эту штуковину не своими глазами.

Когда я просил диспетчершу Веру не посылать меня на утреннюю заявку, потому что мне нужно застать дома приятеля, то говорил почти правду. Хотя тот, которого я собирался повидать, никогда не был моим приятелем и даже не вызывал человеческого интереса. Просто он сильно понадобился сейчас и, пожалуй, был единственным в городе, а может быть, и в стране, кто мог принять мое предложение.

Я ехал по суматошным утренним улицам в свете погожего апрельского дня и мысленно прикидывал разговор с этим человеком, пытался взглянуть на предстоящую комбинацию его глазами, как только что в кухне его глазами рассматривал штуковину, тяжелым комочком притаившуюся в нагрудном кармане моего пиджака...

На «железке» человек этот был когда-то известен очень немногим как заурядный дилетант. Никто не знал его настоящего имени, и шпана, батрачившая на разных акул, прозвала его Хмырь. Он появлялся на «железке» маленький, сутулый, в мятом и пыльном демисезонном пальто, которым побрезговал бы даже старьевщик, ни с кем не общаясь, угрюмо зыркая по сторонам черными навыкате восточными глазами, выкупал у какой-нибудь старушки пустяковый крестик или колечко и исчезал. Шпана чувствовала в нем чужака и не любила. Было это лет пять назад, тогда мне уже надоело батрачить на Арона, и я собирался организовать свое дело и внимательно присматривался ко всем, кто появлялся на «железке»,— к постоянным перекупщикам-батракам, к изредка заглядывавшим сюда акулам-работодателям и работникам сыска, не обижавшим своим вниманием «железку». Надо отдать должное последним: они очень старались и, пожалуй, не зря получали свою зарплату, но поймать мелкого перекупщика дело такое же трудное, как изловить карманного вора, даже еще сложней.

Карманника можно застукать только с поличным,

при свидетелях ухватив его руку в чужом кармане, а батрака, даже застав на покупке какой-нибудь вещицы с рук (хотя это тоже трудное дело), не в чем обвинить. Батрак сказал бы, что покупает вещицу в подарок любимой жене или бабушке, и доказать, что он систематически скупает драгоценности для перепродажи, на таком единичном случае практически невозможно. А уж добраться до акулы, на которую работает батрак, и вовсе трудно: батраки не выдают акул, потому что это верная тюрьма самому батраку. Акула же может погореть только на сбыте крупной партии товара еще более крупному перекупщику, зовущемуся по терминологии «железки» «ямой». Но ямы тоже не просты и не испытывают особого желания устроиться на казенные харчи. Правда, я никогда не имел дела с ямами. С тех пор как бросил Арона и завел собственный бизнес, я решил не связываться с ними. Я предпочитал сбывать те неинтересные штуковины, которые приносили мне разные крахи, без посредников.

Всегда найдутся какие-нибудь люди, удачно поторговавшие на рынке мандаринами или мимозой и желающие приобрести по сходной цене золотые побрякушки. Я тщательно подбирал этих людей, и за несколько лет у меня появились добрые знакомства в нескольких южных республиках. И этих знакомств вполне хватало для того, чтобы не испытывать затруднений с реализацией, ведь предприятие мое было не слишком большого масштаба,— словом, я был и акулой и ямой в одном лице, это требовало бóльших хлопот, но зато у меня было меньше шансов заинтересовать своей скромной персоной ленинградский сыск. И батраков я подобрал себе не слишком алчных и наглых — главное таких, которые не продали бы меня не только из соображений собственной безопасности. При всем при том я понимал, что без хорошей глубокой ямы в моем деле не обойтись, но не хотел иметь дело с теми, кто заочно правил этой «железкой» и кто рано или поздно должен был попасть для интересной беседы в тот облицованный розоватым гранитом дом, что стоит в начале Литейного.

Быть может, по этим соображениям или из праздного любопытства я стал лет пять назад присматриваться к сутулому, крючконосому Хмырю. Шпана, конечно, не ошиблась в своей оценке — Хмырь был дилетантом. Но то, что он — нищий, как презрительно отзывался о нем Крах, было заблуждением. Этот лупоглазый, похожий на

чистильщика сапог — айсора человечек мог купить с потрохами всю «железку». Его платежеспособность я выяснил довольно просто.

В один прекрасный день я сыграл роль банального лоха, идущего сдавать в скупку бабушкины драгоценности. Выходя из дверей пункта, в котором потоптался минут пять, я неловко застегивал пальто и держал в левом кулаке довольно привлекательную штуковину и при этом корчил недовольную и рассерженную мину. Разумеется, Хмырь сразу засек меня. Еще бы, я ведь для него и старался. Он шел за мной до самого Невского. У «Титана» поравнялся и тихо спросил:

— Вы хотели что-то продать в скупочном?

Я посмотрел на него как на привидение, растерянно пробормотал: «Нет, нет»,— и прибавил шагу. Он заглотил эту наживку.

Где-то возле Марата ему удалось завоевать мое доверие. Мы разговорились. Я посетовал, что в скупке предлагают слишком малую цену, а потом в каком-то дворовом скверике, как последний фрайер, показал ему из крепко сжатой и слегка подрагивающей горсти ту штуковину и заломил несусветную цену.

Он торговался только для виду.

Так мы познакомились, а уж завербовать его своей ямой было лишь делом техники. И я отучил его от вольной дилетантской охоты на «железке», сдавал то, что попадалось стоящего. Мы даже сдружились настолько, насколько это возможно при деловых отношениях. Постепенно я догадался, что этот маленький сутулый Хмырь — крупный воротила какого-то артельного бизнеса.

Звали его... Для удобства дальнейшего изложения назовем моего Хмыря, скажем, Рафаилом.

И вот на встречу с этим человеком ехал я погожим утром четвертого апреля, и сверточек в шуршащей бумаге тяжелым комочком притаился в нагрудном кармане моего пиджака.

Я проехал просторный утренний Невский, по Герцена, мимо сомкнутых фасадов старых особняков, выскочил к Поцелуеву мосту, потом — прямо по набережной Мойки до Маклина и здесь, неподалеку от шумного перекрестка улицы Декабристов, остановился, не доехав до парадной большого, неприметной архитектуры, дома.

Было половина десятого. Солнце слева наискось освещало лобовое стекло, просвечивало голубоватый

пластмассовый колпак спидометра, но было таким бледным и робким, что даже не раздражало глаз. Рафаил должен был появиться через десять минут на этом, уже годами отработанном месте встречи.

Я смотрел на шумный перекресток впереди; слегка освещенный солнцем, он все равно казался мрачным от облезлых и темных фасадов бесстильных домов. С той стороны проспекта, от Аларчина моста, шли трамваи, медленно со скрежетом поворачивали на Декабристов. Суетливые фигуры женщин с кошелками, синие фургоны почтовых грузовиков (где-то рядом был их гараж), желтые сочлененные автобусы, на медленном ходу еле вписывающиеся в поворот,— все это было в полусотне метров, но казалось, что меня отделяет от будничного перекрестка тысяча верст. Отрезок проспекта, на котором я стоял, был мрачноват и тих. И мне вдруг стало смертельно скучно, как в «черной марусе» после приговора суда.

Вы полжизни гоняетесь за деньгами, рискуете годами тюрьмы, наступаете на собственное самолюбие, по ночам вам снятся страшные сны, и вы скрываете подлинное устремление от всех людей на свете. И вот эти окаянные деньги уже перед вами, но, вместо радости или хотя бы удовлетворения, вы ощущаете пустую смертельную скуку и стынь бесприютности, потому что понимаете, что за деньги не купишь то, чего вы хотели.

Нечто подобное испытывал я утром четвертого апреля тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Все деньги мира ничего не могли изменить во мне. Цель обесценивалась прежде, чем я достиг ее. Но даже проигранную игру нужно доводить до конца. И я ждал Рафаила. Есть инерция поступков. И потом, мне не оставалось ничего другого.

И вот из подворотни на той стороне выскользнула сутулая фигура в немодном пальто и ветхой кроличьей ушанке, с бесформенным потертым портфелем в руке. Рафаил повертел головой, словно обнюхивал крючковатым носом апрельский день, угрюмые навыкате восточные глаза ощупали пустынные тротуары, и, плоскостопо переваливаясь из стороны в сторону, он медленно пошел к машине через мостовую.

Я завел двигатель и, как только он закрыл за собой дверцу, тронулся с места и пропел медовым голосом:

— Здравствуй, Рафик. Куда тебя отвезти?

— Ты что, за этим приехал специально? — голос у него был гортанный и какой-то дряблый.

— Ну отчего бы не прокатить старого приятеля за рублик,— усмехнулся я и свернул налево на Декабристов.

— Э-э-э! Кончай дурачиться. Что ты хочешь мне сказать? — ворчливо отозвался Рафаил.

— Ничего я тебе не хочу сказать, Рафик. Я просто хочу тебе кое-что показать.

Я доехал до Театральной, миновал подъезд театра, свернул направо и остановился вплотную к стене бокового крыла. Здесь никого не было. Слева у булочной разгружался хлебный фургон, позади, на остановке трамвая, стояло несколько человек. Двигатель работал тихо и ровно, в салоне слышался словно легкий ропот.

Я вытащил из нагрудного кармана пиджака тяжелый сверточек и, не развернув, протянул Рафаилу. Он сразу зашуршал бумагой, потом стало тихо, и через миг я услышал какой-то задавленный лающий хрип, повернул голову и увидел, что Рафаил, отвалив челюсть, с мокрым от пота лицом и закатившимися под лоб глазами задыхается, издавая эти задавленные лающие звуки. Толстый бесформенный его портфель сполз с колен вниз. Судорожно дергался кадык на волосатой шее, но мое сокровище было крепко зажато в коричневом кулаке.

Я немного растерялся и спросил тихо:

— Что с тобой, Рафик?

Он запрокинул голову и сквозь задушенный лай простонал:

— Там... портфель... сигареты... прикури...

Я, перегнувшись, достал сползший вниз портфель, отщелкнул позеленевший замок и среди папок с бумагами нашел ядовито-зеленую коробку с латинскими надписями, открыл, вытащил толстую серую сигарету, торопливо чиркнул спичкой, и меня чуть не вытошнило от сладковато-трупного запаха этой сигареты. Я сунул ее в рот Рафаилу. Он с трудом сжал фиолетовые губы, жадно затянулся, и почти сразу лающий хрип стал тише. Он затянулся еще и еще. Я почувствовал приступ дурноты, отодвинулся к своей дверце, до конца опустил боковое стекло. Наконец Рафаил задышал ровнее, хрип исчез. Он пошевелился, сел ровнее, издал короткий стон облегчения.

— У тебя что, астма? — спросил я сочувственно.

— Ох, два года не было,— совсем одрябшим голосом

ответил он и, не выпуская вонючую сигарету изо рта, раскрыл кулак и стал рассматривать мою штуковину.

Я взглянул в зеркало заднего вида, осмотрелся вокруг. У булочной по-прежнему стоял хлебный фургон, отдельные люди маячили на трамвайной остановке, поблизости никого не было.

— Ох, из-за тебя,— сказал Рафаил.

— Что значит — из-за меня? — Я повернулся к нему. Губы его уже стали розоветь, лицо обсохло.

— Э-э-э. Такие вещи нелзя так показывать,— твердо напирая на «л», обиженно сказал он.

Я усмехнулся, вынул у него из руки штуковину и бумажку, завернул и опустил в карман.

— Куда тебя отвезти?

— Подожди отвезти. Зачем показал? — спросил он уже вполне нормальным голосом и, опустив стекло, выбросил свой вонючий окурок.

— Только показал, а ты уж чуть лапти не откинул. Что же дальше будет? — пряча усмешку, спросил я.

— Сколько хочешь? — визгливо спросил Рафаил.

— Это не моя вещь. Одной бабушки. Мне пять процентиков за комиссию,— я включил передачу и стал подавать машину назад, чтобы развернуться и ехать по улице Глинки.

— Сколько? — взвизгнул Рафаил.

— Бабушка человек понимающий, она просит...— я назвал цифру и сам ощутил, как холод прошел по спине. Переключив скорость, выехал на Глинки.

— Таких сумм не бывает,— очень спокойно ответил Рафаил.

Я остановился у светофора перед Никольским собором, искоса взглянул на него и сказал скучным безразличным голосом:

— Бывает, Рафик, но жаль, что не у тебя. Так куда подбросить?

Зажегся зеленый сигнал, и я повернул налево.

— Да подожди же! — Он снова всхрапнул, и я испугался, что опять начнет задыхаться, свернул направо и остановился возле соборного сквера.

— Ты понимаешь, что эту вещь не наденешь на цепочке жене на шею? — спросил он визгливо.

— Очень хорошо,— сказал я.— Значит, в твоем алмазном фонде будет хоть одна настоящая вещь,— и достал сигарету.

— Да, да. Смейся, смейся... Весело, да? А если это

кто-нибудь увидит? — Рафаил расстегнул все пуговицы пальто, дышал шумно, отрывисто, как локомотив на холостом ходу.

— Ну, Рафик,— сказал я, уже испытывая раздражение,— надеюсь, ты не собираешься выставлять свои сокровища на публичное обозрение. И что, я тебе насильно вталкиваю эту хреновину? Не хочешь — не надо. Я предложил тебе первому... по старому знакомству.

— Хорошо. И куда ты пойдешь?

— Ну, это уже нескромный вопрос. Ты не волнуйся, есть такие кашалоты, которые могут заглотить и не такое,— я вытянул пепельницу на приборном щитке, положил недокуренную сигарету и спросил тусклым усталым голосом:— Куда тебя подбросить? Мне правда некогда.

— Некогда ему! Комиссионные он хочет,— заворчал Рафаил и вдруг громко взвизгнул:— Никаких комиссионных! Завтра приходи и получи!

— Сегодня, Рафик,— сказал я устало и безразлично.

— Ты что, из меня глупенького делаешь? — завизжал Рафаил.

— Не ори,— я взял сигарету из пепельницы, затянулся.— Сегодня, Рафик, понимаешь? В двадцать три ноль-ноль я должен принести деньги либо вернуть эту хреновину. Если не то и не другое, то тебе, Рафик, завтра придется потратиться на букетик, хотя не знаю, где меня будут хоронить... Такие, брат, дела,— сказал я.

Рафаил запыхтел, заворочался на сиденье.

— Так я тебе и поверил. Придешь в девять,— он назвал адрес,— сумку, портфель какой-нибудь возьми. Все! И после этого я тебя знать не желаю.— Он довольно шустро вылез из машины, хлопнул дверцей и, сутулясь, вперевалку пошел вперед к Садовой.

Я бездумно докурил сигарету. Не было ни радости, ни удовлетворения. Я был пуст, как старая истертая покрышка, из которой вышел весь воздух.

Я поехал по адресу, названному Рафаилом. Нужно было посмотреть подходы, выяснить, где оставлять машину, чтобы она никому не мозолила глаза. Это была моя последняя сделка, и провести ее хотелось изящно и точно.

Улица и старый дом мне понравились. Рядом был тихий переулок, в котором можно было поставить машину и сразу же засечь любой хвост. Понравилась и дверь квартиры, такая добропорядочная, старая двустворчатая

дверь с фигурными филенками красно-коричневого цвета. Три хитрых замка, служащих скорее успокоению хозяев, чем препоной для воров. Вряд ли за этой дверью мне попытаются проломить череп. Лестница была широкая, светлая, но грязная.

После этого осмотра я заехал к Краху, предупредил, чтобы он ждал меня неподалеку от этого дома без пяти минут девять, и вернулся к себе.

Был полдень.

12

Время шло медленно. Оно еле двигалось, словно на оси нашего шара заржавели подшипники. Только каминные куранты без минутной стрелки исправно отбивали четверти, половины и часы, но казалось, их двойной переливчатый звон отмечает какое-то нездешнее время с нездешними событиями в другой, безмятежно размеренной жизни, а здесь все вокруг парализовалось, застыло и девять часов вечера никогда не наступит.

Я даже не предполагал, что всего лишь полдневное ожидание окажется таким тягостным. Я думал, что привык ждать и ожидание сделалось моей профессией, но ошибся.

Ожидание связано с понятием будущего, с предвосхищением счастливых перемен. Стремление просто выжить — лишь биологическая задача. Для животного нет Будущего, оно стихийно действует в интересах своего вида. И я, как зверь, знал только одно — выжить, отбыть неблагоприятные часы, дни, месяцы, годы. Будущее покинуло меня, и поди пойми, когда это произошло.

В сумрачной рассеянности бродил я по квартире, собирал чемодан, потому что знал, что, отпраздновав день рождения, утром уеду в Щербаковку. Знал, что девять часов вечера все равно наступит, но все это не было ожиданием будущего. Это было одной затянувшейся попыткой выжить, инерцией, которая рано или поздно иссякнет. И только одно тревожило и омрачало меня... Только это и было похоже на будущее.

Наталья...

Ее лицо, исполненное искренности и чистоты, словно бы тысячу лет было со мной и теперь бередило сердце тревогой, тоской и надеждой — тем, что легче и точнее всего было бы назвать ответственностью или — при некоторой восторженности — любовью. Хотя тут нет противоречия.

Любовь и свобода тесно сопряжены с ответственностью. Вы обязаны отвечать за свои поступки, если совершили их сознательно и без принуждения. Любовь — это тоже поступок, и поэтому вы отвечаете за душевное благополучие того, кого любите. Вы должны отвечать за это, даже пренебрегая собственным благом. Иначе нет любви и нет свободы.

Собрав чемодан, я сварил кофе и растопил камин. От язычков красно-желтого пламени стали заметнее сумерки за окном. Они медленно перетекали в комнату, притеняя вещи и книги, и тоже жались к огню.

Поставив чашку на пол, я откинулся в кресле, курил, смотрел в огонь и, внутренне посмеиваясь над собой, пытался вообразить другую жизнь. Я представлял себя добропорядочным и слегка самодовольным инженером, как Буська, или хорошим суховатым врачом, как Кирка. Пытался зачеркнуть, хоть на миг позабыть прошлое и поставить рядом Наталью. Но картинка не складывалась, мысленная модель не хотела работать. Жить следовало только исходя из действительности. И мысли мои перекинулись на предстоящую сделку. Я стал обдумывать самые плохие варианты.

Рафаил специально назначил встречу в чужом доме, чтобы силой отобрать у меня эту штуковину и не платить денег,— вариант почти фантастический. Не тот человек, чтобы заняться банальным грабежом. Такое подозрение могло прийти только в голову старому уголовнику. Рафаил же искренне считает себя порядочным человеком, и в своей житейской сфере он — порядочный, обывательски ограниченный человек, который, как всякий обыватель, боится и тупо ненавидит мелких уголовников. Рафаил наверняка никогда не думал, что виртуозные комбинации с присвоением крупных денежных средств состоят в кровном родстве с копеечными карманными кражами, подделкой чеков винного отдела или просто спрятанной под юбкой пачкой сливочного масла в вокзальной сутолоке «Универсама». Поэтому мысль о попытке грабежа я откинул сразу. К тому же Рафаил даже из-за такой редкой и занятной штуковины, которую я ему предложил, не пойдет на риск попасть в поле зрения работников сыска. А у него нет гарантии, что я не наведу работников гранитного домика на Литейном на его след, если со мной обойдутся не очень поджентльменски...

И я стал прокручивать другой, более реальный

вариант. А что, если те парни с Литейного, несмотря на мою наивную конспирацию, уже засекли след? Они ведь давно могли пасти Краха, могли пасти и Рафаила, проявляя деликатный интерес к его артельному бизнесу. Да и меня, грешного, не так уж сложно вычислить,— это только вопрос времени. Несомненно, этот вариант не был фантастическим, но каким-то животным инстинктом, клетками спинного мозга я чувствовал, что опасности еще нет. И все-таки решил приготовиться.

Я встал с кресла, сходил в переднюю, принес уличные сапоги, поставил перед камином возле кресла, потом достал из ящика бюро рулон клейкой полиэтиленовой ленты, из кармана пиджака вынул свою штуковину в шуршащей бумажке и накрест двумя полосками клейкой ленты прикрепил сверточек к подошве вплотную к передней грани каблука. Потом пошатал, подергал сверточек пальцами,— держался он довольно прочно. Я поставил сапог на пол, наклонился посмотреть. Каблук был достаточно высокий, и сверточек не касался пола. Я надел сапоги, прошелся по комнате, остановился, поднял левую ногу и чиркнул подошвой об носок правого сапога. Сверточек отвалился вместе с полосками клейкой ленты. Опыт этот вполне удовлетворил меня.

При первом поверхностном обыске штуковину мою найти не могли, а потом я смогу незаметно скинуть ее. Но лучше, чтобы этого не понадобилось. Довольный, я опустил сверточек в нагрудный карман, стащил сапоги, снова влез в домашние туфли и стал помешивать догорающие угли в камине. Тут как-то неожиданно и пугающе резко зазвонил телефон. Поднимая трубку, я машинально взглянул на часы.

Было уже восемь.

На мое «але» в трубке долго колыхалась космическая, мохнатая от шорохов тишина. Потом из нее возник гортанный, будто смазанный бараньим салом и слегка испуганный голос Беллы:

— Алеша, это ты?

— Да,— ответил я и сжал зубы.

И снова в трубке долгое мгновение колыхалась космическая, мохнатая от шорохов тишина.

— Алеша!

— Да,— прорычал я, не скрывая раздражения.

— Я ему все сказала,— Белла уже успокоилась, и тон был ровный.

— Кому? Что все? — еще не понимая, вернее под-

сознательно не желая понимать, недоуменно спросил я и сморщился, будто хлебнул уксуса.

— Борису,— она шумно вздохнула.

— Что ты ему сказала? Что ты вообще могла сказать? — делая усилие, чтобы не закричать, спросил я.

— Сказала, что люблю тебя,— в голосе было спокойное тупое упрямство.

— Слушай,— медленно наливаясь яростью, произнес я и судорожно вздохнул,— мне сейчас некогда, но... я тут ни при чем и знать ничего не хочу! Поняла? Ты просто взбесилась от безделья! — уже не сдерживаясь, заорал я.

— Не беспокойся. Я объяснила ему, что ты ни при чем и ни в чем не виноват. Но его я не могу больше видеть.

Мне почудилось, что она там улыбается насмешливо и кротко, как Юдифь, приспустив веки. Я медленно выдохнул, сдерживая голос, спросил:

— Когда?

— Что когда? — не поняла она.

— Когда ты ему все это преподнесла, черт возьми?

— Вчера утром,— тускло ответила она.

— Ну, и что он сказал?

— Ничего... Уехал на работу... и с тех пор нету.

— Так что, он не ночевал? — спросил я и сразу разозлился на себя за идиотизм.

— Да.

— Что да?

— Да, не ночевал,— раздражение ее стало явным.

— Вот что,— я выдержал паузу,— если появится, передай, что сегодня я вернусь поздно. Но завтра пусть заедет ко мне. Я целый день дома. Обязательно! Поняла?!

— Да. Только не кричи, пожалуйста.

— И больше не болтай. Потом сама локти кусать будешь,— я бросил трубку и вдруг почувствовал мелкую противную дрожь, и порыв внезапного почти детского страха наполнил холодом грудь.

Все еще нервничая, я набил сумку старыми газетами, закрыл «молнии» и вышел. Пора было ехать.

На сиденье машины я успокоился, закурил, посмотрел на освещенное окно Натальи и, не включая подфарников, вырулил со двора. Только за перекрестком включил свет.

Лиловое небо накрывало город. В редких сиреневых

сумерках подфарники встречных машин желтели бледно, стоп-сигналы попутных вспыхивали сочным гранатовым светом. Что-то неуловимо менялось в городе, апрель щемяще отдалял перспективы.

Гнетущим было предвестие моей сорок первой весны.

Я ехал по спокойному Невскому, машинально перестраивался из ряда в ряд, а сам тоскливо думал о чем-то бессловесно и беспредметно. Свернул на Садовую, и пришли слова. Мне было жаль Буську и эту дуру Беллу, было жаль себя, жаль моих сорокалетних друзей. Когда спокойная, уверенная, нерефлексирующая зрелость придет ко мне? Как грустно смотреть на тридцатипятилетних девочек в джинсах, на мальчиков в сорок лет... Горько сказал хороший поэт: «И мы понимаем, что канули наши кануны, что мы, да и спутницы наши,— не юны». Все так, но почему горечь? Почему нет просветленного чувства зрелости (не у меня, пусть у других, кому повезло чуть больше)? Быть может, это от тягостного военного детства, от чувства какой-то недожитости? Если человек в свои десять лет, вместо радостного открытия мира, испытывает чувство угасания и в затуманенном сознании буднично высчитывает свой конец, то потом, если он, конечно, выживет, в душевном развитии остается какая-то пустота, как выбитый взрывом снаряда пролет моста. По такому мосту трудно переправиться на тот берег. Что-то не смыкается в жизни, и человек созревает тягостно, мучительно долго ждет самого себя и в сорок лет играет в опасные игры — в поиски единственных и вечных любовей и окончательных смыслов, как в свои десять-двенадцать играл ручными гранатами и невзорвавшимися минами...

Маршрут мой кончался, я въехал в переулок, заглушил двигатель и погасил огни. Нужно было вести свою игру.

Клейкой лентой я прикрепил сверточек к подошве левого сапога возле передней грани каблука, взял сумку, вылез из машины и огляделся.

Коротенький, с подслеповатыми фонарями переулок был пуст из конца в конец. Медленно, ленивой походкой праздного человека, закинув ремень сумки на плечо, пошел я к углу улицы, свернул и в отдалении сразу заметил фигуру Краха в модном коротком пальто. Взглянул на часы: без пяти девять. Прозрачной и чистой была темнота.

— Жди в парадной,— буркнул я, поравнявшись

с Крахом. Той же ленивой походкой дошел до конца квартала, вернулся, быстрым шагом обгоняя редких прохожих, и уверенно вошел в парадную.

Свет пыльной маленькой лампочки тускло освещал первый марш ступенек. Я помедлил мгновение, ощутив, как учащается дыхание, потом стал неторопливо подниматься, поглядывая на облупившиеся голубоватые с фигурными тягами стены. Волнения почти не было.

Крах поджидал меня на площадке у окна. Лицо его в пыльном лестничном свете казалось сделанным из упаковочного картона, лишь чернели усики опереточного злодея да мутно серела пустота глаз.

— Пошли,— вполголоса сказал я.

Тихонько, почтительно просопев носом, он стал подниматься за мной. Перед дверью я остановился, повернулся к нему.

— Стань здесь, чтобы тебя видели, когда мне откроют,— прошептав, указал я на закругление перил на площадке.— Поблатнее стань, обопрись,— я поднял ему воротник пальто, за козырек надвинул кепочку пониже на глаза. Отошел к двери, посмотрел. Фигура Краха и картонная рожа производили эффект.— Руки в карманы,— шепнул я.— Годится. Создашь этот понт, потом поднимешься к окну и жди.

Крах кивнул, скрипучим шепотом спросил:

— А если ты тормознешься, Петрович? Мало ли...

— Не должно быть. Тут фуцена, штопорить не станут. Жди полчаса,— одними губами почти без голоса ответил я.

— Менты не наедут? — Крах засопел.

— А для чего я тебя наверх посылаю? Переждешь и рванешь,— уже разозлившись, прошипел я и повернулся к двери.

Звонок не был слышен, но почти сразу раздались веселые шаги. Щелкнул только один замок. Это мне почему-то понравилось.

На пороге отворившейся двери стояла симпатичная невысокая армянка лет тридцати с разлетистыми густыми бровями и бархатной чернотой продолговатых глаз; под милым, слегка горбатым носиком, как тень, темнели усики. Я невольно улыбнулся:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Проходите...— Глаза ее испуганно метнулись через мое плечо на Краха, но, сразу овладев собой, она добавила: — Пожалуйста.

Я вошел в большую, хорошо освещенную переднюю и мгновенно успокоился: дохнуло теплой домашностью и ароматом богатства.

Прямо против входной двери на стене висело фасонное зеркало в прекрасной раме китайского фарфора — такое сделало бы честь любому музею. Под зеркалом стоял старинный сундук из бычьей кожи с бронзовыми защелками и замком. Естественного, желтовато-коричневого цвета кожа лоснилась, швы на ребрах были прошиты крупными стежками красной дратвы по узкой зубчатой накатке. Такие сундуки лет полтораста назад возили на запятках дорожных карет, когда отправлялись в дальние края. И в те времена такой кожаный сундук считался большой роскошью. Даже богатые люди путешествовали с деревянными сундуками, обтянутыми пропитанной шеллаком парусиной. А этот выглядел совсем как новенький, хотя был сделан в Париже или Берлине в начале прошлого века... Нет, в таком доме меня не станут убивать с целью грабежа даже за все бриллианты короны.

Повесив пальто на вешалку, я закинул ремень сумки на плечо, подошел к зеркалу, мельком взглянул на свою осунувшуюся за последние два дня рожу и, не удержавшись, провел ладонью по верхней крышке сундука. Прикосновение было приятным, словно гладишь живого и теплого зверя. И легкая грусть ворохнулась в душе.

Я знал за собой слабость к прекрасным старинным вещам. Она зародилась еще в детстве и была сродни тому упоению, с которым я читал кулинарную книгу об изысканных французских яствах. Видимо, фантастический быт осажденного города, пережившего первую блокадную зиму, как-то повлиял на это. Тогда, летом сорок второго, на толкучках и рынках появилась масса красивых вещей, диковинно нелепых в своей ненужности и все же поражавших детское воображение: веера из страусовых перьев и слоновой кости; театральные бинокли и лорнетки, отделанные перламутром и черепахой; разные ларцы и шкатулки для драгоценностей из сандалового дерева и нефрита; подсвечники, бювары, чернильницы и настольные колокольчики для вызова прислуги, флаконы для благовоний и туалетные несессеры; сотни затейливых вещиц, назначение которых было невозможно угадать,— и все это переливалось малахитом, отблескивало благородным чеканным серебром, лоснилось добротной кожей, тепло желтело резной

костью, искрилось бронзой, шелковисто глянцевело драгоценным деревом и завораживало детский взор. И была непреодолимая тяга к созерцанию этих вещей,— наверное, так удовлетворялась неосознанная потребность в освоении иного мира, мира без скудной карточной хлебной пайки, без разрывов снарядов и зашитых в серое полотно покойников, без голодных головокружений и бедственного, выношенного до лохмотьев тряпья и веревочной плетеной обувки... Потом эта тяга к красивым вещам закрепилась в юности и привела к осознанному и систематическому изучению старого прикладного искусства. Это была попытка бегства от действительности, от душевного кошмара... Несбыточное предприятие, от которого осталось лишь некоторое знание и чуть грустная любовь к старинным вещам...

— Сюда, пожалуйста,— сказала женщина и, улыбнувшись, показала на белую двустворчатую дверь с массивной бронзовой ручкой в виде козьего копыта, а сама повернулась, направляясь в глубь широкого, хорошо освещенного коридора.

Я окинул взглядом всю ее ладную фигурку. Да, ножки были коротковаты, поэтому и дома она ходила на каблуках.

Я спокойно открыл дверь, шагнул через порог и попал в восемнадцатый век. Белая мебель гостиной — гнутые ножки и подлокотники с золочеными завитками рокайля; сиденья и спинки, обитые штучным гобеленом; изысканного вкуса жирандоли на фоне бледной растреллиевской голубизны стен.

Я любил расцвет русского барокко, месяцами изо дня в день ходил по музеям и понимал, что обставить такую гостиную, выдержать ее в едином стиле мог только очень большой знаток и еще бóльший богач. И я какими-то новыми глазами увидел носатого темноликого человечка, сгорбившегося в бело-золотом кресле, как ворон на насесте. Так вот где его логово. Там, где-то на Маклина, у Рафаила, наверное, скромная комната с древесно-стружечной мебелишкой, где он время от времени ночует. А здесь у него все — и любовь, и дворец. И если его зацепят с конфискацией имущества, то эта квартира останется, потому что формально Рафаил не имеет к ней отношения. А армяночка надежна; вообще южные женщины не продают своих мужчин. Ай да комбинатор!

— Добрый вечер, Рафик,— пропел я медовым голосом.— А где же парик и шпага?

— Зачем, дорогой Алеша, парик? — угрюмо усмехнулся Рафаил и блеснул глазами.— И со шпагой одно беспокойство.

— Ну, в такой гостиной,— я еще раз обвел глазами просторную прекрасную комнату.

— Ничего. Трикотажная пижамка тоже хорошо,— Рафаил остро посмотрел на меня.— Принес?

— Ну! — Я отодвинул белый стул от круглого столика, сел, оторвал сверточек от подошвы, развернул и подал Рафаилу свою штуковину.

Он движением фокусника достал откуда-то из складок мятой пижамы большую лупу и застыл в молитвенном созерцании.

— Как? — спросил я, потому что надоело ждать.

— А? — Он с видимой неохотой оторвал взгляд от штуковины.— Выключи свет на минутку, пожалуйста.

Я поискал взглядом, встал и нажал клавишу выключателя у дверей. Люстра погасла, и ладонь Рафаила наполнилась синими мерцающими огнями. Я снова включил свет, шагнул к Рафаилу, взял свою штуковину, подбросил ее слегка на ладони и поймал, искоса поглядел на него и спросил:

— Приступа астмы не будет? Лучше расплатись сначала.

Он хрюкнул, как недовольный подсвинок, вытащил из-под своего кресла все тот же мятый портфель, открыл и высыпал на столик деньги.

Пачки сотенных и полусотенных рассыпались по нежно-белой, окруженной золотым кантом столешнице; купюры были стянуты черными аптечными резинками. Несколько пачек упало на пол к моим ногам. Не вставая, я нагнулся, поднял, и в нос мне ударил запах плесени и затхлости погреба. Я бросил пачки на столик и сказал с укоризной:

— Что ж ты, Рафик,— деньги, как всякий товар, нужно хранить в сухом проветриваемом помещении, а то они заплесневеют и потеряют вид.

— Товарный вид здесь роли не играет. Давай сюда,— он протянул руку за штуковиной,— бери, считай и уходи.

— Ну вот, уже и уходи. Я думал, чаю дашь.— Театрально вздохнув, я спросил: — Сколько в пачке?

— По сто листов. Банковский счет,— сказал он, не опуская протянутой руки.

— Банковский, говоришь? — переспросил я, ощу-

щая приближение того состояния, в котором боялся сам себя,— смесь грустной рассеянности, холодного упрямства и какого-то забубенного озорства, от которых вдруг рождается просветленное чувство, когда сам черт не брат и ради красного словца не жалко головы.

Если вы хоть раз испытали нечто подобное, то оно запомнилось вам навсегда. В таком состоянии вдруг приходят самые неожиданные решения и неведом страх.

— Да, да,— раздражение послышалось в голосе Рафаила. Он еще ближе протянул руку и лодочкой сложил коричневую морщинистую ладонь.

Я внимательно взглянул в его крючконосое лицо, усмехнулся и сказал небрежно:

— Знаешь, Рафик, я передумал,— и, уже не в силах сдержать злорадство, добавил: — Деньги у тебя какие-то подержанные и тухлые. Жалко просто такую красивую хреновину менять на них.

— А-а, кончай зубоскалить, бери и уходи,— он привстал со своего бело-золотого кресла и хотел вынуть у меня из руки сокровище, но я чуть приподнял руку, штуковина соскользнула в рукав пиджака, и я показал Рафаилу пустую ладонь.

— Фокус-покус, Рафик. Ловкость рук, и никакого мошенничества. Была и нету, и больше не увидишь,— я подмигнул ему, а самого объяло какое-то облегчающее вольное чувство, такое, что захотелось сунуть два пальца в пасть и свистнуть, как в детстве, чтобы голуби с хлопаньем крыльев сорвались с карниза... Я даже прикрыл глаза от полноты чувства и почти сразу же услышал лающий кашель Рафаила.

Завалившись набок в своем кресле, он держался за грудь, зеленое лицо лоснилось от пота.

— Ты уж извини,— сказал я с искренним сочувствием,— но уж пошла такая карта.

Рафаил усилием воли выровнял дыхание, выпрямился в кресле и спросил неожиданно спокойным голосом:

— Ну, и куда ты пойдешь?

— Ты хоть за меня не переживай, о здоровье подумай,— я встал и отвернулся от Рафаила, от стола, заваленного пачками заплесневелых денег.

— Слушай, Алеша, ты давно мне нравился, теперь я понимаю за что,— голос Рафаила был спокоен, даже весел.— Сядь, дорогой, и скажи мне одну вещь, очень

прошу тебя, скажи... Этих денег не жалко, только скажи,— он сморщился, умоляюще посмотрел на меня.

Я почувствовал внезапную усталость, будто закончен длинный и тяжкий путь, и сел на бело-золотой стул.

— Ну что, Рафик? — тихо спросил я и с трудом вздохнул.

— Знаю, знаю,— Рафаил сделал успокаивающий жест рукой,— ты не любишь эти вещи, ты говорил — камни, золото... Я помню... Тогда бери деньги и живи, как тебе хочется... Почему не берешь? Это же много. Умному человеку это надолго... Я бы дал еще, но нету... Честное слово, нету!

Не было сил отвечать. Да и что я мог ответить, что объяснить Рафаилу? Я и сам-то не очень понимал, что со мной. А уж ему не смог бы этого объяснить и подавно, и только устало отмахнулся.

— Ну, что ты машешь, что? — Он опять лающе раскашлялся, отдышался, хрипло сказал: — Любишь же что-то. Ну, бери деньги, строй себе дом, езжай куда хочешь,— живи!

— Вот у тебя есть деньги. Ты живешь? — Я посмотрел на него.

— Я, я! Я — старый. Я другое люблю. А ты мог бы жить, как князь. Разве у меня это — мебель? Разве это — квартира?.. Ну, не худо, и только. А ты бы мог... Ах!.. Я думал, Алеша, ты серьезнее.

Меня уже начали злить его интонации, и я спросил:

— А тебе не тошно таскать днем твое помойное пальто и этот портфель, а вечером сидеть здесь... в трикотажной пижамке?

— Я так привык.

— Привык — с утра быть хмырем, а вечером княжить?

— Что за разговор? Живи, как тебе хочется, днем, вечером. Только посмотрим, кто дольше проживет,— Рафаил мрачно усмехнулся.

— Вот-вот... А я уже был князем и днем и вечером. И меня, Рафик, ни лапсердак твой, ни пижамка не привлекают. Ну вот возьму я этот «лимон» и стану лимонщиком... Ну и что? Долго жить и ездить на трамвайчике, как ты?

— А что ты хочешь — парик и шпагу?

— Да! — Я улыбнулся, на душе стало легче.— Парик и шпагу, Рафик... и — дорогу гасконцам!..

Боли почти не было, но чувствовалось, что рубашка и весь бок стали липкими и мокрыми. Я завел двигатель и поехал, управляя одной правой рукой. Раза два по дороге меня охватывала дурнота, но ощущение руля в ладони и рокот мотора помогали. Когда въезжал во двор, почувствовал, что левый бок промок до самого пояса, но уже пришло какое-то заторможенное, полусонное спокойствие.

— Открой и придержи левую воротину,— сказал я и дал Краху ключ от каретника.

Из машины я вылез с трудом.

— Замкни, пошли ко мне, поможешь,— приказал я Краху.

В квартире я зажег свет на кухне, расстегнул пуговицы пальто и, протянув правую руку в сторону, сказал Краху:

— Стяни.

Он осторожно потянул, посапывая носом. Я выпростал руку, и нож с легким стуком вывалился из рукава на линолеум. Узкий клинок без канавки, сантиметров пятнадцать длиной, и желтая деревянная ручка. Следов крови на лезвии не было. Носком сапога я загнал нож под газовую плиту и сам стал осторожно стягивать левый рукав пальто. Боли не было. Хотелось только спать.

— Петрович, прости,— Крах вдруг упал на колени, заплакал, захлебываясь,— бес попутал. Ну, убей, выткни глаз! — Он ударил себя кулаком в грудь.

Я стащил рукав, пальто упало на пол.

— Помоги снять клифт,— сказал я, и Крах поднялся.

Когда была снята и окровавленная рубашка, он сказал:

— Я, Петрович, врача вызову, краски много. Скажем, бакланюга на улице подколол. А?

Ноги уже плохо держали. Я сел на табуретку, с трудом спросил:

— Гнида, зачем ты заточку с собой взял? Прибрать меня хотел?

— Что ты, что ты... Заскок зашел в голову. А она всегда у меня... Прошлый год рыло начистили вечером прямо у дома, без слов. С тех пор ношу.— Он стукнул кулаком в грудь.— Петрович, ну не хотел я! Заскок это. От такой капусты.

— Вали отсюда. И чтоб завтра тебя в городе не было, а то оба сгорим. Слышишь? Шакал!

— А ты? Ведь кровищи много...

— Уходи! — Я, не глядя, нащупал на столе бронзовую пепельницу.

Крах исчез.

Я встал, пошатываясь, одной рукой чиркнул спичкой, зажег газовую колонку и вдруг почувствовал, что хочу курить. В пальто были сигареты, но я боялся нагнуться и медленно, стараясь не тревожить плечо и левую руку, побрел в комнату, тут и раздался звонок.

Я остановился против входной двери и, вдруг осипнув, спросил:

— Кто?

— Я,— ее голос был по-детски испуган и тих.

Я потянулся осторожным движением повернуть пуговку замка, но вдруг сказал легким деланным голосом:

— Наташа, прости, я сейчас не одет. Зайди завтра,— и бережно опустил правую руку.

— Не уйду, откройте! Я знаю, что-то случилось. Откройте! — В голосе ее была дрожь.

— Наташа, ну ей-богу...

— Откройте! Я видела, как убегал этот тип,— она всхлипнула, отчаянно крикнула: — Я сейчас людей позову!

Силы кончались. Я открыл дверь.

Без пальто, в одной только светлой блузке, она прижалась ко мне, обхватила за плечи. Прикосновение холодного шелка обожгло болью, и я застонал, отстранился.

— А-ах! — с ужасом выдохнула она, увидев кровь на своей ладони.— Что это?

— Только никого не зови,— уже теряя память, простонал я и поплыл куда-то в жарком оранжевом тумане.

Потом меня несли. Земля качалась. Звучали вдали чьи-то знакомые голоса. Боль шевелилась в левом боку, но я знал, что мне нельзя просыпаться. Если проснусь, отец изобьет меня за то, что я рисовал кораблики левой рукой. Изо всех сил я старался не проснуться, а страх, мохнатый, мокрый и скорбный, как больная обезьянка, смотрел на меня немыми страдальческими глазами.

13

Часы отбивали восемь. Были непривычно раздвинуты шторы, и свет, желто-лиловый, апрельский, подступал к самому дивану. Двойной бронзовый бой, казалось, колеблет его и укачивает.

Я полулежал на подушках, чувствовал скованность плеча и шеи повязкой, все помнил, но не хотел знать ничего.

Часы смолкли, я услышал шум газовой колонки. Она шумела противно и нудно, все не доходили руки прошлифовать трубку Вентури. Я старался думать о простых верных вещах: сменить прокладку крана на кухне, прочистить фановую трубу.

Свет ласкал корешки переплетов на полках, осветлял красноватый мрамор камина, но не доставал дивана.

Хотелось курить, чувствовать себя больным и беспомощным.

Колонка перестала шуметь. Минута тишины была приятной, и легкие шаги в коридорчике радовали. Дверь отворилась, я почувствовал это по движению воздуха, но боялся повернуть голову, боялся разбудить боль и разрушить непрочную укромность минуты.

Наталья подошла к дивану, встала ко мне лицом. Голова ее была повязана серо-голубой косынкой, простая, мужского фасона голубая рубашка с закатанными рукавами обнажала тонкие предплечья, тугие губы — сомкнуты, под глазами прозрачные синие тени от усталости,— она была серьезна и прекрасна.

— Ну, как? — почти не размыкая губ, тихо спросила она.

— Хорошо. Прости, что напугал,— в глотке сразу стало сухо, и слова, хриплые, шершавые, выходили с трудом.

— Поесть надо, Алеша,— она положила мне на лоб прохладную легкую ладонь.

— Я встану потом. Ты иди...

— Ни в коем случае. Кирилл сказал — лежать. Вечером приедет швы накладывать,— строг и нежен был матовый звук ее голоса.

— Откуда Кирилл?

— Я позвонила. Рана большая, кровь не останавливалась. Он приехал, перевязал,— она смотрела на меня задумчиво, словно изучая.

— Ты сказала, чтоб молчал? — спросил я и, шевель-

нувшись, замер от слабого проблеска боли и сжал зубы.

— Он сам об этом сказал.— Лицо ее стало тревожным, она наклонилась ко мне: — Что, болит?

— Нет, все нормально. Ты вот что... Иди, пожалуйста. Я сам тут...

— Никуда я не пойду, пока вы не поедите. Кусочек жареного мяса и стакан молока. Надо поесть обязательно. Кирилл сказал, вы много крови потеряли,— тон ее был непривычно строг, и я улыбнулся.

— Откуда молоко и мясо? Когда ты успела? — спросил я и внезапно ощутил свирепый голод, даже рот наполнился слюной.

— Ну успела,— она отвернулась.

— Ты что, не спала здесь ночь?!

— Кирилл только два часа назад ушел. Кровь было не остановить,— она отошла к окну, стала смотреть во двор.

— Н-да! Удружил я вам. Рана-то здоровая? Ты видела, скажи,— попросил я, глядя в ее прямую, с узким перехватом талии спину.

— Немного ниже подмышки, в боку. Кирилл сказал, почти касательная, поэтому разрез большой...— она повернулась ко мне,— вот такой,— и показала пальцами сантиметров семь-восемь.— Он вечером укол еще сделает.

— Говоришь, чуть ниже подмышки? — пропустив ее последние слова, напряженно спросил я, ловя какую-то невнятную мысль.— Покажи спереди, на каком уровне?

— Примерно здесь,— она приложила ребро ладони, рубашка натянулась, четко обрисовав острую грудь.

— Да,— протянул я рассеянно, невнятная мысль ускользала, мешали пристальные Натальины глаза.— Ты что, без лифчика? — неожиданно для самого себя спросил я.

— Да, без лифчика. А что? — с вызовом ответила она.

— Ничего,— улыбнулся я.— Тогда буду есть. Такой девушке отказать невозможно.

— Ага, теперь ясно. Когда мне надо будет чего-нибудь попросить у вас, я еще кое-что сниму,— она дерзко усмехнулась, но яркий румянец выступил на высоких ее скулах.

— Ладно. Тащи жрать,— тоже смутившись, сказал я, а невнятная мысль все шевелилась в мозгу.

Я закрыл глаза, увидел пыльный, тусклый лестничный свет... спустился до половины марша, приостановился и сделал полуоборот налево, чтобы увидеть рожу Краха в последний раз, и почувствовал внезапную жгучую боль... Что-то тут было интересное. Мне никак не удавалось оформить невнятную мысль... Наталья показала ребром ладони под левую грудь... Вот! — я вздохнул, мысль прояснилась. Крах метил под лопатку, прямо в сердце, полуоборот назад спас меня. Гнилой тюремный шакал умел обращаться с ножом...

Я не знал, радоваться ли этому идиотскому счастью. Ведь не обернись я тогда, и все проблемы были бы уже решены. Быть может, провидение, тот маразматический, чувствительный, но забывчивый и равнодушный старичок — если он еще не помер или не ушел на пенсию — счел, что я еще не выхлебал всего, что мне отпущено, что удар Краха ножичком — слишком легкое избавление?

Послышались шаги Натальи по коридорчику.

Случай заставлял жить дальше, есть мясо, пить молоко, отводить глаза, когда она наклонялась надо мной и острые груди, как спелые плоды, прорисовывались под тонкой голубой рубашкой.

Мясо было сочным и нежным.

От еды я опьянел и почти сразу же провалился в сон и увидел отца, молодого, в довоенной зеленой габардиновой гимнастерке с большими накладными карманами, темноволосого, злого. Он больно выкручивал мне левую руку и, остро укалывая взглядом, выкрикивал: «Будешь?! Будешь?!» Я изгибался, корчился от боли и старался вырваться, но не мог произнести: «Не буду» — и только орал: «А-а».

Звонок у входной двери спас меня от этого кошмара.

Я открыл глаза и словно в тумане увидел, как Наталья легко встала с кресла, положила книжку на сиденье и пошла в переднюю. Я потер глаза кулаком, во сне я плакал, они были мокрые.

Часы пробили полдень. С их последним ударом в комнату, бочком и сутулясь, вошел Буся.

— Здорово,— сказал я бодро.— Садись.

— Здравствуй,— он сел в кресло, положил книгу на столик.— Как это тебя угораздило?

— Да не спрашивай. Полный идиотизм.— Я внимательно всматривался в его лицо.

Обычно аккуратная, бородка выглядела неопрятной, смуглые скулы чернели, словно отмороженные, как-то

печально и хищно нависал нос с резко вырезанными ноздрями, и глаза, задорные Буськины глаза тревожили беспросветной глухостью, в них не было всегдашнего хитроватого и упрямого огонька жизнелюбия. И голос казался бесцветным, когда он спросил:

— Очень серьезно?

— Заживет, как на собаке. Царапина,— сказал я и отвернулся к окну,— невозможно было выдержать его тусклый глухой взгляд. Чтобы не тянуть с неприятным разговором, сказал небрежно: — Мне Белка звонила. Ты дома был?

— Да, она говорила,— Буська шумно вздохнул.

Я посмотрел на него. Он сидел, повесив голову, пальцы привычно почесывали лысеющее темя.

— Слушай,— сказал я вполголоса,— не бери ты все это в голову. Что ты, баб не знаешь? Через неделю она обидится, если ты ей напомнишь, что так было.

Буся посмотрел на дверь. Она была плотно закрыта. Он снова повесил голову и спросил бесцветным голосом:

— Скажи, Алеша, она тебе нравится?

— Наташа-то?! — не поняв его, живо отозвался я.

— Нет,— он поднял голову, глухим, словно сонным взглядом посмотрел на меня,— ну, она.

— Да ты что, ошалел?! — разозлившись, выкрикнул я.

— Но как же тогда все получилось? Вы встречались? — Детская обида послышалась в его вопросе, и во взгляде что-то мелькнуло. Надежда? Недоумение?

С усилием я заставил себя говорить спокойно и тихо:

— Ну, сколько раз я бывал у вас за последние годы? Раз десять. Вот и все. Второго — это единственный раз, когда тебя не было дома. Мне, идиоту, надо бы позвонить, а я поперся. Вот и все. И вообще, никаких поводов... Не веришь, что ли?

— Да нет, верю,— Буська горестно вздохнул, подергал бороду.— Просто не могу понять отчего?

— Отчего? Разве у них поймешь,— сказал я, испытывая искреннюю неприязнь к Белле.— Ты тоже хорош. Болтаешься вечерами где-то, а она сидит и придумывает себе романы. Устрой ее на работу.

— Да, наверное, это ошибка. Нужно было ей работать,— он закрыл глаза.

— Ты где ночевал? Поесть хочешь? Наташа мясо отличное сделала. Или — выпить? Вид у тебя что-то хреновый,— сказал я.

— Выпил бы сейчас, но с машиной,— Буська открыл глаза, и что-то блеснуло в них, быть может его всегдашний упрямый и жизнелюбивый огонек.— Я сегодня выпью, обязательно,— сказал он, грустно улыбнувшись. Глаза, мохнатые от ресниц, снова стали глухими и сонными.

— Так оставайся. Наталья тебя покормит. Скоро Кирка подъедет. Давно ведь не сидели вместе,— предложил я.— Уедете потом на такси, а тачке твоей здесь, во дворе, ничего не станет.

— Да нет, Алеша. У меня еще дело есть,— рассеянным взглядом он обвел комнату и добавил: — Неотложное.

— Зря,— сказал я.— Так нам вместе и не собраться. Думал, в пятницу день рождения справить, да вот, видишь. А тут, можно сказать, единственный случай.

— Единственный случай? — оживился Буська, даже улыбка тронула яркие, красивой лепки, чувственные губы.— А в принципе все в жизни — единственный случай.

— Тем более,— согласился я,— тогда оставайся.

— Никак,— он поднялся с кресла, весь мятый, постаревший, непонятно чужой.

И во мне что-то дрогнуло от жалости и теплоты к нему, даже в носу защипало.

— Все образуется, Буська, уверен. Ну, а насчет меня... Даже если бы я был смертельно влюблен, то и тогда не дотронулся бы пальцем до твоей жены. Все-таки у нас целая жизнь позади и... Ну, не знаю, как сказать... Есть же что-то, в конце концов, что не продается,— сказал я нетвердым от смущения голосом.

Буська подошел к дивану, протянул руку.

— Ты поправляйся и будь здоров. Кириллу привет,— глаза его, угасшие, были полны смятением и тоской до самых темно-карих ободков.

Я пожал его чуть влажную, холодную руку и, когда он вышел из комнаты, закрыл глаза. Боли не было, но ощущалась сонливая слабость и невнятная бессловесная тоска.

В коридорчике послышались легкие шаги Натальи. Отворившаяся дверь всколыхнула комнатный воздух.

Я не открывал глаз.

— Вы спите? — тихо спросила она.

— Нет, Наташа,— ответил я, изо всех сил стараясь подавить беспричинную невнятную тоску.

— Мне показалось, Борис Ефремович обиделся на что-то,— осторожно сказала она.

— Нет, не обиделся. Просто немного расстроен. У него там нелады дома,— я открыл глаза и попросил: — Дай, пожалуйста, сигареты и пепельницу. И заодно подтащи телефон, поставим его сюда — на спинку. Вдруг кто позвонит,— и стал смотреть, как легко двигается Наталья по комнате.

Часы пробили половину. Желто-лиловый свет стал чуть ярче.

Оказывается, Буся пробыл всего полчаса. Я закурил, сказал:

— Ты чего на кухне все время торчишь? Сиди здесь, не мешаешь.

— Я там занимаюсь и бульон варю,— она направилась к двери.

— Ну, посиди немного,— попросил я.— Кстати, откуда мясо и этот бульон, и зачем он?

— Бульон полезен больным и раненым,— Наталья лукаво улыбнулась.— Я тоже не прочь поесть с пирожками. И Кирилл придет, наверное, голодный. Он и не завтракал сегодня.

— Да откуда все? Ты же не выходила,— спросил я, удивленный.

— Купила вчера по случаю. Зашла в «восьмерку» после лекций, а там отличная кулинария. Ну, вот я и отхватила бифштексов, грудинки и пирожков.— Она улыбнулась.— И вообще, я очень хорошая хозяйка. Ой, бульон! — Она выбежала из комнаты, дверь осталась отворенной, и до меня дошел аромат каких-то кореньев и мясной дух. Тоска отпустила, заместилась удивленной растерянностью.

Я вдруг подумал, что больше двадцати лет не ел домашнего обеда. Ел у кого-нибудь в гостях, но так, чтобы у себя дома, приготовленный женскими руками, такого не было двадцать с лишним лет. Господи, да и многого другого не было в моей жизни двадцать с лишним лет и, видимо, уже не будет.

Я докурил сигарету, загасил ее в пепельнице. Стало скучно, но читать не хотелось, присутствие Натальи в квартире непривычно волновало. И внезапно кольнуло острое и тревожное предчувствие, что день этот необычен и запомнится на всю оставшуюся жизнь, потому что где-то в его желто-лиловом полуденном свете уже сгущаются неотвратимые беды, как в море за обманчиво

чистым горизонтом вызревает гибельный шторм... И трепет вошел мне в грудь, и жаркой волною омыло сердце. Словно девятилетний мальчик, в апреле сорок второго удержавшийся на самом краю небытия, лежал я бессмысленным безглагольным комком, испытывая неведомую тревогу и волнение... Не зная, мальчик уже знал, что он выживет, и сердце его замирало от предлежащего счастья быть и от тревог перед неизвестными бедами, которые ждут впереди. Но и не зная, мальчик уже знал, что грозные, еще не рожденные беды не ходят одни,— не зная, он уже знал, что рядом с ними шествует надежда, что беды рождаются и приходят, что они убывают и умирают, а надежда была всегда.

Сорокалетний, с проколотым бандитской заточкой боком, лежал я на диване и смотрел на лилово-желтый апрельский свет, и что-то трепетно сжималось во мне в предчувствии грядущих гибельных бед и спасительных робких надежд.

Услышав шаги Натальи в коридорчике, я протер глаза, напряг мышцы лица.

— Ну вот, все готово. Хотите чашечку бульона? — она положила на мраморную столешницу исписанные листки, дешевую шариковую ручку, толстую старую книгу в темном переплете и большой словарь.

— Ты и здесь читала, и на кухне? Сразу две книги? — спросил я.

— Да, на кухне занималась, пока обед готовился, а здесь читала «Алису...» для удовольствия,— пальцами она выровняла стопку исписанных листков, села в кресло. Чистые серые ее глаза под прямыми бровями, казалось, проницали насквозь.

Чтобы отвлечь ее внимание от себя, я спросил:

— А чем ты занималась?

— Да вот, фабльо двенадцатого — тринадцатого века. Средневековая литература,— она опустила глаза, задумчиво полистала старую книгу.

— А что это — фабльо? Никогда не слышал.

— Ну, это — такие маленькие новеллы в стихах. Часто смешные, со всякими приключениями. Словом, народная литература, вроде нашей лубочной, но авторы неизвестны. Вероятно, фабльо возникли как противопоставление жеманной рыцарской литературе. Они очень реалистичны, грубоваты, но есть в них какое-то... нет, не просто доброта, какое-то милосердие,— Наталья задумчиво смотрела в книгу, лицо было печальным и

красивым.— Ну, что-то, чего нет в современной литературе.

— Интересно. Что же там — наивность? — спросил я, чтобы подольше продлить эту ее задумчивость и полюбоваться печальным лицóм.

— Как бы это объяснить... Может быть, мне только так кажется, в этих рассказиках всегда есть справедливость. Нет — другое. Вот, например, кузнец-оружейник полюбил девушку, но родители не отдавали ее замуж. Тогда они бегут куда-то там, неважно. Где-то в скалистом лесу на них нападают не то рыцари, не то разбойники. В общем-то, в этих новеллах рыцарь и разбойник — одно и то же... Ну, его, раненного, связывают и на его глазах хотят изнасиловать девушку за то, что он не сдался без боя. И вот девушка говорит: «Убейте его, я его не люблю. И останусь с вами и буду разбойничать». Они убивают кузнеца без мучений, а девушка подбегает к обрыву и бросается со скалы. Вот так,— Наталья пристально, с грустной улыбкой посмотрела на меня.

— Ничего себе справедливость и милосердие,— несколько огорошенный, сказал я.

— Ну, хорошо. А что бы сделала современная литература? Нет, это — уважение человеческого достоинства... Ромео и Джульетта умерли вместе. Современная литература Джульетту бы выдала замуж за старика-нувориша,— голос Натальи зазвенел искренним волнением, и горячий румянец залил высокие скулы.

— Ну,— сказал я, невольно любуясь ею,— положим, современная Джульетта сама бы предпочла нувориша.— Я вздохнул, вдруг стало немыслимо грустно.— И потом, тогда, наверное, не были так благополучны, чтобы позволить себе безысходность.

— Что-то не очень понятно,— сказала Наталья.

И я слегка завелся. Это были старые, усталые мысли, они без конца язвили меня безглагольными и безответными вопросами. Эти мысли добавляли горечь в сладкое питье на пиру, в минуты малодушного страха они насмешливо нашептывали, что не умирает лишь тот, кто не родился, и каждый должен пройти свою судьбу до конца. Быть может, такие мысли и помогают жить, но существование они определенно делают несносным...

И я сказал:

— Приходилось ли тебе замечать, что по-настоящему небережливыми, лихими кутилами бывают только нищие?

— Я не очень большой специалист в кутежах, черт возьми,— улыбнулась Наталья, но глаза были серьезны и вопрошающе-требовательно смотрели на меня.

— Понимаешь... когда есть всего рубль и ты знаешь, что к нему не прирастет завтра другой, что на этом рубле не выстроишь благополучие, то тогда пей-гуляй,— однова живем. И не страшно уронить лицо — завтра его все равно не будет,— я вздохнул, ощущая глухое и знойное волнение.

— Может быть, это и так, то есть наверное это так для отдельного сознания,— она улыбнулась не без ехидства.— Но стоит ли переносить питейную психологию на другие вещи, гораздо шире. Ведь литература — это самосознание не отдельного нищего пьяницы,— в ее голосе послышались нотки ученой дамы.

— Тебе пойдет стоять в очках на кафедре,— сказал я, усмехнувшись.

— Да, я не теряю надежды когда-нибудь украсить себя очками,— в тон ответила она, но глаза были серьезны.

— Да, самосознание,— сказал я чуть громче, чем нужно,— волнение не уходило.— Но это самосознание столько травили, душили в разных Освенцимах и Майданеках, и сейчас некие дяди-физики обещают ему легкую и быстренькую смерть... что волей-неволей начинаешь думать — однова живем. Понимаешь? Человечеству, по сравнению с человеком, всегда было легче: человек смертен, человечество бессмертно. Но теперь это убеждение в бессмертности пошатнулось.

— Неправда! — Наталья резко нагнулась вперед, глаза сузились и потемнели. Впервые я видел ее в гневе — это было зрелище! — Человек всегда должен оставаться человеком. Хоть там разбойники, хоть судьба.— Она положила руку на столешницу, красивую сильную руку с тонким запястьем и длинными пальцами.

Я отвел глаза от ее лица, боясь выдать себя, и пробормотал:

— Ты, пожалуй, права.

— Еще бы.

— Да,— сказал я и потянулся за сигаретами.

Наталья, опередив меня, достала сигарету из пачки, чиркнула и поднесла спичку.

— Спасибо,— ответил я, прикрыв глаза, и вдруг второй раз ударило меня тревожное предчувствие.— Ты занимайся, а я подремлю. Вот докурю,— сказал я спо-

койным голосом, а внутри что-то рвалось, как старая парусина с гнущихся скрипучих мачт.

Я не думал об этом словами, но просто ощущал пронизывающие холода неизвестных ветров. И тысяча разных вещей: невнятные фантазии, летучие воспоминания, потаенная нежность к Наталье, сомнения, желания, ложь, жажда открытости и страх — все во мне вдруг сорвалось с мест и смешалось, как груз тонущего судна...

Я положил сигарету и плотнее сжал веки.

Суденышко мое еще плыло. В балласте были неизвестность и дыра в боку, проделанная Крахом. Плыть было необходимо...

Кирка явился в шесть вечера.

По привычке массируя правую кисть, он сел в кресло, вытянул длинные ноги и, пристально и хмуро посмотрев из-за стекол очков, спросил:

— Температуры нет?

— Нет, все нормально.— Я вгляделся в его тускловатое после бессонной ночи, длинное лицо и понял, что он раздражен.— Прости,— сказал я,— что так получилось. Я не стал бы тебя беспокоить. Это Наталья.

Он вздохнул устало и сердито, поправил указательным пальцем очки, сухо сказал:

— Интересно, что бы ты стал делать? Это тебе не царапина. Такая прореха сама не зарубцуется. И приготовься потерпеть. Новокаин у меня только полпроцентный, а штопать тебя придется долго.

— Ладно, валяй штопай. Могу и без новокаина потерпеть в качестве компенсации за беспокойство,— я пытался говорить беззаботным тоном.— Только поешь сначала. Наталья тут полдня хлопотала, чтобы ублажить тебя.

— Да, поесть будет в самый раз. День сегодня сумасшедший,— будничным голосом сказал Кирка, но напряженность лица и побледневшие губы выдавали его раздражение.

Я принял это на свой счет, почувствовал неловкость и сказал:

— Ты знаешь, мне действительно неприятно, что втянул тебя в эту историю... Тут, конечно, никакого криминала нет, но все равно, я понимаю, что тебе это должно быть противно,— и поморщился, испытывая острое презрение к себе за ложь и безвыходность.

Сумерки ползли в комнату, глуша краски, а за окном,

во дворе, было еще светло, и блики темно-красного накала горели в стеклах окон верхних этажей.

— Ничего себе никакого криминала,— хмуро сказал Кирка.— У тебя почти проникающее ранение между пятым и шестым ребром. Твое счастье, что плевра не задета, а то бы... А-а, даже говорить неохота.

— Понимаешь, не с руки мне было обращаться куда-нибудь за помощью. И тебя я не думал беспокоить,— я замялся, соображая, как бы лучше объяснить Кирке нелепую и, пожалуй, необъяснимую на взгляд нормального человека ситуацию, но он не дал договорить:

— Не в этом дело, что ко мне или к другому не хотел обращаться. Дело в образе жизни. Это же чудовищно, что человек живет так, что даже при серьезном ранении боится пойти в травму. Черт знает что, дурацкий детектив,— он снял очки, большим и указательным пальцем потер переносицу.

— Ты прав, конечно. Но для беседы с работниками сыска я еще не созрел. Вот это я тебе и хотел сказать, чтобы не было неясностей. А за врачевание спасибо, и слава богу, что случая отплатить тебе тем же не представится, хотя неприятно оставаться должником,— сказал я и пожалел, что Наталья долго возится на кухне. Самолюбие мое было задето. Вернее, его вообще не осталось.

— Не в долгах дело,— сказал Кирка, прикрыв глаза и держа очки слегка на отлете,— мы, может быть, должны друг другу больше, чем думаем.— Он помолчал.— Я никогда не задавал тебе вопросов, но, признаться, думал, что все-таки... Ну, словом, не думал, что ты имеешь дело с вульгарной уголовщиной. И знаешь, мне это не мило,— глаза без очков глядели подслеповато, но голос был тверд и холоден, как хирургический инструмент.

Мне было тоскливо. Только сейчас я понял, что теряю друзей. Ушел Буська, уйдет Кирка... Пускай... Каждому свое.

— Любая уголовщина, Кира, вульгарна, она — просто пошлость. Непошлой уголовщины не бывает,— я выждал, пока он надевал очки.— Жаль, но факт. Оправдаться тут нельзя, да и не вижу смысла. Всякому свой путь,— сказал я и почувствовал, что сейчас завою от тоски, хорошо, что в комнате стало совсем сумрачно.

— Да,— сказал Кирка,— оправдания дела не меняют.

И тут вошла Наталья.

— А чего вы впотьмах? — Она щелкнула выключателем.

Свет люстры показался колючим и резким.

— Кирилл Анатольевич, идите поешьте на кухне, и займемся операцией.

— Принеси ему сюда, пожалуйста,— попросил я, прикрыв глаза.

Я схватился правой рукой за спинку дивана, спустил ноги на пол и сел; боли не было.

— Лежал бы спокойно,— угрюмо сказал Кирка.

— Нормально. Не болит. Может, и зашивать не надо? — спросил я.

— Надо. Разрез длинный и глубокий.

— Тем более посижу, а то потом и не сядешь. Да и пообщаться надо по форме, вдруг больше не придется,— сказал я и усмехнулся.

Кирка не ответил, пальцем подтолкнул повыше очки, уставился в сторону.

Наталья внесла на подносе чашку с бульоном, тарелку с мясом, пирожки; поставила на край столика, расстелила перед Киркой салфетку, положила вилку и нож. Движения ее рук были мягкими, но в то же время быстрыми и точными. Лицо у Кирки порозовело.

— Вам дать мяса? — спросила у меня Наталья.

— Нет, спасибо. Достань там коньяк и рюмки. Ты выпьешь? — Я внимательно посмотрел на нее — показалось, что она чем-то расстроена.

— Нет, я не буду. Только что голова перестала болеть,— отмахнулась она.

Я взял сигарету, достал спичку и, зажав коробок между колен, чиркнул. Сигарета горчила.

— Вкусно, Наташа,— сказал Кирка, отрываясь от чашки. Очки у него запотели, и он снял их.

— Стараюсь,— ответила Наталья,— но не ценят.

— Ценят, ценят,— откликнулся я и попросил: — Достань там, пожалуйста, кофту такую серую вязаную, справа в шкафу на полке.

Она принесла кофту, накинула мне на плечи. Мохнатая шерсть сразу согрела. Стало уютнее. Я поудобнее пристроил левую руку на коленях и сказал Кирке:

— Наливай-ка. Сядь, Наташа.

Он налил мне до краев.

— Ну давай — за все хорошее.... что было,— сказал я усмехнувшись и, не дожидаясь ответа, выпил.

Кирка выпил молча.

— Вы — как на поминках, не чокаетесь,— сказала Наталья.

— Сделай, пожалуйста, кофе,— попросил я и, когда она вышла, сказал: — Буська, кажется, слинял насовсем от меня,— как от чумы.

— Что такое? — Кирка напялил очки.

— Да-а... как в пошлом бульварном романе,— я глубоко затянулся, сигарета уже не казалась горькой.

— Ты яснее можешь? — Он пристально посмотрел, я не выдержал взгляда.

— Могу.

Из кухни донесся высокий визг кофемолки.

Кирка налил себе и мне.

— Больше не получишь. Говори.— Он встал, задернул шторы и снова сел в кресло.

— Ну, позавчера, я же рассказывал тебе,— я поднял рюмку.— И только приехал с работы, как Белка опять звонит. Понимаешь ли, устроила мужу сцену,— и я рассказал о Буськином визите и закончил с раздражением: — Ну, прямо роман, пошлее не придумаешь. А я в конце концов останусь козлом отпущения, вернее ослом. Они-то разберутся между собой, а Буська надулся на меня, как мышь на крупу.

— И в самом деле никаких авансов Белле не давал? Она баба не очень спокойная,— сказал Кирка, сделав глоток коньяка.

— И ты еще спрашиваешь! — Меня взяло зло.— Что я, совсем уж ополоумел?

— А кто тебя знает,— угрюмо сказал Кирка.— Ты ведь у нас — любимец женщин.

— Ай, иди ты, знаешь...— Я повертел пустую рюмку, вздохнул.— Вообще мне эта история — как слону стоп-сигнал. Никогда не думал, что Буська, такой ходок, воспримет все так по-идиотски. Тоже мне Вертер.

— Ты его плохо знаешь. Он действительно очень ранимый человек, а все это донжуанство, замшевые пиджаки, все это — маска преуспевающего человека, а где-то в глубине души неуверенность,— задумчиво сказал Кирка, и лицо его, длинное, бледное лицо прибалта, стало холодным и жестковатым.

— Да брось,— сказал я.— Нормальный мужик, благополучный, все есть. С чего ему робеть?

— Это тебе только кажется, что ты один и хлебнул настоящего лиха, а все остальные тут развлекались,—

неожиданно глухим голосом сказал Кирка.— А Борису сложностей хватало — из-за отца. Чуть со второго курса не выперли, из комсомола хотели исключить, потому что скрыл при поступлении. Ладно, что история всплыла в начале пятьдесят третьего и все заглохло весной. Но подломила она его здорово. Я-то помню.

Наталья принесла кофе.

— Ну, вы просто волшебница,— Кирка пригубил из чашки и блаженно прищурился за очками.

Наталья мгновенно зарумянилась, села и нагнулась над чашкой, чтобы скрыть смущение. Она была достаточно ироничный человечек, но совершенно по-глупому ненавидела свой здоровый редкий цвет лица и румянец. Чтобы как-то помочь ей, я сказал:

— Ну вот, пейте кофе и давайте зашивайте меня.

— Да,— кивнул Кирка, не спуская глаз с Натальи,— мне тоже пора идти. Надо выспаться, а то завтра дежурный день и неизвестно, что будет.

Операцию, по-моему, я выдержал не очень плохо. Кряхтел, конечно, когда было неприятно от странного ощущения крепости собственной шкуры. Чувствовалось, что Кирка с усилием прокалывает ее иглой. Боли почти не было, только уже после того, как наложили повязку и я лег на спину, нудно и ломяще потянуло бок и плечо.

— Все чисто,— отрывисто сказал Кирка.— Через неделю сниму,— держа руки впереди на отлете, пошел в ванную.

Наталья подбирала клочки ваты, пододвигала стол. Я закрыл глаза, затаился, стараясь обмануть боль, сделаться для нее незаметным. Шея и лоб взмокли.

Часы отбивали восемь.

Чистый двойной бой плавно раскачивал воздух комнаты. И сразу, как только смолкли бронзовые звуки, над ухом у меня с пронзительным дребезгом раздался телефонный звонок. Правой рукой я дотянулся до спинки дивана и снял трубку.

— Але,— я старался отвечать спокойно.

— Алексей? — Голос был незнакомый и какой-то мятый и гундосый, будто женщина на том конце провода говорила и одновременно жевала хлеб.

— Да,— сказал я,— слушаю.

— Буся,— произнес тот же жеваный голос бескрасочно и тупо.

И, еще не узнавая, но уже узнав его, не чувствуя

боли, я сел на диване и с запнувшимся сердцем, похолодев, прохрипел:

— Что? — увидел стоящего в дверях Кирку, где-то сбоку — застывшую фигуру Натальи и повторил: — Что?

— Он отравился.— В трубке послышались не то всхлипы, не то сдавленный смех, и я, цепенея, спросил:

— Кто, Буся?! — Длинная фигура Кирки в дверях вдруг закачалась, и мне стало нечем дышать, но, все-таки вздохнув, я почти прошипел: — Ну, говори!

— Он умер.

— Умер? — повторил я как эхо и почему-то опустил руку.

Кирка, неясный, расплывчатый, подошел и взял у меня трубку. Его жесткие отрывистые слова падали на затылок свинцовыми дробинами, и от каждого вздрагивало сердце:

— Кто это?

. . .

— Когда?

. .

— Куда отвезли?

. .

— Сейчас приеду.

Я услышал глухой щелчок положенной трубки, с трудом поднял голову.

Стекла Киркиных очков отблескивали в свете люстры, и глаз не было видно.

— Я тоже поеду,— сказал я машинально и встал на ноги.

— Ложись и лежи. Нечего тебе там делать. Он уже в морге. Я потом вернусь. Наташа! Чтоб он никуда не выходил! Да ложись же,— он толкнул меня в грудь, тяжело шагнул к двери.

Я лег на свой диван. Боль в боку была тупой и далекой, но вдруг ознобная дрожь охватила все тело, застучали зубы, и тьма застлала глаза. Что-то страшное и непоправимое, как прошлое, надвигалось из тьмы на меня, дрожащего от ужаса и распростертого навзничь. И не было мне спасения.

Я умирал на своем диване от бесформенного темного ужаса. Не существовало богов, у которых мог бы просить я защиты, избавления или легкого конца. Во тьме, продутой беспощадными ледяными ветрами, заливавшими-ся скрипучим хохотом Краха, вновь и вновь дьявольски

усмешливо поблескивала узким длинным лезвием бандитская заточка — деревянная рукоять ухватисто ложилась в ладонь, рука отходила в замахе назад, но разила лишь черную пустоту, и та отзывалась скрипучим хохотом. Не хватало больше дыхания, иссякли силы, холодные волны тьмы накатывали раз за разом и покрывали меня с головой. Где-то далеко-далеко трепетал бледно-желтый вожделенный огонек, где-то там была жизнь, люди, Наталья, Кирка. Но не было голоса, чтобы закричать, позвать на помощь, и тьма сомкнулась...

Я вынырнул из бесконечно длившегося небытия с испуганным всхрапом.

Часы пробили четверть.

Наталья, отодвинув кресло к противоположной стене, сидела и читала под светом маленькой лампы на каминной доске. Она подняла на меня глаза и сразу потупилась.

Я лежал немой, раздавленный, пустой, изнемогая от ощущения, что существую. Казалось, больше ничего и не надо — только дышать.

Уходили минуты и часы, куранты звонили по ним двойным бронзовым боем, а я все не мог надышаться, но уже ощущал присутствие действительности, которая скрадывала меня, как охотник зверя. И Киркин звонок у входных дверей раздался как выстрел.

Он вошел, не снимая пальто, сел ко мне на диван в ногах. В свете маленькой лампы за стеклами очков глаз не было видно. Комкая в руках перчатки, он глубоко вздохнул, снял шапку, сказал чужим стеклянным голосом:

— Ушел,— сжал шапку в ком на коленях и повторил: — Ушел Буся.

Он подергал головой, будто воротник был тесен ему, и попросил:

— Наташа, дайте коньяку.

Уцепившись правой рукой за спинку дивана, я собрал все свои силы и сел. Три пузатые рюмки отбрасывали косые тени на пустынной мраморной столешнице, темная влага подрагивала в них и отблескивала желчью.

Мы выпили молча. Рюмка в руке была тяжела как свинец; коньяк обжег глотку.

Кирка поставил рюмку, расстегнул пальто, сказал тем же хрупким стеклянным голосом:

— В гараже, у себя в гараже закрыл ворота, выпил четвертинку водки и включил двигатель... Кто-то прохо-

дил по ряду, услышал двигатель, увидел дым из щелей... Бак был почти на нуле... Бутылка, стакан — на полу, а он вынул из машины спинку заднего сиденья и лежал на ней возле стенки... Свет включил.— Кирка наполнил рюмки, выпил, не дожидаясь нас.

— Ужас,— Наталья беззвучно заплакала, только задрожали тугие губы и наполнились влагой глаза.

— Смерть легкая,— сказал Кирка,— кома без боли, отек мозга,— он опустил голову.— Ушел. Он всегда старался уйти от неприятного.— Голос его окреп немного, он повернулся ко мне: — Один раз я хотел сказать ему правду. Тогда умер отец... А он не захотел, ушел.

Наталья всхлипнула, встала и выбежала из комнаты.

— Днем он сидел здесь,— сказал я и указал правой рукой; давила усталость, но, еле ворочая языком, словно в пьяном бреду, я бормотал: — Сказал, что у него неотложное дело. А я просил — останься, соберемся втроем. А он ушел.

Дверь комнаты оставалась открытой, и было слышно, как льется в ванной вода. Лицо Кирки смутно белело в свете маленькой лампы на камине, отблескивали стекла очков. Три пузатые рюмки на пустой мраморной столешнице — две полные и одна пустая — отбрасывали косые округлые тени.

Кирка взял мою наполненную рюмку.

— Давай еще. Вот, нас осталось двое. Не думал, что Буся будет первым,— он выцедил коньяк сквозь сомкнутые зубы.

Я дотянулся, взял рюмку Натальи и выпил.

— Если бы нас не соединяло детство! — вдруг горестным фальцетом почти выкрикнул Кирка, резко поставил рюмку на стол, вынул платок, снял и протер очки и уже обычным суховатым голосом сказал: — Просто смерть ничего не решает, этим никому ничего не докажешь. Буся сделал это напрасно. Здесь нужна только жизнь,— он вдруг цепко схватил меня за руку повыше локтя своими твердыми пальцами.— Алеша! Ну, опомнись хоть ты, пока не поздно. А так зарежут за какую-нибудь трешку,— пальцы его на моей руке ослабли.— У меня никого нет. Только долг перед тобой — вернее, перед собой.

Впервые я видел у Кирки такой смятый и горестный рот.

— Никто никому не должен. Каждый отвечает за

себя. После сорока должен отвечать, – сказал я и отвернулся.

Наталья вошла в комнату. Кирка встал.

— Я наведаюсь на днях. Из дому — никуда. Наташа, последите.— Держа скомканную шапку в руке, долговязый, сутулый, он устало пошел к двери, вдруг вернулся, подошел вплотную и тихо сказал: — Ничего не опасайся. Я сказал Белле, чтобы молчала про тебя.

Я не ответил, лишь оцепенело посмотрел ему вслед.

Сумрак был в комнате, подслеповатый и серый, и ноющая тупая тоска достала меня. Я подумал, что сейчас останусь один и мне предстоит ночь, и уже знал, какой она будет.

Наталья убрала бутылку, взяла рюмки и сказала:

— Идите умываться, а я постелю. И можно, я потом приму душ?

— Ну конечно. О чем ты спрашиваешь,— ответил я.

Наталья часто пользовалась моей ванной, в ее полуподвальной комнатушке никаких удобств не было. Сейчас это было так кстати, потому что отодвигало ночное одиночество. А я не испытывал уверенности, что доживу до утра.

Она унесла рюмки на кухню. Я осторожно встал и побрел в ванную.

Из зеркала над раковиной на меня глянуло белесое, словно припорошенное пылью лицо с потемневшим от вылезшей щетины подбородком, глаза смотрели мутно и жалобно, как у больной бездомной собаки. Умывание одной рукой обостряло чувство незащищенности и беспомощности.

Наталья стелила постель. Неуловимо точными движениями рук, как это умеют только женщины, взбила мою плоскую подушку, положила к левому валику дивана, одним взмахом набросила одеяло, и оно легло без единой складки. Я стоял, привалившись к дверному косяку, и смотрел. Она повернулась.

— Ну вот, можете ложиться. Вы всегда спите ногами к окну, но сейчас вам на левом боку нельзя, а на правом получится лицом к стенке. Я и положила подушку сюда,— сказала она.

— Спасибо, Наташа, наверное, так лучше. Ты дверь комнаты не закрывай и оставь свет в коридоре, а уходить будешь, тоже не выключай,— ответил я.

Наталья вышла, я погасил лампу на камине и стал раздеваться. Из полуотворенной двери, наискось через

комнату, протянулась веселая полоска розово-желтого света. Я лег, до подбородка натянул одеяло, стал смотреть на эту световую полоску. Из ванной донесся плеск воды, загудела газовая колонка. Все это отгоняло одиночество, но я знал, что оно где-то здесь, совсем близко и только ждет тишины, чтобы подкрасться и удавить.

Часы пробили половину.

Я лежал тихо, затаив дыхание, стараясь стать незаметным и плоским, и прислушивался к плеску воды в ванной. Полоса света по диагонали делила комнату пополам, отгораживая мой угол от камина и окна... Она напоминала что-то давнее, позабытое напрочь, но волнующее. Я прислушивался к живому плеску воды и гудению колонки и старался вспомнить, где я видел этот свет, но слишком далеким было то впечатление, чтобы выплыть из глубин памяти, слишком реальным — сегодняшнее, заслонившее все.

Я лежал, смотрел на розово-желтую полосу света, по диагонали делившую комнату пополам, и, прислушиваясь к живому плеску воды, думал о Буське. Нет, не о Буське, его уже не было. Я думал о смерти.

Сколько раз за свои сорок лет я с угрюмой расчетливостью помышлял о самоубийстве? Но никогда эти мысли не приходили от какой-то внезапной и однократной потери, никакое отдельное, даже самое страшное несчастье не смогло бы сокрушить меня, потому что я знал, что впереди ждут еще более страшные беды. Горький соблазн раз и навсегда покинуть это бытие приходил от усталости души. Если с детства жизнь — цепь несчастий, лишений и неволи и нет никакой надежды впереди, то наступает такой час безвыходного отчаянья, что даже смерть кажется вожделенной. Меня всегда спасало какое-нибудь новое, услужливо подвернувшееся испытание, такое крутое, что было уже не до смерти. Быть может, самоубийство — роскошь, доступная лишь благополучным людям...

Мысли были вялые, беспомощно старавшиеся заслонить ужас одиночества, притаившегося где-то рядом и ждущего своего часа. Безумия я боялся больше, чем смерти. И стал искать себе опору в прошлом, потому что кроме него у меня не было ничего. Я пытался понять: что помогло выжить в юности? Быть может, обостренное чувство красоты? Но это обычное состояние в тех местах, где прошла моя юность. Человек нигде так не обманывает себя, как в неволе,— там прошлое кажется пре-

красным, а будущее — прекраснее во сто крат. И поэтому небо до безумия красиво и любая женщина, прошедшая на расстоянии сотни метров за «баркасом» запретки,— Одри Хепбёрн, потому что все это — знаки того, другого мира, о котором грезишь...

И вдруг что-то надорвалось внутри, и я чуть не взвыл от горькой омерзительной жалости к себе... нет, не к себе, а к тому семнадцати с половиной лет уголовнику, каким был в пятидесятом,— черный измятый клеш, курточка-«москвичка» с «молнией», кепочка-малокозырка на стриженной под ноль голове, бледные щеки в первой темной щетине, отросшей после месячного пребывания в «Крестах»... Он не думал о самоубийстве, тот юный подонок с иссиня-бледным исхудалым лицом, хотя ему предстояло отбыть не один год, но та штука, которая произошла с ним, была похуже смерти, потому что противный, сверлящий голову скрип тяжелых ворот, закрывшихся за ним,— этот протыкающий темя и ввинчивающийся в позвоночник скрип ворот был голосом судьбы, впервые тогда заявившей о своей неотвратимости...

Полуденное июльское солнце щедро калило маленький, почти круглый пятачок хорошо утоптанной земли, с трех сторон окруженный глухими высокими бетонными стенами. За стенами что-то ровно гудело. Звук был негромкий, ослабленный толстым зеленовато-серым бетоном, но чувствовалась в нем какая-то грозная мощь. От этого гуда сразу заложило уши, и маленький подонок в черном клеше почувствовал себя оглохшим и еще более подавленным. Он только подумал, нет, не подумал — этого он тогда не умел,— он догадался, что глухие бетонные брандмауэры — это задние стены каких-то заводских цехов, где гудят моторы или турбины, но догадка сразу потухла в его подавленном, растерянном сознании, как затухает крик в густом тумане сумрачных болот. И тогда маленький подонок почувствовал свинцовую обессиливающую усталость, испугался, что ноги не выдержат и он упадет лицом вниз на этот почти круглый пятачок хорошо утоптанной земли. И он заплетающейся неверной походкой пробрел несколько шагов и сел прямо на землю, прислонившись спиной к горячей от солнца бетонной стене. Сел, запрокинул голову и увидел крупитчатую полуденную глазурь июльского неба, по которой медленно плыли редкие, еле заметные, прозрачные пенки облаков. От этого неба и солнца, от давящей уста-

лости внезапно стеснило грудь, перехватило горло удушливым спазмом и едкие, горячие слезы вдруг наполнили и словно промыли дотоле тупые, безразличные глаза. И маленький подонок бесконечное мгновение глядел в крупитчатую высокую голубизну, не понимая, не угадывая, что время — его внутреннее душевное время — рванулось громадным пересоздающим скачком,— он чувствовал в сердце только очищающую боль и глядел в небо, пока из стеснившейся груди не вырвался облегчающий вздох. Тогда он натянул малокозырку на самые брови, опустил голову и взглядом уперся в маленькую круглую клумбу, ранее незамеченную посередине плаца. Клумба была ограничена поставленными на ребро кирпичами и по всей мягко-выпуклой поверхности усажена мелкими низкорослыми маками — бледно-лиловые, белые и густо-красные чашечки чуть покачивались на тонких волосистых стеблях и были просвечены солнцем.

Он родился и вырос в одном из самых прекрасных и странных городов мира и смутно, инстинктивно в своих бесконечных шатаниях по улицам постигал рукотворную красоту перспектив, архитектурных ансамблей и памятников, но никогда еще не ударяла его с такой силой красота цветка и красота неба — красота того, что было до человека и пребудет после него. И в тот миг, на маленьком земляном дворе, окруженном бетонными стенами, эта красота настигла его. Глазами, полными слез, смотрел он, как чуть покачиваются на тонких волосистых стеблях бледно-лиловые, белые и густо-красные чашечки маков, и несказанное, непонятное и возвышающее страдание, быть может впервые, входило в его смутную, ожесточенную маленькую душу. Но он не понимал ничего — ни того, что видел, ни того, что испытывал,— только едкие, горячие слезы застилали и туманили взор да тревожная, нетелесная боль родилась в подреберье, и, не зная, он уже знал, что выживет и пройдет все, как выжил в блокаду; и, не зная, он знал, что это испытание будет длительнее и горше, что, возможно, оно растянется на целую жизнь, если он не поймет, зачем появился на свет...

Гудела газовая колонка, тихо плескалась в ванной вода, полоса розово-желтого света делила комнату наискось. Застигнутый прошлым, я лежал на диване, исходя жалостью к себе.

...Тот маленький подонок, сраженный красотой мелких маков и бездонностью крупитчатой глазури полу-

денного июльского неба, не зная, уже знал, что выживет и пройдет все, и он знал, что это будет трудно, почти невозможно, но он уже осмысленно понимал, что этот мир дает ему равный шанс. Он понимал это с того самого момента, когда, подколотый самодельной финкой неуклюжей грубой заточки, схватил на дворовом пустыре окатанный продолговатый осколок кирпича... Кровь хлестала из-под ладони Губана, прижатой к глазнице, и заливала подрагивающие беззвучно губы, а эта страшная и простенькая мысль уже бессловесно завладела тогдашним полузвериным сознанием маленького подонка (нет, тогда он еще не был подонком, он стал им лишь в тот миг, когда эта мысль электрическими импульсами пробежала в его мозгу, привела в обморочное смятение и канула в подсознание, став частью существа — надолго, быть может, навсегда), и в душе его разверзлась блаженная дикарская пустота: он будет защищаться любыми доступными средствами.

Он огрызался как мог, и за те полтора летних месяца был несколько раз жестоко избит, потому что не мог покорно сносить унижения даже от тех, кто сильнее и старше, потому что не желал расстаться со своими брюками-клеш и «москвичкой» на «молнии» в пользу тех, кто сидел дольше него и поэтому настаивал на своей исключительности. Полтора месяца этот подонок семнадцати с половиной лет прожил на «восьмерке» в состоянии ежеминутной войны против всех. Он воевал с подъема до отбоя, на поверке и даже во сне.

Ему указывали лом, воткнутый в груду земли в углу котлована, и приказывали: принеси. Он шел, хватал голыми руками бурое от ржи железо и с воплем отбрасывал его, тряся руками в воздухе, словно пораженный пляской святого Витта; и, приплясывая и завывая от боли в сожженных ладонях, он слышал вокруг громкий, раскатистый, почти добродушный смех. Ночью, когда спал, ему оборачивали ноги газетой и поджигали. В столовой его миска баланды оказывалась густым насыщенным раствором соли. На поверке ему совали в карман тлеющие комки ваты. Полтора месяца этот подонок семнадцати с половиной лет прожил в состоянии ежеминутной войны против всех. Он воевал с подъема до отбоя, на поверке и даже во сне, и каждый день закалял его душу, но отнимал телесные силы. И кончилось плохо... Его увезли в больницу в каких-то лохмотьях — когда он, беспомощный, валялся на нарах в полубеспамятстве,

брюки и куртку все-таки сдернул с него один из самых ярых и приблатненных мучителей. Из больницы он попал в другое место и уже другим человеком. Он стал страшен, разучился, утратил способность бояться и сочувствовать, забывать и прощать...

Все это, казалось, перешло в гены и кровь, и поэтому я хотел и страшился иметь ребенка — представлялось, моя жестокость, мой ужас и память неотомщенных обид передадутся ему и он станет исчадьем ада более ужасным, чем я, потому что не будет даже знать причин, сделавших его таким. И долго, почти до сорока, жил я в страхе перед самим собой, боясь, что и на воле вылезет из меня этот звериный, подонческий мрак и на какие-нибудь пустячные бытовые раздоры я вдруг отвечу несоразмерной волчьей реакцией. Страх этот доходил до того, что я избегал появляться в людных местах, а на работе держал свои речи и жесты под напряженным контролем. Это иссушало и обессиливало, как злокачественная опухоль. Я почувствовал себя свободнее среди людей лишь год назад, после неожиданной встречи.

Случилось это в Пушкине. Я часто приезжал туда по летним погожим дням, ставил машину на площадке с тыльного фасада Екатерининского дворца и шел в Александровский парк. Быстро проходил Тройную аллею и регулярную часть, сворачивал налево и, побродив среди полуразрушенных домиков Китайской деревни, углублялся в заглохшую, почти лесную сторону, где стоит живописной руиной с башенками, несущими острые шпили, павильон Шапель и зеленовато-прозрачный и теплый сумрак наполнен гомоном птиц. Здесь, медленно шагая по просеке мимо куп старых дуплистых деревьев, я как бы уходил в свое несбыточное детство. Если бы можно было выбирать себе детские годы, я бы хотел, чтоб они прошли в Александровском парке Царского Села. Тут отпускали напряжение и вечная горечь, привольно и чисто дышала грудь и казалось даже, что разглаживаются морщины. Меня оставляли всякие мысли, я ничего не желал и ни о чем не жалел, моя история оставляла меня, я становился человеком между прошлым и будущим, просто человеком, впитывающим волнистый шелест листвы, зеленоватый воздух, настоянный ароматом перегретых трав, птичий гомон и медлительный ток высоких перистых облаков. И вот в один такой день в дальней перспективе безлюдной просеки, где зеленоватый воздух сгустился от зноя и мерцал

слюдяным блеском, показалась беловатая точка, потом она раздвоилась, и, приближаясь, я различил, что это мужчина и женщина: обнявшись, они шли мне навстречу. Через минуту или две мы почти поравнялись, и я хотел деликатно отвести глаза, успев заметить некрасивую худосочность костистого лица молодой женщины, жидкие короткие волосы, но что-то остановило мой взгляд на ее спутнике — то ли выражение какого-то необыденного хамства на одутловатом, уже немолодом лице, то ли ощеренный рот, бесформенный, безвольный и вместе с тем несущий отпечаток животной жестокости, то ли отвесный белый шрам на левой скуле. Он тоже посмотрел на меня. В бесцветных нагловатых глазах мелькнуло смятенное недоумение на миг. И нехорошая дрожь прошла у меня по спине — я узнал его! Я увидел его яснее, чем тогда, в сумраке барака, когда валялся в полубеспамятстве на верхних нарах, а это одутловатое лицо зависло надо мной, взмокшее от жестокой жадности, и потом, выламывая мне руки, он сдирал ту несчастную курточку с «молнией», а я не мог даже произнести слова и только дергался в его безжалостных руках, как тряпичная кукла.

Нехорошая дрожь прошла у меня по спине, встряхнув позвоночник, и дикая ослепляющая ярость наполнила все существо. Теперь был мой черед...

Ноги сами напружинились для прыжка, и его ненавистное тупое лицо было так близко...

Он остановился, видимо что-то почувствовав, а его худосочная девка недоуменно, но с таким обожанием посмотрела на него, что глаза ее закосили в разные стороны. Он снял руку с ее плеча, и секунду-другую мы смотрели друг на друга. Теперь он был ниже меня почти на целую голову, а тогда, двадцать два года назад, казался мне великаном. Я уже мысленно представил себе, как он корчится и хрипит на неровной травянистой дорожке просеки с перебитой трахеей, но этот раскосый взгляд худосочной девки удержал меня. Я сплюнул и под волнистый шелест листвы пошел дальше по безлюдной парковой просеке, задыхаясь от волнения. И через несколько шагов ощутил небывалую легкость, будто свалил груз, который, изнемогая, нес издалека. С тех пор я уже не испытывал того обессиливающего напряжения среди людей и не боялся поразить их какой-нибудь несоразмерной волчьей реакцией. Но долго потом не ездил в Александровский парк...

Знал ли и понял тот тупомордый шакал, что произошло, что минуло его? Догадался ли он о милости судьбы? Сделало ли это его счастливее? Вызвало ли в нем перемены?

Как человека по-настоящему скверного меня всегда привлекали эти вопросы морали и нравственности. Нет, не обиходные запреты: не обидь ребенка, не бей лежачего,— тот, кому нужна обиходная мораль, как намордник кусачему псу, вряд ли существует человечески... Меня интересовал вопрос о воздаянии и свободе...

Плеск воды оборвался так внезапно, что тишина оглушила, как гром. Мгновения трассировали мимо, час отчаянья приближался.

Куранты начали отбивать полночь.

На пороге появилась Наталья. Она сделала шаг, и волосы заискрились медью в розово-желтой полосе света. Что-то бесформенное, темное и мохнатое до пят облекало ее фигуру, и только когда она подошла к дивану, я узнал свой халат.

Она чуть наклонилась надо мной, придерживая халат на груди, чтобы не распахнулся, лицо виделось смутным и тени лежали в глазницах.

— Вы спите? — В вопросе послышалось удивление и укоризна, она склонилась ниже.

— Нет,— безголосо ответил я и ощутил всегдашний запах ее тела — печальный и чистый аромат прогретых солнцем морских отмелей. Дыхание сбилось.

Она выпрямилась, твердо сказала:

— Я останусь с вами.

— Наташа,— произнес я, задыхаясь,— это... Я не отвечаю за себя...

— Нет, так нужно,— она отступила на шаг, одним ускользающим движением сбросила халат в кресло, и тело ее заструилось розовато-золотистым сиянием, усиливая свет, проникавший в комнату.

Я перестал дышать и ощущать себя...

Было что-то нежданно волнующее в том, что золотистое тело не казалось хрупким, потому что тонкая талия переходила в крутые, округлые, сильные бедра... Светились плечи и руки, высокая шея и грудь, только черными были глазницы, губы, острые маковки сосцов и узкий треугольник там, где кончался маленький плоский живот, и словно рой солнечных пылинок вился вокруг ее колен...

Она шагнула к дивану. Я лежал на правом боку,

вжавшись в пружинящую спинку. Она откинула край одеяла, дотронулась до подушки и легко, сразу всем своим телом легла рядом со мной, повернулась лицом и надвинулась, став вдруг большой и горячей. Я почувствовал ее мускулистые ноги и тугую твердость грудей, ее чистое сильное дыхание и вздрогнул.

— Так надо,— прошептала она, кладя ладонь мне на лицо.

Инстинктивно сберегаясь от боли, чтобы покойнее пристроить левую руку, я согнул ее в локте, и ладонь неожиданно наткнулась на округлый высокий выступ бедра, он был шелковистым и прохладным, но под тонкой кожей, где-то в недрах сильного тела, нарастал глухой прибой неистового зноя.

— Так надо,— тихо простонала она, и трепет прошел по упругой груди, она потянулась ко мне набухшими черными губами, и тут близко-близко в сумраке я увидел ее глаза.

Под приспущенными веками исступленно и темно зияли остановившиеся зрачки, и трепет ее передался мне, сгустил кровь, вынул волю, кольнув мгновенным летучим страхом беспамятства и разлуки с самим собой, и вверг в лихорадку мучительного наслаждения первых осязаний, и не было огня язвительнее ее губ, набухших и тугих...

С истомным вздохом, разомкнув колени, она прислонилась ко мне легчайшим огненным лоном.

Время перестало существовать.

14

Часы отбивали девять.

Я вынырнул из почти детского, легкого, как летний воздух соснового бора, беспамятства, в котором было так свободно дышать, позабыв свои вины, и знать, что и к тебе обращены забота и нежность, живущие на свете. Тихо, осторожно, чтобы не утратить этого зыбкого ощущения, я открыл глаза.

Свет был неяркий, но веселый, весенний, и комната не казалась мрачной. Чистый бронзовый звон, словно качели, возносил золотистые звуки и опускал до рдяных медных низов, напоминая о неброской ситцевой голубизне наших русских небес, о парных весенних полях.

Тихо и осторожно открыл я глаза и увидел Наталью. Она сидела в кресле и, чуть склонившись над столиком,

читала свои исписанные листки, что-то быстро подчеркивая дешевой шариковой ручкой. Щеки ее были точно в пятнах малинового сока, и щеточки прямых бровей на склоненном лице казались смешными и трогательными. И нежность, горячая и горькая, неведомая нежность наполнила меня так, что заломило позвоночник и солоно стало во рту. Я старался дышать ровно, чтобы не обеспокоить Наталью и продлить этот миг, хотя в нем, в его остроте, было предвестие скорой разлуки.

Она ощутила мой взгляд и подняла лицо. Щеки и высокие скулы загорелись еще ярче, а глаза, словно промытые, прозрачные до самой глуби, лучились счастливой уверенностью, но в их пристальности был и тревожный вопрос. Глаза хотели понять, увидеть, изменился ли я, вошло ли в меня то несказанное и новое, что промыло их до самой глуби...

«Любовь гласит: «Дочь праха не бывает так разом и прекрасна и чиста».

— Иди сюда,— хрипло сказал я.

Она легко поднялась, обошла столик и шагнула к дивану. Глядя снизу вверх в склоненное надо мной лицо, я взял ее за руку и потянул к себе. Она села на край дивана, улыбнулась. Я привлек ее к себе.

— Тебе больно не будет? — спросила она и положила голову мне на грудь.

— Будет хорошо,— прохрипел я, зарываясь лицом в ее волосы, и ладонью провел по худенькой спине, с волнующей растроганностью ощущая неожиданную дневную хрупкость и тонкость ее тела. И пронзительная, ранящая горечь сковала меня на полувздохе — чем мог я отплатить ей за преданность, нежность и веру в меня, чем защитить ее гордость любящей женщины?

Если вы уже не первой безоглядной страстью, а трудным необоримым чувством любите чистую девушку, которая моложе вас на семнадцать лет, если она доверчиво платит вам взаимностью, то самым серьезным вашим мужским ощущением является ответственность.

Вы обязаны отвечать за то, чтобы со временем в любимых, словно промытых, прозрачных до самой глуби глазах, лучащихся счастливой уверенностью, в глазах, какими они открылись вам после первой ночи, не появилась мерклость разочарования и горечи. Вы обязаны отвечать за красоту, здоровье, чистоту, доверчивость и гордость — вы обязаны отвечать за счастье любимой, а это значит — вы обязаны быть достойным ее всегда.

И это — свобода, потому что ответственность вы принимаете добровольно. Но, приняв ответственность, вы уже не можете отказаться от нее. Это как на войне, где добровольца за измену и трусость расстреливают на общих основаниях...

Голова Натальи лежала у меня на груди, и, зарывшись лицом в ее волосы, ощущая их запах, я гладил ее худенькую спину и горестно думал о невыносимой ответственности. Из нежности, из жертвенности рождалась бестрепетная холодная мысль...

— Сейчас я тебя покормлю и поеду. У меня в десять семинар,— сказала Наталья и, протянув руку, погладила меня по щеке.

— Я сам. Ты рано встала? — Так не хотелось отрываться от ее волос.

— В шесть. Размела воду во дворе. Бачки опорожнила на лестницах. Да там немного было. Потом позанималась. Мне выступать сегодня.— Голос был веселый, прохладные тонкие пальцы разглаживали мне лоб.

— Я поем сам. Встану, умоюсь и поем, а ты собирайся. Времени уже много,— сказал я. Было невыносимо стыдно от мысли, что придется встать при ней нагишом, неловко одеваться одной рукой. Я убрал ладонь с худенькой спины.

После ухода Натальи стало пусто и меня обступила беспощадная, трезвая утренняя тишина. Привычные вещи — люстра, кресло, мраморный стол, часы на камине и книги — выглядели странно и недобро в скуповатом апрельском свете.

Я встал. Рана не болела, ощущалась только повязка и напряженность левого плеча и руки. Я умылся, с трудом, кое-как побрился одной рукой, сварил кофе. Есть не хотелось. Я сидел на кухне, курил и прихлебывал кофе, а возникшая из нежности и жертвенности бестрепетная холодная мысль уже целиком завладела мной.

Я курил, прихлебывая кофе, и думал о смерти.

Буська сделал это потому, что его не любили... Никогда не предполагал, что мне придется сделать это потому, что меня преданно любят. Только сделать надо так, чтобы никто не догадался...

Чашка опустела, и сигарета догорела до конца, а я сидел и холодно, расчетливо думал, как это сделать. Словно речь шла о ремонте машины или очередной комбинации на «железке».

Без долгих словопрений и разбирательств я вынес себе приговор, и он не подлежал обжалованию.

В полдень позвонил Кирка, спросил о самочувствии и сказал, что похороны Буси в воскресенье.

— Поедем вместе,— ответил я и, чтобы не слушать возражений, повесил трубку.

Тишина в квартире уже не казалась какой-то особенной, исполненной значения и смысла. Это была обыкновенная тишина, в которой буднично утекало мое время. Теперь его оставалось совсем немного. С этой мыслью пришло успокоение. Решение было принято, и отчаиваться или тосковать уже не имело смысла. Я не думал, верно или плохо это решение. Я знал, что оно единственное. Нужно было только хорошо прожить оставшиеся несколько дней, похоронить друга, безмолвно попрощаться с любимой, поехать в Щербаковку, увидеться с дядькой и бабкой. Я знал, что обратно уже не вернусь. Мне оставалось пять-шесть дней здесь, с Натальей, и два-три дня в Щербаковке. Это только по будничным меркам казалось мало, но эти дни, быть может, самые счастливые и наполненные и поэтому равны всей предыдущей жизни.

Часы отбивали утра и полдни, отмечали приход ночи. Днем, если Наталья не уезжала в университет, мы разговаривали. Я рассказывал ей о городе, о старых дворцах и простых доходных домах, о проходных дворах и торцовых мостовых, которые еще кое-где дожили до самой войны. Я рассказывал ей о нашем с Буськой и Киркой детстве. И все из тридцатилетней дали выглядело трогательным, смешным и даже возвышенным. Конечно, я привирал, опуская не слишком поэтичные подробности, и кое-что приукрашивал, но было такое чувство, что говорю чистую правду. Наталья умела слушать, и ее заинтересованность и волнение словно очищали и подымали мою память, и то, что я рассказывал, быть может, уже не являлось детством конкретных людей,— то была легенда о судьбе поколения.

Похороны Буси были исполнены суховатой и умиротворяющей печали, но при этом зрение цепко и трезво отмечало подробности,— словно мастеровой у мастерового перенимал ремесло.

Гроб, обтянутый кумачом и обитый по краю полоской тисненого картона, высеребренного под глазет, поставили на кучу комковатой желтой земли, вынутой из могилы, сняли крышку. Бусино лицо на плоской белой подушке

казалось особенно смуглым, длинные густые ресницы загибались вверх, бородка была аккуратна, только губы, полные, красивой лепки Буськины губы, посерели и сплющились и в уголках рта залегли мглистые тени, на лице не было отчужденной покойницкой значительности,— в нем был еле заметный тихий вопрос.

Губы мои ощутили бестрепетность гладкого, как стекло, лба. Я отошел за изголовье гроба и увидел белое пятно темени и хлопья сероватой перхоти в темных поредевших волосах.

Оглушительно граяли кладбищенские вороны на голых, дрожащих деревьях.

Холмик над могилой вышел совсем небольшой.

Мы помянули Бусю вдвоем с Киркой у меня. Выпили и помолчали, да и не о чем было говорить.

Прошло еще несколько дней, наполненных тихими простыми мыслями, беспечальными воспоминаниями детства, нежностью к Наталье. Я был спокоен и добр, словно впереди еще предстояла длинная светлая жизнь.

Двенадцатого апреля Кирка снял швы.

— Заживает как на собаке, а я опасался воспаления,— сказал он, полосками лейкопластыря прикрепляя на рубец марлевую накладку.

— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет,— ответил я и спросил: — Выпьешь? И еды много вкусной. Наталья наготовила столько, неделю не съесть.

— Нет желания,— Кирка указательным пальцем толкнул очки вверх, пристально посмотрел на меня.— Подвигай рукой, не бойся. Не тянет шов?

Я осторожно пошевелил левой рукой, уже привычно стараясь не тревожить плечо, но Кирка покачал головой:

— Энергичней, чего ты? Люди после аппендицита на седьмой день бегают.

Я взмахнул резче.

— Ну, как?

— Ничего,— ответил я,— жить можно.— И правда, боли не было, лишь чуть тянуло под мышкой.

Кирилл вымыл руки, вернулся в комнату и сел в кресло.

— Ты выпьешь? — спросил я.

— Сказал же — нет,— чуть резче, чем следовало, ответил Кирка, но, снизив тон, добавил: — Устал сегодня. Наташа зайдет?

— Она на занятиях, через час, наверное, вернется,— я посмотрел на него.

Кирка сидел в кресле, далеко вытянув ноги, длинное лицо было жестким. Я вдруг подумал, что мы видимся в последний раз, и сказал:

— Оставайся, поужинаем втроем.

Синий вечер сгущался за окном, я включил люстру и задернул шторы, сел на диван против Кирки.

— Нет, поеду,— сказал он.— Лягу пораньше, отосплюсь,— но не пошевелился в кресле, глаза из-за стекол смотрели на меня пристально.

И снова остро кольнула мысль, что мы видимся в последний раз, и я понял, что Кирка хочет что-то сказать, предложил:

— Может, кофе попьешь?

— Не хочу. Как у тебя на работе, больничный нужен? — Он пальцем поправил очки.

— Я взял за свой счет — собирался в деревню. Завтра поеду потихоньку.

— Надолго?

— На пару дней, а вообще, не знаю — посмотрю,— я придвинул пепельницу на столике и закурил.

— А потом? — настойчиво спросил Кирка.

Я знал, что никакого «потом» не будет, и поэтому только пожал плечами и прищурился, будто дым сигареты попал в глаза.

Часы пробили четверть.

— Мы никогда не спрашивали друг друга, но...

— Давай не будем ломать многолетнюю традицию,— перебил я и глубоко затянулся.

Кирка сжал губы, длинное твердое лицо порозовело.

— Ты не сердись,— сказал я.— И так тошно. У меня целый фолиант вопросов, мне самому и отвечать.

— Хорошо,— Кирка поднялся.

Я тоже встал, подошел к нему и сказал:

— Спасибо, Кира, за то, что заштопал, и вообще за все.

— Ну ладно,— он отвел взгляд.— Пойду.

— Наталья здесь будет жить. Я ей ключи оставлю. Мало ли, задержусь или что, так ты ей позвони, чтоб не скучала,— небрежным тоном попросил я.

Кирка внимательно посмотрел на меня сверху вниз.

— Ты действительно только на два дня? — спросил он.

— Рассчитываю так, но вдруг придется зарулить куда-нибудь подальше, если возникнут какие-то обстоятельства,— я выдержал его взгляд.

— Хорошо, позвоню на будущей неделе,— Кирка шагнул к двери.

Я вышел за ним в переднюю, смотрел, как он надевает пальто, задевая длинными руками стенки, оклеенные шпоном карельской березы. Мы попрощались молча. Рука его была сухой и твердой.

В тишине я ходил по комнате, разглядывая знакомые вещи. Время мое истекало. И не было жаль ни вещей, ни этой квартиры. Когда-то, тысячу лет назад, они что-то значили в моей жизни, но обесценились, как какие-нибудь керенки в октябре одна тысяча девятьсот семнадцатого.

Во мне не было ни сожаления, ни горечи,— лишь заунывная пустота в прах продувшегося игрока.

Я услышал щелчок замка входной двери, глубоко вздохнул и выпрямил спину. Надо было дожить оставшееся время. Дожить достойно хотя бы его.

Наталья вошла в переднюю и сразу прижалась ко мне, свежая, с прохладными гладкими скулами. Я повесил ее легонькое пальто на вешалку, усадил на табуретку и снял сапоги.

— Ну, как ты? — Она положила ладони мне на грудь и посмотрела в лицо.

— Хорошо,— я помахал левой рукой.— Был Кирилл, швы снял и сказал, что все нормально.— Я улыбался изо всех сил.

— Отлично. Сейчас будем есть. Ты, наверное, голоден?

— Нет, не очень,— простые вопросы помогали быть естественным.

— А что Кирилл не остался? — Она направилась в ванную.

— Устал очень. Тебе привет,— сказал я ей вслед и вернулся за сигаретой.

Я сидел за столом в кухне и смотрел, как Наталья, уже успевшая переодеться в свою голубую рубашку, хлопочет возле плиты. Поражали изящество и точность движений,— ни одна ложка, ни одна посудина не звякнула в ее руках, и повороты тонкого тела от плиты к столу были четкими, законченными, как у фехтовальщика. Тут была не только прирожденная ловкость. И я спросил:

— Где ты так научилась? Вертишься, как в танцклассе.

Она посмотрела на меня, зарумянилась, показывая в улыбке зубы.

— Не в танцклассе. Я танцевать только в Ленинграде научилась.

— Ну а где ж?

— Дома. Я же с пятнадцати лет за хозяйку. Мать умерла у нас в шестьдесят пятом,— по лицу ее пробежала тень.— Бабушка, отцова мать, старая была. Отец и два брата — мужики. Вот и научились. Корова была в доме, поросенка держали, кур, еще — пес и кот, и огород на мне. Вертеться приходилось. Вставала в четыре, чтобы до школы все успеть. А потом еще два года на ферме проработала. Я же в университет со второго захода поступила,— она смущенно улыбнулась.

— Вот оно что,— я усмехнулся.— А такое впечатление, что у тебя было вполне счастливое детство.

— В общем-то, да. У нас семья дружная. Братья и отец меня любят. Ну, а что поработать пришлось, так я и чувствовала себя хозяйкой,— она выключила газ.

Родиться бы мне твоим братом, может, все пошло бы по-другому, подумал я и сказал:

— Да, ты знаешь, я завтра поеду в деревню. Надо бабку и дядьку навестить. Они мне — самые родные люди. Я для этого за свой счет взял.

— Надолго?

— Да нет. Два дня от силы,— как можно небрежнее сказал я.— Собирался пожить там недельку, да вот с этим порезом проторчал.

— А мне нельзя с тобой?

— Думаю, что не стоит,— медленно сказал я и торопливо добавил: — Но мы с тобой еще поездим, Наташа. Выеду с утра пораньше и обернусь за два дня.

Наталья промолчала.

Только после ужина, когда уже сидели в комнате, она тихо сказала, прислонившись головой к моему плечу:

— Как-то беспокойно. Остаюсь одна. Никогда до сих пор не боялась, потому что и была одна,— в голосе были удивление и грусть.

— Ну мне тоже,— сказал я.— Но потом все время будем вместе,— и обнял ее за плечи.

— А когда потеплеет, в мае, съездим ко мне в деревню? Я тебя с братьями, с отцом познакомлю,— она сильнее прижалась ко мне.

— А это удобно? Все-таки... скажут — отхватила себе старика,— я очень боялся, что голос выдаст.

Свет люстры казался слишком ярким, черной пустотой зияло жерло камина,— все было чужим, уже отрешенным. Только теплые тонкие плечи Натальи, биение ее сердца убеждали, что я еще жив.

— Ты моложе всех, они полюбят тебя,— прошептала она.

— Тогда поедем,— я поцеловал ее в висок.— Мы будем теперь ездить повсюду.— Это не было ложью, это было мечтой.

— Да?

— Да. Я всегда хотел этого,— сейчас я говорил правду.

— А я не разонравлюсь тебе? — спросила она вкрадчиво.

— Почему?! — я сильнее прижал ее к себе.

— Ну, может, я не очень как женщина,— голос звучал смущенно, глухо, и ее щека сразу полыхнула жаром.

— Да ты что?! Ты лучше всех на свете! — Я погладил ее. Несколько пуговок рубашки были расстегнуты, и ладонь моя наткнулась на шелковистую тугую округлость груди.— Даже сказать нельзя, какая ты,— прохрипел я, задохнувшись от остро подступившего желания.

Наша последняя ночь была короткой как миг.

15

Апрельские ветры ночью не спали, и асфальт на шоссе был сухим и чистым. На мокрых коричнево-пегих обочинах возились взъерошенные сороки. Когда машина приближалась, черно-белая хвостатая птица делала несколько смешных суетливых поскоков, отбегая подальше от дорожного полотна, и сердито косилась угольно поблескивающим глазом. Жестью блестели мокрые поля. Тонкие деревья придорожных опушек стояли по колено в воде, но дальше, если проникал глаз, в лесу мрела снежная синева.

Я ехал на юго-запад. Дорога текла по равнине, открывая зелень далей, и сиротское, желто-белесое солнце светило в спину. Сквозь пение шин я различал воркотню двигателя и тонкий ровный посвист встречного воздуха в желобках крыши. Впереди лента асфальта мокро блестела, как лужа, и сливалась с горизонтом, над которым стояли редкие вытянутые, словно лодки, облака.

Я ехал на юго-запад и вез свое одиночество, но не ощущал его тяжести.

В пути одиночество становится другим, тоска не успевает догнать вас, как Ахиллес черепаху, и в преодолении кусочков пространства уже заключается мнимая цель. Вы движетесь впереди своей горечи. Вы убегаете от прошлого или прошлое догоняет вас — рождается иллюзия борьбы, и тогда не так уже больно умереть на дороге.

Я ехал и ни о чем не думал. Все было позади.

Мелькали магазины, поселки, погосты.

Я весь наполнялся пространством, а время мое утекало. Наталья, Кирка, Буся и Крах — все осталось позади, все позабылось. Меня наполняла лишь огромная бестрепетная пустота и еще удивление перед цепкостью привычек: вот я курю, аккуратно стряхивая пепел в приоткрытое окно, объезжаю зачем-то колдобины,— все так нелепо. Бессмысленным кажется всякий вздох.

Противоестественно знать час своей смерти.

Мелькали деревни, поля, перелески. В серости подступавших к обочине опушек изредка вдруг томительной свежестью вспыхивала зазеленевшая осиновая кора, и пахло навозом с придорожных полей.

Через сто с лишним верст я повернул на север, и солнце стало заглядывать в машину справа. Дорога пошла петлять, карабкалась на пригорки, пересекала речушки через скучные одинаковые мосты, потом круто взяла вверх. Я поднялся на уступ, бывший когда-то берегом древнего моря, проехал еще с полверсты и остановил машину на обочине.

Возвышенность здесь рассекал широкий овраг, и справа, через десятка полтора метров от обочины, начинался обрыв. Я открыл дверцу, вылез и, раздвинув прутья кустов, подошел к самому краю.

Солнце светило прямо в лицо. Я постоял над обрывом, рассматривая крутой красноватый откос, поблескивающий вкраплениями кварцита среди рыхлой породы. Противоположный склон, еще покрытый потемневшим ноздреватым снегом, был отлогим и низким. Высота обрыва, на котором я стоял, была не меньше сотни метров, а на дне, куда почти не доставало солнце, из серого снега торчали коричневые обсохшие лбы валунов. Я докурил сигарету и бросил окурок вниз, вернулся к машине и посмотрел вперед на дорогу.

Если вы будете ехать оттуда и вдруг заснете от

утомления... или, скажем, притормозите чуть резче, чем нужно, а под колесами окажется наледь, то ваш автомобиль с заносом перережет дорожное полотно, проскочит неглубокий кювет за обочиной и, смяв прутья кустов с уже живо краснеющей кожицей, сорвется с обрыва и пойдет кувыркаться, пока не трахнется о коричневые обсохшие лбы валунов, и если день будет теплый, то пары бензина сразу вспыхнут от замкнувшейся проводки, а потом с копотью и жирным дымом загорится краска, резина, тряпье, но вам это будет уже безразлично... Такие несчастные случаи бывают даже с опытными людьми.

Я постарался запомнить это место, чтобы не пропустить его на обратном пути, сел в машину и поехал вперед, к облачному с прóзеленью небу, и сиротское, желто-белесое солнце светило мне справа.

Щербаковка показалась еще издали на высоком берегу излучины речки, покойно текущей в Балтийское море. Просторный порядок домов был светел, крыши курились дымами.

По деревянным мосткам я переехал через кювет и сразу нырнул в проулок, где за почерневшим штакетником и узеньким палисадом стоял коренастый, с открытым крылечком дом.

Старуха, сухонькая и невысокая, в платке, стояла опершись на клюку и слезящимися глазами смотрела на меня с крыльца. Я толкнул калитку и, снимая перчатки, взошел на крыльцо.

— Баба Аня, не узнаешь? Здравствуй,— сказал я.

— Алеша, внучек? Не разглядела сослепу. Здравствуй! — пришамкивая, сказала она и мелко-мелко затрясла головой.

Я подошел к ней, обнял легонько и поцеловал белую, покрытую косой сеткой морщин щеку, и что-то вдруг кольнуло внутри, остро и больно.

— А дядька где? — спросил я.

— Баню топит. Ступай в дом, а я позову,— бабка пристукнула клюкой по настилу, сильнее затрясла головой.

— Я сам, сам, баба Аня,— я спрыгнул с крыльца, минуя ступени.

Солнце только заглядывало в низкие окошки просторной горницы, золотило часть стола, застланного белой скатертью, несколько чистых крашеных половиц

и таяло у порога. Сухой воздух жарко натопленного деревянного дома непривычно щекотал ноздри, и пахло укропом, соленьями и дымком. Звонко щелкали ходики с расписным циферблатом.

Дядька сидел в переднем углу, весь распаренный, красный, остро поблескивая синими, как купорос, глазами. Свежая рубаха была расстегнута на груди, открывая седую растительность, и голова была сивой, как жесть. Бабка мелькала в полосе солнечного света, уставляя стол едой. По комнате она двигалась шустро для своих восьмидесяти семи, только голова в белом мягком платочке все так же мелко и часто тряслась.

Я смотрел на старую желтую рамку, в которой за стеклом выцветали семейные фотографии: молодой — совсем мальчишка — чубатый отец в рубахе с широкими продольными полосами, словно из матрацного тика; молодой дядька в гимнастерке, оттянутой медалями,— фотография по пояс, отсутствие руки незаметно. Увидел я и себя, семилетнего, кругломордого, с вытаращенными от напряжения глазами. Серьезный, слегка глуповатый и ухоженный ребенок в вельветовой курточке с «молнией». Ровно подстриженная челка на низеньком лбу,— на этом лице еще не прочитать судьбу.

Я оглядывал горницу, лица дядьки и бабки, но ощущение давнего детского счастья не возвращалось. Изжитый, чужой, сидел я за старым тяжелым столом на жестком неудобном стуле.

— Как брат-то, не болеет? — спросил дядька.

Бабка поставила на стол миску с крупно посеченной квашеной капустой и тоже села, спросила:

— Верно, не ходишь к отцу? Все чинишься? — и посмотрела слезящимися глазами.

— Почему? Десять дней назад был,— ответил я.

— Молодуха-то его не сбежала? — спросила бабка. Она заметно пришамкивала.

— Какая уж молодуха — сорок лет. Куда она денется,— сказал я.

— Ну, давай за приезд. Вот попарился бы, так ледком прошла,— сказал дядька и, подмигнув синим глазом, придвинул ко мне простую граненую стопку.

— Ну, твое здоровье, баба Аня,— я поднял стопку.

— Мое-то при мне, вашего бы не убыло,— слезящимися глазами она внимательно посмотрела на меня, спросила: — Отец-то пьет?

Я улыбнулся, ответил:

— Ну, одну-две рюмки. Разве это пьет.

— Вот чухна болотная,— вдруг высоким неожиданным фальцетом сказала бабка,— мало ему хворей!

— Ладно, мама,— сказал дядька.— Давай, племяш.

Мы выпили. Я закусил хрусткой кисло-сладкой капустой, спросил у бабки:

— А почему чухна, баба Аня?

— А потому что чухна и есть. А кто ж вы все? И дед твой чухна был, по целым дням молчал, слова не вытащишь,— пришамкивая и беззубо улыбаясь, сказала бабка.

Я посмотрел на дядьку, он улыбнулся, сказал:

— А что, мать, в твоем Ополье все — русские?

— Конечно, русские,— сразу ответила бабка.— До Ополья все русские. А сюда, к Сойкиным горам, только чухны и жили. Даром что Щербаковы, а все одно чухны. И еще немцы были, да в войну вывелись.

— Да откуда тут немцы? Ну, чухны — ладно. А немцы? — спросил я удивленно.

— А с Ямбурга пришли. Их там до революции много было, и церквы ихние были, а здесь-то — чухны. Все белоглазые, нос сапогом, все присусыкивают, одно что крещеные,— бабка потуже подтянула концы платочка тонкими, очень белыми пальцами и поджала губы.

— Чего ж ты, мама, сюда замуж пошла? — спросил дядька, улыбаясь и явно подзадоривая бабку.

— А нас семь девок было, куда ж деваться. И все малорослые. Таких опольские не сватали. А тут село тихое, даже по престольным драк не было. Вот и пошла. А не пошла б, все равно отдали бы.— Бабка медленно встала, сказала: — Банька уже охолонула, пойду мыться. А вы ешьте, пейте.— Голова ее тряслась.

Мы выпили еще по одной, и, когда бабка ушла, я спросил:

— А что, правда, здесь немцы были и финны и мы, выходит, не русские?

— Да ну, не русские. Ты ее слушай больше. Верно, жили здесь и немцы, и финны, но то когда было. Давно все перемешались. Это мать что в детстве слышала, то и повторяет. Тогда друг друга чухнами ругали. А доставалось всем одинаково. Земля не богатая, хоть и кормила, а руки приложить надо было. Валуны и сейчас вылезают. Трактора каждую весну стаскивают к меже, а тогда только миром убрать можно было, так что жили

дружно — земля заставляла.— Дядька вздохнул, улыбнулся.— Давай еще по одной, и хватит ее, заразы.

— Уже и зараза, а говорил — после пара ледком пройдет,— усмехнулся я.

— Так то я тебе. А сам не пью ее с первого января сорок седьмого — зарекся. Только когда начальство с головной усадьбы приезжает, выпью стопку из уважения, или вот гость. А так глаза бы на нее не смотрели,— морщась сказал дядька.— Да и все по дням. Шестого августа сорок третьего курить бросил. Теперь уж не кажется, а раньше думал, будет день, и, как мать родную звать, забудешь,— он наполнил стопки, задумчиво посмотрел мне через плечо, куда-то в сторону печи, и в синих купоросных глазах открылась даль пережитого.

Я любил своего дядьку, хоть и редко виделся с ним, любил, когда он, обычно немногословный, вдруг зацепившись памятью за случайно мелькнувшее воспоминание, начинал рассказывать. В этих незамысловатых рассказах всегда поражала та достоверность, которая оплачена подлинной пережитостью.

Он рассказывал, как бросил курить на Орловском плацдарме. Дядька был башнером. Их «тридцатьчетверку» насквозь прошило болванкой, командир, механик-водитель и радист были убиты. А дядька, контуженный, онемевший и оглохший, со сломанной голенью, проваливался в стальной коробке до ночи, то приходя в сознание, то погружаясь в забытье. У него все-таки хватило сил отдраить башенный люк и вывалиться на землю. Утром его подобрали санитары. Он пролежал в госпитале три с лишним месяца и уже не смог курить, потому что началась неудержимая рвота. Дядьке все чудился в табачном дыму запах размозженных и обгоревших тел товарищей. Он так и не брал с тех пор папиросы. Казалось, я сам пережил этот танковый бой где-то под Кромами. Я слышал, как грохотало в железном нутре «тридцатьчетверки», как ухала семидесятишестимиллиметровая пушка, после выстрела с клацаньем выбрасывая в гильзоприемник раскаленную гильзу и клубок кислой пороховой гари, от которой жгло гортань, а лицо и шея покрывались сальной копотью... Видел, как внутренние стенки вспыхивают фонтанчиками желто-красных звездчатых искр там, где мины или осколочные снаряды попадают в корпус...

Дядькин рассказ жил во мне несколько лет и бередил

душу непрожитым, вызывая подростковую горечь, оттого что не пришлось воевать.

Это боль моего поколения, поколения военных подростков, погибавших под бомбами и обстрелами, умиравших от голода и старавшихся выжить. Нам вволю досталось лишений, но не дано было испытать укрепляющей ярости и ужаса боя, и, выжившие, мы ушибленно и тихо донашивали обноски погибших отцов, томясь неизъяснимой виной и неуверенностью до времени постаревших детей.

Тот, у кого за спиной хоть один такой августовский, раскаленный танковым зноем день, по-другому ощущает право на жизнь...

Руку дядька потерял уже в конце сорок четвертого под польским городком Сандомиром...

Он сидел передо мной с еще красным распаренным лицом и влажными после бани, сивыми, как жесть, волосами, зажав в единственной левой руке граненую стопку с водкой.

— Ну давай, дядь, по последней, раз ты бросил,— сказал я.

— Да деваться некуда было, вот и бросил. Ну давай,— он резко запрокинул голову, открывая сильную красную шею.

Я тоже выпил, поставил стопку и посмотрел на него.

— Да что говорить, Алеша, судьба, она по-разному поворачивается,— начал дядька, глядя мне через плечо.— Сам понимаешь, вернулся в сорок пятом — одна шинель да сапоги. А тут, в Щербаковке, немец хоть и не пожег ничего, но всю скотину извел. Обнищали, голодуха, бабы с пацанами только с леса кормились ягодами да грибами, картошку сажали. Сорок дворов было тогда, семь мужиков вернулось, а целых — трое. Ну, перезимовали с матерью. А в сорок шестом брат помог, купили телку у эстонцев. Думали, оклемаемся потихоньку. Косарь-то из меня, сам понимаешь, никакой, но накосили вместе с матерью, думали — дотянем до весны, свезли, свершили стожок, а он сгорел в зиму. Может, кто поджег, а может, из трубы сажу горящую вынесло. Трубы-то всю войну не чистили. Ну, коровенка наша стала доходить. Вот я в Новый год ночью и запрягся в сани... Выпивши, конечно... Тогда колхоз был в Айкино — километра два. Наметал сноп — и обратно. Ну, оно всегда, как на грех... Меня на дороге ихний председатель и накрыл с бабами... В драку кинулся. Злой тогда был,

горячий. К инвалидности привыкать трудно... Вот с тех пор не пью,— дядька умолк, опустил голову.— Да что вспоминать,— он поднял голову, улыбнулся, потом посмотрел в окно, спросил: — Приляжешь с дороги-то?

— Нет, спасибо. Пойду пройдусь до залива,— ответил я.

— Сапоги надень мои резиновые. Мокро там. Не дойдешь в ботиночках. А я полежу. Упарился и вот выпил,— он провел широкой ладонью по жестяным волосам.

Солнце еле пробивало белесые облака, и передо мной качалась бледная короткая тень. Я шел вдоль домов Щербаковки — то веселых, крашенных по вагонке синью, с белыми наличниками окон; то хмурых, чернеющих старыми мощными срубами. Здоровались со мной встречные люди, хотя я не знал никого. Я шел вдоль коричневого склона глубокого кювета шоссе почти прямо на север. Деревня кончилась, и слева, на взгорке, среди прозрачных голых деревьев показалась почерневшая, с прохудившейся сквозной маковкой церковка и кладбище, но я не свернул по еле заметной после сошедшего снега тропке, решил, что дойду до залива, а на кладбище заверну на обратном пути.

Я шел в изжелта-белом апрельском свете туда, где низкое небо синело над заливом, и ничто не волновало меня. Я словно забыл о своем решении, о том, что приехал прощаться, и ни о чем не думал, лишь смотрел на мокрые луга, почти чистые от снега, на маленькую рощицу высоких стройных рябин на дальнем краю озимого поля. Нигде больше я не встречал такой сплошной и чистой поросли рябин. Под осень рощица горела гроздьями ягод так, что, казалось, небо краснело над ней, а сейчас она была прозрачной, как воздух,— тонкие ветви издали воспринимались как редкий туман, только внизу различались прямые древесные стволы.

Я поднимался все выше. Поля кончились, и начался ельник с примесью дубов. Дорога здесь была грунтовая, узкая и мокрая. Дядькины сапоги оказались кстати. Я прошел неширокий ельник насквозь, и внизу открылась грустная даль залива, забитая обгрызенными льдинами; над разводьями с пронзительными криками вились чайки. Было уныло и бесприютно. Я почувствовал, что зябну, и повернул назад. Я не нуждался в долгом прощанье с миром, потому что мир мой был узок, как щель.

Я возвращался быстрым шагом и не повернул на кладбище. Державшаяся на моем тайном решении связь с миром уже оборвалась, и мне захотелось уехать сегодня же. Но, взглянув на рябиновую рощицу, как облако серого тумана стоящую на дальнем краю озимого поля под белесым небом, я почувствовал слезливую пронзительную детскую нежность к этой унылой земле, где веками жили крестьяне, кормились и бедствовали. И оно пришло, чувство того времени, о котором я не помнил решительно ничего, кроме ощущения счастья. Это чувство возвращало к поре, когда я был беспомощен, но ничего не боялся.

Я стоял на обочине, мутными от слез глазами смотрел на мокрую озимь и сквозную рябиновую рощу за ней и чувствовал теплоту, растроганность и горестное удивление...

Я решил все-таки переночевать в Щербаковке.

День прошел незаметно в нетягостных и простых разговорах с бабкой и дядькой. Я сам натопил светелку и лег на узкой железной кровати с поскрипывающей под тюфяком железной сеткой.

Сон не приходил долго. Я прислушивался к скрипам и шорохам деревянного дома и ни о чем не думал, лишь изредка теснило грудь, как в детстве, когда, что-нибудь натворив, стараешься не думать о близком наказании, но тревога нет-нет да и настигнет тебя.

Потом я заснул и сразу же побрел по пустынным полям, мокрым и ветреным, без деревьев, без крова, и впереди тоже брел человек, бесцельно, сутуло, потерянно, и казалось, что это я сам догоняю себя. Но когда я приблизился, то увидел, что это отец. Он обернулся и погрозил мне рукой, но лицо было неподвижным и смутным.

Я испугался, отстал, но оставаться одному в этих пустынных холодных полях было еще страшней, и я снова побрел за ним. Тогда он остановился, повернулся назад и протянул мне что-то в руке. Я подошел и оцепенел — рука его была пуста...

Меня разбудило солнце. Через небольшое окошко оно залило всю светелку. Побелка на стенах искрилась так, что больно было глазам, и в доме стояла горячая, пропитанная запахом сухого дерева, праздничная тишина, которую я боялся потревожить, спускаясь по крутой лесенке со скрипучими ступенями. Было детское ощущение ранней рани, как до войны, когда я просыпался

в этой светелке и лежал, щурясь от солнца, с невнятным, но радостным чувством предвкушения жизни, которая была вся впереди.

Сегодня и тишина, и солнце — все было как тридцать с лишним лет назад, только жизнь моя иссякала.

В сенях, стараясь не стучать соском умывальника, я умылся пронзительно холодной водой, от которой заломило пальцы, утерся жестким льняным полотенцем и вышел на крыльцо. В сарае сразу же глуховато и задавленно прокукарекал петух. Свежий, с запахом талых полей ветер ударил в лицо, принес откуда-то отдаленный треск двухтактного мотора — где-то далеко шел мотоцикл или работала бензопила. Слухом я уцепился за этот звук, балансируя на самом краю своей пустоты. Ветер забирался в ворот рубашки, холодил шею. Солнце дробилось в лужах проулка, отсвечивало в запотевших стеклах моей машины.

Звук приближался.

Я держался за него, как за перила шаткой лесенки, и, запрокинув голову, смотрел в подсиненное апрельское небо. Я искал в себе хоть какое-то чувство, но не было ни горечи расставания, ни страха, ни сожаления.

Звук стал отчетливее, и я понял, что это — двигатель мотороллера, и через наш сад стал смотреть на большак, увидел сутуловатую коренастую фигуру в зеленом стеганом ватнике и высоких сапогах, сворачивающую в проулок, и по зашитому короткому рукаву узнал дядьку. Он без скрипа открыл калитку, увидел меня на крыльце и улыбнулся:

— Здоров. Как спалось?

— Хорошо,— я нашел силы улыбнуться в ответ, спросил: — Ты чего так рано?

— Да на ферме вчера не был,— он взошел на крыльцо и тоже повернулся к большаку; прислушиваясь к звуку мотора, сказал: — Телеграмма кому-то.

— Почему ты знаешь? — удивленно спросил я.

— А по утрам почту не развозят, только если телеграмма.

Я увидел на большаке грузовой мотороллер с мутным ветровым стеклом и серебрящимся на солнце алюминиевым кузовом. Он остановился возле проулка, водитель не стал глушить двигатель и быстрым шагом направился к калитке, лицо его было закрыто большими очками.

— Алексей Алексеевич! Вам телеграмма,— издале-

ка по-мальчишески звонко крикнул он, и дядька пошел навстречу.

От калитки он возвращался медленно, неловко встряхивая белый бумажный квадратик, чтобы бланк развернулся. На ступеньке крыльца дядька приостановился, прочел текст, опустил руку и скользнул по мне отчужденным взглядом.

— Отец твой,— шагнув на крыльцо, он отдал мне телеграмму.

Бланк затрепетал у меня в руке от внезапного порыва ветра, и я с трудом прочитал: «Тринадцатого днем умер Петр Алексеевич Щербаков. Инна Щербакова».

В путь мы отправились в полдень. Солнце светило в глаза, плавно извивался асфальт. Я вел машину медленно, чтоб было покойнее бабке на заднем сиденье.

Дядька молчал, хмуро глядел вперед. Я ни о чем не думал, наполняясь заунывной дорожной пустотой. Проезжая мимо обрыва, скрытого кустами волчьего лыка, я сбавил газ.

16

Отца хоронили на Волковском. Было тепло, но в воздухе иногда ощущалась сырая пронизывающая знобкость.

Десяток сухощавых стариков с жесткими лицами сгрудились у могилы. Седые обнаженные головы, холодные глаза. По другую сторону могилы стояли мы — родственники и Кирка. Слез не было. Высокий старик округлыми газетными фразами говорил о заслугах отца.

А он лежал с пожелтевшим, неузнаваемо обмякшим лицом, и только алюминиевые волосы с аккуратным зачесом были его прежние.

Когда могилу засыпали, старики деловито расправили ленты венков, прислоненных к холмику, и пошли гуськом под сереньким небом по узкой сухой тропинке мимо мокрых могил к выходу. Они шли сосредоточенно и серьезно,— видимо, мысль о том, что они еще один раз покидают кладбище, приносила удовлетворение.

Мы молча постояли у могилы: дядька, Кирка, я и две женщины — мачеха и моя мать. Бабку на кладбище не взяли.

Поминки были тихими.

Мы сидели в той же комнате, в которой я последний раз видел отца. Тихо шелестел голос бабки, поминавшей

старшего сына. Дядька, ссутулившись, смотрел в одну точку на столе. В углу у окна стояло просторное кожаное кресло с пюпитром, прикрепленным к подлокотнику. В нем и умер отец. Задремал над своими бумагами и не проснулся.

— Поешьте, Алексей Алексеевич,— сказала мачеха дядьке. Это были единственные слова, которые она произнесла за весь день.

Они сидели рядом на диване — моя мать и моя мачеха. У обеих были сухие глаза. Я не испытывал к этим женщинам ничего кроме легкой жалости.

Мачеха пила водку рюмку за рюмкой, и лицо ее становилось все неподвижнее.

Мать ела со всегдашней детской кокетливостью, оттопыривая мизинец левой руки, и с любопытством, но незаметно поглядывала по сторонам. Она первый раз была в этой квартире.

Водка меня не брала.

Через час Кирка поднялся, сказал, что ему нужно в больницу. Я вышел в переднюю проводить его.

— Побереги себя. На днях зайду,— сказал он, пожимая руку.

В комнату я не вернулся, побрел по узкому коридорчику, сел в просторной кухне у окна и закурил. На спинке другого стула висела полосатая отцовская пижама, на столе лежали очки и газета.

Я сидел, курил, и мне было тяжело и страшно.

Отец спас меня своей внезапной смертью, и теперь нужно было жить, вернее существовать, потому что ни на что другое у меня уже не было ни сил, ни решимости. И это было самым страшным — признание своей омерзительной слабости, лакейской привязанности к физическому существованию, когда ни гордость, ни стыд не могут преодолеть подленькой жажды есть, пить и терпеть, терпеть самого себя и снисходительность людей, ради душевного спокойствия не замечающих твоей смердящей пустоты, пока в твоем маразме и распаде они не ощутили откровенной угрозы для своей жизни.

Нет, отец не спас — он опередил меня.

Я сидел в просторной кухне старого ленинградского дома, где еще витали запахи и шорохи отцовской жизни, и думал о судьбе. Она обступала меня, и не было от нее спасения.

Мачеха вошла неслышно, только краем глаза заметил я черное пятно ее платья и выпрямился.

— Чего ты здесь сидишь? — Она сунула в раковину принесенные грязные тарелки, стала наполнять водой чайник.

— Так, покурить,— тихо сказал я и потупился — невозможно было выдержать взгляд ее остановившихся, невидящих глаз,— безумие сверкало в них и обдавало тихим ужасом.

Она зажгла газ, поставила чайник на плиту и села на стул, на спинке которого висела пижама отца. Опасливо, исподлобья смотрел я на нее. Даже в тусклом свете пасмурного дня кожа лица казалась гладкой и свежей, высокая шея стройным стеблем поднималась из глухого ворота черного платья — пугающее и неприятное совершенство манекена, витринной куклы было в этой чужой женщине.

— Тебе нужны деньги? — тихо спросил я.

— А что, ты внезапно разбогател? — Она смотрела куда-то сквозь меня.

— Да, разбогател,— я положил погасший окурок на край подоконника.

— Наконец-то. Ну и как, теперь счастлив? — Голос ее, глухой, бесцветный, не соответствовал язвительности слов.

— Кончай выкомариваться,— сказал я тихо.— Я серьезно.

— Серьезно?! — Тон ее стал угрожающим, пальцами она обхватила шею, будто душила себя.— Ты опоздал со своей серьезностью. Даже если бы подыхала с голоду, не взяла у тебя. Не поздно ли, на пятом десятке, стал ты серьезным?

— Да что с тобой, Инна, опомнись! — Мне стало страшно, показалось, что она действительно сходит с ума.

— Я и так все помню. Вот помнишь ли ты? — В ее длинных неподвижных глазах, в самой глуби райков, вспыхнули и погасли грозовые искры, спутанная, почти до бровей челка затрепетала от резкого выдоха.

— О чем ты? И время ли сейчас считаться обидами? — с искренним недоумением спросил я.

— Сейчас самое время. А то ты думал,— она возвысила голос,— что все, все виноваты перед тобой? Сейчас я тебе скажу,— она встала, рывком затворила кухонную дверь, подальше отодвинула стул от стола и села, резким движением закинув ногу на ногу, так что открылось

круглое колено. Лицо ее зарозовело, словно раскалилось от ненависти.

— Да что я тебе сделал? — вырвалось у меня в сердцах.

— Ты еще спрашиваешь? — вкрадчиво сказала она.

— Знаешь,— я встал,— ты, кажется, не в себе. Это понятно, но... Словом, разговаривать в таком тоне мне не хочется. Оставим до другого раза. Мне тоже сейчас нелегко.

— Ах, нелегко?! А другого раза не будет. Я надеюсь, что больше не увижу твою мерзкую ханжескую рожу. Поэтому слушай. Сядь! — Она положила на стол побелевший сжатый кулак.

Я сел, нарочито шумно вздохнул.

— Вспомни-ка чердак в доме сорок,— она прищурилась.— Вспомни, как ты использовал меня, как последнюю суку. Да! Ты был прав. Ты имел на это право — пострадавший изгнанник. Все задолжали тебе тогда. А ты подумал, что будет со мной? Тогда, двадцать лет назад?— Лицо ее стало брезгливым.

Я не смог удержать улыбки, встал и сказал:

— Ну, извини, что тогда я не мог предоставить тебе кровати, а потом уже не было случая,— я направился к двери, но она вскочила, заступила дорогу.

— А знаешь, что у меня был сын?

— Что-о? — У меня мгновенно пересохло в глотке.

— Да! Твой мальчишка. С этой вашей щербаковской меткой. Здесь,— она больно ткнула меня твердым пальцем под шею, слева над ключицей, где была родинка.

— Инна! — Я схватил ее за плечо, она охнула от боли, и я разжал пальцы.

Она вдруг ссутулилась, словно сломалась, сделала шаг в сторону, села, навалившись грудью на стол.

Оглушенный, я сделал два неуверенных шага и опустился на свой стул у окна. Руки и ноги стали сразу чужими, бескостными.

— Как это было? — ощущая свинцовую усталость, спросил я.

— Очень просто,— удивительно насмешливым голосом ответила она, но я побоялся поднять глаза.— Это у тебя все с философией, а у меня просто через пять месяцев пузо до носа выросло... Потом отец в ноябре умер. Мать почти сразу запила, а на мне даже пальто не застегивалось, так и торчала в сквере на углу Некрасова в расстегнутом пальто, потому что от разговоров

и табака меня выворачивало. Такая была безнадюга, что хоть под трамвай,— голос мачехи потерял краски, стал монотонным. Слова шуршали тихо и глухо, словно листы пожелтевших старых газет...

Я сидел, уставясь в линолеумный кухонный пол, и внутренним взором видел угловой скверик на перекрестке поэтов — памятника Маяковскому в нем еще нет,— и среди старых, чахлых заснеженных деревьев стоят дощатые облезлые скамейки. Я видел, как, широко расставив колени, некрасиво сидит девушка с неподвижным, чуть оплывшим лицом и старое пальто не сходится на круглом большом животе. А рядом скрежещут трамваи, хлопает дверь продуктового магазина; от зимней оттепели дневной воздух влажен и мглист. Девушка смотрит перед собой невидящими, чуть сумасшедшими глазами и не замечает остановившегося перед ней высокого худощавого человека в новом дорогом пальто. Человек наклоняется, берет ее за руку, говорит низким, богатым оттенками, властным голосом проповедника:

— Я — отец Алеши Щербакова. Пойдем, будешь жить у меня.

И девушка молча поднимается. Высокий человек берет ее под руку...

Монотонными, глухими, шуршащими, словно листы пожелтевших старых газет, словами мачеха рассказывала, как они жили в одной самой маленькой комнате этой квартиры, как родился ребенок, а у отца открылась тяжелая кровоточащая язва желудка...

— Боялся операции, потому что у него была стенокардия. Когда стало совсем плохо, сказал, что я должна выйти за него замуж, тогда хоть комната останется мне... И деньги он какие-то получил, когда освободили...

Монотонный голос ее словно читал протокол.

Операция была удачна. Потом вышла замуж ее мать и уехала на Север. Она поменяла квартиру с соседями отца... Ребенок умер в полтора года от тяжелой желтухи...

Я сидел раздавленный усталостью и тупой пустотой, и в кухне стояла гнетущая тишина.

— Я любила его! Он был добрый человек,— вдруг сказала мачеха, и голос ее обрел краски.

Я молчал.

— Любила! Понял? — выкрикнула она.

— Понял,— ответил я тихо и спросил:— Как звали ребенка?

— Петя,— ответила она и заплакала в голос.

Я встал.

— Подожди,— повелительно сказала она, пальцами смахнула слезы в углах глаз и вышла из кухни.

Я закурил, сделал несколько шагов, ноги подгибались.

Мачеха вернулась с черной коленкоровой папкой, протянула мне.

Я посмотрел на завязанные бантиками тесемки, почувствовал тяжесть в руке.

— Это его бумаги. Я не хочу этого знать. Не хочу рассуждений вместо жизни,— она закрыла глаза и прижала ладони к вискам, со стоном сказала: — Уходи.

17

Во дворе по железным навесам подъездов чечетку выбивала капель. В моем окне не было света, и я почувствовал облегчение: немыслимо было сейчас встретиться с Натальей.

В коридорчике ударило тошнотворным запахом табачного перегара. Не сняв пальто, я прошел в комнату, положил на столик отцовскую папку, открыл форточку и зажег лампу, потом разделся. Из форточки потянуло сыростью, отдаленный стук капели раздражал. Я взял папку и пошел на кухню. Здесь, в обступившей кафельной голубизне, тоже было неуютно и холодно. Я зажег две горелки на плите, и синеватый газовый огонь приглушил ощущение сквозящей пустоты. Я сел.

Черная коленкоровая папка лежала передо мной на столе. Легкое шипение газовых горелок лишь подчеркивало пустую тишину. Я вдруг понял, что мне неохота заглядывать в эти бумаги. Я не хотел знать ничего; я боялся нового знания, оно могло только усилить, ужесточить мою душевную безвыходность, как рассказ мачехи.

Но пальцы сами уже развязывали черные тесемки.

Я откинул крышку папки, развел боковые клапаны, и толстая паркеровская авторучка с шорохом выскользнула на пластиковую столешницу. Первая страница была наполовину исписана крупным косым почерком отца. Это были закавыченные цитаты из каких-то экономических трудов. Я снял лист. На следующей странице тоже были одни цитаты, и я снял с толстой стопы несколько листов сразу. В глаза ударила чистая бе-

лизна хорошей бумаги, больше в папке не было ничего.

Я снова пересмотрел листы, исписанные крупным косым почерком,— одни цитаты. И холодная усталая догадка затопила душу тоской: отцу нечего было сказать.

Если вы промолчите, когда настанет ваше время говорить, то потом вам нечего будет сказать. Невысказанное превратится в несуществующее.

Я сидел над стопой чистой бумаги, вертел в пальцах толстую паркеровскую авторучку, и тоска захлестывала с головой.

Неужели и я обречен на невысказанность? Неужели не дано разрешиться словом, равным поступку? Тогда был ли я вообще? Жил или только существовал?

Я отвинтил колпачок отцовской ручки и на первом листе стопы чистой бумаги поставил дату: шестнадцатое апреля одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года... И время мое потекло вспять.

18

Я бежал по Баскову переулку, не чувствуя ног под собой. Полуденное солнце слепило глаза, пустота страха застывала в груди, и холодный мокрый кусок мяса тяжело бился за пазухой, отнимая последние силы. А топот позади становился все ближе. И я уже понимал, что мне не уйти на этот раз, не добежать до дома двенадцать. Уже обреченно подкашивались ослабевшие ноги, ужас застлал глаза и чья-то жесткая рука вцепилась в плечо...

Я проснулся в густом сумраке. Надо мной смутно белело лицо Натальи, на плече я почувствовал ее мягкую руку и облегченно вздохнул.

— Ну, как ты? — тихо спросила она.

— Ничего,— полушепотом отозвался я.

Часы начали отбивать десять. Протяжный двойной бой тихо раскачивал сумрак, и лицо Натальи смутно белело надо мной. Потом она положила голову мне на грудь, приникла щекой, и печальный и чистый запах ее волос проник в меня, исторгая облегчающий вздох. Так горько и счастливо было ощущать ее близость, ускользнув от приснившейся давней погони.

Часы кончили отбивать десять, но время обступало меня, и я сказал:

— Наташа, нужно поговорить.

— Ну, еще чуточку так,— тихо просила она и плотнее прижалась горячей щекой.

— Нет. Зажги, пожалуйста, свет.— Голос мой был трухляв, как выветрившаяся деревяшка.

Свет люстры был беспощаден.

— Сядь там, в кресло,— я тоже сел и закурил, щуря глаза.

Мое время говорить настало.

И я начал:

— Наташа, нам придется расстаться, наверное, очень надолго...

Слова для лжи и оправданий можно выбрать всякие, но слово правды единственно — слово выбирает нас.

А под конец я сказал:

— Нужно, чтоб ты вышла за меня замуж, тогда у тебя будет крыша,— и поймал себя на том, что повторил слова отца, сказанные мачехе.

19

Каждому человеку время предъявляет свой счет, и красивые слова не принимаются к оплате. Время заламывает цену, а я не привык торговаться... Жизнь, простишь ли мне мое знание — это мой путь к тебе.

Сейчас май одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, и грохочут сиреневые грозы, отмывая город для белых ночей.

Я дописываю страницу прекрасной паркеровской ручкой отца...

ПОВЕСТИ



ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ

ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ КЛИМОВА

МОСТЫ

ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ

1

Борисов спускался с моста. Еще светился шпиль собора, но стены Петропавловской крепости уже охватили бледные сумерки, после которых сразу наступает белая ночь. А где-то там, за Стрелкой Васильевского острова и дальше — за зданиями Университетской набережной,— садилось солнце.

Сразу от моста сквозными скверами и разверстыми площадями начиналась Петроградская сторона. Борисов почувствовал знакомый холод внутри, напряг челюсти: «Эраншахр...» И вздохнул обреченно: прямо от моста, понижаясь вдаль, начинался Ктезифон... Огромный город, изрезанный каналами; кубы каменных домов и глинобитные заборы, серые кроны олив в ущельях бесчисленных улиц... Синий туман слоился над Тигром... Ктезифон — благословенный город шаханшахов, столица Эраншахра...

И по скверу площади Революции, по нагретому дневным ленинградским солнцем асфальту Кировского проспекта он вступил в этот вечный город персов...

Мимо парфюмерного и цветочного магазинов, мимо зеркальных витрин киностудии с метровыми фотографиями актеров, мимо столовки самообслуживания.

Борисов не замечал, что почти бежит, задевая прохожих.

Шумели автобусы и машины на проспекте. У лотка возле сквера стояла небольшая очередь, и оттуда тек густой нерыбный аромат корюшки.

Борисов вроде бы видел все: и очередь, и детскую коляску у входа в молочный магазин, и подслеповатый зеленый зрак светофора на углу,— но все это казалось нереальным, как во сне.

Был конец шестого века, и всадник на мохноногой ромейской кобыле, въехавший в западные ворота Ктезифона...

Борисов свернул на улицу Мира и здесь перевел дух. Все стало на места: дома, витрина аптеки, фасад школы в лесах, ядовитый запах краски. Он растерянно посмотрел на завернутый в белую бумагу букет гвоздик у себя в руке и вспомнил, что идет на день рождения.

«Параноик»,— скривив губы, подумал Борисов и сразу почувствовал усталость — ныла поясница, были чужими, нетвердыми ноги, будто это он проскакал последние три парсанга, торопя лошадь, чтобы успеть в столицу персов до закрытия городских ворот.

И опять на него накатило...

...Солнце валилось за Тигр, и ночь наступала на город. Слоился туман над рекой и каналами, и в последних лучах зеленовато блеснул узкий край нарождающейся луны; оливы тревожно дрожали под жарким ветром Сирийской пустыни. Кончался двадцатый день последнего месяца солнечного года по зороастрийскому календарю.

Молодой воин, сын ромейского патрикия, Анастасий Спонтэсцил, осадив лошадь на насыпи канала, смотрел на город, на Тигр, на умирающий закат и нарождающийся месяц. Он знал, что через десять дней будет равноденствие и за ним — этот варварский праздник персов Ноуруз: разгул черни, шум, скверные запахи... Молодой ромейский аристократ не любил толпы. Но сейчас этот город был приятен ему тишиной и безлюдьем...

Ветер трепал пропыленный синий плащ Спонтэсцила, прядала ушами лошадь от всплеска воды в канале. Ему должен быть приятен этот варварский город,— он приехал сюда устроить свое будущее.

Тьма накрывала дома, караван-сараи, площади и дворцы Ктезифона.

Анастасий Спонтэсцил поправил широкий пояс с коротким ромейским мечом и тронул лошадь...

Боль толкнула в левый висок. Разбитый, подавленный, Борисов остановился, зажал под мышкой букет и чиркнул спичкой. Затравленно озираясь, курил.

«Опять! Опять»,— горестно думал он. Уже расхотелось идти куда-либо, видеть людей.

Район был хорошо знаком. Борисов жил здесь много лет и лишь недавно переехал в Купчино, получив трехкомнатную «распашонку». Он любил тихие эти улицы Петроградской стороны за уют и спокойствие, за скромное достоинство старых домов, плотно сомкнувших фасады.

Борисов свернул в проем за школу и очутился в малом дворике. Двухэтажные, поставленные «покоем» флигели из темно-красного кирпича, вьюнок, карабкающийся по стенам, серая, промытая дождями скамейка под чахлым кустом махровой сирени. Уютный дворик старого Петербурга, притаившийся за многоэтажным фасадным особняком.

Борисов сел, положил цветы, откинулся на спинку скамейки.

Сизо-белесое небо было над этим двориком; робко шуршала сирень.

Борисов курил.

Где-то во тьме неподвластного ему воображения, поправив широкий кожаный пояс с коротким ромейским мечом, сын патрикия Анастасий Спонтэсцил ехал по насыпи канала, и лошадиные копыта мягко тонули в тонкой пыли...

Опять! Опять... Как спокойно было последний год, он уже радовался, что все кончилось, но вот опять. И какой хороший был день...

Последний год ему казалось, что он вырвался, избавился от этих наваждений, которые отравили ему жизнь.

Всю жизнь воображение разыгрывало с ним эти шутки. В самый неподходящий момент вдруг всплывало нелепое, мельком услышанное слово, или случайный запах, или неизвестно где и когда увиденное — розовый свет чужого вечернего окна, мгновенный прочерк ласточки наискось через булыжную мостовую, мелькнувшая бархатистость ее серповидного крыла,— много ласточек гнездилось до войны в Ленинграде. Вид или слово всплывали в резком, пронизывающем свете, потом все гасло в мозгу и оставалась тупая, непонятная тревога, тоска, беспредметные желания, пустота.

Это привязалось с детства.

...Кособокий, истертый на швах кирзовый мяч, подпрыгивая по щебенке, подкатился к нему. Борисов подыграл мяч под правую ногу, коротко послал перед собой и ринулся за ним, нагнув голову и подавшись вперед. Исподлобья он увидел, что наперерез бежит Генка Зуев. Борисов догнал мяч и, не отпуская от ноги, повел вперед. Генка был уже близко. Борисов задержал мяч и резко остановился. Зуев, не успев затормозить, пробежал мимо. Борисов взял наискось, выходя по центру «ворот». Впереди никого не было, только между двух грудок битого кирпича метался Оська Дистрофик.

«Бей, Валька!» — услышал Борисов крик Пашки Березкина. Он подправил мяч, глянул на взволнованное лицо Оськи, занес ногу для удара и... застыл.

Что-то еще кричал Березкин, но Борисов не понял, только услышал протяжное: «Эй-а-а». Краем глаза заметил, что Гена Зуев уже рядом, увидел Дистрофика, опасливо выбегающего из «ворот» на перехват мяча, но не сдвинулся с места. Ноги словно вросли в этот горбатый, пыльный пустырь, усыпанный кирпичной щебенкой.

Оцепенело и немо стоял Борисов перед «воротами», равнодушно следя за тем, как откатывается мяч к набегающему Дистрофику. Потом он поднял голову и оглядел наполовину срезанный фугаской флигель, похожий на шкаф без дверей, с полками уцелевших междуэтажных перекрытий, с лохмотьями отставших от стен обоев, повисшей на третьем этаже никелированной кроватью, искореженными ржавыми балками, кое-где торчащими из несущих стен.

Он видел все это в резкой, внезапной тишине, видел косые четкие тени от низкого солнца и стоял в нелепой позе застывшего на бегу. Он видел будто бы и эту свою позу: расставленные ноги в серых коротких штанах, тусклые галоши, привязанные к щиколоткам черными веревочками, руки, остановившиеся в полувзмахе; видел жирную синюю муху, разомлевшую на обломке кирпича. Все это предстало в неправдоподобной тишине и неподвижности, словно замерший кинокадр. Все это было слишком четким и застывшим, чтобы казаться действительностью. Но не это парализовало Борисова. Посреди пыльного пустыря он вдруг увидел то, чего не могли видеть другие — ни Пашка Березкин, ни Дистрофик, ни шамкающий, беззубый после цинги Генка Зуев. Будто где-то в мозгу у него раскрылись еще одни глаза. И то, что Борисов увидел этими глазами, приковало к месту, наполнив странным испугом и немотой.

По горбатому пустырю, усыпанному битым стеклом и кирпичной крошкой, сквозь которую уже пробился кипрей с лилово-розовыми султанами, на фоне разбитого флигеля шел голый бородатый человек. Борисов этими внезапно раскрывшимися, другими глазами увидел огромную мускулистую фигуру, короткую и широкую рыжую бороду; низкий, тяжелый лоб с выступающими надбровными дугами углублял глазницы и придавал всему лицу выражение угрюмой жестокости. Человек

торопливым тяжелым шагом пересекал пустырь, а в его грубых, покрытых ржавой шерстью руках билась, выгибаясь упругой тетивой и взмахивая беспомощно руками, тонкая длинноволосая женщина.

Борисов сделал несколько шагов в сторону; ноги вдруг подкосились, и он сел на корточки и закрыл глаза. А на пустыре все шла возня, слышались удары по мячу, крики. Борисов плотно сжимал веки, но все равно видел срезанный фугаской флигель, грубое, звероподобное лицо мужчины, беспомощные взмахи женских рук.

Потом он почувствовал, что кто-то стоит над ним, но глаз не открыл. То, что Борисов видел с закрытыми глазами, было пугающим и притягательным.

— Чего, голова закружилась, да, Валь? — спросил Пашка Березкин участливо.

— Да,— глухо ответил Борисов.

— Пройдет сейчас,— сказал Пашка и отошел.

Шло лето сорок третьего года, и головокружение для них, ленинградских подростков, было привычным.

Борисов еще немного посидел на корточках, потом открыл глаза. Все было на месте: глыбы кирпичной кладки, щебень и стеклянная крошка, повисшая кровать, косые тени от низкого солнца. Но страшного человека не было — он исчез.

Ребята все гоняли мяч, подымая рыжую пыль. А он, скорчившись, сидел у стены и задыхался от страха. И в мозгу бился беспомощно вопрос: «Что это, что?»

Борисов смутно помнил, что где-то он уже видел этого ужасного человека, и в то же время знал, что никогда не встречал его,— это было жутко. Он сидел на солнце, а его бил озноб. За годы блокады он привык переносить холод и голод, не вздрагивать от разрывов тяжелых снарядов, но сейчас он был близок к тому, чтобы сорваться с места и с утробным, бессмысленным криком бежать, не разбирая дороги. Он весь сжался, приготовившись вскочить, и... вспомнил. Все вспомнил: «Вчера!»

Да, вчера они с Пашкой Березкиным шатались по Невскому и зашли в комиссионный рядом с «Колизеем». В полутемном зале пахло пылью и старой обувью, тускло поблескивали прилавки коричневого дерева. Рядами висели мужские костюмы, одинаково выставив в сумрак квадратные плечи. Они никому не были нужны, эти штатские костюмы довоенных времен,— почти все мужчины в городе носили военную форму.

Впрочем, Борисов и Пашка Березкин не задерживались у этих прилавков с одеждой и обувью. Мимо старика продавца, высохшего, казалось, до прозрачности, они проходили в глубь зала, сворачивали налево и по узкой крутой лестничке с деревянными ступенями поднимались на галерею. Неширокий проход был огорожен балюстрадой коричневого дерева, такого же, как и прилавки внизу.

Здесь окна не были заложены мешками с песком, и неяркий свет проникал сквозь запыленные стекла, а по стенам сплошь висели картины, тоже запыленные и посеревшие. Золото рам было темным и тусклым. От этой пыли и тишины, от слабого запаха старой кожи картины казались таинственными и в то же время жалкими, будто сами понимали, что никому не нужны в этом фронтовом городе. Половицы галереи слабо поскрипывали под ногами.

Борисов и Пашка Березкин любили смотреть те полотна, на которых были груды крупных персиков, огромные копченые окорока, большие караваи белого хлеба с золотистой, румяной коркой, длинные, как лодки, ломти дынь с кремоватой сочащейся мякотью.

Они подолгу стояли перед этими картинами в затхлой, унылой тишине. Рот наполнялся слюной от вида соблазнительной снеди, и острее ощущалась в желудке всегдашняя пустота.

«Вчера!» — Борисов привалился спиной к теплой стене, затылком ощутил неровности старой кирпичной кладки и вздохнул.

Вчера в углу галереи комиссионного магазина, под пыльным окном, он видел небольшую мраморную группу на высоком столике из черного дерева. Фигура бородатого мужчины была маленькой и нестрашной; по грязно-белому мрамору змеились тонкие синие трещины. И вся группа казалась невыразительной и жалкой. Борисов и взглянул-то на нее мельком. Может быть, этот мрамор давно стоял там, в углу галереи, а он, Борисов, заметил его только вчера.

Теперь, когда он вспомнил, где видел этого человека, уносящего женщину, видение больше не пугало. Оставались только усталость и удивление и еще непонятная тревожная грусть. Так и сидел Валька Борисов у стены разбитого бомбой флигеля и смотрел, как его сверстники гоняют в футбол на пустыре, усыпанном кирпичной крошкой. Играть не хотелось. Что-то вдруг отделило его

от Пашки Березкина, Генки Зуева и Дистрофика, будто он стал старше их.

Так двадцать пять лет назад, летом сорок третьего, воображение впервые сыграло с Борисовым свою невеселую шутку.

Он докурил сигарету, встал со скамьи, со вздохом оглядел двухэтажные флигельки и желтоватые листья вьюнка, карабкающегося по стенам старинной кладки.

Уже не хотелось на день рождения, но нужно было идти. Нужно было пересилить внезапную тоску, не поддаться настроению меркнущего дня. Борисов знал, что он нужен сегодня. Что Серега Грачев ждет его, хотя накануне они не обмолвились и словом об этом вечере. Такая уж бессловесная сложилась у них дружба.

Борисов пошел со двора, окунулся в грохот трамваев на узкой улице, пересек Большую Пушкарскую и нырнул в кипение проспекта. Здесь он замедлил шаг. Нужно было расслабиться как-то. Нельзя было входить в праздничный дом с тем выражением напряженной тревоги, которое он чувствовал на своем лице.

Борисов шел медленно и старался думать о дне рождения, о людях, которых там встретит, о предстоящем застолье.

В последнее время он не любил обременять память чем-то таким, что оставляет неприятный осадок. Ну, допустим, что этого никто не любит. Но раньше Борисов, встречаясь с такими неприятностями, как-то выходил из них с легким сердцем. Ну, было там что-то не очень красивое, кого-то занесло, и он стал на людях выворачивать себя наизнанку. А теперь Борисов уже заранее досадовал на возможные неловкости этого сорта, перебирал мысленно лица знакомых, которых должен был увидеть, и предполагал, от кого можно ждать такой портящей настроение несдержанности. И все были люди, крученные жизнью, у всех со всеми были давние и запутанные отношения, особенно у нескольких женщин, которые были влюблены в Серегу Грачева очень давно и до сих пор надеялись на то, что он наконец устанет от их внимания и молчаливого обожания, от их покорной настойчивости и, чтобы разом освободиться от всего этого, женится на одной из них.

Серега тоже все понимал. И конечно, холодным отношением мог бы отвадить своих поклонниц от дома, несмотря на то что любая из них старалась завоевать расположение матери Сергея и тем самым укрепить свои

позиции в ущерб соперницам. Но Грачев молчаливо провоцировал эту войну обаятельных улыбок: это доставляло ему удовольствие, щекотало тщеславие. Борисов достаточно хорошо знал его и не сдерживал уже скептической усмешки, когда Сергей жаловался с раздражением, что телефонные звонки и посещения под сомнительными предлогами не дают ему покоя.

Борисов шагал по проспекту, и ему заранее было муторно от той атмосферы напряженного и вымученного дружелюбия, которую предчувствовал на этом дне рождения. Он усмехнулся даже, представляя себе некоторые лица. Внешне, он знал, все до какого-то момента будет выглядеть радостно, весело, и лишь под конец, когда ударит в голову легкий хмель, в ход пойдут взгляды более отчаянные, чем крики о помощи, более пронизывающие, чем уколы рапир; и от сдержанных слез как-то сразу покраснеют умело оттененные женские глаза, ведь самые едкие слезы — те, которые не пролились.

И тогда, знал Борисов, вдруг станет душно и томительно, захочется тишины и легкого сквозняка проветриваемых комнат, и он посмотрит на своего друга Серегу Грачева и встретит его быстрый, мимолетный взгляд. Вот только и всего — один взгляд за целый вечер, незаметный, быстрый и печальный взгляд среди смеха, шуток, колючего остроумия и подавленных слез. А потом, когда разойдутся гости, будет снесена на кухню грязная посуда и раскрыты все форточки, Грачев и Борисов сядут к низкому столику под покойным светом старой бронзовой лампы с шелковым абажуром и молча разольют по стаканам остатки вина, молча коротко глянут друг на друга и выпьют, опустив глаза. Борисов исподлобья заметит, как ежится Серега под сквозняком, и отодвинет пустой стакан.

— Ну, я подался,— скажет Борисов.

— Давай,— ответит Грачев, и пойдет провожать в переднюю, и там добавит: — Привет Женьке и дочери.

— Ладно,— откликнется Борисов.

А на улице вдруг наступит усталость и пустота, и Борисову так не захочется уезжать с родной Петроградской стороны, спускаться в метро, ждать троллейбуса у Парка Победы, а потом еще долго идти среди скучных, одинаковых сероватых коробок до своего четвертого корпуса...

Борисов уже подходил к дому, пересек по плиточной дорожке маленький скверик перед фасадом и, по при-

вычке взглянув на Серегины окна, шагнул в знакомый запущенный подъезд.

Перед коричневой дерматиновой дверью с перекрестьем медных шляпок гвоздей он помедлил: было еще не поздно вернуться назад. Почти всегда перед этой дверью Борисов испытывал такое чувство колебания. Всегда ему хотелось уйти, не позвонив. И всегда не хотелось уходить, когда он уже попадал в этот дом.

Гнусаво пропел звонок. Борисов развернул букет, скомкал бумагу. Тяжелые головки цветов разошлись веером, и он ощутил их пряный запах.

— Заходи! — Грачев улыбнулся, увидел цветы и закричал: — Мать! Посмотри, какие цветы принес этот пижон Борисов!

Из кухни вышла Серегина мать. Борисов поцеловал ей руку, отдал цветы, потом протянул руку Грачеву:

— Ну, поздравляю.

— Спасибо, но вообще-то все ерунда.— Грачев хлопнул по его ладони своей.— Пойдем-ка выпьем. Сегодня одни старые друзья почти.

Борисов пошел по узкому от книжных стеллажей коридору. Было сумрачно от корешков книг, витал знакомый аромат старой премудрости — легкий запах сухой пыли и простокваши, так не вязавшийся с шумом и смехом, доносившимися из комнаты.

Он откинул легкую портьеру и шагнул в этот гомон и яркий свет, сразу оглох от приветственных возгласов, поклонился всем сразу и улыбнулся.

На тахте и в креслах сидели люди, кто-то пристроился на ступеньке стремянки у книжных полок.

В этом доме не было обеденного стола, закуску и выпивку расставили на письменном и журнальном столах, на широких подоконниках. Было накурено и жарко.

— Пойдем выпьем,— позвал Сергей.

Они подошли к окну.

— Тебе водки?

Борисов посмотрел на бутылки, столпившиеся на подоконнике, на блюдо с бутербродами и длинные ломтики огурцов, вздохнул и утвердительно кивнул. Пить ему не хотелось.

Как многие непьющие люди, Борисов переносил хмель с напряжением, стараясь все время контролировать слова и движения и с раздражением чувствуя, что они не всегда поддаются контролю. Для него это состоя-

ние было тягостным, он замыкался, угрюмел, старался внушить себе, что трезв. Он даже окрестил это «комплексом голого короля»; король ведь чувствует, что он гол, но не верит своим чувствам.

Борисов сжал в кулаке рюмку из толстого стекла и посмотрел на друга:

— Ну, будь здоров.

— Ладно.— Грачев выпил, поморщился, но закусывать не стал.— Подкинь обществу что-нибудь для беседы, а то я уже скис от уморечия.

— Так рано? Вечер еще впереди,— усмехнулся Борисов.

— Тут уж с полудня некоторые... Этот Аморин как сел в кресло, так и не подымался.— Грачев был зол.

— Ну, сходи, побудь у матушки, а я здесь посмотрю.— Борисов повернулся и оглядел людей в комнате.

Почти все здесь были знакомы друг с другом полтора десятка лет. Все учились на одном факультете, потом работали в одном институте. Правда, у Борисова сложилось иначе: после университета он долго работал не по специальности, потерял из виду однокашников и лишь три года назад встретился с ними, поступив в этот институт. И может быть, поэтому он видел, как изменились эти люди. Нет, нельзя было сказать, что они постарели, особенно женщины. Просто отточеннее стали лица и определеннее судьбы.

На тахте сидели Вера и Мара — давние и ревностные поклонницы Сереги Грачева. Они и устроились так, рядком, чтобы удобнее было следить друг за другом и ни одна бы не получила преимущества. Что-то карикатурно одинаковое показалось Борисову в повороте их голов и во взглядах, которыми они проводили выходящего из комнаты Грачева.

«Удивительно,— подумал Борисов улыбаясь.— Умные, образованные бабы, а вот не чувствуют комичности положения. Но хороши... черт возьми!»

Борисов давно перестал обращать внимание на женщин — как-то заела текучка, частые болезни дочери, работа. Но тут вдруг с неожиданной остротой ощутил, как красивы эти молодые женщины, сидящие рядом на тахте. Каждая из них была привлекательна: длинноногая брюнетка Вера с модной проседью в волосах, с пронзительными синими глазами за стеклами очков в тонкой золотой оправе,— серьезный санскритолог; синолог Мара, русская кореянка с удивительно длинными, чуть

раскосыми глазами и смуглой персиковой кожей овального лица.

Борисову стало грустно от непричастности к этой красоте, этим улыбкам и молодости; они были ровесниками, но Борисов чувствовал себя старым.

Повернувшись к окну, он налил себе еще рюмку водки, подумал опасливо: «Напьюсь еще, чего доброго» — и почувствовал, что кто-то смотрит ему в затылок. Он обернулся, перехватил пристальный взгляд Шувалова и мгновенно напустил на лицо беззаботную улыбку. Шувалову показывать свое настроение он не хотел.

— Валька, иди к нам,— громко позвал Шувалов.

— Сейчас. Мне хоть немного надо догнать вас.— Борисов чуть приподнял приветственно рюмку и лихо выпил под взглядом Шувалова. Он почувствовал, что водка ударила в голову, достал сигарету, шагнул к тахте и сел рядом с Марой.

— Нас ты не догонишь, мы уже очень ушли вперед,— сказала Вера.

— Ладно, нет ничего невозможного,— ответил Борисов и протянул рюмку Шувалову. Тот взял с журнального столика бутылку и налил.

— Нет ничего невозможного, когда человеку исполнилось тридцать пять,— быстро выпив, повторил Борисов, и озорное веселое чувство охватило его, отдалило от забот и огорчений, оставшихся за порогом этого дома, от навязчивых скачков воображения, от неуверенности.

Кто-то из женщин предложил потанцевать. Стол и кресла отнесли к стенам, и две пары поплыли на свободном куске паркета под какое-то старинное танго, вызвавшее у Борисова неясное беспокойство.

Он прислонился спиной к стеллажу, курил, наблюдая за танцующими. Подошел и стал рядом Сергей.

— Ты в секторе был сегодня? — спросил он.

— Нет, просидел в библиотеке. А что?

— Рецензия пришла на тебя,— сказал Грачев и посмотрел на часы.

— Хорошо танцует Шувалов,— сказал Борисов и подумал: «Рецензия отрицательная, иначе Серега бы так не дергался».

— Да, милый мой, чтобы так танцевать, нужно получить воспитание.— Грачев отошел к двери, выглянул в коридор, вернулся и опять стал рядом.

«Точно, зарезали,— подумал Борисов.— Три года ухнули, и снова ты — у разбитого корыта».

— Рецензия положительная. Есть замечания какие-то, но резюме хорошее.

— Приятно слышать,— сказал Борисов и про себя усмехнулся: «Что, вечный неудачник, испугался? Но чего это Серега дергается? Ждет кого-то еще?»

Борисов хотел спросить, но Сергей отошел, стал разговаривать с Аморимым.

— Что не танцуешь, Валя? — спросил Шувалов, плавно проходя мимо в паре с Верой.

Красное платье Веры и светло-бежевый костюм Шувалова составляли странное и броское сочетание. Медленно кружась, они удалялись, и Борисов отметил спортивную Гришину поджарость, длинные, красивые ноги Веры. Ему тоже захотелось поплыть в этом спокойном старом танго. Он посмотрел на Мару, сидящую на тахте, на Сергея, уже танцующего с матерью, и сделал шаг вперед, но тут раздался громкий гнусавый звонок. Борисов успокаивающе кивнул Грачеву и пошел открывать.

Никто не удивился тому, что он пошел открывать дверь вместо хозяина. И для него самого это было естественным. Он знал всех, кто мог прийти в этот день.

Борисов шел по темному коридору, шел не спеша, как по своей квартире. Здесь он чувствовал себя даже увереннее, чем в собственной квартире. И его считали здесь своим и мать и Серега. Борисов не мог бы вспомнить, как получилось, что он стал здесь не чужим, что подружился с Сергеем Грачевым. Он шел по коридору открывать дверь на поздний звонок и, как хозяин, досадовал на то, что увидит сейчас на пороге какого-нибудь нежданного гостя, упоенного своей бестактностью.

Борисов взялся за прохладную металлическую пуговку замка, помедлил мгновение, прежде чем повернуть ее, и поймал себя на том, что воспринимает возможную неприятность как личную, что не отделяет себя от Грачева, и усмехнулся, держа руку на пуговке замка.

...Дружба их началась со случайной встречи. Борисов помнил эту встречу, и что-то в нем сопротивлялось ее случайности, что-то в его душе не могло примириться с тем, что эта трудная дружба, наполнившая три последних года,— дружба, усложненная множеством недомолвок, порой глухим раздражением, краткими импульсивными откровенностями, мужской жестокостью и на-

стоящим человеческим теплом,— началась со случайной встречи на стоянке такси.

Борисов резко повернул металлическую пуговку замка...

2

Машин не было. Возле Казанского собора стояла плотная, в несколько рядов очередь.

Борисов опаздывал на стадион. Он только что договорился на корреспондентском пункте «Известий», что будет давать ежедневные отчеты о легкоатлетическом матче, который начинался через полчаса.

Борисов миновал очередь и встал в хвост.

Было тепло. В сквере перед собором бил фонтан. Плеск его струй заглушался городскими шумами, но водяная пыль, поднятая легким ветром, радужно играла на солнце.

Борисов впал в уныние. В последние годы любое препятствие, маленькая неурядица портили ему настроение, усиливали чувство неуверенности, с которым он уже свыкся за много лет. Вот и сейчас, на стоянке такси среди спешащих людей, его охватила безнадежная грусть. Он понял, что опоздает к началу матча, не успеет поболтать с коллегами, спортивными журналистами, не узнает кулуарных мнений, которые так нужны для того, чтобы понять происходящее на матче, предвидеть неожиданности. Это означало, что он напишет о первом дне рядовой профессиональный отчет, не блещущий разбором первых неудач и обоснованием неожиданных успехов, не интригующий читателя прогнозами, даже в малой степени не передающий драматизма и напряжения борьбы. И уж кто-кто, а Борисов хорошо знал, что «драматизм и напряжение» — не только пустой газетный штамп. И он знал, что отчет все-таки напечатают,— ребята в «Известиях» держат слово. Но самого Борисова будет тошнить от газетной полосы, на которой заверстан его отчет. И он будет комментировать этот матч до конца, но прийти в газету в другой раз с каким-нибудь предложением у него уже не хватит духу. Почему-то ему не везло, обстоятельства всегда складывались против.

Уже давно, вскоре после женитьбы, Борисов опасливо подумал о том, что жизнь не задалась, что он — неудачник. Мысль эта мелькнула смутной тревожной догадкой и пропала, но потом стала являться все чаще, заставляя копаться в себе и выискивать причины неудач.

От постоянной самоуглубленности Борисова покинуло обычное чувство юмора, и он стал угрюм и неразговорчив. Жена почувствовала эту перемену, старалась отвлечь его от невеселых мыслей, но наталкивалась на молчаливое раздражение. Потом она как-то вдруг отступилась, замкнулась, и дальше совместная жизнь связывала их только бытовыми делами и заботами о дочери.

Борисов был даже рад, что жена оставила его в покое, не пристает с расспросами о настроении. У него выработалась привычка с холодным любопытством прокручивать свою жизнь в памяти и выискивать критические моменты, когда ему не хватило энергии и настойчивости направить события в нужную сторону.

С грустным удовлетворением он решил, что первопричиной всех его неудач было неуправляемое воображение. Оно подсовывало ему сумбурные и странные видения и расслабляло его. Эти мнимые события съедали энергию Борисова, потому что он был их участником. Он существовал как бы в двух мирах — один был вовне, и там менялись времена года, подрастала дочь, не хватало денег и честолюбия; другой мир — умозрительный и нелогичный, но обессиливающий отрывочностью и похожий на явь. И в обоих этих мирах Борисов ощущал себя лишенным воли объектом, которым управляют непонятные случайности.

Оглядываясь на прожитое, он понял, что в его жизни не было поступков. Он действовал лишь под давлением обстоятельств. Так было с самого детства.

Восьмиклассником стал Борисов ходить в соседний двор, где в цокольных помещениях массивного старого дома располагалась база спортсменов-мотоциклистов. Под тяжелыми арочными сводами циклопической кладки рядами стояли мотоциклы с высокими передними вилками и рубчатыми протекторами колес, лишенных обычных дорожных щитков; вместо фар на мотоциклах были овальные таблички с цифрами. Мотоциклы стояли на подножках, задрав переднее колесо и опираясь на заднее, и от этого были похожи на каких-то доисторических ящеров, изготовившихся к прыжку.

Его не замечали долго. Но с постоянством робкого человека Борисов каждый день приходил в этот гараж и становился на свое обычное место, недалеко от входа, прислонившись к шершавой, оштукатуренной стене.

Насмешливые парни с твердыми, обветренными лицами перебирали блестевшие смазкой внутренности мотоциклов, возились с колесами. Их хрипловатый смех гулко разносился под арочными сводами. А на низких подоконниках валялись красные лаковые шлемы; кожаные куртки с неуклюжими, грубыми заплатами висели на стенах. Притягательной силой и крепостью веяло от всех этих шлемов и курток, от сапог на толстой подошве, которые носили парни, от их обветренных, дерзких лиц и широких почерневших ладоней.

Его заметили только через месяц.

Высокий худощавый парень в ковбойке с закатанными рукавами возился с крайним в ряду мотоциклом, пытался затянуть какой-то болтик на раме, но гайка с другой стороны проворачивалась. Парень поднял глаза на Борисова и сказал небрежно:

— Хлопец, подержи с той стороны ключом на четырнадцать.

Борисов поспешно шагнул от стены, взял ключ, суетясь стал накидывать его на шестигранник гайки, но зев ключа был слишком мал.

— Ну, держишь? — спросил парень. И в его голосе Борисову послышалась нетерпеливая насмешка. Он покраснел, догадался перевернуть ключ другой головкой и застопорил гайку.

Парень затянул болт, выпрямился, сверху вниз посмотрел на Борисова, все еще сидящего на корточках.

— Тебя как зовут?

— Валя.

— А меня — Виктор. Ездить умеешь?

— Нет.

— А матчасть знаешь?

— Нет, вот смотрю.

— Ну, так никогда знать не будешь.— Парень безнадежно махнул рукой.— Это изучать нужно. Магазин на углу Невского и Желябова книжный знаешь?

— Знаю.

— Ну вот, купи там книжку, называется «Современные мотоциклы». И пока не выучишь, не приходи. Понятно?

— Понятно,— тихо ответил Борисов.

— Когда выучишь по книжке, тогда придешь, дам руками пощупать машину. А потом ездить научишься.

Книгу Борисов купил в тот же день. Неделю он барахтался в незнакомых терминах, как барахтается на

мелководье не умеющий плавать. Он честно прочел книгу до конца, даже просмотрел список опечаток и снова пришел в гараж.

Виктор сидел на низкой скамейке во дворе, плечи устало опущены, сапоги в грязи; шлем лежал рядом на скамейке.

— Здравствуйте. Вот, я прочел,— робко сказал Борисов, показывая книгу.

— А-а, здоро́во,— слабо кивнул Виктор и опустил голову, его мягкие светлые волосы, зачесанные набок, соскользнули вперед.

Борисов молча стоял перед скамейкой, поглаживая книжный корешок.

Виктор поднял голову, резким движением откинул волосы назад и спросил:

— Прочел? Ну, и думаешь, что уже все знаешь?

Борисов молчал. Он почувствовал, что на эти вопросы не требуется ответа.

— Хочешь быть гонщиком? — продолжал Виктор.

— Да,— кивнул Борисов.

— Надеть шлем и очки, напялить краги и — газу, да? И посыпятся на тебя кубки, медали, слава. А ты будешь весь такой суровый и мужественный, как памятник. Так?

Борисов молчал смущенный.

— Сядь.— Виктор подвинул шлем на скамейке, устало вздохнул.— Не будет. Ничего этого не будет. Другое будет. Вечный насморк, пыль, железо в мазуте, страх, неудачи, травмы. Интересует?

— Да,— неуверенно ответил Борисов. Это действительно было интересно, но он не знал, хочет ли этого для себя. Он сидел на скамейке в старом питерском дворе с темными арками цокольных помещений рядом с непонятным и привлекательным человеком, от которого волнующе пахло пылью, бензином и кожей. Он очень хотел быть похожим на этого человека.

— Ладно, приходи завтра, будем разбирать машину. Сегодня я не в форме. А вообще-то ты зря. Лучше в баскетбол играть. А с этим делом свяжешься, и — конченый человек. Ночами сниться будет.— Виктор встал, прихватил под мышку шлем и, тяжело шагая, направился в гараж.

Борисов увидел, что он хромает.

Той ночью ему снились мотоциклы. Потом они часто грезились наяву, красные, с высокими передними вилка-

ми, спортивными рулями и сдвинутыми назад седлами. После школы он ходил в гараж, как на работу. Молча сносил насмешки за неловкость и неухватистость рук.

Весной Виктор закрепил рукоятку дросселя на малый газ и посадил Борисова в седло. Через месяц Борисов уже насмерть отравился холодным, возбуждающим хмелем скорости. Осенью он получил третий разряд — свою первую спортивную квалификацию.

Это, считал Борисов, был единственный поступок, совершенный им по собственной воле, по влечению. Дальше он уже действовал под давлением обстоятельств и мнений людей. Он делал не то, что хотелось, а то, что от него ожидали.

Он довольно быстро охладел к мотоциклу. Прошел первый запал, и выветрилось опьянение скоростью. Того же азартного упорства, которое приходило к гонщикам на дистанции, Борисов не ощущал. Видимо, он был устроен иначе. Все было именно так, как предрекал Виктор: хронический насморк, мазутное железо, страх. Только неудач не было. Борисов выигрывал и не радовался своим победам,— он единственный знал, что эти победы не заслужены. Он не ощущал себя гонщиком.

Но от него уже ждали побед, и Борисов не мог уйти, бросить мотоцикл, прямо сказать, что ему не хочется заниматься спортом. Для этого требовалось мужество большее, чем на дистанции,— таким мужеством Борисов не обладал.

Он приходил на мотобазу по обязанности и, как все, возился со своим мотоциклом, как все, шутил, смеялся, изъяснялся на жаргоне мотоциклистов, и только в воображении он жил желанной жизнью, совершал желанные поступки.

В этой вымышленной жизни не было грохота двигателей и холодного, секущего лицо ветра, не было нудящей тревоги, которую испытывал Борисов на трассе. В этой другой жизни его окружали прекрасные женские лица, он плыл в тихом и теплом море, входил в неизвестные светлые города, сочинял радостную музыку, с ликованием одерживал шахматные победы и писал картины, наполненные горячим солнцем. А в действительности были шоссе или грейдер, бежавшие навстречу, лесное бездорожье, угар мотоциклетного выхлопа от передней машины и ветер, секущий шею и лицо.

Так, нехотя, к окончанию школы Борисов стал кандидатом в мастера спорта.

Шел пятьдесят первый год, лавины абитуриентов накрывали приемные комиссии институтов; робкие надежды сменялись отчаянием, день ото дня росло число претендентов на место. Устрашающая молва о коварных вопросах злокозненных экзаменаторов делала зелеными даже лица отличников. Но Борисов не волновался: ему открывались разные пути. Он мог выбирать, потому что спортивные организации нескольких институтов наперебой заманивали его к себе. Эту возможность выбора и гарантированность поступления Борисов воспринял как должное, как награду за постоянство, с которым он занимался мотоспортом. И он подал заявление в университет, на журналистику, привлеченный небудничностью, как ему казалось, этой профессии, лихостью спортивных обозревателей, запросто разговаривающих с тренерами и спортсменами. Но на журналистику был большой конкурс; поступали люди, уже имевшие опыт газетной работы, а вступительные экзамены Борисов сдал более чем скромно. Ему предложили восточный факультет. Тренер университетской команды мотогонщиков успокаивал: «Отучишься первый курс, устроим перевод на журналистику, если не понравится, а сейчас главное, чтобы зачислили». Борисов не стал возражать. Как всегда, он примирился с обстоятельствами. Так он стал заниматься иранской филологией. Учился с добросовестностью посредственности. К нему снисходительно относились преподаватели. Сокурсники уважали за молчаливую скромность и спортивные успехи. Второкурсником Борисов стал чемпионом универсиады и мастером спорта.

Учеба не очень обременяла Борисова. В перерывах между спортивными сборами он успевал, с грехом пополам, прочесть нужную литературу и конспекты лекций, которыми его снабжали товарищи. Они же помогали Борисову справиться с курсовыми работами, а на сессиях выручала доброта преподавателей. Так прошло три года студенческой жизни Борисова.

Среди студентов уже выделялись Серега Грачев, делавший доклады в студенческом научном обществе, и Рем Бобров, стихи которого читали по радио и печатали в молодежных газетах.

И Борисова вдруг обуяло честолюбие. Оно пришло внезапным острым неудовлетворением собой, своей пассивной подчиненностью планам других людей. Будто спала с глаз туманная пелена, и Борисов увидел себя

в беспощадном дневном свете. Жалкой показалась ему прошлая жизнь, в которой он делал всегда не больше того, чего от него ожидали.

Тренеры перед стартом похлопывали по спине и тихо подбадривали: «У тебя всего двое будут перед носом, остальные — на хвосте». И Борисов приходил к финишу третьим. В сессию, встретив его где-нибудь в коридоре, преподаватель говорил: «Лишь бы вы ориентировались в терминологии и знали последовательность основных циклов». И Борисов вытягивал экзамен на «тройку».

Все это стало вдруг невыносимым. Борисов решил переломить судьбу, наладить учебу, бросить наконец мотоцикл, заняться спортивной журналистикой. Но бросить спорт он решил не прежде, чем станет чемпионом страны.

На всех крупных соревнованиях прошлого сезона он постоянно входил в первую десятку, и не хватало, он это понимал, только желания и азарта, чтобы стать первым. Борисов удвоил тренировки, без конца регулировал и доводил двигатель. Он готовился к осеннему первенству, как к бою. И в то же время успевал писать заметки о соревнованиях картингистов и водно-моторников, гонках за лидером и мотоболе. Молодежные газеты охотно печатали заметки Борисова потому, что в подписи после фамилии значилось «мастер спорта СССР», и еще потому, что в этих заметках, свободных от традиционных словесных фигур, которыми грешили журналисты, было достоверное знание спорта изнутри.

Эти маленькие заметки давали чувство удовлетворения, приносили уверенность, и Борисов готовился к главной самопроверке. Были все условия для того, чтобы выиграть осеннее первенство и сразу достичь двух целей: утвердить себя в собственном мнении и достойно уйти из спорта.

В день соревнований Борисов даже не волновался, какая-то тихая пустота была внутри. Волновался тренер. Он кругами ходил возле мотоцикла и время от времени тихо говорил, не глядя в лицо Борисову: «Соберись, Валя. Спокойнее».

Перед стартом, когда Борисов уже сидел в седле, тренер наклонился и крикнул, стараясь перекрыть шум двигателей: «Бойся Соколова и эстонца!» Борисов только усмехнулся в ответ. Тренер не знал, что сегодня последний старт Борисова и бояться нужно эстонцу и всем остальным, даже Виктору Соколову, тому самому

Виктору, который шесть лет назад посадил Борисова в седло мотоцикла.

Он увидел, вернее, мигом раньше почувствовал отмашку флажком стартера и дал газ. И все потонуло в реве двигателя и упругой волне ветра, бросившейся навстречу. Борисов напряг корпус и шею и рассек эту волну головой. И сразу в нем стала расти и шириться тихая трассовая пустота. Она росла до тех пор, пока не заполнила его целиком, пока в нем не осталось ни одной мысли, ни одного ощущения, кроме чувства собственного тела, спаянного с машиной, и глаз, которые ощупывали каждый метр впереди, и лишь колени привычно слушали яростное дыхание мотора.

Борисов даже не смотрел на номера гонщиков, которых обгонял, они не существовали для него как соперники. Где-то впереди были лидеры, стартовавшие раньше него, и он стремился достать их.

Трасса была трудной после дождей, прошедших накануне, и машину нужно было держать и держать, но сегодня у Борисова получалось все. И холодный азарт гонки влился в него чуть ли не в первый раз за всю его спортивную жизнь. И когда в заболоченном овраге он обошел эстонского гонщика, то не испытал радости — воспринял это как должное. Он с легкостью брал крутые подъемы, перелетал ямы и спускался с откосов, он ни разу не забуксовал в мокрых и вязких грунтах. Он был спокоен и холоден. И только Соколов интересовал его из идущих впереди, но Борисов знал, что настигнет его.

Когда кончилась пересеченная лесная трасса и под колесами запел грейдер, Борисов настиг Соколова. Несколько поворотов они шли колесо в колесо, но на крутом зигзаге дороги Борисов, не снижая скорости, вписался в поворот и ушел. Соколов, Виктор Соколов, его первый учитель и грозный соперник, остался позади. Тогда Борисов понял, что выиграл. И в пустоте внутри сгущалась уверенность, удовлетворение. Он выиграл, выиграл не только первенство; он выиграл самоуважение. Несколько километров и считанные секунды отделяли Борисова от финиша. Впереди была единственная машина, он догнал и ее. По щуплой фигурке узнал Ахмедова из «Спартака» и пожалел его. Сейчас на предпоследнем повороте Ахмедов скинет газ и останется на хвосте, а он, Борисов, уйдет вперед, потому что сегодня — его день и он может взять любой вираж. И на повороте он даже чуть прибавил газ, на миг они поравнялись с Ахмедо-

вым. Борисов скосил глаз, заметил оскал зубов на худом лице, закрытом очками, и пронесся мимо.

«Метров десять выиграл»,— мелькнуло в мозгу, и он дал предельный газ, но спиной чувствовал, что Ахмедов не отстал. Борисов обернулся, увидел, что Ахмедов висит на колесе, и еще ниже склонился к рулю. Он все равно выигрывал, это не имело значения.

«Есть еще один поворот покруче»,— подумал он и почувствовал, что преследователь отстает. И Борисов сразу же забыл о нем, теперь он видел только сияющее лицо тренера, который подбежит к нему и бросится целовать. Потом Борисов хлебнет прямо из горлышка холодного лимонада, бросит шлем и перчатки и скажет:

— Ну, все, я откатался.

Он уверенно вошел в последний поворот, видя перед собой эту блаженную минуту, и почувствовал, что вираж не получается, и сбросил газ чуть резче, чем можно...

Неумолимая враждебная сила подхватила машину и швырнула ее вперед по касательной к дуге поворота. Колеса оторвались от земли, и адски взревел двигатель. Борисов успел инстинктивно выкинуться из седла, подальше от мотоцикла, превратившегося в смертоносный снаряд, но сжать, скоординировать свое тело уже не сумел.

Потом была хирургическая клиника, однообразие палатной жизни, двусторонняя пневмония после перелома ребер.

Все это Борисов перенес спокойно, даже с безразличием. Непереносимым было презрение к себе. Он потерпел поражение не только на трассе,— он потерпел поражение в жизни. Что-то, он понимал, угасло в нем навсегда.

Во всем было виновато неуправляемое воображение. Стоило ему тогда, перед последним поворотом, предвосхитить мгновение, чуть раньше прожить его в воображении, и он не дошел.

Борисов без возражений выполнял предписания врачей, глотал лекарства, покорно поворачивался для уколов, равнодушно принимал какое-то особое внимание пухленькой, русоволосой медсестры Жени.

С тем же автоматизмом опустошенности он прожил последующие три года. Отстал от сокурсников, перешел на заочное отделение, зарабатывал статейками о спорте, судейством на соревнованиях. Он старался выглядеть ровным, даже пытался шутить, чтобы поддержать серь-

езно заболевшую мать, но внутри ощущал сонное равнодушие к жизни, к своей судьбе. И лишь ночами, когда долго не мог заснуть, Борисов начинал все сначала. Воображение рисовало ему трудный, победительный и радостный путь. В этой ночной жизни происходили увлекательные события, и Борисов видел себя другим, даже с иной внешностью — высоким и стройным, с гладкой, туго натянутой кожей на мужественном, красивом лице удачливого человека. Этот человек был совсем не похож на реального Борисова, даже цвет волос был другим. Но Борисов знал, что этот воображаемый красавец и есть он сам, Валентин Борисов, бывший мотогонщик, мастер спорта — неудачник с незаконченным высшим образованием.

Лежа в темноте и тишине, в которых неровное дыхание матери и стук маятника старых стенных часов отмеривали реальное время, Борисов шел через годы другой жизни, увлекательные и наполненные. Эта жизнь не казалась ни легкой, ни разгульной, ни праздничной — она была настоящей. В ней были свершения, упоение, был смысл — главное, что рождает желание жить. Борисов злился на себя за сумбур воображения. Он понимал, что эти нездоровые фантазии приносят вред, парализуют волю, как всякие несбыточные мечты. Но видения были сильнее его воли, они развертывались по ночам, все новые и новые, и Борисов с болезненным наслаждением погружался в них.

А по утрам действительность ждала его, как надоевший старый костюм с залоснившимися локтями и обтрепанными кромками рукавов. Он писал диплом, бегал по редакциям, просиживал вечера в Публичной библиотеке. Он был одинок, но это не тяготило его,— наоборот, среди энергичных, веселых людей он начинал тосковать, становился резок и угрюм.

Только с Женей Борисову было спокойно. Эта маленькая полная девушка-медсестра неожиданно вошла в его жизнь.

Борисов забыл о Жене, выписавшись из клиники, как чаще всего забывают люди о тех, кто помог им выздороветь. Он даже не пошел через месяц после выписки на осмотр, назначенный хирургом, потому что чувствовал себя хорошо. И вот тогда появилась Женя.

Она пришла вечером.

Весь день падал мокрый снег, и от ее козьей шубки пахло мокрым мехом и свежестью, щеки горели.

Женя, укоризненно глядя Борисову в глаза, сказала:

— Хотя бы из благодарности к врачу пришли, если считаете, что в осмотре не нуждаетесь.

Борисов невольно улыбнулся, глядя на ее лицо и с удовольствием вдыхая этот запах мокрого меха и свежести.

— Завтра же приду. Действительно нехорошо,— сказал он.

— В какое время? — строго спросила Женя.

— Ну, где-то в середине дня.

— Вы скажите точно. Я спущусь в вестибюль и скажу, чтобы вас пропустили: теперь у нас строго с пропусками.

— В два часа — устроит?

— Буду ждать вас внизу. До свидания.— Женя повернулась, чтобы уйти.

— Ну, нет,— сказал Борисов неожиданно для себя,— без чаю не уйдете.

— Спасибо, но...

— Никаких возражений! Я вам возражал в больнице? — Борисов протянул руки и сказал повелительно: — Давайте вашу шубу.

Он ввел Женю в комнату и сказал матери:

— Вот эта девушка выходила меня. Если бы не она, быть мне кривобоким и хромым.

За столом Женя смущалась, односложно отвечала на вопросы матери, и щеки ее разгорелись еще ярче. Борисова забавляло ее смущение, осторожность, с которой она помешивала ложечкой в чашке, чтобы — не дай бог — не звякнула. И в то же время Борисов поймал себя на том, что как-то по другому видит эту знакомую всю жизнь комнату. Старая люстра рассеивала желтоватый свет трех матовых плафонов; пузатый чайник розового потускневшего фарфора был похож на смешного поросенка. И вообще, что-то новое появилось во всей обстановке, которую Борисов давно перестал замечать... Он вдруг подумал о том, что давно уже здесь не бывало гостей. Мать, выйдя на пенсию, прихварывала и с трудом вела нехитрое хозяйство, и Борисов остерегался приглашать шумных, любящих поесть мотогонщиков, хотя со многими сохранил приятельские отношения; университетские же товарищи как-то отдалились за время болезни.

От этих мыслей Борисов помрачнел, вдруг почувствовал досаду на девушку за ее неожиданный приход.

И уже не слушал, о чем говорит с ней мать. Воображение своевольным поворотом, как вышедший из повиновения мотоцикл, швырнуло его вперед по касательной к дуге поворота; колеса оторвались от земли, и адски взревел двигатель, вдруг лишившийся нагрузки. Но на этот раз Борисов не выкинулся из седла инстинктивным движением. Он приник к мотоциклу, непостижимым образом выровнял его и приземлил на коричневый грейдер дороги, и машина понесла его дальше под пение колес, свист ветра и ровное таканье двигателя. Он несся один; на прямом, чуть выпуклом грейдере лежали солнечные пятна, они казались желтыми лужами. Не было никого впереди, никого — позади. Борисов ехал один по этой плавной, спокойной дороге и знал, что скоро кончится просека и он увидит зеленые поля и за ними — ровный, как лезвие, горизонт. И было то упоение движением и скоростью, которого он не испытывал никогда. Борисов даже пригнулся над столом, как над рулем машины.

— Валя, ты проводишь Женечку? — вернул его к действительности голос матери.

Борисов встал, церемонно наклонил голову, отчасти для того, чтобы скрыть лицо.

— Нет, нет, спасибо,— запротестовала Женя.— Мне близко и еще нужно в магазин.

В коридоре он подал ей сырую шубку и снова вдохнул запах мокрого меха.

— До завтра,— улыбнулась она Борисову.

В комнате мать встретила его пристальным взглядом.

— Вот станет она врачом, и цены ей не будет,— тихо и медленно сказала она, и Борисову почудилась печаль в ее голосе.

«Цены не будет... А сколько он стоит, человек? — подумал он.— Ну не я, положим, а кто-то. Сколько стоит человек? Столько, сколько он может? Сколько же тогда стою я? Мы сами назначаем себе цену тем, что на что-то решаемся или к чему-то стремимся...»

Они стали встречаться.

Борисов относился к Жене снисходительно, думал, что она испытывает состояние легкой влюбленности, естественное в двадцатилетнем возрасте. А себя он считал усталым, умудренным жизнью человеком. Он относился к Жене с бережностью старшего; доставляло грустное удовольствие думать, что он оберегает эту не защищенную в своей доброте и наивности девушку, которую так легко, казалось ему, обмануть суесловием.

Он даже пускался при ней в намеренно циничные рассуждения о жизни, чтобы привить критический взгляд. Женя умела слушать, и Борисов при ней становился другим, более уверенным в себе. Он забывал свои поражения, потому что Женя не знала о них. И, хотя он не признавался себе в этом, ему льстило внимание этой симпатичной девушки. А когда состояние матери ухудшилось, Женя незаметно стала в доме просто необходимой. Она ухаживала за матерью, делала уколы, бегала в магазин. Борисов почти всегда заставал Женю, когда возвращался домой. Он понимал, что девушка делает много незаметной, неблагодарной домашней работы, и сердился на себя, на мать. Ему казалось, что, играя на Женином добросердечии и простоте, они с матерью эксплуатируют девушку. Борисову иногда мнилось, что в отношениях с Женей он руководился каким-то неосознанным, но точным расчетом. Эта мысль приводила его в бешенство, и, провожая Женю домой, он иногда взрывался, стараясь поссориться и прекратить отношения.

— Зачем тебе это? Нравится быть домработницей? Неужели на свете нет интересных парней? Или ты христианка с ханжескими наклонностями? Что это, гордыня наоборот? — Он презирал себя за эти вопросы, за аффектацию, с которой бросал их. А Женя молчала, опираясь на его руку. Она всегда молчала. Об это молчание разбивалось раздражение Борисова. А мать просила: «Валя, женись на ней, и мне будет спокойно. Сделай это, пока я жива».

Мать не дождалась женитьбы Борисова. Лишь через несколько месяцев, замученный пустотой комнаты, он спросил у Жени:

— Пойдешь за меня замуж?

Она молча кивнула и опустила лицо.

— Смотри, будет трудно.

— Знаю,— тихо сказала Женя.

Но сначала семейная жизнь сложилась легко и даже счастливо.

Борисов окончил университет, получил свободный диплом и всерьез занялся журналистикой. Теперь ему поручали писать очерки не только о спорте, и не только газеты печатали его материалы. Толстые журналы время от времени помещали его статьи о музеях и выставках, о прикладном искусстве и строительстве. Борисов стал прилично зарабатывать, и в семье появился достаток.

Женя была неизменно ровной и тихой. Она чуть похудела, и прежняя ее миловидность полноватой двадцатилетней девушки вдруг обернулась зрелой женской красотой. И Борисов часто ловил себя на том, что испытывает безотчетную радость, когда, возвратившись домой, застает жену над конспектами или хлопочущей по хозяйству. У них родилась дочь. Женя окончила институт и стала работать врачом. Все шло хорошо, и, казалось, ничто не предвещало отчуждения. Но какая-то тоскливая неудовлетворенность исподволь точила Борисова.

Ему уже не нравились свои статьи; на смену лихости и порыву неофита пришла искушенность, и сразу открылись сложности профессии. Теперь уже невозможно было сесть за стол и, не терзаясь сомнениями, за вечер написать очерк. Мысли, которые Борисов пытался занести на бумагу, ускользали в мешанине тусклых, беспомощных слов. То, что казалось значительным, ярким, на бумаге теряло смысл, превращалось в словесную труху. Борисов приходил в отчаяние, рвал написанное. Только небольшие информационные заметки приносили скудный заработок.

Борисов не чувствовал себя журналистом, как раньше не чувствовал себя мотогонщиком. Интересная работа превратилась в серую поденщину со случайными гонорарами, в беготню по редакциям.

Женя с молчаливым упорством тянула семью. Борисов за все годы не услышал от нее ни слова упрека и от этого еще острее ощущал свою беспомощность и никчемность. И временами глухое раздражение вскипало в нем против жены за ее стоическое молчание, за ее упорство. У него лишь хватало сил на то, чтобы не высказать этого раздражения.

Горечь от сознания незадавшейся жизни сделала Борисова угрюмым и нелюдимым...

Машин не было.

Он понуро стоял в хвосте очереди и чувствовал себя усталым, словно все годы неудач и ошибок выстроились вслед за ним. Он не рассчитывал даже на маленькое случайное везение и не спрашивал пассажиров, садившихся в редко подходившие такси, не по пути ли с ним.

Бил фонтан в сквере перед собором, радужно играла на солнце водяная пыль. Шумный перекресток относил и приносил волны машин, кипел пестрым потоком прохожих. Но все это не имело отношения к нему, Бори-

сову. Он равнодушно смотрел, как садятся в такси счастливчики, уже заранее смирившись с тем, что опоздает.

Кто-то глянул ему в лицо пристальным взглядом, кто-то из начала очереди. Он почувствовал этот взгляд и равнодушно опустил голову. Но ощущение не прошло, и Борисов посмотрел в начало очереди, увидел худощавое лицо с чуть выступающими скулами и сразу узнал Грачева, товарища по университету. Сергей помахал ему рукой. Борисов подошел.

— Здравствуй, Валя, тысячу лет тебя не видал.

Борисов пожал узкую руку:

— Здравствуй.

— Куда едешь?

— Да вот, надо на стадион Ленина.

— Поедем вместе. Я у стадиона тебя высажу, а сам двину по Большому.

Уже в машине Грачев спросил:

— Ну как, не тянет тебя иранистика?

— Да как тебе сказать, я ведь только в принципе знаю, что это такое. Одну статейку как-то написал о сасанидском металле — помнишь, выставка была в Эрмитаже? — и то не напечатали. Тянули, тянули, пока выставка не закрылась, а потом уже что печатать.

— Выставка была интересная.

— Вот мне тоже показалось. Ну а потом я как-то сгоряча переделал статейку в такой очерк научно-популярный, но так никуда и не пристроил... Там уж ударился и в историю, и в филологию.

— Показал бы.

— Да ну, тебе ли читать такие дилетантские штуки.

Машина плавно шла по свежеасфальтированной набережной, казавшейся праздничной от высоких окон старинных особняков.

— Ты женат? — спросил вдруг Грачев.

— Да, дочь. А ты?

— Все как-то не выбрать время,— усмехнулся Грачев.

Усмешка эта показалась Борисову грустной. Он сказал:

— А иначе не добился бы ничего.

— Кто его знает,— опять грустно усмехнулся Грачев.

Они уже въехали на новый Тучков мост.

— Ты бы зашел как-нибудь, Валя. Я действительно

буду рад тебя видеть. Запиши телефон и адрес. Да, статейку покажи, обязательно.

Борисов почему-то долго помнил эту встречу. В коротком, бессвязном разговоре все чудилась ему какая-то теплота и помнилась еще грустная усмешка Грачева.

Борисов позвонил через месяц.

Был прохладный светлый вечер. После дня бесплодной и потому мучительной работы над статьей Борисов чувствовал себя опустошенным и особенно одиноким. Женя с дочерью были на даче, и ничего не удерживало его в непривычно тихой комнате. Борисов предупредил на всякий случай соседку-пенсионерку, чтобы не закрывала входную дверь на крюк, и вышел из дому.

Было пустовато по-летнему на Кировском проспекте; истомленное дневным солнцем небо выцвело и стало белесым, но балтийский ветер уже просквозил и очистил проспект от дневных запахов. Медленно проходили с задумчивыми лицами молодые пары, ярко и влажно блестели огни светофоров на перекрестках, бесшумно и быстро проносились легковые машины. А Борисова что-то томило, хотелось поглубже вдохнуть прохладный балтийский ветер, но глубокого, облегчающего вздоха не получалось и что-то теснило в груди. Ему вдруг остро захотелось общения, какой-то интересной беседы, может быть, выпивки, хотя он никогда не испытывал к ней тяги. Он медленно шел по проспекту, и грезился ему чей-то уютный дом, внимательные глаза и тихий смех.

Он достал записную книжку и отыскал телефон Грачева.

— Заходи, Валя. Просто прекрасно будет, если ты зайдешь.

— Ты не занят?

— Нет, нет, абсолютно ничем не занят.

— Ладно, тогда зайду,— сказал Борисов.

— Ты из дому звонишь?

— Да,— почему-то соврал Борисов.

— Вот, захвати свою статейку.

— Хорошо.— Борисов повесил трубку, вышел из будки автомата и с удивлением подумал: «Не забыл про статью-то».

Он быстро вернулся домой, взял уже пожелтевшие листки. По пути к Грачеву зашел в магазин. Денег у него было немного, но он купил бутылку хорошего коньяка.

— Ну, дорогой мой, это пижонство — пить такой коньяк,— сказал Грачев с улыбкой, когда Борисов по-

ставил на крытый стеклом журнальный столик бутылку.

— Да я вообще-то не пью,— смутился Борисов.— Так, сегодня что-то захотелось.

— Как у тебя семья? Здоровы?

— Да, все в порядке. Отправил их на дачу неделю назад. Вот позвонил тебе...

— Очень хорошо сделал. Садись, я сейчас, потихоньку от матушки, рюмки приволоку. Посмотри вот. Не так давно нашли манускрипт в стамбульском музее. Рыцарский роман — тринадцатый век. Парижский центр уже издал альбом миниатюр.— Грачев вышел.

Борисов взял со стола тяжелый альбом в целлофанированном переплете с лиловыми арабесками, открыл, и сразу у него пресеклось дыхание.

По затейливым восточным орнаментам летели кони цвета киновари с золотыми копытами, желтые кони с бирюзовыми копытами, и прямые мечи висели на бедрах у всадников. Полиграфия была превосходной; отчетливо передавалась даже фактура старого пожелтевшего пергамента. Что-то чуждое глазу, привычному к европейскому искусству, было в этих изображениях; чуждое и волнующее своей обобщенностью. Все, что могло бы определить положение всадников во времени и пространстве, было опущено: ни одного штриха случайного, несущественного, индивидуального. Это был канон, прошедший через тысячелетия и очищенный ими. Жесты и позы людей были стилизованы до предела,— казалось, будь они живыми, всадники так и не переменили бы поз за семь столетий, протекших с той поры. Художник не старался остановить ускользающее мгновение, запечатлеть свое виденье, ощущение света. Он стремился к какому-то абсолютному символу, освобождаясь от всего случайного и преходящего. И застывшие алые кони так и летели через века, и всадники были светлолики и вечны, как храбрость.

Под одной миниатюрой Борисов с трудом, спотыкаясь на каждом диакритическом значке, прочел двустишие, путаясь в архаизмах, перевел с грехом пополам: «Светом озарилось поле битвы, когда откинула Гюльшах покрывало со своего лица».

Он в волнении склонился над листами альбома, но уже не видел ни летящих всадников, ни консонантного письма, обрамлявшего миниатюры; он остро завидовал Грачеву жалкой, грустной завистью. Эти полки книг, сплошь покрывающие стены, оттиск статьи на француз-

ском языке, присланный составителем альбома лично Грачеву, праздничность целиком поглощающего труда — все это представлялось Борисову счастьем.

— Ну как, проникся? — Грачев, улыбаясь, поставил на стол рюмки.— Знаешь, в этом есть какая-то магия. У меня руки дрожать начинают, когда я смотрю эти картинки.— Он сел на тахту напротив Борисова, поправил абажур на высокой бронзовой лампе.

— Да... Но это уже поздняя арабская традиция.— Борисов закрыл и отодвинул альбом.

— Кто его знает, тут так просто не скажешь. Вот паренек,— Грачев похлопал ладонью по оттиску статьи,— доказывает, что это темы именно иранской литературы. Вообще очень любопытный ученый, правда, скандальчики любит. Ему обязательно нужно обозвать дураками всех стариков.

Борисов не ответил, откупорил коньяк.

— Ну давай,— сказал Грачев, подвигая рюмки.

Грачев рассказывал о бывших сокурсниках, кто где работает, о заграничных поездках.

Уютно было беседовать под светом старой лампы. Тускло мерцало золото на книжных корешках. Мягкое кресло удобно облекало тело. И Борисов, высвободившись из своей обычной замкнутости, говорил о себе, рассказывал спортивные новости. У него возникло чувство, будто бы они с Грачевым были дружны все эти годы.

Он смотрел на тонкое лицо с выступающими скулами, на остро торчащий кадык на худой шее Грачева и испытывал давно забытую мальчишескую влюбленность в товарища.

А когда Сергей, застенчиво улыбнувшись, как бы извиняясь за свою слабость, спросил:

— А не сыграть ли нам в благородную игру шатрандж? — и достал с полки коробку с шахматами, Борисов был уже другим человеком, веселым, общительным и чуть озорным.

— Неудобно обыгрывать хозяина,— сказал он.

— Ух ты! Ну-ка давай расставляй,— в тон ответил Грачев.

Борисов любил шахматы и когда-то неплохо играл. Он с удовольствием ощутил в руках тяжесть фигур из хорошего дерева, для устойчивости залитых свинцом.

— В такие шахматы и проиграть приятно,— сказал он.

— Ага, уже на попятный,— подзадорил Грачев.— Давай разгадаем.— Он взял белую и черную пешки в кулаки и спрятал за спину.— Какую?

— Да играй белыми,— улыбнулся Борисов; он знал, что выиграет, у него уже появилось предчувствие, что сегодня ему будет удаваться все.

И правда, сами собой получались красивые комбинации, эффектные жертвы фигур. Грачев защищался изобретательно и цепко, но ничего не мог поделать с натиском Борисова. Они сыграли три партии, и Сергей сказал:

— Как-то даже скучно с тобой играть. Никакой надежды, а без нее человек не может. В любой игре должна быть надежда на выигрыш, иначе игра теряет смысл.

Опять какая-то затаенная грусть послышалась Борисову в его словах. Он стал собираться домой... Грачев не удерживал, только сказал:

— Ты заходи, Валя. Всегда рад буду, а статью прочту и позвоню.

— Да чего там читать: болтовня.

— Ну, поглядим. Всего хорошего.

Домой Борисов вернулся в добром настроении и еще до полуночи закончил упиравшуюся статью.

Грачев позвонил через несколько дней.

— Валя, ты бы зашел. Я прочел твою статью, интересно, но это долгий разговор.

— Ну, если только попозже, Сергей.— Борисов только что вернулся со стадиона и после дня, проведенного на жаре, чувствовал себя усталым и грязным, и еще нужно было передать репортаж в газету по телефону.

— Давай позже. Я целый вечер буду дома.

После душа усталость прошла, и Борисов пришел к Сергею в хорошем настроении.

Грачев же, наоборот, выглядел усталым: лицо посерело, осунулось и от этого казалось еще у́же.

— Ты плохо выглядишь,— заметил Борисов.

— Да что-то второй день желудок болит,— неохотно ответил Грачев.

— А что у тебя?

— Язва, говорят. Да черт с ней, пройдет. Садись. Ты уж извини, я прилягу.

— Слушай, Серега, может, тебе вообще полежать молча, а я приду в другой раз? — спросил Борисов сочувственно.

— Нет, дорогой, это как зубная боль, ее заговаривать нужно. А когда один лежишь, совсем плохо.— Грачев слабо улыбнулся.— Да. Вот, прочел твою статью. Знаешь, даже не ожидал, что будет так интересно. У тебя шустрое перо. Я бы уж давно академиком был, если бы умел так излагать.

— Ладно тебе смеяться,— потупился Борисов.

— Честное слово! Все очень точно и занимательно изложено и свежо, даже для меня, профессионала; нет этой занудной терминологии, а все опосредовано простым человеческим языком. Сейчас ведь ученая братия слова в простоте не скажет, даже о выеденном яйце будет на латыни писать. А посмотришь, если отжать терминологическую воду, то там и нет почти ничего.

— Ну что ж, я рад, что тебе понравилось,— сказал Борисов.

— И знаешь, там очень, по-моему, интересная мысль: сопоставление эпиграфики с металлом. Насколько я знаю, она ни у кого так отчетливо не встречалась. И потом, я тебе скажу, это вообще здóрово. Ты же не музейный работник, который годами перебирает эти коллекции... Ну, сколько раз ты был на этой выставке?

— Три, но по полному дню. И потом я еще Смирновским атласом пользовался в Публичке — потрясающее издание.

— И все равно, ты же почти исследование написал о материальной культуре. Ну пусть оно не наукообразно, без ссылок на источники, с бездоказательными утверждениями, но в целом это — интересная работа.— Сергей приподнялся с тахты и потряс листками рукописи.

— Ты и наговорил! Я уже почувствовал себя таким же умным, как Орбели или Якубовский,— отшутился Борисов, но похвала Грачева была приятна.

— Будет кобениться. Теперь практически. Что можно сделать с этим очерком? В «Мысли» в будущем году составляется сборник такой, научно-популярный, о культуре средневекового Востока. Я буду составителем и предложу твой очерк. Конечно, нужно будет другое название, что-нибудь вроде «Ювелиры древнего Ирана». Потом обязательно нужно снять все эти твои рассуждения о податной реформе Нуширвана, об экономике. Нужен очерк об искусстве обработки драгоценных металлов. Когда ты говоришь об изображениях на монетах и раскрываешь их политическую и идеологическую окраску, это хорошо и интересно; интересно, когда гово-

ришь об изобразительной традиции. Но когда ты на двух страницах пытаешься рассказать о сложнейших экономических связях и налоговых отношениях, прости меня, это действительно дилетантство. Неспециалист все равно ничего не поймет из этого, а спецы поднимут на смех. И потом, как сказал Козьма Прутков: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития».— Грачев тихо засмеялся.

— Да я ведь писал без адреса, вот и свалил все в одну кучу. Ты прав: дилетантство.

— Ничего. Я этот экземпляр оставлю. Редколлегии можно и так показать, а ты переделаешь потом.

— А кто это будет печатать, да еще в книге? — с сомнением сказал Борисов.

— Посмотрим, гарантии, конечно, нет никакой.

Очерк напечатали. Но к тому времени Борисов уже работал в институте младшим научным сотрудником в том секторе, который возглавлял Сергей Грачев.

Это случилось осенью, через три месяца после встречи на стоянке такси.

В один из приходов Борисова Грачев сказал:

— Слушай, Валя, есть дело к тебе,— и, прищурясь, взглянул в лицо.

— Пожалуйста, если смогу,— с готовностью отозвался Борисов, он был рад чем-нибудь услужить Сергею.

— Думаю, что сможешь. Понимаешь, повисла тема у нас. По-честному, она давно висела, но некого было посадить на нее, у всех работы были на мази. Да и не требовали. А теперь уже тянуть дальше некуда. И единицу специально дали на нее. А тема хорошая, хоть и трудоемкая. Современный Иран, экономика, культура, право. Понимаешь, у нас расширяются торговые и политические взаимоотношения, и такая книга просто необходима. Тема запланирована сверху. Через полтора, максимум два года книгу нужно выдать. Может, возьмешься, а? Не уйдет от тебя журналистика.— Грачев лукаво и ободряюще улыбнулся.

— Да ну,— отмахнулся Борисов,— какой я специалист.

Он даже не принял всерьез предложение Сергея.

— Ты и есть специалист. А как ты себе представляешь, с рогами он, что ли? Ты знаешь язык, это главное, потому что книга должна быть на материале текущей периодики и последних исследований. Ты журналист,

что тоже важно. Это должно быть изложено так, чтобы могли читать и юристы, и экономисты, и художники.

— Не получится у меня.

— Почему это не получится? Как раз у тебя и получится. Придется, правда, горы журналов и книг прочесть, но это ведь тоже интересно. А потом, клянусь тебе, на этой книжке можно сделать кандидатскую. Выйдет она, а потом подсократить, поглубже проанализировать, и порядок. Назвать можно так: «Некоторые тенденции развития за последние, скажем, десять лет». Это нужная работа, и после книжки, когда у тебя материал будет обработан, ее можно сделать за год. Подумай. И потом, я тебе скажу, постоянная зарплата, пусть не очень большая, лучше любых сумасшедших гонораров.

— А где они, гонорары,— невесело усмехнулся Борисов.

Дома он задумался над предложением Грачева всерьез и даже рассказал о нем жене, хотя давно уже не говорил с ней о своих делах. По равнодушному ответу Жени он понял, что она не верит в то, что он, Борисов, справится с этой работой. И это подтолкнуло. Он вышел в коридор, позвонил Сергею и сказал, что согласен. Так он начал работать в институте.

3

Борисов резко повернул пуговку замка.

На пороге стояла очень молодая женщина в скромном матово-сером костюме и розовой блузке. Борисову показалось, что ее лицо вдруг выступило из сумеречности лестничной площадки и придвинулось близко-близко. И он в растерянности смотрел на это лицо с коричневой крупной родинкой под левой скулой, у самой ямки на щеке, смотрел в синие яркие глаза, в которых одновременно были строгость, недоумение и вопрос. Он стоял, держась за край обитой дерматином двери, и казалось, что это лицо грезится ему в полутьме.

— Можно видеть Сергея Васильевича? — Низкий грудной голос словно упругой волной коснулся лица Борисова.

— Да, да, пожалуйста, проходите.— Борисов суетливо отскочил от двери, освобождая проход.

Она переступила порог, притворила за собой дверь. Борисов протянул руку к ее розовой квадратной сумке:

— Позвольте, я положу.

— Спасибо. Позовите, пожалуйста, Грачева.

Борисов пошел по коридору, оглянулся. Узкий, затемненный книгами проход создавал иллюзию большого расстояния, и в этом далеке светлело лицо, оно жило отдельно от костюма и сумки.

Он вошел в комнату и сразу наткнулся на вопросительный взгляд Сергея. Борисов подождал, пока Грачев, танцующий с Марой, приблизится, и сказал тихо:

— Там тебя спрашивают.

Грачев кивнул, извинился перед партнершей и вышел. Борисов хотел пойти следом, но Мара положила ему руки на плечи, и он стал танцевать.

— А кто пришел?

— Не знаю,— ответил Борисов, видя, как Марины глаза закосили от любопытства.

Рядом проплыло внимательное лицо Шувалова.

«У всех ушки на макушке,— подумал Борисов.— Но кто же это, кто?»

Пластинка кончилась, все сразу заговорили, принялись усаживаться, зазвенели рюмки, забулькало в горлышках бутылок.

Борисов взял свою рюмку, пригубил, выжидательно посмотрел на дверь. Он чувствовал, что эта женщина сейчас войдет.

Легкая портьера дрогнула, и опять ему показалось, что в комнату вошло только это светлое лицо в окружении красно-коричневых фламандских теней.

— Это Таня,— громко, стараясь перекрыть разноголосицу, сказал Грачев и повел ее по комнате, называя имена присутствующих.

Борисов стоял у окна. Грачев и Таня подошли к нему, обойдя всех.

— Мой друг, Валя Борисов.

Борисов склонил голову, пожал тонкую, не по-женски твердую руку. Он почему-то боялся смотреть ей в лицо и ждал, пока Сергей уведет ее, не поднимая головы.

— Так, надо выпить. Сейчас найду тебе чистую посудину.— Грачев отошел.

— Вы действительно друзья?

Борисов снова ощутил прикосновение волн этого голоса к лицу, поднял голову и встретил строгий вопрошающий взгляд. Синева его была холодной и глубокой.

— Мы вместе работаем,— тихо ответил он.

— У него, по-моему, не может быть друзей.

— Почему? — спросил Борисов, с удивлением чувствуя, что сказанное этой женщиной задело его.

— Разве нужны друзья тому, кто полностью счастлив? Он не нуждается ни в помощи, ни в сочувствии, ни в деньгах.— Опять она холодно, строго посмотрела на Борисова.— У такого человека все — приятели, но друзей нет.— Она отрицательно покачала головой.

— Не знаю, я как-то не размышлял об этом специально,— сказал Борисов и подумал: «Любопытно, но эта женщина, кажется, тоже влюблена в Серегу».

Грачев подошел с большим синим бокалом.

— Вот, никакой другой посуды не осталось. Но это даже хорошо,— он улыбнулся своей грустной улыбкой,— потому что ты опоздала и надо наверстать. Держи.

Таня взяла бокал, взвесила в руке, сказала:

— Я не принесла тебе ничего.

— А ничего и не нужно.

— Потому и не принесла, что не нужно. Какая радость дарить человеку, которому наплевать на все подарки.

— Вот именно.— Грачев налил ей вина.

Борисову стало неловко слушать этот разговор, он хотел отойти, но тут балетной побежкой приблизился разрумянившийся Шувалов, шаркнул ногой и поклонился:

— Таня, разрешите вас...

Она отдала бокал Борисову и пошла танцевать.

— Вот так нужно ухаживать за женщинами, дорогой. А мы уже безнадежны в этом отношении, и давай выпьем по этому поводу,— сказал Грачев.

— Давай,— отозвался Борисов; ему очень хотелось спросить, кто такая эта женщина, но он чувствовал, что спрашивать не надо.

Грачев налил, и они молча выпили.

— Там тебе по замечаниям совсем небольшая работа. Кое-где чисто механические сокращения, и отчетливее сделать выводы,— сказал Грачев.

— А я думал, что зарезали.— Борисов поставил рюмку на подоконник.

— Увереннее надо быть, Валя. Вспомни, говорил же я тебе три года назад в этой самой комнате, что будет книжка и будет диссертация. И видишь, книжка вышла, неплохая книжка, а к осени и защитишься.— Сергей

хлопнул его по плечу.— Теперь, дорогой, нужно о докторской думать.

— Да брось ты.

— А что? Нужно думать, так, исподволь выискивать себе тему. Вот ты помешан на Сасанидах, и думай.

— С чего ты взял? — с досадой спросил Борисов, он тщательно скрывал свое увлечение даже от Грачева.

— Да как ни придешь в библиотеку посмотреть новинки, так все, что об этом периоде, уже у тебя. А ты не смущайся. Вот с такого бзика и начинается ученый.

— Может быть.

Кружились, покачиваясь, пары на свободном куске паркета. Томилась белая ночь за окнами.

Борисову вдруг стало холодно в душной, накуренной комнате...

...Сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил шагом ехал по насыпи канала.

Безлюден был Ктезифон в этот поздний закатный час. Только плескалась рыба в канале, да в кронах деревьев, устраиваясь на ночлег, возились птицы. Где-то тихо заржала лошадь, и кобыла Анастасия ответила ей призывным ржанием.

Молодой ромей свернул в узкую улицу. Ползучие розы перехлестывали через глинобитные заборы своими колючими плетями, душный запах дурманил голову.

Тревога охватила всадника, и лошадь испуганно замотала головой, громко всхрапнула, рванулась вперед, но Анастасий Спонтэсцил привычной рукой подобрал поводья.

Все тянулись мрачные, глухие заборы по обеим сторонам улицы, и узкий дынный ломоть луны висел над серыми оливами справа от всадника. И сердце томительно сжималось от бесконечности улицы.

Спонтэсцил знал, что в конце этих заборов будет еще канал. Он переедет его вброд и за пустырем, на другом берегу, увидит стены дасткарта младшего Бавендида — Азада. Там его, ромейского воина, ждут.

Спонтэсцил проехал улицу. В сумраке маячили стволы шелковиц вдоль канала. Кобыла осторожно спустилась с насыпи, и передние ее копыта ступили в воду.

«Священной считают воду персы»,— подумал Спонтэсцил. «Странный народ»,— усмехнулся он, но грудь стеснило предчувствием опасности.

Лошадь вошла в воду по брюхо, остановилась и, пофыркивая, стала пить.

Анастасий не тревожил ее, смотрел на отражение похожего на дынный ломоть месяца в канале и прислушивался к темноте на том берегу.

Лошадь напилась и пошла вперед, с тихим плеском рассекая воду. Спонтэсцил выпростал ноги из стремян и подобрал в седло. Железные поножи, надетые поверх кожаных ромейских сапог, были влажными.

Лошадь поскребла передними копытами по склизкой глине и, оступившись раз, выбралась на берег.

Прямоугольный пустырь был тщательно выглажен и посыпан белым евфратским песком.

Здесь Бавендид Азад играет в свою игру: персы гоняют мяч кривыми палками... Спонтэсцил не успел додумать.

Что-то хрустнуло за деревьями, окаймляющими пустырь. Спонтэсцил услышал, как коротко пропела тетива лука и в тот же миг вжикнула стрела. Он сломался и обвис в седле. Прянула в ужасе лошадь, и левая нога молодого воина потеряла стремя. Из-за деревьев наперерез лошади выбежали трое. Медные пластинки на их кожаных панцирях тускло поблескивали под ущербной луной.

Кобыла, увидев людей, остановилась, жалобно заржала. Тело молодого ромея безжизненно свесилось с седла.

Люди приблизились к лошади.

— Готов,— сказал один, и лошадь вздрогнула от гортанного говора.

Вдруг Анастасий Спонтэсцил вскинулся в седло, и над его головой дважды взлетел короткий ромейский меч. Два тела в кожаных панцирях с глухим звуком упали на белый песок. Третьего Спонтэсцил догнал и сбил лошадью.

Человек перекувырнулся через голову, неловко суча ногами и оставляя темные борозды на белом песке, торопливо пытался встать, но Анастасий прыгнул с седла ему на грудь и приставил к горлу острие меча.

— Кто? Кто тебя послал? — выкрикнул Анастасий.

Человек молчал, его большие, темные, навыкате глаза печально и покорно блестели в слабом свете луны.

— Кто тебя послал, раб? — повторил Анастасий свой вопрос по-арамейски.

Человек пошевелил толстыми губами, но изо рта его

вырвалась только икота. Он лежал и судорожно икал, обнажив крупные, желтые зубы. Спонтэсцил с отвращением отвернулся и нажал на рукоять меча. Потом вытер лезвие об одежду убитого, хотел идти к лошади, но заметил у горла, рядом со струйкой крови, темный крест. Стараясь не перепачкать руку, Спонтэсцил рванул его со шнурка, поднес к глазам; это был деревянный монофизитский крест.

«Этот раб — армянин. Значит, царица Ширин».— Спонтэсцил усмехнулся и подошел к лошади. Теперь он знал, что дорога свободна. Шагом тронулся он вдоль стены дасткарта Азада — младшего Бавендида.

Узкий, похожий на дынный ломоть месяц все так же плыл в вышине за правым плечом всадника...

Где-то на заднем плане сознания еще извивалось, сучило ногами черное тело на белом песке, еще плыла узкая луна и не угас глухой стук копыт по мягкой горячей земле, но Борисов ясно и остро увидел всю комнату, позы и лица и снова нацеленный в него, вопрошающий и строгий, взгляд Тани. И словно волна подхватила его на свой высокий гребень и понесла, оставив позади молчаливую застенчивость. Пружинистым шагом византийского патрикия он шагнул от окна к тахте, сел и включился в веселый разговор. Он сам немного удивился этому фейерверку остроумия. Одна за другой шли смешные и трогательные истории о спортсменах-неудачниках, которые неожиданно выигрывали соревнования и становились чемпионами. В этих историях спорт представал веселым и легким, без терпкого запаха пота, без выматывающего волнения, без горького привкуса неудач. Там золушки всегда становились принцессами и сбывались самые несбыточные мечты.

Борисов умолк, все снова пошли танцевать. Подошел Сергей и сказал:

— Ну, Валя, спасибо. Всех покорил. У тебя прямо талант, хоть на эстраду.— Он помолчал и спросил тихо, и было видно, что он стесняется своего вопроса: — А что, на самом деле это все было?

Борисов только улыбнулся в ответ. Он не смог сказать «да», но не хотел говорить «нет». Он сам не знал, где правда и где ложь в его историях: там перепуталось желаемое и возможное.

— Ну что — наврал все? — смеясь спросил Сергей.

— Нет, все так, как должно быть,— решительно ответил Борисов.

Кружились, покачиваясь, пары под музыку, полную шорохов старых, заезженных пластинок. В красно-коричневых бархатных бликах плыло перед глазами Борисова странное женское лицо с темной родинкой под левой скулой и вопрошающими синими глазами. Борисову казалось, что ничего не существует вокруг, кроме этого лица.

И вдруг в разом наступившей тишине это лицо приблизилось так, что Борисов четко увидел темные крапинки на переливчатой синеве глаз.

— Почему вы ни разу не пригласили меня танцевать? — спросила она.

— Потому же, почему вы не принесли подарка Сергею,— сказал Борисов и отвернулся: в этих глазах был какой-то невыносимый вопрос, и он не знал на него ответа.

— А если вы ошибаетесь? Может так быть?

— Может. Я вообще часто ошибаюсь,— ответил Борисов.

— Вам представляется случай исправить одну из ошибок.— Она улыбнулась, и лицо потеплело, лукаво, призывно блеснули глаза.

Борисов шагнул вперед и обхватил ее за талию. И ее лицо стало еще ближе. А красно-коричневые блики отгородили от всего, что было вокруг, и в тесном маленьком мирке остались только хриплая музыка и волнующая гибкость талии под ладонью. А лицо ее вдруг надвинулось совсем и скрылось. Перед глазами Борисова мелькнула витая прядка светлых волос, и что-то обожгло ему щеку. Он со страхом понял, что это ее висок, горячий и пушистый от волос, приник к его щеке.

Он теснее прижал ее к себе и почувствовал, что нечем дышать. А щеку все жгло и жгло прикосновением ее виска.

— Валя, милый,— шептала она,— ну зачем вы здесь? Ведь вы не отсюда, я знаю. Зачем вы рассказывали им эти ваши истории? Чтобы они веселились, чтобы смеялись над тем, как исполняется несбыточная мечта? Валя, милый вы человек.

Борисов молчал, машинально делая шаги, повороты. Он не был уверен в том, что этот горячий шепот не мерещится ему.

Пластинка кончилась, и рассеялись красно-коричневые призрачные завесы.

Борисов выпустил Таню из объятий, испуганно оглянулся вокруг. Она взяла его за руку и подвела к амбразуре окна, подальше от всех.

— Налейте мне чего-нибудь,— попросила она.

Борисов нашел ее высокий синий бокал, налил вина и заметил, что движения его легки и размашисты. Он поднес Тане бокал в вытянутой руке и усмехнулся про себя: «Разгулялся, что вор на ярмарке».

— А вы? — спросила она, принимая бокал.

— Я выпью с вами, хотя уже, кажется, пьян. Мне даже чушь какая-то мерещится,— сказал Борисов и налил себе.

— Вам никогда не мерещится чушь, поймите. Вы видите только правду.— Она дотронулась до его руки.

— А я в этом не уверен,— сказал Борисов с принужденной улыбкой, но внутри он был полон необъяснимого, беспричинного ликования.

— Вот это и плохо.— Она протянула бокал, и они чокнулись.

Борисов выпил залпом. Таня пригубила, поставила бокал на подоконник и вдруг тем же шепотом стала читать:

Щипцы для орехов сказали соседям —
Блестящим и тонким щипцам для конфет:
«Когда ж, наконец, мы кататься поедем,
Покинув наш тесный и душный буфет?

...

И мы бы могли гарцевать по дороге,
Хоть нам не случалось еще до сих пор.
У нас так отлично устроены ноги,
Что можем мы ездить без седел и шпор».

Музыка с трудом пробивалась сквозь шорохи старых пластинок. Тихо позванивали рюмки. Кто-то смеялся, выкрикивали чье-то имя. Но все это было отдаленным и случайным фоном, на котором она горячим заговорщицким шепотом читала странные и чем-то волнующие стихи:

И вот, нарушая в буфете порядок,
Сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы.
И двух верховых, самых быстрых лошадок
Они через двор провели под уздцы.

Борисов смотрел, как шевелятся полные розовые губы и мерцают глаза.

И вот по дороге спокойно и смело,
Со щелканьем четким промчались верхом
Щипцы для орехов на лошади белой,
Щипцы для конфет на коне вороном.
Промчались по улице в облаке пыли,
Потом через площадь, потом — через сад...
И только одно по пути говорили:
«Прощайте! Мы вряд ли вернемся назад!»
И долго еще отдаленное эхо
До нас доносило последний привет
Веселых и звонких щипцов для орехов,
Блестящих и тонких щипцов для конфет *.

Таня умолкла, взяла свой бокал из синего стекла, снова пригубила. Борисов молчал, волнение наполняло его — веселое, молодое волнение от предвкушения жизни, которая еще вся впереди, с подвигами, постижениями, с будущими любовями и борьбой.

— Спасибо вам, Таня,— сказал он, взял ее руку и поцеловал.

— Ой, спасите! Опять этот Шувалов идет сюда. Пошли танцевать.— Она повлекла Борисова к середине комнаты.

И снова ее горячий шепот обжег ему щеку:

— Валя, милый, давайте сбежим отсюда. Тихонько, незаметно сбежим. Никто не хватится нас. Валя, милый.

Теперь Борисов был уверен, что этот шепот не мерещится ему.

— Щипцы для орехов, щипцы для конфет покинут свой тесный, постылый буфет,— сказал он, улыбаясь.

И шагом, крадущимся и неверным, они преодолели пространство комнаты, казавшейся огромной, и лица, обращенные к ним, мнились вспышками прожекторов, нащупывающих беглецов.

Когда Таня вышла в коридор, Борисов, взявшись за косяк, оглянулся. Все были увлечены разговором. И только два глаза, внимательно-удивленные и чуть насмешливые, на мгновение сосредоточились на лице Борисова и сразу же скрылись под темными, тяжелыми веками, и лицо Шувалова, лицо с крупными, четко проработанными чертами, повернулось к Борисову в профиль и застыло с закрытыми глазами, напоминая античную гемму.

---

* Эдвард Лир. Прогулка верхом. Перевод С. Маршака.

Борисов откинул портьеру и нырнул в сумрачный коридор. И в последний момент почувствовал тот же внимательный, удивленный и чуть насмешливый взгляд Шувалова.

Таня была уже у выходной двери, и Борисов устремился за ней с бьющимся сердцем. Когда он вышел на площадку, Таня уже спустилась на один марш. И в том, что она спускалась, не дожидаясь его, Борисов почувствовал какую-то неловкость: может быть, она жалела о том, что уходит? Борисов не спешил, стараясь сохранить это расстояние в один лестничный марш.

Пахло помоями от пищевых бачков, стены площадок были исцарапаны детскими каракулями, и ступени казались неимоверно крутыми, так что холодок детского забытого испуга вдруг засквозил в груди,— так бывало когда-то при взгляде в пролет с последнего этажа. И не проходила неловкость от насмешливого взгляда Шувалова...

4

Был чей-то юбилейный вечер, и в зале с декором пышного барокко, где свет огромной люстры отражался в золоченых капителях колонн и лепнине — институт занимал старинный особняк екатерининского вельможи,— Борисов впервые наткнулся на этот взгляд.

Он всего полгода работал тогда в институте, почти никого не знал, кроме тех, с кем вместе учился.

И вот, через ряды белых эмалевых кресел, обитых гобеленом, на него смотрел человек с крупными, четко проработанными чертами лица, под светом люстры казавшегося бронзовым. Борисову стало неуютно под этим внимательно-удивленным, чуть насмешливым взглядом, но он не отвернулся, пока глаза не скрылись под тяжелыми, темными веками; и все время, пока шла торжественная часть, пока старые и молодые ученые произносили юбилейные речи, Борисова не покидало чувство неудобства от этого взгляда.

Еще не угасли аплодисменты, а Борисов уже поднялся, боком, стараясь не задевать коленей сидящих, пробрался через неширокий проход и вышел в фойе, тоже пышно декорированное, с высокими дверями наборного дерева и фисташковым кессонированным потолком. Он остановился у медной урны на львиных когтистых лапах и закурил.

Поток хорошо одетых людей с тихим, приличным гомоном поплыл через фойе к дверям буфета. Борисов смотрел, как медленно движутся черные костюмы, академические шелковые ермолки, цветные джерси, узкие интеллигентные бородки и элегантные прически женщин.

Борисов смотрел на медленный людской поток и курил, пока его не окликнул Грачев:

— Валя, пойдем выпьем кофе. Там наши заняли столик.

Борисов бросил окурок в сияющее, начищенное дно урны, и они с Грачевым влились в поток людей.

Буфет помещался в бывшей столовой особняка с большим очагом, облицованным мясным агатом, с перекрещенными балками потолка из черного дуба, с которых на толстых черных цепях свисали массивные плошки темной меди. В плошки вместо свечей теперь были вделаны люминесцентные лампы, и холодный магниевый свет высвечивал натюрморты по стенам, бледнил лица людей, придавал им зеленоватый оттенок.

Столик прятался за огромным черным роялем. Кира и Вера хозяйничали, расставляя чашки. Мара тихо наигрывала что-то. Борисов прислушался, узнал мелодию из «Шербурских зонтиков». Звучал смех, позванивала посуда.

Борисов сел к столу, и его охватило теплое чувство от этой тихой музыки, негромкого смеха, красивых женских лиц. Маленькие смуглые руки Мары порхали по желтоватым клавишам старого рояля, так и тянуло покачиваться в такт медленной мелодии. Впервые Борисов почувствовал себя не чужим среди этих людей в старинной столовой.

— Тебе сахару два или три куска? — спросила Вера, пододвигая ему чашку, и это довершило ощущение уюта и общности.

— Два, Верочка.

Борисов медленно помешивал крепкий, душистый кофе и отдавался этому чувству теплоты и общности.

В щель между шторами была видна заснеженная набережная и огни на Дворцовом мосту. От бронзовой решетки, огораживающей радиаторы отопления, волнами шло легкое тепло.

Борисову захотелось говорить, чтобы эти люди слушали его, говорить им что-то веселое и дружественное, чтобы они испытали то же чувство, что испытал он.

— Ай-я-яй, кофе без коньяка! Непорядок, Сергей Васильевич, это необходимо исправить. Распорядитесь, как глава сектора, чтобы дамы пили коньяк.— Голос был богат оттенками, хорошо поставлен, в нем чувствовалась артистическая дикция.

Борисов поднял голову и увидел лицо с крупными, четко проработанными чертами. Глаза были полуприкрыты темными, тяжелыми веками, сухие, твердые губы не разжимались, хотя это бронзовое лицо улыбалось.

— Давайте, Гриша, присаживайтесь. Вы со всеми знакомы? — спросил Грачев.

— Нет, вот с вами мы, кажется, встречались, но...— Он поклонился.

— Это Валя Борисов, наш младший научный сотрудник,— сказал Грачев.— А это Гриша Шувалов — наш новый менеэс. Садитесь.

Шувалов снова наклонил голову, движением фокусника вынул из-за спины пузатую бутылку коньяка со сфинксом на этикетке и поставил посередине стола.

Он сел рядом с Борисовым и, глядя на него своим удивленно-пристальным взглядом, сказал тихо:

— А я вас сразу узнал, вы ведь кроссмен.

— Бывший,— ответил Борисов.

— Да, да. Я помню. Когда-то тоже увлекался. Мотоцикл был свой, но пойти в секцию не решился.— Он ловко распечатал бутылку и стал наливать женщинам.

— Не жалейте, что кости целы,— сказал Борисов; парень этот начинал ему нравиться.

— Мне очень приятно, что мы встретились здесь. Признаться, я не думал, что спортсмен такого класса может быть кем-нибудь еще.— Шувалов подвинул ему рюмку.

— Ну, за исполнение желаний,— сказала Кира, подняв рюмку.

— Может, и мы доживем до семидесятипятилетних юбилеев? — тихо спросил Шувалов.

— Закалка не та и темперамент, но нужно постараться, конечно,— улыбнулся Борисов.

— А вы думаете, во времена, ну, скажем, Смирнова не было этого пресловутого стресса и всяких других неудобных вещей? — доверительно спросил Шувалов.

— Не знаю. Но, кажется, у них запас жизнелюбия был побольше,— ответил Борисов.

— Знаете, Валя, мне случалось видеть многих старых ученых. У них тоже все было не без трудностей, но,

характерная черта, они верили в свою удачу, потому что верили в изначальную рациональность мироустройства. Наивно, конечно, но, знаете, как иногда бывает в медицине, народное средство вернее, чем современный препарат.

Шувалов сделал маленький глоток коньяка, отпил кофе.

Борисов достал сигареты, предложил ему.

— Спасибо, не курю.

— Завидую.— Борисов затянулся, выпустил дым.— Старики верили в удачу, потому что верили в себя.

— А как же, конечно. Знаете, ни в коем случае нельзя думать про себя, что ты неудачник,— хоть в малой степени,— только наоборот. Такие мысли излучают какие-то флюиды, и окружающие моментально это чувствуют. А люди всегда инстинктивно сторонятся неудачников.— Лицо Шувалова было оживленным, но глаза смотрели пристально, испытующе.

«Как про меня, будто он внутрь заглянул»,— подумал Борисов и вслух сказал:

— Но есть же, предположим, такие люди, которые не делят так события, а просто воспринимают жизнь как единый процесс.

— Да, но это объективно ничего не меняет. У победы много родственников, поражение всегда — сирота.

— Гриша, расскажите лучше о дипломатической службе. Наверное, это интересно,— сказал Грачев.

— Я всего лишь переводчик. Дипломат — это, знаете, мышление какими-то иными категориями. А в основном все по протоколу. Бывают иногда забавные случаи, но это исключения... Извините, я на минутку.— Он быстро встал и направился через зал к кому-то в ермолке.

— Что это за парень? — спросил Борисов Грачева.

— Сын Гавриила Шувалова, внук Григория. Пять поколений историков-востоковедов за этим пареньком,— странно усмехнулся Грачев.— Его реферат предложили сунуть в план как будущую работу.

— А я как раз хотел его спросить, не из тех ли он Шуваловых,— улыбаясь сказал Борисов.

Великолепные манеры. Сразу видно, что дипломат,— медленно, чуть мечтательно произнесла Вера.

— Он, по-моему, стесняется немного здесь,— сказал Борисов.— Сразу ударился в какие-то мудрствования.

— Не думаю, ничего он не стесняется. Он сюда

ходил к отцу и деду еще в коротких штанах и знает всех и вся.

Борисов посмотрел в ту сторону, куда отошел Шувалов. Тот что-то говорил, подкрепляя слова свободными, красивыми жестами рук, лицо с крупными чертами казалось бронзовым. Ермолка радостно смеялась и кивала в ответ.

— Дед у него действительно был корифеем,— тихо, будто про себя, сказал Грачев.

Борисов все смотрел на это бронзовое лицо с четким профилем, на поджарую, стройную фигуру и думал: «Хорош парень, никакого надрыва в нем нет. Из него бы и гонщик вышел первоклассный».

Шувалов понравился всем. Через месяц он стал популярной личностью в институте. Особенно среди женщин, которых покорил прекрасными манерами и галантностью. И Борисову он нравился все больше и больше. Восхищала открытая жизнерадостная напористость Шувалова. Борисов удивлялся его непринужденности. Шувалов где-нибудь в гостиной Дома ученых мог подойти к убеленному сединой членкору, представиться по всем правилам хорошего тона и тут же попросить, чтобы почтенный ученый прочел какую-нибудь часть его работы и сообщил свои замечания. И Шувалову не отказывали. Конечно, тут имело значение то, что многие когда-то были знакомы с отцом и дедом Шувалова, но и личное обаяние Гриши играло немаловажную роль. Он толково и с непременным артистическим блеском выступал на секторских и расширенных обсуждениях, и в институте о нем составилось мнение как об умном, эрудированном оппоненте. Его почти сразу же стали приглашать на встречи с иностранными учеными, посещавшими институт. И это всеми было воспринято как закономерность: Шувалов свободно говорил по-английски, был знаком с дипломатическими тонкостями, молод, симпатичен, а кроме того, как бы представлял славную династию историков-востоковедов, хорошо известную в научном мире. Не прошло и полугода, как Шувалов стал членом всяческих общественных комиссий, выступал перед студентами в университетском научном обществе с лекциями о современном Иране, который знал по личным впечатлениям.

Успех сопутствовал этому парню везде. И Борисову доставляло удовольствие наблюдать за Гришей, находиться с ним в одной компании. Ему казалось, что он

тоже становится напористым, удачливым, упоенным жизнью и молодым, как Шувалов. Даже некоторые модные увлечения Гриши не вызывали у Борисова раздражения, воспринимались как милое мальчишество.

Многие пожилые ученые держали собак. Существовало мнение, что собака, с ее потребностью в регулярных прогулках, помогает сохранить здоровье; прогуливая собаку, хозяин волей-неволей сам дышит свежим воздухом и разминает спину, закостеневшую от постоянного сидения за столом.

Гриша Шувалов тоже завел себе симпатичного маленького терьера с лохматой угольно-черной шерстью и веселым нравом. И теперь в буфете, в гостиных Дома ученых можно было слышать, как Гриша рекомендовал, разговаривая с почтенными стариками, собачьих парикмахеров, докторов, рассуждал о методах воспитания щенков.

Гриша не курил, но среди маститых ученых многие курили трубки, и он тоже завел себе прямую, строгую трубку, говорящую о некоторой солидной консервативности вкусов владельца. К крупным, чеканным чертам лица его очень шла эта темная трубка. Он держал ее во рту пустой, и в разговоре открывались крупные, хорошие зубы.

Борисов не простил бы другому такого снобизма, но Гриша не выглядел смешным или глупым, наоборот, смотреть на него было приятно. Приятно было видеть, как он рад своей собачке и трубке, какое искреннее и в то же время пристойное удовольствие доставляет ему это следование моде.

— Человек на своем месте. Он подготовлен к этой жизни с детства всем воспитанием, психикой. Если хочешь, генетически подготовлен,— сказал как-то Грачев.

— Скажи, а работа будет интересной? — спросил Борисов. Он не читал то, что писал Шувалов; как-то стеснялся попросить.

— Прекрасное знание материала и очень высокая культура изложения. Понимаешь, я, в отличие от тебя, не максималист. Ты считаешь, что нужно обязательно новое слово.

— Да брось ты,— запротестовал смущенно Борисов.

Они с Сергеем по обыкновению сидели за шахматами вечером.

— Да знаю же я, что ты так думаешь. Но это новое

слово — редко, и его подготавливают работы, которые как-то суммируют материал, отсекают балластную информацию.— Грачев усмехнулся грустно.— Это, понимаешь, как бы удобрение почвы. Потом на этом перегное вырастет новое слово. Его, конечно, скажет человек талантливый, но никакой талант не сможет ничего без этих вот наших работок. А в принципе мы занимаемся, конечно, пересказом прочитанных книг.

Старая бронзовая лампа давала уютный свет. Приятно ощущалась в руке тяжесть залитой свинцом шахматной фигуры, а Борисову стало тоскливо тогда. Он подумал, что сказанное Грачевым больше всего относится к нему. И если Сергей сказал «мы», то это только от строгости к себе.

— У тебя кладбищенский оптимизм,— заметил Борисов.

— Да все нормально, Валя. Поверь. И никого не надо хоронить. Тот же Гриша Шувалов — способный же парень — когда-нибудь может так взвиться. Ну, это первая его работа. Будет вторая, пятая, десятая,— все это количественное накопление, а потом вдруг — качественный скачок. Так вот, дорогой,— Грачев поправил фигуру на доске,— давай-ка ходи. Сейчас я тебя ущучу.

Борисов небрежным движением сделал ход, закурил и сказал улыбаясь:

— Качественный скачок, как ты говоришь, произойдет, если хватит времени после количественного накопления.

— А как же, конечно, нужно время. Вот почему все зубры,— он показал рукой на корешки книг,— жили долго. А потом в нашем деле нужны не только способности и знания, а еще и жизненный опыт. Если ни черта не понимаешь в людях, то где уж понять все другое.

— Ну ладно,— согласился Борисов.— А все-таки интересно, что выдаст Гриша Шувалов.

Не только Борисов, все сотрудники института с интересом ждали защиты Шувалова.

И то ли так велик был интерес к работе, то ли сработала шуваловская удачливость, но защита состоялась раньше срока. Заболел чей-то руководитель, кто-то задержался, а Гришина работа была готова, были и публикации. Казалось, даже случайные обстоятельства оборачивались на пользу этому человеку. И Борисов искренне радовался за него, хотя некоторое время спустя понял, что случайность здесь была внешней,— по крайней мере,

случай был выверен и хорошо направлен. И то, что раньше в поступках Гриши Шувалова выглядело милым мальчишеством — все эти разговоры с маститыми стариками о собачках и трубках, увлечение покером, подношения старых фотографий, на которых Шувалов-дед или Шувалов-отец на каком-нибудь давнем конгрессе сидели рядом с молодым тогда ученым, нынешним членкором,— показалось целенаправленным.

Борисов любил думать о людях, доискиваться до скрытых причин их поступков. Это стало привычкой с тех пор, как он впервые задумался о собственной жизни. Он всегда примерял на себя поступки людей. Это помогало понять себя, это иногда открывало людей в новом свете.

Перед защитой Шувалова Борисов вскользь сказал Грачеву:

— А знаешь, в этой, в общем-то приятной, светскости, по-моему, есть четкая руководящая идея.

Грачев задумчиво улыбнулся, потом пристально посмотрел на Борисова:

— Засек, Валя. Я тоже об этом думал, но одергивал себя. Казалось, что завидую этой фееричности. Мне ведь пришлось не так легко, как Грише.

— При чем здесь зависть? Меня это интересует чисто феноменологически,— сказал Борисов и, почувствовав легкую досаду от слов друга, подумал: «А может, все-таки зависть, только Серега честнее?»

— Черт его знает, я не верю в осмысленный расчет,— медленно, словно размышляя вслух, сказал Грачев.— Скорее, это неосознанная ориентация. Ну вот как перелетные птицы. Они же не знают навигации, но всегда находят дорогу. Словом, это первая сигнальная, чувственный, неосознанный расчет.

— Ну да,— усмехнулся Борисов,— чувственный расчет. Такое бывает с хорошенькими девушками на выданье. Если перед ней дилемма: полюбить бедного и красивого или некрасивого, но богатого, то она обязательно полюбит богатого; подчеркиваю: полюбит, и самым искренним образом. Это такой уж неосознанный, чувственный расчет.

Грачев рассмеялся:

— Ну, Валя, тебе бы психологией следовало заниматься. Ты бы выродил что-нибудь вроде юнговых архетипов. Но, пожалуй, ты прав,— механизм там такой. Это запрограммированность личности на успех. Отсюда

и направленность даже самых инстинктивных поступков. Это и есть руководящая идея.

— Что-то мне не мило это. Жаль,— сказал Борисов.

— Ничего, все нормально. Я считаю, что это от торопливости, потом пройдет.

Защита Шувалова собрала много народу.

Борисов прочел работу накануне. Его прежде всего поразил литературный блеск. Изложено было свободно, с тонким, уместным остроумием, с привлечением мифологических примеров и латинских изречений, говоривших о большой культуре автора. И по содержанию работа выглядела внушительно: Шувалов давал обзор внешнеполитических актов за последнюю четверть века, находил аналогии с политикой других стран и периодов.

Борисов незаметно увлекся и читал эту работу как художественное произведение. Ему доставляло удовольствие подмечать необычную, чуть пижонскую стилистику, намеренное щегольство архаичными оборотами, которые вдруг выглядели свежо и привлекали внимание читателя. Был какой-то странный ритм в плавных, отделанных фразах. Работа читалась легко, автор словно чувствовал, где нужен абзац, чтобы читатель успел сделать вдох. Это выглядело, как виртуозная вокальная партия, где после трудных пассажей исполнителю дается необходимая пауза.

Борисов кончил чтение поздно вечером. Еще долго сидел за столом, возвращаясь к отдельным местам работы, и вдруг с удивлением понял, что это скорее популярная книжка, чем серьезный труд. Работа действовала лишь на чувства своими словесными фигурами, она привлекала изложением малоизвестных восточных мифов, звоном классической латыни.

Но с кафедры актового зала института все это выглядело более привлекательно.

Хорошо поставленный, богатый оттенками голос Шувалова, усиленный превосходной акустикой старинного зала, держал всех в странном напряжении. Не было слышно ни шепота, ни покашливания, обычно сопутствовавших скучным защитам.

Борисов даже позабыл о своем вчерашнем ощущении, захваченный шуваловским артистизмом.

Защита прошла триумфально. И после все завертелось с удвоенной скоростью... В течение двух лет вышли в разных издательствах популярные книжки Шувалова: «Заря цивилизации в Средней Азии», «Воинский доспех

с древнейших времен до средневековья». В институте об этих книжках Шувалов умалчивал.

Борисов набрел на одну из них случайно в станционном киоске, когда ездил на дачу. Знакомая фамилия на обложке привлекла его, и он купил мягкую книжку-брошюру молодежного издательства. Книжка называлась забавно: «Легендарный Вавилон». Борисов прочел ее за несколько часов, усмехаясь серьезности рассуждений автора о «корыстолюбии, алчности, расчетливом эгоизме и жестокости» древних вавилонян. Изложенные в современных понятиях черты бытовой жизни Вавилона казались юмористическими. С видимым удовольствием автор писал о неверности вавилонских жен и упадке нравственности, о «вавилонской секретной службе» и «сыщиках». Но изложено это было увлекательно, автор рассуждал, нигде не нарушая формальной логики, с каким-то озорством выдвигая абсурдные гипотезы о столпотворении и придавая им наукообразность.

Читать было занятно и весело.

«Не мог Гришка этого написать,— подумал Борисов,— слишком легковесно все... А уж что ему несвойственно, так это глупости».

Он посмотрел выходные данные в конце книги. Имя и отчество совпадали; кроме того, еще стояло: «кандидат исторических наук».

Борисов поинтересовался в библиотеке, нет ли еще книг, написанных Шуваловым. Тогда и выплыли эти книги о заре цивилизации и воинском доспехе. Они упрощенно, но занимательно пересказывали работы специалистов и, пожалуй, были нужны и полезны, потому что знакомили читателя с малоизвестными вещами. Но Борисова удивило, что одна из книг имела гриф: «По рекомендации ученого совета института».

Борисов показал книжки Грачеву.

— Да, интересно,— задумчиво протянул Сергей, листая толстенькие брошюры с пестрыми обложками.

— Ты тоже не знал? — с удивлением спросил Борисов.

— А откуда я мог знать? — раздраженно ответил Грачев.

— Ну, я думал, ученый совет принимает решение... как-то там голосуют за рекомендацию,— осторожно, боясь обидеть Сергея, проговорил Борисов.

— Да ну, будет совет заниматься этой дребеденью. Наверное, он показал рукопись двум каким-нибудь ста-

рикам, папиным бывшим приятелям, те и написали отзыв, может быть и очень хвалебный,— люди-то увлекающиеся, а это, насколько я понимаю, написано не без блеска. Ну а что еще надо молодежному издательству, когда отзыв подписан двумя членами совета с именами.

— Но смотри, у нас он помалкивает об этих книжках,— сказал Борисов.

— Ну так эти книжки не сюда направлены. Нужна какая-то известность за пределами института,— усмехнулся Грачев.

— Зачем? Я не думаю, что ради этого. Скорее всего, хотел подзаработать,— задумчиво сказал Борисов.

— Валя, ты совершаешь свою всегдашнюю ошибку,— печально и тихо сказал Грачев.— Я давно заметил, что ты исходишь из того, что приписываешь людям свои качества. Вот нет у тебя честолюбия, ты и о других думаешь так же.

— Что я, младенец, что ли? — смущенно сказал Борисов.— И потом, весьма сомнительная честь быть автором этих книжечек.

— Вот опять ты судишь со своей колокольни.— Сергей опустил голову, замолчал надолго.

Борисов смотрел на его затененное лицо и поблескивающие в свете лампы легкие светлые волосы и молчал.

В последние месяцы они почти все вечера проводили вместе, сражались в шахматы в уютной комнате Сергея или просто разговаривали. Для Борисова уже стало необходимостью такое общение, оно будило мысль, избавляло от одиночества. Но что-то слишком часто они говорили о Грише Шувалове. Почему-то поступки этого человека вызывали странный интерес у них обоих. Борисову иногда казалось, что он смотрит захватывающий спектакль, в котором Гриша Шувалов играет главную роль. И казалось, как в хорошем спектакле, уже что-то завязалось, уже сплелись причудливо и неповторимо обстоятельства, направляя действие к еще неясному и волнующему своей неясностью финалу.

— Валя, ты судишь со своей колокольни,— повторил Сергей.

— Да нет,— отмахнулся Борисов.— Понятно, что за всей этой деятельностью маячит какая-то цель. Но какая?

— И опять ты не прав. Нет конкретной цели,— твердо сказал Сергей.

— Что же тогда?

— Чего можно ждать от человека необыкновенного или считающего себя таковым? — ответил вопросом Грачев.

— Откуда я знаю,— растерянно сказал Борисов.

— Ты же спортсмен. Что может желать спортсмен? — Грачев поднял голову, с улыбкой взглянул на Борисова.

Борисов молчал, ему был непонятен ход мысли Сергея.

— Восхождения,— с нажимом сказал Грачев.— Тут чисто спортивное отношение к жизни. Гриша и сам не знает, чего он хочет конкретно, но хочет он самого лучшего, самого высшего достижения. А в чем — пока ему неизвестно, да и неважно. Он интуитивно стремится вверх. Это — стремление лидировать в гонке, какой он ощущает жизнь. А вершину, финиш первым увидит тот, кто впереди.

— Да, возможно, ты прав,— задумчиво ответил Борисов.

С тех пор и появился у Борисова пристальный интерес к Шувалову. Иногда его восхищала кипучая энергия и шуваловская удачливость, иногда раздражала и смешила откровенная тяга Гриши к «нужным людям». Где-нибудь в гостиной Дома ученых Гриша мог на полуслове оборвать беседу и устремиться к только что вошедшему академику, чтобы десятком приятных слов «закрепить знакомство». Это делалось с неизменно изящными манерами, так непринужденно, что не очень уж бросалось в глаза окружающим, но Борисов все замечал, и ему становилось почему-то грустно.

Они были довольно близки. Борисов бывал у Шувалова дома, в старой профессорской квартире на набережной Невы.

В анфиладе из четырех комнат высились массивные шкафы красного дерева, заполненные книгами, мерцающими тиснением корешков сквозь зеркальные стекла створок. В кабинете стояло огромное старинное бюро с чеканной накладной бронзой, за которым взросло и состарилось несколько поколений ученых. По стенам висели портреты белобородых, почтенных старцев в шелковых академических ермолках. Чеканные черты лиц сразу выдавали их родство с Шуваловым.

Гриша естественно вписывался в эту обстановку. Она была для него тем же, чем были для портретов его ученых предков полированные рамы из грушевого дерева.

Гриша был веселым и радушным хозяином, но с некоторых пор Борисов стал сторониться его. Что-то внутри сопротивлялось дружескому общению с Шуваловым. Борисову хотелось лишь наблюдать за этим человеком со стороны. Впрочем, Шувалов и не замечал этого охлаждения Борисова. Гриша всегда был занят многочисленными совещаниями, конгрессами, лекциями, приемами гостей, поддержанием знакомств — всей этой суетливой, утомительной деятельностью, необходимой, чтобы быть на виду. Он даже выступал на телевидении в программе «Для вас, любознательные».

Борисова поражали иногда бодрость и энергия Шувалова, неистощимый заряд его остроумия, неуемная потребность нравиться всем. Но все чаще, наблюдая за ним на людях, Борисов ощущал горечь и чувство неловкости.

В последнее время их отношения с Шуваловым неуловимо изменились. Осталась внешняя приятельская короткость, подтрунивание друг над другом, но с некоторых пор Борисов замечал на себе быстрый, настороженный взгляд Шувалова. Казалось, Гришу беспокоило слишком пристальное внимание Борисова.

5

Спускаясь по темноватой, запущенной лестнице, Борисов чувствовал на лопатках влажность рубашки — будто внимательно-настороженный и удивленный взгляд Шувалова прилип к спине. И это заставляло его сдерживать шаг, чтобы сохранить расстояние в один лестничный марш между собой и Таней.

Так и вышли они порознь в сквер перед фасадом.

Ветер нагнал облака, и от этого белая ночь была сумрачной и сизой.

Только на тротуаре, уже миновав дом, они поравнялись. Борисов ощущал неловкость и старался не смотреть ей в лицо. Она шла, задумчиво глядя перед собой, и стук ее каблуков четко раздавался на пустой улице.

Странное чувство недоумения охватило Борисова, будто он позабыл все, что было перед этим; он не знал, зачем очутился на пустой улице рядом с этой женщиной.

«Я, кажется, сильно пьян»,— подумал Борисов, тоскливо и устало вздохнув.

Вдруг она крепко взяла его под руку, прижалась к нему.

— Вы жалеете, что ушли? — шепотом спросила она.

— О чем же жалеть,— тоже шепотом ответил Борисов.

— Вам нужно было уйти,— она возвысила голос,— ведь так невозможно. Невозможно, милый вы человек, быть таким незащищенным. Люди не должны видеть, что у вас под кожей, а кожи нет.

Борисов подумал о том, как они с Грачевым остались бы вдвоем после всех, молча сидели бы за столиком под светом старой лампы и допили бы остатки вина. И потом это молчание обернулось бы болезненным одиночеством на улице, и было бы до слез неохота уезжать с Петроградской стороны. И ему было бы жаль, что Серега не сказал какого-то слова, теплого слова, может быть даже горького, но такого нужного им обоим. Борисов давно, с какой-то детской верой в чудо ждал этого слова, верил, что оно принесет облегчение, что-то развяжет в них обоих. И не будет у Сергея больше этой печальной усмешки. А он, Борисов, почувствует желанное облегчение, как деревья, сбрасывающие листву по осени, облегченно завершают годовой круг своей жизни.

— Нужно же, чтобы кто-то был рядом. Одному тоже нельзя,— ответил Борисов Тане.

Она сильнее прижалась к нему.

— Но что, что общего у вас с этим Гришей Шуваловым?

— Не знаю. Но порой я завидую его легкости, его вкусу к жизни, что ли.— Борисов помолчал и добавил: — Мне кажется, что жизнь хрупает у него на зубах, как морковка. Вы любили в детстве грызть морковку? — спросил он с усмешкой.

— Боже мой! Мы все любили что-нибудь в детстве. Мы и теперь любим детство. Но жизнь не морковка, которую можно схрумкать. Он как-то омерзительно, непристойно счастлив, этот ваш Шувалов! — Она почти выкрикнула это, и в голосе слышались слезы.

— Разве плохо быть счастливым?

— Плохо, если это такое счастье. Это хрумкающее счастье не оставляет после себя ничего, кроме экскрементов. Тьфу...— Она поморщилась и вдруг громко, отчетливо всхлипнула.

— Таня,— остановился Борисов,— что с вами?

Он взглянул ей в лицо, увидел слезы и отвернулся. Ему стало так горько отчего-то, что он испугался себя. Испугался, что сейчас сам разревется, как ребенок, на этой ночной улице.

А Таня спрашивала требовательно и моляще:

— Ну кому, хоть одной душе, стало теплее от такого счастья?

— Ему тепло, он счастлив. Разве этого мало? Надоели несчастные,— сказал Борисов. А внутри что-то отозвалось такой ноющей болью, что он остановился и закрыл глаза.

Таня погладила его по ссутулившейся спине.

— Валя, голубчик, плохо, да? Пройдет сейчас.

Борисов открыл глаза и сказал, выпрямившись, твердым голосом:

— Прошло. Я, кажется, перепил. Домой нужно. В Купчино.

— Ну куда же в Купчино в таком состоянии. Вы не доберетесь. Трудно сейчас такси ловить.— Она все гладила Борисова по спине и заглядывала в лицо с материнской озабоченностью.— Пойдемте ко мне, голубчик. Я сварю вам кофе покрепче; вы немного отойдете, и по телефону вызовем такси.— Таня снова взяла его под руку и повела по Большому проспекту.

Дул ветер с Малой Невы и гнал облака.

Уже прошла боль внутри, и вместо нее осталась звенящая, тревожная пустота. Борисов подставил лицо ветру, прищурил заслезившиеся глаза. Пустота внутри была холодной и звонкой...

...Всадник повернул к воротам, и узкий, похожий на дынный ломоть месяц остался за спиной. Бесшумно раскрылись ворота дасткарта, пропуская его. Анастасий Спонтэсцил спешился; чья-то услужливая рука подхватила повод, и, твердо стуча сапогами по каменистому двору, он пошел вслед за согнувшимся, семенящим черным рабом.

Пламя факела в руке раба металось от легкого ветра и воняло земляным маслом, выхватывало из темноты неясные фигуры людей в арках, перекладину на каменных столбах, на которой, окаменев, спали огромные ловчие орлы. Пахло конским потом, пригорелым мясом и сырой ременной сбруей — военным лагерем.

Черный раб ввел его в длинный покой.

Анастасий Спонтэсцил широким шагом пошел впереди к освещенному возвышению с кожаными красными подушками. Ноги утопали в коврах. В боковых нишах по блеску глаз угадывались фигуры рабов. В медных плошках по стенам горели фитили.

Навстречу Анастасию поднялся с возвышения младший Бавендид Азад.

Персидский спахбед был одет по последней моде в облегавшую тело легкую тунику с длинными рукавами и вырезом у ворота, но на ногах были не тяжелые ромейские сапоги, а мягкие гуннские кожаные чулки.

Широкий в плечах, тонкий в талии, младший Бавендид кошачьим неслышным шагом шел по коврам навстречу Спонтэсцилу.

Они остановились в нескольких шагах друг от друга — на «расстоянии уважения».

— Приветствую тебя в Ктезифоне, воин и поэт Анастасий. Спокоен ли был твой путь? — спросил Азад, но звонкие греческие слова выходили у него с рыком, похожим на охотничью песнь барса.

Анастасий Спонтэсцил пристально вгляделся в смуглое лицо Бавендида Азада; насмешка почудилась ему в вопросе спахбеда.

Небольшая курчавая бородка обрамляла квадратный подбородок, делая его шире, черные усы выделяли ярко-красные твердые губы; по обе стороны крупного, хищного носа в глубоких глазницах мерцали маленькие темные глаза, и сросшиеся брови нависали над ними...

Нет, персидский военачальник не думал смеяться.

— Благодарю тебя, славный Азад,— по-персидски, как того требовала вежливость, ответил Спонтэсцил.— Дорога к другу кажется вдвое короче.

Бавендид Азад отступил в сторону, жестом пригласил Анастасия на возвышение. Анастасий склонил голову в знак благодарности, расстегнул фибулу — золоченую застежку плаща, и руки раба услужливо приняли тяжелый от пыли плащ молодого ромейского воина. Анастасий опустился на край возвышения, и раб снял с него поножи, ловко стащил сапоги и надел мягкие гуннские чулки.

Они сели друг против друга на подушках, подогнув ноги.

После целого дня, проведенного в седле, Анастасию хотелось лечь навзничь, вытянуть ноющие ноги, распрямить спину, но нужно было соблюсти этикет. Персы, как все варвары, очень строги в этом деле.

Азад чуть повернул голову, посмотрел в проем, завешенный ковром, и сразу появился раб со скатертью и чашами, за ним другой с узкогорлым кувшином вина и блюдом с фруктами, лепешками и сластями.

Анастасий не удержался от судорожного пустого глотка. Но нужно было не спешить, и не только ради приличий: у персов сначала подают сласти и фрукты, а потом мясо и белую болотную пшеницу, сваренную в жиру с ароматическими кореньями. Ромейский воин отвел глаза от скатерти.

Бавендид наполнил чаши, протянул одну Анастасию.

— Хайом,— коротко рыкнул он.

Анастасий Спонтэсцил взял тяжелую, прочеканенную звериными мордами чашу и залпом выпил прохладное, сластящее и чуть отдающее мускусом вино, и почти сразу у него закружилась голова.

«Варвары не разбавляют вино в отличие от ромеев, а вкус такого вина становится лучше от трети воды»,— подумал Спонтэсцил и потянулся к блюду. Он знал, что горсть глазированного медом миндаля не даст захмелеть.

Когда он поставил чашу на узорчатую скатерть, младший Бавендид спросил:

— Какие вести привез наш ромейский друг? Здоров ли брат царя царей, кейсар Рума Маврикий? — Слова перса звучали вкрадчиво, даже голос был мягким и приглушенным.

Спонтэсцил бросил на него быстрый взгляд исподлобья.

Глаза Бавендида Азада сузились в щелки, на лице, кроме вежливой официальной улыбки, нельзя было прочесть ничего. Но Спонтэсцил знал, что́ хочет услышать персидский спахбед. О распрях синих и зеленых, о набегах аваров и славян, о смуте в армии. И до Эраншахра дошел слух, что непрочен трон императора Маврикия; а царь царей Хосрой только и ждет момента, чтобы вторгнуться в пределы Рума и отнять у ромеев их азиатские города и колонии, как это сделал его дед Ануширван.

Дальновидный арийский спахбед хочет знать все это для того, чтобы вернее интриговать при дворе шаханшаха. Младший Бавендид давно мечтает о возрождении былого могущества и славы своего рода. И сомнения терзают его: верно ли он выбрал союзников, не закатится ли звезда Мириам-ромейки, светлолицей жены царя царей, не ошибся ли он, Азад, не пора ли менять игру?

Все это знал Анастасий Спонтэсцил. Знал, что две жены шаханшаха смертельно враждуют и стараются привлечь на свою сторону побольше знатных персов. Армеянка Ширин и ромейка Мириам незримо стоят за

троном шаханшаха Хосроя, как истинно верующие и еретики стоят по обе стороны святого креста. И еще врач и мудрец Гавриил Шигарский плетет свои интриги, смещает епископов в Эраншахре. Шепчут даже, что царь царей под его влиянием тайно принял христианство. Непрочно положение знатных в Эраншахре, христиане прибирают к рукам важные должности в государстве. И в этой мутной воде пытается выловить свою рыбку Азад, младший Бавендид. Но все это мало интересует его, сына ромейского патрикия Анастасия Спонтэсцила, и он не станет рассказывать Азаду о потасовках прасинов и венетов, о продажных демархах и прочем. Его даже не интересует, что написано в том пергаменте с печатью желтого воска, хотя из-за этого пергамента охотились на него рабы царицы Ширин у самых стен дасткарта. Он, Анастасий Спонтэсцил, взялся доставить этот пергамент, но у него свои цели. За этот пергамент Азад, при посредстве царицы Мириам, представит его эрандиперпату — главе писцов и хранителю библиотеки персидского государства. Анастасий Спонтэсцил хочет не очень много: должность хранителя книг, которую дают придворным поэтам в Эраншахре.

Спонтэсцил снова посмотрел на перса и сказал тихо:

— Здоров автократор Маврикий, а вести — я думаю, хорошие — ты узнаешь отсюда.— Спонтэсцил достал пергамент с печатью и положил его возле чаши Азада.

Младший Бавендид взял сверток, осмотрел печать и молча взглянул в красный от ковров сумрак покоя. И мгновенно перед ним вырос из красного сумрака секретарь-сириец с прямоугольной шкатулкой. Азад положил пергамент в шкатулку, секретарь наложил на застежку комочек воска. И Азад запечатал шкатулку своим перстнем.

— Ты вез это один? — удивленно спросил Бавендид.— Ты смелый воин, Анастасий, но это было неосторожно.

— Неосторожно было бы везти это под охраной. Больше людей — больше хитрости,— усмехнулся Спонтэсцил устало и, вытащив из-за пояса черный кипарисовый крест, кинул его на скатерть.

Арийский спахбед, наклонившись, долго рассматривал крест, но так и не решился дотронуться до него. Подняв голову, он коротко спросил Анастасия:

— Где? Было много?

— Здесь, под стеной, на площадке,— ответил Спонтэсцил.

— У моих владений! — сверкнул глазами Бавендид и выругался сквозь зубы.

— Три лучника в панцирях,— спокойно сказал Спонтэсцил.

— Никто не ушел? — тревожно спросил Азад.

Анастасий отрицательно покачал головой. Бавендид хлопнул в ладоши, и ковровая завеса за ним откинулась. Вбежали, звеня железом, воины в шлемах с металлическими сетками, защищавшими шею, уши и щеки. В кожаных тисненых колчанах у воинов были длинные тамарисковые стрелы и по два легких кавалерийских лука; сине-черные кольчуги ниспадали до колен; на поясах висели прямые персидские мечи.

Бавендид коротко отдал приказ. Воины стояли неподвижно, как изваяния, и Спонтэсцил любовался кольчугами. Богат был младший Бавендид, если мог так одевать своих воинов. Анастасий знал цену этим кольчугам из дальней страны Зирихгеран; в той стране не был никто из ромеев. Зирихгеран — страна панцироделателей — находится где-то в горах, у Албанских ворот, где дед нынешнего царя царей Ануширован построил крепость и город и дал им название Дер-бенд. Только армянские купцы проникают в страну панцироделателей и привозят оттуда эти синие кольчуги, которые не ржавеют, даже если пролежат много лет в земле. Не всякий может пробить эту кольчугу, потому что кольца ее оставляют на мече глубокие зазубрины. И еще привозят купцы из Зирихгерана большие кинжалы узорчатого железа, отливающие поздним закатом. Замечательной остротой славятся эти кинжалы; с одного маха можно разрубить таким клинком подброшенный в воздух платок самого тонкого шелка. В Руме за такой кинжал дают двух молодых и обученных ремеслу рабов.

Позванивая оружием, воины вышли.

Рабы внесли горячее ароматное мясо с белой болотной пшеницей.

Бавендид снова наполнил чаши. И Анастасий, не дожидаясь приглашения, стал есть.

Неслышно, как тень, появился старый перс с обвислыми красными усами. Перс был в черном глухом иудейском плаще. Он что-то тихо сказал Бавендиду и скрылся за ковровой завесой. Бавендид удовлетво-

ренно кивнул, потом с жесткой усмешкой спросил Анастасия:

— Ты знаешь, чьи это были рабы?

Спонтэсцил молча кивнул и продолжал есть.

— Их трупы найдут на рассвете в Павлиньем саду,— с той же усмешкой сказал Азад.

Анастасий недоуменно посмотрел на него.

— Это сад гарема,— пояснил Бавендид.

— Меня это не интересует,— сказал Спонтэсцил. Он уже утолил голод и медленно потягивал прохладное сластящее вино.

— Я устрою для тебя охоту, Анастасий. Сейчас много кабанов жирует в речных камышах. Надеюсь, ты будешь моим гостем несколько дней, прежде чем отправишься к себе в Ромею? — прорычал весело Азад. Вино, видимо, подействовало и на перса, и он, наклонившись поближе к Спонтэсцилу, зашептал, поблескивая маленькими веселыми глазами:

— У нас умеют ценить храбрых воинов, Анастасий, и долго помнят добро, и зло помнят тоже долго. Я думаю, славный ромей, что награда будет достойна тебя.— Бавендид помолчал, потом спросил вкрадчиво: — Правда, что ты — родственник нашей светлолицей царицы Мириам? — Спахбед, наклонившись вперед, с интересом ждал ответа.

Спонтэсцил допил вино, поставил чашу на узорчатую скатерть и, с улыбкой взглянув на перса, ответил:

— Да, правда.

— О, ты уедешь в Ромею с богатыми подарками.

— Нет, Азад. Не нужно подарков. И я не уеду в Ромею,— спокойно сказал Спонтэсцил.

Бавендид-младший удивленно заморгал, но сейчас же справился с собой и сказал спокойно:

— Такой славный воин, как ты, Анастасий, будет в почете и здесь, в Эраншахре.— Азад сделал паузу.— Но почему ты решил не возвращаться? У тебя есть враги?

— У меня не бывает врагов, Азад, по крайней мере живых.— Спонтэсцил потянулся к узкогорлому кувшину и сам налил вина.— Я младший в роде, как и ты, но живы отец и братья, и уже не осталось у нас ни земель, ни кораблей. Самое большое, на что я могу рассчитывать, это стать центурионом и нести службу у границ империи, пока аварская стрела или славянский меч не найдут меня. Жизнь воина кончается всегда одинаково. А слава

непрочна и изменчива.— Спонтэсцил взял чашу, поднес к губам, из-за края ее испытующе смотрел на арийца.

У младшего Бавендида было непроницаемое лицо.

— Любое твое желание, друг мой Анастасий, будет выполнено. Я обещаю это,— ровным, спокойным голосом сказал Азад.

— Благодарю тебя. Я не сомневался в этом.— Спонтэсцил задумчиво поглядел в свою чашу, потом поднял голову.— Я попрошу не очень много.

— Я весь — внимание, Анастасий.

Спонтэсцил задумчиво смотрел в красный от ковров сумрак, вертел в руках чеканную чашу.

Колебалось желтое пламя светильников, и в тишине было слышно лишь дыхание застывших в нишах рабов...

Дул ветер с Малой Невы и гнал облака. И было безлюдно на Большом проспекте Петроградской стороны.

Лицо Тани, озабоченное и ласковое, было обращено к Борисову.

— Валя, мне кажется, вы совсем не здесь,— сказала она.

Борисов не ответил. Он еще вглядывался в красноватый от ковров сумрак покоя младшего Бавендида Азада.

— Уже близко. Вон подъезд,— сказала Таня, легким жестом руки указав на противоположную сторону проспекта.

На лестничной площадке Борисов заколебался.

— Может, мне не нужно идти? Неудобно как-то,— сказал он, чувствуя усталость.

— Ничего неудобного нет.— Таня отперла дверь, взяла Борисова за руку.— Осторожно, здесь три ступеньки вниз.

Он неуверенно сошел по этим ступенькам. Таня отпустила его руку, отошла, и долгое мгновение он стоял в темноте, испытывая чувство скованности и тревоги.

Свет вспыхнул неожиданно. Борисов огляделся в маленькой прихожей, напоминавшей перекошенный спичечный коробок, поставленный на торец; стены вместо обоев были покрыты соломенными циновками. У самых дверей висела фотография большой лающей лохматой собаки, под прямоугольным зеркалом стоял еловый некрашеный столик. Вместо абажура на лампе под потолком была перевернутая плетеная корзина.

— Проходите, Валя.

Борисов вошел в странную, многоугольную комнату с большим, мелкозастекленным окном. Мебели почти не было. Только книги на полках по стенам; дубовый, похожий на столярный верстак, стол с пишущей машинкой; скромная низкая тахта, обитая простой серой материей, но рядом с ней, словно вспышка света,— старинный туалетный столик розового с темными прожилками дерева, богато изукрашенный перламутром и черепахой, с овальным серебристым зеркалом толстого полированного стекла. На столике, отражаясь в серебряной глуби зеркала, стоял бронзовый подсвечник и флакон резного хрусталя.

Борисов сел на тахту.

— Курите, Валя.— Таня поставила на столик пепельницу.— Я сейчас сварю кофе,— сказала она и вышла.

Борисов курил, глядел в светлеющую за окном ночь. Чувство покоя и уюта пришло к нему в этой комнате со столярным верстаком и изысканным будуарным столиком. Из передней падал неяркий свет и отражался в перламутре и зеркале; книги на полках казались одушевленными.

Борисов думал о сыне ромейского патрикия. Он наперед знал, что́ попросит молодой византиец в награду за тайную доставку пакета. Знал, какое честолюбие гложет душу младшего отпрыска знатного рода, будто Анастасий Спонтэсцил не был плодом его воображения, а существовал в действительности тысячу триста с лишним лет назад и он, Борисов, просто читал об этом человеке в исторических книгах. Он знал о гложущей жажде успеха, того жизненного успеха, о котором мечтают молодые, здоровые, влюбленные в себя люди. Знал Борисов и о трезвом, расчетливом уме младшего Спонтэсцила, о его дерзких надеждах и о том, что молодой ромей удовлетворится совсем не тем, чего искал в персидской земле при дворе шаханшаха. И хотя эта судьба была так далеко от времени, в котором скучно и неудовлетворенно жил Борисов, ему почему-то было радостно думать об Анастасии Спонтэсциле. Мысли о нем приносили неожиданное, странное наслаждение, как необузданные видения в детстве. Но теперь уже после них не оставалось тоски. Внутри становилось тепло, и весенняя тревожная легкость наполняла Борисова.

Он встал, прошелся по этой многоугольной чужой

комнате, посмотрел в окно на пустой проспект, потом нажал кнопку настольной лампы.

Круг света упал на желтую дубовую столешницу, на потертую пишущую машинку и стопу листов чистой бумаги.

Борисову вдруг нестерпимо захотелось сесть за этот стол, вставить в машинку лист и писать об Анастасии Спонтэсциле, описывать его жесткое, с крупными, прочеканенными чертами лицо, скупую улыбку, лежевесные плечи воина, твердую походку уверенного в себе, здорового человека; его дерзкую мечту о славе, такой, как у слагателя Гат Зороастра.

Борисов глядел на стопу белой чистой бумаги и улыбался, когда Таня вкатила в комнату столик на колесах.

— Не будем зажигать верхний свет,— сказала она.

— Как хотите.— Борисов подошел и сел на тахту.— У вас очень приятная и спокойная комната.

Ему было легко и весело.

— Может быть, выпьем еще немного? — спросила Таня.

— Конечно, выпьем,— сказал Борисов, с удовольствием трогая хрустящую накрахмаленную салфетку на столике и вдыхая аромат кофе. Он чувствовал себя трезвым и уверенным.

Кисловатое сухое вино было холодным, и от запотевшего бокала ладонь ощущала свежесть.

— Когда вы будете защищаться, Валя? — спросила Таня, и снова в Борисова проник ее вопросительный строгий взгляд.

— Скоро, наверное. Сергей сказал, что отзыв положительный и доработок немного. Ну, если сделаю быстро...

— А вам очень нужно это?

— Что?

— Защита. Степень. Пейте кофе, а то остынет.

— Спасибо. Не знаю, Таня,— сказал Борисов и задумался.

— Ну кто же это должен знать, кроме вас? — Она все так же пристально смотрела на него.

— Да как-то складывалось всегда так, что не знал, нужно мне то, что я делаю, или нет,— сказал Борисов со вздохом.

— Почему, Валя?

— Так получалось,— тихо, почти шепотом ответил Борисов.

— И это не угнетало?

— Пожалуй. Но не оттого, что дело не нравилось, а просто не получалось хорошо.

Он налил себе и Тане вина. Залпом выпил свой бокал и почувствовал, что снова хмелеет тоскливым, холодным хмелем.

— Сергей говорил мне, что вы были спортсменом...

— Я не был спортсменом; то есть был, но не настоящим. Настоящий спортсмен — это особый склад души, а я принуждал себя... для самоуважения...

Борисов закурил, глядя в окно, прислушивался к хмельной тоске внутри, и вдруг что-то прорвалось в нем нестерпимым желанием откровенности. Бросив короткий взгляд на Таню, он снова отвернулся к окну и стал рассказывать.

Круг света от настольной лампы падал на желтую дубовую столешницу, на пишущую машинку и стопу чистой бумаги. Дым сигареты сизыми перьями плыл к окну.

Таня не сводила с Борисова глаз, а он рассказывал о своей жизни, рассказывал жестко, не приукрашивая, не жалея себя. Он говорил о своевольном воображении, отдалявшем его от жизни и делавшем неуклюжим и робким, о своей неприязни к мотоциклу и о позднем честолюбии, разрешившемся переломанными ребрами и презрением к себе, о внезапной дружбе с Сергеем Грачевым, о дочери и жене, о своем одиночестве. Он умолчал лишь о Шувалове, который странно привлекал его своей победительностью и одновременно вызывал враждебность, умолчал и об Анастасии Спонтэсциле, почему-то оба эти человека — и реальный, и воображаемый — странным образом связались в сознании Борисова, и он не мог говорить о них, ибо они были самой сокровенной частью его самого.

Уже стало совсем светло за окном и свет настольной лампы побледнел и ослаб.

Таня прошла к столу и выключила лампу.

Борисов, усталый, опустошенный, смотрел, как она тихо идет обратно к тахте. Лицо ее казалось свежим и ярким, будто не было бессонной ночи. Борисов уже жалел, что так неожиданно разоткровенничался, но вместе с тем чувствовал облегчение.

Таня села рядом с ним. Он хмуро и подозрительно посмотрел ей в глаза. В них уже не было вопроса; что-то

другое мерцало и теплилось в глубине и волновало Борисова, так, что он не мог оторваться от этих глаз.

— Валя, милый, вы жалеете, что рассказали? — шепотом спросила она.

Борисов молчал.

— Но ведь вам нужно было кому-нибудь рассказать. Я не предам, Валя. Я никому не расскажу,— шептала она, и глаза ее придвигались ближе, а Борисов не мог отвернуться, отвести свой взгляд.

«Нужно закурить»,— тревожно подумал он, но не двинул рукой. Ее глаза надвинулись и заслонили все. Ее влажные губы скользнули по щеке, рука обхватила шею.

Комната качнулась и плавно понеслась куда-то — прочь из этого утра, из этой действительности. Остались только руки, губы и светлая, как в молодости, тревожная радость.

Потом, расслабленно пустой и легкий, как будто лишенный тела, он забылся прозрачной, чуткой дремотой, сквозь которую слышал ее дыхание, ощущал запах волос и легкое прикосновение пальцев к своему лицу; он улыбался во сне.

Он проснулся от резкой боли в левом виске, сел на тахте. До сознания не сразу дошло, что он в чужой комнате. Ладонь, прижатая к щеке, ощутила покалывание отросшей щетины. Боль разламывала висок.

Борисов все вспомнил, но боль была так сильна, что отвлекала. С перекошенным гримасой лицом он сидел и прислушивался к звяканью посуды на кухне. Хотелось уйти незаметно, не видя лица этой женщины, но Борисов понимал, что это невозможно. Он закурил, и боль притупилась.

Комната была наполнена светом и уже не казалась странной и таинственной.

Борисов подошел к полкам, стал читать надписи на корешках. Большинство книг было на славянских языках. Были работы по древнерусской литературе.

«Славист»,— решил Борисов. О прошедшей ночи он не хотел вспоминать. Он не питал неприязни к этой неожиданной женщине, был благодарен ей за теплоту, но было бы лучше, если бы он смог уйти, не видя ее теперь, днем.

Он услышал ее легкие шаги и напряг спину, не поворачиваясь к двери.

— Хотите умыться, Валя?

Борисов повернулся.

— Да, пожалуй, нужно,— сказал он, стараясь побороть неловкость. И, мельком взглянув ей в лицо, быстро вышел из комнаты.

В ванной он подставил затылок под струю холодной воды и долго стоял так, закрыв глаза. Боль в голове прошла, но чувство неловкости осталось. Он неприязненно смотрел в зеркало на свое посеревшее лицо.

— Кофе готов,— позвала Таня из-за двери.

Он пригладил волосы и вышел.

Стены небольшой кухни были облицованы бледно-розовым кафелем, такой же бледно-розовой была мебель. Все сверкало чистотой.

Борисов, избегая ее взгляда, сел на пластиковую табуретку, придвинул чашку.

Она села напротив, сказала негромко:

— Поешьте чего-нибудь.

— Спасибо, не хочется,— ответил Борисов и невольно взглянул на нее.

На Танином лице была мягкая и чуть растерянная улыбка. И от этой улыбки прошла неловкость. Борисов почувствовал, что и она испытывает то же состояние, и сказал, опустив глаза:

— Я здорово был пьян вчера.

— Ну, ничего. Не казнитесь. И я была не лучше.

Борисов поднял глаза. Ее лицо было печально, она задумчиво глядела в одну точку.

«Черт, красивая девушка.. Что ей я?» — подумал Борисов.

И, будто отвечая на его мысли, Таня сказала:

— Я ведь давно вас знаю, Валя.

Борисов моргнул удивленно.

— Да, по рассказам Сергея.

— Что же он рассказывал? — с волнением спросил Борисов.

— Не то, что есть на самом деле. Я сразу поняла это, когда увидела вас. И потом эти ваши сказочные новеллы...— Она помолчала, рассеянно улыбнулась.— Вы совсем другой.

— А вы давно знаете Сергея?

— Да, десять лет, хотя последние годы мы виделись редко. Я его невеста,— она усмехнулась,— пять лет из этих десяти.

Борисов вздрогнул, отклонился назад, будто его ударили по лицу. И снова боль врезалась в левый висок.

Он зажмурил глаза и сквозь зубы, превозмогая боль, спросил:

— Вы действительно?..

— Да,— твердо сказала она, прервав его.

Он открыл глаза и уставился в пластиковый пол, приложив ладонь к виску.

— Но зачем тогда, зачем все это? — устало спросил он.

— Мне казалось, что это нужно вам. А может быть, и мне самой, чтобы сжечь мосты,— тихо ответила она.

Борисов поднял на нее взгляд.

Она беспомощно, слабо улыбнулась, но глаза были полны слез.

6

Добравшись до дому, Борисов почувствовал смертельную усталость. Город показался ему переполненным людьми и машинами. Он старался сосредоточиться на этой своей усталости, на внезапно возникшем чувстве недомогания, потому что боялся думать о том, что произошло минувшей ночью.

В квартире стояла душная тишина, подчеркнутая металлическим звоном капель из неисправного кухонного крана.

Обычно по воскресеньям Борисов ездил на дачу, подвозил продукты и лакомства, возился с дочерью, но сегодня он даже не подумал об этом.

Неряшливо разбросав одежду, он принял душ и лег, со страхом думая, что не заснет. Но, против ожидания, заснул почти сразу и проспал до самого вечера.

Пробуждение было неприятным. Опять болела голова, в горле, казалось застрял ком. Борисов сделал глотательное движение и задохнулся от боли. Он с усилием встал, шатаясь от головокружения, подошел к зеркалу. Лицо пылало, миндалины были воспалены, и по тяжелой, ноющей ломоте во всех суставах Борисов понял, что заболел.

Сначала это огорчило его: ангина нарушила все планы. Но потом он с каким-то удовольствием подумал, что несколько дней можно будет не ездить в институт, не встречаться с Грачевым.

Он медленно оделся, вышел на улицу. Из автомата позвонил Шувалову. Голос Гриши в трубке звучал неожиданно низко.

— Ты куда вчера девался? Хватились потом: где Валя? — Голос Шувалова был деланно безразличным и смешливым.

Борисов поморщился.

— Я плохо себя чувствовал, сегодня совсем разболелся. Еле добрел до будки.

— Что случилось? — с недоверчивой интонацией спросил Шувалов.

— Да ангина, видимо, и температура. Премерзкое самочувствие. Ты скажи там,— ему трудно было даже называть имя Грачева,— что я залег.

— Хорошо,— уже серьезно ответил Шувалов и спросил: — Может, подъехать, Валька, помочь чем-нибудь?

— Спасибо. Я сейчас сам схожу в аптеку, а еда есть.— Он помолчал, закрыв глаза.

— Ну, может, книги нужны из библиотеки?

— Да нет. Вот если только... но это совсем не обязательно, привезешь мне отзыв. Я, может, пока валяюсь, чего-нибудь обдумаю.

— Хорошо, привезу.

— Ну, спасибо. Пока.

Свет раздражал Борисова, и он задернул в комнате шторы. В полумраке казалось, что тело потеряло вес, только кисти рук почему-то были тяжелыми. Он лежал с ощущением ломоты в суставах и тяжести в груди, стараясь не шевелить губами, потому что это отдавалось болью в горле. Он даже с каким-то удовольствием погружался в болезненные ощущения, лишь бы не думать. Временами приходила короткая дремота, и Борисову казалось, что он плывет и постель под ним качается, как плот на волнах.

Ночью ему стало легче; температура спала.

Он лежал в сумраке с открытыми глазами, и снова к нему пришел Анастасий Спонтэсцил...

...Был третий день первого весеннего месяца Фарвардина.

Солнце из узких верхних окон косыми лезвиями лучей освещало библиотеку в ктезифонском дворце шаханшаха, и тонкая книжная пыль столбиками стояла у каменных ниш с драгоценными книгами. Здесь были глиняные плиты из Александрии, свитки папируса, латинские консульские диптихоны из слоновой кости; свитки тонкого китайского шелка с письменами черной и красной тушью; мудрецы Аристотель и Платон,— все было собрано здесь. Больше всех библиотеку пополнил

дед теперешнего шаха, Хосрой Великий, как его звали на Западе.

Были здесь и труды персидских мудрецов — тридцатитомный трактат о всех известных на земле ядах и противоядиях. Трактат имел практическое значение, потому что часто, очень часто в персидском государстве умирали знатные от неизвестных ядов.

Спонтэсцила удивляло, что и христианские книги — сирийские, греческие и латинские — есть в библиотеке. И теперь он был хранителем всех этих книг. Младший Бавендид сдержал свое слово. У сына ромейского патрикия теперь будет твердое жалованье и возможность читать мудрые книги, слагать латинские стихи, громкие, как звон меди, или протяжные, торжественно-плавные греческие. А может, он будет писать на персидском, хотя пока это трудно.

Анастасию все больше нравится этот язык, то громовой и гневный, как рык разъяренного льва, то ласковый и певучий, как мурлыканье. Да, он станет славным поэтом, и слава откроет ему пути к почестям и богатству. Здесь, в Эраншахре, ценят мудрое, меткое слово. Иначе не добился бы такого положения при дворе этот маленький, кривоногий мервец. Спонтэсцил никак не может понять, как правильно произносится его имя: некоторые говорят Фахлабад, другие — Пахлабад. Вообще персы из разных областей по-разному произносят слова, особенно имена и названия месяцев. Но не зря Анастасий так прилежно изучал этот язык, когда теперешний царь царей со своими приближенными спасался в Ромее и был всего лишь беглецом. Тогда император Маврикий посадил его на персидский престол, дав войско и золото. За это царь царей подписал вечный мир с Ромеей и отказался от части Сирии, от Аравастана до самой Низибии, части Армении до славной горы Арарат, а также города Майферкат и Дару передал Хосрой Второй автократору Маврикию, и получил в жены Марию, внебрачную дочь императора от красавицы Анны Спонтэсцил, и вернул себе царство.

Был третий день первого весеннего месяца Фарвардина, и уже начался великий праздник персов Ноуруз. В дасткартах знатных третий день не прекращалось веселье, ибо первая пятидневка месяца считалась Ноурузом знатных. Но и чернь не отставала: вечерами из квартир ремесленников доносились пьяные песни, взвизгивания женщин.

Дни выдались жаркие, а здесь, в библиотеке, стояла прохладная тишина.

Сын ромейского патрикия, хранитель библиотеки «поклоняющегося Мазде Хосроя, бога, царя царей арийцев и неарийцев, из рода богов, сына бога Хормизда, царя», Анастасий Спонтэсцил полулежал в кожаных подушках на застланной коврами террасе, которой оканчивался библиотечный зал. Легкая колоннада отделяла террасу от дворцового сада, густая зелень защищала от солнца.

Журчала струя фонтана неподалеку, подчеркивая тишину; ветер, легкий, пахнущий цветом миндаля, мягкой волной проходил через террасу.

На низком лаковом столике лежала большая книга с серебряными застежками и листками беленого пергамента.

Анастасий Спонтэсцил читал Гах-наме, книгу о дворцовом этикете и табели о рангах персидского государства. Иногда ироническая усмешка трогала лицо Спонтэсцила: с наивной прямолинейностью книга возводила установления нынешней династии к мифической древности.

Чтение шло медленно: Анастасий только осваивал арамейский язык, на котором были написаны предания о царях в Гах-наме. Вот, наконец, он нашел то, что его интересовало.

«Первый, введший Ноуруз, и установивший степени знатных владетелей, и утвердивший знаки государственной власти, и добывший серебро, золото и металлы, и сделавший орудия из железа, и приручивший лошадей и прочих животных, извлекший жемчуг, добывший мускус и амбру, и построивший дворцы, устроивший цистерны и проведший каналы был Кей Джам, сын Виванджхана — сохранителя мира, сына Афрахшада, сына Сама, сына Нуха.

И было основанием этого, что он в Ноуруз завладел миром и устроил области Эраншахра. Был Ноуруз началом утверждения власти Кея Джама; потом этот праздник принял положенный вид и стал обычаем.

И властвовал Кей Джам тысячу пятьдесят лет...»

Из сада донесся резкий, неприятный крик павлина, Анастасий поморщился, прервав чтение. Потом улыбнулся: щедры персы, тысячу лет отвалили своему легендарному царю.

«...потом убил его Биварсаф и правил после него

тысячу лет до Афридуна, сына Афсияна; правил как будто он — проклятый богом Даххак в посягательствах на завоевание мира. И преследовал его Афридун, и пленил его в Западной Стране, и заковал, и заключил на горе Демавенд; и свершил Афридун назначенное ему богом в жизни его; и правил Эраншахром тысячу пятьдесят лет...»

Опять тысячу пятьдесят, подумал Спонтэсцил, почему-то число это, по персидской священной книге, считается самым хорошим. Ну что ж, наш бог в шесть дней сотворил мир. А их царь в единый день устроил все... Всякий человек должен устроить свой мир, и часто человеку приходится устраивать свой мир, как богу, из ничего. Да, родственница Мириам, жена царя царей, видимо, ничем не поможет. Все ее силы уходят на борьбу с другой царицей, армеянкой Ширин. Легенды ходят о красоте Ширин, имя ее означает «сладкая». Ну что ж, он, Анастасий, благодарен и за это место царского хранителя книг. Молодые персидские вельможи приняли его дружески, благодаря покровительству младшего Бавендида. Теперь уж все зависит от него самого, от того, насколько понравятся царю царей его философские поэмы. Правда, трудно соперничать с Фахлабадом-Пахлабадом (черт, как же правильно произносится это имя?), он настоящий поэт и хороший певец. Но Анастасий Спонтэсцил — носитель великой культуры эллинов и латинян, так неужели он не сможет прославиться здесь, среди варваров, и, как бог, сотворить свой мир из ничего?

Журчала струя фонтана, чуть шелестели ветви деревьев, пропуская на крытую террасу тонкие лучики солнца.

Анастасий Спонтэсцил продолжал чтение.

«И разделил Кей Джам дни первого весеннего месяца Фарвардин: и пять первых назначил праздником знатных, и следующие пять — Ноурузом царя, во время которых он одарял и благодетельствовал; следующие пять дней — для царских слуг; и пять для приближенных царя; и пять для войска его, и следующие пять для народа. И всего тридцать дней».

Целый месяц празднуют персы свой весенний праздник, думал Спонтэсцил. И в пятидневку царя представляются шаху чиновники и воины, и шах одаривает их дорогой одеждой и милостями. Недаром Анастасий старался подружиться с кривоногим маленьким Фахла-

бадом, любимым поэтом и певцом царя царей. Фахлабад обещал представить Спонтэсцила царю как «видящего» — так называют в Эраншахре ученых — и как хранителя книг. Говорят, что у шаха острый глаз и хорошая память, он никогда не забывает лиц, если видел человека хоть раз. Это хорошо. Анастасию нужно, чтобы царь царей запомнил его лицо. Слава приходит сверху, а не снизу, от черни. И пусть твердят неудачники стихоплеты в Константинополе, что слава — это когда знает народ; пусть ссылаются на пример легендарного слепца, гекзаметры которого скандируют пьяные матросы и проститутки в портовых притонах Константинополя. Спонтэсцил не хочет такой славы. Слава — это уважение знатных; да, уважение и преклонение. Ибо никто не упрекнет поэта за то, что трудом своим, волнением души, мужественной правдивостью достиг он почестей и не был казнокрадом, льстецом или палачом.

Анастасий Спонтэсцил верит в свою удачу. Не позже как через два года многие знатные в Эраншахре будут с уважением прислушиваться к его словам, и в глазах их уже не будет этих небрежных поощрительных улыбок... Но нужно читать, нужно знать обычаи этой страны, если хочешь добиться успеха.

«И в Хурдад-руз — шестой день Фарвардина — начинается Ноуруз царя.

После того как шах надевает свой убор и открывает полагающийся в этот день прием, входит к нему человек, угодный именем, испытанный принесением счастья, с веселым лицом, остроумный. Становится он против завесы царя и говорит: «Разрешите мне войти». И спрашивает царь: «Кто ты? и откуда приходишь? куда идешь, и кто идет с тобой? и с кем ты являешься? и что приносишь?» И отвечает тот человек: «Я прихожу от Двух Благостных и иду к Двум Благодатным, и со мной идет всякий победоносный, и имя мое ХУДЖЕСТЭ...»

— Худжестэ,— вслух повторил Спонтэсцил, ему было непонятно это слово в арамейской транскрипции.

— Худже, худ, худо,— повторял он на разные лады и понял: так произносят имя бога некоторые персы с Севера. Ахуро, Худо. Худо-жестэ, жестэ — хостэ — это значит выбирать, избирать; так произносят это слово на Севере, оно еще значит — сватать невесту. Значит, «Худжестэ» — это избранный богом, счастливец. Вот оно что! Спонтэсцил улыбнулся, ему доставляло удовольствие разбираться в этих языковых тонкостях.

«...привожу я с собой новый год, и новый хлеб, и радостную весть царю, и привет и послание».

И велит царь слугам впустить его, и говорит ему: «Войди».

И ставит тот человек перед ним серебряный стол, по краям которого разложены лепешки из пшеницы, ячменя, проса, дурры, гороха, чечевицы, болотной индийской пшеницы, кунжута, бобов и фасоли, вид которых считается хорошим знаком и по именам которых предсказывают.

И произносит тот человек громко: «Абзуд, абзейд, абзун, барвар, фарахи» — умножилось, умножится, умножение, богатство, изобилие.

И желает тот человек царю вечной жизни, продолжительного царства, и счастья, и славы.

И царь ни о чем не совещается в этот день из опасения, чтобы от него не исходило что-либо плохое и не продолжалось целый год».

Анастасий Спонтэсцил закрыл тяжелый фолиант, кликнул мальчика-писца:

— Диперан, убери!

Темноволосый курчавый мальчик маленького роста быстрым шагом вышел на террасу, поклонился и взял книгу. Согнувшись от тяжести, он понес ее в библиотеку. Спонтэсцилу показалось, что при поклоне мальчишка дерзко и насмешливо стрельнул в него своими удлиненными темными глазами.

«Арийская спесь»,— с раздражением подумал он. Даже этот ничтожный мальчишка в душе считает себя выше его, Анастасия Спонтэсцила. Ничего, дайте только срок, и его будут принимать всерьез...

Спонтэсцил встал с подушек, несколько раз энергично взмахнул руками, чтобы быстрей побежала застоявшаяся кровь, и пошел в свою чистую небольшую комнату рядом с библиотечным залом.

Нужно было идти на праздник к младшему Бавендиду. У него собирается молодая знать Эраншахра.

Поверх туники Спонтэсцил надел кожаную куртку, спрятал под нее крест. Сунул за пояс широких в бедрах штанов для верховой езды прямой персидский кинжал и через дворцовый сад вышел на канал...

Борисов лежал в сумраке с открытыми глазами и в воображении видел, как твердой походкой воина

уходит по набережной одного из бесчисленных ктезифонских каналов хранитель библиотеки царя царей Хосроя Второго, сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил.

Пропотевшее тело было влажным и легким, будто Борисова прокалило жаркое весеннее иранское солнце. И горло болело уже меньше, но курить не хотелось. Он лежал в полутьме, тихо дышал, и мелькнул перед ним в рассеянном свете поблескивающий бок туалетного столика из розового дерева, изукрашенного перламутром, золотистый круг света настольной лампы на желтой дубовой столешнице с потертой пишущей машинкой, колеблющиеся в сумраке корешки книг...

Борисов усилием воли отогнал эти видения. Он не хотел вспоминать прошлую ночь.

> Подруги наши и грешны и хрупки,—
> Всегда прощай возлюбленной проступки!

Он прочел эти строки Гургани из «Вис и Рамин» голосом Анастасия Спонтэсцила. Да, Борисов знал и голос и мысли молодого византийца. Теперь он не гнал от себя, как раньше, эти картины жизни сына ромейского патрикия. Наоборот, мысли о нем почему-то приносили радость, и зудящее любопытство одолевало Борисова: как же дальше повернется судьба Спонтэсцила? Анастасий будто уже не был созданием борисовского воображения с тех пор, как на закате Изана — двадцатого дня последнего месяца Исфандармаха он въехал в западные ворота Ктезифона. Десять дней оставалось тогда по солнечному зороастрийскому календарю до конца десятого года царствования царя царей Хосроя Второго.

С азартным интересом, как будто со стороны, наблюдал Борисов за тем, как Анастасий Спонтэсцил идет к своему успеху. Молодой ромей иногда совершал неожиданные для Борисова поступки. Так странно: он попросил место хранителя книг, а Борисову казалось, что военная карьера увлечет Спонтэсцила.

Захватывающе любопытна была эта история. Такого еще никогда не виделось Борисову. Будто в мозгу у него был объемный экран, расширявшийся до беспредельности. И он смотрел, как слагается жизнь Анастасия, болел за него, восхищался его здоровьем и силой и ловкостью воина, поражался везучести и чуть пренебрежительно усмехался над жадностью к почестям, над неуемным тщеславием молодого византийца. Любил его, пожалуй,

Борисов. Любил и печалился, потому что хотя и не знал еще точно конца истории, но уже чувствовал, догадывался, что печально завершится она. Но было это только предчувствие.

А пока в красном от ковров парадном покое дворца Азада Бавендида-младшего шел пир.

...В чадном воздухе остро пахло зажаренным на угольях мясом с пряностями, звенели чеканные чаши, и под сводами громко раздавались высокие, сильные голоса персов.

Спонтэсцил остановился у входа, взгляделся в глубину длинного зала, освещенного через купольные окна красноватым светом уже склоняющегося солнца. Раб, опустивший за ним входную шерстяную завесу, исчез, будто растворился в чадном воздухе.

Арийские патрикии, развалясь на подушках возвышения в глубине покоя, о чем-то яростно спорили. Наблюдательного Анастасия удивляла странная особенность персов: спор был горячим и гневным,— даже не разбирая слов, можно было догадаться об этом по резкости голосов,— но, споря, персы сохраняли свои ленивые, отдохновенные позы. Тела их не участвовали в этом кипении страстей.

— Шигарский! — выкрикнул кто-то пронзительно и тонко. В ответ возвысилось сразу несколько резких голосов. Спонтэсцил расслышал только ругательства:

— Сэг!

— Жугут!

— Мамзир!

Спонтэсцил сделал несколько шагов вперед, и младший Бавендид, заметив его, встал и пошел навстречу, поднимая руку в персидском приветствии.

— Анастасий, как славно, что ты пришел; я уже хотел послать за тобой, чтобы просить тебя прервать свои ученые занятия.— Бронзово-смуглое лицо Азада лоснилось, как умащенное, красные, яркие губы блестели в окладе черной курчавой бородки.

— Но у тебя гости, Азад; не помешал ли я? — церемонно и сдержанно спросил Спонтэсцил.

— В праздник Ноуруза гость — украшение дома и радость хозяина, Анастасий. И я рад, что ты пришел, рад, что смогу познакомить своего друга с лучшими из знатных Эраншахра.

Твердой походкой взошел Спонтэсцил на возвышение, где пировали персы, и увидел, что он не един-

ственный здесь христианин: рядом с Бавендидом Азадом возлежал сириец Лузин — глава третьего сословия — земледельцев. Лузин не прятал под куртку свой большой деревянный еретический крест.

«Персы со своим шаханшахом терпимее к иноверцам, чем сами христиане друг к другу»,— подумал Спонтэсцил. Сколько раз солдаты по приказу императора учиняли избиение еретиков в Эдессе, а здесь царь царей дозволяет монофизитам и несторианам вести открытые диспуты и, говорят, сам, завернувшись в глухой плащ, чтобы не быть узнанным, слушает споры ересиархов. Много диковинного в персидской стране. Вот этот сириец Лузин, еретик,— один из первых людей государства, он ведает налогами с земель.

Спонтэсцил бросил быстрый зоркий взгляд на тонкое, бледное лицо Лузина. Рядом с сирийцем сидел глава мастеров и торговцев — Зал, перс-христианин.

— Друг мой и гость, видящий и хранитель книг царской библиотеки, воин и поэт Анастасий! — выкрикнул Бавендид.

Вельможи подняли руки:

— Хайом!

— Хайом!

Приветственный клич взлетел под своды парадного зала; казалось, вздрогнули тяжелые ковровые завесы стенных проходов.

Спонтэсцил почувствовал, как рука его сама тянется вверх, и услышал свой голос, усиленный эхом:

— Хайом!

Получилось не хуже, чем у Бавендида-младшего, но сердце, сердце христианина, испуганно сжалось: «Грех, грех...»

Здесь были спахбеды, канаранги — военные управители границ, приехавшие в Ктезифон на новогодний праздник; был молодой мобед — зороастрийский маг — в красном одеянии, на его желтом бритом лице сверкали синие холодные глаза. Тут же сидел Фахлабад, рядом с ним на ковре валялся его потертый рубаб. Темное дерево инструмента отдавало шелковистым блеском, оно вытерлось и отшлифовалось от многократного прикосновения рук певца; желтые жильные струны казались прозрачными в солнечном луче. Черные подвитые усы шевельнулись, скупая приветственная улыбка появилась на лице Фахлабада, иссеченном отвесными, глубокими, как шрамы, морщинами.

Спонтэсцил сел рядом с поэтом, только рубаб разделял их.

Раб сразу наполнил чашу.

Прерванный разговор продолжился.

— Да, вот я и говорю,— сказал Азад,— Бахрам-Гур в свой Ноуруз, если Хурдад выпадал на субботу, жаловал экзиларху иудеев четыре тысячи дирхемов.

— Благословение Мазды: царь царей Хосрой не жалует иудеев,— медленно и тихо сказал маг в красной хламиде, но голос его был отчетливо слышен всем. Он сделал паузу, сунул руки под хламиду.

Анастасий знал, что у зороастрийских жрецов-огнепоклонников на голом теле повязана «веревка благочестия» с тремя узлами, означающими «добрую мысль», «доброе слово», «добрый поступок». Что-то вроде четок.

Мобед выпростал руки из-под своей красной одежды и сказал:

— Теперь христиане близки к трону Сасана, прародителя шаханшахов, и просят за них царицы Ширин и Мириам. И по справедливости будет, если верность христиан Эраншахру отметится в весенний наш праздник, ибо сказал же отец царя царей Хормизд на просьбу изгнать из Эраншахра всех иноверцев: «Не может мой трон стоять только на передних ножках, так не может Эраншахр быть крепок одними поклоняющимися Мазде».— Мобед умолк и посмотрел на Лузина и Зала.

Сириец ничего не ответил, только опустил свое тонкое, бледное лицо. Дородный меднолицый Зал степенно кивнул:

— Так, справедливо твое слово, Исфандияр-мобед.

Спонтэсцил внимательно слушал, ему был интересен этот разговор знати, хотя он не все понимал. Наклонившись к Фахлабаду, шепотом он спросил:

— Зачем шаханшах Бахрам-Гур давал деньги иудеям, если Ноуруз царя приходился на день субботы?

Фахлабад повернул к нему свое морщинистое, слегка высокомерное лицо:

— Шаханшах Бахрам Пятый (арийский поэт не назвал шаха простонародным прозвищем) был сыном Ездигерда Первого от иудейки, дочери экзиларха. И в честь своей матери в Ноуруз, падавший на день субботы, давал он серебро главе иудейской общины.— Фахлабад посмотрел внимательно на Спонтэсцила, убедился, что речь его понятна, и отвернулся.

Анастасий Спонтэсцил задумался, не прислушиваясь

к разговору персов. Он вдруг вспомнил историю из писания — «Книгу Есфирь». Прекрасная Есфирь стала женой персидского царя и спасла своих соплеменников от истребления. Иудеи даже установили праздник, связанный с их спасением. Артаксеркс зовут иудеи этого персидского царя, персы же произносят его имя жестко: Ксеркс. Вот с каких пор завелись у персов царицы-иудейки...

Спонтэсцил не следил за разговором, потягивал вино из чаши и думал об этой Месопотамской земле, о государстве персов, древнем, как Эллада. Вечной казалась эта палимая жестким солнцем земля, неистребимым — прокаленный зноем, жилистый арийский народ, захлестнувший великое Вавилонское царство, возродившийся из праха под колесами колесниц Александра Великого, сына Филиппа Македонского. «Странная, непонятная земля, непонятный народ,— думал Анастасий Спонтэсцил.— Никто не мог победить их, даже покорители вроде Александра. Нет, сын Филиппа Македонского, покорив персов, был побежден ими — он сам стал персом... Сколько ромеев-латинян и ромеев-греков остались в этой стране, приняли ее язык и обычаи. Сирийцы и армяне, иудеи и туранцы, арамеяне и гунны — все ищут здесь свою долю, и все, рано или поздно, становятся персами, растворяются, как сахар в гранатовой воде». Но он, потомок славного рода Спонтэсцилов, не за тем пришел в эту землю. Она примет его таким, каков он есть. Он, Анастасий Спонтэсцил, принесет персам-арийцам великую поэзию своих предков...

— Ну-ка, встань, благородный Анастасий! Встань, пожалуйста!

Громовой веселый голос Бавендида Азада прервал мысли Спонтэсцила. Он недоуменно огляделся. Все взгляды были обращены к нему.

— Благая мысль пришла тебе, славный Азад,— сказал Исфандияр-мобед.

Спонтэсцил вопросительно посмотрел на Фахлабада, почему-то он доверял поэту. Тот еле заметно кивнул, и Анастасий встал, сверху вниз глядя на пирующих.

— Сними куртку, пожалуйста,— весело улыбаясь, попросил Азад.

Анастасий сбросил кожаную персидскую куртку и остался в легкой тунике с короткими рукавами.

— Протяни руки вперед, вот так,— показал Бавендид.

Спонтэсцил широким жестом вытянул руки вперед. Под тонкой, шелковистой кожей предплечий, покрытых легким пушком, перекатывались жгуты мускулов и сухожилий. Это были руки воина и гимнаста, умеющие держать меч и далеко метать копье.

Он стоял в тунике с широким вырезом, из которого был виден серебряный крест на стройной, высокой шее, стоял, вытянув вперед сильные руки. И персы смотрели на его лежевесные плечи, на четкие бугры грудных мышц, на лицо с крупными, хорошо прочеканенными чертами.

— Да,— сказал сириец Лузин,— пусть лучше будет наш человек.

— Ну как, подходит, Фахлабад-гусан? — спросил Бавендид у певца.

Фахлабад молча кивнул.

— Ну, благородный Анастасий, в день царского Ноуруза ты будешь Худжестэ,— торжественно возгласил Бавендид...

Борисов лежал в темноте, чувствуя сухой, легкий жар во всем теле. Хотелось пить, но вставать было лень. Он лежал и видел в темноте удивленно-счастливое лицо Анастасия Спонтэсцила и блеск в глазах молодого ромея. Анастасий Спонтэсцил предчувствовал успех.

...И пир знатных персов продолжался. И Фахлабад, взяв свой потертый рубаб, звонким голосом пел о великом Рустаме, сказочном пахлаване — богатыре персов.

Рыщет Рустам на верном коне своем Рахше, бежит впереди него заколдованный волшебный онагр с золотой, как солнце, шкурой, с черной, как ночь, полосой по хребту. И только натянет богатырь свой бронзовый лук и направит тамарисковую стрелу, как исчезает золотой онагр, но скачет и скачет конь Рустама, и пустыня кругом; усталость и жажда овладели всадником и конем, а золотой онагр все бежит впереди. Но то не онагр, а слуга Ахримана Акван-див рыщет онагром по степям, пугая людей и животных. Хочет див погубить пахлавана Рустама, завлекает его, но напрасно: уже взвился в богатырской руке шерстяной аркан и захлестнул шею дива. И сверкающим мечом отсек Рустам голову дива-онагра, и река черной дымящейся крови вытекла из жил.

Анастасий слушал певца. Песня была знакома. Ее пели нищие на базарах, мальчишки на берегах каналов. Но здесь, под сводами парадного покоя Азада, младшего

Бавендида, звучала не нищенская грубая песня, а изысканные стихи. В этих стихах было жгучее солнце и цокот копыт, и посвист стрелы слышался ясно. Это была высокая поэзия, но что-то не удовлетворяло Анастасия Спонтэсцила, чего-то не хватало ему в песне Фахлабада. И тревожное, знакомое волнение, будто сидит он над узким листком папирусной бумаги, входило в душу ромея. Нет, не так звучит эта песня у него внутри. Не так,— лучше, возвышеннее и в то же время грустнее. Но пока он не может спеть ее вслух, как спел свою песнь Фахлабад. Но придет время...

Певец отложил рубаб, выпил прохладного вина и сухо кивнул в благодарность за восторженные похвалы. Он словно бы устал от песни.

— Может, благородный Анастасий споет нам свою песню? — осторожно спросил Исфандияр-мобед.

И сразу раздался голос Азада:

— Друг мой, Анастасий, окажи честь мне и моим гостям.

— Да, да,— поддержал Азада Фахлабад.

— После песни Фахлабад-гусана мои стихи, как вода после вина. Не желайте моего позора,— тщательно подбирая персидские слова, ответил Спонтэсцил.

— Мы очень просим тебя, Анастасий.

— Хорошо, я прочту вам. Но только не свои стихи... Это стихи древних поэтов из Александрии, собрал которые Агафий-схоластик, ромейский ученый и поэт. Я перевел два маленьких стиха на ваш язык. И если стихи не понравятся вам, то виновен я, неискусный, а не славные поэты.

— Просим,— сказал Фахлабад и возлег поудобнее, приготовившись слушать.

Анастасий кашлянул, прочищая горло, и начал ровным голосом, стараясь передать плавность оригинала:

Я не гонюсь за венком из левкоев, за миррой сирийской,
Пеньем под звуки кифар да за хиосским вином,
Пышных пиров не ищу и объятий гетер ненасытных,—
Вся эта роскошь, друзья, мне ненавистна, как блажь.

Все слушали внимательно, тогда Спонтэсцил возвысил голос:

Голову мне увенчайте нарциссом, шафранною мазью
Члены натрите, мой слух флейтой ласкайте кривой,
Горло мне освежите дешевым вином Митилены,
С юной дикаркой делить дайте мне ложе любви!

Персы удивленно молчали. Их слуху были привычны богатырские песни, воспевающие войну и подвиги. Только Фахлабад, с вдруг оживившимся лицом, попросил:

— Еще!

— Хорошо. Еще одно,— спокойно ответил Спонтэсцил и понял, что волнуется.

Никто из нас не говорит, живя без бед,
Что счастием своим судьбе обязан он;
Когда же к нам заботы и печаль придут,
Готовы мы сейчас во всем винить судьбу *.

Спонтэсцил махнул рукой, взял полную чашу. Жадно и долго пил. А когда оторвался от чаши, встретил внимательный взгляд Фахлабада.

— Ты настоящий поэт, Анастасий,— тихо сказал маленький мервец, собирая в улыбку морщины на смуглом лице.

— Я же сказал, что это не мои стихи,— ответил Спонтэсцил.

— Но ты дал им жизнь на языке пехлеви. А дать стихам жизнь на другом языке может только настоящий поэт.— Фахлабад поднял чашу, обвел глазами всех и крикнул:

— Анастасию-гусану — хайом!

— Хайом! — громко отозвалось под сводами зала...

Борисов проснулся днем от настойчивого звонка у входной двери. Пошатываясь от слабости, пошел открывать.

Приехал Гриша.

— Слушай, Валька, у тебя действительно вид неважный,— сказал Шувалов, пристально глядя на него.

— А что я могу поделать. Просквозило, видно, где-то,— хмуро ответил Борисов и побрел в комнату, держась за стенку.

В комнате Шувалов выложил на стол пакет апельсинов, достал из портфеля скрепленные листки.

— Хорошая рецензия, Валя. Тут работы на неделю, так что поправляйся. У тебя вообще часто эти простуды?

— Да с тех пор, как бросил мотоцикл, не было. Черт, не ко времени. Извини, я залягу, а то шатает.

— Конечно, конечно. Сергей заедет завтра, наверное,— сказал Шувалов.

Борисов поморщился:

— Да не надо. Скажи ему, что все в порядке. Я сам,

* Переводы Л. Блюменау из книги «Александрийская поэзия».

наверно, выйду через пару дней.— Борисову была мучительна мысль о встрече с Грачевым.

— Ты врача вызывал?

— Нет еще. Схожу сам позднее. Ну что там нового у нас? Я же неделю просидел в библиотеке.— Борисов впервые за сутки потянулся к сигаретам.

— Да что может быть нового...— Шувалов внимательно, даже с какой-то подозрительностью посмотрел Борисову в глаза, усмехнулся: — Знаешь, наверное, сам.

— О чем ты? — спросил Борисов тихо. От нескольких затяжек у него закружилась голова.

— Ты в самом деле ничего не слыхал? — Внимательно-удивленные и чуть насмешливые глаза остановились на миг на лице Борисова, будто сфотографировали, и сразу же скрылись под темными, тяжелыми веками, и лицо Шувалова с крупными, четко проработанными чертами повернулось в профиль и застыло, напоминая античную гемму.

Борисов вдруг разозлился:

— Да что ты, черт возьми... Не хочешь — не говори.— Он отвернулся, бросил сигарету в пепельницу, натянул простыню до подбородка.

Шувалов скрипнул стулом.

— Да ты не так меня понял, Валька. Понимаешь, тут, как бы тебе сказать... Словом, меня тащат на место ученого секретаря. Нефедов в сентябре на пенсию уходит.— Шувалов сказал это скороговоркой, помолчал и добавил уже медленно: — Я бы хотел, чтобы ты знал, что я здесь ни при чем; это директор захотел почему-то. Вот, чтобы потом для тебя это не было неожиданностью.

Борисов посмотрел на Шувалова. Тот все так же сидел, повернувшись в профиль.

— Н-да, ну и как тебе это предложение? — спросил Борисов.

— Да я понимаю, что это не совсем корректно, что ли. Все-таки я — без году неделя в институте. Да и по квалификации... Я сказал Сергею об этом, но пока так, под секретом. И тебя попрошу...

— Ладно, Гриша. Но послушай, кажется, ученый секретарь должен быть старшим научным сотрудником,— сказал Борисов и вдруг почувствовал, что этот разговор как-то странно интересует его. Он даже приподнялся на локте, ожидая ответа Шувалова.

— Был такой разговор... Сказали, что проведут через

ученый совет, а впрочем, не знаю,— поспешно осекся Шувалов и потом добавил с явной досадой: — И вообще, я ничего не знаю, кроме того, что вот хотят выдвинуть. Я для этого ничего не делал.— Скулы Шувалова потемнели.

— Да, конечно...

Какая-то тягучая дремотная задумчивость овладела Борисовым, глаза устремились в одну точку. Так бывает, когда силишься и не можешь вспомнить какое-нибудь слово, название; где-то в тугой на подъем памяти витают туманные контуры нужного слова, тень звука какая-то слышится и томит, томит неуловимостью.

— Да, конечно,— снова рассеянно повторил Борисов; нужное слово так и не далось памяти.— Ты ведь науку забросишь, Гришка, там ведь работы...

— Обещали создать условия. Но не это меня смущает,— осторожно сказал Шувалов.

— А что? — с любопытством спросил Борисов.

— Да все эти византийские сложности,— медленно, словно нехотя, отозвался Шувалов.— Знаешь же, там не только то, что на поверхности.

— Да, знаю.— Борисов помолчал.— Что ж, парень ты здоровый. Будешь бодаться с тем, что покажется неправильным. Тебе же нечего опасаться инфаркта.

— Нет, Валька, не буду. Я не собираюсь вести себя как хомо новус. Я не рвался на эту должность, меня пригласили. Ну, я согласен, раз это нужно. И не ради квартиры и докторской. Квартира мне не нужна, а диссертацию, рано или поздно, я сделаю сам. И не собираюсь я вдаваться во всякие византийские сложности.— Раздражение послышалось в голосе Шувалова.— Это меня не касается.

— Ну, не знаю, Гриша. Так, по-моему, никому не удавалось,— тихо сказал Борисов.

— Ну ладно. Еще ничего не случилось, может быть, и не будет, а ты на меня уже всех собак вешаешь. Я просто посоветоваться к тебе пришел по-приятельски. А тут хоть вообще рта не раскрывай.

— Постой-постой, Гришка. Я тебе, кажется, ничего еще не сказал. Это ты сам тут нагородил. Но если уж хочешь знать мое мнение, изволь.— Борисов сел на постели. Он уже заранее испытывал сожаление о том, что сейчас скажет Шувалову, знал, что будет ругать себя потом за эту прямоту, но какой-то бес подталкивал его.

— Ну хорошо, скажи, что ты об этом думаешь,— все еще ворчливо проговорил Шувалов.

— Ты уж прости мне некоторую упрощенность, но это неизбежно. Мы же не конкретный какой-то поступок обсуждаем.— Борисов вдруг надолго умолк.

— Да ладно, говори.

— Но учти, это только мое мнение, и весьма шаткое. Понимаешь, мне кажется, в секретари можно идти только по двум причинам... По крайней мере, эти причины самые явные. Или идут в секретари для того, чтобы выбить себе квартиру и докторскую, или — для того, чтобы наладить дело, чтобы в институте люди могли нормально заниматься своей наукой. Третьего не дано, как говорили латиняне.

Борисов чувствовал, что краснеет, и поэтому вдруг разозлился. «Что я, должен, что ли, кому-нибудь?» — подумал он и, уже не сдерживая себя, стал говорить:

— А если ты пошел, как говоришь, потому что пригласили, то это и есть за квартиру и диссертацию, за книжечки с рекомендацией ученого совета. Ты не будешь иметь своего мнения, будешь соглашаться со всем, будешь послушным.— Борисов закашлялся и, отдышавшись, жестко закончил: — Отсутствие мнения, ничегонеделанье — тоже поступок, и часто он неплохо оплачивается.

Шувалов потемнел, но ответил спокойно:

— Ладно, посмотрим. Я только хотел, чтобы для тебя и Сергея это не было неожиданностью.— Он встал.— Ну, поправляйся.

После ухода Шувалова Борисов лег. Он чувствовал усталость, был недоволен собой.

«Ну что я на него напустился? — думал Борисов.— Гришка — порядочный человек. Однако на его месте я бы не согласился. Да, легко, конечно, решать за другого... И вообще, пусть лучше Гришка на этом месте, чем какой-нибудь бездарный бронтозавр».

За окном было пасмурно. В сером свете комната с неприбранной постелью и разбросанной по стульям одеждой выглядела уныло и неопрятно.

Борисов заставил себя встать, медленно прибрался и сел к столу читать рецензию.

За три года работы в институте ему приходилось читать такие отзывы на чужие работы, но они не затрагивали чувств. А сейчас, читая традиционные, сдержанные похвалы, обкатанные формулировки, Борисов вдруг

ощутил за ними жалость рецензента к нему, Борисову.

Рецензию писал старый профессор, добрый человек. Борисов уважал его за огромные знания, восхищался его человеческим обаянием, и тем горше было чувствовать, что профессор видит все убожество работы Борисова и лишь по доброте не режет ее. Чего стоила одна такая похвала: «Большим достоинством работы является то, что автор вводит малоизвестные ранее материалы зарубежной периодики...»

Что-то унизительное было во всей этой профессорской доброте, и, прочитав рецензию, Борисов почувствовал самоуничижительное раздражение.

«Так тебе и надо,— думал он.— Ешь. Не садился бы не на свой мотоцикл. А теперь уж, будь любезен, сноси эти плевки».

— Полчаса позора — и кандидат наук на всю жизнь,— вслух сказал Борисов.

Криво усмехнувшись, он отбросил листки и встал. Захотелось горячей еды, свежезаваренного чаю, но в доме, кроме черствого хлеба, ничего не было.

Борисов вышел на улицу, добрел до поликлиники.

Врач, пожилая внимательная женщина, спросила:

— Давно это у вас?

— Со вчерашнего дня.

Она молча выписала рецепт и больничный лист, протянула Борисову:

— Это будете принимать три раза в день. Если такое состояние не пройдет, то в поликлинику не приходите, вызовите домой.

Борисов поблагодарил и вышел.

Чтобы сократить путь до магазина, он пошел напрямик, через квартал еще не достроенных домов. Медленно, с усилием преодолевал кучи грунта, уже успевшего покрыться зеленью лебеды, перешагивал канавы и обходил ямы. Чахлые, кривые березки трепетали под ветром. Они помнили заболоченный пустырь, на котором теперь вырос этот большой, густонаселенный район. Было безлюдно и тихо, только с далекой магистрали доносились глухие шумы машин, да гнусаво пропел один раз сигнал электрички. Дышалось здесь легче, чем в прокуренной комнате, и насморк, казалось, прошел совсем. Борисов с удовольствием чувствовал, как проветриваются легкие.

У штабеля бетонных блоков он услышал тихое, тоненькое поскуливание. Борисов обошел штабель.

Маленький вислоухий щенок, скорчившись на

островке зеленой редкой травы возле бетонных плит, тихо скулил. В этих слабых, высоких звуках было столько боли и беспомощной обиды, что Борисов остановился. Щенок перестал скулить и смотрел на него темными, печальными глазами. Лохматое ухо и черный блестящий нос были в запекшейся крови.

— Ну что, обидели? — спросил Борисов.

Щенок, прислушиваясь, наклонил голову набок, потом встал и вильнул хвостом с пушистым подзесом.

Борисов огляделся. Людей вокруг не было.

«Бездомный, наверно»,— подумал он и снова взглянул на щенка. Тот, подняв удлиненную голову, смотрел на Борисова и вилял хвостом.

Борисов наклонился и погладил коричневую спину с чуть заметным пробором на хребте. Шерсть у щенка была вьющаяся и шелковистая.

— Да, брат, худо тебе будет одному,— со вздохом сказал Борисов и пошел дальше.

Он шел и вспоминал детство. В послеблокадном городе не было животных, даже воробьи появились не сразу, а голуби развелись уже после войны. Кто из мальчишек тогда не мечтал о щенке или котенке. Кто из них не поделился бы вот с таким щенком хлебом, хотя есть хотелось так, что до сих пор памятно то болезненное чувство голода. Борисову вдруг стало жаль несбывшихся детских желаний. Размякший от этих чувств, он подошел к магазину. Когда входил в стеклянные двери, увидел, что щенок тоже идет к магазину забавной трусцой, слегка забрасывая вбок круглый, пушистый зад с поднятым пером хвоста.

И, стоя в очереди в кассу и потом — в отделы, Борисов видел щенка через стеклянные двери магазина.

С пакетиком колбасы, пачкой пельменей и бутылкой молока он вышел из магазина. Щенок сразу же встал и завилял хвостом. Борисов дал ему колбасы и пошел к дому. Уже свернув к парадной, он оглянулся. Щенок, переваливаясь на еще нетвердых лапах, ковылял за ним. Борисов остановился. Щенок подбежал вплотную, преданно заглянул в глаза.

— Ну пошли, пошли,— вдруг неожиданно для себя сказал Борисов и открыл дверь парадной.

В кухне Борисов налил в блюдце молока. Щенок стал лакать, деликатно, негромко чавкая, изредка захлебываясь. Борисов вскипятил воду, опустил пельмени и дал щенку еще колбасы.

Борисов ел, пил кипяченое молоко. Насытившийся щенок лежал тут же и благодарно поблескивал темными, как маслины, глазами. Борисов невольно улыбнулся.

Он вымыл посуду и пошел в комнату. Щенок затрусил следом.

— Ну, будем работать,— сказал Борисов и достал из ящика папку с диссертацией, а про себя подумал: «Обратного хода все равно нет; нужно доделать и избавиться».

Но, как всегда перед неприятным делом, было трудно сосредоточиться. Борисов курил, вертелся на стуле, перекладывал с места на место бумаги на столе, потом решил, что мало света, и, задернув шторы, включил настольную лампу. Пасмурный день отступил. В комнате стало уютнее. Борисов снова сел к столу.

Он вчитывался в слеповатую машинопись третьего экземпляра работы, ставил пометки на полях, морщился от неуклюжих словесных оборотов. Возникло такое чувство, что будто бы не он, а кто-то другой, невежественный и малограмотный, писал эту работу. Через пятьдесят страниц он почувствовал уныние и отвращение, закурил и отодвинул папку.

— Боже мой, какая беспомощная гнусь,— сказал Борисов сам себе.— Наплюют в физиономию.

Испуганно заскулил щенок, но смолк сразу же. Борисов повернул голову. Щенок спал, уткнув морду в передние лапы, концы ушей лежали на полу. Видимо, щенку снились его давешние обиды.

«Куда ж его теперь девать?» — растерянно подумал Борисов, представив себе недовольное лицо жены. Потом он подумал, что дочь будет в восторге.

— Ну не выгонять же тебя, псина,— сказал он щенку, но тот не проснулся, только шевельнул кончиком хвоста.

«Пусть останется,— решил Борисов.— Всю жизнь хотел собаку».

Он снова взялся за работу, но глаза машинально скользили по бледным, серым строчкам. Он не улавливал содержания. Круг света на стопе бумаги и на столешнице напомнил о чем-то, взволновал.

Борисов вспомнил лицо Гриши Шувалова с чеканными чертами, глаза под тяжелыми, темными веками. Потом в памяти всплыло Танино лицо, тревожное, вопрошающее, выступающее из сумятицы красно-коричневых бликов.

— У-у-у,— простонал Борисов и, резко отодвинув стул, поднялся. Щенок испуганно встрепенулся.

— Спи, спи,— сказал Борисов, и щенок снова опустил голову.

«Не могу, не могу я заниматься этим,— с яростной горечью думал Борисов.— Не мое это, и будь что будет!»

Он снова сел, бездумно уставился на страницы с бледной машинописью. И снова к нему пришел Анастасий Спонтэсцил, но не тот незаметный библиотекарь царя царей Хосроя Второго, которому покровительствовал младший Бавендид, потому что Спонтэсцил был дальним родственником царицы...

...В изящной оливковой куртке из кожи антилопы, с драгоценным кинжалом у пояса, по внутренним покоям и крытым дворикам ктезифонского дворца Сасанидов твердой походкой воина шел любимец шаханшаха, хранитель дворцовой библиотеки, ученый и поэт Анастасий Спонтэсцил. Завесы проходов откидывались перед ним услужливыми руками. Лица придворной челяди — евнухов, писцов, виночерпиев, телохранителей — заискивающе и подобострастно поворачивались к нему. Страшен был и непонятен этот человек поднаторевшим в интригах царедворцам, ибо был он одарен дружбой шаханшаха, но ничего не просил. Лица придворных вытягивались от напряжения, и уши поворачивались в сторону крытой террасы, которой заканчивался библиотечный зал, когда царь царей и час и два просиживал один на один со своим библиотекарем за игрой в шатрандж.

Долгими взглядами провожали царедворцы стройного человека в оливковой кожаной куртке... Какие мысли нашептывает он шаху, когда остается с ним один на один? Почему он до сих пор не стал ни спахбедом, ни чиновником? Милости шаханшаха снисходят на того, кто их просит. Непонятный человек — страшный человек. Любимого жеребца масти чистого золота подарил этому человеку шах. Такого подарка не получали даже славные вазирги. Странный человек, непонятный человек. Зачем шах звал его в тронный зал и беседовал с ним долго наедине, сидя на подушках у подножия трона? Никогда еще иноверцы не допускались в тронный зал без парадного приема, без «церемонии уважения», никогда еще шах, как простой писец-диперан, не сидел на подушках у откинутой завесы трона. Никто не должен видеть пустым священный трон Сасанидов.

Хранитель библиотеки царя царей, воин и поэт, сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил шагал по дворцовым покоям, и шепот полз ему вслед...

Борисов откинулся на спинку стула и почувствовал знакомый холод внутри. Перед ним проходила вся история молодого ромея, его быстрое возвышение при дворе шаханшаха, его удачи. Все мелькало отрывками, туманными сценами: лица, слова, движения рук, блеск глаз. В миг, сверкнувший в этой тесной комнате блочного дома, вместилось два первых года седьмого века «от рождения Спасителя», и Борисов с тревожной радостью понял, что история Анастасия Спонтэсцила приходит к завершению. И вдруг с пугающей вещественной ясностью он увидел конец. Эта ясность была нестерпима. Борисов придвинул чистый лист бумаги и стал писать.

Он попытался передать глубину темно-красного, глубокого тона библиотечных ковров, столбы солнечного света из верхних окон зала и журчание фонтана, слышное из дворцового сада, но слова были только словами, они не передавали того, что видел Борисов. Он зачеркивал и писал снова...

...Анастасий Спонтэсцил вошел в библиотеку, и мальчик-диперан склонился перед ним. Уже не было в его глазах затаенной насмешки над хранителем библиотеки,— лицо диперана было внимательно и выражало готовность исполнить приказание.

На прохладной, тенистой террасе, как всегда, был приготовлен низкий сирийский столик с книгами, чистой бумагой и чернильницей.

— Убери,— коротко бросил Спонтэсцил, и диперан бесшумно и быстро подхватил и вынес столик с террасы.

Анастасий Спонтэсцил опустился на подушки.

Был Урдибихишт — второй месяц весны тринадцатого года царствования шаханшаха Хосроя Второго.

Много событий произошло в мире. Пал и был казнен император Рума Маврикий. На ромейский престол Константина Великого сел полуграмотный безродный центурион Фока. И война началась между Эраншахром и Румом. Шаханшах мстил за смерть своего тестя, а заодно старался вернуть отторгнутые города на западе. Но судьба была милостива к Спонтэсцилу: шаханшах неизменно благоволил к нему.

Анастасий сам не мог бы объяснить причину благо-

склонности шаха. С тех пор как на празднике Ноуруз он был Худжестэ, царь царей полюбил его. И все придворные сразу стали выказывать скромному библиотекарю свое расположение. Анастасий ничего не просил, он был доволен своим положением. Он знал, что возвысится сам.

С тех пор как на празднике у Бавендида Азада Фахлабад пропел о великом Рустаме, появилась у Спонтэсцила мечта сложить свою поэму о богатыре. Только не так, как сделал это Фахлабад, пусть он и славный поэт. Анастасий в своей поэме мечтал открыть тайну этой земли, тайну, по которой всякий, пришедший в Эраншахр,— даже его покоритель,— становился персом.

Спонтэсцил слушал гусанов на рыночных площадях, записывал их песни о Рустаме; слушал свободных воинов — азатов и придворных поэтов, а тайна легенды арийской земли не давалась ему, но он знал, что откроет ее.

Да, Анастасий Спонтэсцил верил в свою мечту. Но круто изменилась его судьба со вчерашнего дня.

Хранитель библиотеки царя царей задумчиво глядел с террасы в тенистый, зеленый сумрак дворцового сада, и перед ним проходил вчерашний день.

Легкий, освежающий ветер прилетел на террасу библиотечного зала, теребил рукав рубашки шаханшаха из переливчатого тонкого шелка. Тени ветвей мелькали по клетчатой красно-белой доске.

Шаханшах играл в шатрандж со своим библиотекарем.

Шаханшах проигрывал.

Белые всадники и фируз Спонтэсцила теснили черных воинов. Но шаханшах был задумчив и против обыкновения не огорчался.

Спонтэсцил сделал ход и молча ждал. Шаханшаху ходить было некуда, он понял, что проиграл. Глаза его, длинные, блестящие и зоркие, прищурились. Он взял фигуру из дымчато-черного камня и положил ее на доску лицом вниз. Потом снова взял в руку эту фигурку игрушечного шаха и, взглянув на Спонтэсцила, с усмешкой сказал:

— Шах всегда думает, что он шах,— он погладил фигурку, увенчанную короной,— и всему голова. И когда он так думает, он проигрывает, гибнет, потому что шах это не просто кулах-корона, а фируз, и солдаты, и азаты, и все остальные. И шах должен помнить это. И еще он должен помнить, что если он — шах и фарр

божественной удачи сияет вокруг его головы, то он не может надеяться на любовь.— Царь царей поставил фигурку игрушечного шаха на доску.

Анастасий Спонтэсцил молчал, он умел слушать.

Чуть слышно шелестели ветви, журчал фонтан.

— Он не может надеяться на любовь,— повторил шаханшах,— потому что никто не будет любить его бескорыстно. Всем что-нибудь нужно. На бескорыстие способен лишь тот, кто ничего не желает.

— Я доволен всем, что есть, и ничего не желаю, шаханшах,— с легким, небрежным, дозволенным только любимцу поклоном сказал Спонтэсцил.

— Я знаю, мой Анастасий, знаю.— Шаханшах улыбнулся ласково, но в удлиненных зорких глазах все так же блестел холодный огонь — так отсвечивает занесенный меч при луне.

Спонтэсцил промолчал, стал снова расставлять фигуры на доске.

— Но я хотел бы лучшей участи для тебя, мой Анастасий,— после паузы сказал шаханшах. Он взял со столика рядом чашу с прохладным гранатовым соком, но пить не стал.

— Я часто думал, мой Анастасий, о том, что такое поэт. Я смотрел на тех, кто громким голосом старается перекричать рубаб и в тысячный раз сравнить меня с солнцем, и думал: кто они, если они поэты? Разве поэт тот, кто в море лживых слов стремится спрятать крупицу правды? Разве тот — поэт, кто прячет лицо за грязной материей и на базарной площади осуждает жестокость, а дай ему власть, и он будет убивать? — Шаханшах поднял чашу, долго пил, и на горле под короткой бородкой подрагивал острый кадык.

Спонтэсцил молчал, волнение входило в него.

Шаханшах поставил чашу, вздохнул печально.

— Поэты рождаются редко, мой Анастасий. Сколько великих царей, воинов и простолюдинов пришло и ушло. И мы забыли их имена, их дела. Все исчезает в башне молчания. Но осталось имя Зардушт. Сколько еще таких имен осталось? Поэтом был царь иудеев Идад. Поэтом был ваш распятый Йехошу.— Шаханшах снова глубоко вздохнул.

Спонтэсцил прерывисто дышал, тревожное, радостное предчувствие охватило его.

— Вот, всего несколько имен осталось в памяти людей. Поэт — лишь тот, кто дает людям новую душу.

А эти,— шаханшах презрительно махнул рукой куда-то в сторону дворцовых покоев,— у них у самих вместо души старый тусклый дирхем. Я заплачу им, и они сравнят моего коня с богом. Настоящий муж должен делать то, что по силам ему на земле. Настоящий муж — который может руководить делом, удержать женщину, устраивать землю, наказать и повергнуть преступного. Настоящий муж владеет своим гневом и своим мечом, и ему охотно подчиняются слабые и страждущие, а также животные. Об этом говорил Зардушт. А эти, что за горсть монет сострадают сирым и восхваляют сильных,— они не мужи. Когда же муж, которому покоряются люди и животные и в руке которого сила, чувствует сострадание, это сострадание имеет цену, которую не оплатишь дирхемами.

Спонтэсцил молчал. Шаханшах долго смотрел в зеленый сумрак дворцового сада, потом сказал, тихо, ласково, но твердо:

— Ты — настоящий муж, Анастасий. И другая у тебя участь. Ты должен руководить людьми к их благу.— Шаханшах посмотрел ему в глаза.

Анастасий Спонтэсцил не выдержал пронзительного взгляда. Опустив голову, он тихо сказал:

— Речь твоя мудра, шаханшах. Я готов выполнить твою волю.

— Потом, потом, мой Анастасий. Я хочу, чтобы слова мои запали тебе в сердце и повернули его к делу, достойному мужа. Я люблю тебя, мой Анастасий, как сына. Я знаю, что ты славного рода. И я назову тебя своим сыном.

Спонтэсцил встал и склонился перед шаханшахом. Это была неслыханная честь — стать сыном царя царей.

— Сядь, мой Анастасий,— шаханшах улыбнулся.

— Нет у меня слов, чтобы благодарить тебя, шаханшах. Я не достоин такой милости.

— Если слова мои станут истиной в твоем сердце, мне не надо другой благодарности.— Шаханшах опустил голову и, глядя исподлобья, тихо спросил: — Царица Мириам говорит, что ты очень похож на Феодосия, сына несчастного брата моего, кейсара Рума Маврикия. Правда это? — Шаханшах поднял голову, в упор посмотрел на Спонтэсцила.

Вопрос был неожиданным.

Мгновение длилась тишина.

— Я мало видел покойного Феодосия,— стараясь

скрыть волнение, охватившее его, ответил Спонтэсцил.— Царевич был младше меня на два года, но ростом мы были одинаковы. Он был умелый наездник и воин...

Анастасий Спонтэсцил прервал свою речь, ему не хватало дыхания.

Шаханшах встал, расстегнул пояс с тонкими чеканными бляхами, на котором висел драгоценный кинжал, и положил его на середину клетчатой доски.

— Этот кинжал подарил мне кейсар Рума Маврикий. Я дарю его тебе, сын мой.

Шах резко повернулся и пружинистым шагом пошел через зал библиотеки.

В комнате плавал густой табачный дым, но Борисов не замечал этого. Он старался описать то, что виделось, передать словами блеск граней на рукояти драгоценного кинжала, фактуру хорасанского ковра, покрывавшего террасу. Он описывал чеканные черты лица Спонтэсцила, горбоносое, живое лицо шаханшаха с орлиными, зоркими глазами.

Получалось плохо. Болезненное недовольство щемило сердце, томило, как во сне, когда силишься достать рукой что-то желанное, и близко оно, но все не можешь дотянуться, а сердце томит неисполнимым желанием. Но Борисов не мог остановиться, азарт овладел им...

...Анастасий Спонтэсцил лежал на подушках террасы и чувствовал усталость и холод, хотя светило солнце и день был тихий и теплый.

Анастасий Спонтэсцил повернулся на бок, облокотился на подушки. Что-то жесткое уперлось в грудь под курткой. Он распахнул ворот. На золотой цепи висел массивный кулон с рельефным изображением льва — знак высокого военно-чиновничьего звания в Эраншахре. Спонтэсцил запахнул ворот. Он еще не привык к этому знаку. Только несколько минут назад его шея почувствовала тяжелую золотую цепь... Как круто повернулась судьба. Еще утром у него были лишь смутные предчувствия...

Утром пришел диперан. Шаханшах требовал к себе хранителя книг.

Анастасий Спонтэсцил вслед за посланцем прошел по дворцовым переходам, хотел повернуть в крытый дворик с фонтаном, где шаханшах занимался обычно делами и принимал приближенных, но посланец молча указал

на вход в тронный зал. У Спонтэсцила тревожно перехватило горло.

Мимо закованных в черное железо «бессмертных» — личной охраны шаханшаха — прошел он сводчатую широкую арку и вступил в тронный зал.

Солнце тысячами красных, нестерпимых лучей ударило в глаза, ослепило. Спонтэсцил знал, что стены зала, выложенные сплошь плитами серебра, отражают свет, тысячекратно усиливая его. Зал был открыт небу.

Анастасий Спонтэсцил повернулся к гранатово-красной завесе перед троном царя, и в этот же миг его оглушил низкий протяжный крик, усиленный множеством глиняных труб, вделанных в стены. Крик был нестерпим, отзывался болью в ушах.

— С л у ш а й-а й,— подхватило эхо.— С ы н м о й-о й!..

Сын ромейского патрикия, хранитель дворцовой библиотеки Анастасий Спонтэсцил с вытянутой вперед в персидском приветствии рукой распростерся лицом вниз перед кроваво-красной завесой трона царя царей.

Потом длилась и длилась тишина. Она давила на спину распростертого Спонтэсцила, и страшной, гнетущей была огромная пустота тронного зала.

С тихим шорохом отошла завеса перед троном.

— Встань, сын мой,— раздался уже обыкновенный, спокойный голос шаханшаха.

Спонтэсцил встал.

Шаханшах сидел на золотом троне Эраншахра.

Горбоносое лицо с орлиными глазами было неподвижно.

Анастасий Спонтэсцил молча смотрел на царя царей.

Улыбка скользнула по лицу шаханшаха. Он легко, как с седла, соскочил с трона, спустился по трем ступеням и сел на «подушки совета», на которых во время церемоний восседали вазирги и спахбеды.

— Сядь, сын мой.— Шаханшах указал на место рядом с собой.

Анастасий Спонтэсцил молча повиновался.

— Ты думал о том, что я сказал? — тихо спросил шах.

— Да, шаханшах, мудрость твоя вошла в мое сердце, и я готов следовать ей,— сказал Спонтэсцил. Он знал, что царь царей не ждет иного ответа.

— Я счастлив, сын мой. Высокая и трудная доля ждет тебя. Великий Рум после смерти брата нашего

кейсара Маврикия погрузился во тьму беспорядков. Неправедный стал над праведным, и льется невинная кровь. Только законный кейсар может спасти Рум. Брат мой Маврикий помог мне тринадцать лет назад спасти Эраншахр. Теперь я помогу спасти Рум.

Спонтэсцил молчал.

Шах долго смотрел ему в глаза нестерпимо пронзительным взглядом, потом тихо-тихо сказал:

— Сын кейсара Маврикия, кейсар Рума Феодосий, жив. Я назвал его своим сыном, я помогу ему вернуть престол и корону.

Спонтэсцил вздрогнул.

— Тебе пора учиться властвовать, сын мой. Забудь все, что было... даже имя свое... Ты понял, сын мой? — Шаханшах быстрым движением выкинул руку, схватил Спонтэсцила за кожаную куртку на груди и, притянув к себе, шепотом повторил вопрос:

— Ты понял?

— Ты это сказал, шаханшах. Да будет воля твоя,— срывающимся шепотом ответил похолодевший Спонтэсцил.

— Так хотят боги.— Шах опустил руку и громким, повелительным голосом сказал:

— Канарангом Дер-бенда назначаю тебя, сын мой. Ты замкнешь гуннские ворота, чтобы ни один враг не прошел в Эраншахр, пока мое войско не спасет Рум от тирана Фоки. А потом... потом я позову тебя. Учись властвовать, руководить войском. Укрепления Дер-бенда — подножье престола.

Сын ромейского патрикия, хранитель ктезифонской дворцовой библиотеки Анастасий Спонтэсцил распростерся перед царем Эраншахра.

Из двух боковых проходов сразу вошли «начальник записей» Эраншахра и «начальник дворца — хранитель печати».

Шаханшах сделал знак рукой. «Начальник записей» развернул пергамент.

Анастасий Спонтэсцил не слушал скорого чтения писца. Сердце билось часто и громко.

Канарангом Дер-бенда и Чога будет он, и двенадцать «бессмертных» жалует ему шаханшах для личной охраны, и три тысячи войска с боевыми слонами будет у него.

Большую «печать закрепления» приставил к пергаменту «начальник дворца» и надел Спонтэсцилу на шею львиный кулон...

Он отправился в путь на рассвете, как велел шаханшах.

Во тьме проехали поля за городской стеной, миновали редкие дехи — деревни земледельцев.

Солнце застало их в степи. Отцветали мелкие дикие маки. Впереди, на темном еще горизонте, маячили горы. Рядом с лошадьми слева качались лиловые тени.

Анастасий Спонтэсцил ехал на стройном жеребце масти чистого золота. Рядом, отстав на полкорпуса, ехал мальчик-диперан из дворцовой библиотеки, теперь личный секретарь Спонтэсцила.

Двенадцать закованных в черное железо «бессмертных» скакали, окружив канаранга кольцом. Впереди, в полуполете стрелы, на рысях шла конвойная сотня азатов, а позади растянулся обоз канаранга; на ослах и верблюдах ехали рабы: слуги и повара. Во вьюках были книги, утварь, ковры и еда. На белом верблюде покачивалась тонкая фигура с закрытым лицом.

Ее привели перед самым отъездом. Шаханшах прислал канарангу Дер-бенда наложницу из своего гарема. Уже держась за поводья, Спонтэсцил откинул покрывало с ее лица. Раб услужливо поднес факел. Девочка-армянка испуганно смотрела неподвижными синими глазами. Ей было не больше десяти лет. Спонтэсцил опустил покрывало.

Глухо стучали копыта по степной земле. Солнце поднималось справа из-за зубчатых гор.

Задумчив был канаранг Дер-бенда. Молча в черных доспехах ехали «бессмертные» вокруг. И тогда пришла песня.

Запели азаты впереди. Песня заполнила горизонт, на котором маячили горы, она покачивала всадников под топот коней.

Спонтэсцил слушал.

Дрожат лошадиные ноздри, свистят смертоносные персидские стрелы. Как колосья под сталью серпа, падают туранцы под сверкающим мечом Рустама. И ревут боевые слоны, и топот их сотрясает землю...

Песня качала в седле, и тяжесть меча ощущалась на поясе.

Дрожали степные кровавые маки, волновалась трава.

Вот она! Наконец он услышал свою поэму. Именно этой песни не хватало ему. Записать!

Сын ромейского патрикия, поэт Анастасий Спонтэсцил потянулся к седельному карману, но отдернул руку.

Канарангу Дер-бенда не пристало писать и читать: у него есть секретарь. И зачем ему песня азатов. Ему ничего не нужно.

Анастасий Спонтэсцил нахмурился.

Начальник «бессмертных» заметил, как сошлись брови канаранга. Пришпорив коня, он догнал азатов. Они перестали петь.

Маячили впереди темные горы. Дрожали степные кровавые маки.

Канаранг Дер-бенда ехал к Гирканскому морю. И красное, дымное солнце висело за его правым плечом.

Борисов встал из-за стола, потянулся, расправляя плечи. Он очень устал. А когда откинул штору, увидел, что уже утро нового дня. Растворив окно, он вдохнул прохладный воздух.

Щенок заскулил и напустил лужицу. Борисов принес из кухни тряпку и стал вытирать паркет.

Под взмахи тряпки, сама по себе, выбормоталась строка:

«Прощай, Дербент! Я не приеду больше...»

Борисов чувствовал печаль и был, кажется, счастлив.

ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ КЛИМОВА

1

Будильник будил меня ровно в семь. Пять лет он безжалостно поднимал меня по утрам.

Я вскакивал, нажимал кнопку у него на темени, прерывая занудный звон, стараясь сильнее вдавить палец в его холодную цилиндрическую башку и вложить в это элементарное движение все свое раздражение, годами накопившуюся неприязнь, мщение, злость и благодарность, которая все-таки теплилась где-то в глубине души.

А будильник таращился на меня своим циферблатом с перекошенными усами-стрелками и, казалось, усмехался понимающе и снисходительно.

Я хватал гантели и закрывал глаза. Стараясь не стучать, я делал упражнения и дремал с закрытыми глазами. Это кажется странным, но я дремлю с полупудовыми гантелями, делая жим через стороны или «пистолетик». Я выучился этому в армии, в стройбате.

Нас подымали еще в полутьме и после завтрака строем вели по заснеженной просеке на работу. Было зябко, локти товарищей касались моих; в ритме ходьбы было что-то гипнотическое, и я засыпал под скрип снега и шорох шинельного сукна, и спал все четыре километра, шагая в ногу со строем. И мне становилось тепло, снилась наша с матерью комната, мой старый диван и настольная лампа, при свете которой я читал книги.

А вот когда я делаю упражнения, мне снится совсем другое. Я вижу себя под уютным пушистым одеялом, и будто мне не надо вставать в семь утра, а мать тихонько подходит и убирает мне волосы со лба, и я чувствую запах серого мыла от ее руки и сплю. А потом вдруг оказываюсь за рулем на суматошной, забитой машинами улице, выезжаю на левую сторону для обгона, а навстречу автобус... Я давлю на тормоза, педаль проваливается до самого полика, и уже ясно, что я сейчас врежусь

автобусу в лоб... И тут я просыпаюсь, стоя «пятки вместе — носки врозь», с гантелями в опущенных вдоль тела руках. Это значит, что я уже проделал все упражнения и теперь остались только подскоки с разведением рук в стороны.

Прыгал я всегда с открытыми глазами, но все равно в голове еще стоял теплый сонный туман, и, только подставив плечи и шею под струю из-под крана, я просыпался окончательно.

Так было пять лет, по двести девяносто дней в каждом году: по выходным и во время отпусков режим менялся. И я привык к этому круговращению времени, к дреме во время гимнастики, одинаковым снам, торопливому завтраку, спокойной работе, дававшей возможность почитать книжку, подготовиться к занятиям в институте, которые через год уже должны были закончиться.

Все было постоянно, как смена времен года, как круговорот воды в природе; элементарные частицы времени — дни — складывались в атомы — месяцы, те в молекулы — годы, которые связывались в жизнь. И все в ней было выверено, неизбежно. Но сегодня утром я ощутил, что привычный ход времени нарушен: какая-то частица изменила путь, не так сложился атом, и все уже будет другим.

Началось с того, что я не задремал с гантелями. Я добросовестно закрыл глаза и начал первое упражнение, но не увидел себя под одеялом на диване, не почувствовал ни материнской руки с запахом серого мыла, ни проваливающейся под ногой тормозной педали, ни ужаса беспомощности перед неотвратимой аварией. И я открыл глаза.

Будильник с грустной доброжелательностью вытаращил на меня циферблат. Я повернулся к нему боком и проделал весь комплекс, потом окатился водой, но все равно чувствовал, что недоспал, и от этого не хотелось есть. Я надел кожанку и вышел.

Путь от дома до остановки троллейбуса измерялся сигаретой. Я вышел из парадного и закурил. Все было привычным: и сухой щелчок зажигалки, и первая затяжка; но я чувствовал, что все — не то.

Проходной двор вывел меня на Литейный.

По-утреннему громко скрежетали трамваи. Только что политый асфальт парил под неярким солнцем. Еще слышался шум поливщика, похожий на гудение большо-

го комара, но самой машины не было видно за радужной водяной пылью, поднятой ветром.

Я подошел к остановке и, не глядя, привычным движением бросил окурок в урну. Посмотрел на цепочку людей, стоящих у края тротуара, и снова почувствовал странность этого, только начавшегося, дня.

Не было среди людей на остановке знакомых, которых я встречал каждое утро. Мне не хватало их привычных фигур. Несколько лет изо дня в день я встречал их здесь, а сегодня не встретил, потому что вышел раньше обычного.

Чавкая колесами по мокрому асфальту, подкатил троллейбус, и я вместе со всеми протиснулся в его теплое темное нутро. Почувствовал чей-то острый локоть, упершийся мне под ребра, чужое влажное дыхание на шее; ухватился рукой за поручень, другой достал проездную карточку, поднял над головой, опустил и снова спрятал в карман. Все движения были заучены, привычны; все было как всегда: и скрип кузова, и вой электромотора, щелканье педального контроллера, звон монет, падающих в кассу, мелькание знакомых витрин и перекрестков за стеклом, и гомон, и смех, и качка.

Меня вдруг охватило чувство неповторимости всего. Будто уже никогда не ездить мне в троллейбусе утром в этой толкотне, мелькании витрин и привычных лиц. От этого все вдруг стало очень хорошим и нужным, без чего нельзя обойтись в жизни, даже духота и качка. И с этим настроением я вылез на своей остановке, переулком прошел на новый, еще не имевший названия проспект, пересекавший железную дорогу.

Здесь, над заляпанным грязью асфальтом, по одной стороне уже поднимались белые кирпичные стены новых домов, а по другой тянулись холмы мусора, ржавого железа и столбики с табличками «Свалка мусора строго воспрещается». А дальше было царство автомобилей: по обеим сторонам проспекта — нескончаемые заборы гаражей.

Здесь почти каждый прохожий был шофером, и я узнавал водителей грузовиков по тяжелой, увалистой походке, покатости сильных плеч, крепким кирзовым сапогам; шоферы легковых выглядели иначе — ровнее походка (голеностопы не переразвиты тяжелыми педалями!), прямее плечи, не такие обветренные лица.

Все они были мне как родственники, хотя мы ни разу не перемолвились словом; я мог подойти к любому и

спросить спички или папиросу и назвать на «ты». Каждое утро мы проходили по этому безымянному проспекту вдоль заборов, за которыми шумели моторы, и каждый шел к своему гаражу, и как будто никому не было дела до других, но все равно мы были все вместе — невысказанное братство соединяло нас.

У ворот я немного помедлил и оглядел проспект.

Шли шоферы к своим гаражам, шли сутулясь в потертых кожаных куртках и обычных пиджаках; совсем пожилые и недавно пришедшие с курсов, но больше всего моих сверстников — двадцатипятилетних.

И стало грустно оттого, что мне уже не придется ходить рядом с ними по этому проспекту, и они даже не узнают об этом.

Я поглубже сунул руки в карманы куртки и свернул во двор гаража. Вахтер баба Рая не спросила пропуска — она знала нас всех в лицо.

Машины стояли рядами. Их четкий строй образовал правильный прямоугольник, посередине которого высился старый тополь с бородавчатым стволом; корявые толстые сучья поддерживали огромную крону, бросавшую тень на машины, листва была серой, она становилась зеленой только после дождя или сильного ветра.

По одинаковости интервалов между машинами я сразу узнал, что загонщиком дежурил Левка. Только он мог так ровно и точно поставить машины. Я всегда восхищался верностью его глаза,— он может загнать машину в любую дыру, которая хоть на сантиметр больше габаритов. Я даже завидую, хотя понимаю, что это какой-то природный дар. Он — настоящий шофер. Мне много раз приходилось видеть его за рулем, и это всегда доставляло удовольствие.

Я езжу уже восьмой год, и даже по тому, как человек открывает дверцу кабины и садится за руль, могу сказать, какой он шофер — хороший или плохой. Но есть еще высшая степень профессиональности, которую не узнаешь так, сразу.

Если человеку уже двадцать пять и он работает шофером прямо после школы, то, значит, он так и будет шофером, пока не окончит институт или техникум или пока его не лишат прав; он добровольно не переменит профессию, не пойдет в слесари или плотники, потому что ему двадцать пять и он не может жить без машины. Те, кто разочаровывается, бросают шоферскую работу в первый же год, а кто проработал больше пяти, те не

бросают, хотя это не самая хорошая работа на свете. И вот из тех, кто остался шофером на всю жизнь, получаются посредственные и хорошие шоферы, и такие настоящие, как Левка Лудянский.

Шофер привыкает к машине; пересади его на другую модель или марку, он привыкнет и будет работать на другой. Будет ездить, слышать мотор, ориентироваться в уличной обстановке; может быть, кое-где струхнет немного, кое-где взмокнет, но все равно будет работать,— это посредственный шофер; таких много.

Есть шоферы, которые начинают чувствовать новую машину почти сразу. Им не страшна любая дорога, любая суматошная улица, они мгновенно реагируют, видят светофор, и «зад-перед», и красивую девушку на тротуаре,— это хорошие шоферы; таких тоже много, пожалуй, большинство. Они с машиной на «ты», а у каждой машины, даже совсем новой, как у человека, есть свой характер, и чудачества, и пристрастия; и хороший шофер чувствует и понимает это, но все равно где-то в глубине души ощущает этот промасленный рокочущий металл как нечто самостоятельное; и чтобы этот металл делал то, что требуется, нужна воля, нервная энергия, усилия рук и ног — постоянное единоборство человека с машиной. Пусть доведенное до автоматизма и поэтому незаметное даже самому шоферу, но все-таки единоборство.

Для Левки Лудянского не существует всех этих сложностей, у него нет чувства отчужденности за рулем, нет ощущения, будто машина сама по себе,— он просто не замечает ее, как не замечаешь воздуха, которым дышишь. Любая запруженная транспортом улица просторна для него, и кажется, нет на его машине ни руля, ни педалей, ни мотора, и вообще нет машины, а есть картавый и рыжий волшебник с Саперного переулка, который проносит тебя по твоему городу, чтобы ты понял, какой этот город просторный и ровный и какой красивый. Левкина езда так же естественна, как дыхание, свет солнца или течение Невы.

Непосвященному трудно отличить эту езду-полет от обычной профессиональной, но любой шофер узнает ее по каким-то необъяснимым признакам,— то ли по тому, что бросающиеся под колеса пешеходы не будут вызывать в тебе злости, будто ты видишь их Левкиными глазами; он никогда не злится: «Лунатик. С такой женщиной я бы тоже кинулся под машину».

И устает Левка меньше, но он тоже тратит нервы, мускулы, мозг: в мире нет машины, которая работала бы только на одном бензине. Да и не будет, пожалуй, иначе станет ненужным человек.

Не знаю, какое вдохновение бывает у поэтов, но шоферское такое: в слиянии с машиной еще сильнее — на высшем уровне — ощутить себя человеком. Такое, хоть раз в жизни, испытал каждый шофер. Ко мне это приходит иногда, через час-полтора после начала смены, и уходит за час-полтора до конца...

Я еще раз посмотрел на ровный строй машин, на старый тополь, простерший над ними ветви с пыльной листвой, и пошел в диспетчерскую.

Диспетчер Вера молча кивнула из-за стеклянной перегородки, положила окурок в пепельницу и достала из ячейки стенного шкафа мою путевку и техталон. Я расписался в путевке и ведомости на бензин и попросил лист бумаги. Вера протянула лист в полукруглое окошко в стекле.

Я отошел к промаслившемуся от сотен шоферских рук столу у окна и достал авторучку. Солнечные пятна легли на бумагу, и прямо по ним я писал:

«...В связи с изменившимися семейными обстоятельствами, прошу уволить меня по собственному желанию с...» — Я подумал и поставил завтрашнее число.

Хлопнула дверь. Кто-то подошел и встал за моей спиной. Я обернулся и близко-близко увидел Левкину рожу, улыбчивую, плутовскую, в рыжих накрапах веснушек.

— Салют. Не подпишет с завтрашнего, заставит две недели отработать.

Я завинтил колпачок ручки, спрятал ее в карман, сказал:

— Попробую объяснить, может и подпишет.

Левка плюхнулся на промасленный стул и фыркнул:

— Ха, тоже мне, что ты — нашего начальника не знаешь?

Правда, начальник у нас был не из сговорчивых. А меня он вообще не любил. Мы как-то крупно поспорили из-за резины. Я проехал на ней полторы нормы, а он не хотел выписывать новую, но все-таки выписал и, наверно, запомнил.

— Как матушка?.. Будешь? — Левка протянул сигарету. Я взял.

— Через неделю выпишут. Врач говорит — на юг надо и, вообще, питание.

— Работать-то она будет потом?

— Да ты что? Да и хватит, поработала. Заработаю как-нибудь на двоих.

— Затянешь институт. Все-таки такси — это не то что у нас.

— Сейчас лето, а там видно будет. Пойду машину посмотрю, пока начальника нет.

— В третьем ряду, ближе к кочегарке.

Во дворе уже гудели моторы. Ребята возились, сунув головы под задранные капоты. Кто-то кивнул мне, подняв голову. Солнце било в глаза, и я не рассмотрел, кто это, но помахал рукой.

Машину я увидел еще издали, она одна в гараже такого густого синего цвета. Мне нравился этот цвет: он какой-то оригинальный, а то у нас все машины серые и бежевые. Таких синих получили всего три; одной не повезло сразу: ее разбил Витька Цветков; вторую перекрасили в прошлом году — она здорово обшарпалась; а моя еще держалась, даже поблескивала, будто молодая,— правда, я полировал ее польской пастой.

Я обошел машину вокруг, посмотрел, как накачаны баллоны, проверил уровень масла, заглянул в горловину радиатора, потом забрался в кабину, завел двигатель, проверил тормоза и вырулил поближе к воротам.

Все было, как всегда,— и упругость педали под ногой, и ощущение руля в ладони, и привычная фигура бабы Раи у ворот.

Я вылез, вытер руки и пошел к начальнику.

Перед дверью кабинета я минуту постоял, обдумывая, как бы лучше сказать обо всем. Слова, подходящие к случаю, казались какими-то жалкими и унизительными. Я совсем не умею просить чего-нибудь, особенно у начальства. Очень трудно рассказать начальнику, что у меня больная мать, что ей удалили почку и теперь ей нужно лечиться в санатории, всю жизнь сидеть на диете.

А что видела моя мать за свою жизнь? Она еще не старая,— ей было двадцать пять, когда началась война; а мне — три года. Отца призвали в первые дни. Он погиб под Невской Дубровкой.

Только потом, много позже, я понял значение этих фактов в своей жизни. Тогда же я видел только материнское лицо, вдруг ставшее очень спокойным, просто каменным; глаза, опасливо посмотревшие на меня; руки

в мыльной пене, осторожно держащие за уголки твердый картон похоронки, и голос, почти такой же, как всегда: «Ты бы пошел во двор, пока погода хорошая».

И я вышел во двор и ходил там на пронзительном февральском ветру, пока не замерз. А когда вернулся, увидел, что мать все стирает и лицо у нее такое же каменно-спокойное, каким стало час или полтора назад, только движения рук, взбивающих пену в корыте, быстрее и резче обычного, будто она здорово рассержена на меня.

Кажется, с того самого дня, час за часом и день за днем, помню я свое детство и мать, вечно склоненную над работой, с навсегда окаменевшим лицом, с резкими, будто сердитыми движениями рук; с того дня никогда я не видел ее плачущей и никогда — смеющейся. Только недавно в больнице, когда меня пустили к ней после операции, она улыбнулась. Улыбка эта была неумелой и трогательной. Я оценил ее, улыбку человека, не улыбавшегося двадцать лет, улыбку для того, чтобы не расплакался великовозрастный сын. И там, в больнице, у ее постели, я понял, что все эти двадцать лет мать жила только мной, только для меня. И так, что я не видел ее слез, но и не видел улыбки.

Она отгородила от меня свое горе и одиночество, лишь бы я был весел и счастлив. И я был счастлив, как весенний теленок, ценой ее одиночества, которое не могло уйти, потому что она воздвигла вокруг себя каменную стену молчания, сквозь которую не смог пробиться ни один человек, даже мне понадобилось на это целых двадцать лет...

Я притушил окурок сигареты о каблук, бросил его в урну, полную промасленной ветоши, и постучал в дверь.

Начальник сидел, положив на стол массивные руки. Я увидел его темный тяжелый профиль, закушенную в углу рта папиросу, коричневую шею, которую, наверно, трудно было сгибать, такая она была толстая. Я поздоровался, подошел вплотную к столу, набрал в грудь воздуху и сразу почувствовал, что все убедительные слова вылетели из головы. И я, шумно выдохнув, положил на стол свое заявление.

Начальник немного согнул шею и прочел, потом тихо крякнул и посмотрел на меня.

— В такси? — Он пыхнул папиросой.

— Да.

— Эх, голова, забросишь ведь институт.

— Не знаю.

— Может, пойдешь механиком в ОТК? Никаноров на пенсию идет.

— Нет, там сменная работа.

— Ну, смотри.— Он размашисто подписал заявление.— Там-то тебя берут, договорился?

— Берут.

— У профорга подпиши.— Он протянул мне листок.— Наладятся дела, приходи обратно.

Я только кивнул и вышел. В коридоре прочел резолюцию. Неразборчиво и крупно было написано: «Уволить по собств. желанию»,— и стояло завтрашнее число. Я был ошарашен: не думал, что это получится так легко, без трудных для меня объяснений, без раздражения. А я, признаться, считал, что наш начальник — сухарь, привыкший только приказывать и начисто отметать всякие человеческие побуждения и прочую ерунду.

Я спустился во двор, разыскал машину нашего профорга Петьки Неверова, выволок его из-под капота за полу пиджака и дал подписать заявление.

— Давай. А к осени и я приду к тебе в сменщики. Что-то стало мне здесь надоедать, но отпуск отгулять охота.— Он возвратил мне авторучку и добавил: — А вообще, зря ты уходишь.— Повернулся и снова сунул голову под капот. А мне стало грустно, как только я подумал, что уже не буду здесь по утрам готовить машину к выезду вместе с Петькой Неверовым, Левкой и другими хорошими ребятами и девчонками, не увижу этого пыльного тополя, четких рядов «Москвичей».

И никогда я не полюблю свою новую работу так, как эту. Но я все время твержу себе, что нужно, нужно — и все. И это самое высшее соображение, против которого нечего возражать. Я говорю себе, что это нужно ради матери, а на самом деле она будет против. И наверно, я делаю все это больше для себя, чем для матери: мы бы обошлись на ее пенсию и мою зарплату, но где-то в душе я бы чувствовал себя вечным слабаком, как будто мне съездили по физиономии, а у меня не хватило смелости дать сдачи. И наверно, мне стал бы не мил этот гараж и моя налаженная жизнь, и я бы не чувствовал равенства с Левкой и Неверовым, и любовь моя к ним превратилась бы в зависть и неприязнь к цельности их существования. Смешной парадокс: для того чтобы то, чем дорожишь, осталось с тобой, нужно расстаться с ним. И я расстаюсь,

ухожу, но все остается со мной: и наше братство, и цельность, и безмолвные признания в любви. Но откуда тогда чувство потери?

Я сел в машину, подъехал к проходной, через окошко протянул бабе Рае контрольный листок и вырулил из ворот.

Машины по проспекту шли сплошным потоком. Взревывали дизелями МАЗы и «Татры», грохотали кузовами порожние самосвалы. Я стоял у края проезжей части, мигая левым указателем поворота, и никак не мог влезть в этот фыркающий поток, и уже начинал нервничать, потому что из-за этого заявления выехал позже обычного и чувствовал, что опаздываю в поликлинику.

Я не люблю опаздывать, а в эту поликлинику особенно, потому что там хорошие люди, которые никогда не станут шуметь из-за пятиминутного опоздания.

Контролька указателя поворотов на щитке утомляла глаза, и я уже озлился не на шутку от бесполезного мигания ее красного кружка. Справа уже не было машин, а слева приближался седельный тягач ЗИЛ с шаландой-полуприцепом. Мне было не проскочить мимо него. Я скорчил жалобную мину парню с этого ЗИЛа и провел ребром ладони по горлу, показывая, как мне некогда, и он затормозил перед моим «Москвичом»; я поблагодарил его кивком и рванул вперед. Лицо парня показалось знакомым,— наверно, встречались где-нибудь в шоферской столовке или учились вместе на курсах.

Я погнал машину по левому ряду, обходя грузовики, автобусы, «пикапы». Проспект вывел меня на шоссе, и я прибавил газу.

Мой «москвичишка» пробежал уже семьдесят тысяч, но я не уступлю ни ЗИМу, ни «Волге», а по маневренности еще и обставлю эти мощные машины. На узковатом шоссе «Волге» уже не выйти на обгон при сплошном встречном движении, а «Москвич» пролезает между встречными машинами.

Впереди был участок, где обгон запрещен, и я хотел достигнуть его раньше всего утреннего потока грузового транспорта. Обогнав еще два «газика», я увидел впереди знак, запрещающий обгон, и свободную дорогу, по которой одиноко катила блестевшая на солнце «Волга». Теперь я был уверен, что не опоздаю,— легковая не задержит. Я всегда избегаю улиц с грузовым движением — маршрут иногда становится длиннее, но времени тратишь меньше.

Я догнал «Волгу» и пошел за ней. Она была с личным номером и шла со скоростью тридцать пять — сорок километров. Дорога здесь была выбитая и грязная, и я подумал, что она проедет этот кусок и прибавит. В заднее стекло «Волги» я видел темную шляпу.

Плохо, что шляпа, лучше бы кепка или совсем непокрытая голова. Протащит меня на этой скорости до самого переезда. Хотя шляпа, конечно, не доказательство, она может быть и на стóящей голове...

Грязный участок кончился, а шляпа все тащилась, и я нажал на сигнал. Такие наездники очень бурно реагируют на сигнал,— может, и этот поедет быстрее. Шляпа несколько раз колыхнулась. «Волга» рыскнула вправо, совсем чуточку, но я-то сразу заметил. Но темп не изменился: тридцать пять — сорок километров,— светлый багажник у меня перед носом и шляпа, невозмутимая, непробиваемая, словно отлита из чугуна.

Ну, погоди же! Я достал из-под сиденья желто-красную жестянку, которой ревизоры останавливают такси — нашел как-то вечером у вокзала да так и возил под сиденьем,— приставил ее к стеклу и просигналил, громко и требовательно. Шляпа зашевелилась, «Волга» вильнула вправо и затормозила на обочине. Я поддал газу, проскочил мимо и, приставив к носу пятерню, показал этой шляпе здоровенный «носик».

На Лиговском светофоры не работали, я пролетел его не останавливаясь, объехал площадь Восстания и выскочил на Невский.

Я люблю утренний Невский. Утром нет праздной, вязко текущей толпы, которая выплескивается с тротуаров на проезжую часть; нет столпотворения у входов в магазины и кино — все деловое и торжественное: и лотошники в еще свежих, не обмявшихся куртках, и чисто вымытый асфальт, и блестящие троллейбусы и машины (к вечеру они потускнеют от пыли); и утреннее солнце, по-особенному светящее в воздухе, еще не замутненном городскими испарениями; и небольшой, заметный только шоферу, уклон проспекта, который, кажется, сам несет машину к Адмиралтейству, к Неве...

Влившись в движение на проспекте, я вдруг почувствовал, что машина перестала существовать сама по себе; она никуда не делась, все было здесь: сиденье, на котором я сидел, педаль акселератора под правой ногой, податливый руль в руках, зеркало — все было здесь, но все перестало существовать отдельно, все слилось со

мной, вошло в меня, и уже не было машины, а был только я, но уже не прежний, а другой, новый; где-то позади осталось мое имя, случайная боль, случайная радость; я стал одним из многих, каплей этого потока машин, материальной точкой во всеобъемлющем теле жизни, шофером среди шоферов. Это придало моему существу новый смысл и значимость, принесло стойкую спокойную радость, сознание того, что я — частица этого стремительного утреннего мира, наполненного прозрачным солнечным светом, человеческой общностью, воспоминаниями, неудачами, победами, борьбой, отвергающей всякую неудачу, всякое поражение.

И я пронесся по Невскому, по набережным, через мост, до самой поликлиники словно в один миг. Свернул во двор, объехал круглый скверик с цементной чашкой фонтанчика и, поставив машину у служебного входа, пошел отмечать путевку.

У диспетчера я узнал, что буду работать с доктором Петровым. Я очень обрадовался, что последний день отработаю с ним. У нас были дружеские отношения, хотя он старше на целый десяток. Мы любили одни и те же фильмы, книги, даже вина.

Я вошел во двор, сел в машину и достал книжку о Пушкине. Я начал ее несколько дней назад, читал в приемной больницы, пока ждал допуска к матери, в троллейбусе, если удавалось сесть. Удобный формат — влезает в боковой карман куртки, и я берег ее для таких случаев, а на работе читал конспекты и учебники.

Я развалился на сиденье, положил книжку на руль и стал читать. И меня захватило неспешное и любовное описание большой библиотеки, которая принадлежала Пушкину. И хоть книга была «не художественная», но я отчетливо, как наяву, ощутил характерный запах большого собрания книг, представил себе весомость толстых томов в шершавых кожаных переплетах и почувствовал то тихое смятение, которое всегда охватывает меня перед незнакомыми книгами, стоящими на полках. Кажется, что все они полны откровений, которых я не знаю и никогда не открою, потому что нельзя прочесть все книги на свете...

Я читал и видел размашистые пометки Пушкина на полях, понимал, когда он спорит, издевается, думает.

И мне захотелось увидеть его, живого, подвижного, со сменой мыслей, видной по лицу. Я с детства привык воображать себе людей, о которых читал. Они не всегда

были похожи на тех, что описывались, но для меня были реальностью.

А с Пушкиным не получалось. Может быть, потому, что я не мог решить для себя, что за человек Наталья Николаевна. Я читал письма Пушкина к ней, чувствовал, что он любил ее, и это как-то не соответствовало ее легкомысленному поведению при дворе.

Большая, редкая красота, наверное, портит женщину, как всякое легкое богатство портит человека. Но хотелось верить пушкинскому чувству, а не кривотолкам, окружавшим имя его жены. Мы ведь почти ничего не знаем о ней, кроме каких-то внешних событий жизни. Да, молва свидетельствует не в ее пользу. Но когда эта молва была справедлива к кому-нибудь? Она обычно неумна и жестока, потому что основывается на очевидности, видимости. Но видимость никогда не заменит сути...

И красота — тоже большая сила, очень часто она оказывается сильнее трезвых оценок. Вот ведь тянет меня в Гостиный, к той девушке. А что я знаю о ней? И вообще, что я знаю и понимаю в мире, кроме автомобиля? Окончу институт, буду работать где-нибудь на эксплуатации или ремонте и по вечерам конструировать свой кар. Я уже давно понимаю, каким должен быть современный автомобиль. Вот только по архитектурной части я не тяну...

Какая-то туча закрыла солнце, во дворе посерело, и сразу слышнее стал шорох листвы высоких дубов, звонче забулькала струя фонтана. Я нашел на странице строчку, на которой остановился, и стал читать. И не заметил, как начался и прошел редкий дождик. Когда вышел Петров, чтобы ехать на вызовы, все ветровое стекло было в мелких каплях.

Петров был не в духе и молчал. Я медленно ехал по Лесному проспекту. Асфальт уже просыхал и светлел.

— Последний раз работаем с вами, Григорий Игоревич, — сказал я.

— Все-таки ухóдите. Опередили меня. Куда?

— В такси пойду. А вы?

— Да, знаете, еще не решил, но уходить надо. Это не работа. Не видишь ни результата, ни благодарности. Вот едем к какой-то истеричке. Выдумала себе, что у нее сердце останавливается, и вызывает всех. Вчера участковый был и невропатолог, сегодня я еду. Никто ничего не находит, а вот ездим, еще консультант поедет. А тот, кому действительно плохо, будет сидеть час в очереди на

прием, потому что такая дура, когда ей говорят, что здорова, начинает кричать, что будет жаловаться. Участковому неохота, чтобы на него эта жалоба пришла в райздрав, а невропатологу — тем более. Вот так и будем ездить. Поликлинических врачей уже за людей не считают. Такая дура будет юлить перед парикмахером или портным, а на врача она считает возможным кричать и жалобы писать. Сколько в газетах пишут, что врачи такие и сякие, а вот ни об одном больном — хаме или симулянте — не напишут. Нет, надо в стационар переходить, там тоже не сахар, но по крайней мере на тебя как на человека смотрят.— Петров затянулся сигаретой и умолк.

Я свернул во двор и остановился у парадного. Петров вышел, нескладный, длинный, обошел машину, поправил очки, взглянул на табличку с номерами квартир и вошел в парадное. Потом из-за флигеля выехала серая «Волга» и направилась ко мне. Я включил передачу и приготовился дать ей дорогу, но она остановилась в нескольких метрах. Вылезла женщина и пошла в парадное. Мужчина за рулем коротко взглянул на меня, вынул газету и стал читать. Номер на машине был личного пользования, и вся она была такая свежая, сверкающая, праздничная, какими бывают только очень новые машины.

Приятно смотреть на новую машину. Мне бы «Волги» хватило на двадцать лет. Она хорошо задумана — делай ей профилактику вовремя да не надрывай, и будет она служить безотказно. Но я, даже если бы имел возможность, не купил бы машину. У нас в городе нет автолюбителей — есть автогоремыки, которые заискивающими глазами бездомных собак (бывают такие добрые и грустные собаки) смотрят на всех, начиная с продавца в автомагазине и кончая дворником. А вообще, конечно, приятно прокатиться куда-нибудь в выходной за город или просто так иногда проехать по городу, не по обязанности, а куда глаза глядят; светлой ночью выехать на Приморское или Киевское шоссе и не спеша пройти километров двадцать — тридцать. Как-то очень спокойно становится на душе от езды по ночному шоссе; встречные машины попадаются редко, мигнут фарами, ты в ответ тоже мигнешь — и снова один, а по бокам, на фоне серого неба, мелькают темные силуэты деревьев, деревянные домики. А когда подъезжаешь по Киевскому к Ленинграду, уже миновав Пулково, то с горы тебе

открывается город в желтом тумане ночного освещения, ближе — цветные огни аэропорта и ряд красных мигалок посадочной полосы.

И ты смотришь на свой родной город, где все сейчас отдыхает: натруженные мостовые, остывающие троллейбусы, влажные от росы трамвайные рельсы, выключенные светофоры, натянутые провода,— и чувствуешь какую-то гордость за этот город, за спящих его жителей; и все здесь твое, родное — камни, люди, могилы, в одной из которых твой отец. И тут понимаешь, что отец и другие умерли не потому, что смерть была неизбежностью,— нет, они были молоды и хотели жить, но для них было важнее, чтобы осталась на земле человеческая общность, породившая этот город и еще много других городов, сплотившая миллионы одиноких существований в единую жизнь. И они — мой отец и другие — знали, что за эту общность никакая цена не является чрезмерной... Я был слишком мал, чтобы почувствовать горе, и мать берегла меня от этого, но, взрослея, удаляясь от этой смерти во времени, я как будто приближался к отцу, и он становился не только отцом, но и сверстником. И с годами я полной мерой почувствовал горечь и гордость...

Вернулся Петров, и мы двинулись дальше. Я сказал:

— Мне сегодня надо заехать в кадры, взять обходной, а то потеряю на это лишний день.

— Поезжайте сейчас. У меня в тридцать девятом три вызова, даже если такие, как этот был, все равно час пройдет. Хватит?

— Хватит. Ну, а что у этой тетки?

— Ерунда. Понимаете, когда здоровая женщина тридцати пяти лет ни черта не делает, и детей нет, а живет в достатке, то она беситься начинает. Муж какая-то шишка; видимо, занят. Вот она и закатывает представления, хочет, чтобы он не отходил от нее. А он, кажется, все понял, но врачей вызывает, чтобы самому с ней не ругаться, и еще возмущается: «Из нашей поликлиники врач ездит, тот такой внимательный, а у вас больную толком не осмотрят даже». Ну, я разозлился и сказал ему: «Лечились бы в своей поликлинике и не лезли бы туда, где все люди. Было бы у вашей жены двое детей, да работала бы где-нибудь, так некогда было бы выдумывать себе хвори». Наверно, будет на меня жаловаться, ну и черт с ним.

— Да, в этих поликлиниках нагрузка на врача

поменьше. Работал я в одной, чуть не замерз насмерть. Мороз был, а докторша как уйдет на вызов, так чуть не на два часа, а у меня, как назло, моторчик отопителя перестал работать.

— Вот видите. А кто из нас может позволить себе такую роскошь? Тут на два часа приема участковому выдадут целую кучу номеров, из них половина первичных, вот изволь принять. Нет, уходить надо. Так часа хватит?

— Вполне.— Я высадил Петрова и помчался в управление.

Петров делает визиты быстро, но если попадется неясный больной, он не уйдет, пока не разберется. Бывает так, что после работы он идет еще раз посмотреть больного. По-моему, он очень хороший врач, только нервы у него не в порядке, как и у многих. Мне он очень симпатичен; есть в нем какое-то такое неприятие даже неизбежного мелкого зла,— может быть, он поэтому такой нервный. Потом у него нелады с женой, живут они врозь. Я был у него — комната пропахла табаком, пыльные книги на подоконниках, бутылки, электрический кофейник — на всем след неустроенности, одиночества. Петрова держит на плаву только работа, именно она берет его целиком и не дает почувствовать одиночества. Дай ему спокойную работу, и все это задавит его, он запьет и пропадет. И все это он прекрасно понимает сам,— я его достаточно изучил. И никуда он не уйдет, а все эти разговоры о спокойной работе — только для того, чтобы отвести душу. Да и нет на свете для Петрова спокойной работы; он из тех, которые всегда делают больше того, что требуется от них по обязанности. И к тому же отходчив Петров, как все русские люди. Вот час назад проклинал свою работу, а сейчас вышел с легкой улыбкой и сказал:

— Вы постойте, я пива кружечку приму,— заговорщицки подмигнул, поправил очки привычным движением и сутулясь зашагал к ларьку.

Мы работали еще часа два, и за это время я дочитал книжку. Понравились последние главки. По-моему, они глубже всего в этой книге.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

Я давно знаю это стихотворение, лет десять, наверно. Но, кажется, не понимал до сих пор. Вот глубина пушкинская: восемь строчек, а чтобы мне открылся их

смысл, понадобился комментарий — целая книга и десять лет жизни...

...Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия...

Да, уносит, безвозвратно, необратимо... Но что-то все-таки остается... Память! Конечно, память! Человек на три четверти состоит из памяти, памяти о прошлом. Настоящее — это только рубеж между прошлым и будущим; как этот мой день, отделяющий меня вчерашнего от меня завтрашнего.

...Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Усталый раб... Раб надежды... Он не публиковал этого стихотворения: наверно, написал незадолго до смерти, а может, просто не хотел.

После вызовов меня отпустили на обед. Я поехал в магазин «Главконсерв». Я всегда туда езжу, когда есть время. Там, в демонстрационном зале, кормят вкусно, и никогда не бывает удушливой жары и запаха, как в столовых.

Девушка за прилавком работала очень быстро. Приятно смотреть на человека, который умеет делать свое дело. Я стоял в небольшой очереди, вдыхал аромат кофе и любовался точными движениями девушки. Мужчина, стоявший впереди, сказал:

— Кладите, кладите, не скупитесь.

Ложка застыла в руках девушки, она с обидой глянула на меня, будто это я сказал.

— Я всем одинаково кладу, у меня ложка мерная. Тут многие каждый день ходят и ничего не говорят.— Она не глядя взяла стакан, поставила на тарелку.

Этот пижон, видимо, застыдился того, что сказал, и сморозил еще глупость:

— А я здесь первый раз, я только сегодня утром прилетел.

Мне захотелось, чтобы этот тип замолчал и больше не болтал глупостей, и я сказал ему:

— Бросьте, вы же специально каждый день летаете сюда лопать кашу.

Он обернулся и посмотрел на меня круглыми ошалелыми глазами. Наверно, принял за сумасшедшего. А мне стало весело от того, как он поспешно отошел от при-

лавка со своей кашей. Потом, пока я ел, он несколько раз поглядывал на меня, и приходилось пониже наклоняться над тарелкой, чтобы он не видел усмешки.

У меня оставалось минут двадцать, и после еды я пошел в магазин спорттоваров. Там работает одна девушка. Я очень люблю смотреть на нее, когда она разговаривает с покупателями, но кажется, что она стала замечать меня, и от этого становилось стыдновато. Я знал, что нужно подойти к прилавку, попросить показать какую-нибудь вещь, ну хотя бы ружье, а потом заговорить. Но я никак не мог решиться, какая-то необычная робость одолевала, когда я смотрел на нее.

И сейчас, войдя в зал, я остановился у противоположного прилавка и стал исподтишка смотреть, как она показывает какому-то старичку машинку для закатки патронов, что-то говорит и улыбается, а старичок смотрит на нее во все глаза и кивает головой. Я бешено завидовал этому старичку, а когда он ушел, отвернулся и стал изучать велосипедные части, но, даже не глядя, чувствовал ее присутствие, и когда повернул голову, то встретился с ней взглядом. Она не улыбнулась, но что-то в лице ее придало мне смелости, и я подошел, чувствуя, как рот расползается в глупую улыбку, и сказал:

— Мне нужна самая большая утка,— и показал рукой на полку, где были расставлены чучела.

— Пожалуйста, самая большая.— Она улыбнулась, слегка насмешливо и, как мне показалось, ободряюще. Я потрогал утку. Она была дутая, из пластика, и совсем легкая.

— Хорошая, а сколько стоит?

— Рубль пятьдесят шесть.— Она все улыбалась.

— Так дешево!

Я уже почти не смущался и плел всякую чепуху. Как-то незаметно узнал ее имя, пригласил вечером есть мороженое, но она отказалась. Я огорчился, и это, видимо, отразилось на физиономии, потому что она сказала, что завтра вечером свободна.

— Так завтра я буду встречать вас, Тамара,— сказал я, с удовольствием вслушиваясь в звучание ее имени.

Я ехал в поликлинику и улыбался сам себе.

Мы с Петровым сделали еще несколько визитов, и до вечера время прошло незаметно. На прощание Петров пристально посмотрел из-за очков и, пожимая руку, сказал:

— Вы же знаете адрес, заходите вечерком. Посидим,

выпьем бутылочку. Я с неделю по вечерам буду дома, решил одну статейку написать. Заходите. Я не из вежливости, а совершенно серьезно зову.

Я кивнул ему и вышел.

Солнце уже скрылось. Сухо шуршали дубы над головой, как-то печально позванивала струя фонтанчика. Пахло сыростью и лекарствами. Я сел в машину и выехал со двора не оглядываясь.

В гараже было тихо. У ворот на своей скамейке сидела баба Рая, рядом примостился механик Никаноров, пожилой угрюмый мужик в промасленной спецовке, на которой вместо пуговиц были здоровенные шплинты.

Я затормозил возле скамейки. Никаноров тяжело поднялся, приволакивая ноги, обошел машину вокруг, спросил:

— Заявки есть?

— Нет, все в порядке.

— Поставь во дворе. Потом вымоют.— Положив путевку на крыло, он расписался и снова сел.

Площадка для машин была пуста, и тополь одиноко высился посередине. Я поставил машину вплотную к его бородавчатому стволу и поднялся в диспетчерскую, сдал путевку и дал диспетчерше Екатерине Григорьевне подписать обходной лист за табельщицу и библиотекаря. Я не любил эту Екатерину, она была нудновата и медлительна. И поэтому, когда она спросила, почему увольняюсь, ответил, что просто надоело.

— Надо же — все увольняются,— покачала она головой.

Я спустился в кладовую к Тоне Сизовой. Тоня подписала мне обходной и сказала:

— Все хорошие ребята убегают. Так и останусь в этой кладовой старой девой.

В ее светлых глазах мелькнули веселые чертенята, но лицо стало грустным, и пухлые розовые губы обиженно поджались. Я улыбнулся ей, насколько мог веселее.

— Я бы давно предложил тебе руку и сердце, да боялся, что пошлешь меня подальше.— Я наклонился и поцеловал ее в висок, туда, где мелко вились легкие русые волосы. Тоня оттолкнула меня, тыльной стороной ладони вытерла висок.

— Иди ты, болтун,— сказала она, но улыбнулась.

Я вышел и направился к проходной, но что-то словно толкнуло меня в спину. Я обернулся. Машина стояла под

деревом, как прижавший уши маленький кролик. Я вернулся и погладил ее по еще теплому боку.

У проходной мне встретился слесарь Андрей Иванович.

— Я слышал, уходишь?

— Ухожу,— буркнул я. Мы с ним недавно ругались из-за шаровой опоры: поставил мне реставрированную, которая была еще хуже старой.

— Добьют теперь машинку, пойдет по рукам,— кивнул он в сторону площадки и протянул сигарету. Я дал ему прикурить от зажигалки, но на площадку не обернулся.

— Почему добьют? Закрепят какого-нибудь парня.

— Может, и так, а то жалко, еще приличная.

Я кивнул.

— А я двадцатого на пенсию ухожу. Ты уж не сердись. Ругались, так без этого не живут.— Он опустил сивую, коротко стриженную голову и задумчиво дымил сигаретой.

— Ладно.

Мы пожали друг другу руки. Я кивнул бабе Рае и вышел из ворот.

Ужинал я в маленьком кафе неподалеку от дома. За столиками вокруг сидели парни с девчонками, много смеялись, мало пили. Лица у всех разрумянились, блестели глаза. А я был страшно далек сейчас от этой праздничности. Я смотрел в окно на мокрую улицу и лениво жевал. Я был одинок сейчас, но это было уютное одиночество среди людей — просто все окружающее отдалилось, как будто для того, чтобы я мог охватить все разом и почувствовать меру своей любви и причастности. И я почувствовал благодарность и нежность ко всему этому миру. Не ту нежность, от которой лезут с пьяными поцелуями, а ту, с которой молча живут и, если надо, молча умирают.

В раздевалке скопилась очередь. Парни держали пальто и плащи, девушки поправляли у зеркала повлажневшие волосы, от них пахло духами.

Здоровенный усатый гардеробщик распялил мою кожанку так, что всем стала видна вытертая подкладка. Я попытался отобрать у него куртку, но он вцепился в воротник мертвой хваткой. Мне ничего не оставалось, как под взглядами девчонок повернуться и сунуть руки в рукава. Гардеробщик богатырским рывком надел на меня кожанку так, что ноги, кажется, оторвались от

земли. Я покраснел как помидор, сунул ему монету и вышел. Рукава свитера задрались до самых плеч, я тут же снял кожанку, поправил рукава и снова надел. Настроение было испорчено. Я побрел к дому под мелким дождем.

У тротуара стояла «Волга» — такси. Шофер, наклонившись, рассматривал полуспущенное колесо и ругался вполголоса. Я молчал — сам не люблю, когда лезут с бесполезными вопросами. Шофер выпрямился и сказал:

— Травит и травит, стерва, через золотник, а запаска с шишкой.

Я порылся в карманах, нашел золотник и колпачок, которые всегда имел про запас, и протянул ему:

— На, насос есть?

— Есть, есть. Погоди, подкачаю и подброшу тебя куда надо.

— Да я уж дома. Счастливо работать.

— Спасибо, друг. Ты с нашего парка?

— Нет, до свидания.

— Пока. Дай тебе бог чего хочется.— Склонился к колесу.

А мне стало весело. Я подумал о Левке и Петьке Неверове, Петрове и Тамаре, о всех хороших людях, которых встречал и еще повстречаю в жизни, и понял, что они никуда не уйдут; как бы далеко я ни был, они всегда будут со мной.

И я зашагал к дому, подставляя лицо дождю. И деревья на нашей улице приветно махали мне мокрыми ветвями, и кланялись бледно-желтые фонари.

2

Небо клубилось почти над самыми крышами, дымное, скучное.

Сухой снег порошил стекла машины.

Поток торопившихся на работу схлынул, и теперь обезлюдели улицы. Пустые трамваи громыхали на стрелках, почти не задерживаясь на остановках, и тусклый поздний рассвет крадучись входил в город.

Я ехал по Невскому от Адмиралтейства и старался держаться ближе к тротуару, всматриваясь в смутные фигуры редких прохожих, сутулившихся на ветру. Авось кто-нибудь, озябший, соблазнится зеленым огоньком. Но все шли мимо, спрятав лица в воротники. А на

стоянках — у Казанского, на Малой Садовой, на Рубинштейна — уже и без меня стояли вереницы машин.

Тускло светился приборный щиток, подрагивала возле тридцатикилометровой черты красная стрелка спидометра; нагнетая в кузов теплый воздух, гудела турбинка отопителя.

Настроение было плохое. В одиночестве на меня теперь находило какое-то отупение. До похорон я еще держался, потому что были хлопоты о гробе, месте на кладбище. А потом вдруг — пустота, равнодушие ко всему. Было только противно, что пензенская тетка, делая горестное лицо и причитая, лазает по ящикам шкафа, щупает материнское белье. Я отдал ей все, а то бы она не уехала еще неделю.

Навстречу мне от Московского вокзала шли машины — и все свободные.

Я пересек Литейный и свернул с Невского.

На стоянке против родильного дома стояло всего две машины.

Встану. Сейчас все равно никого нет. Я развернулся, пристроился в хвост последней «Волге» и увидел номер 44-16. Это Изька Гуревич. Я обрадовался. Всегда хорошо встретить приятеля: поболтаешь, перекуришь — и уже веселей. А Изька давно был должен мне пятерку. Я не напоминал: знаю, что мать у него старуха и две сестры-школьницы, а работает один. Сам отдаст, когда сможет. Но сегодня придется спросить, потому что денег даже на обед нет. Все истратил за эти дни.

Я пошел к передней машине. Изька сидел там с другим шофером.

Снег все падал, но ветра не было, и не чувствовалось холода.

Я открыл дверцу:

— Привет.

С Изькой сидел Мартын Петрович, тоже с нашего парка, пожилой. Они здорово накурили.

— Здорово, Генка. Наверно, полплана уже сделал и себе рубля три заработал?

— Да, сделаешь тут. У меня план горит. А я еще две смены по своим делам мотался.

— Я тоже недовыполню, наверно,— сказал Изька и вылез.— Как бы Мокринский в загон не списал.

Петрович тоже вылез.

— Не спишет. Что ж он — сам не работал, что ли?

Знает, что с таким графиком в феврале план не сделаешь,— сказал он.

— Изька, гони долг. У меня ни копейки денег. А работа такая, что не на что рассчитывать,— сказал я.

— Да, уже одиннадцатый час.— Изька вынул потертый кошелек.

— Эх, смотрите, баба выходит.— Палец Петровича с широким желтым ногтем показал на стеклянную дверь родильного дома.

Со ступенек сходила тоненькая женщина. Обеими руками она держала ребенка, запеленатого в серое одеяло. Полная маленькая старуха в белом халате поддерживала ее под локоть. Женщина наклонилась и поцеловала старуху в щеку. Осторожно переступая на каблуках-гвоздиках, она стала переходить улицу, направляясь в нашу сторону. Старуха быстро и мелко перекрестила ее в спину и скрылась в подъезде.

— Тебе пассажирка,— сказал я Петровичу.

Женщина перешла улицу и медленно пошла по тротуару мимо наших машин. Лицо у нее было бледное, из-под платка выбилась прямая прядь волос и свисала вдоль щеки; сверток был стянут марлевым бинтом, и от него по подолу тянулась белая нитка; снег уже успел поставить несколько белых точек на плечах женщины.

— Тебе куда, дочка? — спросил Петрович и открыл дверцу, приготовившись помочь.

— Спасибо, я на трамвай,— сказала женщина и, приостановившись, передвинула руку, поудобнее прижав ребенка к груди.

— Разве из роддома на трамвае везут? — сказал Петрович и приглашающе махнул рукой: — Садись, за десять минут довезем.

— Денег нету.— Она принужденно улыбнулась и отвела взгляд.

Петрович крякнул, будто поднял что-то тяжелое.

— Ну, вот что, садись-ка в последнюю машину, сейчас отвезем. Садись, садись, нечего разговаривать. На Охту? Отвезем.— Сильно косолапя, он подошел ко мне.— На-ка вот сорок копеек. Изя, дай тоже. Все равно, Генка, будешь стоять тут час, давай вези, раз последний.

Он протянул мне на ладони деньги — Изькины и свои.

— Да идите вы со своими копейками,— сказал я и пошел к машине.— Садитесь, гражданка.

Петрович положил мне руку на плечо:

— Ты погоди кобениться, знаем, что богач знаменитый, но это дело такое, общественное. Когда пиво пить будем, можешь за меня заплатить.

Я старался ехать плавно, объезжая крышки люков и выбоины. В зеркале мне было видно лицо женщины, сидевшей сзади: утомленное лицо, скуластое, с почти прозрачной кожей, сквозь которую проступала синева под глазами. Была она совсем девчонкой, с вздернутым носом и губами бантиком, в модном дешевом пальто. Много у меня таких знакомых девчонок. Этой просто не повезло больше, чем другим.

У перекрестка я остановился, ожидая зеленого, опять посмотрел в зеркало, заметил тихую улыбку, осветившую лицо, когда она приподняла угол одеяла, прикрывавший лицо ребенка.

— Сын?

— Дочка,— нараспев ответила она. По этому нежному распеву и улыбке я понял, что ей все — трын-трава. И то, что ни один подонок к ней близко не подойдет, когда узнает, что есть ребенок; и то, что придется разрываться, бегать с работы кормить, стирать пеленки... Потом еще мастит: почему-то у всех молодых и одиноких бывает мастит,— наслушался я про это в неотложной. А ей не страшно, ей хорошо. Вот ведь — великий инстинкт.

В муках рожают, в трудностях растят...

А сколько порой отчуждения между детьми и матерями... Я до самой зрелости не понимал, что значит для меня мать... Мы ставим матерям памятники. Но что толку в памятниках,— ведь это уже потом. Это уже не для них, это для собственного успокоения. Им не нужно ничего. Они и при жизни довольствовались малым... Только теперь я понимаю, что моя мать все видела и все знала про меня. Я был ясен для нее в своей суете, невнимательности, тщеславии. И сколько же прощала она мне черствости, самодовольства! Прощала самым высшим прощением, никогда не показав того, что все понимает. А с какой легкостью иногда мы готовы отвернуться от матери, чуть только поманит другая женщина, которая еще не умеет понять, не научилась прощать... Камень лежал бы на мне всю жизнь, если бы я покинул мать. Она все понимала. Она хвалила Тамару искренне, но мне нельзя было уйти. Это было бы так, будто вся материнская жизнь, вся усталость не стоили ничего... А Тамара... Она значила очень много, но слишком была наполнена

жизнью, слишком счастлива, для того чтобы пойти хоть на маленькую жертву... Я не держу обиды. И тепло во мне при мысли о ней, но если бы повторилось все снова — я выбрал бы мать...

— Вон, третий дом,— сказала пассажирка.

— Со двора?

— Не нужно, я дойду так.

— Это нетрудно, заодно развернусь.

Я свернул во двор и остановился.

— Давайте помогу вам подняться.

— Спасибо, я на первом. Большое спасибо.

Я открыл и придержал дверцу, пока она выходила.

На ближайшей стоянке было пусто: ни пассажиров, ни машин. Я постоял несколько минут и поехал дальше.

На следующей стоянке я взял пассажира, и началась обычная работа: разъезды из конца в конец, лениво гаснущие огни светофоров на перекрестках, пустая болтовня пассажиров,— работа не очень удачливая, но и не слишком плохая.

Я обычно не запоминаю лиц, некогда оглядываться на каждого пассажира. Вообще днем все ведут себя одинаково: «Пожалуйста, побыстрей», «Не знаете, когда приходит этот поезд?», «Плохая сегодня погода...». Словно стараются оправдать свое обобщенно-безличное звание — «пассажир». Вечером люди меняются. К началу театральных спектаклей спешат нарядные, надушенные женщины, наэлектризованные волнением, которое может разрешиться и воркующим смехом, и слезами истерики — в зависимости от поведения и слов мужчины, ошалевшего от спешки и полузадушенного ошейником галстука. «Опоздаем?» — «Возможно». — «Товарищ шофер, пожалуйста, побыстрей».— «Не действуй человеку на нервы. Надо было причесываться расторопнее. У него автомобиль, а не самолет».— «Ах, ты всегда испортишь мне настроение...»

Еще позже, в часы закрытия ресторанов, в машину садятся подвыпившие пары. Мужчины, разогретые вином, самодовольны и шумливы; женщины чуть печальны и снисходительны, иногда нескромны и злы.

Попадаются и такие, которым наплевать на присутствие шофера. А спокойствие шофера такси обманчиво. Если бы некоторые могли узнать его мысли, то, наверное, это надолго вывело бы их из душевного равновесия.

Много замечает шофер такси, так много, что к концу

дня у него часто портится настроение. И если сядет в машину под такое настроение кто-нибудь подгулявший и бесцеремонный да скажет грубое слово (бывают иногда и такие), он рискует быть наказанным не только за свое хамство. Шофер может и в милицию отвезти,— там разговор короткий, если пьян. Но обычно рабочий день проходит мирно, выручает все то же спокойствие. Тот, кто не владеет им, в такси не приработается. Правда, у некоторых это спокойствие доведено до такого уровня, что они, может, сами того не замечая, про честь забывают... В общем, работа эта не всегда приятная и веселая. Конечно, люди по большей части вежливы, но попадется под конец смены один грубиян, и все настроение испортит.

Днем работать легче: все едут по делу, нет пьяных. Только с выручкой плохо,— бывает такое затишье, когда пассажиров мало и на вокзалах нет прибытия поездов.

Я сегодня не ждал на стоянках, метался по вокзалам, подъезжал к универмагам и рынкам. Отвез тетке кухонный столик от мебельного магазина. Это, вообще, нарушение; если бы контролеру попался, то путевку он бы мне разрисовал. Ну, а план выполнять надо. Я еще мужику три рулона линолеума от хозяйственного отвез; здоровые, весь салон заняли, еле голову просунул, чтобы видеть дорогу.

Вот гонял, гонял, и только пятнадцать рублей, а уже три часа. Правда, через час работа оживится, но в восемь мне уже в гараж. И задержаться нельзя.

У Московского вокзала я взял троих ребят. Двое были мне ровесники, а один помладше. Приехали они из Коми АССР, из Инты. Все трое — шахтеры. Разговорились. Хорошие парни, хотят посмотреть Ленинград. Ну, я рассказал им, куда нужно сходить, что посмотреть прежде всего. Устроил в гостиницу, потом прокатил их по городу, показал Зимний, Петропавловскую, Исаакий. Они притихли и всё смотрели на памятники, на дворцы. У Инженерного замка тот, что помоложе, предложил купить кинокамеру и снять все, чтобы показать в Инте ребятам. И мы зарулили в ДЛТ. Они купили «Кварц», пленку и стали снимать все вокруг. Каждому хотелось поснимать, и они спорили и вырывали аппарат друг у друга. А я давал советы, что́ лучше снимать и с какой точки, и сам увлекся так, что не заметил, как прошло время. Я люблю показывать город приезжим. Рассказываешь — и сам будто впервые видишь все эти здания

и памятники, и чувствуешь их красоту, а то мы, ленинградцы, привыкаем к городу и в суете как-то перестаем его понимать. И с шахтерами этими я почти что подружиться успел, хорошие ребята.

Начало смеркаться, и стало плохо снимать, но тут как раз сломалась кинокамера. Парни успокоились, решили пойти в кино, и я высадил их у «Великана». Они немного выручили меня с планом.

И тут же я подцепил у Сытного рынка какого-то мешочника в романовской шубе. Знал бы, что он такой, так ни за что бы не остановился. Повез на Балтийский. От его мешка приятно пахло яблоками. Я спросил:

— Что — яблоки?

А он:

— Нет, все продал. Мешки это пахнут.

— Приятный запах.

— Антоновка. Хорошее яблоко, лежит долго. Баба у меня всегда в шифоньер ложит, чтоб белье пахло.

Привез я его к вокзалу. На таксометре выбило восемьдесят три копейки. Он дал рубль. А у меня меди совсем нет, одни двугривенные и полтинники. Я сказал:

— Дайте три копейки, а я вам двадцать,— и протянул ему монету. Он взял и вылезает. Я жду, что вылезет и достанет три копейки, а он говорит:

— Небось не победнеешь. Тебе иной и рубль лишний дает,— и улыбается, а рожа наглая, дубленая такая. И пошел от машины. Я вылез, пересек ему путь, подошел вплотную — он был пониже меня, но кряжистый. Я сказал:

— Это не смешно. Где-нибудь в другом, тихом месте я бы с удовольствием пошутил с вами, а сейчас придется вам просто уплатить по счетчику.

— Ишь ты, жук, думал, я тебе за три копейки двугривенный оставлю? — Он сунул мне под нос заскорузлые черные пальцы, сложенные фигой.— Накось, выкуси!

Я почувствовал, что от злости задрожали руки, стало жарко, но я сдержался и сказал ему громко:

— И все равно придется уплатить. Я не просил у вас лишнего,— а сам незаметно огляделся, чтобы выяснить, нельзя ли, не привлекая внимания прохожих, двинуть этому шакалу по челюсти. Но площадь была многолюдна, и на нас уже смотрели с остановки автобуса. Какие-то зеваки вышли из сквера и тоже тянули шеи в нашу сторону; остановились две женщины, проходившие ми-

мо. А этот тип совсем осмелел, почувствовав внимание людей.

— Не вяжись, нету у меня копеек. Не держу, понял? — Он орал и таращил глаза, рожа покраснела.— Может, тебе таких хочется, а? Хочется? — Он выдернул из-за пазухи толстую пачку денег и поднес мне к лицу в заскорузлой пятерне. Я отвернулся, сделал финт глазами, как в баскетболе, и резким движением выхватил у него деньги. Посмотрел, усмехнулся и сказал как можно тише и спокойнее:

— Ну, вот что, иди разменивай мелочь, а то через пять минут я уезжаю. Некогда, сам понимаешь, работать нужно.

Вокруг собралось много людей, но мне было на все наплевать. Я повернулся и не спеша пошел к машине, помахивая деньгами.

Он догнал меня, схватил за руку. Я на ходу двинул его локтем в бок, он отшатнулся и завыл:

— Гражданин! Что ж ты делаешь! Помогите!

— Не ори, а гони три копейки, а то плакали твои капиталы.

— Да на́, на́ тебе.— Он согнулся, шаря в глубоком кармане шубы. Лицо перекосила судорога.

Я сказал:

— Вот будешь знать,— и бросил его пачку в ту сторону, где стояли зеваки. Он, как вратарь, сделал бросок за ней, вытянув тело.

Я сел в машину. Минут пять гнал по Московскому проспекту, не останавливаясь ни на какие поднятые руки, и меня душил злобный смех. Потом успокоился и стал смотреть по сторонам. У бледной неоновой вывески радиоателье поднял руку кто-то длинный, в конусной меховой шапке. Я затормозил. Он приоткрыл дверцу и сказал:

— Одну минуту, я вынесу приемник.

— Давайте.— Я включил таксометр, вышел и открыл заднюю дверь, чтобы помочь. На лицо этого человека я не успел взглянуть, но голос показался мне знакомым.

Он вынес из ателье небольшой приемник, и я увидел, что это доктор Петров. Я его и раньше любил, а тут обрадовался, как родному.

Мы с Петровым ехали и разговаривали.

— Ну, как эта работа, нравится?

— Да так, ничего.

— А как учеба продвигается?

— Да никак, взял академический.

— Ну, знаете, это зря. Можно было потерпеть еще немного. Мы вас недавно вспоминали. Что же вы не зашли ни разу? Может быть, женились, так теперь некогда?

— Нет, Григорий Игоревич, не женился.

— Что с вами стряслось-то? Лицо какое-то другое совсем.

— Мать вот померла недавно.

Петров помолчал, опустив голову, потом сказал:

— Простите, Гена, что я так, в душу-то.

— Ничего. Поедем по набережной, Григорий Игоревич?

— Пожалуйста.

Ехали молча. Петров курил и смотрел на пустынную набережную, на деревья и кусты, на прикрытую снегом Неву, и фонари желтыми бликами отражались в стеклах его очков. Я повернул на Кировский мост. Он сказал:

— Вам бы жениться, Гена. Если мужчина к тридцати годам не женится, то в нем остается какая-то незавершенность, а потом разрастается эгоизм, и это уже совсем плохо. Только когда женишься, постигаешь все жизненные связи. Если это случается поздно, то инерцию черствости не преодолеть. Я знаю, что говорю. Остается какая-то инфантильность, которая подкупает в двадцатилетнем, но в сорокалетнем оборачивается себялюбием, гнусной биологией, эмоциональной трусостью.

В голосе Петрова было столько горечи, что мне стало жаль его. Я сказал тихо:

— Не могу представить себя семейным. Да и все знакомые женщины какие-то неподходящие на эту роль. Либо я им не очень подхожу...

Выехали на Карла Маркса, и я сбавил скорость на покрытом наледью диабазе.

— Потому что живут так, куда ветер несет.— Петров сделал последнюю затяжку, опустил стекло и выбросил окурок.— В этом театре каждому хочется роль полегче. Только потом тяжело, когда поймешь, что сыграл не ту, на которую был способен.— Он помолчал, потом встрепенулся.— Остановимся у гастронома.

У дома я помог ему вытащить приемник.

— Зайдете? Попьем кофе.

— Спасибо. Нужно работать, у меня с месячным планом неважно.

— Вы не сердитесь, я не думал вас поучать. Это так. Обязательно заходите.— Он кивнул.

— До свидания, привет всем неотложникам.

Я развернулся и поехал к Финляндскому.

Думалось о словах Петрова. Как это он сказал? Тяжело потом, когда понимаешь, что сыграл не ту роль, на которую способен... Это он прав. Но кто может знать наперед, какая роль значительней. Может быть, и маленькая станет значительной, если играть ее серьезно. Если не пытаться ничего упростить, облегчить для себя. Это трудно, но, может быть, потом не будет тяжело и жалко, что чего-то не смог. И когда-нибудь придет удовлетворение тем, как прожил. Или, может быть, в жизни нужно стать профессионалом,— тогда ничто не сшибет тебя, как профессионалу-шоферу нет трудностей на любой дороге. Нет, в этом профессионализм невозможен, потому что существуют безвременные смерти дорогих людей, их неоконченные дела, неизбытая горечь, недожитая жизнь. И чем больше у тебя потерь, тем серьезнее долг. Ты должен сделать и дожить за всех, кто ушел, и их боль — тоже твоя. И ты знаешь, что тебе тоже не хватит времени, но нужно постараться успеть как можно больше, чтобы тому, кто взвалит на свои плечи этот короб после тебя, было хоть чуть-чуть легче.

У Финляндского ко мне сел пассажир до «Гиганта», и я повез. Улица была узкая, скользкая, но на Арсенальную набережную я не свернул из-за того, что мог запротестовать пассажир. Многие считают, что хорошо знают город, а на самом деле выучили только несколько маршрутов трамвая и автобуса к своему дому и по привычке считают этот путь самым выгодным. Только свернешь с этого пути, как тебя сразу приласкают и мошенником, и нахалом. Начнешь объяснять, что здесь короче и быстрее, так и слушать не хотят. А у меня не зря неприязнь ко всем улицам с таким покрытием. Только мы проехали перекресток Михайлова и трамвайную остановку, как какой-то лунатик бросился с тротуара прямо под машину. Я двинул по тормозу так, что спина влипла в сиденье. Машину развернуло поперек дороги,— хорошо, что трамвая не было. А этот лунатик только улыбнулся и пошел как ни в чем не бывало. У меня же до самого «Гиганта» дрожало что-то внутри. Пассажир сказал:

— Никогда бы не смог работать шофером.

На стоянке у «Гиганта» была очередь. Я обрадовался, подумал, что возьму кого-нибудь в центр, но в машину впорхнула маленькая девица и сказала:

— В Шувалово, пожалуйста.

Я чертыхнулся про себя. Обратно из Шувалова опять до самого Финляндского придется тащиться пустым. Сорок минут самого бойкого времени потеряю, а так хорошо все уж было пошло. Я рванул машину с места и с неприязнью посмотрел на свою пассажирку. Она безмятежно улыбалась и смотрела вперед. Пахло от нее морозом и леденцами. Я закурил. Она сказала:

— Дайте и мне сигарету.

— Даже так! — сказал я.— Пожалуйста.

— А что, разве это неприлично?

Я быстро взглянул на нее. Почти белые волосы, наверное крашеные; круглое лицо с ямками на щеках, румяное от мороза; глаза, разрисованные тушью; ребячьи пухлые губы. Она выдержала мой взгляд и, улыбнувшись, с шиком пустила тонкую струйку дыма. А мне стало смешно смотреть, как она кривляется.

— Нет, отчего же.

Я уже смотрел на дорогу, но краем глаза заметил, как она поперхнулась сигаретным дымом и скорчила уморительную мину.

— Приятные сигареты, верно?

— Да, хорошие, крепкие,— бодро сказала она. Я еле подавил усмешку.

Мы ехали на подъем по проспекту Энгельса. Из темноты по сторонам выдвигались черные деревья и серые кубы новых домов, пронзительно вспыхивали стоп-сигналы передних машин, снежная мостовая скрадывала шорох колес. Фигуры людей на тротуарах казались маленькими и легкими, и плотный звук мотора сливался с тишиной.

— Красиво вечером в Ленинграде,— вздохнула она,— так бы и ехала долго-долго.

— Чего ж, можно хоть до Выборга. Бензину хватит. И обойдется это вам всего каких-то двадцать рублей.

— Ого! Нет.

— А вы что, живете в Шувалове и ездите сюда на работу?

— Нет, живу там и работаю там, а сюда езжу, к сожалению, редко.

— Почему — к сожалению? У вас там хорошо. Воз-

дух, простор; броди по парку, катайся себе на лыжах сколько хочешь. Может быть, поклонников не хватает?

— Ну да, этого-то всегда хватает, даже чересчур.— Она вздохнула и расстегнула верхнюю пуговку пальто.

— Почему чересчур? Разве поклонников может быть чересчур? — Я посмотрел, думал, что она улыбается, но она сидела серьезная. Тени мелькали по лицу и глазам, обведенным густой чернотой.

— А, надоели все, никто не нравится. Скучно с ними.

— Неужели все скучные?

— Нет, есть такие, что нравятся, только я им не нравлюсь. Они старше. А у этих малолеток одно на уме — ну и противно.— Она приспустила стекло, выбросила окурок. Немного проехали молча, потом я спросил:

— А где вы трудитесь? У вас там, кажется, работать негде.

— Продавщицей в бакалейном.

— Ну что ж, это тоже работа, и не такая уж плохая.

— Я уйду скоро.

— Куда?

— На курсы стюардесс. Проучусь два месяца, а потом буду летать на ТУ.

— И в заграничные рейсы? Наверное, там иностранный нужно знать и чуть ли не высшее образование иметь.

— Нет, только десять классов, правильную речь и хорошую фигуру.

— Ну, всеми этими качествами, насколько я понимаю, вы обладаете. Думаете, так и удастся посмотреть заморские страны? — Я притормозил перед ямкой на шоссе и снова дал газ. Она слегка качнулась.

— Нет, но это хоть что-то живое. А то крупа, постное масло.

— А не пугает то, что там работа — вроде нашей, чуть лакейская? Вынужден иногда вежливо разговаривать с тем, кто этого не заслуживает.

— Нет, не пугает, вовсе она не лакейская. Да и у вас работа отличная. Я бы пошла шофером такси, только не умею водить машину.

— А школу вы давно кончили?

— Да два года назад.

— Ну, уже есть стаж, можно поступить в институт. Вас, может быть, взяли бы в театральный за внешность. Да мало ли интересных вузов.

— А я не хочу, чтобы меня брали за внешность.—

В ее голосе послышалась обида.— И вообще не хочу в вуз.

— Ну, тогда выходите замуж. За богатого старика.

— Фу, противно. Замуж нужно за человека.

— За человека? Куда нам, направо?

— Нет, нет, налево. Да, только за человека.

— Каждый настолько человек, насколько мы подозреваем его в этом. Куда теперь?

— Еще раз налево. А нужно, чтобы не настолько, а абсолютный.

— Абсолютный человек состоит из множества относительных человечков.

— Ага, их надо в лупу разглядывать, этих человечков. Вот и мой дом.— Она показала на темный пятистенок со щербатой трубой.

Я остановился и сказал:

— Принцесса жила в мрачном бревенчатом замке, где по ночам жутко завывал ветер в каминах.

— Правда, воет. Откуда вы знаете? — Она протянула деньги.

— Я вообще все знаю про вас и про ваш дом. Такая уж у меня профессия.

— А мне нравятся шоферы. Вот если бы вы сделали мне предложение, я бы подумала. До свидания.— Она со смехом побежала по узкой тропе, промятой в снегу. А я смотрел, как весело мелькают ее ноги в светлых чулках и белых сапожках. На ступеньке крыльца она обернулась, помахала рукой в белой варежке. Я посигналил в ответ.

Обратно ехал медленно: не то что устал, а так, просто дневная работа давала знать о себе легкой рассеянностью. Я привалился плечом к дверце, опустил правую руку на сиденье.

Плыли впереди фонари, тишина окутала машину; привычное гудение отопителя, работа мотора, шорох колес не могли нарушить ее, они были просто фоном. И я думал в тишине.

В юности я мечтал о какой-то немыслимой и эксцентричной красавице, а потом понял, что все это ерунда. Спутницей человеку должна быть женщина, с мыслью о которой он не смог бы поступить плохо: обидеть слабого, улыбнуться подлецу, струсить. Она должна быть совестью, добротой и мужеством мужчины. А эта — хорошая девчонка. Побесится еще год, поумнеет. На такой через год можно жениться... Училась бы. Ее

стипендии и моей зарплаты хватило бы на двоих. Я бы тоже стал учиться, выдержал бы как-нибудь последний-то год. Уж не слабее я Изьки Гуревича, просто стимула нет... А Изька все-таки молодец, хотя я ему и не завидую. Он и девчонку-то ни разу в жизни не поцеловал, наверное. Нельзя жить одними книгами. Аскеты в конце концов начинали ненавидеть жизнь.

Я доехал до стоянки у Скобелевского проспекта, увидел световой сигнал вызова и затормозил. Это редкое везение — в такое время взять пассажира в этом районе. Ну и, конечно, отсюда все едут в центр.

Телефонная трубка холодила ухо. Я назвал номер машины, повторил адрес заказчика и помчался по Энгельса.

Еще издали я заметил у ворот дома женщину в мохнатой шубке. Она была с чемоданом. Я открыл дверцу и спросил:

— Вызывали такси?

— Да, поедем в аэропорт,— сказала она и, подобрав подол, села, умело захлопнув дверь. И сразу запахло пряными духами.

Я покосился на полное круглое колено, видное из-под короткой юбки, и стал смотреть на дорогу. Подумал, что сегодня перевыполню план, этот рейс выручит меня, и за это преисполнился нежностью к пассажирке, а может быть, не только за это.

У нее было красивое усталое лицо. Откинувшись на спинку, она смотрела вперед из-под опущенных ресниц и молчала.

Уже в который раз за день пошел ленивый снежок. Дорога стала скользкой, но я гнал, почти не снижая скорости на поворотах, потому что время подходило к восьми, а рейс был неблизкий.

Искоса поглядывая на пассажирку, ждал, что она испугается крена на повороте, но ее лицо не меняло выражения. Снег пошел гуще, и я включил стеклоочиститель. Две черные черточки монотонно закачались на стекле. От этого стало скучно и потянуло в сон.

— Неужели и в Сочи сейчас такая погода? — вдруг сказала она страдальческим голосом.

Мне надоели молчание и скука раскачивающихся «дворников», и я начал зубоскалить:

— Ну, там сейчас тепло. Через две недели уже купаться начнут, а до тех пор можно пить сухое вино. И вообще не тот тонус,— сказал я и покосился на пасса-

жирку. Она слабо улыбнулась и переменила позу. От ее движения снова запахло духами. Этот запах щекотал ноздри, в голову лезли шалые мысли, я закурил и пониже опустил стекло.

Долго ехали молча.

— Вы бывали в Сочи? — спросила она, когда уже выехали на Московский проспект.

— Бывал,— почему-то соврал я.

— Это счастье, когда можешь вырваться на юг из этой сырости. Еще раз поеду летом. А это прошлогодний отпуск использую,— как-то доверительно сказала она.

Мы уже миновали Среднюю Рогатку, и я включил фары. По сторонам замелькали белые, как скелеты, деревья.

— Да, неплохо, конечно, но куча денег уходит,— сказал я.

Под колесами грохотнули доски железнодорожного переезда.

— Ну, вы тоже не на голую ставку живете. Там десять, там двадцать копеечек — смотришь, рублей пять набежит. А это сотня в месяц, и никто вас не упрекнет ни в чем. Другие где-нибудь на заводе только эту сотню получают. Нет, грех жаловаться на такой блатной работе.

Я промолчал, чтобы не сказать ей сгоряча лишнего, резко повернул к аэропорту, сверкавшему огнями, пролетел дорогу, обсаженную черным кустарником, торчащим из сугробов; объехал площадь у главного здания и затормозил у дверей стеклянного павильона. Здесь было светло, и я рассмотрел ее. Лицо было блестящим и гладким, глаза — выцветшие, тусклые. Казалось, они взяты напрокат с другого лица. Не понимаю, что тут могло мне сначала понравиться. Она протянула мне деньги:

— Благодарю, сдачи не надо.

Я посмотрел на кольца, впившиеся в пальцы, и, не глядя ей в лицо, сказал:

— Постойте.— Достал мелочь и протянул сдачу: — Возьмите, пригодится на мороженое, а то в Сочи жарко.

Всыпал ей монеты в машинально протянутую ладонь, вышел и посмотрел, как она прошла в павильон. У нее были красивые ноги, но неуклюжая походка.

— Блатная работа,— пробурчал я.

— Ты чего тут бубнишь?

Я повернулся. Позади стоял Петрович.

— Да так, барахло одно привез.

— Ну, работнул?

— Да, поеду в парк.

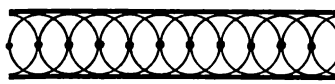
Я сел в машину и выехал на шоссе.

Порошил снег. Расплывались огни.

Я высунулся в окно. Ударило ветром, плевками снега, заслезились глаза. Выехал на Московский и закрыл стекло — стало тихо. Я отдалился от свиста ветра, урчания машин, гомона проспекта. Остались только привычные тихие шумы отопителя и мотора. И машина превратилась в замкнутый мирок, движущийся сквозь холодную мешанину снега, сумрака, ветра.

Но что-то все-таки соединяло меня с миром — огни машин и светофоров, груз и горечь забот, надежды, будущая радость и жизнь, которая еще вся впереди.

МОСТЫ



Всю неделю было хорошее настроение, потому что в понедельник был принят мой первый проект. Вообще-то я понимал, что это не бог весть какое событие в жизни просвещенного человечества, даже в жизни института, где я работаю, но для меня это значило много.

Всю жизнь я хотел строить мосты. Не то чтобы я не мечтал стать летчиком или моряком, как все мальчишки в известном возрасте, не то чтобы дальние страны не тревожили моего воображения,— как и все мои сверстники, я сначала мечтал убежать на фронт, потом — стать капитаном океанского лайнера. Но уже в шестнадцать лет знал, что буду строить мосты. И это не оттого, что, как иногда пишут в романизированных биографиях замечательных людей, я рано почувствовал призвание, уверовал в него и твердо шел к цели. Нет, совсем наоборот.

Я никогда не был вундеркиндом. Тем маленьким гением, которого гордые родители ставят на стул перед гостями и просят прочесть Гёте в подлиннике или сыграть Шопена. И они читают или играют, эти удивительные человечки, заботливо одетые в лирический вельвет, с артистическими галстучками-бантами на чисто вымытых, еще тоненьких шейках! Они пожинают свою первую славу и утверждаются в уверенности, что не зря пришли в этот мир, что их добродетель и трогательность так же нужны людям, как им самим не обойтись без зрителей, без восхищения окружающих. Вундеркинды идут своим путем, на который их подвигнуло родительское тщеславие и собственное раннее честолюбие, достигая иногда вершин славы и счастья, но порой эти детские добродетели, как все гипертрофированное, доводят до порока. Но бог с ними, не о том речь.

Меня никогда не ставили перед благоговеющими гостями, да их, если признаться, почти не бывало у моих родителей. В детстве я даже не знал, что есть Гёте, Шо-

пен и многое другое из того, что полагается знать нормальному гению. Подозреваю, что и родители мои не знали ничего этого. Может быть, именно потому они не очень принуждали меня быть вундеркиндом. Да и время было не самым подходящим для такого воспитания. Но родители мои были людьми достаточно широкими и никогда не скупились на горячие слова, подзатыльники и затрещины, что, несомненно, доказывает их любовь ко мне и желание сделать из меня человека. К их чести, они никогда не обольщались на мой счет, не будили во мне необоснованного честолюбия, оценивая мои способности всегда недвусмысленно и скептически. И наверное, потому к шестнадцати годам я был твердо убежден в собственной посредственности. Как раз к тому времени воспитательные методы родителей пришли в неразрешимое противоречие с моим вдруг проявившимся упрямством, и большую и, может, лучшую часть жизни я проводил на улицах.

Сколько в Ленинграде улиц? Наверное, никто не может похвастать, что бывал на каждой. А вот я бывал, кажется, на всех, измерил их своими шагами. Сложное это ощущение — одиночество бродяги, затерявшегося в бесконечных шеренгах домов,— сложное, грустное и засасывающее...

Как влажнеет лицо от встречного ветра, как щемитноет сердце под этим тусклым, похожим на алюминий небом! И острее становится чувство, выгнавшее тебя на эти улицы, глуше одиночество, и в то же время всякий наличник на фасаде дома, мимо которого ты идешь, каждая пилястра, любой кусок гранита странно волнуют и размягчают душу. И сквозь грусть ты смутно провидишь что-то другое, что принесет удовлетворение и, может быть, радость. И от этого становишься еще ранимее, еще открытее всем скорбям.

Кто отведал этого горького лекарства сумеречных улиц, кто подолгу стоял на мостиках и мостах, вглядываясь в черно-глянцевую воду каналов, чуть отдающую плесенью, тот уже и в радости и в горести будет прибегать к этому.

Может быть, именно тогда я и решил для себя, что буду строить мосты. Где-нибудь на Банковском, под золотокрылыми грифонами, опершись на чугунные перила и вглядываясь в размытые отражения фонарей, я и понял, что мосты — очень нужная вещь. А может, просто потому, что все мои одноклассники уже имели

мечту, уже нашли свое призвание и собирались расщеплять атом, разыскивать алмазы, испытывать самолеты и водить корабли; и, глядя на них, таких веселых и примерных, я был убежден, что нет и не может быть человека без призвания. А так как я знал о своей посредственности, то и выбрал, как мне тогда казалось, подходящее дело — строить мосты. Мне очень хотелось быть не хуже своих благополучных сверстников, и я думал, что мосты помогут мне.

Сейчас уже трудно поручиться, что это было именно так; мне запомнилось лишь ощущение потерянности в сизовато-сумеречных улицах и чувство, в котором юношеская тоска смешивалась с неясной надеждой. Вот только это осталось с тех пор и еще привычка бродить по улицам, когда грустно и когда радостно. Да еще непонятная способность по этим улицам и мостам вдруг возвращаться в прошлое и снова испытывать давние чувства.

...Всю неделю я болтался по городу со своей приподнятостью. Потому что у меня множество знакомых, а друг только один — этот город с его улицами и каналами, с его мостами и ветреными перекрестками.

Но все же была горчинка в душе, вроде бы вопрос иронический: «Ну и что же дальше?» И где-то закоулком сознания я уже понимал, что все было, все свершилось раньше. Я пережил в себе, и не один раз, то, что наконец произошло в действительности. Слишком долго шел я к этим дням, и разные, не всегда благополучные обстоятельства заносили меня в сторону. Они то забрасывали меня в колонию для несовершеннолетних, то в рыбацкую артель на Каспий, то в тайгу на Печору. И чем дальше уходил я от этой мечты о мостах, тем желаннее она становилась. И вот я у цели, и мне уже не шестнадцать, а в два раза больше, и сквозь радость достижения вдруг проклюнулась грусть. Может быть, дело тут в одной особенности — если я замечаю ее в себе, то подозреваю и в других.

Действительность всегда отстает от наших чаяний. В воображении мы уже успеваем пережить желанное событие, и оно как бы свершается в нас и успевает изменить нас. А потом событие происходит наяву и кажется не таким ярким, и это потому, что оно уже было в нас.

Так вышло и с моим проектом.

Мост — не просто инженерное сооружение. Мост — это соединение разобщенных частей в целое, цивилиза-

ция, превращающая хаос в организованное пространство. Мост — это еще и лирическая тропа в городских суетных буднях, омытая чистыми ветрами, изгибающаяся над незамирающей водой, осененная фонарями, вся в затейливой ажурности решеток.

Я мог бы сочинить целую поэму о мостах, но когда мне поручали первый проект, я думал о более прозаичных вещах и понимал, что это очень серьезно для меня.

Все ли представляют себе, что такое работа, о которой мечтал? Я узнал, что можно обходиться без еды и питья столько, сколько работаешь; узнал, что огромные дозы никотина, непрерывно вводимые в организм, вовсе не смертельны. И сделал три проекта.

Это был мост в центре нового города через живую, сильную реку. И первый проект я сделал широко и щедро. Он был арочный, этот мост, с привольным изгибом на четыре пролета; тонкие, строгие быки поддерживали его, а в устоях я разместил магазины и службы быта, сверху туда вели элегантные лестницы, а с берега — облицованные гранитом апарели, и хотя вся конструкция мыслилась из напряженного железобетона, мост не казался громоздким — прогиб облегчал его, а фонари, подвешенные на четырехопорном тросе, повторяющем изгиб моста, делали его воздушным, парящим над пенистой рекой.

Но я понимал, что этот проект не пройдет, техсовет обязательно зарежет его. Слишком дорого обойдется строительство, слишком это непривычно. Хотя молодому городу совсем не помешают магазины и бытовые службы в самом центре. И я сделал другой проект. В нем не было того размаха, но, мне кажется, было изящество; там я предусмотрел безопасные переходы для людей и транспортные развязки, применил современные клеи для соединения бетонных конструкций,— мыслил этот мост как организующее новый город современное начало. Но я знал, что и этот проект не примут,— это тоже непривычно, не в канонах классической статики.

Тогда я сделал третий проект — добрый, старый мост, какие строили еще деды.

И был принят последний.

А после техсовета состоялось широкое обсуждение. Меня всегда удручает бессмысленность подобных обсуждений. Проект уже принят, и этот неофициальный разговор ничего не меняет. Уж лучше бы обсуждали до

техсовета, тогда, может быть, судили бы по-другому. А тут все прохладно хвалили. Ну, грамотно, в соответствии с техническим заданием.

Меня обрадовало только выступление Левы. Это странно, что блистательного инженера, работы которого я изучал еще студентом, все называют не иначе как Лева, а ему уже шестьдесят. Маленький, мешковатый, с непомерно большим, бесформенным лицом и спутанными темными волосами, вечно пыхтящий большой изогнутой трубкой, Лева чем-то напоминал гнома. Было всегда удивительно, что этот маленький картавый гном построил такие мосты. В его работах была дерзость и трезвая мысль, ошарашивающая простота, которая возникает только из сложнейших расчетов. Да, это был инженер божьей милостью. Его мосты были прозрачны, как миражи,— казалось, их унесет первый же ветер, но они десятилетиями не нуждались в ремонте и несли многотонные составы, выдерживали паводки и ураганы.

И вот Лева вышел к столу на сцене и, размахивая трубкой, стал говорить, что в моем проекте он видит потенциальные возможности конструктора, и что вообще нужно чаще поручать молодым инженерам большие работы, только так можно вырастить зрелых конструкторов, и что он доволен уровнем проекта, это серьезно, грамотно и экономно.

Мне было приятно, что Лева похвалил, хотя я понимал, что он сделал это по доброте, а не потому, что восхищен работой.

А потом выступил Ганин. Он главный конструктор института и председатель техсовета. Очень умный человек этот Ганин и неплохой инженер. Я знал много его работ, все это солидно, добротно, но той дерзости и новизны, которые сверкали в любом Левином проекте, у Ганина не было. Хотя он позволял себе «роскошь порезвиться», но только в мелких, не главных работах, в каком-нибудь мостике через ручей в новом детском парке, в пешеходном переходе для санаторного комплекса в горах. А большие его работы были традиционны, осторожны, хотя там чувствовался опыт.

И вот Ганин выступил, как бы завершая обсуждение. Он сказал, что все хвалят, отмечают грамотность проекта, а его как раз это и настораживает. Слишком уж гладко все и бесспорно в моей работе, не видно поиска, которого следовало ожидать от молодого конструктора... Он говорил медленно, словно раздумывая и делясь свои-

ми раздумьями. Темный серый костюм прекрасно сидел на его крупной, еще подтянутой фигуре, и он прохаживался возле стола, чуть опустив широкое крестьянское лицо с мохнатыми седыми бровями. Низкий, прокуренный голос звучал искренне, озабоченно, и я слушал его с каким-то доверием и думал, что во многом Ганин прав. Но постепенно согласие мое сменилось недоумением. Вспомнился техсовет, где он говорил совсем другое: «Надо опираться на реальную почву... Не мудрствовать лукаво...» Это же он, он первый предложил даже не ставить на обсуждение те мои два проекта. И мне вдруг стало неприятно, будто мы вместе с Ганиным сговорились одурачить этих людей, сидящих вокруг.

Я посмотрел на своего приятеля Юрку. Он подмигнул мне и махнул рукой — не обращай, мол, внимания. И от этого стало спокойнее. А после обсуждения подошел Лева и, глядя снизу вверх и картавя, сказал:

— Не огорчайся. Когда человек сделал хорошую работу, то она даже на бумаге существует, а плохая, хоть она и в бетоне,— ее все равно нет.

Да, все выглядело гораздо сложней, чем представлялось мне шестнадцать лет назад... И хоть настроение было отличное, но горчинка тоже была. И мысленно я, невольно или намеренно, возвращался к началу, к самому началу. Потому что чувствовал, что горчинка эта — не только от сегодняшних дел, а давно угнездилась в душе. И мне все хотелось понять, где и когда она закралась и почему таилась столько времени. Казалось, очень важно узнать тот момент, как будто что-то можно прожить наново, перебелить, как черновой чертеж. И я шлялся по улицам и любимым мостам и по ним приходил в прошлое.

Я приходил к девушке с пушистой, мягкой косой.

В те годы она училась в соседней школе на старом, тенистом бульваре — тогда было раздельное обучение.

Кто из моего поколения не помнит этих школьных вечеров под простуженную радиолу, хрипящую «Сибоней» и «Рио-Риту»! До сих пор во мне живет ощущение стесненности и в то же время нескромности, томящего желания обратить на себя внимание девушек и холода на лопатках от стены зала, к которой плотно прижата спина,— я не умел танцевать, и до сих пор это осталось для меня непостижимым искусством. На этих вечерах я чувствовал себя посторонним, потому что был плохо одет,—

черные брюки, перешитые из отцовских, на заду и коленях лоснились и отливали белесым. Я в собственных глазах не выдерживал сравнения с товарищами, у которых были приличные костюмы, галстуки, чехословацкие ботинки «Батя». У меня же ничего подобного не предвиделось, и я все реже ходил на вечера, предпочитая дальние прогулки по городу, где у меня уже появились любимые места, дворцы, каналы. В конце девятого класса я совсем перестал ходить на эти вечера. Поэтому я не очень интересовался тем, кто главный кавалер в нашей школе и кто первая красавица в соседней. Нет, конечно, я слышал кое-что из обрывков чужих разговоров на переменах, но старался убедить себя, что это неинтересно.

Есть такие люди, удел которых первенствовать, блистать, причем постоянный успех приходится на долю тех, кто не делает для этого никаких усилий. Я всегда с восхищенным удивлением наблюдал за такими людьми. У нас в школе были два парня, Валерка Парамонов и Оскар. Валерка был лучшим танцором и спортсменом; отец его плавал капитаном торгового судна, и поэтому Валеркины куртки, брюки и галстуки вызывали зависть многих. А Оскар — сын известного оперного баса — очень хорошо играл на рояле и был по-настоящему красив какой-то мрачноватой южной красотой, со смуглостью кожи, горячими продолговатыми глазами, разлетистыми бровями и неправдоподобной белизной зубов.

Эти парни пользовались всеобщим уважением в школе, они были как бы полпредами нашей мужской державы. А в женской школе на этих ролях выступали какие-то Алки, Светки, разговоры о которых я слышал, но не видел их никогда. Подозреваю, что и они не ведали о существовании моей скромной персоны. Хотя я точно помню, что вся женская школа знала в лицо и по имени любого мало-мальски заметного парня из нашей.

А вообще отношение ко мне в классе было ровным. Я не вызывал ревности и соперничества. Учился, не очень напрягаясь. Учителя привыкли ко мне, никто не будил во мне честолюбия, не упрекал за некоторую леность. Жизнь класса лишь каким-то краем касалась меня. Были у нас и отчаянные разгильдяи, и крепкие, вдумчивые ребята, а я не принадлежал ни к тем, ни к другим и проходил по какой-то нейтральной полосе. Теперь я думаю, что это было от неловкости души и робости, которая доходила до угрюмой и казавшейся высоко-

мерной замкнутости. И еще, думаю, меня сторонились немного из-за смутных слухов о моих уличных связях, впрочем весьма преувеличенных. И я тащился из класса в класс по своей нейтральной полосе на «тройках». И наверное, так и окончил бы школу в свой срок, может быть, поступил бы в институт,— словом, все пошло бы обычно, если бы не эта встреча.

Было лето, обычное ленинградское лето с прохладными утрами и мелкими, сеющимися дождями по вечерам, с бессонницей белыми ночами, когда тревожно нудит сердце в тишине комнаты, наполненной странным сиянием, похожим на блеск новых, еще не захватанных монет. И так и кажется, что сейчас услышишь нежный, серебряный звон, и напрягаешься в ожидании, но тихо все вокруг, а ты лежишь без сна.

Впрочем, ощущение вот этого тревожного ожидания владело мной в тот год с весны. Казалось, что-то должно произойти в моей жизни, было предчувствие радости.

Я сдавал экзамены за девятый класс, болтался вечерами по городу, грустил беспредметно и легко, и временами вдруг появлялась уверенность, что все мои шатания по улицам, мои одинокие смутные мысли — все имеет какой-то смысл. Иногда я физически ощущал, что взрослею, становлюсь иным, чем вчера,— если все это можно ощутить. Скорее всего, это было предвкушение жизни, причастности миру. Так думаю я теперь, полагая, что многие черты моего характера зародились именно тогда.

Я часто ходил в Михайловский сад играть в волейбол. В те времена от входа в сад с канала Грибоедова начинался пыльный пустырь — только потом на нем разбили газоны, сделали песочницы и детские качалки. На этом пустыре мы играли в волейбол «в кружок», иногда между деревьями натягивали сетку — и я до сих пор узнаю эту пару толстых, прямых лип.

В то лето волейбол был повальным увлечением, и на пустыре выстраивалось множество кружков, над которыми подпрыгивали мячи. Отношения здесь были самые непринужденные: можно было подойти к любому кружку, играющие молча раздвигались, давая тебе место, и ты тоже начинал подкидывать мяч.

Михайловский сад заменял собой клуб — тогда еще не принято было каждый свободный день проводить за городом, тем более мало кто мог позволить себе посидеть в кафе-мороженом, да я и не помню что-то таких кафе,

как теперь. В те первые послевоенные годы у людей было столько насущных забот, что не хватало времени на развлечения, еще не появился вкус к праздной отдохновенности, который теперь проявляется, пожалуй, у любого подростка.

Я иногда с завистью смотрю на хорошо одетых, таких независимых и уверенных мальчишек и девчонок, которые сидят в кафе, небрежно тянут коктейли через соломинку, неторопливо беседуют. Мы никогда не были такими, но я не жалею. Всякому времени — своя стать. Мне вот до сих пор неловко, когда сановный, представительный швейцар открывает мне дверь или гардеробщик держит распяленное пальто и ждет, пока я намотаю шарф,— я почему-то теряюсь, когда меня «обслуживают».

Да... А вот в Михайловском мне нравилось. Я прилично играл в волейбол, и к тому же здесь мои старые брюки и байковая лыжная куртка не бросались в глаза. И вот однажды под вечер я пришел в сад. По-моему, это было в начале июня; помню, что день выдался удивительно холодный даже для ленинградского лета, и я предвкушал, как согреюсь игрой. На пустыре играли всего два или три кружка — видимо, было еще рановато. Я подошел к тому кружку, где мяч дольше держался в воздухе. Играли парни и девушки, кое-кого я знал в лицо, но знакомых не было. Через пять минут я уже согрелся и позабыл все на свете, потому что играли очень хорошо. Мяч почти не падал на землю, хотя было много резких ударов и трудных пасов. Даже девчонки играли прекрасно, с азартом резали. Не знаю, может, это мне кажется теперь, но игра была праздничной, легкой.

Напротив меня стояла девчонка со светлой косой. Она очень прилично играла, и мы перепасовывались с ней, подкидывая друг другу под резкий удар. Девчонка была симпатичная, но я не рассматривал ее внимательно — я играл. И мяч был хороший — кожаный, идеально круглый, красного цвета. Мы же в то время привыкли к неказистым мячикам из шершавой кирзы, которая при неловком ударе царапала и отбивала руки. И я позавидовал счастливцу, владеющему таким редким мячом. Но вдруг в разгар игры эта девчонка напротив меня вышла из круга. Какой-то парень сказал:

— Отдайте хозяйке мяч.

Мы все еще стояли кружком, но он потерял свою четкость, потому что над ним перестал летать мяч. Толь-

ко что мы были ловкими, веселыми, мяч как-то сплачивал нас, а теперь уже никому ни до кого не было дела — мы стали случайными людьми, собравшимися в нелепый круг; и каждый почувствовал неловкость и заскучал неожиданной, неприятной скукой. И все уже поворачивались, глядели вокруг — к какому бы другому мячу прибиться. Тогда эта девчонка подошла ко мне поближе и сильно кинула мяч. Я поймал. Она сказала:

— На, принесешь завтра,— повернулась и пошла к выходу на канал.

Я долго смотрел ей вслед, пока синяя блузка, разделенная на спине светлым жгутом косы, мелькала в кованом ажуре решетки. А мяч, кем-то выбитый у меня, снова летал над кругом под радостные возгласы парней.

Я был удивлен этим неожиданным доверием. Я и лица-то ее не успел запомнить! Игра у меня не клеилась после этого, я безбожно мазал и был рассеян.

В коротких, жидких сумерках я возвращался домой, бережно прижимая к себе мяч, и пытался вспомнить лицо этой девчонки, но, кроме пушистой косы и синей в мелкий горошек блузки, ничего не приходило на память. Хотелось понять, что побудило ее оставить такой мяч незнакомому и почему именно мне, но я не находил этому объяснения.

Ночью я почти не спал. Утром не мог сидеть за учебником, хотя экзамен был на носу.

Вечер выдался мягкий, с чуть ощутимым вкрадчивым ветром. Старые липы в саду были почти неподвижны, и редкие сизо-прозрачные облака предвещали ясную белую ночь.

Над площадкой взлетали мячи и вместе с тонкой серой пылью висел гул множества голосов. Меня сразу окружили, и началась игра. Я все время оглядывался, ждал, что вот-вот появится та девчонка. Я не помнил ее лица, но была уверенность, что обязательно узнаю ее, а она все не приходила. И мне стало скучно, игра уже не увлекала. И еще вдруг возникло странное, неожиданное ощущение, какая-то дотоле незнакомая жадность. Мне стало жаль мяча и неприятно, что по нему ударяют чужие руки,— казалось, мяч старел на глазах и тускнел от этих ударов. Особенно неприятно было видеть, как какой-нибудь пижон плоскими ладонями неумело шлепает по этому прекрасному кожаному шару. Я поймал мяч, зажал его под мышкой и долго ходил по площадке, испытывая одновременно и недовольство собой, и удов-

летворение тем, что никто, кроме меня, не касается мяча.

Она не пришла ни в тот, ни в следующий вечер.

Мы встретились неожиданно.

Наш класс только что сдал географию. После экзамена мы еще долго не расходились, торчали в обширном школьном дворе, ожидая, когда объявят оценки. Помнится, я почти не волновался в ожидании, потому что загодя знал свою всегдашнюю отметку. К тому времени я уже прочно сжился со своей посредственностью — она служила мне как не очень нарядный, но удобный и крепкий костюм; я уже научился спекулировать, выставляя ее напоказ, чтобы добиться большей снисходительности. Да, я знал, что «тройка» мне обеспечена, но вместе со всеми слонялся по школьному двору. Было что-то очень приятное в этом ожидании, ибо даже самые отъявленные отличники не были уверены в своем успехе и весь класс, на короткое время застигнутый неуверенностью, становился сообществом людей, уравненных одной судьбой.

И вот, после такого ожидания, умиротворенный своей «тройкой» и чувством облегчения — еще один экзамен позади, я шел по старому бульвару, мимо скамеек, занятых матерями с младенцами, мимо ленивых голубей, неохотно выпархивавших из-под самых ног. Солнце било в глаза, я не мог рассмотреть лиц встречных. Но что-то вдруг остановило меня — чей-то пристальный взгляд, чья-то мысль обо мне...

Очень красивая высокая женщина остановилась в двух шагах и смотрела на меня, прямо в глаза, и чуть заметно улыбалась насмешливо, как улыбаются только очень красивые, очень уверенные в себе женщины. А я застыл перед ней в нелепой стойке легавой собаки, будто не успев закончить шаг, остановленный ее взглядом, и смотрел, не узнавая и чувствуя, что все-таки знаю ее. Да, где-то я уже видел эти глаза, серые и спокойные, видел эти почти прямые полоски светлых бровей, высокие светлые скулы, несколько еле заметных веснушек на переносице...

Она сделала шаг ко мне, протянула руку и сказала:

— Здравствуй!

И я узнал ее! Это узнавание потрясло меня. Это была та девчонка из Михайловского сада, которая оставила мне мяч. Просто ее коса была собрана большим узлом на затылке, просто на ней было кремовое платье без рукавов, а на ногах — белые туфли на каблуках. Я сразу узнал ее по голосу, хотя, казалось, не помнил, какой он,

но узнал сразу и, вероятно, узнаю и сейчас, если услышу в толпе или по телефону хоть одно слово, произнесенное ею.

Еще тогда, на солнечном старом бульваре, ошарашенный этой метаморфозой, я остро почувствовал красоту ее редкого голоса. Никогда потом я не встречал такого чистого, низкого голоса. Этот матовый звук был осязаем, я чувствовал его лицом, шеей, глазами.

Но все это было потом, все это я понял уже через годы. А тогда я стоял под шелестящими липами, онемев от смущения, и лишь видел, как ветер обтягивает платье вокруг ее коленей. И только прикосновение ее узкой ладони к моей руке помогло хоть немного прийти в себя.

— Что же ты не приходила? Я не знал, куда этот мяч...

Нет, я почти не помню тот день. Я запомнил все дни, в которые видел ее,— каждую интонацию, и во что она была одета, и какая была погода, и где мы проходили, и где останавливались... Но тот день как-то выпал из памяти. Помню, что пришел домой поздно и не хотел есть и, против обыкновения, сразу заснул и не видел снов. Лишь наутро вспомнились обрывки разговоров.

Я узнал, что она кончает девятый класс в той школе на старом бульваре, что любит музыку, но пойдет в юридический институт, потому что ее музыкальные способности намного меньше любви к музыке. Она показала мне, где живет, и я запомнил окно ее комнаты на первом этаже в тесном дворе, куда выходили ворота кладовых огромного продуктового магазина и стоял запах соленой рыбы, копченостей и подгнивающих фруктов.

А на следующий день мы встретились в саду. И опять она стояла в кружке напротив меня, и мы перекидывали друг другу мяч. Тут она снова выглядела обыкновенной девчонкой с пушистой светлой косой, и на ней была прежняя синяя юбка и синяя в мелкий горошек блузка, но я знал, что она другая.

На всю жизнь запомнил я чувство какой-то особенной лихости, озорства. При ней я лучше играл, удары мои были резче, сильней и ноги пружинисто и легко отделялись от земли, поднимая тело вверх к мячу.

А потом мы шли по набережной. Я изредка стукал мячом по гранитным плитам, и это помогало мне не глазеть на нее все время. Мы разговаривали; пожалуй, это был бессвязный разговор, но я мог бы даже не вдумываться в смысл ее слов, достаточно было только голоса.

Заговорили об архитектуре. Я тогда много читал о великих зодчих и их созданиях, но впервые говорил об архитектуре — до сих пор она была моим тайным увлечением, а тут вдруг такой благодарный слушатель, да еще какой! И я рассказывал то, что вычитал в книгах и что думал сам. Вряд ли есть лучшее место для разговоров об архитектуре, чем невские набережные.

Она слушала, заинтересованно вглядываясь в фасады домов, запрокидывая голову, рассматривала карнизы, иногда поворачивалась ко мне, и я видел ее серьезное лицо и внимательный, напряженный взгляд, и говорил, и не мог остановиться. Впервые меня слушали и принимали всерьез.

Мы долго бродили в тот вечер. Уже начался белый рассвет и готовились к разводке мосты, а мы стояли у парапета и смотрели, как пожилой человек в брезентовом плаще закидывает спиннинг и методично крутит ручку катушки, сматывая лесу, и снова закидывает в спокойную, чуть покрытую рябью серую воду, по которой изредка проплывают светлые блики облаков. Было тихо и знобко на набережной в этот час, очень редко проходили машины. Рыбак даже не смотрел в нашу сторону. Мы молча стояли возле него, и я помню, что гранит парапета был теплым — теплей, чем вечерний воздух. И помню свою рассеянную задумчивость, будто сон наяву, в котором все подернуто дымкой и невесомо.

— Надо идти,— сказала она.

И разрушилась эта моя задумчивость — все вдруг стало резким и реальным, и я со страхом ощутил, что держу ее за руку. Ее узкая маленькая ладошка была зажата в моей, как беспомощный воробей, только виднелись кончики пальцев. Она взглянула на меня, и я отпустил ее руку.

К ее дому мы шли молча, стараясь соблюдать расстояние между нашими локтями. В воротах я отдал ей мяч.

— Приходи в сад, ладно? — сказала она.

В сумраке ее лицо было неясным, но я уловил тень улыбки и шел домой, испытывая тихое ликование. Я наискось перешел пустынную площадь, шагал по самой середине проспекта и даже не боялся, что дома влетит за позднее возвращение.

С того самого вечера мы часто встречались в саду, вместе играли в мяч, а потом гуляли по городу, и я провожал ее до дому. И при этом не чувствовал неловкости, у меня не было мысли, что я «ухаживаю» за ней, потому

что мы никогда не назначали друг другу свиданий и все было просто.

Я часто возвращаюсь к удивительно наполненным дням того лета и рассматриваю каждый миг, каждый крохотный кусочек времени под лупой памяти, надеясь, что это поможет мне понять что-то в сегодняшних днях, потому что некоторые черты моего характера зародились тогда. Эта девочка из соседней школы повлияла на всю мою жизнь. Я не знаю, понимала ли она сама, чем была для меня. Наверное, не понимала. Просто ей было семнадцать лет, в ней пробуждалась женщина со сложностью чувств, инстинктов и желаний, с неосознанной потребностью обратить на кого-то свою доброту и в то же время вызвать поклонение себе.

Она очень быстро взрослела, я чувствовал это от встречи к встрече в ее снисходительности ко мне, раздумчивости, с которой она выслушивала мои разглагольствования, в какой-то мягкой некатегоричности суждений, которая в то время больше всего удивляла и озадачивала меня,— ведь в юности мир четко делится на друзей и врагов, на плохое и хорошее, подлое и благородное. В этот период жизни человек не приемлет компромиссов и сложности. А я временами чувствовал в ней многоликость. Каждый новый день изменял ее, даже вечером она казалась иной, чем утром. Ни в ком потом я не встречал такой способности к быстрой и очевидной трансформации. Правда, и с юностью своей я потом не встречался никогда.

И вот я все думаю: что привлекло ее ко мне? Почему наша дружба продлилась несколько месяцев? Наверное, она не разгадала меня, ошиблась. Посредственность понять иногда труднее, чем человека ярко одаренного. У яркого человека все резче, определеннее: и чувства, и симпатии, и знания, и наклонности. А у посредственности все это есть, но как бы в зачатке,— все бледно и смазанно. Может быть, это и обмануло ее? Она, как всякая женщина, обладала какой-то инстинктивной проницательностью и, вероятно, чувствовала во мне какие-то намеки на мысли, какое-то горестное самоуспокоение своей посредственностью, которое, возможно, приняла за незаурядность. Конечно, я не понимал всего этого тогда, меня просто влекло к ней.

В те дни, когда мы не виделись, я приходил в ее двор вечером и, спрятавшись в дверях черной лестницы напротив ее окна, смотрел, как она читает, подперев

щеку ладонью. Мне был виден ее профиль, вьющиеся прядки волос, отделившиеся от прически, тонкое запястье, плавно переходящее в кисть. На ее лампе был желтоватый абажур, и все, что я видел, освещалось золотистым рассеянным светом. А в неопрятном дворе стояли запахи подгнивающих фруктов, копченостей, соленой трески. Рабочие в черных клеенчатых фартуках поверх грязных белых курток катали бочки, перетаскивали ящики, матерились скучными, равнодушными голосами. И во мне разрасталось ощущение отторженности от нее: может быть, смутно, пока лишь чувством, я начинал понимать, что нас разделяет не только этот колодезный двор с облупившимися стенами и отверстыми темными зевами подвалов...

Так и вижу я сейчас этот двор и тощего мальчишку, спрятавшегося в темноте черной лестницы и жадно глядящего в освещенный покойный мир в прямоугольнике чужого окна.

И странно, я испытывал к ней настоящую нежность именно тогда, когда ее не было рядом. Именно тогда я понимал красоту ее лица с еще не совсем оформившимся овалом. Это лицо всплывало передо мной, когда я бродил в одиночестве, и я мог увидеть, как гладко натянута на нем кожа, как точно выточен подбородок. Меня даже пугала эта математическая точность и завершенность прямого носа с трепетными тонкими ноздрями, эта привольная прямизна светлых бровей и четкий разрез глаз, как у древнеегипетских статуй. Казалось, природа решала в ней двойную задачу — создать не только редкую красоту, но и строгую соразмерность всех черт, какую-то основную аксиому, которая послужит для доказательства других, не столь очевидных истин.

Но все это я понял только теперь, когда мне в два раза больше лет, чем было в те дни.

А тогда я просто бродил по городу с девушкой, у которой была пушистая светлая коса, веющая печальным и чистым запахом свежеспиленного дерева,— как много раз настигал меня этот запах в тайге, когда с хрустом падала надпиленная сосна: в мужественном, чистом нутре умирающего дерева еще долго дрожал еле слышный тягучий стон. И запах, и стон переходили ко мне в душу, вызывали глухую боль, и эта боль был я сам, отторженный от этой девушки, которая уже навсегда стала частью меня,— я любил запах ее косы и часто

незаметно брал ее пушистый кончик в руку, когда мы стояли у парапета вечером. Она не замечала, не чувствовала, что я держу в пальцах ее косу, чуть сыроватую от вечернего воздуха, а может быть, замечала, но не противилась этому.

Нас уже что-то соединяло. Как требовательно и строго спрашивала она, почему я не был в саду! Она могла отсутствовать без объяснения причин, но я должен был приходить в тот день, когда она хотела видеть меня. Я уже был ее данником. Она брала все по праву рождения, ибо была женщиной,— и ничего не обещала взамен. Она уже понимала, была уверена, что даже ее капризы, ее легкое тиранство являются счастьем для любого. Но она была добра, как всякий, кто уверен в незыблемости своего права и своей силы.

В один теплый и ясный день мы пришли на пляж под стеной Петропавловской крепости. Вода была холодной, и никто не купался — играли в волейбол, загорали. Мы разделись, сдали вещи на вешалку, и у меня в кулаке остался жестяной номерок и замусоленный рубль, который я припас на случай, если ей захочется пить. Мы подошли к играющим в мяч, и она встала в круг, а я остановился поодаль, потому что не знал, куда деть номерок и рубль, и смотрел на нее. Я видел, как струится по ней солнечный свет. Она стояла плотно сдвинув ноги и, опустив руки, ждала мяча. Свет золотил ее прямые брови, сбегал со скул на тугие губы, на подбородок, оставлял в тени впадинку между ключиц, разливался по тонким, но округлым плечам, по синему с белой каймой лифчику, по еле заметной выпуклости живота, по синим треугольным трусикам, туго обтягивающим маленькие женственные бедра, и соскальзывал вниз к узким ступням. И от солнца все ее тело было цвета летнего меда.

Я стоял и ждал, когда она станет принимать мяч. Вот он пошел к ней пологой дугой. Чуть согнулись колени, одна нога сделала маленький шаг, спина упруго выгнулась, руки быстро и плавно поднялись к лицу, спокойному и отсутствующему; кисти рук сделали короткое, резкое движение, и мяч, отбитый кончиками пальцев, высокой «свечкой» ушел к противоположному краю круга. Она повернулась ко мне, вопросительно подняла лицо. Я показал номерок:

— Некуда положить.

Она подошла, взяла номерок и рубль и спокойно, у всех на глазах, положила себе в лифчик. Я помню, что

мгновенно покраснел и отвернулся. А потом мы играли, и я все время думал о том, как этот смятый рубль лежит там в темной духоте, и что-то сжималось в груди, и туман вставал перед глазами, и какая-то боязнь сдавливала шею у самого затылка.

Было жарко, и мне самому хотелось пить, но я так и не решился попросить у нее рубль.

В этот день я не взял в руку кончик ее косы, каждое случайное прикосновение ее локтя что-то обрывало во мне, и я вздрагивал, испытывая цепенящее чувство неожиданного падения в пустоту.

Лето прошло незаметно. Оно сделало меня увереннее, и в класс я пришел с каким-то новым чувством. Нет, я не стал ни более шумным, ни более общительным. По-прежнему я сидел на своей «камчатке», не ввязывался в споры на переменах, а лишь слушал, но было что-то такое во мне, отчего все теперь выглядело иначе и не казалось чужим и недоступным: кинофильмы, и спортивные новости, и разговоры о девушках.

После уроков мы встречались с ней, и я провожал ее до дому. Меня удивляла ее непринужденность. Я знал, что все девчонки дичатся, стесняются даже кивнуть знакомому парню, когда идут с подругами. А вот она была совсем другой.

Я всегда стоял на бульваре в полусотне шагов от ее школы и ждал. Девчонки выбегали небольшими веселыми толпами, с толстыми портфелями,— сначала маленькие, потом постарше. Чем-то они были похожи на галчат в своих черных форменных передниках. Я еще издали узнавал ее светлую голову и косу, перекинутую на грудь.

Надо мной по-осеннему сухо шуршала листва старых лип, ногам было уже мягко стоять на желто-буром покрове бульвара, но еще держалось тепло в ясном, сухом воздухе.

Она останавливалась, прощаясь с подругами, и переходила мостовую. И мы шли по бульвару, стараясь отстать от ее подруг, идущих по тротуару и оборачивающихся, чтобы взглянуть на меня. Мы сворачивали на канал, переходили мостик и шагали по площади мимо Русского музея, потом — через Садовую.

Ее улица была маленькой и короткой, но здесь находились разные учреждения, стоянка такси, а на углу Невского — самый большой в городе продуктовый магазин, и поэтому было всегда людно.

Я помню, что в толчее мне было уютнее, чем на тихих

улицах,— мы становились как бы ближе друг к другу. У ворот я отдавал ей портфель, и мы расставались до вечера. Впрочем, с началом учебного года мы виделись все реже: занятия требовали времени, у нее были подруги. А после школьного вечера, посвященного началу занятий, стали встречаться совсем редко. Я хорошо запомнил тот вечер. Это был единственный школьный вечер, на котором я не чувствовал себя чужаком, единственный и последний. Больше мне уже не довелось бывать на вечерах, и школа, занятия, встречи — вся обычная жизнь — отошли далеко в прошлое. И порой мне казалось, что их не было никогда.

В тот вечер я забрался в угол и сел на скамеечку рядом с Женькой Никулиным. В женской школе был маленький зал, в котором обычно проводились уроки физкультуры, и сейчас несколько пар танцевали танго под радиолу, а в углу стояло ободранное пианино, за которым валялись свернутые маты.

Мы сидели, прислонясь спинами к перекладинам шведской стенки, и смотрели на танцующих. Легко и элегантно танцевал Валерка Парамонов с какой-то девушкой в лаковых туфлях. Тяжеловато, но все же красиво вел свою высокую партнершу Оскар. Еще два или три наших парня мельтешили в танце у противоположной стены, а в основном танцевали девчонки друг с другом. Я почти не замечал их всех и следил только за ней. Она была в памятном мне кремовом платье и белых туфлях, коса собрана тяжелым узлом на затылке. Она казалась взрослой и строгой и танцевала с каким-то незнакомым парнем. Высокий, коротко стриженный, парень явно не был школьником. Я даже не знаю, почему мне так показалось,— видимо, были какие-то неуловимые приметы в его облике: хорошо повязанный галстук, какая-то легкая небрежность. Скорее всего, он был студентом — мне так и не довелось узнать это.

Я смотрел, как они танцуют, делая плавные повороты, как изредка перекидываются словами, все удаляясь и удаляясь от меня в глубину зала.

— Хорошая девчонка...— сказал Женька Никулин. Он назвал ее по имени, хотя не был с ней знаком. Ее многие в нашей школе знали по имени, но не могли похвастать знакомством.

— Да, очень,— отозвался я горячо. Женька мне нравился больше всех в классе. Что-то было в нем такое, что вызывало уважение. Он никогда ни перед кем не

заискивал, не пытался словчить, списать на переменке домашнее задание, если сам не приготовил его. Женька мне нравился, но сейчас вдруг стало неприятно, что он смотрит на нее, произносит вслух ее имя.

Я уже ревновал ее к чужим взглядам, к тому, что кто-то произносит ее имя, которое до сих пор не хочу поминать всуе.

В тот вечер мне хотелось, чтобы она стала маленькой, как Дюймовочка, чтобы можно было спрятать ее в ладонях, и только одному смотреть на нее, и никому не показывать.

Так и сидел я в углу, мрачнея от ревности, смешанной с нежностью. Она подошла, когда кончился танец. Я смотрел на нее сидя, снизу вверх, и она казалась высокой и очень красивой.

Радиола натужно завела следующее танго, и она позвала меня танцевать. Я смутился, сказал, что не умею. Но она наклонилась, взяла меня за руку и вытащила из угла. Я почувствовал, как твердо она держит меня за плечо, и обнял ее за талию. И она повела, подсказывая, какой ногой делать шаг. Мельком я увидал округлившиеся глаза Женьки Никулина, перехватил внимательный взгляд Валерки Парамонова, но это не вызвало во мне гордости. Я чувствовал себя каким-то потерянным, загнанным, потому что ее грудь коснулась моей, потому что ее лицо было так близко, что я видел каждую ресничку и как подрагивают тонкие ноздри. Я не слышал музыки, не видел ничего вокруг и только подумал, что моя внезапно вспотевшая ладонь оставит пятно на ее светлом платье. А она внимательно, пристально смотрела мне в лицо, прямо в глаза, и такая растерянность охватила меня, что вдруг захотелось вырваться из-под ее руки, крепко державшей мое плечо, и бежать от этих пристальных, испытующих глаз, от трепещущих ноздрей, от чистого, печального запаха ее волос. Что-то новое появилось в ее строгом и озаренном лице — она видела меня насквозь и хмелела от моего смятения, как от музыки. Но я не убежал, и пластинка докрутилась до конца.

Она взяла меня под руку и подвела к тому парню, с которым танцевала. Он стоял, небрежно облокотившись на пианино.

— Познакомьтесь,— сказала она.

Я протянул руку, почувствовал внушительное пожатие сухой, твердой ладони и кивнул. А потом мы стояли

друг против друга в неловком молчании, пока она не попросила его сыграть. Он согласился сразу, не ломаясь. Она выключила радиолу, и он сел за пианино.

Я смотрел, как крупные руки снуют по желтоватым и черным клавишам, как танцуют пары вдоль шведской стенки; смотрел ей в лицо, затуманенное каким-то раздумьем, и чувствовал, что исчезаю, растворяюсь в этих звуках разбитого пианино, в тусклом свете зарешеченных плафонов, в ее задумчивом взгляде, в кружении пар. Я уже не существовал ни для кого в этом зале, даже для самого себя. Я был чем-то вроде скрипов и шорохов, накладывавшихся на музыку в гулком нутре старого инструмента. И зависть разливалась во мне к этому парню, который легко извлекает из пианино музыку и попутно эти скрипы и шорохи, которые и есть я, никому не нужный и незначительный.

Это было со мной весь вечер. И только когда мы вышли на безлюдный вечерний бульвар, стало легче.

— Ну, я пойду,— сказал этот парень и кивнул нам, не вынимая рук из карманов.

— Ладно, пока,— коротко ответила она и взяла меня под руку. И в этом сухом, деловитом прощании было что-то такое, отчего мне опять стало тревожно и холодно.

После этого дня мы вдруг перестали видеться вечерами. Я по-прежнему встречал ее после уроков и провожал до дому. Мы расставались под аркой, и она ничего не говорила о встрече вечером, а я сам не просил об этом — так уж повелось с самого начала. Я только приходил вечерами во двор и, спрятавшись в дверях черной лестницы, смотрел в ее окно. Сквозь тюлевую занавеску все казалось туманным и размытым, и от света лампы вокруг ее головы искрился желтоватый ореол. Или я видел ее в соседней комнате. За большим столом собиралась вся семья: младшая сестра, мать, отец. Ее место было напротив окна, и я несколько раз видел, как она ест. До сих пор помню, как обеими руками она подносила ко рту большую белую чашку. В этом движении было что-то удивительно детское и трогательное. Честно говоря, в то время меня умилял каждый ее жест, любой поворот головы.

А может быть, это только кажется мне теперь? Может, все было проще и будничней? Может, я придумал и боль и любовь?

Для нас всегда ясен поступок, но не жизнь сердца. Я стремлюсь к истине, но возможно, что все это — ложь.

Нет, правда! Это настоящее. Я верю, что все это настоящее, и никогда не пойму тех многоумных взрослых людей, которые с пренебрежением смотрят на свою и чужую юношескую любовь. Мне кажется, что это от робости души — страх перед искренним, еще не замутненным никаким опытом чувством. Они пугаются абсолютности этого чувства; его высота и величие несовместимы с их инстинктивной тягой к благоразумию. Они считают, что это ненастоящее. Но разве может быть ненастоящим росток яблони, только что проклюнувшийся из земли? Он все равно — дерево!

Да, мы все реже виделись вечерами, и я бродил около дома, хотя в ее окне часто в последние дни не было света. Я кружил по улицам и мостам и снова возвращался к ее дому, заглядывал в окно, но оно было пустым и черным. Я вспоминал нашу короткую встречу днем, пытаясь в ней открыть причину ее отсутствия, и ее молчаливость и рассеянность днем казались мне теперь, вечером, многозначащими и тревожными. Вряд ли в то время я что-нибудь понимал — скорее всего, это были смутные догадки, предчувствие потери. Я бродил по сумеречным улицам и ощущал лицом сырость воздуха, вдыхал терпкий, горький запах палой, умирающей листвы.

Но днем по-прежнему встречал ее после уроков на бульваре и провожал до дому, нес портфель, заглядывал в лицо и томился. Она была молчалива. А я, как все слабые люди, видимо, пытался оттянуть развязку и поэтому не решался спросить, где она пропадает вечерами. У дома она брала у меня свой портфель и, ничего не сказав, уходила. А я оставался со своими печалями и болями, про которые не знал еще, что они — печали и боли, с ощущением пустоты.

Я столько передумал о ней в ту последнюю неделю осени, столько часов провел возле ее дома, что все это вошло в меня, стало частью моего существа. Я мог, закрыв глаза, представить себе каждое ее движение, любую мимолетную тень на лице, каждый уголок ее комнаты, хотя не был там никогда. И это знание приближало ее ко мне, делало ее почти что созданием моего воображения,— жизнь нашего духа — это всегда часть нас самих. И поэтому она всегда была со мной над узкими каналами с запахом стоялой воды, на улицах с туманными призрачными перспективами, на мостах, овеянных ветром.

Один раз я встретил ее.

Я только что вышел из двора, где на меня слепо и равнодушно глянуло темное окно первого этажа. Я вышел и почему-то сразу перешел на другую сторону улицы, где толпились люди в очереди на такси. Вся суета, весь шум, смех, обрывки слов не имели ко мне никакого отношения, потому что в маленьком дворе, захламленном ломаными бочками и обветшалыми рогожными кулями, не светилось окно первого этажа.

Я чувствовал отчуждение и враждебность к этому поглощенному собой и куда-то устремленному миру. Только она связывала меня с ним, только она делала меня самим собой или таким, каким я хотел быть,— без нее я ничего не значил, был пустым местом, парой разбитых ботинок и поношенным платьем.

И не было в моей жизни одиночества горше, чем это,— было страшней, было глуше, безнадежней, безвозвратней, но горше не было. Я и сейчас вижу ту мальчишескую фигуру — тощую и нахохленную — на углу проспекта и маленькой, но людной улицы; кругом суголока и вечерняя спешка, цветные огни и праздничность, и одинокая фигура на углу отбрасывает зыбкую тень на освещенный витринами асфальт.

И вдруг я увидел ее. Стройная женщина в белых туфлях шла по той стороне улицы, прижимая к лицу букет каких-то темных цветов. Я бросился ей наперерез, но не добежал. Что-то остановило меня в нескольких шагах, и возникло чувство неловкости, будто я подглядываю за ней, а она не подозревает об этом. Да, она медленно шла, прижимая к лицу букет темно-лиловых и красных астр, и чуть улыбалась. И у нее было такое лицо, будто перед ней не улица, а огромное зеркало, в котором она видит только себя и любуется своей одеждой, плавными движениями, улыбкой...

Я не окликнул ее.

Утро выдалось холодным и пасмурным, как-то резко, сразу стала видна глубокая осень. Голые, мокрые прутья кустов на бульваре покорно дрожали под ветром, раздетые деревья отступили друг от друга, застыдившись своей наготы и угловатости; подошвы прилипали к раскисшей дорожке.

Я не дошел до школы, почему-то свернул в переулок, вышел на канал, пронизанный сырым ветром, и побрел без мысли и без цели. Весь день я плутал по улицам, бродил по сквозным аллеям Михайловского сада, выста-

ивал на мокрых мостах. Я ни о чем не думал — какая-то оцепенелость была во мне.

К концу занятий я снова стоял на бульваре, поджидая ее. Я уже понимал, что этого не нужно делать, но не мог справиться с собой, не мог пересилить желание еще раз увидеть ее. И я стоял под знобким ветром, обреченно предчувствуя унижение от ее холодности. Но она, завидев меня, улыбнулась, оставила подруг и перешла на бульвар. Мы пошли рядом, и я нес ее портфель, будто не было холодности и отчуждения последних дней между нами, будто не она шла вчера с цветами, странная, с тихой улыбкой, словно гляделась в зеркало.

Мы шли, перебрасываясь замечаниями о погоде и прохожих, о школьных делах, еще о чем-то — все было как всегда, но все было другим. Мне хотелось смотреть на нее, но я прятал глаза, будто в чем-то был виноват. И еще хотелось спросить, откуда она возвращалась вчера, но я не решился. Так и шли мы сквозь серый осенний воздух, осторожно роняя пустые слова и стараясь не глядеть друг на друга.

У ворот ее дома мы долго молчали: никто не решался уйти первым. И тут я неожиданно для себя позвал ее еще погулять. Она зябко пожала плечами, но молча вышла из-под арки.

Сырой, липкий ветер задувал нам в лицо, морщил пелену луж на садовых дорожках, срывал последние жухлые листья с ветвей и шумел в ушах. Мы шли тем же путем, которым я бродил сегодня. Она смотрела вперед, плотно сжав губы, я сбоку заглядывал ей в лицо и хотел сказать, что люблю ее, но чувствовал, что этого не надо делать, и все сильнее хотел сказать ей это. И где-то на мостике через Мойку, там, вблизи Эрмитажа, я взял ее за руку и решился.

— Послушай,— сказал я и назвал ее по имени.

Она медленно повернула голову, наши взгляды встретились, и я понял, что нужно молчать. Ее сухие, настороженные глаза приказывали молчать, в них был мой приговор.

— Что? — спросила она.

— Ты не замерзла?

Она печально покачала головой, взяла у меня портфель, и мы быстро пошли к ее дому.

Под аркой стояли и молчали. Я теперь не боялся ее взгляда: между нами уже все было ясно, и мы просто прощались, строго глядя друг на друга. Что-то дрогнуло

в ее лице, она шагнула ко мне и поцеловала в щеку, а потом повернулась и побежала во двор. Так все и кончилось. Нет, вернее, так все и началось. Ведь я до сих пор ношу в душе то лето и ту осень...

После этого дня я уже не ходил в школу, кажется, не разговаривал несколько дней, и во мне росло убеждение, что после всего, что было, жить по-прежнему уже нельзя.

У моей матери с давних пор в шкафчике хранились три ампулы с каким-то лекарством. Много лет угрозами и увещеваниями эти крошечные бутылочки оберегались от меня, и поэтому я думал, что в них какой-то сильный яд. И вот я вытащил эти ампулы из шкафчика и рано ушел из дому.

Крепкий утренник хрустел ледяной коркой луж под ногами, присолил белым инеем кучи листвы в скверах. Уже пахло морозом, чистым снегом, свежестью.

Ампулы согрелись в кулаке, втиснутом в карман.

Я бродил по улицам и представлял себе последствия своего поступка: недоумение в классе, горе родителей. И мне даже становилось смешно оттого, что никто не будет знать причин, что я оставляю всех в дураках — всех, кроме нее. Я представлял себе, как поразит ее мой поступок, как горькое чувство вины будет точить ее сердце. И мстительное злорадство наполняло меня решимостью.

Мой путь закончился на черной лестнице нашего старого дома. Она была заброшена с самой войны, потому что полдома заняло учреждение, пользовавшееся лишь парадным подъездом. Дверь на лестницу была заколочена, но я знал лаз через подвальное окно.

Ступени покрылись слоем пыли, глушившей шаги, стекла затянуло паутиной, валялись полуистлевшие тряпки, битые бутылки, пахло кошками и запустением; из-под облупившейся штукатурки краснела старинная кирпичная кладка; кое-где на стенах сохранились детские каракули.

Я поднялся до площадки третьего этажа и встал у окна. Мне был виден наш тесный, знакомый до мельчайших подробностей двор с бетонной помойкой, мокрым асфальтом, решетчатой крышкой люка. Сознание того, что я вижу все это в последний раз, вызывало какое-то странное любопытство, будто все это я видел впервые. Я достал из кармана теплые ампулы и прислонился к стене. Вдруг мне пришло в голову, что я пере-

пачкаю спину об стенку. Я отошел, положил ампулы на подоконник, снял пальто и тщательно отряхнул спину, а сам все думал, зачем я это делаю, будто теперь не все равно. Потом я медленно надел пальто, взял ампулы и сломал головки. Лекарство пахло резко и тошнотворно, и я понял, что мне неохота, до смерти неохота умирать на этой загаженной кошками лестнице, у окна, выходящего на помойку. Я бросил ампулы и раздавил, растер подошвами тихо похрустывающее стекло и кинулся вниз по лестнице. Остаток дня я, не останавливаясь, шел по улицам, шел быстро, стараясь убежать от того, что пережил на черной лестнице.

А ночью пришел стыд. Я лежал в темноте и корчился от унижения. Я презирал себя. У меня не хватило характера даже на то, чтобы перестать жить.

Прошло уже много лет, но я все помню и думаю, что то унижение было страшнее всего.

Я уже не мог жить жизнью сверстников, и прибежищем мне стала улица. Тут и сработали мои давние знакомства. Я вошел в жутковатый мир тогдашней барахолки, которая с утра дотемна месила грязь и сквернословила на набережной Обводного канала. Я узнал разболтанных, полупьяных людей, отирающихся на вокзалах; научился выделять в толчее магазинов подростков со скучающими лицами, на которых опасливыми мышатами бегают настороженные глаза. Через несколько месяцев все эти люди принимали меня за своего. Я испытал невеселое удовольствие от своей кажущейся независимости, от удачливости, которая, как говорили, не сопутствует трусам.

О школе, о прежней жизни, о ней я не думал — старался не думать. Только временами, непрошеные, вдруг приходили воспоминания, и я понимал, что живу не так, что все плохо. Но странный, злорадный голос шептал мне: «Ну и пусть, чем хуже — тем лучше». И с холодным упрямством я продолжал ломать свою жизнь.

Я делал все назло самому себе.

Не знаю, наверное, все это было от неосознанного желания расквитаться с собой за унижение и страх, пережитые там, на черной лестнице,— медленный способ самоубийства.

Конец настал быстро. Следующую весну я встретил далеко от Ленинграда, без надежды когда-нибудь вернуться...

Но вернулся, правда, почти десять лет спустя. И жил, работал, учился, ставил перед собой суетные маленькие цели, шел к ним, добивался или сворачивал на полпути. Но с той девушкой не встретился ни разу. Да и та ли она теперь?

В квартире на первом этаже, где она когда-то жила, теперь склад магазина. В ее окно ведет ржавая железная лесенка с трубчатыми перилами. По этой лесенке рабочие в клеенчатых фартуках вносят и выносят ящики и мешки. И в ее комнате — наконец я заглянул туда — свалены коробки из-под апельсинов с пестрыми экзотическими наклейками...

Неужели это все, что остается от первой любви?

Уже до меня и лучшим, чем я, было сказано: «Да святится имя твое». Он сказал это за всех, которые думали то же самое, но не могли найти этих слов по своей занятости, по опущенности глаз своих к земле. Я добавлю только: «Прощай и здравствуй. Здравствуй и прощай. Вечно здравствуй».

Это она помогла мне выжить. Это она шла со мной, она была рядом на всех крутых перевалах.

Я помню обжигающий мороз, иллюминацию над колючей проволокой — свет, от которого становится темно на душе... Она была со мной тогда. Я помню драку за какие-то съедобные отбросы под магнийными звездами, подсинивающими плотный, искрящийся снег. Я не бросился в помойку за этими отбросами, не хватал ртом прямо с земли селедочные головы и очистки, потому что я видел ее глаза, и они были больше этих страшных звезд. Я чувствовал себя человеком, потому что она была со мной тогда. Она была как мост, соединяющий с жизнью. И я все-таки пришел на этот берег.

Я люблю свою первую любовь, и только одно омрачает меня. Оттуда я написал ей письмо. Писал его в каком-то хмелю. Там были бессмысленные угрозы и слова любви, там были ненависть, проклятие и благословение. Я до сих пор помню то состояние, в котором писалось это письмо. Там я совершил предательство своей любви. Я сказал вслух то, чего не должен был говорить, то, что запретили ее глаза на ветреном мосту. Я назвал ее своей против ее желания — «по праву тех, кто может не вернуться». Я совершил насилие над тем, чему имя — свобода. Я до сих пор надеюсь, что письмо не дошло до нее...

В субботу мое лирическое настроение иссякло.

Я зашел в кафе. Кто не знает этих заведений — прямоугольный зал с низким потолком, увешанным маленькими плафонами, в дальнем углу буфетная стойка из дюралевых угольников и стекла; ряды столиков, крытых пластиком и заставленных грязной посудой. Склонившиеся над тарелками люди сосредоточенно, истово жуют, будто исполняют важную работу. Здесь не встретишь праздных субъектов, прохлаждающихся за стаканом вина и скорбящих о собственном несовершенстве. Сюда забегают перекусить студенты и командированные, шоферы, продавщицы окрестных магазинов, почтальоны.

Я постоял в короткой очереди в кассу, прошел в другую очередь к раздаточному окну, из которого веяло жарким кухонным дыханием, и с пластиковым подносом стал лавировать между столами, разыскивая место почище и поспокойнее. Сел и огляделся.

Среди буднично утолявших голод людей вдруг бросились в глаза сидящие неподалеку два парня и девушка. Не было у них на столе ничего особенного: та же еда, две бутылки какого-то дешевого вина. Но по их оживленным, улыбчивым лицам, по блеску глаз было ясно, что они пируют, а не просто едят.

Я хорошо видел широковатые и чем-то схожие, бесхитростные лица чуть захмелевших парней и профиль девушки. Ел и прислушивался к их негромкому смеху, и мне было почему-то приятно, что эти молодые, веселые люди сидят неподалеку. Я изредка поглядывал на них.

Что-то привлекало меня в этой девушке. Блестящие темные волосы, собранные на затылке, милая асимметричность лица, серый ворсистый берет — все это было обычно: не внешностью притягивала мой взгляд эта девушка.

Возможно, то, что я скажу,— лишь наивное заблуждение. Но на лице всегда остается след душевной работы, если человек неистово ищет ответы на бесконечные *почему,* которые ставит перед ним неудачливая судьба. Да, именно неудачливая, потому что удачи и успех воспринимаются как должное. А должное и естественное не вызывает вопросов. Разве у счастливой любви спрашивают, почему она счастливая? А вот неудачи всегда порождают эти *за что* и *почему.* И, мучаясь в поисках ответов, человек попутно передумает и поймет так много,

что иногда ему становится ненужным ответ на то *почему*, от которого он отправился в путь.

Я люблю эту породу людей, которые вечно ищут и вечно не находят ответов. И след этой душевной работы виден на человеческом лице сквозь любые ухищрения косметики, блеск молодости и старость. Девушка несколько раз оглянулась на меня, и это взволновало. Уже возникло между нами какое-то непонятное общение.

Они ушли чуть раньше меня. Но когда я, застегивая плащ, вышел на улицу, то сразу столкнулся с этими парнями. У них были растерянные, обескураженные лица. Они медленно прошли мимо.

Я постоял, глядя им вслед, закурил.

Рядом у витрины спиной к улице стояла женщина в сером мохнатом пальто и ярком розовом шарфе; ее темные волосы спадали на плечи, большие защитные очки скрывали лицо. Она стояла и смотрела в витрину, чуть отставив ногу в коричневом замшевом сапожке, покачивала рукой сумку, висевшую на плече. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. Это была та девушка, которая пировала с парнями в кафе, только она сняла́ берет и распустила волосы.

Видно, очень уж огорошенный был у меня вид, потому что она весело улыбнулась и сняла очки.

Мы медленно шли по улице.

Уже зажигались витрины и фонари, все неспешнее становился поток прохожих.

Я смотрел ей в лицо. В этом вечернем свете она казалась старше. Нет, это было молодое лицо — густо наложенная на веки чернь и яркая губная помада только выделяли свежесть смуглой кожи, но у меня не проходило давешнее впечатление. Что-то было в ее лице, в блестящих темных глазах, где-то глубоко-глубоко таились тени. И когда она переставала улыбаться, на лице вдруг появлялась усталость, будто на миг с него спадала маска беззаботности. Гасли глаза, расслаблялись мускулы, и все сразу тускнело. Это состояние было таким кратким, что его можно было не уловить, если бы оно не повторялось. А потом я заметил негармоничность глаз и лица — глаза были старше. Даже когда она улыбалась, они смотрели вопрошающе. И эта затаенная вопросительность как-то скрадывала вульгарность косметики и чрезмерную современность ее облика, тоже граничащую с вульгарностью. Но не было в ней того откровенно-

го и незатейливого кокетства, которое сразу бросается в глаза любому мужчине...

Мы медленно шли по улице, вплывающей в прохладный и ясный осенний вечер.

— Что же вы покинули своих рыцарей? — спросил я.

— Да ну их! — Она рассеянно улыбнулась, видимо думая о чем-то другом.

— По-моему, это жестоко. У них были такие обиженные лица.

— Мне надоели обиженные лица: каждый носится со своей непонятостью.

— Какие же лица вам нравятся?

— Умные. Скучно, когда понимаешь, что нечего понимать.

— Нормальные парни, кажется.

— Да ну, противно, когда мужчина начинает думать черт те что, если ты поговорила с ним за столом. А если не отказалась от стакана вина, то он уже считает, что купил тебя хотя бы на вечер.

— Н-да, бывает.— Мне стало неудобно от этой неожиданной, грубой откровенности, и я не знал, что ответить.

— Я не ангел, но неприятно, когда через десять минут обнимают за талию и думают, что для тебя это — ух какое счастье.

— Это модно,— сказал я.

— Модно... Может, сразу назначать цену? За полстакана марочного столько-то улыбок или чего-нибудь еще? Меновая торговля. Можно условиться об эквивалентах. Как там, в политэкономии: один топор равен одной овце? — Она злилась.

Мне стало скучно и досадно. Я совсем не ждал такого разговора и сказал:

— Да бросьте, стоит ли об этом всерьез.

— Конечно нет,— улыбнулась она.— Просто хотелось позлить вас. Вот, ожидали веселого приключения, а тут — нудный разговор, чуть не со слезой. А у вас хорошее настроение, вы — добрый, и никаких излияний вам не надо.— Лицо ее стало насмешливым.

Я смутился и забормотал неуверенно:

— Да нет, почему же? Но просто...

— Вы еще не разучились смущаться.— Она рассмеялась.— Это здóрово. Только не обижайтесь. Знаете, бывает такое стервозное настроение: хочется кому-нибудь досадить — и болтаешь разный вздор.

— Понимаю,— сказал я без всякого энтузиазма.

— Ну вот вы и скисли. Честное слово, вы мне нравитесь, и все прекрасно. Я ведь специально у кафе ждала вас.

— Зачем?

— Не знаю.— Она, опустив голову, прошла несколько шагов, потом подняла лицо.— Я ведь сказала, что люблю умные лица.

Я не понимал, насмехается она или говорит правду; интонация ее была доверительной, а глаза, хоть и печальные, озорно поблескивали.

Мы свернули на набережную и пошли вдоль старых особняков с большими окнами, в черном глянце которых покачивались желтые блики фонарей. Я не знал, что говорить, и стал закуривать. Она тоже протянула руку за сигаретой.

Некоторые прохожие косились на нее, а она не замечала этих взглядов, курила, помахивала сумкой на длинном ремне, так что едва не касалась ею асфальта. А я поеживался под взглядами встречных, и внутри тоже было неуютно. То, что эта женщина шагала рядом, обостряло одиночество, делало этот вечер несносным. И, как всегда в одиночестве, я незаметно прибавил шагу, резче замахал руками.

— Что это у вас? — Она взяла меня за кисть руки, силясь рассмотреть тыльную сторону под тусклым светом фонарей.

— Татуировка — что! — буркнул я и хотел отнять руку, но она не отпустила.

— Вы были в колонии? — спросила она медленно.

— Как вы догадались? — с угрюмым удивлением ответил я.

— Ну как же, бабочка с усиками — знакомая наколочка.— Она говорила с какой-то мягкой улыбкой, и лицо вдруг потеплело.— Еще — кинжал на предплечье... У вас нет?

— Нет.

— Вы только не сердитесь.— Она взяла меня под руку.

Я молчал.

— Я хорошо знала это заведение. Еще школьницей... Юноша один, моя первая любовь,— она усмехнулась,— попал туда. Ездила к нему на свидания.

— В каком году?

— Это был сорок девятый.

— Я был там раньше.

— Значит, вы не тот юноша.— Она помолчала.— Знаете, смешно сейчас вспоминать. Возомнила себя спасительницей, подвижницей. Женская жертвенность... Помочь выбраться на дорогу...

— Ну и как, спасли?

— Нет, погубила.— Она рассмеялась.

В ее словах была какая-то фальшь, кривляние, и это злило.

— Ну хоть сами-то получили удовлетворение от миссионерства?

Она посмотрела мне в глаза, отвернулась и сказала тихо:

— Я ведь не спасла.

Ее задумчивое лицо как-то сразу постарело, стало под стать глазам, взгляд которых был обращен внутрь.

Я локтем чуть прижал ее руку и спросил тихо:

— Он умер?

— Нет, он живет, и еще как! Только он — ничтожество. Благополучное, самовлюбленное. Видели павлина в зоопарке? Так вот, он и есть павлин. Он очень любит свой хвост. Он влюбился в себя на всю жизнь и после смерти, потому что достиг чего-то. Теперь сидит вечерами у телевизора, пьет коньяк, посматривает в зеркало и улыбается сам себе. Он купается в самоуважении.

— Чем он занимается?

— Математик. Электронная машина в великолепных дакроновых костюмах. Мне он не может простить, что знала его другим и помогала. Он на всю жизнь остался вундеркиндом, а они же вырастают из ничего, сами по себе.

Она умолкла, опустив лицо. А я тут только заметил, что мы идем очень быстро и давно плутаем по узким улицам Петроградской стороны.

— А у вас какая профессия?

— Юрист.

— Следователь?

— Нет-нет. Я работаю в таможне. У вас, наверное, до сих пор неприязнь к следователям... Человек родом из детской колонии,— задумчиво проговорила она.— А у вас что за профессия?

— Строитель,— ответил я. И тут меня понесло.

Я рассказывал ей все. Все без утайки. О моей детской ущербности и первой любви. О том, как одна девушка перевернула мою жизнь. О тревожности улиц, когда

бродишь по ним один; о детской колонии, о наивном и жестоком мире подростков, рано ставших взрослыми, о голоде, обо всем. Улицы водили нас по городу, и она крепко держала меня под руку. И я говорил и говорил, иногда привирая, чтобы украсить непривлекательные подробности, чтобы самому себе показаться лучше и чище. И ловил себя на этом вранье, но все равно знал, что говорю чистую правду.

Она слушала и молчала, глаза то грустнели, то наполнялись смехом. А потом мы сидели в какой-то маленькой, забитой молодежью мороженице и пили кислейшее вино. И в гомоне голосов и звяканье посуды она говорила, близко склоняя ко мне свежее лицо с усталыми глазами:

— Вот вы всё сами, и вам некого винить, некого ненавидеть. Вы никому не должны...

Я смотрел на нее, и все больше чувствовал нашу родственность, и влюблялся в ее руки, сдержанные жесты, глаза.

— А вы хотели бы увидеться с той девушкой?

— Это невозможно.

— Она умерла?

— Не знаю. Но она теперь не та. Той девочки нет — она осталась там, где и парень, которым я был.

— Да-да... Туда не вернешься.

Мы вышли. Был ветер и холодный сумрак, но мне было тепло. Мы брели сквозь вечер — два маленьких мира, между которыми протянулась зыбкая, невидимая связь.

Возле Каменноостровского моста она остановилась.

— Дальше я пойду одна, ладно?..

Она быстро пошла через мост и вскоре скрылась за горбом. А я остался один, и на миг меня охватило чувство покинутости, как тогда в юности. Но я уже был защищен. Я знал, что эта женщина останется со мной, как та девушка, как все люди, которых я любил, с которыми враждовал, как все мои ошибки, все успехи, все неразгаданные *почему*.

РАССКАЗЫ



МАЛЕНЬКИЙ ДОМАШНИЙ ОРКЕСТР

СЫН

ЗА ЕЛКОЙ

БЕШЕНАЯ СОБАКА

ПОМНЮ

ВДАЛИ ОТ ВОЙНЫ

РОДСТВЕННИК

ТАКАЯ ПЕСЕНКА

ОСЕНЬЮ

ШАШЛЫЧНАЯ У ДОРОГИ

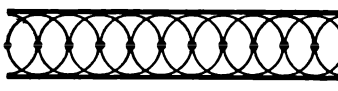
ЛЕВ И МИШКА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

ПРОКЛЯТИЕ БОГОВ

ОСЬКА И БОРЗОВ

МАЛЕНЬКИЙ ДОМАШНИЙ ОРКЕСТР



День был обычным. Копейкой я отомкнул наш старый замок. Повесил плащ на вешалку в нише коридорной стены и прошел на кухню.

Дом у нас старинный и неудобный: нет в квартире ванной, а топки высоких изразцовых печей выведены в длинный коридор; по стенам причудливая лепнина, пережившая войны, перепланировки и многих жильцов. В кухне, у стены, плита с медными заслонками духовки и топки, рядом газовый таган и водогрей над фаянсовой раковиной, старый стол посередине.

Здесь ничего не изменилось с тех пор, как я помню себя. Много раз предлагал я матери разобрать и вынести плиту, бесполезно занимающую угол, но она не соглашалась, хотя давно уже провели нам центральное отопление и газ. Мать говорила, что места на двух хозяек достаточно и плита никому не мешает. В очередные дни уборки она начищала заслонки зубным порошком, и они горели цветом осенней листвы, придавая нашей кухне праздничный вид.

Я стал мыть руки и смотрел, как мать возится с кастрюлями, разогревая мне обед, как отраженные заслонками желтые блики ложатся на темный паркет.

Все было привычным — и плеск струи из крана, и гудение водогрея, и позвякивание кастрюль, и облезлый фасад флигеля за окнами.

Я сел за стол, раскрыл газету. Мать поставила передо мной тарелку, и я, не отрываясь от газеты, ощупью взял ложку и стал есть. Кажется, это был борщ.

Я никогда не помню съеденного, потому что привык читать за едой и ревностно охраняю эту привычку от нападок матери. Но второе блюдо этого обеда я, кажется, буду помнить всегда.

Ложка звякнула по дну опустевшей тарелки, а я читал, уткнувшись в газету. Мать спросила:

— Тебе одну или две котлеты?

— Одну,— пробурчал я.

Она поставила передо мной тарелку. Я перегнул лист, чтобы видеть конец столбца, не глядя занес вилку над тарелкой, и тут до меня дошел запах вареной чечевицы. И сразу потемнело вокруг, декабрьская стужа сорок первого охватила меня.

Я увидел себя маленьким, лежащим в кровати под двумя одеялами, в зимнем пальто и старых ботах.

Трепетал бледный огонек коптилки, от него к потолку тянулась нитка копоти. (Маляр потом после войны долго мучился, выводя черное пятно, упрямо проступавшее на потолке сквозь свежую побелку.) Тихо шуршала «буржуйка» горящими страницами книг. Мать подымала крышку маленькой кастрюльки, и я слышал этот запах чечевицы.

Если бы были силы, я бы вскочил с постели и хватал это горячее варево прямо голыми руками. Но я ел из большой белой тарелки, на дне которой каша расползалась маленьким черным пятном. Ел чайной ложкой, медленно, чтобы на дольше хватило,— и даже прикосновение горячего к саднящим, расползающимся от цинги деснам казалось блаженством.

У матери уже не было сил ломать стулья, чтобы накормить «буржуйку», а книги кончались. Под подушкой у меня лежала любимая: «Нелло и Патраш». Я уже не читал ее, потому что выучил наизусть. Да и не мог из-за темноты, и часами лежал неподвижно и грезил довоенными школьными завтраками, которые оставлял в парте, забывая съесть на большой перемене. Было до слез жаль эти пропавшие щедрые бутерброды с колбасой, сыром, икрой. И казалось, что мне было бы сытно и тепло сейчас, если бы я съел их тогда, до войны. В те счастливые времена я даже не представлял себе, сколько несказанной красоты в круглом ломте батона с поджаристой корочкой, в блестящем желтом масле, в красном кружке колбасы с белыми глазками жира, который я никогда не ел, а выковыривал и бросал... Мать не позволяла думать о еде, говорила, что от этого бывает хуже, а я не мог не думать...

В Новый год умер отец Вовки Шушарина, дядя Леня. Его не взяли в армию, потому что после ранения в финскую войну у него не сгибалась рука. Он держался на

ногах до последнего дня. Тридцатого декабря еще заходил к нам и помог матери разломать качалку. Он сказал тогда: «Это все пройдет. И с продуктами будет хорошо, как только их отгонят. Земля отдаст свое. Может, сахару долго не будет, а хлеб, крупа, овощи — это будет сразу».

А первого января я лежал один в темноте. Мать ушла в очередь за хлебом. Когда она уходила, я не мог спать и напряженно вслушивался в тишину квартиры, стараясь пораньше уловить шум шагов, потому что он означал хлеб. И тут Вовка постучал в стенку, слабо, чуть слышно. Мне не хотелось вылезать из-под одеяла. Я знал, что потом долго будет не согреться. Но стук повторился, и я встал, накинул поверх пальто и ушанки голубую бархатную скатерть и, придерживаясь за стенку, побрел к Шушариным. В комнате горела коптилка, поставленная в стеклянную банку,— у них был целый бачок керосина и они не гасили огня ночью. Коптилка освещала голый стол, «буржуйку» с коленчатой трубой и кровать с горой одежды. Я подошел и увидел Вовкино лицо, узкое, серое, с черными впадинами глаз.

— Батька умер. Помоги вылезти. Я боюсь на него наступить.

Вовка лежал у стенки, а дядя Леня с краю, укрытый с головой. Мне стало страшно.

— Как я тебе помогу?

— Потащи одеяло, а я пройду у стенки и перелезу. Ты не бойся, он только умер. Я ему говорил: потерпи, сейчас мамка придет, поешь хлеба и не умрешь. И свою порцию обещал отдать, а он не захотел, сказал, чтобы я за него съел. Ну, тяни.

Я потянул за угол одеяла в ногах, но оно не подалось.

— Пальто прими сначала сверху,— сказал Вовка.

И я потянул пальто дяди Лени, тяжелое, с каракулевым воротником. Оно мягко сползло на пол, а у меня с натуги перед глазами поплыли черные и красные хлопья, и, чтобы не упасть, я схватился за холодный, никелированный шар на спинке кровати. Потом Вовка, весь обвязанный серым платком, долго лез через спинку. Мы взяли коптилку и пришли к нам. Я сразу залез под одеяло. Вовка попросил:

— Пусти на краешек, а то очень холодно.

— Нельзя. Мама говорила, что у вас — вши. А у нас нету.

— Будут. На голодном вши всегда заводятся. Пусти,

а? Я тебе серединку на горбушку поменяю. Теперь мать горбушку мне давать будет.

— Мне и так мать дает горбушку, только нам на двести пятьдесят грамм редко попадается. А вы месяц будете полкило получать. Ложись, черт с тобой.

Вовка юркнул ко мне и зашептал:

— А знаешь, я никогда не умру. Я секрет знаю. Хочешь, научу?

— Какой секрет?

— Я кровь пью. Во, видишь,— он выпростал из-под одеяла фиолетовую от цинги руку и показал язвочку на ребре ладони,— отсюда. Вкусно, соленая. Хочешь, дам попробовать?

— Нет,— сказал я.— А у Ильи Петровича пчелиный воск есть. Он мне давал кусочек. Мирово, медом пахнет...

...Илья Петрович заходил поговорить с матерью. Высокий, сутулый старик с узкой белой бородкой и белыми волосами под черной шелковой шапочкой. Он всегда был одет в черный костюм, белую рубашку с галстуком-бабочкой, а под пиджаком носил меховую душегрейку.

— Стараюсь не распускаться. Все-таки платье немного мобилизует. А вот обувь носить не могу, пухнут ноги,— говорил он. Ступни его были обмотаны разрезанным на ленты красным ковром.

— Я уже не могу работать по линолеуму, рука не держит штихель. Для настоящего штриха нужна сила, а у меня получаются царапины. Леплю из воска, но тоже плохо. Для этого нужно тепло...

Мать наливала ему кипятку в тонкую чашку, придвигала солонку. Илья Петрович благодарил церемонным наклоном головы, грел на чашке длинные прозрачные пальцы, брал крупинку соли и, как леденец, клал ее в рот.

— От Яши ничего нет?

Мать отвечала полушепотом, оглядываясь на меня. Но я знал больше нее. (Еще в сентябре пришла похоронная на отца. Матери не было дома, и я расписался сам. Это была моя первая в жизни подпись на официальном документе. Я спрятал этот плотный листок и надорванный казенный конверт в корпус фильмоскопа.)

— Нужно надеяться. Какая сейчас почта, вы знаете. Я далек от всяческой мистики, но убежден, что надежда

помогает им там. А я пишу воспоминания. Нет, это не побег в прошлое, поймите правильно. Я — старик, и не могу воевать. Но просто ждать смерти?!. В общем, это то же, что надежда для того, кто ждет. Сумбурно? Вы подумаете еще, что старик рехнулся с голоду. А я чувствую сейчас такую ясность, какой не было в лучшие годы. А вот сил нет работать. Я был бы счастлив, если бы мог хоть раз выстрелить.— Илья Петрович поднял над черной шапочкой маленький белый кулак.— Пробовал читать «Дхаммападу», книгу древних буддийских мудрецов, пытался понять, как люди могли приказать себе не страдать, но это лишь отрицание жизни, духовный паралич. «Он отказался от гордости и лишен желаний. Ему завидуют боги». Нет, нирвана не для того, кто должен защищать человеческое.

Илья Петрович говорил всегда непонятно, а мать сидела возле «буржуйки», и огонек коптилки трепетал в ее зрачках. Илья Петрович поворачивался к кровати и говорил мне:

— Ну что, казак, есть ли порох в пороховницах? Не сдавайся до лета, думай о нем, и тебе будет тепло.

— А вы не истопили Патраша? — спрашивал я.

— Нет, я не сделал этого. Невозможно сжечь память. Да мне и не снять его, тяжелая рама. Ты поправишься летом и возьмешь его себе. Запомни, автор Кузнецов, художник «Голубой розы», а название «Сенбернар». И этот холст достоин любого музея.

Он уходил, шаркая ступнями, обмотанными ковром, выставив вперед острую бородку. А я оставался лежать и думать о лете, которое, казалось, никогда не придет,— так медленно тянулись дни, наполненные темнотой и холодом; о невероятной еде, существовавшей до войны; о Нелло и Патраше — горькой истории мальчика и старой собаки, умерших от голода в огромном городе.

Со дня смерти дяди Лени я совсем ослаб и не подымался с кровати. Все чаще на меня нападала странная дремота: я слышал звуки, видел свет, но все это как будто происходило за мутной пеленой, окружавшей меня. И голос матери казался глухим и чуждым, огонек коптилки — звездочкой, мерцающей вдалеке, а со мной, внутри этой пелены, жили теплые и яркие образы: наши изразцовые печи, наполненные пылающими головнями; огромные блюда жареных макарон, румяного картофеля, дымящегося мяса; наша большая кухня, в шипении

примусов, в сытных запахах, в электрическом свете, и наш маленький домашний оркестр.

Отец выносил гитару, поворачивал стул и садился спиной к столу, рядом — дядя Леня с мандолиной, а Илья Петрович становился перед ними, клал белую бородку на край скрипки и делал знак смычком. И кухня наполнялась музыкой...

Мать прислонялась к плите, скрестив руки на белом кружевном переднике, и чуть заметно улыбалась, а тетя Нюра, Вовкина мать, качала головой и поводила полными плечами. А мы с Вовкой валялись на коврике у стены и грызли яблоки, ароматные, сочные.

Музыка качала меня на плавных волнах. И я чувствовал и верил, что стану высоким и веселым, как отец...

Мать тормошила меня, стараясь вывести из этой дремоты, а мне не хотелось покидать светлый и сытный мир, и я тихо, обиженно мычал. Мать пугалась и говорила: «На́ тебе корочку», всовывала в слабые пальцы кусочек, величиной с обломок карандаша, и тогда я возвращался в нашу холодную комнату, с мерцанием коптилки и старым одеялом на окне...

Пятого января зашел Вовка. Он теперь чаще вставал, потому что ел хлеб за отца. Вовка сел ко мне на кровать и сказал:

— В кукольном театре на Некрасова елка будет. Пойдешь?

— Нет, у меня ноги в коленках не держатся. Я только летом встану.

— Дурак. Настоящая елка, с подарками. Во, смотри, мать взяла билет в жакте. Видишь, написано: «Талон на получение продовольственного подарка». Пусть твоя тоже сходит, возьмет, и пойдем.

— Я не смогу.

— Там шоколад будут давать и мандарины! Специально через Ладогу привезли. Может, поправишься до девятого. Возьмешь лыжную палку — и пойдем.

На елку в театр кукол я шел один. Вовка умер восьмого ночью...

Я ковылял ущельем между стенами домов и снеговыми горами, обеими руками опираясь на палку. Большую дверь театра я не мог отворить сам. В холодном фойе, с овальными замерзшими стеклами, толпой стояли укутанные, как чучела, ребята, а в конце, у голубой стены, была елка, настоящая, разубранная, и около нее — красноносый, краснощекий дед-мороз в белой шубе

с блестками. Он что-то говорил, но очень тихо, и слов было не разобрать, я только расслышал: «Поднимите правые ручки». Но я держался за палку и не стал поднимать. Потом нас привели в зал, где стояли столы, и дали суп. Настоящий горячий суп с вермишелью. И еще просяной каши, густой, сформованной куличиком, и маленькую котлету. Я съел все это, вылизал тарелку,— вылизывали все. А потом нам выдали подарки. Я заглянул в бумажный мешочек, увидел полыхнувший оранжевым бок мандарина и прижал мешочек к груди обеими руками и так нес до самого дома, позабыв палку и оскальзываясь на снегу.

Мать не съела ничего из моего подарка — ни печенины, ни квадратика шоколаду. Она только положила мандариновую корку себе в кипяток.

С этого дня я почувствовал себя лучше: обед и подарок поддержали меня. А двадцать четвертого января сделали прибавку хлеба на пятьдесят граммов, и я понял, что уже не умру.

Я стал подниматься с постели и ходить по комнате.

После смерти Вовки тетя Нюра перешла на казарменное положение, и в квартире остались только мы да Илья Петрович. Я заходил к нему редко: страшно было идти в темноте по всему коридору. В большой комнате было светло: у него шторы отъезжали в стороны, когда потянешь за шнурок, и днем он отдергивал их, сидел возле «буржуйки» в глубоком кресле, укутав ноги клетчатым пледом, держал на коленях большой черный альбом и рисовал в нем круглой черной палочкой или писал карандашом. Я заглянул один раз в этот альбом. На белом просторном листе были нарисованы веселые носатые люди с длинными волосами, они сидели вокруг стола, смеялись и пили из высоких бокалов, а на тарелках было полно хлеба, огурцов и рыбы; тут же валялись кисти, палитра, а в огромное, мелко застекленное окно вливался солнечный свет. Рисунок был сделан одними линиями, почти без теней, но я видел свет и улыбки, и хлеб, и огурцы. А под рисунком мелко-мелко, так, что я с трудом разобрал, было написано: «Мы жили с мыслью о том, что наше «я» отразится в зеркале грядущего и потомки примут нас с пониманием и теплотой, как своих современников, и с восхищением, как живших во времени и победивших его. Так мы приветствуем нынче Леонардо и Гомера, Пушкина и Микеланджело, Рубенса и Достоевского, Комиссаржевскую и Ван-Гога.

Здесь нет вчерашнего, только вечное сегодня, и смерть обратилась вспять от наших дверей...» Это было непонятно, как все, что говорил Илья Петрович, и я больше не открывал альбом, а рассматривал гравировальные доски и «Сенбернара». Картина висела против окна, в широкой красной раме. Большая добрая собака грустно смотрела на меня, и хотелось погрузить застывшие руки в ее теплую шерсть, прижаться лицом к большому вислому уху и услышать мирное ворчание...

Илья Петрович умер в феврале... Мать зашила его в простыню, и мы свезли его на санках в дом пятнадцать, где в низком кирпичном амбаре был морг...

Мы остались одни в квартире...

Я услышал звонок у входной двери и вздрогнул.

— Так и не поел! Господи, наказание какое-то,— с обидой сказала мать и пошла открывать.

Я сидел, бездумно уставившись в тарелку.

— Здравствуйте. Приятного аппетита,— в кухню впереди матери вошел Погосов. Я молча кивнул на его приветствие и почувствовал, что шея моя теряет подвижность, будто я отлежал ее на неудобном изголовье. Это чувство возникало при каждой встрече с Погосовым, и я старался не смотреть на него...

— Какой там аппетит. Вот полюбуйтесь, целый час сидит и ничего не поел, все газету читает,— пожаловалась мать.

— Что же это вы, молодой человек? Надо уважать материнские хлопоты.— Погосов взглянул, что́ в тарелке.— О, чечевица! Знаете, это великая еда.

Я молчал. Мать предложила ему табуретку. Он сел и снова заговорил, с видимым удовольствием слушая свой голос, неторопливо смакуя слова:

— За чечевичную похлебку люди продавали первородство. Знаете библейскую притчу об Исаве и Иакове?

Молчать было уже невежливо, и я ответил:

— Не люблю притчи, они всегда двусмысленны.

Погосов еще долго и обстоятельно говорил о неполадках своего автомобиля и просил меня посмотреть его.

— Ладно,— сказал я.— Через полчаса приду.

Гараж был в старых каретниках флигеля. Я считался там штатным механиком, потому что среди владельцев машин в нашем доме не было ни одного профессиональ-

ного автомобилиста. Они надоедали мне своими просьбами, но я не отказывал, потому что собирался покупать мотоцикл и рассчитывал втиснуться в этот гараж. Правда, чаще всего я помогал Вальке Суслику, своему однокашнику, у которого был битый-перебитый «Запорожец».

Погосова я знал еще с детства. Всю войну он был у нас управдомом. Его не взяли на фронт из-за какой-то болезни. Помню, что он ходил проверять, все ли спустились в бомбоубежище, как он заклеивал полоской бумаги со штампом дверь комнаты Ильи Петровича. Помню, как летом сорок второго мы, ватага мальчишек, переживших зиму, делали набеги на бульвар, где на газонах рос турнепс. Погосов гонялся за нами, грозил побоями. Потом он завел цыплят, и наш двор стал похож на деревенский. Цыплята были пушистые, желтые и очень трогательные; мы все ухаживали за ними и оберегали от крыс, водившихся в подвалах. Но когда цыплята подросли так, что крысы стали не страшны им, начались пропажи. Погосов, конечно, грешил на нас и, честно говоря, не напрасно. Мы много бывали на воздухе, много двигались, и голод наш был непреодолим. И Погосов объявил нам войну. Он гнал нас со двора, жаловался матерям, таскал в милицию. Но число цыплят все уменьшалось. И Погосов наконец понял, что может остаться единственным в доме человеком, не отведавшим курятины, и зарезал всех цыплят сразу.

Потом у Вальки Суслика отыскался довоенный футбольный мяч, и началась новая кампания за спасение стекол, которых и так слишком мало уцелело в нашем полупустом доме. Мы понимали правоту Погосова, но слишком много страсти вкладывал он в свою борьбу, слишком неподдельной ненавистью горели его узкие злые глаза, когда он бежал за нами по улице, выкрикивая проклятия. И мы, мальчишки, чувствовали, что ненавидит он и проклинает нас от чистого сердца, и платили ему тем же. А он не давал покоя, даже когда мы просто стояли во дворе или на лестнице. Однажды он поймал меня и Юрку Казарина в полуразрушенном сарае на заднем дворе. В то голодное лето мы ели всякую зелень: лебеду, липовые листья, ботву турнепса. Все это поедалось прямо там, где было добыто, и расплатой был почти постоянный понос. И вот Погосов застал нас в сарае. Я уже застегивал штаны, а Юрка еще не справился. Он вообще был самым слабым и дистрофичным у нас во

дворе и даже не мог бегать. Широкая приземистая фигура Погосова закрыла пролом в стене.

— А-а, бандиты проклятые! Ожили, гадите!

Юрка вскочил, поддернул штаны. Я прижался к кирпичной стене. Погосов, расставив руки, двинулся на нас, хрустя сапогами по битому кирпичу. Он толкнул Юрку в грудь, и тот повалился в дерьмо, а Погосов наклонился, схватил его за ворот линялой вельветки и возил по земле:

— Нá, жри, жри, дохлятина!

Потом он бросил Юрку и повернулся ко мне. Трясущейся рукой я схватил обломок кирпича и занес над головой:

— Не подходи, убью!

И Погосов попятился.

Помню, как он въехал в комнату Шушариных и стал нашим соседом. И, встречая меня в коридоре, здоровался, улыбался. Потом он занял еще комнату в квартире, примыкавшей к нашей, замуровал Вовкину дверь, пробил ход в ту комнату и стал жильцом соседней квартиры. На месте Вовкиной двери осталась глубокая ниша. После войны я повесил в ней вешалку. И новая наша соседка, Лида, которая живет в комнате Ильи Петровича, даже не знает о том, что на месте этой ниши была дверь, что был Вовка и что был Илья Петрович.

А с Погосовым мы здоровались; казалось, что через десятилетия позабылись и детская вражда, и Юркины слезы, и все, что было плохого. Осталась только невысказанная солидарность переживших блокаду. Но при встречах с ним моя шея теряла подвижность и меня не оставляло чувство неловкости.

Погосов изменился с тех пор, защитный френч и галифе сменил на черную пару, ссутулился, постарел, ходит опираясь на палку. Прямые волосы его поседели, но такими же неприязненными остались глаза. И все время, пока я регулировал клапаны его «Москвича», я чувствовал эту неловкость и старался не смотреть на него.

В гараже стояла полутьма. Промасленные коромысла клапанов тускло блестели в свете переносной лампы. Пахло гарью, сырой штукатуркой, бензином.

Погосов заводной ручкой проворачивал коленчатый вал, я работал ключами и молчал. А он говорил.

— Современный город ожесточает. У нас иметь

машину — это нести крест, но ради леса и речки идешь на это. Ваша мама говорила, что вы покупаете мотоцикл. Одобряю. Вы молоды, и это ваш транспорт. И расходов несравненно меньше, чем на машину. А место здесь найдем.

Я провозился с этим мотором час. Один клапан стучал, и мне пришлось «ловить» зазор на ощупь. Погосов благодарил так долго и многословно, что мне стало неудобно. На лестничной площадке он удержал меня за локоть и потянул к дверям своей квартиры. Я стал упираться, но он сказал:

— Так не по-русски. После работы стопочка — не грех, впрочем, если одна. А нам, старым соседям, чиниться негоже.

Мы сидели в трехоконной комнате с темными ореховыми панелями по стенам. Двустворчатые двери вели в смежную комнату, в которой раньше жил Вовка. Было светло от вечернего солнца и блестящей мебели. Жена Погосова, молодая, рыжеволосая, с игриво стреляющими глазками из-под бровей-ниточек, выставила на стол графин резного хрусталя, тяжелые рюмки, красивый тонкий фарфор. Погосов разлил водку, мы выпили и закусили хрусткими маринованными волнушками. Потом еще по одной — под белужью копченую спинку.

После третьей рюмки лицо Погосова подобрело, разгладилось. Он заметил, что я рассматриваю натюрморт над низким сервантом, и сказал:

— Копия Хеда, впрочем неплохая. Но это, так сказать, для интерьера. А ведь я — коллекционер. Пойдемте, вы получите удовольствие.— Он встал и нетвердо зашагал в Вовкину комнату.

Я не был в этой комнате двадцать три года, но узнал и лепной потолок, и подоконники из розового мрамора. А стен не было видно. Они были сплошь увешаны картинами, внизу стояли горки с хрусталем и фарфором. У меня закололо в глазах от старого золота рам и сверкания хрустальных граней, и я затих, как в музее. А Погосов что-то говорил. Глазами я старался поспеть за его темным кривым пальцем, но вдруг натолкнулся на грустный взгляд коричневых собачьих глаз и перестал воспринимать все остальное.

Патраш смотрел на меня из своей массивной рамы. Добрый старый пес, переживший блокаду, смерть хозяина, в мудрой задумчивости склонил голову набок. И я смотрел на него, как на воскресшего друга.

— Это пустяк, какой-то неизвестный анималист. Держу просто для коллекции,— издалека донесся голос Погосова.

— Автор Кузнецов, художник «Голубой розы», название — «Сенбернар». И этот холст достоин любого музея,—чужим голосом произнес я.

— Оказывается, вы знаток. Очень рад,— сказал Погосов.

Я сделал шаг к картине, поднял руку и тронул пальцами край рамы.

— Кузнецов — говорите? Надо записать... Знаете, я приобрел эту картину совсем даром, в придачу.

— В придачу? К первородству? — спросил я и вздрогнул от звона, наполнившего комнату... Я узнал бой этих старинных бронзовых часов... этого мрачного рыцаря в темном доспехе с обнаженным широким мечом; узнал отбитый уголок малахитового цоколя — это я, замахнувшись на Вовку заводным танком, нечаянно задел часы. Они стояли на том же месте, только тогда под ними был скромный комод, а теперь — полированная колонна красного дерева...

Шесть чистых серебряных звуков растаяли среди картин, но остались во мне, как все дорогое, вечно пребудущее со мной... И в памяти грянул наш маленький домашний оркестр... Он играл гимн тому, чего не купить никакому Погосову... ни за какую чечевичную похлебку...

СЫН

Особняк стоял на тихой улице. Сероватый сдержанный фасад гляделся в чистый, ровный асфальт, и зеркальные стекла окон лишь изредка вздрагивали от шума случайных грузовиков. Ветер покачивал тонкие липы вдоль тротуара, и по белым стенам палаты целый день скользили неясные, зыбкие тени ветвей.

Таня лежала лицом к двери в углу, подоконник приходился как раз над ее головой: слева через неширо-

кий проход стояли еще две кровати, также изголовьем к окну.

Бездумное отупение от муки первых родов, разговоры соседок по палате, их счастливые, очищенные страданием лица; предчувствие нерадостных перемен в жизни; невесомая слабость рук и ног; золотистый августовский свет и мелькание зыбких теней на стене — все это вызывало у Тани чувство горестной пустоты. И еще был страх, стыд и безысходность ее решения. Она старалась вжаться в кровать, стать совсем незаметной и плоской, чтобы взгляды соседок проходили мимо и юристка — полная, овальная, с румяно-смуглым лицом и довольными, сытыми губами — больше не приходила к ней. Таня уже ненавидела ее лицо, и добрый голос, и ее терпеливые рассказы о том, как государство заботится об одиноких матерях, какое это счастье быть матерью. Таня в ответ только молчала и не открывала глаза. У нее было только это — молчание. И когда в коридоре слышался шорох каталки, на которой развозили детей для кормления, она стискивала зубы.

Старенькая нянька склонялась над ней с запеленатым в белое ребенком и заглядывала в глаза. Таня отворачивалась и еще крепче сжимала зубы. Ей казалось, что если она нарушит молчание, в котором схоронилась, как в крепости, то уж не станет сил сопротивляться и она сделает все, что упорно навязывают ей эти люди... И она хотела только одного: дольше чувствовать себя больной. Это как бы оправдывало ее отказ от ребенка, и физическая слабость укрепляла решимость не давать ему грудь, не смотреть на него, не думать, что он чувствует.

Еще в деревне, в разговорах женщин, полоскавших белье на низком глинистом берегу их речки, она слышала о том, что настоящее материнство начинается с первого кормления ребенка. «Как дашь ему грудь, как всосется... О-ох! Тут уж он твой, и никуды от него не денешься»,— говорила худая, желтая агеевская молодуха, которая рожала каждый год и самозабвенно любила все свое замурзанное и плаксивое потомство.

Вспоминая, Таня видела нескладную фигуру рано постаревшей женщины с вечно торчащим животом, ее изможденное лицо с тенями над выступающими скулами, застарелую усталость в глазах. И Таню донимала и давила мысль, что она станет такой же задерганной и потухшей, с костлявыми плечами и серым узелком

жидких волос под линялой косынкой. И ей становилось жаль себя, и хотелось плакать, но слез не выходило, только першило в горле.

Раньше она так легко плакала, особенно в последние месяцы перед родами.

Рано утром выходила подмести двор и панель перед домом — начальство в жилконторе было строгое и требовало чистоты,— потом мыла лестницы — за ней две было закреплено. К этому времени дом затихал: кому положено, уже были на работе, пенсионеры еще досыпали, только школьники пробегут быстро, и опять станет тихо. Ступени на лестнице были широкие, светлые, и цветные блики от витражей играли на них. Витражи очень нравились Тане. Она, пройдя один марш с тряпкой и шваброй, выпрямлялась на площадке и глядела в окно, там из синих, красных и зеленых стеклышек сложена картина: не то луг и речка, не то горы и небо — не поймешь, но смотреть долго можно было, и она смотрела — не потому, что работать лень, а так, для удовольствия, к тому же живот чувствовался и уже мешал долго убирать наклонившись.

И вот так уберет она лестницы, постоит на площадках, посмотрит — и загрустит. Деревня вспоминалась, тетка — хоть и не ахти какое житье, а все свое, родное; еще вспоминалось ПТУ, привольная жизнь сначала, как приехала в Ленинград.

Складывала Таня в ведро тряпки и швабру, шла в свою комнатку под аркой, ложилась на тахту и плакала. Так, ни о чем плакала; слезы текли обильно, легко, и становилось лучше, проходила грусть... А здесь — ни одной слезинки. Глаза были сухие, и сухо становилось во рту. Так и лежала она, собирая решимость, чтобы в час кормления промолчать под взглядами соседок и склоненным над ней горестным лицом няньки.

Таня знала, что сегодня это будет особенно трудно, потому что чувствовала, как силы уже возвращаются к ней.

Шел пятый день, и впервые у нее ничего не болело, осталась только тяжесть переполненных грудей и неприятное ощущение мокрой, прилипающей к ним рубашки. И еще слабость, от которой она часто погружалась в дремоту, и тогда явь мешалась с воспоминаниями. Таня слышала разговоры соседок — голоса казались тихими, отдаленными,— слов она не разбирала; а поверх этих разговоров, как в кино, шли ольховые ернички, по кото-

рым лениво пылил проселок к их деревне, поля, уже поосеннему разоренные, сиротливые, сосущие душу тоской от своей обнаженности, от сырых запахов горечи и прели... Да, вот такими они и запомнились, эти поля... Она уходила с чемоданчиком по проселку, уже неохотно отпускающему подошвы, а обочь тянулись эти поля, почерневшие, сквозные, и тощий дымок вдалеке — это ребята жгли будыли, очищали поля, а заодно пекли картошку из недокопа,— и сизо-белесая дымка висела на горизонте. Что-то екнуло тогда в груди, хоть и рвалась Таня из деревни в город...

А город сразу закружил в суете, спешке, оглушил шумом машин, ослепил витринами, огнями проспектов. И первые полгода учения в профтехучилище прошли в каком-то лихорадочном возбуждении. Познаний уже хватало для того, чтобы по-модному переделать платья, покороче обрезать юбки. Вечером комната общежития превращалась в парикмахерскую и костюмерную — пахло дешевой косметикой, свежеглаженной материей, и стоял веселый гам. А позже девушки выпархивали на улицу — все с великолепными, высоко взбитыми прическами, густо подведенными глазами и загадочными улыбками на лицах.

Таня, не застегивая пуговиц, носила пальто назапáх, придерживая полы рукой, как носила свою норковую шубку героиня какого-то заграничного фильма. И когда она с подругами выходила на Невский, то сама чувствовала себя героиней фильма: тверже ставила ноги, чтобы сильнее был цокот металлических набоек об асфальт, небрежно улыбалась, щурилась в неверном свете витрин, высокомерно не замечала нацеленных в упор взглядов парней. И в сумятице световых бликов, гуле, улыбках, грохоте проспекта Таню охватывала тревожная, нервная радость. Хотелось громко смеяться, чтобы парни оборачивались и видели, какая она красивая, с высокой башней пшеничных волос, с бархатными ресницами и неподдельной яркостью губ, изящная, в небрежно расстегнутой норковой шубке...

Сквозь полудрему до Тани отдаленно донесся голос Сырниковой, захлебывающийся, писклявый. Таню раздражала ее манера торопливо и доверительно выговаривать слова и лицо, все состоящее из ямочек и розовых нашлепок, с раскосыми быстрыми глазами...

— Очень волновалась, хотя я — олимпийски спокойный человек. Я половую жизнь начала в тридцать один

год, до этого понятия не имела. У нас очень строгая семья была... Да и что хорошего, как теперь — сойдутся-разойдутся... А здесь все равно волновалась. И муж тоже... Он в командировке... Очень важная — не мог отказаться...

Против обыкновения, говор Сырниковой не вызвал раздражения. Размякшая от воспоминаний Таня только подумала: «Конечно, никто на тебя не польстился, вот ты и пробыла в девках до тридцати...» Сырникова говорила еще, но Таня не прислушивалась, снова вернувшись в прошлую осень.

Вовка... Он вынырнул из толчеи у «Колизея» — вихрастый, без шапки,— пристально посмотрел на Таню и спросил:

— Что, нет билетиков?

Шла «Королева „Шантеклера“», и у кассы давно висел аншлаг.

Таня ответила, что билетов нет.

— Сейчас устроим,— пообещал вихрастый и нырнул в толпу.

Таня все стояла, с надеждой заглядывая в лица — нет ли лишнего билетика,— но все торопливо проходили мимо.

Вихрастый снова вынырнул из толпы.

— Порядок.— Он победно помахал билетами.— Пошли.

Таня от неожиданности не нашлась с ответом и неуверенно пошла за ним к входу в кинотеатр.

— Меня зовут Вовка,— обернувшись, сказал он в фойе.

У него были ровные белые зубы, и когда он говорил, они как бы освещали узковатое, худое лицо.

А потом на экране проходила чужая, неправдоподобная, но такая влекущая жизнь. Переливы парчовых платьев, трепет страусовых перьев, красивые страдания безнадежной любви, роковое стечение обстоятельств... И Тане казалось, что это она — стройная, смуглая певица из модного кабаре — трижды за вечер меняет роскошные наряды, что это ей дарят бриллианты восхищенные и бескорыстные, слюнявые от старости поклонники. И лицо молодого героя фильма становилось похожим на лицо сидящего рядом худощавого парня...

В темноте он взял ее за руку, и она не отняла, только вздрогнула от прикосновения его холодных пальцев.

Потом было еще много вечеров, сырых, ветреных,

пронизывающих. Они заходили в кафе — лимонад, мороженое, один раз даже шампанское... Столики, крытые стеклом, отражали цветные плафоны, среди них под потолком бесшумно кружились большие лопасти вентилятора. Вовка бормотал: «И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновенье, она возникла из ночных огней, без всякого небесного знаменья — пальтишко было старое на ней...» Мороженое в алюминиевой вазочке таяло и смешивалось с темно-красным сиропом. Таня помешивала ложечкой, по розоватому молоку разбегались рубиновые прожилки. Вовкины глаза были печальны и серьезны, тень подбородка падала на грудь, в вырезе рубашки смуглели выступы ключиц. И у Тани щемило сердце и на глаза наплывали слезы, то ли от радости, то ли от печали — поди пойми.

Они ходили по мокрым набережным и улыбались мокрым желтым фонарям. Целовались украдкой... Таня еще чувствовала эти поцелуи на губах, когда проходила через вестибюль общежития под ворчание вахтерши, корившей за позднее возвращение... Были долгие стояния в подъезде напротив общежития. Холодные Вовкины ладони, забирающиеся под платье. Таня чувствовала их сдержанное нетерпение и легкую дрожь, и эта дрожь, и это нетерпение с шершавых мужских ладоней входили в нее, и по телу разливался жар, а в груди холодел твердый комок страха, но с каждым вечером он становился все привычнее, мягче и однажды исчез совсем, сменившись острым желанием, которое подмяло стыдливость и благоразумие... А потом — отвращение... Все оказалось не таким, не тем; на смену сладкому страху, влекущей неизвестности пришло что-то до содрогания чуждое, липкое, грубое, причинившее только боль и чувство невозвратной потери... И Вовка уже не мог быть прежним, волнующим, насмешливым и печальным. Таня не могла забыть его перекошенного гримасой лица, его громкого, частого дыхания, его жестких, беспощадных пальцев. Она не могла простить ему своего разочарования и отвращения...

Он поджидал ее у общежития, но она не выходила. Он встречал ее возле учебного корпуса после занятий, но она брала подругу под руку и не оборачивалась в его сторону. Наконец он исчез, перестал приходить.

А потом был другой. Он говорил разные слова, от которых что-то обрывалось внутри, и прикосновения его

рождали ту же дрожь, и его глаза так же волновали. И Таня уступила, преодолевая страх и отвращение. Это была просто честность, честная благодарность за те минуты радостного волнения, которые она испытала от его слов и взглядов... И вдруг пришла страсть, обжигающая и бездуховная. Таня сама испугалась этого неожиданного обессиливающего ощущения,— таким властным и пронзительным оно было. И уже дальше ее вело желание снова и снова испытать это опустошение, эту судорогу, пронзающую тело и мозг и перехватывающую горло, чтобы потом безвольно отбросить руки и глубоко вдыхать темноту чужой комнаты, запах чужого тела и чужой постели и уже не иметь никаких желаний...

Она слишком поздно поняла, что беременна. Врачи уже не могли помочь. И сразу же, как только пришло это знание, начались неприятные ощущения: тошнота, гастрономические прихоти, которые проходили прежде, чем она могла их удовлетворить. Таня стеснялась подруг по общежитию, казалось, что они уже догадались обо всем. Она ушла из ПТУ и устроилась работать дворником, потому что ей дали маленькую комнатку с круглым окном, выходящим под арку. Она работала как могла, благо мести улицу и двор можно было рано утром или поздно вечером. Она не хотела никого видеть. От шума у нее начинала болеть голова, ее раздражал дневной свет, преследовали запахи, которыми несло с кухонь коммунальных квартир, когда она убирала лестницы. Чтобы не слышать и не чувствовать ничего, она запиралась в комнате и лежала на старой пыльной тахте, оставшейся от прежних хозяев; лежала без мыслей, без желаний. Недомогание как-то притупляло душевную боль, и не было горечи за неудавшуюся судьбу, одиночество. Да, именно так было тогда — она только прислушивалась к тому, что происходило в ее теле, и много спала. Это спасло от отчаяния. И только здесь, уже с сердечной болью, она прожила в воспоминаниях те два года — от приезда в город до этой палаты родильного дома. Она как бы дважды прошла по этому кругу — первый весь был из отупляющего недомогания, второй круг — полон горечи, безнадежности и пустоты...

Нудил над ухом захлебывающийся голос Сырниковой. Таня старалась не слушать. Потом говорила Анна Федоровна, другая соседка по палате. Слова она произносила напевно, и голос был густой, сочный.

— Слава богу, обошлось. Я уже в пятый раз, а все,

как в первый,— боюсь. И самой помирать неохота, и ребеночка хочется. Уж и не гадала, что на пятом десятке рожу, хоть и порода у нас крепкая...

«Еще бы,— думала Таня,— вон ты какая. Наверное, центнер весу, и усы, как у бригадира, так тебе ничего... И муж есть... Хоть бы перестали они бубнить. Заснуть бы крепко».

Ей все время хотелось спать, а сегодня еще захотелось есть, и она поняла, что выздоравливает. Передачи носить было некому. Только раз приходила Петровна, дворничиха из той жилконторы, где работала Таня. Но тогда есть не хотелось, и принесенные пирожки окаменели, а молоко скисло. Таня знала, что Петровна, может, и придет, но не теперь, а только в получку, потому что она любит выпить, и деньги у нее не держатся. А есть очень хотелось. И близилось время обеда.

Таня неожиданно для себя вдруг села на постели, опустила ноги и встала, машинально сделала несколько шагов и остановилась, испуганная тем, что выдала себя, что соседки теперь увидят, что она здорова.

Плавная речь Анны Федоровны на миг запнулась, а потом потекла так же ровно и неспешно, но Таня, не оборачиваясь, чувствовала, что обе соседки наблюдают за ней.

Кружилась голова, пошатывало от слабости. Таня медленно подошла к умывальнику, над которым висело небольшое зеркало. Лицо свое показалось чужим и странным: синева под посветлевшими, как будто умытыми глазами, искусанные, в лохмотьях отсыхающей кожи губы и жидкие косицы до плеч с бинтами вместо лент, тонкая шея в широком вырезе казенной белой рубашки. Таня отошла от зеркала и села на постель. От взглядов соседок хотелось снова лечь и с головой укрыться одеялом... «Ну и пусть смотрят»,— подумала Таня с раздражением и осталась сидеть.

В окно по-прежнему вливался странный золотистый свет, кто-то процокал на каблуках-шпильках.

«Боже мой, какой свет... теплынь... Как кружится голова. Я, наверно, потеряла много крови... И кожа шелушится... Скоро кормить привезут их, опять пытка. Куда его теперь денут? А, не все ли равно... Ему там будет лучше...»

Шуршала листва за окном. Что-то говорила Анна Федоровна.

Таня прислушалась.

— Вернулся из госпиталя в сорок четвертом. Я и жила-то с ним до войны два месяца всего-то. А в войну ни с кем не изменила, хотя были там разные, подбивали клинья. А тут приехал, от дома отвычный, неласковый. И уж думала, не выйдет жизнь. А потом ничего, зажили. И в согласии вот, хоть и любит он выпить, но лишнего не пропьет.

— Ну, у меня не так. Я как замуж вышла, сразу порядок установила: все мне до копейки. Их нельзя баловать. Так они больше к дому привержены,— торопливо заговорила Сырникова.

Таню злили ее слова.

— И вообще, сейчас одна распущенность. Я до тридцати лет понятия ни о чем не имела. А эти обнаглели совсем, уже по улицам ходят в обнимку и целуются, только другого не делают. Я уж когда после загса к нему переехала, только тогда. А этих, что по улицам ходят и жмутся, я бы штрафовала.

— Да что вы болтаете чушь! Вы... вы — просто вобла сушеная. Ваше счастье, что нашелся какой-то дурак или старик. А то бы вы и этого, что знаете, не узнали. Перестаньте бубнить, голова от вашей чуши болит,— вдруг, неожиданно для себя, громко сказала Таня и зло поглядела на Сырникову.

И сразу испугалась неожиданности и непочтительности своих слов. Будто кто-то другой за нее говорил — никогда она не дерзила взрослым, да и слова чужие какие-то сорвались, и Таня притихла, опустив голову, бессильно свесив руки. Усталость какая-то навалилась. А Сырникову прорвало:

— Слыхали! Как заговорила? Но я не удивляюсь, я предвидела, что́ можно ждать от какой-то уличной...

Бранное слово повисло в сгустившейся тишине, отравляя дыхание. Но только на миг, потом Таня почувствовала, что дышать уже легче, лишь тянуло съежиться, будто это висело над головой, норовило сорваться и раздавить. А после пришло безразличие и бесстыдство какое-то. Таня подняла глаза и посмотрела на Сырникову, откровенно смотрела, долго и с любопытством, потому что раньше ей было не до этого. И в своем спокойствии, в бесцеремонном взгляде, в том, что брань не ранила ее, Таня почувствовала тоже что-то новое. Но через миг она уже позабыла о Сырниковой и не слушала ее слов, наверное обидных и оскорбительных. Она оцепенело уставилась глазами в стену, на которой

шевелились узорные тени листвы, и не думала ни о чем, тихо раскачиваясь, как от зубной боли.

Сырникова смолкла, и что-то стала говорить Анна Федоровна. Таня не разбирала слов, будто разговор шел очень далеко, она только улавливала интонацию, какую-то добрую и укоризненную. Анна Федоровна поднялась, широкими шагами заходила по палате. Таня смотрела на ее крупную фигуру с крутыми бедрами. Полотняная больничная рубашка была коротка и узковата для ее большого тела, на полных белых руках следы прививок оспы были величиной с полтинники. Анна Федоровна прошла к окну, постояла опершись на подоконник, повернулась к Тане и неожиданно спросила:

— Есть хочешь?

— Хочу,— машинально ответила Таня.

— Ну вот, обед недалеко, а потом мне муж арбуз принесет. Я ему вчера заказала. Вот славно поедим. Страсть как хочется холодного, сладкого. А семя можно высушить и полузгать.

Таня проглотила слюну. Ей тоже захотелось холодной, сочной мякоти арбуза, но из какого-то противоречия, зависти, что ли, она сказала:

— Не принесет. Их быстро раскупают, и очереди.

— Ну да, не принесет! Он у меня черта достанет, если нужно. Я ему так и написала, чтоб без арбуза не приходил.— Анна Федоровна села к Тане на постель.

Таня снова отвлеклась невеселыми мыслями и не ответила.

Анна Федоровна вдруг стала рассказывать, как она еще совсем девочкой осталась в войну одна, как ждала писем от мужа, работала на заводе, наконец дождалась его, как растила детей. Была какая-то своя ритмика в словах Анны Федоровны. Ее жаркое мягкое плечо иногда касалось Таниного, и от этого становилось спокойно и уютно. Потом просто молчали, сидя рядом. Сырникова лежала укрывшись с головой, делала вид, что спит. Но Таня знала, что она притворяется. Она часто слышала, как Сырникова, вот так же укрывшись, шуршала серебряной бумажкой и ела под одеялом шоколад. Колебались на стене прозрачные тени, золотистый цвет наполнял палату. И непонятное умиротворение пришло к Тане. Касаясь теплого плеча Анны Федоровны, она чувствовала какую-то защищенность, уют. Надломленность, озлобление отошли, осталась только печаль, тихая, терпкая.

Принесли обед. Сразу «проснулась» Сырникова.

Таня медленно хлебала жидкий протертый суп, ела второе и все ощущала эту печаль. Поев, она хотела лечь, но Анна Федоровна попросила:

Ты посиди малость на окошке, посторожи моего рыжего, а то придет, на всю больницу крик подымет. А я полежу, чего-то голова кругом идет, переходила верно. Это вам, молодым-то, полегче.— Лицо у нее потускнело, и даже полные плечи выглядели не такими массивными.

Таня молча кивнула и села на подоконник.

Противоположная, теневая сторона улицы была безлюдна, тускло поблескивали окна домов, подрагивали вершинками тонкие деревья.

Таня выдвинулась дальше, чтобы видеть свою сторону. Здесь, вдоль газона, женщина тихо катила коляску с ребенком, на ручке коляски висела сетка с морковью и перьями зеленого лука. Тени женщины и коляски косо тянулись к стене и обрывались. На скамейке лежал большой серый кот; разомлев на солнце, он раскинул лапы и дремал. Ветер ерошил пух на его светлом брюшке. Было тихо, так что отчетливо слышался скрип коляски и шуршание листвы. Таня закрыла глаза, прислонилась затылком к оконному переплету. Солнце мягко согревало лицо, просвечивало веки, и ей вспомнилась снова деревня, парная вода речки под вечер и вот такое же незлое солнце...

— Эй, мамаша, позови там Аннушку, пожалуйста!

Внизу под окном стоял человек в синей рубашке и смотрел на Таню. Она тоже смотрела на него и не понимала, к кому он обращается. Человек был рыжий, с очень красным лицом. Он широко улыбался. У него не было левой руки, и рукав был подогнут и пришит.

— Ну, что молчишь? Сергееву Анну позови.

Таня уже все поняла, но не могла вымолвить ни слова. Ее поразило то, что муж Анны Федоровны — такой маленький, безрукий человек. Он представлялся ей огромного роста, строгим мужчиной.

— Иду, иду! Да скажи ты ему, Татьяна, а то сейчас всех переполошит.— Анна Федоровна, торопясь, надевала тесный халат.

— Сейчас подойдет,— сказала Таня человеку под окном, избегая его взгляда, и подвинулась на подоконнике, давая место Анне Федоровне.

— Ты где ж гулял столько? — с притворной строгостью спросила она, перегибаясь через подоконник.

— Да вот, все твой заказ исполнял,— ответил муж, слегка приподняв сетку со здоровенным арбузом, и улыбка его стала еще шире.

— А сам уже приложился небось?

— Ну, Аннушка, что за грех? У меня сын родился, вот, за него, за тебя.

— Ну правильно. Сын родился — кому гулянка, а кому хвороба. Больно вы рожать-то все прыткие.

— Что, никак неможется тебе? — посерьезнел он.

— Да, слава богу, пока ничего. Арбуз-то снеси в передаточную.

— Носил, Аннушка. Там старушка заругалась. У нее корзина, полная передачами. Арбуз невподъем. Ну, я и подумал, что так быстрей передам. У вас бечевочка есть какая? А то хочешь, так и тебе водочки дам.— Он показал глазами на оттопыренный карман штанов и подмигнул.

— Да ну тебя! — Анна Федоровна отошла к тумбочке. Таня все смотрела на ее мужа с удивлением, а он улыбался, запрокинув лицо.

— А ты кого родила — сына, дочку? — спросил он.

— Сына,— вырвалось у Тани.

Она вымолвила это слово и похолодела. Непроизнесенное, оно не имело силы, нечаянно сказанное — приобретало власть... Таня потерянно глядела вниз, где на сером асфальте стояла освещенная солнцем фигурка рыжего, радостного человека. Этот серый, спокойный цвет притягивал, и Таня наклонилась ниже. И асфальт стремительно понесся к ее лицу, заслоняя свет, обдавая жаром и керосиновым духом... Таня вздрогнула, отшатнулась от подоконника и наткнулась на мягкое плечо Анны Федоровны.

— Сейчас подымем,— сказала она, потеснив Таню так, что та не смогла отойти.— Алексей, слышь, а он не оборвется? Веревочка больно худая.

— Давай, давай. Я его половинками.

Двое прохожих мальчишек остановились, заинтересованные разговором, и тоже задрали головы.

Анна Федоровна размотала веревочку, опустила конец. Ее муж отошел к скамейке, положил арбуз, сдернул с него сетку, зубами раскрыл нож.

Таня увидела, как зеленое полосатое ядро разнялось на два полушария с густо-красной, искрящейся на

солнце мякотью с черными точками семечек, и ей даже послышался треск. Муж Анны Федоровны подозвал мальчишку, дал ему подержать сетку и положил в нее одну половину.

Окно было невысоко, но веревка терлась о край карниза над первым этажом и тянулась с трудом.

Таня видела застывшие, напряженные лица мальчишек, их полуоткрытые рты. Сетка, покачиваясь, медленно поднималась. Вдруг веревка застряла. Анна Федоровна потянула сильней, но она не подалась.

— Аннушка, опусти чуть, узелок зацепился.

Анна Федоровна опустила, потом снова потянула вверх. Веревка дернулась, и в ее руках остался лохматый, распустившийся на три пряди обрывок.

Рев приближающегося самосвала заглушил сочный шлепок арбуза об асфальт. Машина, шумно вздохнув тормозами, остановилась против окна. Из нее выскочил чумазый жилистый шофер в зеленой майке.

— Эй, у меня проволока есть! — Он помахал грязной рукой Тане.— Сейчас поднимем.

— Вот, всегда не как у людей,— с досадой сказала Анна Федоровна, снова спуская веревочку.

Шофер привязал к ней конец проволоки, и через минуту вторая половина арбуза была в палате. А мальчишки, муж Анны Федоровны и шофер подобрали куски разбитой половины и тут же стали есть, улыбаясь и покачивая головами. Шофер кусал, широко открывая рот, и смотрел на Таню.

— Ну их, как дети.— Анна Федоровна улыбнулась и отошла от окна.

Таня села на кровать и вдруг почувствовала, что улыбается. Она испугалась, погасила улыбку, чтобы ее никто не заметил.

— Давай-ка, Татьяна, подходи,— позвала Анна Федоровна.

Втроем они съели арбуз. Он был прохладный, сладкий, и после него во рту еще долго оставалась приятная свежесть.

Таня полусидя устроилась на постели. Молчали, немного отяжелев от еды. В палате и на улице было тихо. В коридоре послышался шорох каталки, разноголосый плач. Медленно, с остановками он приближался.

— Приехали детеныши,— сказала Анна Федоровна и завозилась, устраиваясь поудобнее.

Поднялась Сырникова.

Каталка остановилась у двери, и палата наполнилась криком. Нянька поднесла детей Анне Федоровне и Сырниковой, и они начали кормить. Их лица, полузакрытые марлевыми масками, сразу стали какими-то сосредоточенно ласковыми и нездешними. Таня отвернулась, застыдившись, будто подсматривала исподтишка. Встретила напряженный взгляд няньки. Жалостливо и строго смотрели выцветшие глаза из-под повязанной по-старушечьи до бровей белой косынки.

Таня потупилась, опустила голову, но и не глядя чувствовала, что нянька приближается к ней. Потом она услышала над собой тихое сопение, и жилистые старушечьи руки поднесли ребенка прямо к ее груди. Таня машинально протянула руки, ощутила теплую, живую тяжесть спеленатого тельца и, чтобы не уронить, прижала к себе. Ребенок сразу заплакал, сморщив красное личико, ища губами материнскую грудь.

— Ну корми же, не рассыпешься,— из-под маски глухо сказала Анна Федоровна.

И Таня дала грудь. Ребенок шумно чавкнул и стал сосать, захлебываясь от жадности и больно прикусывая сосок острыми деснами.

Таня вздрогнула от этой боли и незнакомой пронзающей нежности, и слезы сами собой потекли из глаз, перехватило дыхание, и, чтобы не заголосить, она прикусила губы. Лицо ее вдруг обострилось и затвердело, и капли упали на лицо сына.

ЗА ЕЛКОЙ

Ей всегда везло. От этого была неназойливая для окружающих уверенность в себе и неизменное ощущение приятности жизни.

Романское отделение филфака Маша окончила с отличием. Ей досталось самое лучшее распределение — в солидный научно-исследовательский институт, где она и служила референтом уже третий год. И все, за что бы она ни бралась, удавалось ей с легкостью и блеском.

Сегодня она пораньше освободилась с работы, что само по себе уже было удачей, и потом тоже шли одни приятности: портниха, против обыкновения, не обману-

ла, закончила платье, и оно сразу же на примерке ладно прилегло к плечам и талии без той чужести и неудобства, которые обычно присущи новой одежде; толчея в магазинах тоже была приятна тем, что ловко лавируешь в ней и успеваешь к прилавку и кассе раньше других, менее удачливых и проворных.

И был морозец, легкий, с медленным кружением пушистых хлопьев, пахнущих антоновскими яблоками и накрахмаленными, хрустящими скатертями. Маша шла по Невскому, помахивая сумочкой и нейлоновой сеткой с покупками и новым платьем, замечала взгляды мужчин, принимала их как должное. На нее нельзя было не обратить внимания: готовность лица к радостной улыбке, упругая походка с широким, но изящным шагом, высокие лаковые сапожки и короткая, отороченная мехом дубленка, свободные темные волосы с рыжей искрой от хны — все привлекало. Маша ощущала какую-то веселую гармонию во всем окружающем и в себе. Впрочем, она почти всегда жила с этим чувством, но сегодня, в канун Нового года, оно было особенно отчетливо. И праздничное застолье тоже сулило удовольствие от испытанной веселой компании, от шампанского и вкусных вещей.

В квартиру, где собирались встречать Новый год, Маша влетела возбужденная и победно выбросила на стол кусок красной рыбы, ананас, банку маринованных огурчиков — добычу сегодняшнего похода по магазинам. И яства эти вызвали должный восторг.

Кира, актриса ТЮЗа, прижала руки к плоской груди и мальчишеским фальцетом возгласила:

— Машка! Ты — старик Хоттабыч.

Вечно занятая Валя, совмещавшая работу с аспирантурой, тихо изумилась:

— Ведь за всем этим нужно стоять до полуночи!

— А я все могу,— хлопнула ее по плечу Маша.— Ну, а вы хоть что-нибудь успели? — Маша села на тахту, достала из сумочки сигареты и зажигалку.

— Картошку отварили, студень стоит.— Кира тоже взяла сигарету.

— На стол можно накрывать,— сказала Валя.

— Ладно, устрою,— кивнула Маша.— А елка? Чего там Мишка? Я же говорила, что притащат в последний момент. Пусть сами тогда с ней возятся; уже полвторого.

— Их поздно с работы отпустили. Коля звонил, что они сразу пойдут за елкой.

— Ну, перекурили? Валяйте на кухню, сделайте хоть один салат. А то я за весь день только чашку кофе,— сказала Маша.

— Платье получила? Покажи хоть.

— А, это — пожалуйста. Разворачивай.— Маша подтолкнула пакет и стала раздеваться.

Платье было из пушистой материи, делавшей линии плеч и всего тела мягкими, плавными; стоячий ворот свободно облегал шею, подчеркивая ее длину и стройность. Зеленоватый тон чуть бледнил лицо, и когда Маша взглянула в зеркало, то не узнала себя. Лицо казалось строже и значительней, и она сама почувствовала робость и уважение к этому лицу, вдруг почужевшему, новому. И когда повернулась к подругам, то на их лицах увидела молчаливое восхищение.

— Да, уж тут не в платье фокус,— тихо сказала Валя, и в голосе ее была печаль.

И Маша, почувствовав эту Валину печаль и какую-то невольную вину перед подругой, вдруг засуетилась, стала говорить, что еще много дел, спросила у Киры, где лежат салфетки, скатерть; проходя мимо Вали, сидевшей на диване, повинуясь какому-то безотчетному чувству, Маша вдруг коснулась ее волос, собранных в незатейливой прическе, а потом поцеловала подругу.

Она накрывала стол и жевала бутерброд с ветчиной. Расставляла тарелки и бокалы, прислушивалась к невнятному разговору Киры и Вали, ушедших на кухню, а сама думала, что Валя, в сущности, не очень счастливый человек.

«Ну, умная женщина, научный работник,— размышляла Маша.— А разве в этом счастье? Ей замуж хочется, но Мишка, кажется, не настроен. Слишком уж он внимателен к ней, как-то даже подчеркнуто. Если бы относился серьезно, был бы проще. И на меня смотрит часто. А что я могу поделать. Я его не маню. Мне никто не нужен пока. Ну да, это потому что знаешь — стоит любого поманить — и прибежит. И все равно, с ними еще хуже, чувствуешь одиночество. Они ведь только на смазливую рожицу смотрят, на ноги. Им все равно, что внутри. Отчего так? Ведь вот поговоришь со стариками, которые уже вне игры, и видишь: всё понимают, и чуткие, и теплые. Неужели прозревают только тогда, когда никто не нужен? Жалко Вальку, умница, добрая и симпатичная — у нее же такие глаза! А эти дураки не видят. А все равно к ним тянет, хоть и дураки. Ведь улыбаешь-

ся иногда, а сама презираешь за глупость, а они этого не чувствуют. Если видят что-то глазами, то голова отключается... У Кирки Коля хороший, но такие — редкость. Нужно хлебнуть столько, чтобы все понять».

Звонок прозвучал неожиданно и резко, и Маше стало жаль этой квартирной тишины, пахнущей пряностями, и своих раздумий, грустных, но одновременно радующих, как ей казалось, трезвостью и зрелостью, и поддерживающих уверенность в себе, в правильности жизни.

В прихожей уже раздались голоса парней, резковатый фальцет Киры. Маша слышала, как еловые лапы шуршат по обоям коридорчика.

— Ставь на попа,— сказал Коля, и елка боком просунулась в комнату. Вслед за парнями вошли девушки.

Елку прислонили к стене в углу у окна. Высокое деревце словно впитало в себя неяркий свет зимнего дня, и в комнате сразу стало сумрачно. И в этом свете елка выглядела особенно жалкой, потому что была однобокой, с кривыми лапами и косой макушкой, а хвоя — непышной и тусклой.

Все молча смотрели на это деревце, оно, отогреваясь, начало испускать слабый запах смолы и свежести.

— Н-да,— смущенно протянул Миша, расстегивая пальто.

— Штук двадцать перебрали. Срам, а не елки. Ну что делать, как-нибудь устроим в углу, замаскируем плешины,— бодрился Коля.

— Больно уж она драная,— сказала Валя.

— Да, где-то здорово подгуляла елочка.— Кира пощупала кривую лапу.

— Ну ладно. Маша, когда Андрюшка явится? Он гирлянду обещал,— спросил Миша.

— Не знаю. Наверно, гирлянда будет такая же, как елка. Тоже мне, мужчины, не могли приличную достать,— сказала Маша.— Ничего не можете.

— Ты бы сама попробовала. Знаешь, что сейчас в городе творится? Все будто ошалели. Мы и за этой стояли больше часа.

— Подумаешь, стояли. Взяли бы да съездили за город, срубили. Столько же времени ушло бы,— съязвила Маша.

— Вот на будущий год ты и займешься.

— На будущий... Я сейчас съезжу и привезу через

два часа,— неожиданно для себя раззадорилась Маша.— Кирка, давай твои брюки и куртку.

— Ты что, в самом деле? — спросила Валя.

— А что?

— Ну валяй, раз на тебя такой стих нашел,— сказал Коля,— а лучше бы не надо. Намаешься попусту и нам настроение испортишь.

— Ладно, не учите, сильный и мыслящий пол.

— Замерзнешь, и в милицию заберут, только и всего. Сейчас за елки строго,— усмехнулся Миша.

— Спорим! — Маша протянула ему руку.

— Ну, спорим.

— На две шампанского.

Из квартиры Маша вышла со смешанным чувством досады и решительности. Почему-то сегодня ей особенно хотелось, чтобы слово ее не разошлось с делом, и в то же время она злилась на себя за этот детский порыв,— впрочем, злилась легко и любовно.

В переполненной электричке она стояла в углу холодного тамбура, сдавленная с одной стороны пожилым туристом — так она его сразу окрестила — с жестким рюкзаком, а с другой стороны уже изрядно хватившим парнем, который все заглядывал ей в лицо и суетливо и подчеркнуто старался защитить от давки.

От станции Маша быстро зашагала к лесу. В чужой одежде она чувствовала себя свободно. Кирины брючки и нейлоновая курточка на меху были почти впору; мех грел, идти было легко, а Колин охотничий топорик в чехле и моток веревки не обременяли.

Когда Маша добралась до леса, день потемнел, и нельзя было понять, запасмурнело или начались сумерки.

В лесу было хмуро, неприветно и торжественно.

Маша хорошо знала этот пригородный, похожий скорее на парк, лесок. Она часто бывала здесь летом и даже не думала, что зимой он выглядит так замкнуто и угрюмо. Ей стало не по себе в этой молчаливости заснеженных сосен и сером тумане, клубящемся меж темных стволов. Снег был по колено, и Маша взмокла, не пройдя и сотни шагов. Она поймала себя на том, что делает много лишних и каких-то судорожных движений, и остановилась, чтобы отдышаться, стала мысленно успокаивать себя насмешками: «Ну что? Волки, Машеньку не троньте». Но эти насмешки не помогали, у нее вдруг появилось ощущение, что кто-то следит за ней, следит

недоброжелательно и строго. И Маша снова пошла, проваливаясь в снег и озираясь. Вокруг был чистый сосняк, и она знала, что елки начнут попадаться ближе к заливу, и все глядела вперед в путаницу стволов, не покажется ли просвет; несколько раз она упала, но не ушиблась. Она уже жалела о том, что пришла в этот неуютный, враждебный лес, и только уверенность в том, что все должно удаваться ей, помогала идти вперед.

Сумрак между деревьями из серого стал белесым, и Маша поняла, что залив уже близко, и сразу же стали попадаться елки, темные, утонувшие в снегу. Упрямство заставляло Машу разыскивать деревце получше.

Открылся залив — туманная, грязно-серая равнина веяла холодом, первобытной дикостью, и тишина была вязкой и тяжелой. Дул слабый, но леденящий лицо ветер.

На самой опушке у залива Маша выбрала густую, стройную елочку с задорным ершиком на макушке. Она долго отгребала ногами снег, чтобы добраться до ствола. Снег был сухой и сыпучий, он пылил под ногами, и этой пылью сыпало в лицо, снег набрался в сапожки.

Она сняла чехол с топорика, стала поудобнее.

Легкий топорик только отскакивал от крепкого, упругого ствола, сдирая чешуйчатую кору и обнажая розовато-желтую, как тело, древесину; с еловых лап за воротник сыпался снег. Маша неловко тюкала и никак не могла попасть по одному и тому же месту, уже весь ствол был в ранках, но елочка стояла, лишь вздрагивая всеми своими лапами, и роняла снежную пыль. В раздражении Маша била все чаще, уже не стараясь попасть в определенное место. И полированное топорище повернулось в руках, топорик ударил плашмя, отскочил от спружинившего ствола и стукнул обушком по колену.

Маша охнула, опустилась на снег, стала растирать колено. От боли выступили слезы, и она сидела на снегу и беспомощно плакала.

Вокруг мрачнело, и дальние деревья стали неясными, лохматыми силуэтами.

И Маша поняла, что смертельно устала и замерзла, что у нее уже не хватит сил срубить эту елку и еще тащить до станции.

Она отвернулась от этого угрюмого леса и стала смотреть на залив, где еще было светлее. Она смотрела в пустынную дымную даль, и ее охватило безразличие. Уже ничего не хотелось, только вот так сидеть, скорчив-

шись на снегу, смотреть в эту даль и не шевелиться. И еще в ней поднялась обида на друзей за то, что не остановили ее, отпустили одну сюда, где так холодно и серо и нет людей. Она вдруг представила себе Кирину квартиру, запахи сдобы, уставленный закусками стол, яркий свет и горячие чугунные батареи под окнами, и ей захотелось спать. Все мутилось перед глазами. Маша уже перестала ощущать холод, но что-то заставило ее встрепенуться, сбросить подступившую дремоту и пристально вглядеться в серость залива.

В клубящихся сумерках на сером горизонте вдруг показалась странная косая тень. Маша напряженно следила за этой тенью, которая густела, становилась то уже, то шире и наконец превратилась в парус. Маша видела, как он скользит по ледяной запорошенной глади, поворачивая немного то вправо, то влево, вздымая на поворотах снежные буруны и неизменно приближаясь к ней.

Забыв про боль и холод, проваливаясь в снегу, Маша побрела навстречу этому неожиданному парусу. А он все скользил по сумеречной равнине, бесшумно и легко приближаясь.

В плавном скольжении этого паруса, в его призрачности было что-то захватывающее, что заставило Машу забыть про неудачу, про уязвленное своей беспомощностью самолюбие и обиду на друзей.

Парус приближался, это был буер. Маша ясно увидела темную фигуру человека в продолговатой гондоле и приветственно подняла руку. Она сделала этот жест неосознанно, повинуясь неясному чувству захватывающей легкости и скорости этого бесшумного скольжения по белой глади.

Буер описал плавную дугу и стремительно направился к ней. Парус затрепетал, повернулся и обвис, буер пробежал еще немного и остановился под берегом почти против Маши. Она с любопытством рассматривала длинную узкую гондолу, косые разлапые стойки, оканчивающиеся блестящими коньками, треугольный косой парус, вблизи казавшийся огромным.

Хмуроватый парень в кожанке и шерстяной шапочке с красным помпоном смотрел на Машу. Она спустилась с невысокого берега и подошла ближе.

— Здóрово вы ехали.

— Ехал? — почему-то переспросил парень.

— Да, как-то это неожиданно. Снег и парус...

— Нормально,— сказал парень. Он уперся руками в борта и рывком выпрыгнул из гондолы, обошел буер кругом, потрогал растяжки мачты, потом постучал валенком по рулевому коньку. На Машу он взглянул только мельком.

В этой скупости парня на слова, на улыбку, в обветренности простого лица было что-то привлекательное. И Маша робко попросила:

— А можно мне прокатиться?

— Ну.— Парень кивнул на место позади своего.

Маша быстро, боясь, что он передумает, забралась в гондолу, села на неожиданно гулкое фанерное дно, вытянула ноги, и буер тронулся.

Сразу же зашуршал воздух, и что-то екнуло и сжалось внутри от опасливой и острой радости; пропало ощущение земли, тверди — остались полет и скорость.

Парус и спина парня заслоняли берег, и Маша видела только сумеречную сизую даль, захватывающе ровную и бесконечную,— там что-то клубилось и медленно перемещалось, вспыхивая на миг металлическим свечением. И в хмельном, обжигающем ветре, в этом свечении было что-то враждебное, вызывающее дерзкое желание устремиться туда, в мерцающий холод, и огласить его смехом и криком, пронестись, пролететь, легко и бесшумно, чтобы кругом был этот неясный сумрак...

Маше вдруг стало спокойно, все внутри улеглось, задремало, осталась только ровная уверенность, что все хорошо, все так и должно быть. Этот засасывающий покой исходил от широкой спины, обтянутой черной кожей, от паруса, уже слившегося с сумраком, от ощущения невесомости, какое бывает только во сне...

Маша очнулась от боли: жгло щеки и уши. Она открыла глаза, но ничего не увидела,— что-то шершавое и горячее терзало ее лицо, и Маша застонала. Черное вспорхнуло с лица, и тогда она поняла, что это шерстяные варежки парня и что он тер ей уши, как заснувшему на морозе пьянице.

Она лежала на снегу и еле слышно стонала, вернее скулила, как собачонка. Парень стоял возле нее на коленях, и Маша видела только его кожаную грудь, разделенную поблескивающим замком-«молнией». Потом она ощутила, что голова ее приподымается и в рот вливается что-то жгучее и холодное. Она инстинктивно сглотнула этот холодный огонь и подумала: «Зачем все это? Чего он

хочет?» И тут пришел страх, оглушительный и удушливый. Маша рванулась, стараясь подняться и закричать, громко, истошно, но не услышала своего крика. Только сверху на нее глухо упали недружелюбные и от этого успокаивающие слова:

— Лежи, не дергайся.

Куртка пропала с глаз, и Маша почувствовала, что с нее стаскивают сапоги, и снова закрыла глаза в дремоте, но сразу открыла. Показалось, что ей отрывают ноги, послышался даже хруст в суставах, но боли она не ощущала, и ей стало безразлично. Она расслабила все тело и стала смотреть в темноту над собой, где тускнели чешуйки редких звезд. Она лежала так, пока не почувствовала боль в ногах и не застонала.

— Вот,— сказал парень, грубо натянул на нее сапоги, рывком поставил на ноги.

Ноги не держали, и Маша снова хотела лечь. Но парень ухватил ее за плечо.

— Беги! — приказал он.

Маша не ответила, только затравленно посмотрела на него.

— Говорю, беги по кругу!

— Не могу,— тихо просипела Маша.

Парень схватил ее за руку и потащил. Она бессильно повисла, рука вывернулась, и стало больно в плече, тогда она начала перебирать ногами, а парень бежал все быстрей. И каждый шаг отдавался в Маше болью. Но он не отпускал ее руку.

Он таскал ее долго, пока она не закричала, уже во весь голос. Тогда он остановился и смотрел, как она дышит, потом снял варежку, полез ей за воротник.

— Взмокла,— сказал он с облегчением,— я думал, коньки отбросишь.— Он скупо усмехнулся.

Маша не ответила, она опустилась на снег и заплакала.

— Вставай-вставай, сидеть нельзя. Вот, глотни еще.— Он достал из кармана плоскую пластмассовую фляжку и отвинтил крышку.

Маша послушно встала, взяла фляжку и сделала два глотка. Она поняла, что это водка, но не почувствовала отвращения и удивилась этому. Внутри стало тепло, и она сразу ощутила закоченевшее тело, и ее стало знобить.

Парень быстро снял куртку и накинул ей на плечи. Куртка была на меху и пришлась Маше до колен. Она

закуталась в нее, ухватив за борта, и, скрестив руки на груди, сжалась.

— Пошли. Выведу на дорогу, остановим машину. Сейчас все в город едут.— Парень обнял ее за плечи и повел.

Куртка припахивала кожей и мехом, и запахи эти были теплыми, уютными. Маша с тоской подумала о Кириной квартире, о том, что сегодня праздник, и заплакала.

Парень наклонился на ходу, заглянул ей в лицо.

— Да брось ты. Обошлось. Только не суйся никогда, если замерзла. Не таких до мозгов пробирало.

Маша только всхлипнула.

— Ну хватит. И где ты только шаталась? Чего тебе в лесу делать?

— Я — за елкой.

— Ну! Тоже мне, порубщица. Что, руками ломать думала?

— Нет, там топорик остался. Коленку ушибла.

— Где топорик?

— Да черт с ним.

— Далеко, что ли?

— Не знаю. Там валун голый такой.

— А, знаю, пошли.— Он крепче обнял ее и повернул в сторону. Маша повиновалась.

Уже взошла мутная луна, и топорик они нашли сразу.

— Жаль, испортила елку. Теперь расти не будет. Придется рубить.

Парень двумя ударами срубил Машину елочку, быстро стянул лапы веревкой. Маша все молчала, она не знала, как благодарить его; казалось, что слова прозвучат оскорблением. Она только предложила:

— Возьмите куртку, замерзнете.

— Ладно,— отрезал парень.— Пошли.

Она еле поспевала за ним и почему-то старалась не наступать на его тень, качающуюся перед ней. И все больше переполнялась благодарностью к нему. А он шел впереди, протаптывал ей дорогу и нес елку за ствол, как букет. При лунном свете его фигура в темном свитере и брюках четко рисовалась на снежном фоне, и округлая широта плеч и шея, утолщенная воротом свитера, чем-то волновали Машу, притягивая ее взгляд, и в то же время она испытывала досаду, потому что парень ни разу не обернулся.

Так, молча, они дошли до шоссе, перебрались через снежный валок вдоль деревьев, окаймлявших дорогу, и остановились.

Парень положил елку и сказал:

— Подождем. Через час дома будешь, путешественница.— Он улыбнулся, мельком взглянув на нее.

Маша не ответила. Она вглядывалась в его лицо. Что-то привлекательное и незнакомое было в этих удлиненных, крупных чертах; широкие брови и тяжеловатый подбородок придавали лицу выражение угрюмого спокойствия, но губы были пухлые, мальчишеские — это Маша видела даже в слабом свете,— и она поняла, что парень много моложе ее. Это странно обрадовало, как-то приблизило его к ней.

Он почувствовал ее взгляд, повернулся и спросил:

— Ну, согрелась? — подошел ближе, снял рукавицы и протянул к ней руки.

«Ага!» — удовлетворенно мелькнуло у Маши в голове. Она чуть улыбнулась и ослабила руки, державшие куртку назапах.

Парень засунул ладони сразу в оба кармана куртки, вынул спички и папиросы, отошел.

— Закури,— предложил он.

— Я не курю,— сказала Маша.— Возьмите свою куртку.— Она скинула ее с плеч и протянула парню. И сразу почувствовала, что хочет курить, что почему-то злится, что ей жаль расставаться с теплом и уютными запахами куртки.

Он закурил, надел куртку и стал смотреть вдоль дороги.

— А что вы ждете? Я уже здесь доберусь. Вы там буер свой бросили,— сказала Маша. Ей совсем не хотелось, чтобы он ушел, но его равнодушие злило.

— Успею,— ответил он спокойно.— Еще до двенадцати — два часа.

— Вы что, живете в поселке?

— Нет, Новый год встречать приехал.— Он махнул рукой куда-то в лес.

— На заливе?

— Да. Ребята уже должны собраться. Запалим костер, шашлыков зажарим, выпьем.— Он все смотрел вдоль дороги.

Маша вдруг представила себе костер на опушке у залива, сидящих вокруг таких же, как этот, парней, запах жареного мяса, и ей захотелось всего этого,—

празднество в Кириной квартире показалось вдруг скучноватым и пресным. И стало грустно оттого, что она не будет там, на лесной опушке у костра, противно за свою сегодняшнюю выходку с этой глупой елкой.

— Приходите ко мне старый Новый год встречать,— вдруг сказала она.

— Спасибо, я тринадцатого в ночь работаю.— Он улыбнулся, посмотрев на нее.

— Ну, четырнадцатого. Я больше не буду умирать, и возиться со мной не придется.

— Да ну, подумаешь, возиться!

На дорогу плеснуло желтым светом.

— Машина идет. Деньги у вас есть на случай?

— Есть-есть,— торопливо ответила Маша, поднимая елку.

Парень вышел на середину, поднял руку. Свет мигнул, потом сделался ярче. Машина остановилась, не доехав несколько метров. Парень подошел, открыл дверцу кабины, громко спросил:

— Девушку в город подкинешь? — обернулся и поманил Машу рукой.

Она, семеня, побежала к машине, неловко неся елку перед собой. Парень взял елку и закинул в кузов.

— Ну, будьте здоровы. Встречайте Новый год.— Он протянул Маше руку, она подала свою.

— И вас — с Новым годом. Спасибо большое за все.

— А-а... До свидания.— Он повернулся, перепрыгнул через снежный валок и скрылся в темноте.

В кабине грузовика было тепло и пахло папиросным дымом и разогретой резиной. Шофер торопился и поэтому молчал, напряженно вглядываясь вперед; на поворотах машину слегка заносило.

Маша смотрела на грязно-белую ленту дороги, качающуюся в свете фар, звук мотора успокаивал, и она ни о чем не думала, лишь чувствовала усталость, казавшуюся здесь, в тепле, даже приятной, приносящей удовлетворение.

— Скользко, но должны успеть,— сказал вдруг шофер.— Мне еще машину сдать нужно, а потом с Лесного — на Московский.

— Успеем, наверно,— вяло отозвалась Маша. Она подумала о людях, которые ждут ее, о том, что все-таки выиграла пари, и поняла, что ей безразличны и пари, и само застолье.

«Поесть бы горячего супу, закурить и в постель,—

мелькнуло в голове.— Все-таки интересно, как они прореагируют... Ресницы надо красить, а то заревaнная...»

От покачивания машины и ровного урчания двигателя она все время задремывала, но почти сразу же просыпалась от ощущения непонятной опасности.

Впереди уже завиднелись желтые россыпи городских огней.

— Тут пост ГАИ... Может, уже снялись, тоже ведь праздник,— озабоченно подумал вслух шофер.

— А что? — Маша повернула к нему лицо.

Шофер смерил ее быстрым взглядом и снова повернулся к дороге.

— Чего-чего... Елок целый лес, а права у меня одни. Сейчас за любую жердину на три месяца лишают,— глухо и сердито сказал он. И Маша поняла, что шофер не хочет везти ее дальше, но это не вызвало в ней ни возмущения, ни протеста. Она только застегнула ворот куртки, подняла воротник и приготовилась вылезти и с горечью подумала, как будет брести по этой пустой дороге.

— Сиди, сиди,— сказал шофер, заметив ее приготовления.— Увидим в будке свет — тогда подумаем.

Маша не ответила, тупое безразличие охватило ее, сами по себе закрывались глаза.

Она проснулась уже в городе, поблагодарив шофера, вылезла на трамвайной остановке и через десять минут была у Киры.

Уже стихли радостные и восхищенные восклицания девушек, прошло удивление парней. Уже торжественно установили Машину елку, которая и без украшений выглядела нарядной. И Маша в новом платье вместе со всеми уже сидела за столом.

Часы на телевизионном экране пробили двенадцать, и все выпили шампанского и, как водится, примолкли после первого бокала, задумались каждый о своем.

Сидевший рядом Михаил внимательно посмотрел Маше в глаза и спросил:

— Ну расскажи, как хоть?

— Никак. Пришла, срубила, ушла,— ответила Маша, закуривая сигарету и чувствуя, как заныли прихваченные морозом пальцы.

И что-то вдруг отодвинуло ее от этого стола с шампанским и ананасом, от веселых лиц. И незнакомая, немыслимая тоска захолонула душу.

БЕШЕНАЯ СОБАКА



Третьи сутки ярилась пурга. Она швыряла в замерзшие окна пригоршни сухого снега, подолгу выла в извивах дымохода.

Аргусу в этом вое чудилось издевательство и вызов, мышцы напрягались, торчком становились острые уши, стягивало кожу спины, отчего дыбилась черная хребтовая шерсть. Аргус вскидывал голову, смотрел в сторону печи мрачными темными глазами, обведенными кольцами ярко-рыжей шерсти; бахромчатые губы его приподымались, обнажая влажные изогнутые клыки; в горле начинало клокотать от нарождающегося рычания.

Но в горнице все было обычно: шипела карбидная лампа, синее маленькое пламя освещало кровать — гору подушек, кружевной белый подзор, свисающий до самых половиц.

Хозяин по обыкновению лежал на кровати. Ноги в тускло блестящих сапогах — на постели; в свесившейся руке — сигарета. Пузатая темная бутылка и стакан — на табуретке, возле руки.

Тошный запах карбида, табака, винного перегара.

И Аргус снова опускал голову на передние лапы. Здесь, внизу, запахи были слабее и не так досаждали ему. Он медленно закрывал глаза, начиная дремать и думать. Он давно привык так — дремать и думать.

Аргусу было пять лет. Он не мог похвастать чистотой крови, хотя имел темный правильный чепрак, ярко-рыжие подпалины и в меру пушистый хвост, который никогда не загибался выше спины. Но огромный рост и грубоватый костяк сразу выдавали его полуарийское происхождение.

Мать Аргуса — чистокровная немецкая овчарка — по мимолетному капризу оказала благосклонность безродному странствующему рыцарю, которого скитальческая судьба привела на тучные поля Северо-Германской низменности.

От отца Аргус унаследовал силу и рост, от матери — масть и красоту. Его младенчество прошло в солидном поместье, где он усвоил первые понятия собственности, разделения людей, зла и добра.

Ровесник «Аншлюса», он годовалым щенком отправился в восточный поход с младшим хозяином. Он

входил в чистые зеленые города славянской Европы, ничего не зная о Мюнхенской конференции, не понимая величия исторического момента, но по-хозяйски метил столбики, тумбы и деревья на улицах Братиславы и Брно, Кракова и Варшавы. Он жил в Освенциме, Минске и Риге.

Перемена мест, походная жизнь расширяли понятия Аргуса о мире, и он матерел незаметно для себя.

Он понял, что ему не нужно заботиться о еде, потому что денщик хозяина трижды в день, в положенное время, принесет ему большую миску солдатской еды. Понял, что в кузове грузовика спокойнее ехать возле кабины, и рычал на солдат, пока они не уступали ему это место. Узнал, что внушает людям страх, и научился распознавать этот страх по резкому внезапному запаху пота и напряженным опасливым движениям. Узнал, как внушить еще больший страх, лениво и пренебрежительно зевнув в лицо человеку, так, чтобы тот увидел глубокую черную пасть и язык, извивающийся между великолепных клыков, потом с высоким горловым звуком захлопнуть челюсти, клацнув всеми зубами. Узнал, что молчаливость и редкое рычание внушительнее шумливой брехни, и никогда не лаял. Понял, как нужно настичь убегающего человека в полосатой одежде, прыгнуть ему на плечи, свалить и рвать его тело.

Это многознание сделало его угрюмым и высокомерным. Слишком много людей попробовал Аргус на зуб. Они были ему отвратительны,— от всех пахло дымом, кислятиной, пóтом. Аргус чувствовал живущий в них постоянный страх друг перед другом, перед выстрелами, перед словами. Аргус не понимал смысла слов, он судил о них по интонации. Но в разговорах людей она часто была бесцветна, или угрожающе окрашенные слова произносил тот, кто сам испытывал страх. А это казалось совсем уж смешным и бессмысленным. Бессмысленным казалось и волнение хозяина, который часто разговаривал сам с собой и от этого волновался. Аргус относился к нему с пренебрежением, даже, может быть, бóльшим, чем к другим, потому что лучше знал его. Но только хозяин владел секретом произношения тех нескольких слов, которые имели власть над Аргусом. Стоило ему произнести дважды «фасс» и показать на человека, как у Аргуса в горле начинался хрип, грудь распирало от злобы и ярости, и он бросался, забывая отвращение. А потом горло долго сводили спазмы тошно-

ты и никак не проходил в пасти привкус человеческой крови и вонючего тряпья.

И сегодня Аргус все еще чувствовал этот тошнотворный привкус, хотя прошло уже три дня. И человек, которого он догнал и свалил на лесной опушке за поселком, уже висел на толстом суку тополя под окном горницы, и Аргусу было слышно, как шуршит пурга его мерзлой, заледенелой от крови рубахой. И всякий раз, когда он слышал этот шорох, к горлу подкатывала тошнота. Он подымался с плащ-палатки, служившей ему постелью, шел к двери и лакал воду из миски у порога. Потом возвращался на свое место, под окно, подальше от жаркого печного брюха, закрывал глаза, дремал и думал.

Ему вспомнились запахи влажной земли и травы в поместье, где прошло его первое лето; подстриженная лужайка, по которой он носился, исступленно крутя хвостом; чувство восторга от голубизны неба, мычания коров, аромата картофельной ботвы, проросшего на солод ячменного зерна и распиравшее ребра, почти невозможное счастье.

Он вспоминал белую болонку, которая жила в доме, лишь изредка выбегая на лужайку... Ах, какой восхитительный запах исходил от этой маленькой курчавой суки! Аргусу казалось, что весь мир входит в него через ноздри с этим запахом, и лужайка переворачивалась под лапами, опрокидывая его на спину; небо и листва буков превращались в зеленый туман, и не оставалось ничего, кроме этого запаха, ставшего целым миром, и желания вечно вдыхать его, прикоснуться к самому его источнику...

Пурга швыряла в окна пригоршни сухого снега, шуршала задубевшей рубахой повешенного. Шипела карбидная лампа. Падал на пол потухший окурок. Горлышко бутылки звякало о край стакана, булькало вино, и его противный запах впивался Аргусу в нос.

Он отворачивал голову, свертывался клубком и прятал нос в паху. А хозяин начинал говорить сам с собой, негромко и монотонно. Но Аргус знал, что скоро он начнет волноваться и тогда станет говорить громко и быстро.

Аргус не понимал, что хозяин говорит о величии германского духа и гордом одиночестве нибелунгов. Его собачий слух оскорбляло обилие рокочущих звуков, он подрагивал ушами и старался думать о чем-нибудь приятном. О звездах.

Он полюбил их давно за величавую молчаливость, за ровный спокойный свет в чистой вышине, где нет дурных запахов. Ему было любо их одиночество и недоступность. И порой очень хотелось очутиться там, возле них. Он подымал морду к небу и долго-долго, терпеливо ждал их зова.

Аргус верил в могущество приказа. Он думал, что сможет все, лишь бы был сильный и властный приказ.

Но никогда звезды не звали его, и каждую ясную ночь ему хотелось возвестить им о себе долгим, тягучим воем...

А хозяин говорил, все быстрее выплевывая слова:

— Мы вне радости побед, вне горечи поражения. Мы только инструменты — великолепная заточенная сталь, которой предопределено сделать планету ровной и блестящей, очистить ее от коросты жалких людишек, для которых мечтой жизни является рабство. Они рабы своих хило теплящихся очагов, своих рахитичных детей, своих наивных и жалких пророков, провозглашающих всеобщность нищеты и скудоумия великой целью. А мы грядем — холодные и неотвратимые боги — и несем избавление планете, и несем избавление этим жалким муравьям. Ибо убить их — акт высшего гуманизма. И пусть нам холодно и одиноко в беспредельности, но мы несем наш огненосный крест. Все здесь принадлежит нам: и свободное парение духа, и одиночество, и жизнь этих людишек. Боже, как они ничтожны! Некоторые интересно страдают, даже кокетливо, хотя и не понимают, что это очистительный огонь уничтожает их, чтобы из праха вызвать к жизни высшее существо. Но страдают они интересно. Конечно, они ушли в своем развитии ненамного дальше Аргуса и сами не могут понять смысла своего младенческого стоицизма. Но мы знаем, что над всем властвует предопределенность. Все неизбежно, как то, что Аргус, родившись собакой, никогда не станет человеком, как бы ни бесился, хотя он и выше этих людишек.

Аргус, дважды услышав свое имя, поднял голову, но, убедившись, что на него не обращают внимания, снова свернулся клубком. Но уже не мог мечтать о звездах и стал думать о хозяине.

От хозяина пахло хлорной известью солдатских нужников, дымными развалинами городов, сыпно-тифозной сывороткой, ромом, приготовленным из древесных опилок, страхом, постоянным и тошнотворным.

Аргус мрачно смотрел на острое хозяйское темя, с жидкими соломенными волосами, на блестящий погон возле уха, на лоснящийся рукав черного мундира, радовался наступившему молчанию, притихшей пурге и снова начинал думать о звездах, об их спокойном мерцании, о том, что там, среди них, нет дурных запахов, выстрелов и людской суеты. Там все чисто, сумрачно и хорошо в своей неизменности. И воздух в горнице казался ему все невыносимей и гуще.

Он подошел к двери и поскреб лапой. Хозяин поднялся, открыл. Аргус постоял в темном холоде сеней, втягивая запахи сухих березовых веников, старой мешковины и мышей, потом налег грудью на дощатую дверь и вышел в ночь.

Пурга стихла. Робко поблескивали звезды. Смутным пятном белела луна. Было тихо, пустынно. Скрипел тополь под тяжестью повешенного. Шаркал часовой. Изгороди утопали в снегу, и не было света в окнах домов.

Аргус сошел с тропинки и ступил на хрусткий наст. Он с тихим шорохом подломился под лапами. Аргус сделал второй шаг — наст выдержал, и тогда он побежал, набирая полную грудь холодного чистого воздуха. Он легко перескакивал изгороди, кидался из стороны в сторону, останавливался и снова пускался галопом, упиваясь воздухом, тишиной, одиночеством. Потом он, глубоко и часто дыша, сидел под изгородью и смотрел на звезды, долго-долго ожидая их зова, пока не начали мерзнуть лапы и рваться наружу долгий тоскливый вой. Тогда он побежал дальше по улице поселка, вглядываясь в черную даль шоссе, где вспыхивали сполохи орудийных залпов. Аргус привык к ним здесь, на дальних подступах к Ленинграду, и не обращал на них внимания. Он пробежал почти весь поселок, тихий, таящийся во тьме и снегу, и тут до него донесло запах, слабый, почти неуловимый.

Аргус застыл с поднятой лапой и напряженной спиной, поднял нос, втягивая воздух.

Пахло собакой... Пахло восхитительно и пьяняще, как от той курчавой маленькой суки в поместье. И Аргус побежал на этот запах. Он взрывал лапами снег, иногда проваливался по самое брюхо, но держал нос по ветру, боясь потерять этот запах.

Дом стоял за ветхой изгородью. Такой же, как все, настороженный, с завешенными окнами; на темных

бревнах змеились трещины, к завалинам приник снег.

Пахло собакой и смолистым дымом.

Аргус остановился, жадно дыша, но не решаясь перескочить изгородь.

Жизнь научила его осторожности. Он уже знал, что тишина, кроме покоя, может принести опасность. Знал, что смерть может таиться в безобидных и приятных вещах: в куске свежей ароматной колбасы, которая будто потеряна у лагерного барака, в тени. Но если съесть эту колбасу — такую аппетитную,— то тысяча когтей вопьется в желудок и начнет раздирать его, и будешь скулить и кататься по земле от боли, и нос станет сухим и горячим, перестанет различать запахи. Понимал Аргус, что смерть иногда бывает тихой и нестрашной и приходит в виде человека в полосатой одежде, манящего нежной интонацией слов, но прячущего в рукаве заточенный напильник.

И Аргус привык к постоянной настороженности.

Он долго стоял у ветхой изгороди.

Черные колья тянули шеи из белого снега, отбрасывая короткие тени. Запах входил в ноздри, заполнял все существо, манил к себе.

Аргус слушал, смотрел на легкий дымок из низкой трубы, потом бесшумно перескочил изгородь.

Засыпанная снегом конура притулилась под стеной дома.

Пьянея от запаха, Аргус приблизился к конуре, сунул голову в квадратное отверстие. Конура была пуста. Трухлявое сено и стенки были пропитаны этим ароматом детства, и Аргус залез в конуру и лег мордой к отверстию. Отсюда ему были видны сизые облака и редкие бледные звезды, и он наслаждался их спокойным блеском и вспоминал детство.

Звезды плыли сквозь облака. Синел снег. За бревенчатой стеной слышались слабые шорохи.

Горела керосиновая лампа. Горячим сухим жаром дышали красные угли на поду русской печи.

Пятилетний Петька сидел на скамейке. У него слипались веки, с одной ноги съехал растоптанный валенок. Петька тер глаза кулаком и смотрел за бабкой Полей.

Сухая, маленькая, в черном платье и черной косынке,

быстро сновала она по кухне, и старые половицы под ней не скрипели.

Петька старался не пропустить ни одного бабкиного движения и косил глазом в сторону, где на лавке возле печи из деревянного корыта пузом вспухало белое кислое тесто.

Петька давно не ел хлеба. Каждый день бабка давала ему сладковатую мороженую картошку да луковицу. От картошки живот делался большим и твердым, но голод не проходил.

Петька смутно помнил, что жил он в Ленинграде с матерью и отцом, что было много хлеба и булки, и всяких вкусных вещей, и веселых игрушек. А потом его привезли к бабке Поле на лето, и началась война. Не стало сахару, потом хлеба, потом наступили холода, а у Петьки здесь не было зимних вещей, и бабка перешивала ему свои старые жакеты. Не стало соседских ребят. Да и на улицу бабка выпускала редко. Петька возился с Розкой, пегой, вислоухой и доброй. Розка давно жила у бабки Поли. Летом у нее были щенки, маленькие, толстые и неуклюжие. Щенков бабка раздала, а Розка исчезла недавно. Наверное, ее застрелил немец, потому что Розка оголодала и выла по ночам. А немец жил в соседнем доме, у Погарихи...

Глаза у Петьки слипались, он тер их кулаком.

Бабка Поля разгребала угли на поду, сажала круглые хлебы, и они начинали румяниться, испускать сытный горячий дух.

А сон уже перемогал Петьку, хлебы по сне превращались в яркие оплывающие солнца.

Бабка перенесла его на печь, раздела. Петька чувствовал запах хлеба от ее рук. Она сунула ему маленькую лепешку-каравайчик, пышную и теплую, и он, не открывая глаз, в полусне, стал есть.

Проснулся Петька поздно.

За окном хмурился неласковый день.

Петька полежал на теплой печи, раздумывая о том, были ли хлебы или только приснились ему. Потом вылез из-под лоскутного одеяла, надел штаны и валенки, поискал хлеба, но не нашел. В печи стоял чугунок с пустой картошкой, на посудной полке пахло чесноком и сухим укропом, а хлеба не было.

Петька сходил по нужде, снова залез на печь и стал ждать бабку.

Бабка пришла молчаливая, сердитая, поглядела на

Петьку и стала снимать кожух. Потом кинула на стол миску, достала из печи чугунок, вывалила картошки, поставила деревянную солонку.

— Есть иди,— приказала она Петьке.

Петька слез, пошел к столу.

— Умойся сначала, нехристь! — прикрикнула бабка.

Петька повернул к умывальнику, хлопнул ладошками по соску, провел ими по лицу и вытерся о край полотенца, взобрался на табуретку и увидел, что хлеба на столе нет и только пустая картошка и соль.

— Ешь, пока не застыла,— сказала бабка.

— Не хочу картошек. Я хлебушка хочу,— захныкал Петька.

— Какого еще хлебушка?

— Такого, с корочкой.

— Ешь,— бабка ладошкой хлопнула Петьку по затылку.— Ишь, чего выдумал.

Петьке было не больно, но обидно, и он заплакал.

— Ну, есть не хочешь, так ступай на двор, пока погода.

Петька, обиженно сопя, оделся и вышел.

Кругом была тихая белизна. В прутьях старой черемухи запутались снежные комья. По пояс в снегу стояли яблони.

Петька сошел с крыльца, завернул за угол дома, к сараю, и услышал грозное рычание.

— Розка! Розка! — радостно позвал он.

Но из конуры высунулась страшная черная морда с желтыми кольцами вокруг злобных глаз.

— Ты кто? — спросил Петька, остановившись.

Рычание повторилось. Пес вылез из конуры и зевнул, широко разинув пасть и захлопнув ее с металлическим клацаньем. Он был огромен и страшен. С хвостом-поленом, заиндевелыми кончиками торчащих ушей, с прилипшей к шерсти соломенной трухой.

Аргус смотрел на маленького человека, не испытывая злобы. Он мало знал эту породу людей, и мрачная настороженность, соединившись с любопытством, удержала его на месте. От маленького человека не пахло табаком, вином и страхом. Интонация его слов была доброжелательна, и Аргус, склонив голову набок, слушал.

— Ты чей? Тебе негде жить, да?

Аргус наклонил голову на другой бок.

— Живи у нас. Розка теперь не вернется. Тебя как зовут, собака?

Слова этого человечка казались прозрачными, умиротворяющими, как звездный свет.

Маленькие руки потянулись к шее Аргуса, и у него невольно напряглись мускулы, стянуло кожу спины, вздыбив шерсть. Но странное любопытство приковало к месту. Маленькие руки коснулись ощетинившихся лопаток Аргуса, прошлись по спине, приглаживая шерсть. Это ощущение было волнующим и новым. Аргус вздрогнул. Руки почувствовали эту дрожь, споткнулись на крупе и отпрянули. Сердце Аргуса забилось учащенно, как на бегу, и он шумно задышал, раскрыв пасть.

— Не бойся, собачка.— Маленькие руки коснулись головы Аргуса, пригладили затылок, легонько потянули за металлический ошейник.— Иди в домик. Там теплее.

Аргус попятился к конуре. В смятении он чувствовал, что не может противиться этим маленьким рукам, и, чтобы хоть как-то выразить протест, он лег прямо на снег перед конурой. А руки, легкие и теплые, оглаживали его, отогрели в кулаках его замерзшие уши и лапы. И Аргусу стало хорошо и покойно от ласки. Он заполз в конуру и лежал там, полузакрыв глаза, отдаваясь сладко волнующему чувству незащищенности.

И время потекло неутомительно и плавно, отторгая от прошлого. И первые светлые звезды, проклюнувшиеся меж облаков, казались ближе и теплей.

Скрип снега под сапогами хозяина и его голос заставили Аргуса встрепенуться. Он поднялся с прогретой соломы и вылез на снег.

Зов хозяина повторился, и Аргус сделал несколько шагов навстречу. Но было еще живо только что испытанное, и оно останавливало, не пускало. И Аргус остановился, прижав уши, понурившись и опустив хвост. Он чувствовал, что не в силах сопротивляться зову хозяина и сейчас побежит, виновато крутя хвостом. Но маленькая рука легла на шею, и это сделало его увереннее. При новом зове он только переступил лапами и насторожил уши.

Темная колеблющаяся тень легла на снег. Заскрипела калитка. Запах табака, солдатского нужника, сыпнотифозной сыворотки впился Аргусу в ноздри и лишил остатков уверенности. И он медленно двинулся к хозяи-

ну, извиваясь всем телом, мотая головой и хвостом, испытывая чувство гадливого презрения к самому себе.

Тень хозяина колебалась, косматилась.

— Собачка, собачка,— тихо позвал маленький человечек, и Аргус приостановился и оглянулся.

Потом раздалось шипящее ругательство хозяина. Он вытянул руку в сторону человечка и приказал:

— Фасс!

Аргус услышал этот всемогущий приказ, напрягся. В горле родился исступленный хрип, и ярость заколотилась о ребра. Он зарычал, готовый броситься и рвать врага. Но врага не было. Стоял маленький человечек, который только что ласкал его теплыми легкими ладонями. Человечек стоял и доверчиво смотрел на Аргуса. Кровь застлала глаза, Аргус закружился на месте, высматривая врага, но не было бегущего или грозящего, и от ярости он уже почти ослеп.

— Фасс! Фасс! — повторил невыносимо властный приказ.

Ярость стала непереносимой, смертельной, казалось, что сейчас разорвется сердце, переполненное этой яростью, и Аргус упал на снег, зарылся мордой, терзая зубами холодные комья, разрывая их лапами.

— Фасс! Фасс! — закричал хозяин, и его сапог впился Аргусу в бок, как раз слева, где изнывало переполненное яростью сердце. И сердце вздрогнуло от боли, прыгнуло вверх, подымая Аргуса с изрытого снега. И горло хозяина оказалось таким же мягким и податливым, как у других людей, и Аргус, преодолевая тошноту, сжимал на нем челюсти.

Он не услышал грохота выстрела. Ему показалось, что это звезды прошли сквозь него. Те звезды, о которых он так долго мечтал. И Аргус отполз от трупа, чтобы не слышать смрадного запаха крови и смертной испарины, положил морду на лапы и глубоко, облегченно вздохнул.

ПОМНЮ

Я бродяжил уже второй год. С того дня, как разбомбили наш школьный эшелон. Названия станции не помню. Память сохранила только ощущение пустоты и ужаса, багровых отблесков

на скрюченных взрывом рельсах, угарную дурноту, сжимающий сердце вой пикировщиков.

Я притерпелся к кочевой жизни. В тринадцать лет я был рослый, плечистый, и надеялся, что пристану к воинской части и попаду на фронт. И было что-то притягательное для меня, маменькиного сынка, в дикой, ничем не ограниченной свободе.

Зиму я пробыл в детдоме, а весной сбежал.

Так и жил, попрошайкой скитаясь по южным станциям. Иногда подворовывал в огородах и садах. Меня ловили, сдавали в детприемники, но я неизменно сбегал оттуда, пройдя санпропускник и получив чистую майку и трусы.

Странствовал я все больше один и не стремился к прочному товариществу. Одному было легче попрошайничать: люди и сами жили впроголодь, подавали мне сколько могли, и вряд ли на двоих перепадало бы больше. Потом я знал, что шансов стать сыном полка у меня немного, а вдвоем этих шансов не было совсем. Двоих бы отправили только в детприемник. К тому же попутчики меня часто обманывали.

С одним москвичом, Борькой, мы проездили неделю, и я привязался к нему. Он недавно бежал из детдома и пробирался к родной тетке в Баку. Опыта у него не было, просить он не умел, да и стащить что-нибудь не имел таланта. У него всегда болели зубы и щека была подвязана грязным кашне. Я решил проводить его до Баку, сдать тетке, а потом уж осуществлять свои планы.

Два или три дня нам не везло, и мы были голодны. Кругом, в садах, хрипло лаяли собаки, и в тишине черных душных вечеров этот лай казался особенно страшным. Станция,— кажется, Шамхал,— была маленькой, безлюдной, и попросить хлеба было не у кого.

Я залез в один сад у белого низкого домика, где не было слышно собаки. Набрал там огурцов и помидоров, но ободрал ногу об острые камни дувала. Из раны сильно сочилась кровь.

Вообще, тогда на мне любая царапина долго не заживала, начинала гноиться и превращалась в ноющую язву,— все ноги и руки были в них.

Мы с Борькой поели еще теплых помидоров и огурцов на краю придорожной канавы, потом нашли на пустом базаре драный рогожный куль, постелили его на куче неостывшего паровозного шлака и легли рядом.

От безветрия онемели шелковицы, жалобно звучали

дальние гудки паровоза, и не умолкал треск цикад в окрестных садах.

Борька заснул сразу — он всегда засыпал быстро. А мне не спалось. В животе урчало от съеденных без хлеба овощей. Крупные звезды самодовольно висели надо мной. Запахи копоти от шлака и острый селедочный — от рогожи проникали в горло, вызывая слюну и судорожные пустые глотки, тоску по ломтю хлеба.

Борька застонал, раскинул руки, съездив меня по носу тылом ладони. Лицо его плаксиво сморщилось, подвязанное кашне сбилось, из-за него высунулась какая-то темная бумага. Я выдернул ее, поднес ближе к глазам, развернул и — оцепенел. Это были деньги — несколько красных тридцаток, размякших от долгого соседства со щекой. Я даже не понял, сколько их — три или четыре,— рывком вскочил на ноги, разорвал на мелкие части и бросил ему в лицо. Но он не проснулся.

Той же ночью я уехал из Шамхала на пустом товарняке.

В Махачкале меня чуть не схватили на вокзале. Это был столичный город, с множеством милиционеров, с большим богатым базаром, раскинувшимся вокруг белой заброшенной церкви.

Мне страшно хотелось есть. Я кружил по городу, шатался по базарной площади, пропитанной острыми запахами. От смешения гортанных голосов над базаром висел тягучий звон. От этого звона, от голода, от яростных красок помидоров, груш, синих баклажанов, огромных тыкв, грудами насыпанных на желтых соломенных циновках, кружилась голова.

С арбы, устланной сухими кукурузными стеблями, продавали мед. Лезгин в рваной черкеске и пыльной папахе накладывал мед деревянной ложкой. Возле его темного бесстрастного лица вились осы.

У стены церкви, задумчиво понурясь, стояли маленькие серые ишаки. Они безучастно смотрели на шумное людское скопище, изредка подрагивали шкурой от укусов слепней.

Клубилась пыль. Пекло солнце.

Перед закрытием базара мне удалось стянуть тяжелое глиняное блюдо с творогом. Он был прохладным, плотным и прикрыт виноградными листьями. Пробираясь к вокзалу, я очень боялся, что меня задержат и отнимут творог. Я только бросил в рот маленькую щепотку,

прижал рукой блюдо к бедру, а другую вытянул в сторону для равновесия.

Я прокрался по перрону и за спиной проводницы сел в бакинский поезд. В сумрачном вагонном тамбуре я открыл дверцу потолочного ящика, с трудом поднял блюдо на вытянутых руках и поставил туда. Потом, улучив момент, залез сам и затих в пахнущей пылью духоте. Блюдо стояло у самой дверцы, которую я оставил приоткрытой, чтобы не задохнуться и слышать шаги в тамбуре.

Я лежал в ящике, прямо ртом хватал творог и прислушивался к шагам. Тяжелые шаги людей, несущих груз, меня не пугали. Я боялся легких быстрых шагов. Всякий раз, когда слышались такие шаги, я мгновенно и бесшумно вставал на четвереньки, спиной упираясь в железную крышу вагона.

Ревизоры не заглядывали в эти «собачники». Они просто стучали компостерными щипцами в потолок тамбура. Если звук глухой, то в собачнике — заяц. Вот поэтому, заслышав подозрительные шаги, я делал мгновенную «стойку на костях». Так мне почти всегда удавалось остаться непойманным. И на этот раз я вовремя услышал шаги ревизора, сделал стойку и сам даже порадовался «доброкачественному» звуку, который внутри ящика был особенно сильным. Но ревизор стукнул в потолок второй раз, видимо машинально, и попал под блюдо.

Я перестал дышать, стоя на четвереньках. Темная рука пошарила перед дверцей, наткнулась на край блюда, ощупала его, подхватила и унесла. Все это произошло бесшумно и быстро, как колдовство, — было блюдо и пропало. А у меня на языке остался кисловатый, такой печальный вкус творога. Я и хватил-то его всего два-три раза.

Так и ехал я несколько перегонов с голодной, сосущей тоской под ложечкой. Потом меня вытащили из «собачника» и ссадили на маленькой темной станции, окропленной дождем и пронизанной вздохами моря.

Одет я был в защитную гимнастерку с единственной уцелевшей пуговицей, вельветовые штаны, которые когда-то были длинными и синими, теперь же стали белесыми и едва доходили до колен. Обуви не было давно, и ноги, оббитые о камни, были в ссадинах; с большого пальца правой от нарыва сходил ноготь, и я прихрамывал.

На станции, где меня высадили ночью, я промок под дождем, застудил ухо и в Дербент приехал разбитый, полуоглохший, ослабевший от голода.

Час или два бродил по темным пустым улицам, подбирая осыпавшиеся ягоды шелковицы. Они были приторно сладкими, до горечи, вызывали тошноту. На пляже я набрел на деревянную беседку, стоящую на столбиках, вкопанных в песок. Лечь в ней не решился — боялся, что ночью ходит милиция,— залез под дощатый настил и лег на пахнущем солью песке.

Проснулся, когда солнце тонкими струйками протекло между досок, и пополз к дыре, через которую пролез ночью. В глаза полыхнуло море с редкими бляшками пены. Я высунул голову, и сразу же перед моим лицом опустился чувяк малиновой кожи, украшенный извилистой белой строчкой. Бежать было некуда, и я выполз, выпрямился и скорчил самую жалобную мину. Обладатель чувяка привалился к столбу, поджав под себя одну ногу, и, прищурившись, смотрел на меня раскосыми глазами. Был он в красной бархатной тюбетейке, синей шелковой тенниске и серых брюках, а рожа была самая продувная, с уже заметным черным пушком на верхней губе.

— Спал здесь, да? — спросил он с сильным кавказским акцентом.

Я промолчал.

— Урчишь-бурчишь?

Я неопределенно мотнул головой, чтобы можно было понять и так и эдак.

— Садись, кушать будем,— кивнул он. И только теперь я увидел рядом с ним, на досках, разостланную газету и на ней несколько крупных помидоров, тонкий белый чурек и кусок красного кутума. От вида этой еды у меня помутилось в голове, и я сел на край настила.

Через полчаса мы лежали на теплом песке, подставляя солнцу полные животы. И мне казалось, что мы знаем друг друга очень давно.

Его звали Нариман. Он родился в Темир-хан-шуре. Отец на фронте, мать нашла себе другого, а он ушел. Ему через полтора месяца стукнет восемнадцать, и тогда он придет в любой военкомат и потребует, чтобы взяли в армию.

У Наримана в городе было много знакомых. Я так и не понял, чем добывал он себе пропитание, но к вечеру его брезентовая сумка из-под противогаза наполнялась

едой, и он по-братски делился со мной. Вообще, он был щедр и весел. Ему приветливо улыбались темнолицые сутулые старики-амбалы на пристани, сердитые базарные торговки никогда не гнали его от прилавка, как меня. Ему были знакомы все бродяги города, инвалиды — продавцы штучных папирос, маркер бильярдной, милиционеры.

Днем мы расставались, но всегда встречались вечером и ночевали под настилом беседки, поужинав тем, что он приносил,— я-то был плохим добытчиком и сам едва кормился.

Был конец августа, и на лозах зрели тяжелые кисти. Все чаще попадались на крутых спусках к садам арбы с меланхоличными ишачками. Они везли желтые, пахнущие свежестью решета для уборки винограда. У подвалов мыли и размачивали темные бочки, и вечером по улицам тек густой запах пропитанной вином дубовой клепки.

В один из таких вечеров мы с Нариманом залезли в сад.

Даже цикады умолкли, когда мы крались между невысокими шпалерами виноградника. Я боялся змей и скорпионов и с опаской ставил босые ноги на комковатую сухую землю; прикосновение незавившихся усиков винограда к лицу было холодным и неожиданным, и я вздрагивал.

Кисти были тяжелыми и липкими, я клал их в свою гимнастерку, связав ворот и рукава. Потом мы продрались сквозь густую терновую изгородь и пришли к своей беседке.

Легкий ветер освежал плечи, исцарапанные терновником, море тихо урчало. Ягоды, крупные, тугие, взрывались во рту сладким прохладным соком; в ночном свете градины «голоби» казались фиолетовыми, как чернила. Иногда во рту возникал горько-железистый привкус, но он быстро исчезал от прохладной сладости сока. Изрядно поев, мы сделали передышку.

— Хорошо, да? Мед — не виноград,— сказал Нариман.

— Во рту что-то плохо.

— А-а, это синий такой, поливают лозы, чтобы моль не съел.

Я снова принялся за виноград, но привкус во рту стал сильней и уже не проходил, и я отложил начатую кисть.

Мы легли прямо в беседке. Доски пахли пылью и водорослями.

Море мурлыкало, как сытый теплый зверь, и остро заточенный месяц был подвешен над фиолетовой рябью.

Я проснулся от духоты и тяжести, давившей мне грудь и живот. Встал на ноги и тут же упал. Луна, звезды, море, настил беседки медленно вращались вокруг меня с тихим звоном. Я ухватился за столб, пытаясь встать, но меня вырвало. В желудке началась резь, и звон в голове усилился. Словно издалека я услышал голос Наримана, звавшего меня, но не было сил откликнуться, и снова началась рвота.

Мы пили горько-соленую каспийскую воду, ложились на спину и ничком, стонали, но рези, понос и рвота не прекращались. Я совсем обессилел и даже не отвечал Нариману. Он тряс меня за плечи, но я молчал и не открывал глаз, потому что все вокруг сразу начинало кружиться. Потом я впал в забытье.

Когда я открыл глаза, звезды исчезли, но море и небо стояли на месте, не кружились. Светало. Я чувствовал слабость, но тошноты не было. Нариман лежал в нескольких шагах от меня на боку, подобрав колени к животу. С одной ноги свалился чувяк, и на темной потрескавшейся пятке сидела большая муха.

Я встал, качаясь подошел к нему и позвал, но он не проснулся. Тогда я сел и потряс его. Плечо под моей рукой было холодным и влажным. Голова Наримана дернулась, запрокинулась, и я увидел, что он не спит. Глаза его, косящие, длинные, как-то странно и холодно смотрели сквозь меня, и сиренево-бледное лицо было неподвижным. И я заорал...

Я рыл яму в сыром плывущем песке за беседкой. Рыл и отползал в сторону, потому что понос не прекращался.

Похоронил я Наримана, когда из малиновой полосы над морем уже вылез смуглый круг солнца. Закрыл лицо тюбетейкой и зарыл.

Чувяки и противогазную сумку я взял себе.

В тот же день меня поймали на верхнем базаре при попытке украсть чурек.

Я знал, что поймают, но все равно схватил этот белый хлебный диск и побежал, кусая на ходу. Я чувствовал, что помру, как Нариман, если не поем хлеба. Споткнулся, упал и сжался, ожидая ударов и судорожно проглатывая недожеванный кусок. Но меня не стали бить — отвели в милицию.

Пять дней я просидел в дербентской тюрьме.

Меня осудили за бродяжничество по сто девяносто второй статье на год колонии. В противогазной сумке нашли метрику Наримана и сочли меня совершеннолетним.

После суда старик милиционер, с широкой седой бородой, взял меня за руку и мы пошли в горы. Старик был в галифе, заправленных в красные ковровые носки, и в чувяках. Бумагу с моим приговором он положил в свою фуражку.

Он не разговаривал со мной, только что-то бормотал под нос. Руку мою он держал некрепко, и я, наверное, мог бы вырваться и убежать, но все еще был очень слаб.

Мы поднимались по шоссе в горы. Под обрывом далеко было видно море. Старик снимал фуражку, давал ее мне подержать и вытирал бритую голову влажным от пота платком.

Я спросил:

— Дедушка, куда мы идем?

Он не ответил, покачал головой, вынул из кармана длинный кривой огурец и дал мне. Я взял и больше не спрашивал ничего.

В колонию мы пришли усталые и потные.

Старик отдал мои документы охраннику у ворот, поговорил с ним по-аварски, напился из медного кувшина под навесом и пошел обратно.

— Заходи,— сказал мне охранник и открыл калитку рядом с воротами. Я ступил на лысый каменистый двор колонии, тощий, качающийся от слабости, с пустой противогазной сумкой.

Четыре саманных барака с толевыми крышами, защищенными от солнца землей, ограничивали двор. На перекладине столба висел кусок рельса, тут же лежало старое, темное бревно. На нем сидели два оборванных старика в газетных колпаках и смотрели на меня.

Жгло солнце. Было тихо, безветренно.

Я почувствовал позыв тошноты и сел в тень, под стенку барака.

Старики перестали смотреть на меня и снова заговорили между собой. Вдруг из барака выскочил странный человек, семеня обежал двор и остановился передо мной.

Был он в грязной нижней рубахе, подол и рукава до плеч были разорваны на ленточки, из-под разодранного ворота виднелась коричневая худая шея, на ней — ботиночный шнурок с жестяной крышкой от консервной

банки. Крышка качалась, отражая солнце, потому что человек мелко дрожал.

Я испугался.

Он вытянул руки в стороны, взмахнул ими, отчего ленты рубахи взметнулись, и продекламировал высоким ровным голосом:

— «Паша — мир Паша. Мустафа — кук Паша».

Я знал, что это татская песня, но испугался еще больше.

— Селим,— позвал кто-то из стариков. Он повернулся, сразу забыв обо мне, и побежал, махая руками, как ребенок, изображающий птицу. Ленты рукавов и подола развевались, пыль клубилась из-под босых ног. Он сделал круг по двору и остановился у бревна, не опуская рук и довольно улыбаясь. Старики что-то сказали ему, один махнул рукой. Он сразу сгорбился, опустил руки и пошел в барак.

Я прислонился затылком к нагретой глиняной стене и закрыл глаза. Страха перед неизвестностью не было, только — покорность, безразличие и полное одиночество. Будто никогда не было у меня отца и матери, дома, детства. Будто всегда был я больным и голодным бродяжкой, против которого жаркое солнце, ночной холод, ревизоры поездов, собаки, изгороди — весь мир.

Глаза я открыл от гомона толпы. Она валила в распахнутые ворота. Темные щетинистые лица, дочерна загорелые плечи и волосатые груди, сиреневые — одинаковые у всех — майки; обувь — подметка из куска автопокрышки с брезентовыми перекрещенными полосами; сверкающие зубы и белки.

Меня заметили, окружили. Я встал. Посыпались вопросы:

— Подзаборник?

— Поживешь теперь у хозяина.

Кто-то поднял мою сумку, убедился, что она пуста, и бросил. Кто-то наклонился, пощупал чувяки, сказал:

— Бакинские, хороши! Где срубил?

— От товарища остались.

— Товарищ спал в поезде, да? — спросил кто-то, и все засмеялись.

Подошел человек в бумазейной черной куртке с угрюмым лицом и широкими усами:

— Новенький, пойдем, отведу в бригаду.

В бараке было темно от двойных нар. Все смотрели на меня, когда я шел по проходу.

— Бородин, Федор,— позвал комендант.

В проход вышел высокий бритоголовый парень и, сильно хромая, направился к нам:

— Здоро́во. С чем пришел?

— Вот новенького тебе привел.— Комендант посторонился и кивнул на меня.

Я молчал, комкая в руках сумку. Опять тошнило и очень хотелось лечь.

— Ты что? Он же пацан совсем.

— Начальник приказал так.— Комендант пожал плечами.— Ну, проведешь как-нибудь на пятисотку, что же теперь.

— Эх-х,— крякнул Федор и стал свертывать папиросу. С нар ему протянули сразу несколько тлеющих фитилей. Прикурив, он сказал:

— Ладно,— пристально посмотрел на меня.— Сколько сроку?

— Год.

— Как зовут?

Я стал объяснять ему, как получилось с метрикой Наримана и что по-настоящему меня зовут Вовкой. Он слушал, качал головой.

— Так сколько тебе на самом деле, четырнадцать?

— Да.

— Ну, пошли, место покажу, где спать будешь.— Он кивнул коменданту и, хромая, пошел впереди меня.

Солнце было высоко, и лучи его отражались в желтых разломах камней. Коротко бухали кувалды в горячем воздухе.

Я сидел в тени штабеля тесаных плит и крутил ручку точила. Мокрый круг с шорохом скреб лезвие большого зубила. Иногда я останавливался, чтобы передохнуть, и смотрел вокруг.

Вдали были видны голые коричневые спины ломающих камень людей. Спины блестели под солнем. Выше, на скале,— фигура часового в белой войлочной шляпе. Еще выше — белесое от зноя небо.

Я работал уже второй день в бригаде Федора Бородина. Точил зубила. Это было не так тяжело, но я был очень слаб. От баланды с каспийским бычком, которой здесь кормили, живот мой болел еще больше. Я не мог подолгу крутить ручку точила. И вообще чувствовал себя каким-то оглушенным и безразличным ко всему.

Зубило стало острым. Я обмакнул его в корытце с водой под точильным кругом, вытер тряпкой, взял другое и услышал скрежет каменной крошки от чьих-то шагов.

Вальку Губана я знал. Он был из нашей бригады, коренастый, толстогубый, от шеи до пояса разукрашенный синими наколками. Другой — черный, костлявый, с белыми штрихами старых рубцов на волосатой груди,— был незнаком мне.

Они подошли вплотную, остановились и молча стали смотреть на меня.

Синий орел на животе Губана распластал синие крылья и в когтях держал голую женщину; большой кривой клюв кровожадно раскрылся.

— Эй, питерянин, махнись с Кемалом чувяками,— сказал Губан, кивнув на черного. Тот сел на камень и стал снимать свои «ЧТЗ». Снял и бросил мне к ногам эти грубо обрезанные куски автопокрышки с перекрещенными брезентовыми лентами. Резина внутри лоснилась, ленты были замусоленные, с лохматыми краями.

Я отвел взгляд от этих обуток и снова стал смотреть Губану в живот, на синего орла.

— Ну, шустрей,— сказал Губан, и орел на животе колыхнулся.

— Не хочу. У меня ноги болят.

— Ах ты, фитилюга! Не мутили, наверно, ни разу? Сымай, кусочник тухлый. На воле нужно жить было, если хотел такие чувяки носить. Сымай! — Он ударил меня ногой по коленке.

Я скорчился от боли, заплакал. Потом злость хмельно затуманила голову, я вскочил и ткнул Губана в лицо зубилом и повернулся к волосатому, сознавая, что мне уже не сносить головы, и отчаянно решившись драться.

— Валька, чего вы там сохнете? Иди, плиту отваливать будем.— Федор, хромая, неспешно обходя камни, подошел к нам.— Чего за рожу держишься?

— Да крошкой оцарапало. Вот замыть пришел,— ответил Губан.

Федор внимательно посмотрел на него, на меня, на «ЧТЗ», брошенные у точила, взял несколько заточенных зубил и сказал:

— Ну, пошли. А ты отдохни, Вовка. Инструмента на сегодня хватит.— Он пропустил Губана и подхватившего обутку Кемала вперед, кивнул мне и пошел за ними,

блестя на солнце загорелой спиной и широкими плечами.

Я снова сел в тень.

Искрились разломы камней. Серела фигура часового на скале. Коротко бухали кувалды, ломающие камень.

Вечером того же дня меня сбили с ног около уборной, пинали в живот и грудь, сдернули чувяки.

Меня нашел и растормошил сумасшедший Селим.

Я еле добрел до барака. Влезть на верхние нары не хватило сил, и я лег прямо в проходе...

Солнце искрилось в разломах желтых камней. Били кувалды. В горячем мареве подрагивали острые вершины скал.

Синий орел щелкал кривым клювом, хлопал крыльями и скреб когтями по каменной крошке.

Я знал, что он будет долбить меня клювом, закрывал голову руками и не мог сдержать рвущегося крика.

— Нет, нет, дорогой, не бойся,— слышал я старческий голос.

Губ моих касался край железной кружки. Вода смачивала пересохший рот. Я открывал глаза и видел дощатый потолок, по которому ползали мухи, миску баланды возле себя, чье-то старое лицо с добрыми глазами.

Но мне все было безразлично, я ничего не хотел — ни баланды, ни воды, ни доброты. Я только хотел лежать вот так, не шевелясь, чтобы больше не прилетал синий орел долбить меня клювом. Хотя бы до вечера... Вечером из каменоломни вернется Федор... Он сильный, при нем орел не прилетает. Федор сядет, закурит и будет рассказывать про Волгу, про свою Астрахань...

Я слабел, потому что не мог есть. Синий орел прилетал все чаще. Окружающее было мне безразлично. Фельдшер колонии давал горькие порошки и качал головой. Каждый вечер Федор садился возле меня и что-нибудь рассказывал.

Слова шуршали, как камешки, сыплющиеся с обрыва, собирались остроконечной пирамидкой, потом она рушилась... Я впадал в забытье.

Но днем, когда я оставался один, рассказы Федора всплывали в памяти зримыми картинами.

...Весенняя вода размывает высокие глинистые берега. Сёла в вишневых садах. А за крутыми мысами, выдающимися в реку, течение поворачивает в обратную сторону — это суводь. Речные капитаны не любят такие места,— в водоверти может закружить большую баржу, швырнуть ее на берег и разбить в щепки. А баржи идут с пшеницей, кукурузой, саратовским пшеном. Перед Черной суводью седые лоцмана снимают фуражки и надевают только когда пройдут это место. А осенью на берегу волжского рукава Ахтубы вызревают арбузы. Горами лежат они и ждут барж. И никто их не продает, никто не охраняет — ешь сколько хочешь.

Рот наполнялся слюной, когда я представлял себе вкус холодного арбуза, который так хорошо есть на берегу ночью, у камышового костра.

Я представлял себе тростниковые плавни по берегам мелководных заливов; ситовники и белые лилии дремлют в воде, а старые, дуплистые ивы тянут к ним косматые ветви; широкие листья лотоса над зеркалом тихой воды и большие розовые цветы, пропитавшие воздух запахом миндаля.

Но я знал, что никогда не увижу этого наяву, и еще горше становилось от сумрака барака, треснутых досок потолка, засиженного мухами; от жидкой баланды с тонкими хребтами бычков; от боли и безнадежности.

Федор сказал:

— Год пройдет незаметно, освободишься. Дам тебе адрес Марии, поедешь в Астрахань, будешь жить у нее, в школу поступишь.

— Нет,— сказал я,— этого не будет. Я никогда не освобожусь, никогда не поправлюсь. И ничего не будет больше, и ничего больше я не хочу.

Федор склонился надо мной — лицо обросло светлой бородкой, глаза смеются.

— Ты что, Вовка? Мы еще поживем. На охоту в плавни походим, рыбачить будем. Мария — знаешь она какая? Умная, душевная, красивая. Дом у нас крепкий, места много. Вот и будем жить втроем. Мария тебя полюбит. Эх, Вовка, еще вся жизнь впереди. Я и то ничего не видал. Только женился, построился — и война. Ешь баланду-то.

— Не хочу. Никто меня не полюбит, никому я не нужен, и есть не буду.

Федор помрачнел, встал, заходил в проходе.

В эту ночь он лег рядом со мною и долго шепотом говорил:

— Жизнь, Вовка, хорошая штука. Если человек при деле и не трутень, то его обязательно любить будут. Вот я — рыбак, дело-то трудное — мокрый всегда; дрогнешь — руки бечевой порезаны, а все тянет река к себе, как белугу. Они, знаешь, еще подо льдом собираются к горлу, ждут «зимней» воды сверху. Процедят ее через жабры — и айда по рукавам, аж вода кипит. Во как! А ты еще молодой, еще и дело будет, и место какое-нибудь душу присушит, и дружки будут, и все хорошее... Вот нашкодил я по пьянке... Обласкал костылем одного гада за то, что он про Марию трепал, будто она тут без меня гуляла. Ну, и в милиции нашумел. Психованный был, после фронта еще не остыл. Кому ж худо? Только себе. Был бы не ранен, так воевать послали бы, а так вот ломаю камень этот чертов... Еще два года... Слушаешь?

Я слушал. Слова запоминались, но какое-то злое упрямство заставляло меня молчать...

Федор приподнялся, увидел, что я не сплю, вздохнул и больше не говорил.

На следующий день после работы он подошел и сказал тихо:

— Завтра на работу пойдем. Хватит лежать.

— Я не могу.

— Нужно. На волю пойдем.

— Как?

— Про то я знаю.

Солнце садилось, и между скал залегали глубокие синие тени.

Федор подсаживал меня на выступы обрыва и карабкался сам. Я совсем обессилел, но он торопил, потому что перед окончанием работы делали поверку. На плоской вершине с замшелыми развалинами старой крепости я упал и уже не мог подняться.

Солнце висело на уровне глаз, и вдали, на скале, угадывалась фигура часового.

Федор взял меня на руки и понес по старинной дороге, разрушенной и усыпанной камнями и щебнем...

Стемнело, когда он вынес меня к садам.

Дербент лежал под нами внизу. Из темной зелени

проглядывали беленые стены, освещенные лунным светом.

Федор дошел до крайних домов, перетащил меня через каменный дувал, и мы залегли в заглохшем саду.

Желтела зелень, освещенная луной. Пахло винным уксусом, сырой дубовой клепкой, кислым кизячным дымом, водорослью, догнивающей палой ягодой шелковицы...

Очнулся я от голосов.

Листва вьюнка была просвечена солнцем, в ее разрыве я увидел высокую худую старуху с крючковатым носом. На ней было длинное черное платье, красные носки и галоши, из-под черного платка выбивались седые волосы, лицо было в глубоких коричневых морщинах. Старуха курила длинную тонкую трубку и глядела на меня блестящими глазами. Рядом с ней стоял Федор и что-то говорил по-татски.

Я понимал только отдельные слова: «фахиро аиль, кефсуз» — несчастный ребенок, больной.

Старуха спросила:

— Субуч нисты? (Вшей нету?)

Федор замотал головой. Старуха еще что-то сказала и махнула костлявой рукой. Федор подошел, взял меня и понес в дом.

В низкой полутемной комнате ходил белый голубь и клевал кукурузное зерно, рассыпанное по полу. Старуха расстелила у окошка красный палас, взбила синюю подушку. Федор уложил меня, и я заснул.

Мы жили у бабки Мирвари — так звали старуху — месяц. Сначала я боялся ее из-за трубки, длиннопалых костлявых рук, хищного носа, но потом понял, что она добрая.

Два ее сына были на фронте, и в доме до нас жил только ручной голубь.

Федор ходил амбалить на пристань, чтобы заработать на еду и на проезд до Астрахани, а я все лежал и боялся, что его поймают. Возвращался он усталый, садился около меня на полу и говорил, как хорошо мне будет жить у его Марии, рассказывал про волжскую дельту, про замечательную рыбу. И я мало-помалу привыкал к мысли об Астрахани и верил, что там будет хорошо.

— А ты как? — спрашивал я Федора.

— Вернусь в колонию.

— Добавят сроку, приморят.

— Ничего. Немцев добьем — амнистия будет. Сол-

дат-то в первую очередь выпустят,— весело говорил он, но лицо становилось задумчивым. Он сильно осунулся за эти дни, светлая бородка стала больше и закурчавилась, усы закрыли губу, и уже не верилось, что Федор совсем молодой.

Мирвари ухаживала за мной: длинная, худая, она бесшумно ходила по комнате, легко наклонялась, поправляла мне подушку. От ее рук пахло табаком и сладковатым дымом сухой виноградной лозы. Голубь взлетал ей на плечо, надувал зоб и ворковал. Мирвари гладила меня по лицу, спрашивала:

— Яблук хочешь?

С едой было плохо. Федор берег заработанное на дорогу. Мирвари питалась одним хлебом и овощами. Один раз, проснувшись, я не услышал воркования голубя, а в обед Мирвари дала мне крепкий жирный бульон и голубиного мяса с кукурузной кашей.

— Старый был, как я. Умирать надо было,— сказала она, попыхивая трубкой.

Я уже вставал и ходил по саду, а у Федора что-то не ладилось с моряками. Пассажирские пароходы в Астрахань не ходили, а на грузовые никто не хотел брать.

От Мирвари пришлось уйти,— нас заметила соседка, бóлтливая женщина, и Федор боялся, что нас схватят.

Мы приютились в крепости, где жили все городские бродяги и жулики.

В толстой крепостной стене, сложенной из громадных тесаных плит, было много закоулков и переходов; проломы выводили в глухие дворики, мощенные камнем. Дворики были угрюмыми от полуразрушенных глубоких амбразур, в которые никогда не заглядывало солнце. Между плит рос темно-зеленый бархатный мох, топорщились кустики серой колючки.

В одном таком дворе, где росли старые кривые груши, постоянно ночевали мы с Федором, старый нищий Арслан, тихая грустная аварка с грудным ребенком. Приходило еще несколько человек, но они менялись.

Вечерами я ходил встречать Федора. Спускался по разрушенной кладке стены на пустырь с большой ямой, заросшей травой. В яме жили кролики, там они плодились и умирали. Арслан ловил их и жарил на костре.

Пустырем я выходил к гостинице, которая стала госпиталем. Здесь большие орешины косо простирались над мостовой и прямо с земли можно было рвать орехи

в темных, остро пахнущих рубашках, от сока которых сразу чернела и морщилась кожа на ладонях.

Я выпрашивал у раненых папиросу или окурок для Федора и шел к пристани.

А когда мы возвращались на крепостной двор, Арслан уже хлопотал у костра. Пахло жареным кроликом. Отсветы падали на лица сидящих вокруг, и было слышно, как шмякаются, разбиваясь о камни, перезревшие груши.

Федор написал письмо Марии. Она ждала нас. Но ехать мы еще не могли. У Федора стала болеть рана на бедре, и он уже не мог работать.

Задували осенние каспийские ветры, и сады кропило дождем.

Федор лежал в нише. Я разжигал костер из сухого репейника и лозы к приходу Арслана. Он пришел запыхавшийся, без кроликов и бросился к Федору. Путая русские и азербайджанские слова, размахивая руками над синей бритой головой, он стал рассказывать. Все подошли ближе — аварка, два лезгина-карманника, еще какой-то старик.

Арслан рассказывал и плакал.

Кто-то из жуликов залез в винный подвал, напился, не закрыл кран и сотню ведер дорогого вина выпустил в землю.

— Старики злы, палки брали, сюда идут. Яман! — причитал Арслан.— Бить, выгонять будут. Что делать, Федя?

Блики костра ложились на бритую голову Арслана, отражались в печальных глазах аварки, метались по темным плитам стен.

Федор встал.

— Бить будут,— заплакал Арслан.— Туруба пришел.

— Правильно сделают. За такую шкоду голову оторвать надо,— сказал Федор, подошел ко мне, вынул из-за пазухи деньги:— Вот возьми. Мария там ждет. Пойдешь в детприемник, скажешь, что бежал из Астрахани, от нее. Фамилию скажешь Бородин. Отправят к ней. Ну, пока.— Он хлопнул меня ладонью по шее.— Делай как сказал.— Повернулся к Арслану:— Здесь баба, дети. Пошли, мужики, бежать некуда,— и захромал к пролому в стене.

Арслан, плача, пошел за ним, пошли лезгины и старик.

— Федор! Федор! — заорал я.

Аварка схватила меня, не дала бежать, зажала рот.

Минуло с той поры много лет.

И не знаю я, где твоя могила, Федор. Но все яснее ты передо мною — хороший человек, солдат, рыбак-волжанин.

Все в жизни делаю я так, будто смотришь ты на меня, и чту тебя, как отца, ибо ты спас во мне больше, чем жизнь.

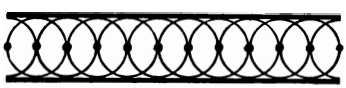
Я дошел до Марии, Федор. И она была мне матерью и сестрой. И любила тебя всегда.

Уже три года, как схоронил я Марию. Только вот на могиле ее с тех пор не был, ты уж прости.

Но я помню... Все помню!

ВДАЛИ ОТ ВОЙНЫ

1



Клава проснулась рано, хотя обычно подымалась тяжело и неохотно. За стеклами окна, покрытыми морозным узором, еще стояла сизая муть. На бревенчатой темной стене надтреснуто тикали ходики, но стрелок не было видно. От холода, шедшего в щели половиц, ноги сразу покрылись гусиной кожей. Тихо, чтобы не разбудить Рахиль Львовну, Клава прошлепала к печи, взяла свои валенки, много раз подшитые, неуклюжие, но еще хранящие печное тепло.

В валенках ногам стало хорошо. Клава надела платье и подошла к окну.

Через нетронутый морозом глазок были видны сугробы, все в синеватых рассветных тенях, ели, плотно укутанные снегом, словно сторожа в овчинных тулупах, нестройный ряд рубленных в лапу домов.

«Колодец, наверное, замерз. А может, уже кто-нибудь из поселковых ходил? Тогда не нужно лед колоть и можно справиться побыстрей. Рахиль Львовна проснется, увидит, что я все сделала, и разрешит пойти»,— подумала Клава, надевая ватник.

Но день начался с необычного.

Клава вышла на крыльцо с коромыслом и ведрами и увидела на заиндевевшей ступеньке серый продолговатый сверток байкового одеяла, из которого еле слышался слабый писк.

Клава посмотрела вокруг. От крыльца тянулась тонкая нитка следов по пушистому свежему снегу. Следы терялись на укатанной поселковой дороге, и больше ничего и никого в этот ранний час не было.

Клава, подхватив ребенка, вбежала в дом и разбудила Рахиль Львовну.

Фитиль керосиновой лампы никак не загорался. Рахиль Львовна досадливо шептала:

— Что ты там копаешься, боже мой!

Наконец затеплился бледный огонек, и Клава вставила стекло.

Ребенок уже не пищал. Рахиль Львовна развернула его. Маленькое тело было в жару, от серых пеленок шел терпкий запах. К запястью был привязан белый лоскуток, на котором было написано печатными буквами «Юра».

Клава стояла с лампой и старалась, чтобы она не дрожала в руках. А Рахиль Львовна запричитала:

— Ой, беда, беда! Он же больной, умирающий. Кто его подбросил? Милицию! Скорей!

Милиции в поселке не было, и Клава побежала будить председательшу поселкового Совета Кузьмину.

Кузьмина пришла быстро, подтянутая, в дубленом полушубке. Она посмотрела на ребенка, и, отвернувшись, сказала:

— Проклятое это дело.

Потом они с Рахиль Львовной вспомнили, что несколько дней назад в лавку заходила незнакомая, в засаленном ватнике, молодуха. И решили, что она приходила на разведку, высматривая, где оставить ребенка, и что на фанерном заводе, в пятнадцати километрах от поселка, триста молодых женщин живут в бараке, и, наверное, это оттуда.

— В район его надо, в больницу. Неизвестно, что за болезнь, а тут как-никак — восемьдесят детей,— сказала Кузьмина.

2

До войны Клава жила в Ленинграде с братом Петей. В августе сорок первого года Клава эвакуировалась вместе со школой, а Петя вступил в ополчение.

Она на всю жизнь запомнила тот последний душный, пасмурный день в Ленинграде. Они собирались на вокзал и в последний момент вспомнили, что не вышили метки на Клавином рюкзаке. Петя вынул из рюкзака немного вещей, чтобы удобнее было вышивать, и тут началась воздушная тревога. Клава хотела выключить радио, чтобы не слышать воя сирены, но Петя сказал:

— Не надо, прослушаем отбой.

Он сидел на диване как-то боком и торопливо тыкал большой иглой в плотную материю рюкзака.

Клава тихо ходила по комнате, дотрагивалась до вещей и оконных стекол, заклеенных перекрещенными полосками бумаги, прислушивалась к частому беспокойному стуку метронома из черной воронки репродуктора.

А потом был перрон, люди, толпившиеся под накрапами дождя, их разговоры, слившиеся в тревожный глухой шум. У женщин были испуганные, заплаканные глаза. Дети стояли с мешками за спиной, и на всех мешках были вышиты начальные буквы имен и фамилий. Клава с Петей стояли в толпе и молчали.

Петя положил ладони на Клавины плечи и сжал так, что ей стало больно, поднял ее, поцеловал, бережно поставил на дощатый настил платформы и отвернулся.

А потом он шел по перрону у окна вагона, махал смятой в руке кепкой и улыбался одними губами. Он уже остриг волосы, и голова его казалась маленькой и посветлевшей.

Таким Клава и запомнила брата — улыбающимся, стриженным наголо, тоненьким и высоким.

Дорога на Урал была долгой. Их пересаживали из поезда в поезд, подолгу держали в тихих железнодорожных тупиках. Мальчишки набивали полные карманы круглых камешков, которыми были присыпаны шпалы. Камешки были черными от мазута, и лица и руки мальчишек тоже становились черными. Иногда поезд мчался без остановок, кончалась вода, и всем хотелось пить, и малыши хныкали.

Рахиль Львовна, полная, громогласная, протягивала вперед короткие, с перехватами, как от веревочек на чайной колбасе, руки и говорила:

— Дети, дети, нужно потерпеть. Нашим бойцам на фронте труднее. Рыжова, почитай маленьким.

И Клава читала «Мальчиша-Кибальчиша», «Снежную королеву», «Храброго портняжку»,— она до сих пор знает наизусть много сказок.

И первые месяцы войны соединились в ее памяти с пронзительным воем сирены воздушной тревоги, пестрыми обложками детских книг, вкусом тепловатой известковой воды, которую давали в дороге, и унылой бесконечностью мокрых лесистых равнин, проходивших за окнами вагона.

В поселке не было десятилетки, и Клава, окончив весной сорок третьего года седьмой класс, хотела поехать в районный центр. Но Рахиль Львовна, которая теперь была заведующей интернатом (так стал называться большой бревенчатый дом, где разместились эвакуированные из Ленинграда дети), сказала:

— Нечего от своих отрываться. Я сама буда заниматься с тобой. Оформим тебя техничкой, будет паек побольше, а то ты вон какая вымахала.

Так Клава стала работать в интернате. Таскала воду из колодца, колола дрова.

После первой Клавиной получки Рахиль Львовна с Клавой поехали в районный центр и купили там на базаре туфли.

Туфли были черные, грубоватой кустарной работы, но зато на венском каблучке. Когда Клава надевала их, то становилась выше и чувствовала, что вся делается какой-то легкой: стоит раскинуть руки, глубоко вздохнуть — и туфли сами понесут вперед.

Впрочем, ей еще ни разу не приходилось выходить в этих туфлях на улицу, она только примеряла их дома. Но сегодня Клава решила, что обязательно наденет туфли, если пойдет встречать брата.

Позавчера от него пришло письмо. Петя писал, что находится недалеко от Клавиного поселка, на одном из уральских заводов. На обратном пути на фронт эшелон, вероятно, ненадолго остановится на их маленькой станции. Сегодня Клава как раз должна была идти в районный центр, на станцию. Но Рахиль Львовна не разрешила, потому что ей одной трудно будет целый день с детьми и потом, как назло, заболела повариха Демидова. К тому же, до райцентра пять километров пешком по санной дороге и тринадцать в разболтанном вагончике узкоколейки, по которой вывозят лес.

Клава приуныла, поняв, что не увидится с братом, но ослушаться не смела.

О том, что с Петей может что-нибудь случиться, Клава не задумывалась. Она слышала, как, получив похоронную на мужа, захлебываясь, голосила женщина в поселке; слышала по радио скорбное и торжественное: «Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». Но все это воспринималось одним только сознанием, не задевая чувств. Смерть существовала где-то отдаленно и смутно, как дальние страны, о которых Клава читала в книге, но не могла отчетливо представить себе. А брат помнился такой живой и яркий до мельчайших подробностей, что уже жил независимо от настоящего Пети, неизменной жизнью воспоминаний. По молодости Клава еще не понимала, что на войне люди погибают гораздо легче, чем исчезают из памяти воспоминания о них.

И Клава думала о том, как они встретились бы с Петей, как он удивился бы тому, что она здорово выросла, похвалил бы ее новые туфли. И она сказала бы, что очень соскучилась, что ей уже хочется домой, в Ленинград.

3

Кроме Клавы, некому было везти ребенка в больницу. Рахиль Львовна сама потуже повязала ей платок и проводила с крыльца.

Клава шла по пустынной дороге.

Было тихо, только под валенками скрипел снег. Иногда бесшумно сваливался комок с еловых лап да что-то потрескивало в глубине леса. Дорога шла без петель и поворотов. Зимой ее накатывали напрямик — не мешали пески и болотины.

Клава старалась ступать в колею, оставшуюся от широкого полоза саней, потому что ноги увязали в неукатанном снегу. Идти было трудно. Засунутые под пальто туфли уперлись каблуками в ребра; ребенок, хоть и был легким, быстро оттянул руки. Клава плотно прижала его к себе, он согревал грудь и ладони, изредка покряхтывал и сопел.

Было одиноко и неприютно на пустынной дороге, и Клава разговаривала с ним:

— Вот если бы не ты, то меня бы не пустили.

Серым облачком промелькнула в ветвях белка, толь-

ко посыпалась снежная пыль. Клава остановилась, вглядываясь в запорошенную путаницу хвои, сказала, обращаясь к ребенку:

— Белочка побежала,— и зашагала дальше.

Ребенок слабо заплакал, и Клава пошла быстрее. Она часто не попадала ногами в колею и по щиколотку проваливалась в рыхлый снег. Стали мерзнуть ноги.

Багровое зимнее солнце не давало тепла, только окрашивало сосны в розовое и слепило глаза.

Между деревьев, теснившихся вдоль дороги, мелькнула рябина с кистями темных ягод. Клава подумала: «Сладкая, наверное, на обратном пути нарву».

Ребенок все плакал, тихо, жалобно, и Клава испугалась, что он умрет прямо здесь, на дороге, у нее на руках, и почти побежала, отрывисто дыша, не выбирая дороги, взметывая ногами сухой снег.

В насквозь промерзшем вагончике с некрашеными скамейками вдоль стен, с пушистой бахромой инея на маленьких окнах, сидел в углу бородатый старик, дородная женщина, укутанная большим платком, укладывала на скамейку завязанные в холстину круги замороженного молока.

Клава села подальше от старика и женщины, приоткрыла лицо ребенку. Оно было сморщенным, красным, из-под зажмуренных век вытекали мутные слезы. Он все плакал, сипло и негромко. Клава прижала его к себе и стала покачивать.

Паровозик прокуковал своим странным птичьим гудком, лязгнули железные сцепы, крякнули платформы, скрипнул вагончик, и состав двинулся.

Женщина распустила свой огромный платок, удовлетворенно вздохнула. На ее румяном лице, тронутом давней оспой, появилось выражение дремотного спокойствия.

Старик по-прежнему сидел тихо и смотрел в замерзшее окно, думая свои стариковские думы.

Вагончик сильно болтало, и слышно было, как скрипят его буксы.

Ребенок вдруг заплакал громче, будто голос его прорвался сквозь какую-то преграду. Клава стала качать его быстрей и вполголоса уговаривать:

— Ну потерпи, Юрочка. Мы скоро приедем. В больнице тебя будут лечить, дадут сладкой манной каши, ты поправишься, и скоро кончится война, станет тепло,

и будет всего много,— говорила Клава и качала, качала.

Но ребенок не унимался.

Женщина открыла глаза, недовольно посмотрела на Клаву и отвернулась.

Старик зашевелился, медленно встал и, придерживаясь за стенку, прошел к Клаве, сел рядом и вытащил из кармана темный ржаной сухарь с прилипшими к нему табачинками.

— На-ко вот, дай ему пососать, авось угомонится. Сразу видать — мужик, лихо кричит,— сказал он и вздохнул.

— Спасибо. Он больной, поэтому и плачет. Вот везу в больницу,— как бы извиняясь, ответила Клава и взяла сухарь.

И тут прорвало женщину, до сих пор только укоризненно поглядывавшую на Клаву и старика:

— Сдурели вы, что ли? Младенцу — кислый сухарь! Господи, самих впору нянчить, а они детей нарожают, а потом маются.— Женщина сбросила платок, встала, решительным движением развязала холстину, в которой были круги молока, отломила от одного краешек. Потом достала ломоть свежего пшеничного хлеба, отщипнула кусочек желтого мякиша и вместе с молочной льдинкой положила в рот и разжевала.

— Есть тряпочка чистая? — спросила она, держа на ладони нажеванный с молоком хлеб.

— Нет, был платок носовой, но он уже...

— А-а, тоже мне, баба называется. Была б ты моя невестка, я бы тебе показала, как чистого платка не иметь.

Женщина достала свой аккуратно сложенный платок, завернула в его уголок нажеванный хлеб, придав ему форму соски, и поднесла ко рту ребенка. Он пошевелил губами, вобрал кончик этой соски в рот, поперхнулся и стал сосать, тихо вздрагивая.

— Не торопись, успеешь,— приговаривала женщина.— Он же у тебя в жару, сердешная. Простудила! Ох, беда с вами, молодыми.

Клава только кивала в ответ и думала: «Скорей бы тащился этот поезд».

Наконец вагончик скрипнул в последний раз, скрежетнул тормозами и остановился среди высоких штабелей бревен. Клава осторожно, чтобы не встряхнуть затихшего малыша, сошла на снег, усыпанный чешуйками сосновой коры и опилками.

— Так по дороге пойдешь, увидишь кирпичный дом, это и есть больница,— сказала ей женщина.

Солнце скрылось за тяжелыми тучами, и районный центр показался Клаве глухим и хмурым. Такие же, как в поселке, где она жила, темные, рубленные в лапу дома выстроились в несколько порядков. Дымили черные низкие трубы. Темнели тропинки к срубам колодцев, и сугробы подпирали изгороди.

Больница выделялась издали двухэтажной высотой, белыми кирпичными стенами. Клава повеселела. Сейчас она сдаст ребенка в больницу и — на станцию. А вдруг эшелон уже прошел?

Она представила себе, как Петя торопливо ходит по платформе, разыскивая ее, оглядывается на свой эшелон,— высокий, тоненький, стриженный под машинку,— и ускорила шаги.

В очень белой, высокой и теплой комнате докторша осмотрела ребенка.

— Воспаление легких. Придется положить вас в больницу,— сказала она Клаве.

— И меня? Я же здорова.

— Ну а как он без вас? Кормить-то его нужно.— Докторша недоуменно посмотрела на Клаву.

И ей пришлось объяснить, в чем дело.

— Ну что ж, идите к сестре, она запишет.

— Так все?

— В коридор направо,— уже не слушая, сказала докторша.

Медсестра, чуть постарше Клавы, неохотно оторвалась от книги и, не глядя на Клаву, спросила:

— Фамилия больного?

— Не знаю.

— Что-о?!

— Рыжов, Рыжов Юра,— поспешно ответила Клава.

— Метрики.

— Что? А, нет, нету...

4

Когда Клава подходила к станции, повалил густой снег. Потеплело. Она вошла в тесный бревенчатый зал ожидания, стащила с ног промерзшие валенки, сунула их под лавку и надела туфли.

На перроне было много женщин. Некоторые держали узелки с провизией. Клава пожалела, что ничего не взяла для Пети. «А вчера на ужин давали такой вкусный коржик, нужно было оставить»,— подумала она.

Женщины стояли ссутулясь и все смотрели вдоль рельсов,— не покажется ли из-за черной кромки леса паровозный дымок. Кто-то сказал:

— Идет.

И все зашевелились. Маленький перрон наполнился тихим ропотом:

— С запада.

— Санитарный.

— О господи! Может, встретим, Фросенька,— сказала старуха молодой женщине, стоявшей рядом с Клавой. И та шагнула вперед, ближе к путям. За ней, крестясь, двинулась старуха и колыхнулась нестройная кучка женщин.

Окутанный белым облаком, из-за сосен показался паровоз и протяжно прогудел.

Подчиняясь общему порыву, Клава тоже шагнула к поезду, но остановилась позади всех.

Зашипел воздух в тормозах, и зеленые, с большими красными крестами вагоны остановились. В окнах виднелись небритые лица. Кто-то уже выходил на перрон. Толпа женщин поредела, разошлась вдоль вагонов.

Молодая женщина, которую старуха называла Фросей, вскрикнула и бросилась к высокому солдату, которому товарищ помогал сойти со ступенек вагона.

Небритый высокий солдат казался странно худым. Он стоял у вагона с виноватой смутной улыбкой. Товарищ, помогший ему сойти, поставил рядом зеленый солдатский мешок и отошел.

Что-то екнуло у Клавы в груди. Она вдруг поняла, почему солдат выглядит таким худым и высоким. У него не было рук, а рукава новой, еще не обмявшейся шинели были засунуты за пояс.

А женщина уже обнимала солдата, билась головой об его грудь и сквозь плач говорила:

— Феденька, родной мой! Жив, живой. Я уж не чаяла...

Старуха стояла поодаль, мелко крестилась и тихо бубнила:

— Господи, горе-то, горе какое.— Слезы текли по ее морщинистым темным щекам.

Суетились женщины, плакали, причитали на разные голоса. Снег падал на лица.

Клава стояла в стороне и смотрела на безрукого солдата, на его жену, на старуху.

Ушел санитарный поезд, дальше на восток...

Женщина увела своего мужа.

Клаве было видно, как шли они по дороге от станции. Женщина одной рукой неловко обнимала мужа, а другой несла солдатский мешок. А позади, крестясь, ковыляла старуха.

Заснеженный перрон опустел, только несколько женщин в фуфайках и ватных штанах стояли тесным кружком и разговаривали в ожидании рабочего поезда. По вторым путям прошел товарный: платформы, груженные лесом, цистерны с нефтью, контейнеры.

Клава подумала о Пете: «А вдруг его так же, как этого солдата?» Представила себе брата — стройного, подвижного, машущего рукой. «Нет, нет, с Петей ничего не может быть».

На станции зажгли фонари. Пришел и ушел рабочий поезд. Клава осталась одна на перроне. Ноги в туфлях совсем замерзли, но она не пошла в зал, боясь пропустить эшелон. Расхаживая вдоль перрона, она стала вспоминать, как они с Петей жили в Ленинграде. Она любила эти воспоминания. И чем больше отдалялась от них во времени, тем интереснее они становились, обрастая подробностями, рожденными воображением. Но сейчас ничего не вспоминалось. Захотелсся есть. Клава достала сухарь, который ей дал старик в вагоне узкоколейки, и стала грызть его.

Эшелон вынырнул из-за зубчатой полосы леса, замедляя ход, загромыхал на стрелках. Стоящие на платформах танки медленно проплывали над головой и в сумерках казались совсем черными. Клава побежала вдоль перрона. Ей казалось, что состав не остановится, а так вот, медленно проедет станцию, и от волнения она не заметила, что платформы уже остановились.

Из раскрытых дверей теплушки валил пар. Кто-то коренастый, в черном полушубке, спрыгнул на перрон. Клава хотела пробежать мимо этого человека, но он заступил ей дорогу, и она с ходу ткнулась лицом ему в грудь, услышала смешанный запах влажной овчины и махорочного дыма, отстранилась и увидела, что это — Петя.

— Кланя, сестренка ты моя! Ну, ну, как ты тут? —

Лицо Пети было тревожным, улыбались одни только губы. На Клаву пахну́ло водочным перегаром. А Петя сыпал вопросами:— Не голодно здесь? Хлеба хватает?

— Да, да, хватает. Я работаю, учусь...

Паровоз загудел, выметнув столбик пара, и тронулся с громким стуком. Петя обнял Клаву, поцеловал, больно уколов ей лицо небритой щекой, сунул в руки небольшой пакетик и впрыгнул в теплушку.

— Пиши, Кланя!

За клубами дыма и пара уже не было видно Петиного лица. Клава побежала рядом с теплушкой, но состав быстро набрал ход, и она отстала, остановилась, еще улыбаясь. Потом посерьезнела, вспомнила Петино лицо, небритое, осунувшееся, с угрюмыми глазами. Она находила в нем все новые черты. Это был все тот же Петя и какой-то не тот: хриплый голос, запах овчины, жесткие складки вокруг рта, водочный перегар.

Клава в задумчивости прошла в зал ожидания, сняла туфли, достала свои валенки, надела их и побрела прочь со станции. И чем дальше отходила она от огней перрона в темноту, тем тревожнее становилось на сердце. Она вспомнила, что Петя так и не заметил ее новых туфель, и тут только спохватилась, что оставила их на станции в зале ожидания, но это не огорчило ее, показалось совсем не важным. Важным было что-то другое, огромное и пронзительное, что она увидела и начала понимать сегодня. От этого хотелось плакать. И Клава заплакала, по-бабьи, горько, навзрыд.

Она шла, оступалась с тропинок в рыхлый снег и не замечала этого. У больницы остановилась, вытерла слезы и вошла́ в теплый коридор. Только здесь она почувствовала, что закоченела. Усталым голосом спросила у медсестры:

— Тут мальчик больной. Как он?

— Фамилия?

— Юра, Юра Рыжов.

Сестра быстро пролистала тетрадь, подняла глаза:

— Умер, три часа назад.

— Умер? — медленно, недоуменно переспросила Клава.

— Вы мать?

— Нет. Спасибо,— задумчиво сказала Клава и вышла.

Она ехала одна в вагоне узкоколейки, шла по дороге под холодными крупными звездами, проваливалась в

снег, заслонялась от ветра ладонью, бездумно миновала рябину, доверчиво протянувшую свои кисти к самой дороге.

Ветер сек лицо, выжимая слезу, от мороза склеивались веки, кололо в ноздрях. Валенки увязали в снегу.

Клава не щурила глаз, плотно сжимала обветрившиеся губы и упрямо переставляла гудящие от усталости, закоченевшие ноги.

Впереди, сквозь снеговую пыль и хвою, уже зажелтели огни поселка.

И была тишина, словно нет в мире никакой войны.

РОДСТВЕННИК

В этом городке Столбов работал недавно, но уже привык к его тишине, чистым булыжным мостовым, неторопливости прохожих, старинному парку с прудами, берега которых были облицованы серым финским гранитом.

После ленинградского шума и сутолоки казалось, что время идет здесь медленнее и умней, оставляя человеку возможность подумать не только о повседневных делах, но и о вещах более общих, оглянуться на прожитое, оценить его.

Столбов получил сюда назначение старшим оперуполномоченным и уже привык к своему кабинету во втором этаже старого особняка.

Убогий казенный стол и два жестких кресла так не подходили к роскошной лепке стен и высокого потолка, что в первые дни все это раздражало Столбова, но теперь он перестал замечать это и было даже приятно сидеть в светлой комнате и через широкое окно смотреть, как, урча на подъеме, ползет по улице желтый хлебный фургон, бегают дети во дворе детского сада и солнце высвечивает грани серого обелиска, поставленного на перекрестке в память солдат, погибших здесь во время войны; было приятно чувствовать запах липового цвета из парка и заниматься обыденными делами, иногда отвлекаясь мыслями о своих личных заботах и прошлом.

Война помешала Столбову окончить институт.

Работа в ленинградском уголовном розыске, куда его

направили после демобилизации, была напряженной, и в первые годы он даже не чувствовал одиночества, хотя потерял в войну всех родных. С годами он привык к этому одиночеству, а потом пришло увлечение автомобилем, и это помогало, скрашивало жизнь, снимало усталость от работы...

Поздними безветренными летними вечерами, когда вот-вот забрезжит неяркий рассвет северной белой ночи, Столбов выводил из дощатого сарая свой «Москвич», куском замши протирал стекла и уже тускнеющие от времени бока и медленно, чтобы не потревожить покой отдыхающих улиц с чисто промытыми влажными мостовыми, выезжал со двора.

Его встречал наполненный сизым воздухом простор набережных, сомкнутые ряды домов в призрачном оловянном тумане, размытые красные огни на стрелах огромных кранов судоверфи, неясная громада Исаакия с бледным от тумана золотом купола... потом тишина Университетской набережной, сосредоточенность Ростральных колонн, стерегущих сон Петропавловской крепости, сквозная прямизна Кировского и Приморского проспектов, выводящих автомобиль на зеленое шоссе.

Здесь Столбов увеличивал скорость, и к шуму мотора пристраивались свист ветра, обтекающего машину, и шелест резины по асфальту.

И тогда проходила усталость, забывались дневные огорчения и, разворачиваясь на развилке, он чувствовал себя освеженным и спокойным.

В тот день Столбов перелистывал взятую из архива толстую папку следственного дела. Накануне пришло сообщение о том, что из мест заключения бежал Борис Гриднев, уроженец этого городка, дважды судимый за кражи, и Столбов решил посмотреть дело, чтобы выяснить связи Гриднева в городе. Он читал до вечера, рассматривал фотографии, сделанные на воле и в тюрьме. На тюремных — фас и профиль — Гриднев был угрюм, наголо острижен, глаза ничего не выражали. На домашних был чуть скуластый парень, с пышной шевелюрой и нагловатой усмешкой.

Чтением дела Столбов остался недоволен,— оно почти не давало сведений, и он понял, что если Гриднев появится в городе, то задержать его будет нелегко.

Вечером Столбов сидел во дворе дома, курил, и никак

не мог отделаться от чувства озабоченности. На огонек папиросы из дому вышел сосед, пенсионер-учитель, невысокий сухой старичок, с чересчур прямой спиной и слабыми, шаркающими ногами. Он сел рядом и с торопливостью человека, изголодавшегося по собеседнику, начал разговор.

Учитель интересовался политикой и литературой и, конечно, медициной, рассказывал о ее последних достижениях с увлечением, в котором чувствовалась немного наивная надежда старого человека на то, что здоровье еще можно вернуть.

Столбов слушал его размеренную речь, с легким учительским нажимом на окончаниях слов, а сам не мог избавиться от своей, пока еще беспредметной, озабоченности.

Когда стало прохладнее, они перешли в комнату учителя, сели за шахматы и пили густой ароматный чай, который учитель заваривал каким-то особым способом.

Следующий день выдался хлопотливым. Позвонили и сообщили, что в промтоварном магазине ночью побывали воры.

Столбов со следователем поехали туда.

Вместе с директором магазина — бледным полным человеком, часто утиравшим лицо и бритую голову большим платком, они прошли мимо двух растерянных девушек-продавщиц и напуганного старика сторожа, стоявших на крыльце. Столбов заметил, как продавщицы с любопытством осмотрели его и следователя. За двадцать лет работы ему приходилось бессчетное число раз выезжать на места происшествий, и везде он чувствовал на себе эти любопытные и, как казалось, ироничеcкие взгляды. И он так и не мог привыкнуть к ним и всегда испытывал досаду, когда наталкивался на такой взгляд.

«Как на фокусника в цирке смотрят»,— думал он.

Магазин помещался в старом щитовом доме барачного типа, разделенном продольной перегородкой на торговый зал с широкими окнами, на ночь закрытыми ставнями, и кладовую, в которой было одно зарешеченное оконце. В магазине сильно пахло туалетным мылом, прожированной кожей охотничьих сапог, клеем, нафталином,— так, как обычно пахнет в небольших сельских магазинах, торгующих всеми товарами — от кова-

ных строительных костылей до изящного женского белья.

Электрические лампы, казалось, еле светили.

Столбов поморщился от запахов и сказал следователю:

— Афанасий Иванович, откроем ставни, а то ни черта не видно.

Следователь, спокойный немногословный человек, с рябинками на широком лице, кивнул головой.

Когда открыли ставни, Столбов увидел, что почти посередине магазина в полу вздыбились две широкие половицы. Сорванные с гвоздей, которыми были приколочены в лаге, они упруго выгнулись вверх оттого, что снизу были подняты какой-то мощной подпоркой.

Столбов наклонился, заглянул в широкую щель под вздыбленными половицами, потрогал торчащие в них ржавые гвозди, выпрямился и сказал директору:

— Ну, тут следователь займется, а мы с вами поговорим. У вас есть какое-нибудь помещение?

От кладовой фанерной перегородкой был отделен закуток, в котором стоял колченогий стол с телефоном и счетами и два жестких стула.

Здесь Столбов просидел полдня, опрашивая сторожа и продавщиц, и не выяснил ничего такого, что могло бы помочь следствию.

Сторож, дежуривший ночью, никаких подозрительных звуков не слышал, никого поблизости не заметил, да и вряд ли смог бы, потому что плохо видел и был глуховат.

Директор и продавщицы тоже не могли сообщить ничего существенного. По предварительному подсчету, из магазина было украдено два мужских костюма, пара мужских туфель, китайский габардиновый плащ, два фотоаппарата «Киев», столько же «Зорких», несколько наручных часов разных марок и еще всякая мелочь, пропажа которой почему-то насторожила Столбова.

Двадцатилетний опыт научил его быть внимательным к мелочам. Он уже давно знал, что для раскрытия преступления важны не те детали, которые одинаковы в большинстве краж, а именно мелочи, которые отличают одно преступление от другого и помогают следствию определить характер и облик преступника.

Столбов попросил директора тут же уточнить, что украдено из мелкой галантереи.

После обеда, вернувшись в свой кабинет, он еще раз

прочел протокол осмотра места происшествия, принесенный следователем.

— Ловко он домкратом поработал,— сказал Афанасий Иванович.

— Обычное дело. Здание без фундамента, черный пол на метр над землей. Оторвал обшивку завалины — и там. Инструмент весь автомобильный — вот что странно. Монтажка, домкрат. Ботинки эти в кустах, может быть, и не его,— хмуро сказал Столбов.

— У нас в городе я народ знаю. Пожалуй, никто не выбросит еще приличную рабочую обувь. И домов вокруг нет жилых. Чего свои ботинки в кусты бросать? И марка «Североход». В магазине таких никогда не было.

— Да, с этого не раскрутишься. И вещи брал странные. Брючный ремень, шарф... — водил Столбов пальцем по списку.— Темнота сплошная.

— Я обедать ходил, так уборщицу со станции встретил. Говорит, что вчера вроде бы Гриднева видела. На поезд в Ленинград садился. Но твердо сказать не может: то ли он, то ли не он. Да и верить ли ей — старая больно. Услыхала, что магазин обокрали, вот Гриднев и привиделся, хотя старухи — народ любопытный. Они всегда всех прохожих насквозь просматривают.

— Возможно, что он,— задумчиво проговорил Столбов.

Он вернулся домой засветло, но чувствовал утомление. Мысли были заняты кражей в магазине, зарождалось подозрение, что ее совершил Гриднев.

В комнате было душно и сумрачно от веток, заслонявших окно.

Столбов посидел немного не зажигая света, но мысли о работе не уходили, а только становились путаными и отрывочными, и он, чтобы отвлечься, решил повозиться с машиной, в которой уже давно собирался кое-что подтянуть и закрепить, но все не находил времени.

За домом, на лужайке с короткой, жесткой после покоса травой, он поднял машину на деревянные чурбаки, расстелил старую плащ-палатку.

В позвякивании ключа о гайки, в смешанном запахе травы, смазки и бензина, во всей этой простой работе было что-то успокаивающее. И, собирая инструмент, Столбов насвистывал, но, когда нес к багажнику один из чурбаков, споткнулся и уронил его себе на ногу. Застонав от боли, он сел на траву.

Когда Столбов, хромая, входил во двор, учитель сидел под деревьями.

— Что это вы захромали?

— Ушиб по-дурацки как-то.

— Сильно?

— Черт его знает, больно во всяком случае.

— Надо хирургу показать.

— Да ну, еще хирургу.

— А вы не отмахивайтесь, там трещина в кости может быть. Хотите чаю?

— Да не откажусь.

Они прошли в дом. Учитель включил чайник.

— Может, разыграем партию? — спросил он.

— Давайте,— согласился Столбов. Он поудобнее вытянул ногу, и она почти не болела.

Молча двигали фигуры. Прихлебывали чай.

Учитель спросил:

— Читали сегодня в «Комсомольской правде», возмутительнейший случай?

— Нет. Что там такое? — спросил Столбов, глядя на доску.

— Понимаете ли, кончили медицинский молодые люди — парни, девушки, человек шесть всего,— и отказались ехать по распределению. Им пригрозили, что дипломов не дадут. А они говорят: ну и не надо, лишь бы в Москве остаться.— Учитель смолк, сделал очередной ход пешкой.

— Безобразие, конечно, но таких ведь немного,— сказал Столбов и сделал ответный ход конем.

— Еще бы. Но вот что страшно, что такие при определенных условиях сами станут преподавателями. Чему они научат?

Столбов вдруг спросил:

— Вы ведь во второй школе работали, не помните такого Гриднева Бориса?

— Гриднева?.. Ну как же, помню конечно. Я в этом классе математику вел. Да, с сорок седьмого по пятидесятый.— Учитель закурил.

— Расскажите о нем,— попросил Столбов.

— Что это, опять ваше ведомство интересуется? Он ведь, по-моему, сейчас в местах, как говорят, не столь отдаленных.

— Нужно кое-что узнать, Семен Ильич. Ваш ход.

— Пожалуйста, так вот слоника поставим. А исто-

рия-то, в общем, тривиальная. Вы в своей практике, вероятно, встречались с изрядным количеством таковых. У нас, в некотором роде, смежные профессии. Наш брак, к сожалению, попадает к вам. Ходите.

Столбов, почти не думая, передвинул фигуру на доске. Учитель, зажигая погасшую папиросу, несколько раз кашлянул и продолжал:

— Да-с, Гриднев Боря... Юноша как юноша, способный, увлекающийся, немного вундеркинд, но это прошло бы. Сейчас ему лет тридцать, вероятно.— Учитель сделал ход.— Да-с, так вот, семья была неблагополучная: отец попивал, погуливал, к тому же мать неумная бабенка, эдакая барынька истеричная. Э, вы так проиграете! Шах!

— Да-а, тут надо подумать А вы рассказывайте, пожалуйста.

— Ну, естественно, что прибежищем стала улица. Учился неважно. В девятом классе подружился с одноклассницей Зиной Капустиной — чудной девчушкой. Возмущались там разные родительские тройки. Вызывали ее, срамили, но разъединить не смогли. А он от этого озлобился, учеба совсем расстроилась, ну и бросил школу. Работал где-то в Ленинграде. С отцовского благословения, видимо, тоже стал попивать. А летом пятидесятого обокрали квартиру здесь. Поймали его с дружками ленинградскими, судили. Да вы это-то знаете. А Зина через несколько месяцев родила мальчишку. Работала здесь, в собесе, счетоводом. Борис после амнистии приехал. Я как-то тогда разговорился с ним на улице. Хорошие были у него стремления. Да вот не вышло.— Учитель прихлебнул остывший чай и потянулся за папиросой.

Помолчали.

Было слышно, как за окнами барахтается ветер в тополиных ветвях. Донесся резкий сигнал электровоза со станции, и где-то поблизости в ответ прокричал ошалевший сонный петух. Потом все стихло, и со двора послышался сдержанный женский смех.

— Ну, а дальше? — тихо спросил Столбов.

— Дальше? Его не прописали у нас: режимная зона какая-то. Нужно выезжать на сто первый километр от Ленинграда. Пожил он месяц-полтора здесь. Скрывался от милиции, как заяц. Потом — опять кража, грабеж, суд, и вот — до сих пор там. Мать у него умерла недавно. А Зина окончила педтехникум. Сейчас детским садом

заведует. Парнишка уже большой — в шестом, кажется, классе.

Столбов быстро и бездумно проиграл партию, но не огорчился этому. Морщась от боли в ушибленной ноге, он прошел к себе, разделся и лег. Но долго не мог уснуть.

Рассказанное учителем разбередило какие-то чувства, которые он всегда старался подавить, как только они приходили. А сейчас не было удержу этой непрошеной тоске по семье, по простому теплу. Столбов понимал, что это бесполезная, слишком поздняя тоска, что он заматерел в своем одиночестве и теперь уже ему не изменить ничего. И эти мысли вдруг обернулись какой-то досадой на Гриднева.

Неожиданность того, что этот человек имеет семью, что семья эта началась с юношеской искренней любви, настроила Столбова на сочувствие, будто Гриднев стал для него близким человеком. И в то же время Столбов думал, что этот парень доставит ему много хлопот.

Он знал, что трудно разыскать человека, не имеющего постоянного места жительства, и представлял себе, как всякий раз Гриднев берет билет на ночной поезд, идущий в Новгород или Псков, и спокойно спит, убаюканный движением и сознанием собственной безопасности, уверенный, что никто не будет искать его в едущем поезде. А для какой-нибудь случайной проверки документов у него есть чужой заводской пропуск с переклеенной фотографией — подарок какого-нибудь знакомого карманника. Наутро Гриднев возвращается в Ленинград, завтракает в кафе, ходит в кино, замышляет новые преступления. А может, он познакомился уже с какой-нибудь женщиной и живет у нее, никуда не выезжая из Ленинграда... Кража в магазине дала ему и хорошую одежду, и деньги. А может, он прячется у жены? Нужно будет установить наблюдение за ее квартирой. Хотя вряд ли он станет там жить. Понимает, что это опасно, да и не стал бы он тогда воровать здесь, хотя здесь ему легче. Здесь он вырос и знает каждую дыру, а Ленинград все-таки чужой город, где много больше реальных и воображаемых опасностей. Но к Капустиной он должен прийти хоть на минутку, поговорить, взглянуть на сына. Может, вызвать Капустину, потолковать? Нет, только спугну. И вообще, может быть, нет никакого Гриднева. Взяли его еще где-нибудь в Вологде или Котласе. Там оперработа хорошо поставлена. А я здесь выдумываю — стар стал

и глуп. Посмотрим... Запрос в Ленинград пошлю: может, где-нибудь в скупке всплывут фотоаппараты.

Спал Столбов беспокойно, всю ночь ворочался и встал с головной болью. Ушибленная нога распухла, и он чуть не вскрикнул, когда ступил на нее. «Только этого сейчас не хватало»,— подумал он, выводя машину из ворот и морщась от боли.

На работе Столбова ожидало сообщение из районного ГАИ о том, что в ночь кражи была угнана автомашина ЗИЛ-150.

Машина была обнаружена на соседней с магазином улице.

Столбов вызвал шофера, предъявил ему домкрат и монтажную лопатку, найденные в магазине. Шофер подтвердил, что этот инструмент — с его машины.

Потом Столбов провел совещание сотрудников, сообщил о ходе оперативной разработки дела, о своем подозрении, что кражу совершил Гриднев. Он распорядился взять под наблюдение железнодорожную и автобусную станции и квартиру Капустиной.

За всеми этими делами незаметно подошло обеденное время. Столбов пошел в столовую на соседней улице.

Был ясный ветреный день, вдоль домов летел тополиный пух. Он оседал на мостовых и тротуарах, застревал на ресницах, в затишье лежал большими свалявшимися комками старой ваты.

Столбов шел медленно, осторожно ставил ушибленную ногу, но не помогало — боль пронзала всю стопу, и это раздражало и злило.

Эту столовую Столбов не любил за духоту тесного зала, пропитанного запахом пережаренного постного масла, за многолюдность в обеденное время. Он с трудом отыскал себе место, сел и вытянул ноющую ногу.

В проходе между столами, мелькая голыми толстыми икрами, ходила официантка; сзади, в вырезе ее блузы, была видна пористая, лоснящаяся от пота кожа спины.

«Вот разнесло. Молодая ведь баба. Наверное, не сдерживается, жрет здесь, как лошадь»,— подумал Столбов с неприязнью.

Еда была невкусной и пресной.

Возвращаясь, он намеренно твердо ставил ногу и старался не хромать, надеясь таким способом побороть боль, но это только усиливало ее. У невысокой штакетной ограды Столбов остановился, чтобы перевести дух.

За оградой на травянистой площадке бегали дети. Под грибом-мухомором сидела воспитательница.

«Хоть бы посмотреть на эту Капустину,— подумал Столбов.— Подожду, может, покажется». Он закурил и стал наблюдать за детьми. Воспитательница сразу обратила на него внимание. С минуту он стоял под ее откровенно любопытным взглядом, потом двинулся к калитке. Медленно, скрывая хромоту, он направился к воспитательнице, опасливо обходя детей, боясь, что они наступят ему на ногу.

Из дома вышла женщина, сказала воспитательнице:

— Евгения Николаевна, ведите руки мыть, до обеда десять минут осталось.

Столбов подошел. Женщина вопросительно посмотрела на него.

— Здравствуйте. Вы заведующая?

— Да. Здравствуйте. Вы чей папа?

— Я ничей папа. Мне нужно поговорить с вами по другому делу, если есть время.

В светлых глазах Капустиной мелькнуло недоумение.

— Пожалуйста.— Она внимательно посмотрела на Столбова.

— Если можно, то не здесь,— сказал Столбов и, увидев, что любопытная воспитательница отошла, добавил: — Я из милиции, нужно выяснить у вас несколько вопросов.

— Пойдемте в дом.

Капустина пошла впереди. Она быстро поднималась по лестнице, ступая только на носки, так что высокие каблуки ее белых туфель не касались деревянных ступеней. Столбов с трудом поспевал за ней.

В маленькой подсобной комнате было много поломанной детской мебели, в углу кучей свалены игрушки — отслужившие свой век растерзанные зайцы, облысевшие куклы, битые автомобили.

Капустина пригласила сесть на один из стульев у письменного стола, сама села напротив.

Столбову понравилось ее овальное чистое лицо. лишь на переносице тронутое мелкими веснушками, спокойные светлые глаза и коса, собранная большим узлом на затылке.

— Простите, не знаю вашего отчества,— сказал Столбов.

— Зинаида Ивановна.

— Столбов Петр Васильевич.

Капустина молча кивнула. Столбов почувствовал смущение и торопливо заговорил:

— Вы в детстве дружили с Гридневым Борисом?

Лицо Капустиной напряглось и чуть побледнело. Столбов мысленно обругал себя: «Не так надо было начать».

— Не только в детстве. Борис — мой муж.— Капустина твердо взглянула на Столбова.— С ним что-нибудь случилось?

От этой прямоты и твердости Столбов вдруг ощутил симпатию и доверие к ней и перестал чувствовать неловкость.

— С ним ничего не случилось, он жив и здоров, насколько мне известно. Неделю назад он бежал из колонии, появился здесь и уже совершил преступление.— Столбов внимательно смотрел ей в лицо, увидел слезы, навернувшиеся на глаза, и, отвернувшись, стал закуривать.

Капустина заговорила после короткого молчания. Голос был тверд, но Столбов так и не решился взглянуть на нее.

— Борис уже два месяца не писал мне. Я неделю назад послала телеграмму начальнику колонии с просьбой сообщить о здоровье Бориса, но ответа еще нет. В июле у меня отпуск, и я собиралась поехать к нему с сыном: он писал, что дают свидания тем, кто хорошо работает. А тут вдруг это... Как снег на голову... Я даже не знаю, что сказать сыну. У него такое трудное положение среди ребят. Я догадываюсь по вопросам об отце.— Тяжело вздохнув, Капустина умолкла.

Из коридора послышался топот ног, голоса.

— Он любит вас и сына? — тихо спросил Столбов.

— Не знаю; раньше думала, что любит, а теперь не знаю. Как он мог так, ни о ком не подумав... Ведь не так уж много ждать оставалось, теперь все сначала.— Слезы потекли по щекам, и от этого лицо ее стало детским и беспомощным.

— Ну, не сначала, но несколько лет отбытых пропало. Тяжело, конечно, но не безнадежно. Вот если он придет к вам,— а я думаю, что придет,— постарайтесь убедить его, что другого пути к свободе и нормальной жизни нет. Нужно вынести все это честно. А убедить его можете только вы. И не плачьте. Все еще можно наладить. Вы оба молоды, здоровы, а это главное. Я знал

людей, казалось совсем безнадежных, они все-таки находили себя. Вот мой телефон, позвоните, если понадобится.

Столбов шел по улице, осторожно ставя больную ногу, медленно поднимался по лестнице и все думал о Гридневе, о Капустиной.

Ловить надо быстрее этого кретина, а то наломает дров так, что обратного хода уже не будет... Ну идиот... Жена прекрасная — по лицу видно, что добрая и любит его, и сын есть... Вообще-то, черт их разберет, этих баб. Вот за что она его любит, что она, кроме слез, от него видела? А вот был бы хороший, работящий парень, так она от него хвостом бы вертела... Интересно, позвонит или нет, если что-нибудь узнает? Вроде бы понимает, что иного выхода нет, да и что тут понимать. Это нужно быть таким шалым идиотом, как ее Гриднев, чтобы думать, что весь мир — враги. Появился бы снова, поймаем. Дружинников заводских надо поднять, а то мало у меня людей.

Четыре дня прошло без происшествий. Но для Столбова почти не была неожиданностью новая, на этот раз квартирная, кража, совершенная в городке. Он сам даже не поехал осматривать место, да и был уверен, что сотрудники справятся с этим и без него.

Он поехал на завод, в штаб народной дружины. Долго и подробно объяснял начальнику штаба, в каких местах наиболее вероятно появление Гриднева, сообщил его приметы.

Вернувшись в кабинет, Столбов прочел протокол осмотра обворованной квартиры. На этот раз преступнику досталось немного облигаций трехпроцентного внутреннего займа, небольшая сумма денег и несколько мелких вещей относительной ценности.

«Тряпки не стал брать,— раздумывал Столбов над протоколом,— понимает, что с узлом по городу много не находишь. Но все равно на этот раз ему не уйти. Город закрыт наглухо».

Потом он долго сидел и ожидал каких-нибудь сообщений.

В отделе было тихо, только за стеной покашливал оперативный дежурный.

Ночью Столбов почти не спал. Мучили боли в ноге, приходили отрывочные путаные мысли. Он забывался

в короткой дремоте, и тогда снились ночные поля в сполохах осветительных ракет, разрывы мин. Он вздрагивал, поднимался на локте и курил в темноте. Он понимал, что переутомился, и от этого — бредовые сны и чувство тревоги... Наутро он поднялся с постели с тяжелой головой.

Тишина в отделе действовала угнетающе. Сейчас Столбов не был уверен так, как вчера, в том, что и эту кражу совершил Гриднев, тем более что прямых доказательств не было.

«Может, зря я людей томлю. Если бы он, то уж давно где-нибудь бы засекли. После дела он постарался бы сразу смыться из города. А может, и уехал. Здесь такси ленинградские часто бывают. А может, он давно где-нибудь в Крыму на солнышке загорает, и квартиру распотрошил кто-то другой?»

Из задумчивости Столбова вывел телефонный звонок. Он снял трубку и узнал голос Капустиной:

— Это товарищ Столбов?

— Да, да, слушаю вас, Зинаида Ивановна.

— Мне нужно с вами поговорить, у вас есть свободное время? — Голос ее дрожал, и Столбову показалось, что она плачет.

— Пожалуйста, приходите хоть сейчас. Я буду ждать вас,— сказал и почувствовал, что волнение Капустиной передается ему.

В окно он видел, как она пересекла двор детского сада, опустив голову, перешла улицу, и зыбкая косая тень двигалась с нею рядом.

— Войдите,— ответил он на стук в дверь и встал, придвигая Капустиной стул. Она села, поблагодарила его кивком головы. Столбов заметил, что у нее усталое лицо, покрасневшие глаза, и больше не смотрел в ее сторону.

— Видела его вчера. Ждал меня по дороге домой,— медленно, с усилием проговорила Капустина. Столбов промолчал. Она достала платок и сжала его в руке.

Столбов тихо спросил:

— Ну, как он?

— Страшно. Одна злоба.— Она заплакала.— Я ему все сказала, что мне и себе жизнь искалечил, что мальчишку бы хоть пожалел. А он... он мне деньги давал,— она громко всхлипнула,— присылать обещал. На что мне его краденые деньги... Всю ночь в парке сидели. Просила, умоляла его: «Пойди повинись, пока можно.

Столько ждала, еще подожду, хоть жить будем как люди. Сын же у нас, большой парень. Ему отец нужен». А он: «Я лучше подохну, чем обратно в колонию по своей воле пойду». Я говорю: «Поймают. Тогда хуже будет». А он: «Пусть хуже, а сам не пойду. Хоть день на свободе, да мой будет». Арестуйте его быстрей, пожалуйста. Сам он не одумается.— Капустина закрыла руками лицо, и плечи ее задрожали.

Столбов налил стакан воды и поднес ей:

— Выпейте, Зинаида Ивановна. Успокойтесь. Все это тяжело, конечно, но он жив и здоров, и значит, еще не конец. Будем бороться за него, с ним самим бороться. Мы его обязательно задержим, а уж потом многое зависит от вас. Нужно будет поддерживать его, и может быть, долгие годы. Нужно сделать так, чтобы он поверил, что для него возможна человеческая жизнь, что его ждут здесь... Это очень важно. И спасибо вам большое за то, что пришли. Вы нам очень помогли. Только у меня один вопрос: вы когда расстались с ним?

— Утром. Я домой уже на автобусе поехала.

— Он не сказал, что будет делать дальше?

— Письмо обещал прислать.

Столбов проводил Капустину по коридору, услышал телефонный звонок и быстро вернулся в кабинет.

Ну, конечно, звонил начальник управления, вызывал к себе.

— Нельзя ли попозже, у меня очень срочное дело? — спросил Столбов.

— Жду сейчас, тут и парторг.

Столбов чертыхнулся в сторону и сказал в трубку:

— Хорошо, иду.

Полчаса, проведенные у начальника, показались Столбову бесконечно долгими, и он гнал машину, чтобы поскорее доехать до станции.

«Неужели успел? Сейчас поставлю человека на шоссе, пусть все машины проверяет. Какие полчаса потерял!»

Столбов резко затормозил у перекрестка, пропуская поворачивающий с поперечной улицы огромный МАЗ с прицепом.

«Заслушаем ваше сообщение на бюро»,— с досадой вспомнил он разговор с начальником.

Разговор был неприятный, парторг намекнул, что Столбов может дослужиться до выговора, если не задержит преступника, обворовавшего магазин.

МАЗ прошел, дохнув на Столбова кислой копотью отработанного соляра. Он рывком тронул машину с места.

«Выговор объявить легче, чем задержать человека без определенного места жительства. Не хватало еще, чтобы в этой дыре мне документы испортили»,— хмуро подумал Столбов, выезжая на привокзальную площадь.

Поставив машину вплотную к тротуару, он хлопнул дверцей и направился к зданию вокзала. Путь ему пересек высокий худощавый парень в светлом костюме:

— Слушай, друг, подбрось недалеко. Я тебе заплачу. Очень нужно, понимаешь.

Бросив на парня невнимательный взгляд, Столбов хотел пройти мимо, но что-то — то ли просительная улыбка, то ли откровенное отчаяние в светлых, сухо блестящих глазах — заставило его остановиться. Он пристальнее всмотрелся в лицо парня, ощутил вдруг бешеный ритм собственного сердца и бредовую нереальность всего происходящего.

Перед ним стоял Гриднев, живой, высокий, со смуглым скуластым лицом. Чтобы успокоиться, Столбов с силой стиснул челюсти, потом окинул взглядом привокзальную площадь, многолюдную, щедро освещенную солнцем, и равнодушно спросил:

— Куда тебе? — Мелькнула мысль: «Брать сейчас... Справлюсь, люди помогут».

— Мне недалеко, к милиции.

— Где это? Я ж не местный.

— В горку, туда, за парк.

— Сколько дашь?

— Да на полбанки, годится?

— Садись.

— Вот спасибо.

Столбов медленно объехал привокзальную площадь. Он уже чувствовал себя спокойным, голова была ясной.

— Чего это ты в милицию? — Он быстро взглянул на Гриднева, сидевшего рядом, и снова стал смотреть на дорогу.

— А-а, работаю там,— с усмешкой ответил Гриднев.

Столбов удивленно посмотрел на него.

— Да ты не бойся, я заплачу. Что ты думаешь, в уголовном розыске одни шакалы работают? — сказал Гриднев.

Столбов не ответил. Он искоса рассматривал Гриднева, заметил, что глаза у него усталые, воспаленные от бессонницы, воротничок рубашки грязен, а лицо только из-за своей смуглости кажется молодым и свежим, и еще молодит его короткий ежик темных волос. «Хорош сотрудничек. Скитаться-то не так легко»,— подумал Столбов, а вслух сказал:

— Плохая у вас работа, беспокойная, неприятная.

— Мне нравится. Интересно.

— А что интересного возиться там со всяким бросовым народом. Только грязи наберешь полную душу.

— Ну почему, бывает, что интересные люди попадаются. И не все уж такие бросовые,— тихо, словно в раздумье, сказал Гриднев.

Столбов достал папиросы, не глядя протянул пачку ему. Тот взял папиросу, дал прикурить Столбову, прикурил сам. Столбов повернул на ухабистую немощеную дорогу и сбавил скорость:

— Как только люди идут на эти дела. Ведь знают, что попадутся рано или поздно. Самоубийцы. Ведь честно жить легче. А так — ни родных, ни жены. Ну, а как вам платят-то, ничего?

Столбов покосился на Гриднева. Тот, откинувшись на спинку сиденья, спал. В углу рта свисала погасшая папироса, синие веки подрагивали, приоткрывая неподвижные зрачки, болезненная гримаса перекосила лицо. Дышал Гриднев по-детски, неслышно. Столбов отвернулся от него, стал смотреть на дорогу, объезжая выбоины. «Может, не брать сейчас? Никуда теперь он не денется»,— мелькнула у него мысль.

Машину тряхнуло. Испуганно всхрапнув, Гриднев вздрогнул и открыл глаза.

Столбов повернул на гладко мощенную улицу.

Гриднев сказал:

— Слушай, друг, останови здесь. Зайду, выпью стаканчик. Давай со мной, угощаю.

— Да нет, мне нельзя. Я лучше кофе выпью.— Он остановил машину у маленького деревянного кафе.

Гриднев сел лицом к одному из окон, чуть отодвинув сборчатую занавеску, чтобы видеть улицу.

«Молодец, осторожен»,— подумал Столбов.

В кафе было прохладно и пусто. Буфетчица лениво щелкала на счетах. Шипел кофейный автомат.

Гриднев и Столбов сидели друг против друга. Гриднев налил себе полный стакан темного вина, выпил его

залпом и сразу же наполнил снова. Столбов маленькими глотками прихлебывал кофе.

— Ну, а такие, что сами приходят и признаются, бывают? — спросил он.

— Сами?.. Бывает, что и сами,— медленно сказал Гриднев.— Но редко это. Кто сам приходит, тот уж себя засудил так, что ему никакой срок не страшен.— Гриднев сжал стакан так, что побелела кожа на косточках кулака.— Только страшно это. Трудно. Тому, кто посидел, ох как страшно туда возвращаться...

— Ну, а им послабление бывает какое-нибудь или так, как всех?

— Бывает, конечно.— Гриднев пристально взглянул на Столбова.— Что это ты заинтересовался? Если есть что, то рассказывай — могу грехи отпустить по знакомству.

— Да нет,— Столбов усмехнулся,— просто непонятно, как так люди могут. Я в войну в госпитале лежал, врачи говорили, что руку отнимут, а я думал: «Хоть без руки, но только бы жить». А тут люди здоровые, всё на месте, сами от жизни отворачиваются. Шутка ли, пятнадцать — двадцать лет в тюрьме просидеть. Я бы не смог так жить.

— Смог бы, в тюрьме только первые десять лет трудно, а потом привыкают.— Гриднев зло усмехнулся.

— Ну, это привычка повешенного: сначала подергается, а привыкнет и висит тихо.— Столбов решительно встал.— Ну, будь здоров, счастливо.

— Счастливо. На́ деньги, возил же.

— Спасибо.

Улица была пустынна, ветер гнал по мостовой пыль и тополиный пух.

Столбов спиной чувствовал взгляд Гриднева из окна. Он похлопал по карманам, делая вид, что разыскивает ключи.

«Странный он какой-то... Не трогать бы его день-два. Может, зашевелились мозги... Куда он теперь денется,— город закрыт. Привязать бы к нему человека, пусть понаблюдает... Впереди магазин, позвоню оттуда.— Столбов сел в машину и медленно поехал вдоль улицы.— А выговор все-таки схватишь. Черт, до пенсии-то ерунда осталась... Хоть бы этот идиот опомнился, тогда не так обидно было бы...»

Уже садилось солнце, когда угрюмый и усталый Столбов заехал в отдел.

Оперативный дежурный, крепкий плечистый лейтенант, поднялся при его появлении.

— Сидите, сидите,— устало махнул рукой Столбов.

— Товарищ начальник, Гриднев объявился.

— Как?..

— Из больницы звонили. «Скорая помощь» доставила. Вешался, на ремне на брючном, в станционном туалете.

Столбов тяжело опустился на стул.

— Жив? — глухо спросил он.

— Живой. Сам просил, чтобы нам позвонили и сообщили.

— Людей с постов сняли?

— Так точно. И в больницу Скворцова послал. Пусть сидит в коридоре, на всякий случай. Сами-то поедете?

— Нет, зачем же. Пошлем следователя завтра, если врачи разрешат.— Столбов встал, подошел к окну.

В бледных сумерках светились окна детского сада.

— Позвоните в детсад, Капустиной. Это жена его, пусть сходит, навестит,— сказал Столбов и прошел в свой кабинет.

Он сел, включил настольную лампу и с минуту сидел, охватив голову руками.

В кругу света на столе желтели листы бумаги, выщербленная пластмассовая пепельница.

Медленно, устало роились мысли.

«Нужно было брать. Цел был бы парень... А может быть, так лучше? Не слишком ли дорогая цена? Нет, за жизнь никакая цена не слишком, даже смерть...»

Он набрал номер телефона больницы:

— Алло. Можно узнать состояние Гриднева?

Ему ответил надтреснутый старческий женский голос:

— Нормальное у него состояние. Отдышался.

— Допуск к нему есть?

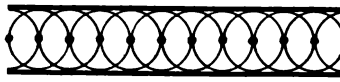
— Чего это?

— Пускают к нему?

— Пускають, пускають. А вы кто будете, родственник?

— Да, родственник,— ответил Столбов и усмехнулся, положив трубку.

ТАКАЯ ПЕСЕНКА



Субботний рабочий день кончался. Солнечные блики с коричневых деревянных панелей стены сползли на кожаный диван, и над ним закурилась пыль.

Ира со злостью пихнула каретку старого «Ундервуда» вправо и застучала по клавишам.

Секретарем начальника Управления торговли она работала уже год. До этого она переменила несколько мест,— все они почему-либо не подходили. Нудным и бесконечным казалось сидение за чертежной доской в КБ, где Ира недолго работала копировщицей. Обычно уже к обеду у нее затекали руки, хотелось положить голову прямо на кальку — черт с ней, с прической,— и закрыть глаза.

Потом она пыталась стать бортпроводницей на самолетах. Это была живая и приятная работа, но Иру очень укачивало во время взлета и посадки. Нужно было улыбаться, ободряя пассажиров, разносить на подносе мятные конфетки, она же мраморно бледнела и мучилась приступами тошноты.

А здесь, в небольшой приемной, из окна была видна набережная с просыхающим бульваром, деревья, только что выметнувшие бледные мелкие листья. Приходили управляющие базами и торгами, степенно здоровались, говорили неуклюжие комплименты, просили напомнить начальнику о каком-нибудь распоряжении. Вся эта обстановка давала Ире ощущение уверенности в себе. И все равно сегодняшняя задержка раздражала.

«Ундервуд» стучал надтреснуто и противно, из коридора слышался шум шагов: люди уходили. Ира допечатала строку, перевела каретку и вздохнула.

«Уже полвторого, а его осенило еще одним приказом. Боже, как он любит сочинять приказы. И не уйдет, пока я не принесу ему эту галиматью на подпись. А парикмахерша работает только до половины третьего».— Она вздохнула и продолжала печатать:

«3. Полагать управляющего Центральной плодовоовощной базой Бубликова Ефрема Ивановича выздоровевшим и приступившим к работе с 11 мая сего года. Основание: больничный лист».

Дверь кабинета отворилась, и перед Ирой появился

сам Ефрем Иванович, как всегда пахнущий одеколоном, с блестящей лысиной и детским румянцем на круглых щеках.

Удивительный человек этот Ефрем Иванович. Всегда свеженький, бодрый; невысок, но плечи широкие, голова крупная, под модным пиджачком мягко округляется брюшко, но это почти незаметно; глаза голубые, ясные, всегда со смешинкой; движения быстрые — эдакий чемпион по боксу, и голову специально побрил к летним тренировкам. Говорит, что ему пятьдесят. Кокетничает, конечно, десятку набавляет. Только руки у него некрасивые: короткопалые, красные, усыпанные веснушками и все в ржавых волосках — обезьяньи руки,— да зубов золотых много, а может быть, и челюсти целиком вставные. Ефрем Иванович часто жалуется Ире на свою одинокую жизнь, на гипертонию, делает несчастное лицо, утрирует картавость, кладет свою рыжую лапу на сердце, а глазами смеется. И чувствуется, что ничего у него не болит и нет никакой гипертонии, а просто он хочет, чтобы она увидела, какой он здоровый и веселый человек. Ира давно знает, что нравится Ефрему Ивановичу, не зря он ей то ананасик, то апельсинчик подносит.

— Уф, железный человек ваш шеф, Ирочка. Вы мне скажите, он когда-нибудь ест, пьет, смеется? Или никогда?

— Никогда,— ответила Ира, продолжая печатать.

— А я не могу. У меня желудок, у меня печенка и всякие другие органы. Я должен регулярно питаться, а он меня, больного человека, заставляет сидеть в душной комнате три часа, а я еще час назад должен съесть диетический обед. Ну, скажите, разве так доживешь до пенсии?

— Доживете, ничего вам не станет.

Ира вынула листы из машинки.

— Уже готово? Давайте я сам снесу ему, а вы одевайтесь, подвезу вас куда надо. Может, пообедаем вместе? Так и быть, ради вас я не пойду в диетстоловую.

Ефрем Иванович исчез за черной дверью. Ира быстро смахнула в ящик стола бумаги, накрыла чехлом машинку, подкрасила губы и достала висевший на гвозде за портьерой плащ.

«Москвич» был чистенький и блестящий, как и сам Бубликов. Обхватив светлую баранку своими рыжими лапами, Ефрем Иванович ловко рулил.

— Вы здорово ездите,— сказала Ира, чтобы как-то начать разговор.

— Я вообще все делаю здорово. Вот если бы вы уделили мне этот вечер, то было бы тоже здорово. Один вечер — ну что он для вас составляет? Зато вы доставите радость старому и одинокому человеку. Может быть, это продлит мне жизнь на год.

— Да бросьте вы. Переживете как-нибудь без меня этот вечер.— Ира рассмеялась, подумала: «Знает, что откажусь, поэтому зовет, а соглашусь — и не будет знать, что делать».

— Нет, серьезно, Ирочка. Понимаете, есть компания старых друзей, всегда Победу отмечаем вместе. Но я болел, как вы знаете, другим тоже не до этого было, ну вот решили встретиться сегодня. Порядочные люди, давно знаем друг друга, выручали, когда надо. Без друзей нельзя. Но среди них грустно, знаете, как-то не по себе. Все с женами, а я один как перст. Вот с вами я бы чувствовал себя хорошо. Ну, что вам стоит? И между прочим, в «Восточном» прилично кормят.

— Обойдетесь без меня,— отмахнулась Ира и подумала: «Пойти, что ли?»

— У вас что-нибудь запланировано на сегодня?

— Нет, но как-то не хочется. («Надо поломаться для приличия».)

— Ну, ради меня согласитесь, и я — ваш вечный должник.

— Хорошо, я подумаю.— Ира усмехнулась.

— Я буду ждать вас у входа около семи.

— Очень долго не ждите.

Вернувшись домой из парикмахерской, Ира наскоро поела и принялась гладить свое любимое платье. Она медленно водила утюгом вдоль швов и думала о предстоящем вечере.

«Зачем ему понадобилось звать меня? Вряд ли он питает какие-нибудь надежды, да и повода такого не было. Наверное, хочет что-нибудь разузнать. Может, недостача у него и боится «внезапной»? Но тут я все равно ничем не помогу: что мне бухгалтерия сообщает, что ли, когда они ревизора посылают? Если только шеф приказ дает провести плановые, но об этом Ефрем и сам всегда знает. Ладно, посмотрим. Только скука, наверное, будет смертная: добропорядочные, располневшие жены, пузатенькие торгаши, которые мало пьют и не танцуют. А-а, черт с ним, хоть в кабаке побуду — давно не была».

Скрипнула отворившаяся дверь. Ира поставила утюг на подставку и обернулась. В комнату вошла соседка Сима с конвертом в руке.

— Давай твист,— сказала Сима и подняла конверт над головой.

Ира развела руки и покачала бедрами, потом взяла конверт, прочла обратный адрес.

— А-а, от Алешки.— Она бросила письмо на стол.

Сима села на тахту, взяла с приемника плюшевую кошечку и нажала на выгнутую спинку. Кошечка мяукнула.

— Сколько уж лет? Вот странный парень. Что он хоть тебе пишет?

— Что́ он может писать. Рассказывает, какую они электростанцию строят, школу вспоминает. Ерунда, в общем. Ну, ты купила на костюм?

— Купила.— Сима снова нажала кошечке на спинку, и она снова мяукнула.— Ну какая чудная игрушка, прямо съесть хочется.

— То самое букле? — спросила Ира, снова берясь за утюг.

— Ага.

— Не пойдет ведь, Симка. Ты и так полная, а материал толстый.

— Ну и что, если мне нравится.

— Как твой, этот?..

— Да ну его, ученый индюк. На все у него есть готовое мнение, и ни капельки юмора. С таким через год повесишься. Куда ты сегодня?

— Пригласил один старик в ресторан. Там, с работы...

— Что — ухаживает? — Сима стала рассматривать большую групповую фотографию на стене.— Надо же, какие мы все были смешные,— хмыкнула она.— Мне даже не верится, что я была такой тощей. Алеша и здесь на тебя смотрит. А у меня пропала эта фотография, затерялась. Верка Щербакова недавно мне попалась, во Франции была, в Париже. Разодета в пух и прах. Молодец она, скоро диссертацию защищать будет.

— Замужем? — Ира подняла голову, остановив утюг.

— Я не спросила. Как-то неудобно было. Ну, пойду, собирайся.

— Не спросила, как будто этого так не видно,— пробурчала Ира.

Догладив платье, она закурила сигаретку и прилегла на тахту, подложив ладонь под голову, чтобы не испортилась прическа. Смотрела в дальнюю стену, делала глубокие затяжки и медленно выпускала дым, чуть скривив губы.

«Париж,— думала она.— Верка Щербакова, эта крыса, была в Париже. Вообще, чтобы учить иностранные языки, нужно быть крысой: грызть и грызть не переставая. Интересно, понимают ли язык настоящие крысы. Теперь-то она выйдет замуж... Вообще, в нашем классе все девчонки были страшные, кроме меня. Я раньше всех вышла замуж. Мальчишки все были влюблены в меня, как кролики... Алешка прислал письмо. Ну, что он хочет?»

Она хотела встать, взять письмо, но было лень пошевелиться.

Зазвонил телефон в коридоре. Протопала Сима. И сразу же вся квартира наполнилась криком:

— Привет!

Сима почему-то всегда очень орала по телефону. Ира дымила сигаретой и слушала.

— Да ну! На будущей неделе бюро, вот я им выдам! — орала Сима. Ира смотрела, как сизый дым поднимается вверх и, не достигая потолка, тает.

«Боже мой, как орет,— думала она.— Привыкла митинговать. И никакого вкуса. Костюм из серого букле, а сама восемьдесят пять кило весит. И еще в мужиках разбирается. «Ученый индюк. Ни капельки юмора». С такими данными особенно привередничать нечего, а то останешься на бобах... А я тоже?! А-а, просто сейчас лень, не хочется заниматься этим, все надоело. Что — я когда-нибудь без мужика была? Да и замужем пожила...»

— Ну, будь здорова. Желаю удачи! Можешь ссылаться на меня. Средства найдем. Пока! — орала Сима.

А Ира, глядя в стену напротив, думала об институте, в котором проучилась немногим больше года и ушла, потому что стало скучно и тошно от математики и лабораторных. Вышла замуж за Вовку, думала — отец-академик, квартира большая, будем жить хорошо. Но свекровь попалась с характером, а Вовка все больше уходил в книги. Ира меняла работы. Свекровь пилила: «Иди учиться». В большой богатой квартире чувствовала себя гостьей. Потом мать вздумала на старости лет выйти замуж и уехала в Брянск. Пришлось Ире пере-

ехать обратно в свою комнату, чтобы не потерять ее. Думала, вот теперь заживем самостоятельно. Но не получилось. Вовка стал ей безразличен. Отчуждение пришло быстро и безболезненно, потому что он тоже охладел к ней за два года семейной жизни. У Иры осталась громкая фамилия, обручальное кольцо и ощущение свободы и моральной неуязвимости. Одинокая самостоятельная женщина. Кому какое дело до ее связей, ее образа жизни. А замуж, если нужно будет, она выскочит сразу, стоит только захотеть, тем более что комната своя.

Ира положила сигарету в пепельницу, зевнула.

«Не ходить, что ли? Поспать. Ефрем не обидится,— подумала она.— Нет, нужно встать. Так можно весь день проваляться».

Домой Ира вернулась поздно. Ее слегка покачивало. Она стащила плащ, бросила его на спинку кресла, бухнулась на тахту и рассмеялась.

«Боже, какой осел, старый наивный осел. Он все принял за чистую монету. Это он на полном серьезе звал меня с собой в Гагру. Ха, дожить до старости и быть таким ослом. Все они одинаковы. Надо было побольше его раззадорить, он бы и машину пообещал подарить. А что, правда, поехать с ним в отпуск, выставить как следует, чтобы в следующий раз знал? Как он мог подумать об этом! Неужели у меня такой безнадежный вид, что только Ефрему и мечтать осталось?» — Ира закурила, устроилась на тахте поудобнее и снова рассмеялась, вспомнив, как Ефрем Иванович семенил в танце и нашептывал ей про отпуск, про Гагру. Нет, он не осмелился предлагать, он просто мечтал вслух. А потом в такси жал ручку, совсем как школьник.

Ира вспомнила о письме, поднялась и взяла его со стола. Письмо было в обычном шутливом тоне. Ира перескакивала со строчки на строчку, пропуская подробности, изредка она скупо улыбалась.

В конце Алешка написал, что едет в отпуск, уже купил билет на самолет, что интересно будет встретиться через столько лет. Месяца полтора он намерен провести в Ленинграде, а потом у него путевка в Крым, нужно погреться на южном солнце,— в общем, он решил использовать отпуска за все годы.

Ира отложила письмо, усмехнулась, вспомнив, как

на школьном выпускном вечере мальчишки наперебой объяснялись ей в любви.

«У меня было белое платье на розовом чехле и белые туфли — первые настоящие туфли»,— подумала она. Боже мой, а как сердце билось, когда кто-нибудь из мальчишек вдруг подходил с отчаянным лицом, и она уже чувствовала, что это объяснение в любви! Сколько их было в тот вечер!.. Только Алешка молчал. Он стоял в простенке между окон — не умел танцевать. Пары кружились, проскакивали мимо, закрывая его, но над головами танцующих она видела его лицо. Он все время смотрел на нее, когда она танцевала и когда стояла среди подруг, и в перерыве между танцами он вдруг шагнул от стены прямо к ней. Она — уже в который раз за вечер — с волнением подумала: «Сейчас он скажет, а я скажу, что не надо, останемся друзьями». Алешка подошел вплотную, заглянул в глаза и спросил: «Хочешь мороженого?» Она ответила, что не хочет, но газировки выпьет, и они спустились в буфет на первом этаже и пили холодный лимонад, от которого мозжило зубы. «А я уезжаю,— неожиданно сказал Алешка.— На Север. Напишу — ответишь?» — «Только не присылай доплатных»,— сказала Ира и взяла его за руку...

Сигарета догорела до самого фильтра. Ира осторожно, чтобы не сронить столбик серого пепла на пол, поднесла руку к пепельнице, потом поднялась, стала раздеваться, медленно, рассеянно, все еще вспоминая.

Кажется, было обидно, что Алешка не сказал того, жданного, но она-то знала, что он тысячу раз повторил это про себя, и тогда, в буфете, и раньше, в классе. И потом, когда шли по набережной, молча слушая дробь своих шагов. Белая ночь все сделала лиловым и легким: колонны Фондовой биржи, неподвижные деревья, молчаливые баржи, плывущие сквозь туман под разведенными пролетами мостов.

«Сволочь, сволочь и потаскуха,— сказала Ира себе.— Тебя уже никто никогда не возьмет за руку, чтобы пройти по Неве. Тебя просто поят в кабаке, а потом тащат к себе и не зажигают света в комнате, или ты сама тащишь к себе. В лучшем случае тебя приглашают на месяц в отпуск, и это самое хорошее, на что ты можешь рассчитывать.— Она усмехнулась, резкими ударами взбила подушку, бросила ее на постель.— Да, Ефрем знал, кого приглашать. Симке такого никто не предложит. Симка — страшила, ей проще: уж если кто ухажи-

вает, то не за смазливую рожу, а она еще кривится. Выходила бы за своего индюка... Боже мой, как они все умеют увиваться, какими кажутся робкими, трогательными, чистыми. Нет, не кажутся,— всегда знаешь, что потом будет... Все, все — гады, ничтожества. Но почему-то всегда попадаешься на эту удочку: так приятно, когда за тобой ухаживают, даже приятно, когда тебя просто хотят как бабу».

Ира легла в постель, потушила свет. Бледно-желтый уличный фонарь заглянул в окно, отразился в янтарных глазах плюшевой кошечки на приемнике.

«Я совсем пьяная. Не нужно было пить все вперемешку. Завтра будет трещать голова и морда опухнет. Алешка приедет, белобрысый, длинный... Пойду с ним на набережную ночью. Неужели у него там не было ни одной бабы? Неужели правда, что на свете есть однолюбы? Он был влюблен, как кролик. Сколько? Шесть лет прошло. Наверное, вправду любит. А что, чем плохой муж? Уж из него-то я веревки вить буду. Техникум закончил, в институт пойти заставлю. На Севере зарабатывают хорошо, наверное скопил денег. Его-то я окручу сразу. А вдруг не понравлюсь? Они, гады, тоже всё понимают. У меня же на лбу написано, что потаскуха, потому ко мне и липнут. Нет, нет! Просто я тогда была девчонкой, растрепой, а сейчас я — женщина, красивая, молодая женщина. Как они там говорят? Роскошная, опьяняющая, изящная, сексуальная. Нет, сексуальная — это, кажется, не из той оперы... Он даже не знает, что я была замужем, письма на девичью фамилию пишет. Зачем я оставила себе чужую дурацкую фамилию? Подумаешь, бывшая жена сына академика! Ну, объясню ему как-нибудь, скажу — глупая была, молодая. А что было делать? Сидеть дожидаться его? Ничего, все будет хорошо. Он меня ни разу в жизни даже не поцеловал... Я лучше той девчонки, какой была».

Ира включила свет, встала и подошла к зеркалу, тронула грудь, провела ладонью по слегка выдающимся скулам, по ямочкам на щеках, пощупала подбородок — нет ли жира, усмехнулась, подмигнула себе. «Все хорошо, под глазами только набрякло, но это от усталости, высплюсь, и пройдет».

Алешка появился в понедельник.

Ира недавно вернулась с работы и только успела

поесть. Простоволосая, в халате, она валялась на тахте, грызла яблоки, преподнесенные сегодня Ефремом Ивановичем, и листала старый журнал мод. Она услышала звонок, шаги Симы, ее громкий говор в коридоре, потом — стук в дверь.

— Заходи,— сказала Ира, не вставая.

Сима вошла и не закрыла за собой дверь.

— К тебе гость,— сказала она, странно улыбнувшись.

Алешкина фигура заняла весь дверной проем и показалась Ире огромной. Она вскочила, обдернула халат, поправила волосы.

— Здоро́во, полярник,— сказала она громко.— Не ожидала, извини за такой вид.— А про себя подумала: «Какой интересный мужчина» — и почувствовала неловкость.

— Здравствуй. Это мне надо извиняться, что не вовремя, но телефон позабыл, а уж больно хотелось повидаться,— сказал Алешка, стоя в дверях.

Сима отодвинула стул и села к столу.

— Да снимай ты плащ и проходи,— сказала Ира.— У меня где-то бутылка вина была.

«Хоть бы Симка что-нибудь сказала»,— думала она, склонившись у буфета и чувствуя, как горят щеки.

— Это идея! Я сейчас сбегаю,— обрадовался Алешка. И прежде чем Ира успела что-то сказать, за ним захлопнулась дверь. Секунду она молча смотрела на Симу, стоя с початой бутылкой вина.

— Ничего себе дядька вымахал,— сказала Сима.

— Надо хоть одеться. Боже, как назло такой вид! Надо на закуску чего-нибудь приготовить, и ничего нет,— растерянно сказала Ира.

— Подумаешь, церемонии. У меня картошка есть вареная и кильки.

Алешка задумчиво вертел в пальцах граненую ножку рюмки. Белобрысый вихор спадал ему на лоб, покрытый легким загаром.

В нарядном платье, причесанная, после первой рюмки Ира почувствовала себя увереннее. А Сима раскраснелась и стала говорить громко, как по телефону:

— Понимаешь, сначала показалось ужасно скучно. Думала, буду преподавать, а тут — на́ тебе! Приезжал как-то корреспондент из «Комсомолки», я ему и нажало-

валась, что вот училась, а теперь бумажки писать заставили, митинговать. Ну, он и написал статью, а мне на бюро горкома за это так выдали, что до сих пор тошно. Ну а потом втянулась, стало интересно. Знаешь, какие сейчас ребята в старших классах? Мы в свое время и половины того, что они знают, не знали, и политический кругозор у них шире. А их всё стараются на короткой узде держать. Мне недавно один паренек из одиннадцатого класса физической школы сказал: «Мы строим и обязаны мыслить количественными и качественными категориями, на цитатах далеко не уедешь». В общем, вросла я в эту работу. Да что это все я одна болтаю. Ирка, давай наливай еще.

Ира разливала вино. Не участвуя в разговоре, она без помех наблюдала за Алешкой и чувствовала смутное беспокойство оттого, что он говорит с Симой о каких-то далеких от нее вещах, оттого, что он такой большой и спокойный, непохожий на прежнего, влюбленного в нее десятиклассника. «Нужно не сидеть с постной миной, а разговаривать,— думала она.— И совсем не о работе... Как Симка орет все-таки».

Ира придвинула к себе рюмку, коротко и значительно взглянула на Алешку и сказала:

— Давайте за что-нибудь выпьем. За турбины, генераторы, работу и позабудем про них. Мы же тысячу лет не видались.

— Правда, давайте,— Алешка поднял руку, потянулся чокнуться с Ирой.— За Ленинград и вообще за все,— сказал он, улыбнувшись. И эта улыбка сразу сделала его похожим на прежнего мальчишку-школьника. Ира улыбнулась в ответ той тихой, с прищуром глаз, улыбкой, неотразимость которой была испытана много раз, и ощутила приятное возбуждение от уверенности в своей привлекательности и силе. Она выпила, не сводя с Алешки прищуренных глаз, непринужденно перевела разговор на школьные воспоминания, и комната наполнилась смехом. Все наперебой стали вспоминать забавные случаи, рассказывали, кто кого встречал из однокашников.

Сима просидела еще четверть часа и распрощалась, сославшись на дела. После ее ухода Ира и Алешка с минуту молчали, не глядя друг на друга. Потом Алешка закурил и сказал:

— Никогда не думал, что Симка станет такой. Молодец, боевая.

Ира зажгла сигарету, затянулась так, что ямочки на щеках стали еще яснее.

— Да, молодец, и держится весело, а на самом деле ей неважно. Какие-то у нее отношения сложные с парнем. Летом собирались уже свадьбу играть, да что-то не вышло. Сейчас, кажется, снова налаживается. В общем, несладкая женская доля.— Ира встала из-за стола и полулежа устроилась на тахте.— Ну, а ты как жил? Счастлив в любви, женат, есть дети? — Она отставила руку с зажатой в кончиках пальцев сигаретой и прищурившись смотрела на Алешку.

— Жены нет, наверное поэтому нет детей,— усмехнулся он.

— Почему же? Возьми бутылку и садись сюда. Налей мне. Так почему же?

Алешка пересел на тахту, поставил рюмки на журнальный столик, наполнил их.

— Не знаю,— негромко ответил он.— А у тебя почему?

— Не знаю,— так же тихо сказала Ира.— Ну, давай выпьем за это.— Она подняла рюмку вровень с лицом.

— За то, что нету?

— Нет, за то, что не знаем. Хорошее ты принес вино,— она затянулась и тонкой струйкой выпустила дым, сложив губы трубочкой,— терпкое...— Она тихо рассмеялась.— Ты часто вспоминал обо мне? Налей еще.

— Вспоминал,— тихо сказал Алешка, наполняя рюмки.

— И за это нужно выпить,— сказала она.

— Да,— сказал он, и они выпили еще.

— Включи, пожалуйста, приемник. Ту, дальнюю, клавишу.

Алеша включил и взял с приемника плюшевую кошечку.

Молчали, прислушиваясь к шорохам эфира. Алешка поглаживал игрушку, случайно надавил, и она мяукнула. Он вздрогнул от неожиданности и рассмеялся:

— Милый кот.

— Это вовсе и не кот, а кошечка.

— Значит, милая кошечка,— улыбнулся он.

Приемник перестал шипеть и донес обрывок позывных «Маяка». Их сразу покрыла ритмичная песня на незнакомом языке, и Алешка стал еле слышно отбивать ногой такт.

— Как ты думаешь, о чем они поют? — спросила Ира.

Алешка пожал плечами, улыбнулся:

— Рекламируют средство против облысения, наверное.

— Ну тебя с твоим облысением. Такая вкусная песенка, просто ты ничего не понимаешь. Скажи, ты рад, что вернулся?

Алешка кивнул, поглаживая кошечку и тихо отбивая такт песни. От кивка прядь свесилась ему на лоб.

— Ты уже загорел.— Ира протянула руку и откинула волосы с его лба.— Изменился, возмужал. А я — я изменилась, постарела? Скажи.— Она приподнялась, приблизила к его лицу свое, стала пристально смотреть — глаза в глаза. Алешка ответил, но очень тихо, и песня заглушила его слова, только шевелились губы и блестели глаза.

«Сейчас он начнет меня лапать»,— подумала Ира, придвинулась еще, и от близости этого свежего мужского лица, крепких губ вдруг почувствовала пронизывающее желание, властно обняла Алешку за шею и стала целовать, жадно и торопливо, пьянея от ощущения твердости и тепла мужских плеч, запаха цветочного одеколона и здоровой кожи, шершавости подбородка. Кошечка выскользнула из Алешкиных рук и мягко упала на пол. А Ира целовала до тех пор, пока не почувствовала, как дрогнули и стали податливыми Алешкины плечи, и ищущие руки обхватили ее тело. И тогда она, не отрываясь от его губ, дотянулась до выключателя...

Потом она, усталая, уже не имея никаких желаний, заснула, положив руку Алешке на грудь.

Она проснулась оттого, что Симка орала, разговаривая по телефону, села на тахте, недоуменно вглядываясь в полумрак комнаты, в качающиеся тени оконных переплетов на стене.

Шипел потерявший волну приемник. Сима орала в коридоре:

— Ты подработай тезисы!

Ира поднесла руки к голове, хотела поправить растрепанные волосы, но почувствовала головную боль и прижала ладони к вискам. Взгляд ее упал на столик. Рядом с рюмками и пустой бутылкой, игриво выгнув спинку, стояла плюшевая кошечка, глаза ее то светились, то гасли от качающегося за окном фонаря.

Ира сжала зубы и выругалась вполголоса, грубо, матерно.

— Это очень серьезно! — орала Сима в коридоре.

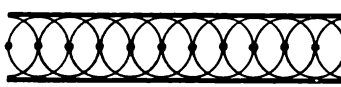
«Уеду, уеду ко всем чертям с Ефремом, провались все пропадом,— подумала Ира и снова выругалась.— Уеду, будь оно все проклято».

— Привет теще! — орала Сима.

Ира сидела в темноте, сжимая голову ладонями, и монотонно сыпала проклятиями.

ОСЕНЬЮ

1



Этой осенью что-то беспокоило и томило Назимова. Временами он чувствовал какое-то неудобство в груди: то ли душно становилось, то ли начинало пошаливать сердце. Он вслушивался, наблюдал себя, пока не уверился, что здоров. Однако беспокойство не прошло, и он приписал его небольшому переутомлению в этом году, потому что работал по совместительству и еще не был в отпуске.

Назимов жил в пригородном ленинградском поселке, где окруженные палисадниками деревянные домики соседствуют с теперешними крупноблочными зданиями, а ветхая церковь с почерневшей, насквозь прохудившейся маковкой давно стала лишь приютом жирных разленившихся голубей; и широкий асфальт проходит рядом со старой дорогой, в красных глинистых колеях которой с весенней распутицы стоит не просыхает мутная, желтая вода.

Назимов любил осенние работы в саду — потрескивание и пахнущий копчушкой дым костерка из отмерших ветвей и коры, влажный всхлип, с которым лезвие лопаты входило в сочную землю под яблоней. Иногда он прерывал работу и, опершись на лопату, смотрел вокруг — на сад и дом с новой, еще не остекленной верандой, на недостроенный гараж под высокой вишней в скрутившейся бурой листве.

Дом стоял на горушке, над озером, и было видно далеко вокруг.

Октябрь выдался мягкий, с застенчивыми короткими дождями и медленным листопадом. Размытая, черноподпалая ретушь окрестных лесов обрела бархатистую глубину, и еще не опавшие соломенные осины близ дома четкими силуэтами маячили на ней.

Теснило грудь от обнажившихся за озером далей.

В соседнем дворе тревожно и возбужденно гоготали гуси, завидя в небе своих диких сородичей, улетающих в теплые страны. И беспокойство Назимова было чем-то схоже с возбуждением этих гусей, будто тоже хотелось куда-то, но куда — он не знал, хмурился и задумчиво брался снова за лопату.

Что это? Невроз? Или просто возраст? Тридцать пять... Психиатры считают критическим. Живешь слишком хорошо, вот и блажь... Разве плохо жить хорошо? Приходилось ведь по-всякому.

...Он помнил блокаду, голодное отупение, умершую зимой сорок второго мать, ее неподвижное тело, забирающее тепло. Он сутки пролежал с ней в постели,— был очень слаб от голода. Он даже не плакал тогда...

Жирная земля в приствольном круге хлюпала, лоснящиеся комья прилипали к лопате, и ее то и дело приходилось встряхивать.

...Окончилась война, но осталось сиротство. Он уже понимал, что не должен сидеть на шее соседки Марии Ивановны, которой и без того обязан жизнью. Она не делала разницы между ним и своим Олегом, но в то время трудно было прокормить двух прожорливых подростков. Он прибавил себе в метрике два года и ушел в ремесленное училище. Там он почувствовал себя взрослым, а через полтора года уже работал токарем на заводе. После училищной столовой самостоятельное житье на карточку было трудным. За несколько месяцев он оголодал и ослаб, а хлеба купить было негде — коммерческие магазины закрылись еще весной...

Под одной яблоней почва показалась суховатой, и между воспоминаниями он отметил, что нужно добавить сюда торфа.

...Он хорошо помнил тот день, когда, отоварив всю карточку, съел зараз полкило комбижиру, кило сахара и на крупяные талоны дважды пообедал в столовой. Впервые за год он наелся досыта и не пошел на работу. А на следующий день его арестовали и осудили за прогул на два месяца лишения свободы...

Лопата звякнула о камешек. Назимов погрузил руку в прохладную густую землю, нащупал и отбросил его. Потом постоял опираясь на лопату.

...Лагерь. Эти два месяца раздавили Кольку. Не голод, не тяжкая работа — такое он знал и раньше,— а бессмысленная жестокость людей, таких же, как он, также отбывавших свой срок. Его беспомощность, беззащитность только распаляла, давала возможность выместить на нем злобу. Каждый хотел уничтожить более слабого, чтобы съесть его пайку, отнять у него все. «Умри ты сегодня, а я — завтра» — это была распространенная лагерная поговорка. Все это вошло в Назимова ужасом, молчаливой, неутоленной и потому длительной ненавистью. Два месяца сделали его другим человеком. Он вышел истощенный, но с угрюмой решимостью выжить, добиться благополучия и тем защититься от враждебности мира... Он устроился на завод, жил в общежитии и стал учиться, яростно, фанатично, до изнеможения. Он жил угрюмо, без развлечений; он воевал с книгами, и они сдавались. Через два года он поступил в медицинский. И здесь он учился с прежним ожесточением. Летом подрабатывал в больнице — санитаром. Он не замечал одиночества, не тяготился им,— оно вошло в привычку...

Назимов поворошил догорающий костер, взял на лопату тлеющий уголек, прикурил.

...Он не помнил только одного — как все началось с Мусей. Она работала тогда буфетчицей в институтской столовой и, кажется, не оказывала ему особенного внимания... Нет, он не помнил, как это началось. Он помнил лишь, как переехал сюда, к Мусе, летом после четвертого курса... Тогда здесь стояла только каркасная развалюха — кухня да комнатка с маленькими перекосившимися окнами, участок зарос репейником и крапивой, не было ни одного дерева. Сколько он здесь поработал... Неизвестно, чего больше в этой земле, влаги или его пота... Но здесь, в тишине, он как-то отошел душой. После блокады, лагеря, полуголодного существования в общежитиях жизнь с Мусей и ее матерью казалась полной тепла и нежности. А годы, заполненные трудом, шли незаметно. Даже окончание института прошло будничным событием. Забот не убавилось...

Он стажировался на хирургическом отделении больницы, работал терапевтом, строил дом, разбивал сад. Голова была забита мыслями об операциях, саженцах

яблонь, тёсе, денежными подсчетами. И эти заботы не кончались, одна тянула за собой другую — это была бесконечность круга, замкнутого, не дающего обратиться мыслью на какие-то общие, отвлеченные вещи, подумать о жизни, о смысле всей этой суеты и ее нужности... Муся и теща руководили им незаметно и тонко, с нередко встречающейся в женщинах инстинктивной хитростью. Назимову казалось, что все начинания, все приобретения он делал по своему разумению и почину, а на самом деле женщины исподволь подводили его к нужным мыслям и решениям, так неназойливо, осторожно, что мысли эти он считал своими и претворял с присущей ему последовательностью. Только потом, много позже, он разобрался во всем этом... да и то не до конца. Нет, не до конца...

Дом был отстроен заново, большой, рубленый, на каменном основании. За полтора десятка лет сад разросся, сортовые яблони и ягодник давали немалый урожай, который изворотливая теща сбывала на ленинградских рынках. В семье появился прочный достаток, при котором покупка нового костюма или поездка на юг не составляют большого затруднения. Муся стала подкапливать деньги на автомобиль. Как всегда, получилось, что эту идею выдвинул Назимов, а женщины только согласились с ним и одобрили. С весны он запасал доски и брусья, чтобы пристроить к дому гараж, и закончил бы эту работу до осени, но Муся где-то по знакомству приобрела красивые дубовые рамы, и Назимов стал перестраивать и расширять веранду под эти рамы.

Так и шла жизнь, привычно, многотрудно, не омраченная неудовлетворенностью, несчастьями, недовольством собой. События, происходившие в мире, проходили стороной, не волновали. Назимов не интересовался ими. Это была какая-то эмиграция в комфорт, в достаток, в бездумность. И прошлое, покрывшись толстым слоем забвения и благополучия, уже не омрачало сознания.

Но мало-помалу какое-то неудовлетворение поселилось в нем. Заботы по дому уже не забирали его целиком, и все чаще он обращался к воспоминаниям, будто в прошлом таились причины его нынешнего состояния, и понемногу к нему приходило понимание, пока еще смутное, что все сделанное им за эти годы было меньше всего нужно ему...

Умиравший костерок потрескивал все тише, редкий уже дым прижимало к земле.

— Коля! — Жена позвала завтракать. Он бросил в угли окурок и пошел в дом.

2

Завтрак по обыкновению был обильным и сытным: глазунья с салом, домашние соленья, сметана.

Назимов рассеянно, нехотя ел и поглядывал то в окна, то на женщин, но видел все только одними глазами, а внутри было то же чувство непонятного беспокойства; и разговоры, запахи еды, позванивание ложки в стакане вдруг становились лишь фоном его смятения, будто реальным было только его состояние, а окружающее — воображением.

Просторная комната о двух окнах после осветленного осенью сада казалась сумрачной от темной поблескивающей мебели.

Муся и теща разговаривали о домашних делах, но слова как-то пролетали мимо сознания Назимова, а лица женщин казались до того похожими, что сливались в одно, хотя были очень разными.

Теща была суха и белолица; лоб и скулы покрылись частой паутиной неглубоких морщинок, они словно занавесили лицо, скрывая его остроту, подбористость губ; глаза не выделялись, и нельзя было в этой туманной матовости лица увидать их цвет, уловить выражение. Узкие ухватистые руки тещи быстро сновали от сахарницы к хлебу, мелкими бесшумными движениями передвигали тарелки.

Муся была смугла, темноволоса и румяна, пухлые яркие губы с готовностью открывали в улыбке ровные резцы; в округлости нешироких плеч, в плавных линиях обнаженных рук, с чуть заметными перехватами у запястий, проглядывала будущая полнота, глаза были темные, шустрые, и говорила она громко и быстро, между словами успевая прихлебывать из большой чашки.

— Гречу-ядрицу привезли, сегодня мне достанется: давка будет, а пакетов нет. До чего не люблю кульки вертеть, хоть на работу не ходи.

— Оставь килограмм десять, зайду с сумочкой вечером. А то все крупы поиздержали. Николай-то не больно картошку ест, а и мне надоела,— сказала теща.

— Нет, не приходи. Потом как-нибудь. Взяла на свою голову эту Верку Огурцову, так и смотрит везде. Ей только повод дай — по всему поселку разнесет. Да, Коля, чуть не забыла. Вчера договорилась с экспедитором, обещал цветные стекла достать.

— Ну,— Назимов взглянул на жену.

— Ты как сегодня работаешь?

— До утра — в приемном, а завтра с девяти до восемнадцати — в неотложной,— сказал Назимов и вспомнил, что в неотложной он дежурит с Фадеевой. Им овладело смешанное чувство легкого волнения и любопытства, и он стал вспоминать эту женщину, но вспоминал не лицо и руки ее, не улыбку, а то свое ощущение какой-то сдержанной лихости, молодечества, что ли, которое всегда испытывал в ее присутствии. Словно вылезал из него другой, нерасчетливый, симпатичный и немного наивный человек, у которого не было почти забот, тех, монотонных и всегдашних, о досках и стекле, о «левой» цистерне ассенизационной массы. С этой женщиной Назимов чувствовал себя врачом, мог говорить о какой-нибудь редкой клинической картине, увлеченно и грамотно; слушать мог с интересом — Фадеева была терапевтом умным, с чутьем на диагноз,— и будто не было у Назимова дома и сада, обветшалой до перистости фуфайки да шахтерских калош, потускневших от земляного сока. И приятно было чувствовать себя подтянутым, в пригнанном, хорошо отглаженном халате, с дужкой фонендоскопа в нагрудном кармане. Там он был далек от бормотания тещи, от Мусиного округлого говорка, и никогда бы не стал разговаривать с домашними так, как с Фадеевой, да им это было бы тоже дивно, непонятно...

Трепетали за окнами яблони голыми оскудевшими ветками, качали мелких суетливых пичуг.

— Коля, Коля! Да что ты, заснул?

Назимов оторвался от окна. Жена улыбалась, от горячего чая она разрумянилась еще гуще.

— Говорю же, стекла экспедитор обещал достать где-то со склада. Вот надо тебе заехать, посмотреть что почем. Думаю, не ограбят уж сильно. Улица у меня записана.

— Ладно, заеду. Не поздно в шесть?

— Откуда я-то знаю. Там какой-то Сидор Поликарпыч или Макарыч — записала.

— Астры жалко,— вступила теща.— И такие ядре-

ные, уже не помню, в каком году такие были. Помог бы, Николай, до электрички ведра донести, а там уж до Мальцевского — я бы сама как-нибудь.

— Да хватит вам, мама, с этими астрами. Не купит их никто — жухлые уже,— вдруг с неожиданной досадой сказал Назимов. Ему была неприятна мысль о том, что придется идти днем через весь поселок с ведрами, наполненными цветами и повязанными марлей. Летом по утрам он носил эти ведра к электричке, но это было летом, когда у всех было много цветов, и Назимов не чувствовал себя одиночкой. А сейчас было не то время, да и настроения не было, не думалось как-то об этих астрах, о хозяйстве,— неинтересно стало. Все щемило что-то внутри, будто щенок маленький сидел там и скулил, сиротливый, голодный.

— Коля, Коля, чуть не позабыла. Зашел бы ты к Олегу, что-то давно его нет. Пригласил бы к нам на неделе, хоть домашнего обеда поест. Да и телевизор что-то плохо работает, вот он посмотрел бы, а то из ателье не дозовешься, да и халтурщики там одни.

— Нет его в городе, наверно,— насупился Назимов. Олега Муся не жаловала, и Назимову было неприятно, что из-за телевизора она лукавит. Ведь из-за нее Олег перестал ездить, чувствовал неприязнь. А раньше три раза на неделе бывал.

А может, не только из-за Муси он не стал ездить?

Вспомнился Назимову один взгляд Олега, только взгляд, чуть удивленный, насмешливый и еще какой-то, строгий, пожалуй. Назимов тогда копал погреб-подполье. В кухне пол был снят, и глубокий котлован уходил под весь дом, неправильные грани камней в бутовом фундаменте искрились в свете переносной лампы, спущенной в подполье на длинном шнуре.

— Вот, вырою, раскреплю, забетонирую,— объяснял Олегу разгоряченный Назимов. От ладной работы он всегда чувствовал возбуждение — будто хмельком легким ударяло в голову. И вот тогда и приметил Назимов тот взгляд. И запомнил, быть может, потому, что говорил Олег как-то рассеянно, будто о другом думал. Сказал он странно: «Да, да, убежище, атомное, личное». Тогда пропустил это Назимов, и взгляд, и голос, а сейчас вдруг вспомнилось и обидно стало, беспокойно. И захотелось увидеть друга, убедиться, что не насмехался он.

— Пора мне уже,— встал Назимов из-за стола.

3

В вагоне электрички было малолюдно в этот час и сумеречно. Стучали костяшками домино парни, ехавшие, видимо, на работу в вечер. Пожилая женщина примостилась у двери, возле нее стояло два красных газовых баллона, приземистых и округлых, как чугунки.

Назимов достал из портфеля книжку, привалился к стенке — ближе к окну, за которым скорбели опроставшиеся поля с почерневшими буртами хряпы да знобкая древесная молодь, еще державшая лист.

Книжка почему-то волновала Назимова, хоть был это не роман. Он читал ее уже неделю: то откладывал, то снова брал, возвращался к началу. Ему нравился деловой тон — книжку написал французский врач,— лишь иногда прорывалось авторское чувство, и от сдержанности оно действовало еще сильней.

«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

Молодой врач пустился через океан в маленькой резиновой лодке и переплыл его без пищи и воды, чтобы доказать, что человек может победить океан, добыть в нем все необходимое для поддержания жизни. Шестьдесят пять дней он питался только сырой рыбой, которую добывал сам, пил только дождевую воду или сок, выдавленный из рыб, но все-таки выжил, выжил и доказал, что человек может победить даже океан. Он нашел лекарство для пятидесяти тысяч человек, ежегодно умирающих в спасательных шлюпках.

Назимов читал, и каждое слово проникало в него, будто он говорил с глазу на глаз с этим французским парнем, и они — врачи, казалось, понимали друг друга без лишних слов. И то, что Назимов работал в морской больнице, делало его словно бы причастным к подвигу этого врача, и гордость даже какая-то появилась.

«И одиночество он преодолел,— думал Назимов уважительно.— Да разве только это...»

Воспоминания блокадного голода заставили его сжаться на жестком вагонном сидении. Это было как явь: холод и мучительное желание есть. Рот наполнился слюной, начало подташнивать, и виски захолодели, покрылись испариной... Нет, я бы не смог. Это не по моим силам. Может, другое что, но только не голод...

Вдруг стало стыдно ему за это признание и тоскливо, и он стал успокаивать себя: «Это связь такая нервная, теперь уже ничего не сделаешь. Что-нибудь другое смогу, а это уже нет...» И давешняя беспокойная тоска занудила в груди.

Рано было ехать в больницу. Он отыскал Мусину бумажку с адресом склада и сел в нужный трамвай.

В проходной склада ему пришлось ждать — пускать не хотели,— и стыдно это было так, что он уж подумал уйти, но потом пропустили и проводили даже. Назимов стекла не стал смотреть, потому что кладовщик сразу начал по-свойски его на «ты» звать и дух от него шел винный, муторный. Узнал размер да количество, отдал деньги «из лапы в лапу» и уехал раздраженный.

Утром следующего дня Назимов поднялся к себе на отделение. Настроение было спокойным. Ночь в приемном прошла хорошо — тяжелых больных не поступало, а обычные дела сняли уныние и хандру. Он сел за столик дежурной сестры и стал просматривать температурный лист и тетрадь назначений в ожидании утренней смены сестер и врачей.

Верхние плафоны коридора были выключены, маятник больших стенных часов над столом отщелкивал кусочки тишины, где-то на первом этаже звякали кастрюли на больничной кухне, и мглисто клубилось в окне осеннее утро.

Вдруг от каких-то невнятных отрывочных мыслей тревога Назимова стала особенно острой. Он с усилием усидел на месте, хотелось вскочить и бежать куда-то, подальше от этих непонятных, но пугающих мыслей, от тишины больничного коридора, от самого себя...

4

Неотложная помощь находилась в нескольких остановках от больницы. Он всегда опаздывал на десять — пятнадцать минут, потому что не хотел пропускать ежеутренние больничные конференции и еще должен был купить булки и колбасы — свой обычный завтрак. В неотложной на его опоздания закрывали глаза, потому что работал Назимов давно, да и врачей с утра было двое. Но от спешки Назимов нервничал,— за несколько лет совместительства он так и не привык к этим опозданиям. Ему все казалось, что есть что-то унизительное в том, как он приходит позже всех и на глазах сестры и врача

надевает халат, а потом, улучив момент, через час-полтора начинает жевать свою колбасу и булку.

Но сегодня он почти не опаздывал, а тревога все-таки моталась с ним в разбитом трамвае, висела клочьями тумана на стрелах строительных кранов; она была и в сиротливости деревьев старого бульвара, на котором стояла поликлиника. Лишь одолев два лестничных марша и открыв дверь неотложной, Назимов почувствовал облегчение.

Фадеева стояла посреди небольшой белой комнаты и, подняв руку с ампулой к плафону, старалась прочесть неразборчивую надпись. Назимов охватил взглядом всю ее — от красных туфель до белой полотняной шапочки, из-под которой выбивались пушистые волосы,— и успокоился совсем.

— Здравствуйте. Вызовы есть? — как обычно, спросил он.

— Пока нет,— ответила медсестра-диспетчер, сидевшая за столиком с телефоном.

— Ну и ладно.— Назимов снял пальто, повесил, достал из портфеля халат.

— Ваша сумка — четвертая, Николай Петрович,— сказала сестра.

— Проверяйте лучше,— повернулась Фадеева.— Вчера Зоя пополняла, как всегда все перепутала: дибазол в коробку с адреналином сунула, наркотики — не поймешь где.

— Сейчас разберемся,— улыбаясь, ответил Назимов, чувствуя, как становится легким, остроумным и веселым. Он взял сумку, поставил на стол у стены — свободно так поставил, размашисто,— вынул коробки, просмотрел, переложил несколько ампул, закрыл сумку и сел на старый топчан, прикрытый простыней. Празднично было, и озорное что-то вертелось внутри — вот взял бы да свистнул в два пальца.

Фадеева тоже закрыла сумку, достала папиросу. Назимов поднес спичку, смотрел, как курит, на руки ее, с суховатой, матовой от частого мытья кожей, крупные руки врача. Может, и крупноваты эти руки для женщины, но Назимову нравились. Чему-чему, а рукам он цену знал. У Фадеевой руки не суетливые, мягкие, но сразу видно, что возьмет — не уронит, хоть тяжесть, хоть птицу нежную. У Муси руки на работу тоже недурные, и так на вид не корявые — мягкие, сдобные даже, а вот обнимет Муся за шею, и вроде под мягкой кожей —

желваки чугунные, нет в руках ее чуткости, тупые они...

Рука Фадеевой с папиросой повисла над тусклым стерилизатором, приспособленным под пепельницу. Указательный палец тонким кончиком с коротким ногтем постучал по папиросе, стряхнул пепел, блеснуло колечко с синим камнем на безымянном. Она искоса посмотрела на Назимова.

— Вы что сегодня такой задумчивый? Ночь тяжелая была?

— Да нет, ночь — ничего. Просто так чего-то...

— Идите за перегородку, подремлите немного, пока вызовов нет. Генеральша наша сегодня поздно придет.

— А где она?

— Совещание в институте Джанелидзе.

— А-а. У вас почитать ничего нет?

— Нет, я вязанье взяла. Уже полгода шарфик вяжу.

— Мне, что ли, начать вязать, говорят — успокаивает. Свяжу себе ночной колпак с помпоном, красный.

— Вам красное пойдет.

Зазвонил телефон. Сестра стала объяснять что-то звонившему.

— Пойдемте туда, а то мешаем,— тихо сказала Фадеева. Они перешли за фанерную перегородку, сели на жесткий казенный диван, похожий на трамвайное сиденье. Фадеева достала вязанье. Назимов стал смотреть, как в неспешном ритме снуют блестящие спицы в ее руках, возникают и сцепляются друг с другом круглые петли из серой ворсистой нити. Она чуть склонила голову, и челка отделилась от лба и подрагивала в такт движениям спиц.

«Челка, наверное, табаком пахнет, весь дым на нее»,— подумал Назимов. И стало ему очень покойно, удобно здесь, на деревянном желтом диване. Вдруг подумалось о том, что вот Фадеева могла бы быть его женой, и он представил себе их комнату — почему-то она не представлялась в крепком загородном доме,— обычную небольшую комнату, с разрозненной мебелью. Он увидел себя в этой комнате, на тахте с книгой, и ее — с вязаньем, и усмехнулся невероятности этой картины. «А что,— стал он спорить с собой,— ведь учились в одно время, могли бы познакомиться в институте, могли...»

— Вы в каком году институт кончали, Вера?

Она удивленно взглянула.

— В пятьдесят девятом, а что?

— Да как-то, давно знакомы, и вот подумал, почему в институте не знал вас. А вы, оказывается, просто маленькой были. Знаете, мы, выпускники, на младших както свысока посматривали. А вот прошел десяток лет, и всё. Из вашего выпуска некоторые, наверное, уже кандидаты.

— Да, многие. У нас на курсе большой процент парней был. Они в основном пошли в науку.

— Да, я тоже когда-то думал об аспирантуре. Вот не получилось. Жил далековато. Семья времени тоже требовала.— Назимов смолк, задумался, мелькнуло перед ним вмиг все его обзаведение, годами нажитое, понастроенное. И словно коромысло весов качнулось — на одной чаше и дом, и сад, на другой — что-то не очень ясное, но такое влекущее, что опять стеснило в груди тревогой, щенком заскулило.

— Эх! Уехать бы куда-нибудь, чтоб без суеты этой... Собраться с мыслями...— вырвалось вдруг у него.

Спицы застыли в руках Фадеевой, она подняла голову, взглянула на него. Печально взглянула, жалеюще. И от взгляда этого Назимов застыдился, и самому стало жаль себя, и подумалось, что вот с Фадеевой все бы по-другому сложилось, он улыбнулся виновато и тоскливо, а вслух сказал:

— Теперь уж поздновато начинать.

— Ну, Коля, бросьте. Мужчине это не очень сложно — лишь бы хотелось. Вы через больницу на судно можете устроиться, поплаваете, вот и соберетесь с мыслями.— Она улыбнулась ободряюще, опустила лицо, и снова засновали проворно спицы, побежали, сплетаясь друг с другом, серые петельки. Назимов представил себе судовую каюту — видеть-то приходилось: пол под коричневым линолеумом, койку с дубовым рундуком, полку над ней для книг, дрожь от машин, ровную, не досадную,— и вздохнул. «Вот спрошу сейчас, будет ли писать письма»,— вдруг с озорством подумал он, но зазвонил телефон.

Он прислушался. Сестра принимала вызов. Он встал и надел пальто.

Трудно врачу в неотложной. Приходится считать этажи с тяжелою сумкой, спотыкаться в темных дворах, но где найдешь работу настоящую и легкую, а это — настоящая.

Ты приходишь к больному, а ему очень плохо, может быть, так плохо, что он уже попрощался с белым светом.

Родственники кричат на тебя, они считают, что очень долго ждали, а ты прохлаждался где-нибудь, чаек попивал. Но ты не огрызаешься и почти спокоен, потому что знаешь, что был у другого больного, которому так же плохо, а может быть, и еще хуже, и ты вытащил его — он будет жить до следующего приступа, а теперь тебе нужно воевать за этого, лежащего на несвежей постели с бессильно брошенными руками. Он уже вцепился в тебя глазами и не отпустит, потому что ты — его последняя надежда. И ты уже оцениваешь его беспомощные руки: есть ли на них приличные вены, ведь внутривенно — самое действенное. Конечно, ты не полезешь зря иглой в вену, но гораздо спокойнее знать, что есть еще один вариант. И ты делаешь все, что можешь, и видишь, как ровнее становится дыхание, полнее пульс, и розовеют губы больного. Двадцать — тридцать минут, за которые ты неосознанно вспомнил все институтские лекции и всех своих трудных больных. И ты уходишь, сказав несколько коротких фраз, и родственники уже не кричат на тебя, и провожают до дверей, и благодарят, но ты и на это не обращаешь внимания, как и на их ругань. В тебе нуждается кто-то другой, и ты едешь к нему.

Настоящая это работа.

Вызовы шли густо, Назимов брал их в пути по телефонам, а с Фадеевой они не встречались. Он приезжал, а она была на вызове — так и крутились по району в старых, надсадно хрипящих «Москвичах».

Шофер Назимову попался пожилой и молчаливый и не мешал думать в пути. А думы были спутанные и тревожные, обрывки какие-то.

К четырем вечера пришло затишье, угомонился в неотложной телефон. Назимов поел, с утра в первый раз. Они с Фадеевой заварили чай покрепче. Сидели на трамвайном этом диванчике, расстелив между собой газету. Назимов ел без стеснения, и чай был такой, как он любил,— густой и душистый. И так хорошо было следить за плавными движениями Фадеевой, за тем, как ест, красиво и без жеманства,— даже усталость как-то позабылась. Ему хотелось вернуться к прежнему разговору, спросить про письма, но не вышло как-то, говорили всё про больных. Обоим досталось сегодня. А потом звонок сорвал Назимова,— была его очередь ехать. Он попрощался, зная, что вернется и Фадеевой уже не застанет.

5

Квартирка была в две комнаты, неказистая, с подслеповатыми окнами, какие часто встречаются в дворовых флигелях старых домов. Флигели эти предназначались для прислуги, и строили их без щедрости.

Вслед за высокой темноликой старухой Назимов прошел тесную полутемную кухню, упиравшуюся окном в глухую стену. Вошел в первую комнату, через нее во вторую. Дощатый пол скрипел. Темно было, и только поблескивала кровать железными шарами.

— Свет! — сказал Назимов. И старуха суетливо нашарила выключатель. Назимов издали поглядел на больного и понял, что тяжелый. Он, как многие способные врачи, чувствовал эту тяжесть еще до осмотра.

Старик, утонув головой в подушке, шумно дышал, лоб его лоснился от испарины.

— Матвей, Матюша, доктор пришли, подымись-ка маленько,— сказала старуха. И старик сделал усилие привстать — шевельнул бровями, чуть двинул головой.

— Лежите, лежите.— Назимов быстро шагнул к кровати и придержал старика за плечо, не давая встать, потом повернулся к старухе, хотел сказать ей резко, чтоб не совалась и вышла, но, увидев ее глаза, сдержался и сказал негромко:

— Воды, бабушка, вскипятите, пожалуйста.

Старик, видимо, долго старался перемочь приступ сам и не велел старухе вызывать врача. Он держался мужественно, но в присутствии Назимова силы оставили его, и он впал в забытье. Пульс перестал прощупываться, и Назимов опасался остановки сердца. Он быстро делал инъекции. Тело старика было жестким и влажным, кожа — старчески неэластичной, так что игла с усилием прокалывала ее.

Всё. Назимов отложил шприц, вздохнул, взял старика за запястье. Пульс, пульс — вся чувствительность, весь слух, все зрение сосредоточились в кончиках пальцев. «Кислород,— думал он.— Положить повыше. Вытащу, не таких вытаскивал».

Он услышал легкие удары пульса и отпустил руку старика.

«Где же старуха? Мне грелки нужны»,— подумал он и позвал:

— Бабушка!

Она, видимо, стояла за дверью. В глазах ее густела все та же жгучая какая-то боль.

— Грелки или бутылки с кипятком,— приказал Назимов. Старуха быстро принесла две грелки. Назимов сунул их к ногам старика.

— Бабушка, спуститесь, пожалуйста, возьмите у шофера в машине подушку кислородную.

Назимов собрал иглы, пинцет, уложил шприц в укладку. Старик открыл глаза. Старуха принесла кислород, и Назимов дал старику наконечник через влажную марлю. Он подышал, и губы его стали розоветь. Вместе со старухой они подняли больного, положили повыше. Потом Назимов сидел в соседней комнате за столом, курил и писал историю болезни. Старуха сидела напротив.

— Сколько лет вашему дедушке?

— Шестьдесят шестой уж пошел,— с готовностью ответила она и вытерла губы как-то по-особенному, горстью. Потом осторожно, понизив голос, спросила: — Ну как он, доктор? Вы уж мне по правде скажите.

Назимов поднял глаза, увидел, как старуха подалась вперед, ожидая ответа. И снова его поразило выражение ее глаз. Это была боль, густая, нестерпимая, как кипяток. И Назимов отвел взгляд от ее узкого, длинного, иконного какого-то лика.

— Покой ему нужен. Хорошего ничего нет, и возраст такой. Надеюсь, что все будет благополучно. Завтра врач придет. А если сегодня вдруг хуже станет, то вызывайте неотложную сразу, не ждите. Поняли меня?

— Поняла, сынок, поняла,— вдруг перешла на «ты» старуха.— Вот только скажи мне, долго ли ему лежать, на ноги-то подымется али нет? — Руки ее, длиннопалые, с выступающими под тонкой пергаментной кожей сухожилиями, легли на скатерть.

— Долго, бабушка. После такого сильного приступа долго нужно лежать.

— От беда-то какая. Всегда мне не везет с ним, с Матвеем-то.

— Радоваться надо, бабушка. Могло хуже быть, вызывать надо сразу,— сказал Назимов, продолжая писать.

— Да я ли не рада, сынок,— печально сказала старуха.— Только ведь его такого не бросить, а у меня место пропадет, я ведь — нездешняя. В отпуск к нему, к Матвею-то, приехала.

— Издалека? — машинально, без любопытства спросил Назимов.

— Издалёка, сынок, с-под Архангельска.

— А кто вы ему будете?

— Уж и не знаю, как сказать-то... Полюбовница вроде.

— Что-что? — Назимов поднял голову.

— Да вот, сынок. Ты уж не вини, если не так что сказала. Я это, знаешь, слов не больно много знаю. Может, по-вашему как по-другому называют, а у нас так.

— Так вы с родины приехали?

— Да нет, куда там. Мы с ним ярославские. А это, в Архангельской-то, я срок отбывала.

— Как срок? — не понял Назимов.

— Да так, пять годов мне было дано.

— За что же, бабушка?

— А, сынок, грех попутал. Взяла картошки полмешка из бурта в колхозе. Оно и время, право, было голодное. Это сорок седьмой год, недород у нас был сильный.

— Ну, а дальше? — уже с волнением спросил Назимов.

— Дальше известно что — засудили. Ну, а в пятьдесят третьем-то амнистия вышла, мне полгода-то скостили и судимость сняли. Да я уж там и осталась.

— А что, родственников у вас нет?

— Есть, как им не быть, сынок. У нас вся деревня родня — кумовья да сваты, вот родных-то уж нет. Дочка у меня от сердца в войну померла. Муж пораненный весь вернулся, не работник. Болел все. В сорок седьмом и отмучился. Вот тогда-то я и попала. Голодно было, сынок. Вещички-то, которые были, я продала-промотала, пока муж болел, да хоронила тоже на свои. Только лошадь с колхоза дали.

— Ну, а там тяжело пришлось? Что за работа была?

— Лесоповал — не сладко, верно. Ну да мы привычные.

— А сейчас где работаете?

— В леспромхозе. Я — и кульер, и печки топлю в конторе, и прибираю. Шестьдесят рублей платят, да дровы бесплатно.

— Мало по тем местам, наверное?

— Да уж не много, сынок. Ведь мне и приодеться охота, и чаю пачка на день идет, привыкла я там чай

пить крепкий — чифир по-нашему. Ну, да как-никак живу. Раньше-то срока помирать не хочу.

— Так вы в Ленинграде первый раз? — Назимов теперь внимательно ловил каждый жест старухи, смену выражений на ее лице. Давешняя тревога ныла в нем, и словно старуха могла помочь ему избыть эту тревогу.

— Впервой, сынок. Это он, Матвей, меня разыскал через наших деревенских. Да вот вызвал нынче. Я б так не поехала к нему, да написал, что один и хворый. А помирать-то одному нехорошо. Вот и приехала. Промеж нас ведь любовь была в молодости, да отец его не дал меня сватать, и он не ослушался. Нас-то восемь девок в дому было, и жили небогато. Ну а потом Федор мой, покойничек, засватал. Не лежало у меня к нему сердце, да куды денешься — не девка была уж. А Матвей-то в Питер подался тогда. Вот только и свиделись. Чует, доктор, сердце, что провожать мне его... Да что уж тут... Только место мое, боюсь, пропадет. Возьмут кого, там дело-то стоять не будет.

Тяжесть налегла Назимову на сердце. Хотелось слов каких-то особенных, чтоб легче стало ему и этой старой женщине, но слов этих он не нашел, сказал только:

— Ну, обойдется, может быть.

Когда уходил, старуха попыталась сунуть ему свернутую квадратиком трешку.

— Что вы, что вы, бабушка,— засмущался Назимов,— нельзя это. Прошу вас.

— Прости, сынок. Я от сердца, а порядков здешних не знаю.

Назимов поспешно прикрыл за собой дверь и сбежал по узкой лестнице.

6

Ужинал в кафе.

Он сидел у окна. По большому светлому занавесу плыли синие кораблики, немножко наивные, как детские игрушки, и солнца вставали наивные, желтые, в лепестках лучей, как ромашки. Уже протапливали, и, закрытая деревянной решеткой, батарея под подоконником веяла теплом. Народу было мало, и поэтому — тихо. Официантка попалась любезная, расторопная. Все располагало к спокойствию, умиротворяло. Но встреча со старухой не шла из головы. Будто сам он пережил эту горькую старушечью жизнь.

Но не трудность этой судьбы поразила Назимова — в середине нашего века не удивишь пережитым горем, оно стало обыденностью; скорее, счастливо прожитая жизнь кажется удивительной, возбуждая интерес и восхищение.

Можно спрыгнуть с Литейного моста ради похвальбы, думал Назимов. Как его фамилия, забыл... Перворазрядник по плаванию. Его, кажется, исключили из института. На спор прыгнул... А можно просто неуклюже слезть в воду с парапета, вытащить тонущего мальчишку... Можно и больше пережить, чем эта старушка, организм — прочная штука, только важнее, чтобы биологическая прочность имела еще эквивалент человечности. Если ты испытал боль и потрясен ею, и стараешься оградить других от этого — ты человек; если же хочешь, чтобы всем было так же больно,— ты не человек...

Думы эти напугали Назимова, потому что были неожиданными и необычными. Даже есть расхотелось, чего уж никогда с ним не бывало. Голова стала чужой, неподконтрольной и, словно в издевку, выдавала отрывочные картины, неприятные мысли последних дней, обрывки разговоров. Будто прикован был Назимов к разладившемуся телевизору, и нельзя его было не смотреть и нельзя выключить.

...Плыл на резиновой лодке «Еретик» француз-врач, иссушенный жаждой и голодом, палимый солнцем, снедаемый решимостью...

...Колыхались в сизой вышине северные сосны, и раскаленный мороз приморaживал глаза к векам, а старуха пилила лучком, и из соснового ствола, как кровью, брызгало розовыми опилками. А небо было густым и темным, как глаза страдалицы...

«Вот так начинается шизофрения,— подумал Назимов...— Навязчивые образы, бесконтрольная ассоциативность... Надо взять себя в руки...»

Он вышел, у витрины гастронома остановился, зашел и купил пол-литра водки.

«Выпьем с Олежкой»,— решил он, укладывая бутылку в портфель.

Он поднимался по отлогой лестнице с истертыми ступенями на третий этаж. Здесь все было знакомо ему с детства: щербины на кромках ступенек, орнамент уже разрушающейся лепки на стенах, широкие перила из потемневшего дерева. Но все это не вызывало в нем ни воспоминаний, ни улыбки, с которой обычно думают

о детстве. Просто была знакомая лестница, но в прошлое она не вела. Назимов не хотел туда возвращаться.

Не глядя на дверь, он нажал кнопку звонка, ту же кнопку, какая была. Звонок был тоже знакомым и тоже отчужденным, и ему стало неловко стоять перед этой дверью,— подумалось, что пришел не вовремя, что никто не ждет его здесь.

Сколько раз, будучи в ремесленном, бродил он вокруг этого дома и сдерживал желание войти, потому что знал — будут кормить, а у него не достанет сил отказаться, и он объест Олежку и Марию Ивановну.

— Колька! Здоро́во! — Олег стоял в дверях и улыбался. В детстве он был ростом больше Назимова, но потом они незаметно сровнялись, только Назимов был поплотнее.

— Не помешал?

— Проходи, проходи.

Комната показалась Назимову неожиданно маленькой. На окне была опущена штора из набивной ткани, горела лишь настольная лампа, освещая старый письменный стол с гнутыми ножками, на котором горбились раскрытые книги.

Олег включил верхний свет. Назимов сел на низкий диван с валиками, податливость его пружин была знакомой, испытанной. Что-то потеплело внутри у Назимова, и все вещи сразу стали близкими: и шкаф, громоздкий и немодный, и стулья с плетеными соломенными спинками, и буфет с нелепыми башнями.

— Ну, как вы там? — спросил Олег, садясь против Назимова.

— Да по-прежнему. Ты чего не показываешься?

— Знаешь, закрутился. Командировка была небольшая, а потом что-то делал. Холостяцкое житье — время куда-то девается, а куда, непонятно. Ты привык, чтобы все было на месте: сыт, обстиран, ухожен. А меня эти заботы заели просто.

— Да-а... И все равно холостому лучше.— Назимов опустил голову, полез за сигаретой.

— С чего вдруг такой скепсис? Случилось что?

— Ничего не случилось... Давай-ка лучше выпьем.— Назимов достал водку.

— У-у! У меня где-то банка шпрот завалялась, а так больше ничего нет. Да! Еще можно у соседки капусты попросить квашеной. Сейчас схожу.

Назимов, оставшись один, оглядывал комнату.

И опять ему казалось, что никто не может понять его, ни эти старые вещи, так много знавшие о нем, ни старый друг.

— Что набычился, Колька? Ты сегодня что-то не такой.— Олег сдвинул на столе книги, поставил миску с капустой.

— Да ничего я, что ты привязался? Стаканы давай.

— Сейчас все будет. Да-с, хлеб-то уже минерализовался. Дуранду помнишь, Колька?

— Да,— глухо ответил Назимов, но ему показалось, что он прокричал это «да». Тоскливое беспокойство дошло до предела, и он испугался, что сейчас сорвется ни с того ни с сего, изругает ни в чем не повинного Олега и уйдет.

«Типичное истерическое состояние»,— подумал он, сжимая челюсти.

— Колька, посмотри там, в нижнем ящике, шпроты.

— Да хватит тут всего, давай выпьем быстрей. Потом достанешь.

— Давай, давай. На́ вот, наливай.— Олег поставил стаканы, тарелку с неровно нарезанным хлебом, кусок копченой свинины. Назимов налил. Взял свой стакан, поднес к губам. От запаха водки его передернуло.

— Ну, будем здоровы,— сказал Олег.

— Будем.

Потом молча, сосредоточенно ели заправленную постным маслом капусту, жевали жесткий хлеб. Олег отложил вилку, потянулся за папиросами. Назимову он был виден в профиль — круглая, коротко стриженная голова, выпуклый небольшой лоб, глаз светлый, пушистый от ресниц, детский немного, а рот жесткий, мужской, и подбородок вперед. Руки у Олега большие, с широкими запястьями, пальцы в ожогах от паяльника,— в лаборатории ему не только схемы чертить приходится.

«Сколько лет... а что знаем друг о друге?» — подумал Назимов, и ему захотелось выговориться, поделиться своей тревогой, услышать успокоительные слова, понять, что не один он испытывает это смятение.

— Хорошо, что зашел,— неожиданно сказал Олег, не поворачивая лица.— А то теперь не скоро увидимся. Уезжаю на целый год.

— Куда это?

— На Север. Там производство от нашего НИИ.

Новую штуку будут осваивать. А я один из конструкторов.

— Это что, обязательно?

— Нет, могли другого послать. Мне самому охота. Места новые. Да и вообще, что сиднем сидеть.

— А тебе, Алька, все-таки надо уже бабу иметь. Только, чтобы связь была какой-то духовной. Как бы это сказать... ну, где начинаются эти тряпки-деревяки, там человеческое кончилось. Она начинает смотреть на тебя, как на машину, которая выдает счастье. Нет, это без расчета, неосознанно. А-а, в общем, г... все это. Налей, а?

— Непонятно.— Олег взял бутылку.

— Что тут понимать. Женишься — поймешь. Только лучше не надо. Сходишься и думаешь, что вот именно эта душа тебе родная, и лицо и руки тоже. А пройдет время, и вдруг видишь, что к лицу привык — не волнует оно уже,— что ничего духовного между вами не осталось, да и было ли. И ты вдруг понимаешь, что тобой руководят, трезво, расчетливо, как машиной, чтобы получить максимум пользы. Тебя кормят, обстирывают, стараются хорошо одеть. Машина хорошо работает только при хорошем уходе. Уже чувства твои никому не интересны и не нужны. Ты должен быть таким, каким тебя хотят видеть,— это называется хороший муж. Общее — только постель и вещи, а мысли, чувства — каждому свои, и все дальше, дальше друг от друга. Нет, тебя любят, и именно поэтому обрабатывают, совершенствуют, чтобы ты был не таким, каким пришел, а таким, как нужно... Давай-ка — за милых жен.

Они выпили, заели, и Олег выжидательно посмотрел на Назимова.

— Ну, если это одну сторону не устраивает, то так не получится.

— Эх, Алька,— идеалист ты. Когда на пятом-шестом году супружества делаешь это открытие, а то и позже, потому что тысяча дел не дает тебе опомниться, то тебя уже, как цепь, держит привычка, и жалость, и боязнь всяких сложностей, и еще всякая дрянь.

— Нет, Коля, если точно почувствовал все это, то ничего не удержит. Ну, а если удержит, то, значит, устраивает человека. И так ему и надо... Подвинься, достану шпроты.

— «Не удержит» — легко сказать. Да знаешь ли ты, что такое женщина? Ты еще только-только начинаешь разбираться в положении, а она уже чувствует опасность

и подсовывает тебе отвлекающую терапию, игрушку какую-нибудь. Ну вот, скажем, машину купить или вояж совершить в Карпаты. Смотришь, на год-другой опять все так, как ей надо. Так-то вот, Алька.

— Да, так что,— усмехнулся Олег,— это вроде психоза что-то?

— Психоз? Пожалуй. С определенной точки зрения, кругом — психоз. А вот если, наплевав на все, человек пускается через океан в каком-то резиновом унитазе? Или, имея все блага на земле, добивается счастья рискнуть жизнью в космосе? Это тоже психоз? Нет, милый... преодоление земного притяжения — так один мой больной сказал.— Назимов смолк, повесил голову.

Олег молча налил ему водки. Он выпил и тихо сказал:

— Чего-то окосел я здорово. Сутки почти отработал.

— Хочешь, полежи немного. Я чаю заварю,— Олег положил руку ему на плечо.

— Нет, Алька, спасибо. Пора подаваться к семейному очагу, а то розыск объявят через милицию. Я же — идеальный муж... Да, вот так. Ну, ты когда едешь-то? — Назимов встал.

— Послезавтра.

— А-а, зря. Зимы и здесь хватит.

— Нужно... У меня тоже что-то насчет семьи намечается. Хорошая женщина. Ребенок у нее, понимаешь. Обожглась раз, теперь трудно решиться. Не хочу давить, пусть сама подумает.

— Ну, дай бог. Из таких, хлебнувших счастья, настоящие жены получаются. Будь здоров. Надо будет, напиши.

Олег пожал руку, тихо сказал:

— Коля, вот возьми ключ, может, понадобится. Это материнский остался.— Он снял с гвоздя на дверном косяке ключ и протянул Назимову.

— Ладно. Бог его знает, может, и пригодится. Не провожай.

Назимов открыл замок входной двери и спустился по лестнице.

Сеялся мелкий бесшумный дождь, сквозь него плыли размытые огни трамваев. Над тротуаром колыхались цветные зонты женщин. Запотевшие витрины отражались в мокром асфальте овальными пятнами.

Он шагал сквозь этот пропитанный влагой осенний

вечер, и бессильная жалость бередила душу, и глупые, хмельные слезы навертывались на глаза.

Был пуст вагон поздней электрички. На переднем сиденье у двери всю дорогу целовались парень и девушка. Назимов видел их рдеющие, шалые от счастья лица, а они не замечали его. Их взгляды скользили по нему, как по пустым сиденьям. Назимов отворачивался к стеклу, за которым мелькали во тьме одинокие огни.

Все мешалось в мыслях, пугало яркостью отрывочных видений прошедшего дня и дальних лет. И он уже не пытался распутать эту мешанину мыслей и образов, найти ей медицинское определение. Он горестно плыл, предаваясь течению этих мыслей, и ощущал только безнадежную жалость к себе.

7

От станции к дому он шел медленно и горбился, будто нес тяжесть, и, не глядя под ноги, попадал в лужи и грязь.

Дом на горушке светился всеми окнами.

Назимов привычно, на ощупь снял крючок калитки, прошел через сад, горько пахнущий торфом и прелью, постоял на крыльце и, вздохнув, отворил дверь. В кухне звенела посуда, слышалось шипение газового пламени.

Муся сидела на диване, разложив бумажки накладных, и щелкала на счетах.

— Ты что так поздно?

— У Олега был.— Назимов хотел пройти во вторую комнату, но жена встала, подошла к нему.

— А стекла привезли. Сколько отдал, Коля?

Назимов ответил.

— Да ты что, с ума сошел? Это же грабеж! — Мусино лицо вспыхнуло.— Нет, в самом деле?

Назимов пожал плечами.

— Ты же сама договаривалась.— Он прошел в другую комнату.

— О чем это я договаривалась? Что, я была там? Вот разит от тебя. Пропил со своим Олегом, а теперь на стекла списываешь. Все вы одним миром мазаны. Не смотри за тобой, так земля бы давно держать перестала! Хоть бы ноги-то вытер, хлев тут устроил!

Слова жены ясно слышались в комнате, где Назимов, сняв пиджак, развязывал галстук.

— «Земля бы давно держать перестала»,— повторил

он. И от слов этих вдруг его охватила ярость, так что даже пресеклось дыхание. Резким шагом он пошел в сад через веранду. Наткнулся в полутьме на что-то твердое, услышал звон бьющегося стекла, но не остановился и, догадываясь, что это те самые стекла, даже с каким-то удовольствием прохрустел по ним подошвами.

Он долго стоял в саду, вдыхая сырой пронизывающий воздух, вслушиваясь в сухой шорох вишневой листвы. С турбазы неясно доносились музыка, слова песни. Назимов озяб без пиджака, но все не уходил. Спокойствие и ясность входили в него в этом стылом воздухе. Он чувствовал в себе безжалостную решимость, как на операции. В груди уже не теснило, не щемило тревогой, и в голове были холодные трезвые мысли.

Он вернулся в дом через крыльцо, вошел в комнату. Муся, все еще не остывшая, бросилась к нему, собираясь сказать что-то, но, взглянув Назимову в лицо, вдруг осеклась, прикрыв рот ладонью, и тихо, испуганно всхлипнула.

Назимов вошел в другую комнату и закрыл дверь.

ШАШЛЫЧНАЯ У ДОРОГИ

Шоссе здесь переставало петлять и устремлялось прямо к морю.

У подножья коричневой скалы, в тени огромных платанов, приютилась придорожная шашлычная — невысокое строение из желтого камня с аспидной крышей и красной кирпичной трубой, над которой всегда вился светлый курчавый дымок. Возле шашлычной была просторная каменистая площадь, где шоферы оставляли машины; тут же, под навесом, стояла водоразборная колонка.

Оплывающее солнце опускалось за вершины гор, и длиннее становились фиолетовые тени деревьев, перечеркивающие дорогу, и заметнее густое дрожащее марево над асфальтом.

А в шашлычной стоял полумрак от голубоватых занавесок, прохладно было и тихо. Огонь жаровни бросал красные отблески на низкий потолок, чуть пахло

горелым мясом, пряностями и кофе. За невысокой стойкой, подперев щеку темной ладонью, сидел буфетчик, в вырезе белой куртки виднелась волосатая грудь, огонь окрашивал бритую голову в костяной цвет. В резких морщинах его лба и темных глазах была спокойная и чуть грустная сосредоточенность, присущая лицам кавказского типа. Буфетчик сидел неподвижно, и можно было подумать, что он дремлет с открытыми глазами.

За дверью послышались шаги, и лицо буфетчика сразу утратило свою неподвижность, хотя он не переменил позы, не пошевелился,— то ли блеснули глаза, то ли от напрягшихся мускулов лица разгладились морщины.

Дверь отворилась, на пол легла полоса света. Вошел высокий парень с тощим мешком за плечами и с гитарой, висящей на боку на белом шнурке.

— Здравствуйте,— сказал парень и снял кепку, обнажив стриженную наголо круглую голову.

— Здравствуй,— ответил буфетчик неожиданно тонким голосом.

Парень осторожно притворил дверь и неуверенно огляделся.

— Открой занавес, пожалуйста,— сказал буфетчик.

Занавеска, скрежеща кольцами по металлическому карнизу, отошла в сторону, и в маленьком помещении стало светло. Парень скинул с плеча лямки мешка, положил его на пол у столика возле окна и подошел к стойке; стал смотреть на закуски под стеклом. Судорожно заходил кадык на его худой шее.

Буфетчик, поднявшись, спросил:

— Шашлык делать?

Парень помотал головой:

— Нет, селедки кусочек, пожалуйста, хлеба и чаю.

— Чаю нет, дорогой, один кофе. Есть с молоком, есть турецкий. Какой будешь?

— А-а! Ну, тогда бутылку пива,— сказал парень.

Буфетчик открыл пиво, поставил на стойку.

— Хлеба один кусок?

— Хлеба побольше. Пять кусков.

Парень взял тарелку и пиво, отошел к столику возле окна.

Буфетчик посмотрел на его грубоватые ботинки с кирзовым верхом, новые черные брюки из жесткой топорщащейся бумажной материи, ковбойку, залатанную на локте, но еще чистую и не измятую, покачал головой и сел.

Парень ел неторопливо, густо намазывая хлеб горчицей, маленькими глотками пил пиво...

За окнами стало темно. По шоссе шли машины, и в шашлычной был слышен отдаленный шум моторов.

Парень доел хлеб и сидел опустив голову. На фоне окна его силуэт казался совсем черным.

Буфетчик встал, вышел из-за стойки и щелкнул выключателем.

Парень поднял голову, прищурившись посмотрел на матовые плафоны под потолком, улыбнулся.

Буфетчик заметил эту улыбку, смерил парня пристальным взглядом и спросил:

— Что, устал путешествовать? Всё ногами, а солнце горячее.

— Немножко устал,— усмехнулся парень.— Вы не беспокойтесь, я только чуть-чуть посижу и уйду.

— Сиди, пожалуйста, сколько хочешь, что мне — места жалко? — буфетчик развел руками.— Сиди, дорогой. Я все понимаю. Только, э-э-э, не бережете вы свое здоровье. Я все понимаю: студент, откуда деньги, а наши места посмотреть хочется, но ничего не кушать нельзя, дорогой, заболеешь.

Парень опять усмехнулся:

— Что же поделаешь, если денег нет.

— Подождать надо, дорогой. Институт закончишь, станешь много денег получать, тогда ездий туда-сюда. А так помрешь голодный.

— Да я не студент... Нет ли у вас какой-нибудь работы?

— Какой работы, дорогой?

— Ну, хотите, я вам пол здесь вымою? А вы покóрмите потом меня.

— Что ты, зачем мыть пол, скоро люди приходить будут. Ай-я-яй, образованный человек, а должен пол мыть...

— Да не студент я вовсе. Был бы студентом, так в жизни не пошел бы шататься... Из заключения я.

Буфетчик пристально посмотрел на царня, подойдя поближе.

— Откуда, с мыса?

— Да.

— Давно?

— Третий день.

За дверью раздался скрежет металла по каменистой площадке. Потом дверь отворилась, и в шашлычную

вкатился безногий инвалид на низкой тележке с подшипниками вместо колес.

— Здравствуй, Мамед,— сказал инвалид.

— Здравствуй, Шалико,— ответил буфетчик.

Инвалид огляделся, заметил парня за столиком и поздоровался с ним. Потом, отталкиваясь деревянными чурками, он проехал к столику возле самой стойки. Отодвинул стул и, отстегнув ремешки, прикреплявшие тележку к поясу, ловко оттолкнулся руками от пола и вспрыгнул на стул.

Буфетчик, ничего не спрашивая, пошел за стойку, открыл бутылку пива и принес инвалиду. Потом поманил парня рукой, сказал:

— Там чурбаки стоят, возьми поколи,— и показал рукой на дверь за стойкой.

Парень вышел.

— Как дела, Мамед? — спросил инвалид.

— Понемногу, Шалико, слава богу.

За стеной раздались удары топора. Буфетчик кивнул головой в ту сторону:

— С мыса парень, голодный. Горчицу, как масло, ест. Шашлык тебе сделать, Шалико?

— Потом, Мамед, ладно, когда люди будут. Я ведь к тебе прихожу на людей посмотреть.

— Сиди, пожалуйста, Шалико, сиди просто так. Мне тоже хорошо, когда свой человек рядом.

Шалико отпил пива, вытер ладонью усы, взглядом показал на стену, за которой слышались удары, спросил:

— Это его гитара?

— Его.

— Что он, песни любит?

— Может быть.

— Это хорошо.

— Добрый ты, Шалико, потому так и думаешь.

— А ты злой?

— Зачем злой? Разные бывают люди, Шалико. Ты не хуже меня знаешь.

— Знаю... А-а, ничего не знаю, Мамед! Никто ничего не знает, какие бывают люди. Я люблю сидеть здесь у тебя, встречать незнакомых людей и говорить им: «Здравствуйте». И я еще не видел ни одного, который бы не ответил. Ты видел?

— Не видел, дорогой.

— Вот, посмотри на меня, будто ты только вошел, усталый, перевал проехал, руки болят, плечи болят.

Знаешь, как у шофера устают плечи? И вот я тебе говорю — здравствуй. И ты видишь, сидит красивый человек, ест мясо, пьет вино и хочет, чтобы ты был сытый и красивый. Понимаешь, Мамед?

— Все понимаю, Шалико.

— А когда я сижу, не видно, что ног нет?

— Не видно, Шалико. Я тебя так давно знаю, что мне никогда не видно.— Мамед глянул на дверь.— Все рубит. Что он там — спички, что ли, делает?

— Зачем ты послал его? Мог бы так накормить.

— Он бы не взял, наверно.— Мамед вышел в заднюю дверь.

Шалико, улыбаясь, посмотрел на свой стакан, допил его и достал большую черную трубку. Сунул в рот, шумно пососал через нее воздух и только потом стал набивать крупным желтым табаком.

Вернулся буфетчик, за ним вошел парень; смятая кепка торчала из кармана его штанов.

— Садись, садись, дорогой,— буфетчик указал парню на место у окна, посмотрел на Шалико.— Такие крепкие были чурбаки, карагач, все разрубил. Молодец.

Парень медленно прошел через зальце, сел, вытащил кепку из кармана и ее подкладкой вытер лицо.

Буфетчик принес тарелку с закуской, хлеб.

— Вот лобио. Ешь сначала, а потом шашлык будет.— Он вернулся за стойку и стал быстро нанизывать кусочки мяса и мелкие помидоры на черные шампуры, подкинул несколько чурок на угли жаровни, и отблески огня снова забегали по потолку розовыми тенями.

— И мне сделай один,— сказал Шалико и посмотрел на парня, склонившегося над тарелкой.— За компанию лучше кушать.

Парень приподнял голову, быстро взглянул, но ничего не сказал.

— Хороший будет шашлык, нежный.— Мамед уже крутил шампуры над жаровней. Мясо потрескивало и распространяло густой аромат.

Шалико курил. Дым клочьями относило к жаровне. Парень изредка позвякивал вилкой о дно тарелки.

Доносился шум моторов, проплывали за окнами качающиеся столбы света.

— Мамед, по стакану вина налей нам.— Шалико посмотрел на парня.— Выпей со мной, молодой человек.

— Спасибо,— парень усмехнулся виновато,— я не пил давно и...

— Это хорошо, что не пил,— вино вкуснее будет. Раз старик угощает, то нельзя отказываться. Такой у нас обычай.

Мамед принес Шалико шашлык, густо посыпанный зеленью, цокнул языком и сказал:

— Таким шашлыком бога угощать можно.

Проворно поднес парню тарелку с двойной порцией, снова вернулся за стойку, налил вина. Поднес стакан сначала парню, а потом Шалико.

Парень неловко кивнул в благодарность.

Шалико поднял стакан, зажмурившись понюхал вино.

— Ну, ты молодой — выпьем за тебя, чтоб ты был здоровый и счастливый.— Он медленно отпил полстакана.

Парень выпил, сомкнул губы и застыл, будто прислушиваясь к тому, что происходит в нем. Лицо его побледнело, и от этого резче проступили глаза; грустные и сухие, они вдруг сосредоточенно устремились в темень за окном.

— Хорошие у вас здесь места,— не оборачиваясь, проговорил он.

— А сам откуда? — спросил Шалико.

— Из Ленинграда. У нас там тоже хорошо.

— Мать, отец есть?

— Нет. В войну погибли.— Парень склонился над тарелкой, снимая с шампура кусочки шашлыка. Шалико посмотрел на буфетчика, тот покачал головой, возведя глаза к потолку.

Послышался треск уголька в жаровне, вздрогнули стекла от гула проходящей тяжелой машины.

Парень и Шалико ели. Буфетчик стал протирать тонкие стаканы. Стекло тихо позванивало в его руках.

Шалико отодвинул тарелку, допил остаток вина.

— Так, значит, никого нет.

— Нет.

— А специальность какая?

— Я шофер. Там научился, и права выдали.

— Здесь, на мысе? — удивленно спросил буфетчик.

— Нет, это еще на Севере.

— А теперь куда идешь, что делать думаешь? — спросил Шалико.

— В Рыбачий думаю податься: говорят, на промысел всех берут, на документы особенно не смотрят.

— А шофером не хочешь?

— Кто меня возьмет: ни трудовой книжки, ни классности.

— Да-а.

— Еще шашлык хочешь? Ешь, дорогой, не стесняйся,— сказал буфетчик.

— Нет, спасибо. Я даже устал от еды... Хотите, я вам что-нибудь спою?

— Спой, пожалуйста. Сам сочиняешь? — спросил буфетчик.

Парень пристроил гитару на колене, склонил голову на плечо и взял первый аккорд.

В это время в окно плеснуло белым светом, послышался близкий звук мотора. Свет скользнул по стеклам, пропал, и в окно стал виден серый бок большого фургона с крупной косой надписью; он медленно проплыл мимо, к площадке. Урчанье мотора стало тише, потом оборвалось. Хлопнули дверцы.

— О, гости! — обрадовался буфетчик.

Парень перестал играть, прижал струны ладонью.

За дверью послышались тяжелые шаги. Вошли два человека. Несмотря на то что один был значительно старше, в обоих поражало какое-то прочное сходство. Оно было не только во внешности — одинаковых угловатых фуражках с лакированными козырьками, высоких яловых сапогах и черных кожаных куртках, в крупных чертах очень спокойных лиц, в прямизне и одинаковом зачесе почти белых волос,— в этих рослых и, видимо, очень сильных людях сразу привлекало и вызывало уважение спокойное и скромное достоинство. С первого взгляда чувствовалось, что люди эти немногословны, но справятся с любым делом.

Они остановились перейдя порог, сняли фуражки, негромко поздоровались, одинаково наклонив светлые головы, потом прошли к ближнему столику.

Шалико ответил им радостным «здравствуйте», поздоровались буфетчик и парень. Вошедшие сели, неторопливо расстегнули кожанки.

Буфетчик подошел к ним, они негромко сделали заказ.

Парень положил гитару, достал из кармана окурок сигареты, зажег и стал курить, пряча его в ладони.

— Издалека, друзья? — спросил Шалико, берясь за трубку.

— Из Таллина,— ответил старший.

— О! Воевал там. Как дорога, трудная?

— Дожди большие,— ответил молодой.

— Да-а, у нас тоже. Вот первый день хорошо стало. Туристам на Водопад не проехать — нет дороги.

Парень прислушивался к разговору, медленно курил, часто посматривая на окурок, словно боясь, что он быстро сгорит. Буфетчик принес эстонцам бутылку нарзана, хлеб и стаканы. Запахли шашлыки, румянившиеся над жаровней. Буфетчик сходил за стойку и принес пачку сигарет. Парень полез в карман, но буфетчик придержал его руку. Парень принужденно улыбнулся.

— Вот тоже шофер,— сказал буфетчик эстонцам, показав на парня.

— На грузовой работаешь? — спросил старший из эстонцев.

— Нет, я еще не работаю, ищу работу. Хочу до Рыбачьего добраться, может, там устроюсь. Вы не в ту сторону едете?

— Нет, мы свернем на стройку, до развилки довезем,— ответил молодой.

— Оттуда километров пятьдесят до Рыбачьего, подъедем утром, так что машин попутных будет много,— пояснил старший эстонец.

— Спасибо, годится. А вы скоро тронетесь?

— Через часик поедем.

Мягко и часто застучали и расплылись по стеклу дождевые капли. Зашуршали кроны платанов над крышей.

— Ух ты, дождь какой,— сказал парень.

Буфетчик подошел, растворил дверь, выглянул наружу. Повеяло сырой прохладой, донеслась воркотня капель. Мохнатая ночная бабочка пролетела над плечом буфетчика, взвилась к потолку и стала ошалело метаться от плафона к плафону. По стенам заскользила ее суетливая маленькая тень. Буфетчик закрыл дверь.

— Сильный дождь, такой, как вчера.— Он прошел за стойку, принес эстонцам шашлыки.

— Ну, давай, спой, пожалуйста,— попросил парня Шалико.

— Да неохота как-то.— Парень застенчиво посмотрел в сторону эстонцев.

Старший ободряюще улыбнулся ему, сказал:

— Пожалуйста, спой.

Парень взял гитару, смущенно улыбнулся:

— Да ведь я плохо пою, так, для себя...— Он стал

тихо наигрывать, и лицо его постепенно становилось серьезным и напряженным.

Эстонцы перестали есть, молодой отложил вилку, подпер щеку ладонью. Парень сыграл вступление, но спеть ему опять не удалось, потому что отворилась дверь.

Первой вошла молодая женщина, с румяным влажным лицом. На голову и плечи был накинут кусок прозрачного пластиката. Мужчина, вошедший за ней, был высок, строен, но в мокрых волнистых его волосах блестела обильная седина. Женщина сняла и сложила пластикат, мужчина отогнул поднятый воротник пиджака, близоруко прищурился, оглядывая помещение.

— Здравствуйте,— сказал Шалико.

— Здравствуйте,— звонко ответила женщина и улыбнулась, вскинула руки, поправила пышную прическу.

Мужчина сдержанно кивнул и спросил:

— Среди вас нет шоферов?

— Тут все шофера,— сказал буфетчик. Он протер столик и жестом пригласил садиться. Женщина поблагодарила его улыбкой и села.

— Что у вас случилось? — спросил Шалико.

— Машина заглохла тут, за полкилометра, и не хочет заводиться. Я уж не хотел аккумулятор сажать, покрутил стартером немного и бросил.

— Вы посмотрели, не выскочил ли провод из бобины? — спросил молодой эстонец.

— Нет, я даже капот не открывал, все равно ничего там не понимаю,— усмехнулся мужчина.— Помогите, пожалуйста, а то придется на дороге ночевать.

— Какая у вас машина?

— «Волга», совсем новая, до сих пор ни разу не капризничала.

— Вот, попросите его,— старший эстонец показал на парня.

Парень с готовностью поднялся.

Мужчина подошел к нему:

— Уж выручите, пожалуйста. Буду вам очень признателен.

— Ну, пойдемте.— Парень нахлобучил кепку.

— Знаете что,— сказал мужчина,— я все равно вам не помощник. Вот ключи, заведете — приезжайте сюда, а не выйдет, так закройте ее снова. А мы здесь немного обогреемся.

— Ладно.— Парень взял ключи на цепочке.— Далеко стоит?

— Да нет, налево пойдете, максимум десять минут.

Парень вышел. Мужчина, потирая руки, присел к столику, попросил буфетчика:

— Дайте нам, пожалуйста, что-нибудь поесть горячего.

— Пожалуйста, есть лобио, перец, огурцы, горячее — шашлык. Только вы, дорогой, зря тут сидите. Шашлык не убежит, шашлык здесь. А вот автомобиль чужому человеку так сразу давать нельзя. И вещи там? — Буфетчик переглянулся с эстонцами, с Шалико, ища поддержки. Шалико опустил голову, эстонцы молчали.

— И вещи там, конечно, но я думаю, что ничего не случится,— ответил мужчина.

— Дай бог,— сказал буфетчик.— Только парень из заключения. Так-то хороший, но соблазн большой очень.

— Ладно, Мамед, подожди немного,— подал голос Шалико.— А то столько сказал, что потом стыдно станет. Придет он, никакой машина-шмашина ему не нужно.

Женщина внимательно посмотрела на своего спутника:

— Вот тебе и сюжет. Будет ли машина — неизвестно, а сюжет есть.

— Далеко едете? — спросил Шалико.

— Вообще-то в Бухту, в Дом творчества, но хотели Водопад проехать посмотреть. Говорят, очень красиво,— ответила женщина.

— На Водопад теперь нельзя — дорогу размыло.

Буфетчик принес хлеб и закуски, поставил. Шалико громко попросил вина. Мужчина сказал женщине:

— Теперь твоя очередь рулить, так что я могу выпить.

Женщина пожала плечами. Мужчина встал, неторопливо подошел к стойке, стал читать этикетки на бутылках, вытянув шею и близоруко щурясь.

Послышался близкий шум мотора, свет фар скользнул по стеклу.

— Приехал,— сказал буфетчик громко.

— Нет, это грузовая, «газик» наверное,— отозвался старший из эстонцев.

Все молчали, прислушиваясь... Притихшая на стене

бабочка снова вспорхнула и заметалась вокруг плафонов. Шум мотора смолк за стеной.

Широко распахнулась дверь, в шашлычную вошел человек в засаленном ватнике. Прямо с порога он громко поздоровался.

— О! — радостно приветствовал его Шалико.— Молодой стал, не узнать. А где борода?

Вошедший потер ладонью подбородок, смущенно огляделся. Потом снял плоскую кепку и прошел к столу, за которым сидел Шалико. Не спеша снял ватник, повесил на спинку стула и сел.

— Ну ее к бесу, бороду. Как живется?

— Потихоньку, дорогой. Давно не был ты. Куда едешь?

— В совхоз — стекло везу, движок. Мамед, сделай шашлык.

— Сейчас-сейчас. Скушай пока что-нибудь холодное.

— Ну, давай.

Буфетчик принес вилку и хлеб, спросил:

— Ты проезжал, не видел — «Волга» не стоит где-нибудь тут, близко?

— Черт его... машин-то много. А-а, видел, желтенькая такая, стояла на обочине, капот задран. А потом он меня обогнал: несся, как сумасшедший... Парнишка такой, в кепочке...

— Да? — Буфетчик посмотрел на мужчину и женщину, сидевших за столиком в центре. Мужчина встретился с ним взглядом и молча долил свой стакан.

— Теперь, пожалуй, и ты можешь выпить,— сказал он женщине. Она не ответила, взяла сигарету из пачки на столе, закурила.

— Надо допить бутылку,— сказал мужчина.— Киндзмараули, жаль такое вино оставлять.

Буфетчик подошел к их столику, постоял молча, потом сказал:

— Тут недалеко телефон есть — можно позвонить.

— Спасибо.— Мужчина выпил стакан.— Подождем еще немного.

Буфетчик развел руками и отошел от столика.

Повисла тишина, только тихо разговаривали Шалико и приехавший последним шофер.

Вдруг дверь распахнулась. Парень стащил кепку, подошел к столику и отдал ключи.

— Хорошо бегает машинка.— Улыбка его стала шире:— Я зажигание чуть-чуть вперед поставил...

Мужчина спросил:

— А что там было? Отчего заглохла?

— Проводок от конденсатора оборвался,— сказал парень.

— Ну, спасибо! Выпьешь?

Парень неуверенно пожал плечами, отошел к своему столику. Мужчина подозвал буфетчика, спросил еще вина.

— Я думаю, что по этому поводу необходимо выпить,— сказал он женщине. Она только усмехнулась в ответ.

— Ты чего так долго был? — громко спросил у парня Шалико.

— Да я прокатился немного. Машина больно хороша.

Буфетчик принес бутылку. Мужчина взял ее и подсел к парню, прихватив свой стакан. Они выпили под взглядами присутствующих.

— Какие вещи играешь? — спросил мужчина, кивнув на гитару.

Парень смущенно повертел стакан в пальцах:

— Да я играть-то почти не умею, так, аккомпанемент.

— А что за песни?

Парень усмехнулся, взял гитару, стал тихо наигрывать, потом вдруг резко изменил ритм и запел вполголоса:

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел. К Тверской заставе,
Ничего не видя, мальчик шел.

Голос парня был с хрипотцой, но приятный, пел он непринужденно, будто себе одному. И все слушали его, перестав есть, ближе подошел буфетчик, внимательно и настороженно смотрела женщина...

Шел, вдруг встал.
В шелк рук сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
За мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего? Зачем? Кому?

Парень низко склонил голову над гитарой, взял несколько протяжных аккордов и, не глядя ни на кого, продолжал:

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить...
— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить...

Парень резко заглушил гитару. Все молчали. Потом буфетчик сказал:

— Сам сочиняет.

Женщина скривила губы. Мужчина посмотрел на парня, тихо сказал:

— Что-то знакомое. По-моему, текст я где-то читал.

— Конечно. Это Маяковский.

— А что, бывает, что и сам что-нибудь придумываешь?

— Бывает.

— О чем же?

— Да о разном... Можно сказать, про любовь, и мордобой, и про скитания...

— Ну и как, увлекает такое занятие?

— Да как вам сказать? Чужие песни, конечно, интереснее. Поёшь — переживаешь, а свои — уже нет. Знаешь, что сам выдумал, и уже не то.

— А зачем же выдумываешь, если самому неинтересно?

— Так, от нечего делать. Я в колонии сидел. Придешь с работы, и мысли всякие в голову лезут, ну вот и стал придумывать про красавиц и каравеллы.— Парень пожал плечами.

Мужчина снова наполнил его стакан, налил себе и выпил.

— Нестоящее это дело.— Он резко отодвинул стакан.— Я знаю много таких историй. Сначала от нечего делать пишут скверные стишки или малюют пейзажики, потом это увлекает, хочется, чтобы принимали всерьез. А никто не принимает... Немало подонков начинало с этого, и если потом, не дай бог, такому удавалось стать министром либо генералом от инфантерии или от литературы, то тут уж он брал реванш за то, что когда-то люди не плакали над его дрянными стишками.— Мужчина чиркнул спичкой, закурил.

— Да нет, я и не собираюсь писать стихи. Это — просто так...— Парень поднялся, подошел к эстонцам, увидев, что они расплачиваются.

Мужчина вытащил из кармана деньги, незаметно сунул в мешок парню и пересел к женщине.

Эстонцы вышли. Парень подхватил мешок и гитару и пошел за ними. На пороге он обернулся и попрощался со всеми.

Последними из шашлычной уехали мужчина и женщина.

Буфетчик загасил жаровню, закрыл на засов дверь, выключил свет. Шалико дожидался его на улице.

Была прохладная от прошедшего дождя ночь. Море угадывалось вдалеке по сизому свечению неба.

Тележка Шалико плавно катилась по асфальту шоссе; он дымил трубкой. Буфетчик шел рядом и, размахивая руками, что-то говорил.

Проносились машины, светом фар выхватывая из темноты их черные фигуры.

ЛЕВ И МИШКА

В этом году у матери — работницы Монетного двора — не было летнего отпуска, и Мишка остался в городе. Правда, он считал, что в городе ничуть не хуже, чем в деревне у бабки.

Дом, где жил Мишка, стоял в углублении кронверкской куртины с внешней стороны Петропавловской крепости. Сразу же от дома полого спускался песчаный берег Кронверкской протоки, а на другом берегу подковой выгибался Артиллерийский музей — огромное угрюмое здание с глубокими амбразурами окон в толстых стенах, сложенных из крепкого кирпича, служившее когда-то пороховым и пушечным складом. За сотню лет от смоляных костров верфи, от пушечных залпов и жестоких пожарищ кирпич пропитался дымом и чадом, стал темно-вишневым и твердым. По берегам протоки росли старые кривые деревья, бурьян. Здесь, над медленной мелкой речушкой в центре большого города, стояла дремотная деревенская тишина, слабо покачивались лодки с обшарпанными боками; на них никто не плавал, только Мишка иногда забирался в какую-нибудь и раскачивал с борта на борт или нырял с прогретой солнцем занозистой кормы в неглубокую ясную воду.

Мишка чувствовал себя хозяином на берегах Кронверки, на шумном пляже и старых крепостных бастионах, потому что жил здесь с самого рождения. Он любил подняться на Государев бастион, сидеть там на теплой от солнца гранитной плите и смотреть на Большую Неву, подступающую к самой стене. Чумазые буксиры деловито резали невысокую стрежневую волну, непринужденно скользили изящные речные трамвайчики, вздымая белые буруны над крыльями, стремительно проносилась «Ракета». Ветер трепал темные Мишкины вихры, забирался в ноздри чуть расплюснутого носа.

От этого ветра, от солнца, от простора Невы, от стремительного взлета золотых шпилей становилось так хорошо на душе, что хотелось кричать во всю силу наполненных ветром легких.

Но в последние дни все это уже не радовало Мишку. Шла вторая половина августа, и над городом ярились короткие осенние грозы, переходившие в нудные проливные дожди. После них в кронах деревьев вдруг появлялась желтизна, и ветер, налетавший с Невы, все чаще и чаще утаскивал с собой пригоршню поблекших листьев. Но в ясные дни еще жарко светило солнце, было многолюдно на пляже, и о грядущей осени напоминала только необычная прозрачность воздуха, отчетливость длинных косых теней от деревьев да безлюдье на лодочной станции.

Мишка скучал по школе. Он представлял себе, как соберутся все ребята их четвертого «в» первого сентября и будут рассказывать о том, как провели лето. Вовка Савичев будет хвастать, что ловил огромных щук в Оредежи; Толик Птицын — длинно рассказывать, как лазал на горы в Крыму,— он каждое лето ездит в Крым к дядьке. А вот ему, Мишке, нечего рассказать. Разве расскажешь о том, какая бывает Нева ветреным солнечным днем, когда смотришь на нее с крепостного бастиона; или о том, как вдруг становится грустно и одиноко, и сам не знаешь, отчего это. Может, оттого, что болен Юрка: без друга всегда скучно. И угораздило его заболеть летом, да еще какой-то свинкой, от которой шея становится толще головы. Когда он вчера выглянул в окно, Мишка с трудом узнал его. Нет, болеть хорошо зимой, когда еще далеко до каникул. Тогда не нужно ходить в школу и можно читать целый день книжки или просто, закрыв глаза, лежать и думать, и делать вид, что спишь, а мать тогда начинает ходить на цыпочках, а ты

лежишь и думаешь, будто идешь на паруснике вдоль экватора и навстречу пиратская бригантина, и ты командуешь: «Марсовые, на реи! Комендоры, к орудиям!» И сам становишься за штурвал. А океан зеленый и теплый, и до горизонта ни паруса, ни птицы вокруг... Вообще, в уме можно представить себе что угодно: что ты космонавт, Юрий Власов, даже круглый отличник. Но все это хорошо зимой, когда лежишь в постели, а когда на дворе еще лето и твой лучший друг выглядывает из окна и даже не может кивнуть тебе головой, потому что у него так распухла шея, что уши торчат шире плеч, тогда тебе ничего не идет в голову и скучно, и хочется чего-то совсем непонятного, и от этого становится еще скучней.

Сегодня Мишка даже не выходил из дому, хотя стоял погожий безветренный день. Он перебрал свои марки, разложил их по спичечным коробкам, потом примерил новую школьную форму, которую мать купила тайком от него. Мишка уже давно знал об этом, но не показывал виду,— пусть, раз мать так хочет. Форма, конечно, хорошая, но все равно сейчас носить ее плохо: слишком она теплая, да и порвать можно нечаянно.

Мишка сложил форму, убрал ее в шкаф, снова надел свои синие тренировочные брюки, красные кеды и старую ковбойку и обвел глазами комнату, ища, чем бы заняться. Но в комнате все было прежнее, давно знакомое и надоевшее. Тупо разглядывало Мишку круглое стенное зеркало, равнодушно раскачивали свой желтый маятник большие старинные часы, и, понурив головы, всё куда-то шли и никак не могли уйти костяные слоны на этажерке. За стеной слышались отрывистые звуки. Мишка знал, что это старый гравер Иван Абрамович настраивает скрипку. Он недавно вышел на пенсию и теперь часто играл на скрипке и все рисовал цветы или яблоки на небольших холстах. В его комнате все стены были увешаны картинами, на которых были цветы или яблоки, или то и другое вместе, а Иван Абрамович все рисовал и рисовал новые, и для этого покупал букеты цветов и потом отдавал их матери, а яблоки доставались Мишке.

Иван Абрамович заиграл что-то тихое. Мишка собрался уйти, но прислушался к музыке и остался. Он встал у окна и смотрел на Кронверку. Скрипка за стеной набрала силу, запела, и Мишке показалось, что это про далекий океан и бесконечную дорогу играет Иван Абра-

мович, и про солнце, про Кронверку и еще что-то самое важное и хорошее, чему он, Мишка, не знает имени, и от этого становится беспокойно и куда-то хочется идти. И Мишка вышел из дому и побрел по берегу, сшибая ногой лопухи... Он перешел мост и мимо бензоколонки по другому берегу протоки направился к лодочной станции.

Лодки тесно толпились у дощатых мостков. Им, наверное, тоже было скучно стоять на одном месте в сонной воде.

У края мостков на перевернутом ведре сидел дядя Саша и курил трубку, пуская дым сквозь желтые усы. Вместо правой ноги у него из штанины торчала деревяшка с железным наконечником. В войну дядя Саша служил на торпедном катере, а теперь работал здесь, на лодочной станции. Летом, когда много людей каталось на лодках, Мишка часто помогал ему.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Михаил.

— Тихо. Никто не катается?

— Время такое. Еще придут.

— Скучно. Почему так?

Дядя Саша пыхнул дымом сквозь усы.

— Понимать надо: осень идет. Видишь, деревья задумались, лист ронять собираются.

— Ну и что! А почему на лодках никто не катается?

— Чудак ты, Михаил,— все тебе сразу надо. Люди тоже осень чувствуют. Вот деревья сбросят ненужный лист. А человек — что? Он понимает, что на год стал старее. Нету у человека листвы, чтобы сбросить можно было, так всё вот копим и сбросить не можем.

— А нам в школе говорили, что человек родственник обезьянам, что у нас с обезьянами один общий предок.

— Это правильно, только сначала все живое от растений пошло, вот так и получилось, что деревья и люди родственники. А уж потом человек возвысился над всеми.— Дядя Саша кашлянул, сплюнул в неподвижную воду, погладил грудь, обтянутую линялой тельняшкой. Мишка помолчал, глядя, как он выколачивает и снова набивает трубку, потом спросил:

— А почему вода спокойная, а лодки все равно качаются? И вон шестнадцатая больше всех.

— У лодок тоже свой характер. У шестнадцатой нарушен обвод — она валкая и рыскливая. У девятой штирборт выпученный, вот она и косит, и нужно всегда

левым подтабанивать; двадцать первая, как колун,— ее никак не разгонишь, потому штевень у нее тупой; а вот тринадцатая, та что надо, по всем статьям — и ходкая и послушная, ее легкий человек делал. Вон и люди пожаловали, а ты журился.

К фанерной будочке кассы, где над книжкой скучала толстая кассирша, подошли мужчина и женщина, взяли билетик. Мужчина первый сошел на мостки по каменистому откосу и подал руку женщине. Она осторожно спустилась, посмотрела вокруг и сказала:

— Ветер холодный.

Ветра не было, но мужчина снял пиджак и накинул ей на плечи.

— Мы недолго,— сказал он и стал подворачивать обшлага брюк.

Дядя Саша молча посмотрел на него, отвязал двадцать первую и придержал багром за борт, пока они садились.

— На этой не замерзнут,— пробурчал он в усы.

К кассе подошла еще одна пара — парень в «техасах» и таких же, как у Мишки, красных с синим кедах и тоненькая девушка в белом сарафане и белых туфлях на гвоздиках. Они чему-то громко смеялись; получив билетик, еще задержались у кассы, и парень что-то рассказывал девушке, стоя спиной к мосткам и размахивая руками, а она щурилась на низкое солнце и смеялась. Парень спрыгнул с откоса прямо на мостки и протянул девушке руку, но она не взяла руки, а сняла туфли и сама спрыгнула на мостки, и они опять засмеялись.

— Эк их разбирает,— пробурчал дядя Саша.

Мишка стал отвязывать ближнюю к краю лодку.

— Погоди, Михаил, не эту,— сказал дядя Саша. Он отвязал самую ходкую, тринадцатую, сошел в нее и, отталкиваясь багром от мостков и других лодок, подвел к краю и вылез, стуча о мостки деревянной ногой. Девушка впрыгнула первая и села на весла, парень оттолкнул лодку и вскочил в нее. Дядя Саша и Мишка немного посмотрели вслед быстро уходящей лодке. Девушка невысоко проносила весла над водой и загребала ловко и сильно, и при каждом рывке ерошились ее короткие волосы, освещенные солнцем.

— Ну, я пойду,— сказал Мишка.— До свидания.

— Будь здоров, Михаил.

Мишка пошел к музею, миновал шеренгу старинных

пушек, через огромные ворота вошел во внутренний двор, где вдоль темно-вишневых стен на колодках стояли заслуженные орудия минувшей войны с табличками: «Руками не трогать». Мишка не стал трогать, потому что бывал здесь тысячу раз и все давным-давно перетрогал. Большой мощенный булыжником двор был безлюден и тих. Мишка постоял у входа в музей и не пошел внутрь. Он пролез между прутьев ограды у самой воды и зашагал дальше по берегу. Здесь было совсем дико. Чахлые уродливые ивы соскользнули к самой воде, стеной стоял гигантский репейник, с суставчатыми, как паучьи лапы, ветками. Вдалеке глухо скрежетали трамваи на проспекте Максима Горького, не видно было крепостной стены и Мишкиного дома, только сверху блестел шпиль собора с ангелом на кресте. Справа тянулся забор зоопарка. Мишка приник лицом к серой неструганой доске, заглядывая в щель, но ничего не увидел. Он попытался сдвинуть доску, и она поддалась. Мишка просунул в дыру голову, огляделся и протиснулся всем телом. Он прошел мимо клеток с джейраном и горными козами, посмотрел, как жирафы попрошайничают, перегибая шеи через высокую сетчатую ограду. Взрослые приподнимали детей, опасливо протягивавших жирафам булку или надкушенное яблоко. Жирафы высовывали длинные темные языки и, как черпаками, подцепляли ими подачку. Люди толпились около клеток, громко смеялись дети. Мишке стало еще скучнее. Звери в клетках были какими-то вялыми, с равнодушными мордами и слежавшейся шерстью.

Бегемот весь погрузился в воду, торчали только шишки глаз и ноздри. Мишка постоял возле бассейна, надеясь, что бегемоту надоест сидеть в воде, но бегемот был терпеливей его и не вылезал.

Мишка пошел дальше. Навстречу ему повеяло каким-то другим, густым и крепким запахом. Возле этих клеток люди не хохотали так, как у обезьянника; они стояли у невысокой ограды и смотрели с почтительным молчанием.

Тигр спал на полу, совсем близко от прутьев решетки. Он лежал на боку, вытянувшись во всю ширину клетки. Мишке было видно его брюхо со светлой пушистой шерстью и розовые подушечки на концах мощных лап; топорщились жесткие усы на белесой верхней губе.

Мишка уперся грудью в ограду и смотрел на тигра,

освещенного неярким солнцем, и чувствовал, как замирает дыхание; он представлял себе, как тигр вот так же спит после удачной охоты где-нибудь в заболоченных джунглях, и звери обходят это место, учуяв тигриный запах во влажном, полном пряных испарений горячем воздухе. А тигр спит спокойно, он знает, что никто не осмелится нарушить его покой...

— Смотри, какая киска,— сказала женщина маленькой девочке.

Мишка недовольно покосился на нее. «Шли бы обезьян смотреть, что они в тиграх понимают»,— подумал он и перешел к клетке со львом.

Лев ходил от стены до стены вдоль решетки, глядя прямо перед собой хмурыми желтыми глазами. Ширины клетки ему хватало только на один пружинистый шаг. Он неслышно ступал толстыми мягкими лапами, и от этого казалось, что его большое желтое тело раскачивается в воздухе от стены до стены, как маятник старинных часов у Мишки в комнате.

Лев не замечал Мишку и других людей, он размеренно ходил, чуть понурив огромную косматую голову, и глаза его то светились, то тускнели в тени, отбрасываемой толстыми прутьями решетки. И Мишке показалось, что лев, расхаживая, вспоминает что-то свое, может быть Африку, когда он еще жил там свободным и счастливым. А может, он обдумывает, как ему вырваться из клетки, и воображает, как в ужасе оцепенеют все эти люди, когда он скачками помчится по аллеям в ту сторону, где всходит солнце. Он не тронет никого, он не сердится на этих людей, но ему надоело сидеть в этой глупой клетке. Он будет бежать день и ночь и прибежит туда, где жил всегда. Глубоко вдавливая лапы в желтый горячий песок, он выйдет на берег зеленого океана, услышит плеск прибоя, и соленый горячий ветер взъерошит его гриву, и тогда он зарычит победно и страшно, как не рычал уже очень давно...

И, стиснув кулаки на перилах ограды, Мишка чувствовал, как его тело переполняется могучей силой и сам он становится страшным и гордым, и чуть-чуть сродни льву. И Мишке хотелось, чтобы лев повернул голову и встретился с ним взглядом. Ему казалось, что в глубине львиных глаз, где вспыхивают мрачные огни, он увидит что-то самое главное и сам навсегда станет таким, как лев. Но лев не обращал внимания на Мишку, он расхаживал по клетке и лишь иногда, прижимаясь

коротким ухом к прутьям, взглядывал вдоль решетки, словно ждал кого-то с той стороны.

Проснулся тигр. Встал, потянулся сначала передними, потом задними лапами, презрительно глянул на людей, зевнул, обнажая страшные клыки, и тоже заходил по клетке. Заволновались пятнистые ягуары, рыча отошли к задней стене своей клетки и остались там, с холодной свирепостью сверкая зелеными глазами. Противно закричала пятнистая гиена. Из противоположных клеток донеслось писклявое тявканье песцов. Заплакал маленький, похожий на облезлую дворняжку, желтый шакал.

Мишка не заметил, когда появилась за оградой девушка-уборщица. Она поливала полы клеток водой, скребла их железным скребком, просовывая его между прутьями решетки.

Ягуары, злобно шипя, прижались к углу клетки и затрясли мокрыми лапами. Люди засмеялись. Девушка перешла к клетке тигра. Тигр зарычал, когда она пустила струю воды на пол его клетки, злобно фыркнул и ударил лапой по скребку. Девушка, будто не замечая его, быстро убрала и перешла к клетке льва. Он головой и косматой гривой приник к решетке и что-то заурчал, тихо, но грозно. Девушка положила скребок, улыбнулась и сказала:

— Здравствуй, Дунай.

Лев заворчал еще громче. И девушка вдруг просунула руку между прутьев и погладила львиную голову. Лев сразу завалился на спину, положил передние лапы на грудь и закрыл глаза, а девушка гладила ему морду, лапы, почесывала брюхо.

Это было даже смешно: огромный лев перекатывается на спине и сучит лапами. «Не хватает еще, чтобы он замурлыкал»,— подумал Мишка. Ему стало немного стыдно за льва, и в то же время было приятно смотреть, как девушка гладит его и улыбается и что-то тихо приговаривает. Неужели совсем не боится?

Мишка пристальнее всмотрелся ей в лицо. Пухлые губы улыбались, задорно спадала на лоб пушистая челка, щурились в улыбке глаза, и она без страха гладила льва круглыми маленькими ладошками.

— Ну, хватит, вставай, я уберу,— сказала она льву и толкнула его в бок. И лев послушно встал и отошел в сторону. А Мишка смотрел не на него, а на девушку и улыбался.

Он дождался, пока девушка убрала клетки, вышла из-за ограды, и подошел к ней.

— Скажите, а лев злой? — спросил он, чувствуя, как загорелись уши.

Девушка остановилась, внимательно посмотрела на Мишку и, прищурившись, улыбнулась.

— Нет, он добрый.

— Значит, если его выпустить, он никого не тронет?

— Ну как же! Он же — лев, дикий зверь.

— А как же вы тогда его гладите?

— Он привык ко мне. Это нетрудно, нужно только не бояться, а звери всегда чувствуют, когда к ним хорошо относишься. И вообще все звери, хоть и хищники, но добрые.

— А тигр?

— О, он очень нервный, его дрессировщик в цирке мучил, и теперь он не доверяет людям, а вообще-то он тоже добрый. А ты любишь зверей?

— Люблю. Они сильные, лев и тигр.

— Ну, приходи почаще.— Девушка опять улыбнулась, сощурив глаза, и ушла.

Ночью Мишка долго не мог уснуть. Он лежал в темноте, слушая дыхание матери, мерный стук стенных часов и гудки буксиров с Невы. Он вспоминал, как улыбается девушка, как урчит добрый лев.

Он незаметно заснул, и снились ему деревья, роняющие листву, и школа, и старые лодки на Кронверке.

Следующий день был прохладным и пасмурным. Ветер морщил тихую Кронверку, стряхивал листья с деревьев. Но на душе у Мишки было радостно. Он весело делал дневные дела: мыл посуду, мел пол, ходил в магазин. Под вечер он собрался в зоопарк, причесал перед зеркалом ершистые волосы, сырой тряпкой протер красную резину на кедах. На кухне в глиняной крынке стояли махровые астры. Их купил Иван Абрамович, чтобы рисовать новую картину. Мишка вытащил из букета два лиловых цветка, потом, подумав, взял еще белый.

Ветер сухо шелестел репейником и ветвями ив. Мишка сунул цветы за пазуху и полез в дыру.

В зоопарке было безлюдно. Звери лежали хмурые. Мишка смотрел, как девушка убирает клетки. Она торопилась и даже не погладила льва, хотя он приник гривастой головой к решетке и ласково проурчал что-то, но потом обиделся и отошел в глубину. А девушка,

быстро закончив уборку, скрылась в помещении за клетками и вышла оттуда уже без халата, в голубом платье. К ней подошел парень с красной спортивной торбой, и она, прищурясь, улыбнулась ему и не заметила Мишку. Парень обнял ее за плечи, и они куда-то пошли. Мишка смотрел им вслед, пока они не скрылись за поворотом аллеи, потом подошел к львиной клетке. Лев лег у решетки на вымытый пол. Мишка тихо позвал его:

— Дунай.

Лев повернул голову, и они встретились взглядами. В желтых глазах льва была только грусть. И Мишке стало жаль его, он вдруг понял, что лев одинок и уже, наверное, старый, и никогда не вырваться ему на волю, не увидеть горячих африканских песков, не почувствовать себя властелином над пугливыми зебрами и неуклюжими буйволами, над обмелевшими от зноя речками, над яркими тропическими звездами,— над всем, что есть в мире хорошего.

Они долго смотрели друг на друга. Мишке казалось, что лев все понимает, но лев отвернулся. Он положил голову на лапы и закрыл глаза. И ветер, забравшийся в клетку, взъерошил его косматую гриву.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

Живи по-старому, проживешь дольше; мели по-новому, намелешь больше.

Пословица

Алексей спал мало, но проснулся затемно. Долго пил из закопченного чайника стылый кипяток, большими глотками пропуская его сквозь пересохшее горло.

Потом хрипел, кашлял.

Ночью он глушил брагу с дедом Зогаром, сторожем продсклада, и, выпив воды, почувствовал, что хмель не отпустил.

— О, холера,— сказал он покачнувшись и сел.

Лампочка под потолком горела вполнакала, освещая только топчан у стены, приколотую над ним обложку

«Огонька» с цветущими яблонями; дощатый стол с чайником, горбушкой черного хлеба и кусками рафинада; еще возле топчана стояла табуретка с ворохом одежды. Углы и боковые стены избы скрывались в темноте, только поблескивал наросший на окне лед.

Из кармана ватных штанов Алексей достал кисет, положил рядом с собой, вытащил клочок газеты, расправил на колене, насыпал махорки и ладонью скатал цигарку; поднес ко рту, послюнил край, заклеил. Зажав коробок между колен, чиркнул спичкой.

Курил и смотрел в наполненный темнотой угол избы, чесал грудь под застиранной рубахой, шаркал желтыми ступнями, потому что понизу тянуло холодом. Потом одевался: наматывал портянки, обувал высушенные на печи валенки, широким ремешком прилаживал на культю железный крючок, надевал шуршащий длинный фартук из желтой клеенки с размытым голубым узором, шубную рукавицу, к ладони которой черной ниткой был приметан кусок такой же клеенки.

Дверь Алексей не замыкал, припер лопатой, чтоб не отворилась, и пошел узкой стегой, намятой по снегу, напрямик к воротам конпарка.

Слева в воздухе светилась цепь расплывчатых желтых пятен. Это над забором и колючей проволокой лагерной зоны горели фонари. По их тусклости Алексей понял, что мороз, поджавший накануне, отпустил,— в большой холод фонари лучились белым сильным светом.

Шел он неторопливо, крепко ставил ноги, чтобы не оступиться, потому что сбоку тропы снегу было по пояс.

От зоны тихо, но ясно донеслось: «Стой! Кто идет? — Начальник караула.— Начальник — ко мне, остальные на месте!»

«Смена,— подумал Алексей,— шесть часов. Спят на поселке еще. А ничего, разбужу, не помрут. Мне тоже без надобности ждать, пока выспятся. Буду стучать, пусть чешутся, коли потом неохота с ведром на родник идти. А пока запрягаю да лед обколю, уже полвосьмого будет. Самое время».

На повороте тропы его качнуло.

— Вот, Зогар, заделал бражку. И пить ничего, приятно. Дрожжей переложил, а так хорошо,— он усмехнулся весело.— Ну и хитрый же цыган — догадался в огнетушитель бражку замутить. Конечно, где там надзирателю найти — висит себе огнетушитель, как ему

положено. Ну и цыган,— Алексей хмыкнул коротким смешком, вспомнив Зогарово лицо с широкими бровями, быстроглазое, в окладе черной с проседью бороды.— А бороду он чтобы больше доверия было носит. Я и то думал, что он старый, а он на три года всего и старей меня. Вот ведь не воевал, а подломило. Но умеет жить мужик. И то, тут научишься, он уже, верно, шестой год волокет. Ну, молодец: без конвоя ходит. Он же подлостей не делал. Сам живет и другим не мешает. С его сроком придурнуться не грех.

Алексей вышел на укатанную санями дорогу, подходившую к конпарку, и отворил ворота.

Снег во дворе был ноздреватым и темным от навоза. Стояли рядком телеги, превратившиеся за зиму в сугробы с торчащими оглоблями.

Алексей подошел к саням с водовозной бочкой, тронул валенком передок, покрытый льдом со вмерзшей соломенной трухой, и постучал в замороженное окно будки конюха.

Толстый носатый конюх вышел на крыльцо, зевнул с хрустом в челюстях, раздирая широко рот, черный, как овраг.

— Чего тебе не спится? Давил бы клопа до обеда. Кому сейчас вода нужна? Не буден день,— сказал он недовольно.

— А хоть и никому. Я, как тот петух, свое прокукаречу, а будет ли солнце, нет ли, то не мое дело. Я к обеду, может, уже выпить хочу,— ответил Алексей, и ему сильно захотелось выпить. Он явственно представил себе вкус и холод водки, край граненого стакана на губе, сглотнул набежавшую слюну и поморщился как обычно, когда случалось пить без закуски.

Конюх пошел впереди, косолапо ступая в черных хороших чесанках и белея кальсонами между голенищами и полушубком. Отомкнув висячий замок, он приоткрыл ворота конюшни, пропустил Алексея; сам, поглубже запахнув полушубок и сунув руки в рукава, остался у ворот. Алексей вынес упряжь и вывел лошадь.

— Ну, вали, Иван, досыпай. Мы к обеду управимся,— сказал Алексей и похлопал лошадь по шее.— Что понурилась, Середа? Тоже не проспалась?

— Списали твою Середу. Вчера ветеринар был, акт составил. Приказ был, всех списать с признаками анемии. Так что на этот год на них фуража не выпишут,— сказал конюх, замыкая ворота.

— Так куда ж теперь Середу-то?

— Забить на мясо, либо собакам вохровским, либо в коммерческую, в зону,— конюх зевнул на крыльце и скрылся.

Алексей постоял, посмотрел на погасшее окно будки, сказал тихо:

— Так, значит.

Запрягал он быстро. Уперся ногой в клешню хомута, затянул и закрепил обмотом супонь. Лошадь стояла смирно, помаргивая редкими желтыми ресницами и пуская пар из ноздрей. Алексей подобрал вожжи, подтолкнул плечом бочку, помогая лошади стронуть припаявшиеся полозья, и, когда она взяла с места, сел на передке, поставив ноги на оглоблю.

Сани негромко скрипели в колее. Споро шла лошадь. Опершись о днище бочки, Алексей все еще ощущал в себе действие воображаемой водки. В груди подымалось тепло и расходилось по рукам и ногам, и от этого еще сильнее хотелось водки, уже настоящей, наяву. Или, на худой конец,— бражки. Но Алексей хорошо помнил, что с Зогаром они выпили весь огнетушитель. Он знал, что буфет в поселке откроется в девять часов и выпить до этого времени удастся только если ему поднесет стаканчик какая-нибудь хозяйка, которой он привезет воду.

Небо на востоке начинало сереть, предвещая медленный рассвет. От поселка слабо тянуло ветром с запахом дыма. Алексей, почувствовав этот запах, подумал, что в пекарню он привез вчера три бочки воды и сегодня хватит одной. Усмехнулся:

— Перепугает все хлеба Филипп, если хмельной. На водку он слабый. Вот будет потеха.

Потом он подумал о Середе, что зря списали,— лошадь еще справная, и вспомнил другую Середу, в честь которой была названа лошадь.

Жила на поселке лет пять назад Лидка Середа, ссыльная, чума-баба. Говорили, что она артистка. Алексей не видал, он тогда в зоне сидел, только слухом пользовался. Говорили, красивая она, эта Лидка, была. И сколько ее ни просили спеть или что-нибудь еще по артистическому делу, никогда не соглашалась трезвая, но зато, когда напивалась, на весь поселок пела. Голосище у нее громкий был, густой. Бывало, вечером зеки подойдут поближе к проволоке и слушают. Кто посмеивается: «Во, дает Середа жизни». А кого и до нутра пробирало. Алексей и сам помнит, как в носу щипать

начинало, когда Лидка «Выхожу один я на дорогу» заводила. Летом-то в безветрие хорошо слышно было, как поет, и пела душевно. А повидать ее не пришлось. Он когда освободился и стал на поселке жить, так Лидки уже в живых не было. Шла ночью со станции зимой, хмельная, конечно, упала, заснула да и замерзла. Кто говорил, что это она нарочно на дороге-то легла, чтоб помереть. Только это уж после наплели. Он, Алексей, так понимает, что как ни живи плохо, а раньше смерти помирать никому не охота. Да, Середу Лидку повидать не пришлось, а вот с лошадью с этой подружился...

Дорога пошла под уклон в овраг, где был родник. Алексей слез и потопал рядом с санями, разминая ноги.

Родник на дне оврага совсем зарос льдом. Низовой ночной ветер намел на него снегу с кустов волчеягодника. Алексей подвел лошадь, развернул, чтобы поставить сани поближе, достал из-под бочки топор на длинном топорище и, встав на колени, разгреб снег. Потом колол лед, отворачивая лицо от острых осколков. Середа стояла смирно и только вздыхала, когда попадало в нее льдинкой. Алексей очистил прорубь, отряхнулся. Лицо разгорелось. Он взял ведерный черпак на длинной палке, обтоптал себе место, чтоб удобно было стоять, и стал брать воду. Погружал черпак левой рукой, потом подхватывал его крючком и подносил к бочке; стоял он разведя ноги на шаг, работал черпаком словно лопатой.

Когда Алексей выехал из оврага, начало развиднятьсся. Он разогрелся и расстегнул телогрейку под фартуком. О желании выпить как-то позабылось за работой. На ровном месте остановил лошадь, поставил ногу на сани и свернул на колене покурить. Задымил, бросил вожжи лошади на спину и пошел рядом. Середа хорошо знала дорогу, сама обходила пеньки, тянула шажком, ровно, так что вода почти и не плескалась.

Дорога к поселку шла мимо зоны.

Алексей смотрел на чистый нетронутый снег в предзоннике, на тропу, промятую вдоль самой проволоки для смены часовых. Под сторожевыми вышками снег был желтый от мочи. У домика вахты он остановил лошадь, крючком постучал в трехшпоночную дверь и крикнул:

— Эй, воду берите!

Выскочил маленький шустрый солдат в кожухе, подпоясанный ремнем с кобурой.

— О, землячок, здорово. С Новым годом!

— Здорово. Взаимно,— чуть поклонился Алексей. Почерпнул воды и налил солдату полное до краев ведерко.

— Зайди, покури в тепле. Табачком угощу — наш, ярославский.

— Можно. Давно я самосаду не курил,— Алексей обтопал валенки, вошел и сел на скамейку, снял треух.

В тесном бревенчатом помещении было жарко от накаленной плиты. Солдат откинул заслонку и подбросил мелко наколотого сушняка.

— Куда ты жаришь-то, и так не продохнуть,— сказал Алексей, потирая ладонью лицо.

— Пускай, а то как бросишь топить, так сразу все вынесет. На, закуривай.

Алексей взял жестянку, понюхал щепоть табаку, свернул цигарку, но закуривать не стал, спрятал в шапку.

— Потом покурю, а то смолил недавно и вкуса не разберу. Кому браслеты? — кивнул он на стол перед пропускным оконцем.

Солдат пошуровал в плите, закрыл заслонку, посмотрел на наручники, синевато блестевшие никелем на желтой столешнице, улыбнулся.

— Да никому. Начальник режима оставил на случай, праздник же. Пробовал когда или не пришлось?

— Да нет. Когда зак-вагоном привезли и сюда пешком гнали, то всем надели. Нас двенадцать человек этап был, и все срока большие, у меня только пятёра. Ну, и мне хотели надеть, да увидели, что рука одна. Так я с сорок седьмого и не видал их больше. Поеду. Досталось тебе в праздник дежурить,— Алексей встал, надел шапку.

— Так еще лучше, чем в ночь. Я в два сменюсь, и будь здоров. У нас с корешем поллитровочка притырена. Вот и отметим.

— Тогда-то что,— ответил Алексей и снова почувствовал желание выпить.— Ну, давай тебе бог.

Дома поселка начинались на краю густого ерника, толсто запушенного кухтой. По узкой, петляющей меж корзоватых стволов колее Алексей повел лошадь под уздцы. Остановился у первой избы, отворил калитку в штакетной ограде и пошел по нерасчищенной тропке к крыльцу. Утаптывая рыхлый снег, подумал: «Ленивая баба у Баркова. Курдюк разожрала, скоро в двери пролазить не будет. Я б такой спину дрыном начесал, сразу бы

пошустрела. Да и сам Барков-то — трутень хороший. Всю жизнь в лагерях надзирателем. Придет в барак, покричит, потом на вахте посидит — вся и работа. У настоящего мужика руки бы давно с тоски поотсохли». Алексей громко постучал в дверь, подождал и постучал еще. Крикнул:

— Воду берите!

Вышла толстуха в накинутом на халат белом овчинном полушубке со старшинскими погонами, протянула Алексею эмалированное ведро. Недовольно морща помятое пухлое лицо, спросила:

— Что в такую рань, выходной же у всех?

— И у меня выходной,— Алексей сходил к бочке, наполнил ведро, принес и поставил его на ступень крыльца и, не сказав ничего больше, ушел.

В нескольких домах никто не откликнулся на стук. Он подумал: «Ну и ладно, одной, значит, ездки хватит».

У большого пятистенка на него, высунув нос из конуры-бочки, тявкнул лениво пес.

— Вот, я тебя кнутом, беззубый. Будешь тогда почтение соблюдать,— погрозил Алексей.— Попался бы ты в зоне — я бы тебя сразу в котел.

Потом ему повезло. Жена начальника пожарной команды вынесла стакан спирта, разведенного черничным соком, и холодца на ломте хлеба. Алексей принял стакан, выпил одним духом, поклонился. Завскладом тоже налил стопку, и когда Алексей с порожней бочкой возвращался к роднику, настроение у него было веселое, а тело бросило в жар. Он размашисто шагал рядом с санями и разговаривал с лошадью.

— Ну, что, Середа, выходит шабаш, свое отбыла? Ничего-то ты не знаешь, скотиняка бессловесная. А на тебя уже акт написали, и с довольствия сняли. Списали тебя прошлым годом, так что, считай, ты уже лишний день живешь. И отдыха тебе не положено даже в лишний твой день. Да и что в нем, в отдыхе-то,— тоска одна. От безделья люди портятся, не то что скотина. А так, работаешь, трешь хомут, и все нормально, а дай тебе побездельничать, ты и вовсе бросовая лошадь станешь. Конечно, оно помирать кому ж сладко... Ну, хоть мужикам в зоне котлеты будут. Вот я тоже раньше в зоне ждал, когда вашего брата на конпарке забьют. Тогда в коммерческой столовой котлеты делали по двадцать копеек, и можно было конины от пуза наесться. Вася Жирный — повар такой был хитрый. Он под получку

в долг на список давал. Придут зеки с повала замерзшие, похлебают баланды на общаке. А что баланда, только что горяча. Пузо с нее распирает, а сытости нет. А тут с коммерческой дух мясной идет, да так, что одурь берет. Ну и топают работяги туда, а Вася уже с тетрадочкой стоит. Не заметишь сам, как десяток этих котлет проглотишь. Вроде бы, когда деньгами не расплачиваешься, так дешево, а в получку дадут пятерку, и всю ее Васе на коммерческую снесешь, а сам месяц без курева, на подхвате... Вот такие дела, Середа. А помирать, думаю, не тяжело. Что она, костлявая,— миг один. Вот поджидать ее худо. Ну как лежишь в воронке, в своей же крови утопаешь, и небо над тобой чужое, и птица чужая кружит, а наши-то уже прошли вперед, и силы нет крикнуть, и по всему выходит, тебе — конец. Вот тогда-то тяжело. А так, работаючи, не страшно, да и думать о ней некогда. А тебе-то оно и проще вроде. И жилось тебе, скажу, не худо. Работала в силу, кормили. А на сельской работе, там, знаешь, от свету дотемна пашут, и зимой дела хватает. Ну, правда, корма — клевера да овсы — пожирней, так это кто к чему приучен. А работы нам немного: еще бочку в буфет Потаповой свезем и на пекарню одну. Так что тебе тоже вроде выходной выпадает.

Прорубь родничка уже покрылась салом, и в первых черпаках звякали льдинки. Алексей наполнил бочку, перекурил тут же, присев на передок, и повез в буфет.

Он лил воду в деревянный желоб, пропущенный в отверстие стены. Работа эта была тяжелой, потому что желоб был вровень с пятым венцом, и даже с передка саней приходилось поднимать черпак на вытянутую руку.

В кладовой буфета под желобом стоял сорокаведерный чан. По будням, когда в буфете подолгу чаевничали вольные трактористы, его требовалось наполнять дважды, но сегодня по глухому плеску воды, падающей из желоба, Алексей определил, что чан полон на три четверти. Он вычерпал бочку, поколотил по ней кулаком, чтоб отпала успевшая схватиться корочка льда изнутри, вытянул из отверстия желоб, поставил его стоймя к стене и, помахивая занывшей от напряжения рукой, вошел в буфет.

Пять крытых клеенкой столов желто лоснились под светом тусклой лампы, в углу поблескивал темной медью титан, на торцовой стене висел плакат. С покоробившейся обойной бумаги красные вершковые буквы призыва-

ли: «Лесозаготовители! Встретим 1953 год новыми трудовыми успехами. Дадим...» — дальше шло перечисление сортов и кубометров леса, которые нужно дать сверх плана.

У порога Алексей обмел голиком валенки.

— С праздничком, Нюра,— сказал он маленькой округлой женщине со свежим лицом, какое часто бывает у буфетчиц.

— Спасибо, и тебя с праздником,— ответила она, не прерывая своей работы.

Алексей сел за столик у окна, посмотрел в нижнее, незамерзшее от соседства с титаном стекло, стоит ли лошадь, стряхнул рукавицу на стол. Буфетчица зашла за прилавок, убрала тряпку, которой протирала столики, надела белый халат. Алексей обвел взглядом полку с бутылками над ее головой.

— Водочка-то осталась, Нюра? — Он снял шапку, провел рукой по бритой голове.

— Где ей остаться. А в Новый год шампанское пить надо.

— У меня от шампанского живот болит. Пусть уж его начальство пьет, а я и белой могу. Может, найдешь бутылочку, а, Нюра?

— Говорю же, не осталось, вчера всю выдули. Спрятала три бутылки трактористам, которые солярку со станции волокут. Вернутся, что я им дам?

— Им-то, конечно, согреться надо. Ну что, дай тогда чего покрепче. Будто та, с красной бумажкой, ничего.

Буфетчица сняла бутылку, поставила на прилавок, вытерла полотенцем граненый стакан.

— Закусить-то возьми чего-нибудь.

— Да не, не идет с утра,— Алексей шагнул к прилавку, надел стакан на горлышко бутылки, перенес на стол. Налил полстакана, выпил и достал из шапки цигарку. Буфетчица стала разносить по столикам тарелки с нарезанным хлебом. Алексей курил, делая глубокие затяжки, от которых западали прихваченные морозом, почерневшие щеки; следил, ровно ли горит табак. Потом притушил цигарку в пальцах и снова спрятал в шапку. Наполнил стакан и выпил сразу, взял ломоть хлеба, отломил корку, пожевал.

Буфетчица зашла за прилавок, облокотилась на него, подперла подбородок ладонью и смотрела на Алексея.

— Не приметил, доктора в зону не вели? — спросила она.

— Порезались, что ли?

— Да ну, я про заключенного доктора спрашиваю, про грузина.

— Не видал. А что стряслось-то?

— Селиваниха рожать начала, как на заказ.

— Это, говорят, хорошо. Счастье будет, кто в Новый год родится. Ну, разрешилась?

— Да я тебя и спрашивала про доктора.

— Не знал. А чего Терещенку не позвали? Он вольный, ему и хлопоты.

— Да вот, не доверил Терещенке Селиванов, приказал из зоны вывести доктора. А Терещенко, наверное, уже хорош был, времени-то второй час шел.

— Конечно, что с вольного спросишь. А зеку он уж пригрозить может. Только не тех он зеков знал; доктора на понт не возьмешь. Раз только дело такое, баба рожает, так все равно чья она, хоть и селивановская,— Алексей наполнил стакан, выпил и вылил в него остатки вина из бутылки.— А ничего вино, хоть и краски многовато. Дай-ка еще бутылочку,— он достал из внутреннего кармана аккуратно сложенные деньги и подошел к прилавку.

— Не хватит ли, ты и до этого где-то пригубил?

— Один-то раз в год можно,— Алексей взял бутылку, вернулся за стол. Буфетчица смотрела, как он раскупоривает, доливает стакан.

Сухо потрескивали промороженные дрова в топке титана. Булькало вино в бутылочном горле.

— И что ты здесь нашел сладкого? Неужто в России жить хуже? Или дождался воли, а ее уж не нужно? — спросила буфетчица и поджала губы.

Алексей не донес стакан до рта, поставил на стол, опустил голову, глядя на носки своих валенок, усмехнулся:

— А что Россия, хлеб буханками и там не растет.

— Я бы, хоть стреляй, здесь не осталась, если бы не мужик. А бросить его нельзя. Он у меня чумовой, сразу поселения лишится.

— Вот, так оно и есть; ты с мужиком, я с черпаком, а щи одни — постные. Нахлебаешься-нагорюешься.

— А ты будто не сыт, еще охота, что не уезжаешь. Люди дни считают до конца срока, а он сам себе добавил. Ведь что в зоне, что здесь — разница одна.

— Одна, да не та. А к себе в Ярославщину тоже не тянет,— Алексей выпил, тылом ладони обмахнул гу-

бы.— Да и кто я для воли? Ломоть отрезанный покуда. Будто только родился, и что-зачем жить не знаю. Да и нет теперь уж никого родных.

— В тридцать лет-то рано бобылить. Ехал бы к нам на Орловщину. Там еще с войны вдов, как подсолнухов. Будет тебе и дом и боровок. А женщины, знаешь, плечи — во, не то что Красноносиха. Тьфу, глаза бы не глядели, как вы к ней с получки в очередь толпитесь. А там жил бы как туз, жена бы тебя тютькала: какой-никакой, а мужик в доме. А что бабе больше-то. А здесь намозолишь глаза оперу, он тебя подловит хмельного и еще срок намотает.

— Товарищ Кум только в одно место поцеловать меня теперь может. Я от звонка до звонка министру отслужил за тот возок сена,— язык у Алексея стал заплетаться, тяжелый лоб морщили крупные складки.— Ничего никому не должен. Самому Сталину писал — не помиловал... Корова с тела сошла, падала. Что ж ей, дохнуть бездарно? А мать скрючило ревматизмом. Что я мог, комолый? Гнило сено-то, пропадало, уж чернота одна... Я тогда еще не приноровился одной-то рукой.

— Ладно орать. Уезжай отсюда лучше. Ради бога! Там и душу скорей отогреешь.

Алексей не ответил, пьяно повесил голову, закрыл глаза. Буфетчица, покачав головой, стала подкидывать дрова в топку. Титан, закипая, начал тихо гудеть.

Алексей поднял голову, заслышав шаги на крыльце. Дверь отворилась, и в буфет заглянул солдат в белом полушубке, с автоматом на шее. Осмотревшись, он кивком пригласил войти крючконосого высокого человека в лагерном ватном бушлате и таком же стеганом сером треухе.

Поздоровались.

Солдат сел у двери, положил автомат на колени, сказал:

— Кругом никого, дайте доктору выпить.

— А мне что. У него деньги советские. Это тебе влепят,— сказала буфетчица.

Доктор, сутулясь, подошел к прилавку, снял шапку.

— Водка есть?

Буфетчица достала из-под прилавка бутылку водки, молча поставила перед ним. Он распахнул бушлат, из потайной дыры в поясе ватных штанов достал сложенные узкой полоской деньги.

— Ну, кто родился у Селиванова? — спросила буфетчица.

— Мужчина родился. Великолепный мужчина,— доктор прищелкнул желтыми от йода пальцами, подмигнул солдату длинным черным глазом и отошел к дальнему столу с бутылкой и тарелкой с кружками колбасы.

Алексей налил стакан вина, поманил солдата. Тот покачал головой. Алексей выпил сам.

Доктор звякнул горлышком о край стакана. Алексей посмотрел на него и снова закрыл глаза, задремывая под гудение титана.

Он проснулся от того, что доктор пел, тихо, вполголоса. Странные слова на чужом языке шевельнули что-то давнее, детское, так что засосало под грудью.

Аванти, пополо,
Алля рискосса...

Алексей подался вперед, стал притоптывать. Выпрямил спину — под эту песню никак нельзя было горбиться. Она тянула вверх, и он встал.

Бандьера росса,
Бандьера росса...

Песня оборвалась. В буфет вошел офицер.

Солдат вскочил, стал «смирно». Доктор старался заслонить бутылку на столе.

— Ведите в зону, в изолятор,— приказал офицер и опустил барашковый воротник своего черного полушубка, перепоясанного желтым ремнем с портупеей.

Солдат и доктор вышли.

Через незамерзшее стекло было видно, как шел доктор — ссутулясь, запахнув бушлат и сунув руки в рукава, а чуть сбоку, позади — солдат с автоматом на шее.

— Нехорошо, Потапова, заключенному спиртные напитки продаете.

— А я думала, что вы разрешили, ради такого праздника.

Офицер шагнул ближе к прилавку.

— Я никогда не разрешаю того, что не положено по закону. Дайте две пачки «Беломора» и бутылку шампанского.

Буфетчица выложила на прилавок папиросы, суетливо сняла с полки бутылку.

— Вытрите. Там еще прошлогодняя пыль осталась,— офицер провел пальцем по темному стеклу, брезгливо выпятил нижнюю губу.

Алексей, до этого стоявший молча, вдруг подошел к нему и, краснея лицом, забрал в пятерню ворот его полушубка, так что черная дубленка собралась тугими морщинами.

— А что, начальник, если я дам тебе один раз по харе? Можно, а? — оскалился он в ухмылке.— Ведь я у тебя пять лет под командой ходил. Помнишь, сколько ты мне карцера выписал? А как ведрами нашу баланду своему борову таскал? Сегодня Новый год, и сын у тебя родился. Так неужели я не имею права дать тебе один раз по харе по противной, а? — Алексей замахнулся крючком. Увидел, как у офицера запрыгала губа, и отпустил полушубок.

— Потапова, вы свидетель! Я этого так не оставлю,— сказал офицер, оправляя полушубок. Губа у него еще прыгала.

— А я ничего не видела, товарищ Селиванов. Я бутылку мыла.

Буфетчица со стуком поставила шампанское на прилавок.

Алексей усмехнулся, взял ломоть хлеба, посолил щедро и пошел, покачиваясь, к двери. Обернулся, сказал:

— Ты только одно помни, начальник, но пасаран! Понял? — и хлопнул дверью.

Через стекло в окне было видно, как он с ладони скармливает лошади хлеб и что-то говорит, округляя рот и пуская пар.

ПРОКЛЯТИЕ БОГОВ

Мне нужно на кого-нибудь молиться...
Булат Окуджава

Рыба скучала. Она стояла под кустиком перистой водяной травы, тихо шевеля красными плавниками, и пучила глаза.

Он сидел на диване и смотрел в аквариум. Бледные стебли растений неподвижно тянулись в подсвеченной

рефлектором воде, поблескивали крупные зерна песка, леденцово лоснилась галька.

Он сидел на диване и ни о чем не думал. Глаза его то останавливались на какой-нибудь красной витой улитке, уснувшей на стебельке, то охватывали весь аквариум, любопытную и чуждую среду, где иное время, иные законы и — никакой морали.

Какая уж там мораль, думал он, если одна вода, песок да камешки, ну, травка еще — фотосинтез. Такая вещь не может быть хорошей или плохой, она вне морали... Вот выкинуть этот аквариум в окно — это аморально, сунуть в него голову и не вынимать, пока не захлебнешься, тоже аморально. Хотя для кого как. Вот она скажет, что очень даже морально, потому что я все равно — никчемный человек, эгоист и рохля... А у рыб тоже моногамия? И как у них разрешаются имущественные отношения? Или... «по данному вопросу стороны взаимных претензий не имеют»...

Он достал сигарету, но забыл зажечь ее. Весь он был заполнен тяжелой пустой сосредоточенностью, и мысли отчужденно покачивались на поверхности сознания, а глубже была пустота: ни шороха, ни искры.

Впрочем, он не испытывал горечи.

С женой они разошлись полгода назад к обоюдному удовлетворению. Недолго жили вместе и не успели еще привязаться друг к другу, не приобрели разных, на вид пустяковых, привычек, от которых потом бывает так трудно отрешиться, разные мелочи еще не успели сковать их между собой. А сегодня был суд, который юридически утвердил их разъединенность. Он и его жена ждали этого суда, как пассажиры купированного вагона ждут конечной станции, которая положит предел их случайным отношениям, разведет, чтобы уже никогда не столкнуть.

На суде он какими-то новыми глазами увидел ее. Отстранение или необычность момента обострили зрение, и он разглядел в ней новые, удивившие черты: какую-то печальную озабоченность и способность прощать. И еще больше поразило его то, что она была в старых туфлях со сбитыми металлическими набойками, что ее коричневая хозяйственная сумка основательно потерта, а ногти давно без маникюра. Все это так удивило, потому что он ожидал увидеть жену во всеоружии женского обаяния, которым она постарается уязвить его, и даже приготовился заранее к тому, чтобы не выказать никаких чувств

ни мимикой, ни жестом. Но вот все эти уловки оказались ненужными, и он даже проникся каким-то сочувствием к ней, и еще подумал, что уже никогда ей не будет никакого дела до него, а ему до нее, что, когда-то близкая, эта женщина становится для него страшно далекой, более далекой теперь, чем любая другая на свете. И по дороге домой он был задумчив, а в комнате вдруг навалилась эта тяжелая сосредоточенность.

И все лезла в глаза глупая рыба в аквариуме — нелепость, оставшаяся от семейной жизни.

«Наверное, чем нелепее, тем дольше память,— холодно размышлял он.— Мужчина становится философом, когда женщина покидает его... Наверное, древние греки часто разводились,— слишком много у них философов... Мы листаем их книги, чтобы узнать о юности человечества, а они были просто брошенными мужьями и с тоски придумывали прекрасных богов и богинь, и сочиняли о них чудесные истории с красивой любовью, с подвигами... Где они, те богини, ради которых сходили в Аид и поднимались на небо, любовь которых дарила бессмертие?»

Он вздохнул и зажег сигарету.

Послеполуденное время шло медленно, а завтра был выходной, и это усиливало томление и пустоту.

Он решил стряхнуть это оцепенение и вышел во двор.

День уже начинал тускнеть, и облупившиеся стены флигеля во дворе выглядели уныло. У одинокого дерева, поникшего над старым сараем, стоял допотопный мотоцикл, в который чудак-сосед целое лето тщетно пытался вдохнуть жизнь. Мотор с мотоцикла был снят, и в раме зияла непривычная, нелепая дыра.

Он подошел, потрогал руль, уже меченный ржавчиной, щелкнул по большой старомодной фаре, потом сел в черное резиновое седло. Оно было широким и удобным, мягко пружинило. Он взялся за руль, чуть повернул рукоятку газа и вдруг почувствовал легкий толчок. Тихо отщелкнулась подставка, скрипнула передняя вилка... мотоцикл бесшумно тронулся с места и поплыл к воротам, выехал на улицу, миновал тихий перекресток и набрал ход.

Он прищурил сразу заслезившиеся глаза, поудобнее перехватил руль и недоверчиво усмехнулся, даже сунул ногу в пустоту рамы — мотора не было. А перекрестки относило назад, как на заказ вспыхивали зеленые сигналы светофоров, и уличная пыль не успевала добраться до

глаз. И было в этой езде что-то от веселой игры и от страшного сна.

Мотоцикл вынес его на шоссе, и стал слышен лишь ветер да шорох колес по асфальту.

Плавный поворот на узкую тенистую просеку он воспринял с недоверчивой улыбкой, как взрослые обычно воспринимают фантазии детей. Сбавив ход, переваливаясь по волнам грунтовой дорожки, мотоцикл выехал на желтый пляж и остановился.

Узкие языки невысокой жесткой травы вдавались в песок, вылизанный ветром. Валялись белые, как кости, сучья. На горизонте ржавел закат. Тени облаков пробегали по стекленеющей ряби моря.

Почувствовав слабость в ногах, он присел на траву, оперся о ствол сосны, потом лег навзничь, впитывая телом умиротворяющее тепло нагретой за день земли.

Сосны мели ветвями бледное вечернее небо. Случайная волна негромко чмокнула песок.

Он не хотел думать ни о чем и забормотал первые пришедшие на память строки:

Моря седого безбрежные воды кругом подымались.
Пеплос Европы широкий ветрами надулся, как парус
Быстро идущей ладьи, и поддерживал деву в движеньи,
Так уносилась она все дальше от милой отчизны;
Скрылись из глаз уже берег шумливый и горы крутые,
Воздух один был кругом, а внизу беспредельное море.

Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Ощущение было отчетливым и острым, и он сел, внимательно осмотрел сосновую рощицу вдоль пляжа, но никого не заметил, повернулся к морю и увидел, что от воды, оставляя узкие следы на мокром песке, прямо к нему идет женщина в легкой белой одежде. Он почти сразу отвел взгляд и снова лег, лишь рассеянно удивившись тому, что идет она от воды и что ее распущенные волосы кажутся ярче полосы заката над морем.

Он смотрел в небо, но чувствовал ее приближение и как будто видел ее странную фигуру в трепещущих складках ткани и волосы, развеваемые ветром. И это навязчивое впечатление усилило его досаду. Он сел, прислонившись к стволу, и, хмуро взглянув на приближающуюся женщину, закурил. Он успел заметить, что лицо ее необыкновенно красиво и чем-то знакомо и что она улыбается ему, но он знал, что нигде раньше не встречал ее. Он смотрел на море, на суживающуюся

полосу заката и противился желанию еще раз взглянуть ей в лицо.

Она подошла вплотную, но он лишь перевел взгляд на ее белые сандалии, увидел между ремешками узкую золотистую стопу.

— Я ждала тебя,— раздался ее неожиданно низкий голос.

Он не ответил.

— Встань, смертный, с тобой говорит Афродита.— Маленькая сандалия притопнула песок перед ним.

Он вскинул голову и усмехнулся ей в лицо:

— А-а, все вы богини. Что тебе нужно?

— Хочу быть твоей женой.— Она улыбнулась, видимо гордясь этим своим желанием, и узкой ладонью с тонким запястьем откинула за плечо волосы.— Ты же сам этого хотел.

— Спасибо, сыты,— сказал он, поднялся и отряхнул затылок и спину от приставших хвоинок.

— Ты первый смертный, которому выпало это счастье, и... последний,— сказала она строго и внушительно.

— Благодарю за честь, но я не люблю быть первым и тем более последним.— Он хотел добавить еще что-то, такое же холодное, вежливое и уничтожающее, но услышал над ухом тонкое гудение, почувствовал, как комар впился в шею, и машинально шлепнул ладонью по этому месту. Она удивленно взглянула, но повторила его жест. И очень изящно вышло это у нее. Он громко рассмеялся.

Она смутилась, оглянулась, ища за своей спиной то, что вызвало его смех, но не найдя там ничего, обернулась и спросила тихим, уже совсем не величественным голосом:

— Я сделала что-то не так?

— Ха-а, нет, нет, всё — так.— Он затоптал окурок в песок.— Так ты в самом деле хочешь замуж?

— Да, решение мое твердо. Ты первый и последний. Я буду твоей женой, и ты должен гордиться этим, и пусть гнев богов не пугает тебя. Но это потом, потом я расскажу тебе все.

— Понимаешь, это трудно... жить с человеком...

— Я знаю,— ответила она, подняв посерьезневшее лицо.

— А ты знаешь, что такое постное масло, на котором жарят картошку? Знаешь, как его запах пропитывает волосы и передник? Знаешь, как от картофельной шелу-

хи руки становятся чешуйчатыми и темными? Как по ночам кричат младенцы, когда у них что-нибудь болит?

— Хочу,— сказала она.— Хочу, чтобы мой передник пахнул пережаренным постным маслом, а руки были в цыпках, хочу детей, много кудрявых и крикливых детей.— И она улыбнулась отчаянно и весело, а ветер подхватил ее волосы и развеял над головой искристым медным нимбом.

Он не отрываясь смотрел ей в лицо, и ее улыбка, сияние волос, роскошная простота одежды входили в него глухим волнением, как предгрозовой порывистый ветер входит в еще тихие луга и гнет до земли упругие стебли трав. И он не смог произнести приготовленных насмешливых слов; он просто схватил ее за руку, ощутил тепло этой руки, узость запястья, податливость пальцев.

— Ну, веди, веди меня,— тихо сказала она. И он пошел, не выпуская ее руки, чувствуя, как с каждым шагом наполняется восторгом, силой и гордостью.

Рыба веселилась.

Она стремительно плавала вдоль стекла, поблескивая перламутровыми чешуйками, поднималась к самой поверхности воды, резко ныряла на дно.

Он сидел на диване и ни о чем не думал.

По зелени водяных растений, по желтоватой подсвеченной воде скользила прозрачная тень. Это богиня тихо расхаживала по комнате и в слабом, разреженном свете аквариумного рефлектора разглядывала вещи. Ни шороха, ни скрипа не раздавалось от ее шагов, будто не касались пола узкие ее ступни.

Он сидел взволнованный и заставлял себя смотреть только в аквариум. Он боялся смотреть на нее, потому что ее красота лишала воли и мужества. А он очень хотел остаться вольным и мужественным. Он считал, что заплатил за это достаточную цену. Но он все-таки наблюдал за богиней краем глаза, видел, как она с уважением трогает тяжелые черные гантели на подоконнике. как ласкает ладонью замызганного плюшевого мишку, оставшегося с детских лет. И чувствовал, как смятение все глубже проникает в него и вместо мужества в нем рождается нежность и счастье, и еще — грусть. Грусть эта была легка, и он не знал, откуда она.

Он услышал тихий смех и посмотрел на нее. Она

стояла у книжной полки, трогала корешки томов античных авторов и смеялась, чуть запрокидывая голову.

— Над чем ты смеешься?

— Ах эти... эти мудрецы... Я всегда смеялась над ними... Не знаю почему, но вот смешно...

— Что же смешного? Какими угодно, но смешными они не были.

— Не были?! Стоило им показать красивую женщину, как они забывали всю свою логику, даже самые старые и мудрые. Ой, как это было смешно!

— Нет, это не смешно, это — грустно, потому что мудрецы потом разочаровывались... в женщинах, но не в логике.

Она задумалась на миг. Рука все еще поглаживала корешки книг. Потом она подошла и села на диван, пружины даже не скрипнули под ней.

— Да, но они не могли простить женщине, что она не подчиняется этой логике. Впрочем, и до сих пор все по-прежнему. Мужчины признают право на сложность за всем, только не за женщиной. Она должна быть простой и понятной — так спокойней, удобнее.

Колеблющиеся блики света от аквариума ложились на ее лицо, медленно, словно лаская, гладили высокие скулы, сверкающие глаза, и он сдерживал желание поймать ладонями эти блики и прижать к ее лицу. И вся его холодность, насмешливость и напускной цинизм иссякали, уходили, как этот необычный день, еще цеплявшийся за желтые фонари за окном. И ему хотелось сказать ей что-нибудь ласковое, но не то, что все мужчины говорят женщинам, не то, что он говорил до этого другим, а нужные слова не приходили. Он будто думал о том, что она сказала, и в то же время думал и о другом, о том, что вот так, наверное, неожиданно к человеку приходит счастье, и, однако же, сожалел о своем одиночестве, о свободе, которая, в общем-то, не принесла ему пока никакой радости. И только чтобы не оставлять ее слова без ответа, он сказал:

— Пожалуй, в чем-то ты права насчет мужчин.

— Еще бы,— усмехнулась она,— у меня было столько времени, чтобы понять их. А бог ли, смертный ли, это все равно — мужчины все одинаковы. Только все это мне надоело, и так хочется счастья, просто счастья, бабьего, чтоб не нектар и амброзия, чтобы дети росли не в семь дней и оставались бессмертными, а чтоб были пеленки и болезни, радость выздоровления, беспокойство, даже

нужда,— чтобы все было, как у людей, у самых простых, смертных людей.

«Все они хотят одного и того же»,— подумал он с грустью и сказал:

— Ох, как это трудно, когда всё — как у всех.

— Не пугай меня, пожалуйста, дай помечтать хотя бы.

— Я не пугаю, мне самому страшно — я просто вижу то, что впереди, и это наполняет меня печалью.

— Ты говоришь, как мойры, они всегда предвещают печаль, но они властны только над человеческими судьбами, и я не боюсь их. Меня уже пугали там, на Олимпе, даже грозили, но я больше не могу видеть их ханжеские физиономии. Правда, они все-таки навредили мне под конец... Но это ничего не значит... Потом я расскажу тебе все, ибо это касается тебя... Сейчас просто не хочется вспоминать...

Он следил за выражением ее лица, как нежность сменялась на нем холодом, гневом, горечью, и видел, что все это искренне, неподдельно, верил каждому слову и верил тому, что она — богиня, и чувствовал, что любит ее самой земной, человеческой любовью. И, больше не в силах сдерживать себя, он протянул к ней руки. И ее теплая легкая ладонь легла ему на лицо, пригладила брови, прошлась по лбу, кончиками пальцев разглаживая мелкие морщинки, так, что от них не осталось следа. Он запрокинул лицо, потянулся губами к этой ладони и, уже не ведая, что делает, обхватил гибкую тонкую талию, сжал так сильно, что стон сорвался с ее губ, и, вздохнув, она склонилась к нему.

Желтеющий за окном уличный фонарь превратился в сверкающую вершину, и он взошел на нее, и ветры, благоуханные, как ее волосы, овеяли его загоревшееся лицо. Ее невнятный шепот, ее глаза и обсохшие губы, ее дразнящая незащищенность только утверждали его в новом величии...

Он слушал ее ровное, тихое дыхание и молчал, боясь неосторожным словом разрушить цельность этого мгновения. И она молчала рядом с ним, понимая каждое биение его сердца, каждый всплеск мысли. И когда он загрустил о мгновении, которое еще не кончилось, она сразу почувствовала это.

— Не надо, любимый.

— Я бы хотел, чтобы ты всегда была рядом.

— Да, всегда, если ты не перестанешь этого хотеть.

— Я сейчас не боюсь ни голода, ни болезней, даже смерти.

— Вдвоем это не страшно. Бояться следует не смерти, а бессмертия.

— Я что-то не очень понимаю, милая.

— Я расскажу тебе все, только не сейчас.— Она умолкла, глядя куда-то в лиловую мглу за окном. И он почувствовал, что она сейчас не с ним, что прошлое отнимает ее у него, и сказал с болью:

— Мне кажется, что тебя сейчас нет, что я только выдумал тебя. Настанет утро, и все исчезнет.

— Нет... я здесь, но выдумывать нужно, чтобы я всегда казалась тебе такой, как сейчас, чтобы в усталой, озабоченной ты все равно видел меня теперешнюю, любимую и счастливую.

— Я понял, любимая. Да, да... идеалы не нужно искать, их нужно создавать... Только боги ведь в конце концов возвращаются к себе.

— Нет, из-за меня столько мучились, совершили подвигов, что мне уже нельзя покинуть людей. И я не хочу снова туда, на Олимп.

— Тебя обидели там?

— Нет, это невозможно. Они просто надоели мне. Я так хорошо узнала их, что не могу не презирать и не жалеть, хотя это одно и то же. Там только Нике заслуживает уважения, потому что нужна на свете. Кто бы согласился жить и умирать, если бы не существовало Победы. Но она, к сожалению, безвольна и распущенна, и готова отдаться каждому, кто силен и настойчив,— говорила богиня с грустной усмешливостью.

— И ты там никого не любила?

— Нет, от скуки увлекалась то одним, то другим, чтобы позлить эту надутую дуру Афину или досадить свекрови — тоже ханжа. Она бы кинулась на первого встречного, да никто не берет, так что ей остается только исходить злобой от ревности к своему муженьку.

— Но, послушай, ведь Зевс — самый чтимый из богов.

— Да? Просто никому не хочется связываться с этим старым брюзгой. Все знают, что он давно выжил из ума, хотя, по-моему, никогда не имел его. Да и можно ли уважать мужчину, который сам не способен завоевать женщину, а должен лить на нее золотой дождь, оборачи-

ваться быком или выдавать себя за другого. Тьфу, даже вспоминать противно...

Лицо ее было злым, похолодели глаза, и она стала еще прекраснее.

— А твой муж? Он ведь, кажется, неплохой, и работяга.

— А что — муж?! Нужно же за кого-нибудь выходить замуж. Он неплохой, но я его никогда не любила. Плохо, когда мужчина непроходимо добродушен и знает только работать до пота и пьянствовать. Он и пьяный-то остается таким же добряком, как трезвый. Это очень скучно. Он разозлился только один раз, когда застукал меня с Ареем. Тогда, мне кажется, он был даже симпатичен, и так здорово треснул этого балбеса треножником по башке! Честное слово, я готова была уважать его за это, если бы назавтра, напившись, как пастух, он не обнимался с Ареем.

— И у тебя не было подруг? Та же Артемида...

— Что, она — моя подруга?! Клянусь волнами всех морей, я не могу простоять с нею рядом ни минуты, так от нее несет конюшней. Совершенно дикая баба, которая боится мужчин и трясется за свою девственность, как будто это бог весь какое сокровище. Она же трусиха и грязнуля. Ей на самом деле так хочется переспать с кем угодно, что она целыми днями носится по лесам и орет, как мартовская кошка. И делает вид, что охота — самая большая страсть ее жизни, но она даже лука держать не умеет и никакой дичи не добыла, а только подбирает всякую дохлятину. И охоту она себе выдумала, чтобы все знали, что это ее занятие... А на самом деле она позабудет все, если какой-нибудь дурак женится на ней, только за тысячи лет не нашлось ни одного такого.

— Ты пристрастна, милая, в тебе говорит обида,— сказал он с острой печалью. Потому что ее слова, злость и цинизм их удручали его.

— А эта Афина, смех один. Ну кому приятна женщина, которая хочет казаться умней мужчины, да вдобавок если у нее ухватки гладиатора. Носится с тухлой головой Горгоны и воображает, что очень оригинальна и пикантна, а все шарахаются. И вообще, пожалуйста, больше не спрашивай о них. Я им никогда не прощу...

— Что они тебе сделали?

— Мне они ничего не могли сделать. Но они выместили свою злость на тебе.

— На мне?!

— Они присудили тебя к бессмертию. А это такая тоска...

— Ну! Я что-то не очень боюсь такой кары.

— Ты еще не понимаешь, как это плохо. Рядом с вечностью все кажется несущественным.

— А может быть, это и хорошо? Знать, что все пройдет, что все уже было и будет вновь.

— Нет, это проклятие. Если все вечно, то все непоборимо. Ни к чему мужество и жертвы, ни к чему любовь, печаль, роса, и никогда добро не превысит зла.

— Ну, не надо тебе думать об этом, милая.— Он улыбнулся чуть насмешливо и погладил ее по щеке.— Тут уже давно все ясно, просто ты не на уровне современного знания... Правда, тебе оно не нужно. Ты и так прекрасна, и я люблю тебя.

— Да? Вот хорошо,— сазала она, вздохнув, закрыла глаза, поудобнее примостила голову у него на плече и мгновенно заснула.

Он лежал в полумраке с открытыми глазами и думал о том, что она рассказала ему, думал с непонятной холодностью и отчуждением, будто не она лежала с ним рядом, овевая его висок теплом своего дыхания. Он вдруг понял, что рядом не только прекрасное тело и душистые нежные ладони, которые он целовал, а еще целый мир обид и мыслей (пусть даже смешных и наивных), разочарований и тоски о счастье, и памяти о встречах, и усталости от груза красоты, который она обречена нести через жизнь. И острая ранящая ревность полоснула по горлу, стеснив дыхание, и он понял, что все случившееся с ним сегодня — лишь обман, игра воображения, изголодавшегося по верности и счастью. Да, он может целовать ее плечи и ладони, зарыться лицом в копну ее сверкающих волос, но над прошлым он не властен, и эта часть ее существа никогда не будет принадлежать ему, как и его прошлое, его обиды и мысли никогда не будут принадлежать ей. Нет еще способа преодолеть эту разобщенность; только с сегодняшнего дня у них все общее, но то, что было до этого с каждым, слишком значительно, чтобы можно было позабыть. Это прошлое сделало их такими, какие они есть. И прошлое вечно будет стоять между ними...

Его горестный тяжелый вздох разбудил ее.

— Ты не спишь? — Она теснее прижалась щекой к его плечу.

— Да так что-то, а ты спи,— тихо сказал он, стараясь не выдать свою печаль. Но она поднялась на локте и пристально взглянула ему в лицо, потом снова легла и сказала:

— Ты не думай ни о чем. Я хочу, чтобы ты был счастлив и не помнил ни Арея, ни Гефеста. Пойми, их не было, как и всех других. Ты — мой любимый, первый и единственный. Я сейчас — самая чистая, самая невинная, я — счастливая женщина! Значит, раньше ничего не было. Это в несчастье женщина вспоминает все плохое и стареет-стареет. Ты понял?

— Да, понял. Спи спокойно,— ответил он. И она сразу заснула легким, беспечным сном. А он еще долго лежал в темноте, один со своим одиночеством и неясной грустью. Спокойно, казалось бесстрастно, текли думы, когда он вспоминал слова богини. Было так приятно лежать в темноте и под мерное дыхание успокоенной женщины испытывать грустное удовлетворение своим одиночеством и своими мыслями, и еще догадываться с замиранием сердца, что эти мгновения — самые лучшие в его жизни, что они никогда не повторятся, а только будут вспоминаться и бередить тоской. Он даже представил себе, как все это будет, и остро пожалел себя и тут же понял, что, несмотря на эту ночную лень, мыслит он очень верно и точно — все то, о чем он сейчас думает, сбудется. И ему захотелось заснуть побыстрее, чтобы не напророчить себе еще больше тоски и огорчений, не прожить наперед грядущего. Но сон не шел, и слова женщины, которая сейчас спала рядом, вспоминались и открывали другой смысл. Может быть, она сама не подозревала об этом другом смысле; может, наивная афористичность ее слов допускала множество толкований, как тексты мифов и библейских притч.

Только люди, думал он, смертные и хрупкие, несут в себе обновление. Только смертность человека — залог прогресса человечества. Только поколение, сменяющее другое, может полностью осознать и исправить ошибки своих предшественников. Бессмертие привело бы к застою и вырождению, ибо труднее всего признавать свои собственные ошибки...

И он заснул, счастливый сознанием, что он принадлежит к великому сообществу смертных. И легок был его сон.

Золотистый, августовский свет нежаркого солнца заполнил проспект, превратил белые маркизы витрин в сверкающие пики горных хребтов, смягчил лица людей.

Он шел рядом с богиней, стараясь приноровиться к ее летящему шагу, и видел, как сходила дневная суета с лиц мужчин, как глаза их начинали светиться восхищенным ликованием, когда они видели богиню. Разворачивались плечи, пружинистей ступали ноги на горячий асфальт, и лица зажигались той одухотворенной жаждой победы, которая делает мужчину мужчиной, человека человеком. И женщины выше поднимали головы, гордые своей причастностью к этой божественности.

А она шла с блуждающей рассеянной улыбкой, она несла свое существо по городу, заполненному асфальтовой испариной и отработанными газами машин, как жрецы проносили святыни перед войском, готовым к битве. Она манила и звала всех ощутить себя богами, не знающими поражений; она утверждала, что поражение — лишь этап на пути к победе; и над городскими шумами, над трепетом маркиз и шарканьем подошв раздавались безмолвные клики мужчин, готовых на подвиг и поражение, на труд и смерть, будто у всех впереди были тысячи лет бессмертия и побед.

Он видел эти горящие лица, он слышал безмолвные клики, потому что пережил все это вчера. А сейчас ему было неприятно сознавать, что она поощряет других к дерзости и непокою, будто говорит им: «Решайтесь, рискуйте, и я буду принадлежать всем вам, любому из вас; каждый достоин победы, если не боится поражения». Этот клич исторгало все ее существо, каждый поворот головы, любой случайный жест руки, любая прядь волос, подхваченная ветром. И он представлял себе, сколько прохожих сейчас раздевают ее мысленно, желают обладания... И что-то потухало в нем, смеркалось — так сумеречным становится праздник от нежданного ненастья. И он уже не мог восхищаться ее хмельным восторгом в магазинах, куда они заходили. Его не радовало ее упоение перед прилавком с украшениями, когда она, с разгоревшимся лицом, увешивала себя анодированными побрякушками и стеклянными бусами, снимала одни, примеряла другие и так и не смогла выбрать что-нибудь.

— Потом придем сюда еще раз,— сказала она голосом, хриплым от волнения. И он понимал, что она хочет

продлить, оставить еще на потом эту детскую радость, но это не умиляло его, а печалило. У него было чувство, что он читает знакомую, но подзабытую книгу, где перипетии сюжета кажутся новыми потому, что успел их запамятовать, но постепенно крепнет предчувствие уже пережитого и вспоминается, возникает в памяти горький конец.

А она шла рядом с ним, неся на лице смутную блуждающую улыбку, сама зачарованная силой своей красоты, и губы ее что-то тихо шептали.

Он прислушался.

— Сколько мужчин! Сколько мужчин! Сколько их! — как в бреду, повторяла она.

— Их еще больше, ты видишь только часть, и все они умопомрачительно прекрасны,— сказал он.

Она повернула голову и внимательно посмотрела ему в глаза.

— Ты сердишься?

— Нет, за что же,— потупился он.

— Ну пойми, тут нет ничего плохого. Подумаешь, если я улыбнусь кому-нибудь. Если я покоряю кого-то, то делаю это для тебя, то есть чтобы ты больше любил меня. И ты не ревнуй, пожалуйста, просто мне необходимо чувствовать себя женщиной. Ну пойми, не может же кошка перестать охотиться на мышей.

— Нет, конечно, не может,— сказал он весело, а внутри все сжалось от предчувствия горечи и потери.

Они обедали в сумеречном от занавесей кафе; под потолком бесшумно, неторопливо порхали лопасти большого вентилятора. От их дуновения ее волосы то начинали парить за спиной, то прижимались к плечам.

Она ела с аппетитом радостного здорового человека и не забывала поглядывать по сторонам со смутной своей улыбкой, от которой мужчины каменели, забывая поднести ложку ко рту.

Он нервно крошил пальцами хлеб. Давешняя рассеянная бездумность заполнила его. Раздерганные мысли проносились в сознании, была между ними и действительностью какая-то связь, но он не мог ее уловить.

— Кто это там, за столиком, у окна? Почему у него на плечах золотые звездочки? Он небожитель? — вдруг быстро спросила богиня, и лицо ее побледнело от волнения.

Он взглянул и увидел офицера-артиллериста с юношески пушистыми щеками и четкой полоской сросших-

ся бровей. Офицер с остановившимся лицом смотрел на нее.

— Он не небожитель, он — лейтенант, хотя это одно и то же. Когда тебе немногим больше двадцати, а на погонах две звездочки, то и небо становится близким и доступным, как кинотеатр на соседней улице. Он вправду хорош, твой лейтенантик.

— Правда? Он тебе нравится? Я хочу, чтобы он подошел!

— Ну, посмотри на него еще немного, и он осмелеет и подойдет.

— Не-ет, он такой робкий.— Она, не отрываясь, смотрела на лейтенанта, улыбаясь неуловимой призывной улыбкой.

— Так позови его сама.

— Что ты, мне неудобно. Вот если бы ты...— Она просительно и нежно погладила его руку.

— Я? А что, я — пожалуйста!

Он вдруг переполнился озорным задорным упрямством, и обычная насмешливость тоже вернулась, но был в ней какой-то злой оттенок.

— Ну, так ты не передумала? Звать?

— Да, пожалуйста, сделай это для меня.

— Может быть, мне его сразу и поцеловать за тебя?

— Нет, не надо,— ответила она рассеянно.

Он повернулся вместе с легким металлическим стулом, встал, сделал несколько шагов, разделявших столики, церемонно поклонился опешившему лейтенанту и широким жестом радушного хозяина пригласил его пересесть.

— Моя дама в последнее время интересуется армией. Не будете ли вы настолько любезны, чтобы рассказать ей о труде и быте наших славных воинов-артиллеристов? — сказал с серьезным лицом, внутренне содрогаясь от злорадного хохота.

Лейтенант встал, привычным жестом одернул мундир и, как на параде, печатая шаг, пошел к богине, притягиваемый ее взглядом. Повинуясь жесту, лейтенант сел на край стула, и она, бесцеремонно тыкая пальцем в значки у него на груди, стала расспрашивать об их значении.

Лейтенант отвечал серьезно и четко, будто рапортовал.

А он сел поодаль, вытянул ноги, как в кино, и смотрел на этот разговор, похожий на театральное действие,

и понимал, что она не слушает лейтенанта, что ей не важен смысл его слов: ей важно видеть его свежее лицо с пухлыми губами, его смущение и тайные взгляды исподлобья. На них обоих было приятно и страшно смотреть. Лейтенант был красив своей юностью, мужественной нежностью, и рядом сияла пронзительная, неотвратимая красота богини, разрушительная и влекущая. И чем больше он смотрел, тем яснее понимал, что его пока еще не коснулась эта разрушительность...

Лейтенант и богиня встали и пошли к выходу, не замечая его. Он двинулся вслед.

Их тела отбрасывали четкие длинные тени на теплый асфальт. Тени колебались, то приникая друг к другу, то расходясь. Лейтенант шел слева твердым изящным шагом сильного уверенного мужчины, а рядом, словно не касаясь земли, летела богиня с развевающимися сверкающими волосами. И в поворотах их лиц друг к другу, жестах рук, в развороте плеч и складках одежды был какой-то чарующий ритм, будто они исполняли хореографическую пантомиму под тайную, слышную только им музыку.

Он смотрел на лейтенанта и вспоминал себя восемь лет назад, и завидовал тому, что в двадцать два года ему не дано было узнать, что такое настоящая женщина. Он завидовал и в то же время гордился статностью юноши, его походкой и лицом. Лейтенант был не только счастливым соперником, он был полпредом всех мужчин, богатырем, которого выставил клан для поединка с рыцарем противной стороны. Он завидовал лейтенанту и гордился им, и жалел, потому что понимал, что это не только счастливый для лейтенанта случай испытать себя.

«Не посрами нас, милый лейтенант, докажи, что мужчины тоже чего-нибудь стоят,— думал он.— Ты должен выйти победителем, не сдаться, не склониться, не потерять лица перед этой великой силой нежности и красоты. Но ты и не должен разрушать эту полуденную державу, как варвар, захмелевший от угара победы. Но даже победив, ты теряешь невозвратное — юность. Уже никогда не будешь ты томим предчувствием первой любви; уже никогда не будешь думать о женщине как о неизведанном чуде, и печать будничности будет лежать на твоем челе при мысли о любимой. Да, да, наивный юный лейтенантик, сладость открытия оборачивается горечью знания, неверием в чудо, победа становится поражением».

Он шел опустив голову, и тени богини и лейтенанта все продолжали свой торжественный менуэт совсем близко от его ног. А печаль все поднималась, становилась с ним одного роста. И он замедлил шаги, чтобы отстать от этой ликующей пары, свернуть в притененную будничную улицу, которая приведет его в покинутую комнату с пропыленными книгами и нелепым аквариумом, где он будет жить в своем одиночестве и унылой свободе. И прощальным взглядом он окинул стройные фигуры впереди. Их стремительность и гибкость, хореографическая пластичность отдались в нем болью. Он слушал музыку, под которую они вели свой танец, эта музыка играла им — о счастье, ему — о тоске...

Она догнала его почти сразу, едва он успел отойти на несколько шагов от угла. Схватила под руку, прижалась лицом к его плечу и заплакала, всхлипывая. Рукав рубашки сразу промок, и он почувствовал теплую влагу ее слез, ощутил прерывистое дыхание, и мгновенно прошла его обида на нее, сменилась нежностью, сочувствием, потребностью защитить и успокоить. Он остановился, обнял ее вздрагивающие плечи, гладил по голове, зарываясь ладонью в пушистое золото волос, и говорил:

— Ну, успокойся, милая, не надо. Что случилось? Он не стоит твоих слез...

Он говорил ей еще много разных слов, наверное смешных для постороннего слуха, но казавшихся ему нужными и верными, потому что эти уменьшительные имена, эти невнятные ласковые прозвища, которые уже не были словами, поднимались из самой сокровенной глубины его существа; это были какие-то предслова, которые лепечут младенцы, прижимаясь к материнской груди, которыми, вероятно, выражали свои чувства дремучие, косматые и еще безъязыкие перволюди — ведь и их, диких, грубых, по-звериному свирепых, настигала вдруг и пронзала нежность, тогда сами собой рождались эти предтечи слов. И может быть, с тех пор они и захоронены в самой глуби человеческого существа, рядом с древними инстинктами, страхом, жестокостью и желанием.

И она успокоилась, перестала плакать, подняла к нему детски покрасневшее лицо с мокрыми чистыми глазами.

— Пойдем быстрее. Не хочу никого видеть.

— Ну что ты расстроилась. Он обидел тебя?

— Меня никто не может обидеть. Мне просто противно... противно и жалко...— Она пошла вперед, запрокинув голову, глядя в начинавшее по-вечернему бледнеть небо. И снова из глаз ее выкатились две крупные слезы.

Он осторожно взял ее за руку, мягко обхватил холодную как лед ладонь.

— Знаешь, что он мне предложил? — вдруг резко сказала она, повернув к нему лицо.— Поехать на квартиру к товарищу, который отбыл в командировку и оставил ключи. «Уютная, в центре. Так хочется побыть с вами наедине и выпить чего-нибудь. И ванная с горячей водой...» Фу, до чего это пóшло, пóшло! Не могу!..— Она снова заплакала.

А он стал успокаивать:

— Ну, не принимай этого так близко. Он, может быть, не такой плохой парень, просто очень молод и современен. Его действительно стоит пожалеть. Ну... он вроде калеки... Понимаешь? Иногда от этого излечиваются с годами. Не стоит плакать о нем. Ты встретишь еще много-много красивых и юных и прекрасных сердцем. Ну, перестань. Нá платок.

— Я не плачу о нем. Не хочу никого. Все одинаковы... Ни один из вас не достоин женщины. Но каждая, каждая достойна того мужчины, которого выбирает, она дает ему нечто большее, чем тепло и ласки... И я плáчу о всех тех, кто жил и спал с богинями, но так и не понял этого...

— Ты думаешь, те, кто понимал, были счастливее? Нет, милая, на их долю выпала, быть может, самая большая горечь.

— Они хоть немного были счастливы, хоть тогда, когда поклонялись своим богиням. И это обогатило их на всю жизнь. Нет на свете мужчины счастливее однолюба...— Глаза ее уже просохли и были холодны и строги.

— Однолюбы и женоненавистники начинали с одного и того же,— сказал он.

Она не ответила, только поникла лицом, на котором вкрадчивый вечер наводил сизоватые тени. И в нем вдруг что-то рванулось болью, жалостью, любовью, так что застлало глаза на миг темной ослепляющей пеленой, и стон чуть не вырвался наружу, и он понял, что теряет ее, теряет безвозвратно... И он испугался, что сейчас вся боль этой потери вырвется рыданием, бесполезными

мольбами — всем бессмысленным и жалким набором из мелодрамы, унизительным и недостойным мужчины. И, улыбаясь какой-то мертвенной, неподвижной улыбкой, он громко сказал:

— Слушай, давай повеселимся! Прокатимся на лодке, потом выпьем, покрутимся на карусели в парке... а?

— Давай,— согласилась она и как-то бесшабашно тряхнула головой.

Что-то лихорачное было в этом теплом безветренном вечере. Будто этот воздух, пахнущий свежестью и пылью, заставлял его судорожно, до задышки, грести скрипучими веслами, срываясь с ритма и брызгаясь водой с неумело погружаемых лопастей, и смеяться, звонко и долго, так, что в груди отдавалось болью. Все в этот вечер было удивительно торопливым, полновесным и настоящим: и холодное шампанское, которое он пил в стеклянном павильончике, разгоряченный греблей; и сумасшедшее кружение карусели, когда она прижималась к нему горячим плечом и щекотала летящими волосами; и мелькание огней, и свист, и шум, и хохот — все было прекрасным, неповторимым, и замирало сердце, когда в свисте ветра на качелях над ним всходило ее неземное, ее желанное, веселое и строгое лицо...

Они вышли из парка устало умиротворенные и молчаливые. И он сразу почувствовал, что снова рушится, рвется тонкая связь, которую возбуждение полета и легкого хмеля протянуло между ними. Опять она смотрела по сторонам, опять манила и звала улыбкой мужчин, и страстью горело ее лицо.

А прохожие шли, не отрывая от нее взглядов, готовые отказаться от своих целей, раствориться, чтобы потом отомстить ей за этот миг самозабвения и блаженства непониманием и черствостью и, в свой черед, отравиться одиночеством и пустотой.

Он смотрел на богиню и видел все, и чувствовал, и горевал безмолвно и сухо, потому что понимал неотвратимость разрыва, неотвратимость жизни.

«Я люблю ее, я любил ее задолго до встречи, потому что она жила во мне стойкой и грустной мечтой,— думал он.— Но она просто женщина, таинственная и простая, беспомощная и мудрая, изнемогающая под ношей красоты. Она — богиня, и требует только жертвенности и веры, принадлежа всем и никому, а если и сходит с пьеде-

стала, то убивает своих избранников нежностью и красотой...»

— Мне жарко, душно. Я хочу пить, пить.— Шепот был страстным и тихим, будто другая непреодолимая жажда сжигала ее.

— Сейчас, милая, сейчас я напою тебя.

Но все киоски газированной воды были закрыты, и он купил ей эскимо. Она недоуменно взяла палочку двумя пальцами, недоверчиво сняла пеструю обертку, попробовала и застонала от удовольствия, прикрыв глаза.

— Ах, какая прелесть! Что это?

— Это мороженое,— ответил он и грустно усмехнулся.— Ешь на здоровье.

Они стояли на углу проспекта и тихой улицы с узким бульварчиком. Богиня отвернулась от него. С блаженной улыбкой она ела эскимо, лизала острым красным язычком, сосала, как ребенок, пачкая губы коричневой глазурью, и в то же время пристально оглядывала всех проходящих мужчин.

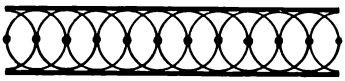
Прощальным взглядом он окинул ее всю, запоминая надолго, на всю жизнь, и свернул на бульварчик.

Шли и проходили мимо пары, глаза ему застилала боль, и он видел только черные силуэты людей и черные силуэты деревьев. И вдруг, как вспышкой молнии высвеченные в сумраке, прошли перед ним, держась за руки, три девушки в белой, как у нее, одежде, с развевающимися, как у нее, волосами и смутными призывными улыбками. Прошли три начинающие богини. Он остановился, посмотрел им вслед. У одной в резные задники босоножек были видны черные немытые пятки. Он покачал головой, усмехнулся и пошел дальше.

Молодой месяц рогами вверх покачивался в сизом небе, и еще далеко за домами тлела полоска вечерней зари. Он запрокинул голову, подставил лицо еле ощутимому ветру и подумал: может, это те рога, которые богиня наставила Гефесту? Прекрасные золотые рога — награда за преданность, восхищение, непонимание и любовь. А может, это рога всех мужчин от всех женщин, которых они любили или думали, что любят...

Он опустил голову, ссутулился и побрел в свое одиночество, и с каждым шагом в нем росло пронзительное понимание того, что сбылось проклятие богов, ибо бессмертна любовь, но и бессмертна печаль.

ОСЬКА И БОРЗОВ



Оська один. Он сидит на подоконнике и самозабвенно орет:

— «Хотят ли русские войны?!»

Петь Оська не умеет. У него нет слуха, но песня ему очень по душе. И не всем же иметь слух, главное петь погромче, и тогда получается не хуже, чем у Георга Отса...

— «Да, мы умеем воевать!» — Оська орет во всю мочь, так, что лицо и оттопыренные уши наливаются краской. Собственный голос очень нравится Оське. И ему не часто удается попеть вот так, от души.

Комната у них маленькая, и один Оська бывает редко, а Роня терпеть не может его пения. Она работает медсестрой в больнице на соседней улице. Там же и школа, где Оська учится в четвертом классе.

Мама и Роня говорят, что Оська глупый, но он этого не чувствует. Они, наверное, ошибаются. Оська может починить любой утюг, чайник и даже пылесос. И потом, он почти всегда знает все о Роне и маме, а они ничего не знают про него. Они так и не узнали, почему у Богачихи взбесился толстый кот Васька, а у вредного пенсионера, который гнал ребят со двора, три дня подряд перегорали пробки.

Вот сейчас придет Роня и начнет вертеться перед зеркалом, будет причесывать пушистые рыжие волосы, точно такие, как у Оськи. Роня делает это для Борзова. Роня очень хочет замуж. Ей уже двадцать восемь лет, и она боится остаться старой девой. Иногда Роня плачет по ночам, тогда утром ее зеленоватые глаза краснеют и припухают, и она уходит в больницу не позавтракав.

А мать целый день ворчит на Оську:

— Ой, этот ребенок загонит меня в могилу. Никого ему не жаль, ни мать, ни сестру. Разве такие у приличных людей бывают дети?

Потом мать еще долго причитает полушепотом, сидя за швейной машинкой. Из-за стрекота машинки Оська не разбирает ее слов, но невнятное бормотание действует на него угнетающе, и он выскальзывает в кухню, становится у окна и смотрит во двор.

Там три старые корявые липы машут черными ветвями под апрельской капелью. И Оська начинает думать

о том времени, когда станет большим и сделает так, что всем будет хорошо. Мать не будет причитать и горбиться над шитьем, перестанет плакать по ночам Роня и выйдет замуж за летчика, а Богачихе он подарит кота в сто раз лучше противного Васьки. И к ним не будет приходить Борзов.

Оська не любит этого неторопливого человека. Не любит за то, что мать при нем становится суетливой и маленькой, а Роня смеется каким-то не своим смехом.

Прошло семнадцать лет, а раны напоминали Борзову о войне. Особенно мучила осколочная на бедре. Она раздражающе ныла в пасмурную погоду. Борзов начинал прихрамывать и становился угрюмее обычного. Жил он одиноко, без привязанностей. Зарабатывал хорошо и досуг тратил на чтение, кино, одинокие прогулки. Впрочем, книги он читал только о природе или путешествиях — беллетристики не любил. Вещи Борзов предпочитал добротные. В его не очень просторной комнате все было тщательно подобрано: и дорогой радиокомбайн, и старинный кожаный диван, и небольшая библиотека. Читал Борзов особенно много, когда бывал болен.

В декабре ему пришлось лечь в больницу — открылась рана на бедре. Опять начались осмотры, рентгены; снова зазвучали ненавистные слова: остеомиелит, секвестр, обострение. Борзов болел терпеливо, на перевязках не стонал, и сестры относились к нему с уважением. На перевязке Борзов и познакомился с Роней.

Удивленная его выдержкой и обилием шрамов на еще не дряблом теле сорокалетнего человека, Роня спросила:

— Вам что, совсем не больно?

— Больно,— сквозь сжатые зубы выдавил Борзов. И только когда, опираясь на костыль, уходил из перевязочной, спросил:

— А если бы я стонал, вам было бы веселей?

Роня смущенно улыбнулась:

— Нет, это я так. Все стонут, капризничают, а вы нет...

Она слегка картавила. Борзову от этого стало весело. Он сказал:

— Ну хорошо, в следующий раз я тоже буду стонать, чтобы доставить вам удовольствие.

Ковыляя к себе в палату, он улыбался.

В палате говорили о семейных делах, о женах и детях. Борзов лег и задумался... Здесь, на людях, со всей полнотой ощущалось одиночество. Вспомнилась мать, умершая в блокадном сорок втором, друзья военной поры. Вспомнились случайные послевоенные связи с такими же одинокими, как и он, женщинами и тоскливая пустота после них; вспомнилась вся нелегкая жизнь, которую прожил Борзов, начав войну девятнадцатилетним парнем. И одиночество показалось ему уже невозможным и невыносимым, захотелось хотя бы пустячных забот о другом человеке.

Может быть, поэтому Борзов, превозмогая боль, разговаривал с рыженькой медсестрой на перевязках. К тому же простое Ронино лицо никак не вязалось с коварством, изменами, распущенностью — со всем тем, что говорится о женщинах в обнаженно-грубых мужских беседах.

Потом выяснилось, что Роня живет недалеко от Борзова, и он шутливо пригрозил зайти в гости. Роня в ответ пригласила. И через несколько дней после выписки из больницы Борзов зашел.

Его неожиданный приход вызвал в доме суматоху. Роня, покраснев, сорвала со спинки стула какое-то белье. Ее мать — пожилая сухонькая женщина с темным лицом — сразу же убрала куда-то в угол швейную машину, трясущимися от торопливости руками подобрала с пола лоскутки цветной материи и ушла на кухню ставить чай.

Борзов, смущенный замешательством женщин, сел за стол и спросил разрешения закурить. Он уже жалел о том, что так, без предупреждения пришел в этот дом, но не знал, как уйти.

Рыжий худой мальчик не обратил внимания на Борзова. Он продолжал возиться со своими железками в углу возле окна. Оська посмотрел только тогда, когда Борзов щелкнул никелированной зажигалкой и положил ее на стол. Зажигалка, видимо, заинтересовала Оську, он пытался рассмотреть ее, но подходить ближе не хотел.

Борзов оглядывал бедную чистую комнату. От чистоты она казалась еще бедней,— намытый до светлой желтизны паркет, фикус, на широких листьях которого не было ни пылинки, квадратное зеркало без рамы на стене, оклеенной светлыми обоями, и старый комод под ним. Борзов почувствовал легкий стыд при сравнении своей изысканной мебели с этими вещами, но в то же время

ему стало здесь очень спокойно и уютно, будто приходил он сюда не впервые и сиживал за этим маленьким, покрытым клеенкой столом.

Потом Роня и Борзов гуляли по уже затихающим улицам. Роня много смеялась, пересказывала Борзову содержание последних кинофильмов. Когда ей не нравились поступки героев, она хмурила светлые брови. А Борзов смотрел на нее и улыбался.

С этого дня он стал частым гостем в семье. Ему здесь нравилось все: и слабый чай, который заваривала мать, и домашние нехитрые обеды, и постоянство забот.

Борзов вел свой автобус по маршруту, объявлял остановки, следил в зеркале за тем, чтобы никого не прищемить в задних дверях, а сам все думал о Роне, о ее семье, о незаметно укоренившейся привычке каждый день приходить в этот дом. Думал о том, что демисезонное пальто у Рони совсем старое, а подарить ей в день рождения отрез как-то неудобно. О мальчишке Борзов думал тоже, но неохотно, отрывочно. Эти мысли приносили досаду. Он всегда чувствовал Оськину враждебность. Мальчик обычно тихо возился в своем углу, где стоял низкий столик и табуретка с подпиленными ножками. Иногда Борзов ловил на себе его неприязненный взгляд, и это лишало уверенности, злило. А сегодня утром Борзов не нашел зажигалки, хотя и обшарил все карманы.

«Все-таки я оставил ее вчера у Рони. Ну, конечно, я сел, закурил и положил на стол. А потом мы ушли в кино, и я больше не закуривал. А дома? Вроде бы я курил. Нет, тогда бы я хватился еще вчера»,— вспоминал Борзов. Ему была неприятна мысль о том, что придется спрашивать о зажигалке: он почти не сомневался, что это Оська взял ее после их ухода.

«А может, мать прибрала? Нет, наверное, пацан раньше успел. Так он смотрел на нее каждый раз. Жаль. Второй такой не найдешь, да и память с войны...»

Вечером Борзов, как всегда, собирался к Роне. Провел электробритвой по щекам, надел свежую рубашку и, впервые со времени знакомства, почувствовал, что ему не хочется идти. Он на минуту задумался, стоя у зеркала с незавязанным галстуком, представил себе узкий овал Рониного лица, светлые брови и пожал плечами: «А что, собственно, произошло? Не буду заводить разговор об этой штуке. Черт с ней»,— решил Борзов.

Оська сидел на своей куцей табуретке. Рыжие нечесаные вихры торчали в разные стороны. Он разбирал какую-то древнюю пишущую машинку. На столике валялись проржавевшие детали, плоскогубцы, отвертка с деревянной ручкой.

Борзов заметил мальчишескую худобу, простудную сыпь вокруг губ и подумал: «Растет».

Роня поставила на стол пепельницу, села рядом с ним. Борзов, разминая папиросу, почувствовал на себе напряженный Оськин взгляд, и его охватило раздражение. Он повернул голову и, глядя мальчишке в глаза, сказал Роне:

— Где-то забыл зажигалку. Целый день не могу вспомнить. Ваша мама случайно не находила?

— По-моему, нет. Она сказала бы мне. Может быть, вы где-нибудь в другом месте ее забыли?

Борзов пожал плечами.

— Да вроде бы нигде больше не был. А ты, Ося, случайно, не видел? — Борзов пристально посмотрел на мальчишку.

Тот выдержал его взгляд и отрицательно мотнул головой.

— Да нет, Оська не тронул бы,— сказала Роня.— Мама вчера убиралась, сейчас у нее спросим.

Борзов не ответил.

В комнате сгущалась тишина. Тикали старые ходики.

Роня сжимала одной рукой другую, и слышно было, как похрустывают суставы пальцев.

Какая-то пружина заскрежетала в Оськиных руках и, звякнув, упала на пол.

— Перестань действовать на нервы,— раздраженно сказала Роня.

Вошла мать с чайником и стаканами.

— Мама, ты вчера убиралась вечером. Не видела зажигалку Андрея Семеновича? — спросила Роня.

— Зажигалку? Я вчера убрала и скатерть постелила... Не было зажигалки, но можно отодвинуть диван. Это же дорогая вещь, ее нужно искать,— мать засуетилась, стала оглядывать углы комнаты, наклонившись, пошарила рукой под комодом.

Оська увидел ее серые, много раз заштопанные чулки, клочок потемневшей ваты, засунутый между задником туфли и пяткой, чтоб не натирало ногу. Он встал.

Его лицо и торчащие уши залились краской. Не глядя на Борзова, он сказал:

— Как она могла туда попасть? Что, у нее ноги есть?

— Ах, паршивец, он еще насмешки строит! Помоги диван сдвинуть! — прикрикнула мать.

— Чего его двигать, нет там ничего.

— А-а, ты всегда знаешь. Может быть, ты скажешь, где есть? Теперь я знаю, чье это дело! — мать схватила Оську за ухо.

Его голова мотнулась из стороны в сторону.

— Мама, оставьте его! — Ронин голос дрожал. На глазах выступили слезы. Она повернулась к Борзову.— Я... Я...

— Стой, Роня! — Оська отстранил мать, шагнул ближе к Борзову и неестественным фальцетом сказал: — Я взял вчера. А у меня в школе кто-то стащил из папки.

В тот вечер Борзов вернулся домой поздно. Он уговорил Роню зайти в кафе, и они немного выпили. Внешне как будто все обошлось хорошо. Роня улыбнулась ему на прощание. Но дома Борзову стало не по себе. Вспомнился крик матери, узкое напряженное лицо Оськи.

Черт, не нужно было говорить, подумал Борзов.

В комнате не было обычного порядка. Рабочий пиджак и свитер были брошены на диване, на столе валялась косо сложенная газета.

«Торопился, разбросал все. Тоже мне — жених».

Борзов повесил пиджак на спинку стула, сложил свитер, с раздражением дернул со стола газету. И что-то со стуком упало на пол. Он наклонился.

На красноватом натертом паркете посвечивала никелем зажигалка. Борзов мгновение рассматривал ее, как чужую, незнакомую вещь, неизвестным путем попавшую к нему, потом грубо и длинно выругался — так он, пожалуй, не ругался с самой войны. Взглянул на часы. Было слишком поздно, чтобы идти к Роне.

В эту ночь Борзов долго не мог заснуть. Все думалось об этом мальчишке. Он хотел представить себе Оську, но никак не мог. В памяти всплывали рыжая растрепанная шевелюра, круглые неприязненные зеленоватые глаза, но Борзов понимал, что эти воспоминания не верны, что память отражает только то, что он увидел невнимательным взором, а не то, что есть на самом деле.

Спал Борзов плохо и проснулся раньше обычного с ощущением предстоящей неприятности. Закуривая, щелкнул зажигалкой и все вспомнил. Он обдумывал перед сном, что сказать мальчику, но все это показалось сейчас неверным и ненужным.

Оську Борзов встретил во дворе.

Зажав в руке круглый камень, он притаился за шершавым стволом дерева и ожидал, когда толстый серый кот исследует содержимое мусорного бака и выйдет на открытую позицию.

Борзов подошел совсем близко, увидел бледное лицо с горбатым носом, глаза, сузившиеся под белесыми ресницами, и длинную мальчишескую шею с синей косой жилкой. Чувство дотоле незнакомой нежности заставило Борзова нахмуриться, и он окликнул мальчика.

Оська бросил камень, повернулся к Борзову и засунул руки в карманы.

— Здравствуй, Ося.

— Здравствуйте.

— Погода-то, брат, совсем весенняя,— бодро сказал Борзов.

— Да, ничего. А Роня еще не пришла,— Оська опустил голову и рыл носком ботинка раскисшую землю у дерева.

Борзов достал папиросу. Оська поднял голову и, щуря глаза от солнца, спросил:

— Нашлась ваша зажигалка?

— Эх, Ося, лучше бы ее вообще не было. И как это ты сам на себя наплел, не пойму. Ну ошибся я, подумал на тебя. А ты со злости возьми и скажи. А ну, не нашлась бы эта дурья зажигалка, так бы и думали, что ты взял.

— Не думали бы,— Оська дернул плечом.

— Ну так зачем, голова, было на себя наговаривать?

— Роню жалко было. Она бы вас прогнала, а потом бы плакала. Ей замуж хочется. А на меня она все равно бы не подумала.

— Да-а... Ты уж зла не держи, Ося. Всякое бывает.

— Мне-то что.

— Ты обедал? А то давай вместе. Я, знаешь, уже сколько лет все один — в столовках. А так, вместе — веселей.

— Да нет, спасибо. Мне к товарищу нужно. Вы заходите к нам.

— Ну, хочешь, я тебе эту зажигалку подарю?

— Нет, спасибо. Я пойду,— Оська перепрыгнул лужу и скрылся в подъезде.

Борзов минуту стоял неподвижно, бездумно улыбаясь своему отражению в луже: серые волосы, серое лицо, фуражка с «крабом» и шоферской эмблемой, покатые плечи в темном пальто. Потом бросил окурок и, все еще улыбаясь, вышел на бульвар.

СОДЕРЖАНИЕ

Роман

И ХЛЕБОМ ИСПЫТАНИЙ... 3

Повести

ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ 296
ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ КЛИМОВА 395
МОСТЫ 431

Рассказы

МАЛЕНЬКИЙ ДОМАШНИЙ ОРКЕСТР 464
СЫН 475
ЗА ЕЛКОЙ 488
БЕШЕНАЯ СОБАКА 501
ПОМНЮ 510
ВДАЛИ ОТ ВОЙНЫ 527
РОДСТВЕННИК 538
ТАКАЯ ПЕСЕНКА 556
ОСЕНЬЮ 568
ШАШЛЫЧНАЯ У ДОРОГИ 591
ЛЕВ И МИШКА 604
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА 613
ПРОКЛЯТИЕ БОГОВ 625
ОСЬКА И БОРЗОВ 645

МУСАХАНОВ
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

МОСТЫ

РОМАН
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ЛО изд-ва «Советский писатель», 1988 г.
656 стр. План выпуска 1988 г. № 89

Редактор *Л. А. Николаева*

Худож. редактор *М. Е. Новиков*

Техн. редактор *М. А. Ульянова*

Корректоры *Е. А. Омельяненко* и *Е. Я. Лапинь*

ИБ № 6254

Сдано в набор 23.09.87. Подписано к печати 02.03.88. М-24140. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 37,83. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1154. Цена 2 р. 60 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

В 1988 г.
Л. О. ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
ВЫПУСКАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

«ДЕНЬ СВЕРШЕНИЙ»
Сборник произведений молодых фантастов из творческой мастерской Б. Стругацкого

Л. КРУТИКОВА-АБРАМОВА
ДОМ В ВЕРКОЛЕ
Документальное повествование о Федоре Абрамове

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВ
ЗАБРОШЕННЫЙ ПОЛИГОН
Повести

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
НОВАЯ ШЕХЕРЕЗАДА
Повесть. Рассказы

ЛЕОНИД РАХМАНОВ
ЧЁТ-НЕЧЕТ
Повести. Рассказы. Пьесы. Воспоминания

МИХАИЛ ЧУЛАКИ
У ПЯТИ УГЛОВ
Повести. Рассказы

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

ПОЕЗД

Роман

МАЙЯ БОРИСОВА

ПОЗДНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Стихи

МИХАИЛ ДУДИН

СВЯТОГОРСКОЕ ЛЕТО

Стихи. Поэмы

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Стихи

ДАНИИЛ ХАРМС

ПОЛЕТ В НЕБЕСА

Избранные произведения

2р. 60к.